

КОЛОМБИНА, ПЬЕРО, АРЛЕКИН ...
Любовь Блок, Александр Блок, Андрей Белый
П р и в а л к о м е д и а н т о в

Игорь Талалаевский

КОЛОМБИНА
ПЬЕРО
АРЛЕКИН...

ЛЮБОВЬ БЛОК
АЛЕКСАНДР БЛОК
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ



Игорь
Талалаевский

П р и в а л к о м е д и а н т о в



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Игорь Талалаевский

КОЛОМБИНА
ПЬЕРО
АРЛЕКИН...

ЛЮБОВЬ БЛОК
АЛЕКСАНДР БЛОК
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

привал комедиантов

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Т16

Талалаевский И.

Т16 Коломбина, Пьеро, Арлекин... Любовь Блок — Александр Блок — Андрей Белый: привал комедиантов / И. Талалаевский. — СПб. : Алетейя, 2010. — 592 с.: ил.

ISBN 978-5-91419-445-8

Эта книга удивит и любознательного читателя, и искушенного блоковеда. Известный режиссер Игорь Талалаевский вполне в театральном ключе дает известную историю отношений Любви Блок, Александра Блока и Андрея Белого в изложении самих ее участников. Используя письма и дневники героев, мемуары современников, он создал роман-коллаж, не уступающий внутренним напряжением лучшим образцам большого стиля. Нетрадиционный брак, дуэль, ребенок, рожденный от другого... А главное — поиск пристанища мятущейся души поэта, не познавшей Христа. Эти «ни сны, ни явь» впервые пройдут перед читателем в своем подлинном виде, очищенном от многолетних напластований советской цензуры. Среди героев романа — Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Валерий Брюсов, Евгений Иванов, Вячеслав Иванов, Валентина Веригина, Наталья Волохова, Любовь Дельмас, Георгий Чулков, Анна Ахматова, Ирина Одовецова... Весь Серебряный век в зеркале «Балаганчика»!

УДК 82.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-91419-445-8



9 785914 194458

© И. Талалаевский, 2010
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010
© «Алетейя. Историческая книга», 2010

Игорь Талалаевский

КОЛОМБИНА, ПЬЕРО, АРЛЕКИН...

Любовь Блок – Александр Блок – Андрей Белый: привал комедиантов

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет *М. М. Егорова*
Корректор *Ю. Д. Былинкина*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 02.09.2010. Формат 60x88 ¹/₆.
Усл. печ. л. 37. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ №

ТВОРЯЩИЕ ЛЕГЕНДУ

Когда-то о дорогих ее сердцу, но безвременно ушедших людях Марина Цветаева написала: «Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, — к вам, в вас — умираю. Чем больше вы — здесь, тем больше я — там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те и другие свободно ходят во времени и в пространстве — и в их обратном. Моя смерть — плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла Одиссея, я пою вас — своей». Так имел право сказать Поэт, хорошо знающий цену воскрешения образа человеческого из небытия. А если не Поэт? И не кровь? Тогда мы начинаем кощунствовать и заниматься дурным спиритизмом. Тогда возникают «ученые» мнения, и слово исследователя превращается в лжесвидетельство о присутствии на пиру всеблагих.

Блоку простили символизм и сделали советским Лермонтовым. И весь мучительный путь не познавшей Христа души измерили «державным шагом» кучки озверелой матросни. Как чудовищно он обманулся! Каким ядом пышут строки его советского дневника! Как дрожат руки, разламывающие фамильную конторку на дрова, а демоны нашептывают его же, гениальное: «Прощайте, проклятые книги, // Я вас не писал никогда!»

А Любовь Менделеева чистит селедку. Представляете? «Душа мира», отображение Софии – и скользкая рыбина, распластанная на советской газете...

Андрей Белый в голоде и нищете советского быта пишет свои лучшие книги, а умирает от предсказанных самому себе «солнечных стрел» – нет, не Солнца-Гелиоса, а «Солнца»-Каменева, подшившего в предисловии к «Началу века» Белого фактически смертный приговор автору.

Но это будет после 17 года. А на риторический вопрос: «Что вы делали до семнадцатого года?» они могли бы ответить: «творили легенду». Кровью, мышцами, всей мощью своих молодых душ, они боролись за право любить и быть любимыми. Ведь слишком невероятным было скрещение их судеб, чтобы не стать легендарным. Именно эти три человека сотворили из своей жизни один из самых

ярких мифов двадцатого века. История отношений Любви Блок, Александра Блока и Андрея Белого, обрастая невероятными подробностями, давно стала «филологической клубничкой» у гурманов от Серебряного века. Гомеопатические публикации советского времени не давали читающей публике ответа на главный вопрос: так что же там стряслось? И это было не праздное любопытство. За судьбами этих людей угадывались могучие толчки пробуждающегося самосознания русского интеллигента, стоящего у «бездны на краю» мучительной российской действительности. И на нашем советском краю мы пытались хотя бы идентифицировать себя с ними, потому что «мы выучили все возможные ответы, // но мы не ведаем, в чем состоит вопрос» (Арчибальд Маклиш)...

Только теперь, стараниями истинных знатоков Серебряного века, в основном заполнены лакуны в истории отношений главных персонажей русского символизма. Сотни диссертаций, тысячи публикаций, тонны мемуаров. Но почему же не дать слово им самим? Пусть их голоса расскажут удивительную историю жизни, так похожую на роман – в их бытовании не было разделения на **жизнь** и **литературу**... В совокупности писем, дневников и документов, с минимальными купюрами представленных в этой книге, рождается удивительная история обретения Души, – нет, не той, мировой, соловьевской, – а истинно человеческой, художнической и, если угодно, – блаженной.

«Пленный дух» – назывался цветаевский шедевр об Андрее Белом. «Пленные духи» – называется недавняя пьеса братьев Пресняковых, где гламурная троица Люба – Саша – Боря в образах Коломбины – Пьеро – Арлекина лихо отплясывает на костях современных эстетствующих вуайеристов, как и встарь желающих «попользоваться насчет клубнички». Не кровь Поэта стучала нам в висок, а токмо неукротимое желание – дать пристанище мятущимся и до сих пор не знающим покоя душам рабов Божиих – Любви, Александра и Бориса.

А теперь – перечень действующих лиц этой истории.

Игорь Талалаевский

«ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА»

Коломбина.

Пьеро.

Арлекинъ.

Мистики обоого пола въ сюртукахъ и модныхъ платьяхъ,
а потомъ въ маскахъ и маскарадныхъ костюмахъ...»

(А. Блок «Балаганчикъ»)

Александр Александрович Блок – великий русский поэт-символист, драматург, публицист.

Любовь Дмитриевна Менделеева – его жена, дочь выдающегося ученого Д.И. Менделеева, актриса, историк балета.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – писатель, поэт, критик, философ, стиховед, один из ведущих деятелей русского символизма.

Мария Андреевна Бекетова – тетка Блока, мемуаристка, переводчица, поэтесса.

Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух – мать Блока, сестра М. Бекетовой, поэтесса, переводчица, самый близкий Блоку человек.

Ольга Михайловна Соловьева – мать С. Соловьева – ближайшего друга Белого с отроческих лет, художница и переводчица.

Дмитрий Сергеевич Мережковский – русский писатель, поэт, критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель, один из основателей русского символизма.

Зинаида Николаевна Гиппиус – поэтесса и писательница, беллетрист, драматург и литературный критик, идеолог символизма, жена Дмитрия Мережковского.

Евгений Павлович Иванов – ближайший друг Блока, детский писатель, член Петроградского Религиозно-Философского Общества и «Вольфильд» – Вольной философской ассоциации.

Татьяна (Тата) Николаевна Гиппиус – художница, сестра З. Гиппиус, близкий друг Андрея Белого.

Валентина Петровна Веригина – актриса, режиссер, педагог, друг семьи Блоков.

Наталья Николаевна Волохова – актриса, «Снежная маска» и «Фаина» Александра Блока.

Мария Павловна Иванова – сестра Е. Иванова.

Любовь Андреевна Дельмас – актриса, певица, «Кармен» Александра Блока.

Наталья Николаевна Скворцова – московская поклонница Блока.

Анна Андреевна Ахматова – русский поэт, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик, один из крупнейших русских поэтов XX века.

Ирина Владимировна Одоевцева – поэтесса, прозаик, мемуаристка, жена поэта Георгия Иванова.

Надежда Александровна Нолле-Коган – литератор, жена литературоведа П.С. Когана.

Георгий Иванович Чулков — поэт, прозаик, литературный критик, один из поклонников Любови Менделеевой.

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) – писатель, драматург, публицист.

«Я сказала: „дѣйствующія лица“. По существу же дѣйствующихъ лицъ въ моей повести не было. Была любовь. Она и дѣйствовала – лицами».

Марина Цветаева

В час, когда пьянеют нарциссы,
И театр в закатном огне,
В полутьме последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...

Арлекин, забывший о роли?
Ты, моя тихоокая лань?
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений легкую дань?

Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это бездна смотрит сквозь лампы
Ненасытно-жадный паук.

И, пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутюсь и звеня...
Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня.

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов.
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов.

А. Блок

26 мая 1904. Шахматово

ПРОЛОГ

М. Горький. «Заметки из дневника»

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказала мне:
— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, — вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, — тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил



он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и заснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «Ах, Боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, глядя волосы. «Ну, подремлите еще!» И — представьте же себе! — я опять заснула, — скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу! Он так нежно покачивает меня, и так уютно с ним, открыв глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, — так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и — даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!». И показал мне портрет в журнале, — вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло!»

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мною, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентийца эпохи Возрождения.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КОЛОМБИНА

Глава I. Мистическое лето

Бекетова. Во втором браке у Менделеева было четверо детей: два сына и две дочери. Старшая, Любовь Дмитриевна, жена поэта, лишь на год с небольшим моложе своего мужа. Она родилась так же, как и он, в стенах Петербургского университета. Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой два, они встречались на прогулках с нянями. Одна няня вела за ручку крупную, розовую девочку в шубке и капоре из золотистого плюша, другая — вела рослого розового мальчика в темно-синей шубке и таком же капоре. В то время они встречались и расходились незнакомые друг другу. А Дмитрий Иванович, придя в ректорский дом, спрашивал у бабушки: «Ваш принц что делает? А наша принцесса пошла гулять». Летом обоих увозили в Московскую губернию, на зеленые просторы полей и лесов.

Сознательно они встретились в первый раз в Боблове, когда Ал. Ал. было 14, а Л. Дм.— 13 лет. Приезжал Блок к дедушке. Дети Менделеевы показывали ему свой сад, свое «дерево детей капитана Гранта». Все они вместе гуляли, лазали по деревьям, играли. Л. Дм. в те времена училась в гимназии Шаффе, где потом и кончила с медалью.

Вторая встреча произошла через три года после этого, когда Блок только что кончил гимназию...

Люба. О день, роковой для Блока и для меня! Как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный, июньский день, расцвет московской флоры. До Петрова дня еще далеко, травы стоят еще не кошенные, благоухают. Благоухает душица, легкими, серыми от цвета колесиками обильно порошащая траву вдоль всей «липовой дорожки», где Блок увидел впервые ту, которая так неотделима для него от жизни родных им обоим холмов и лугов, которая так умела сливаться со своим цветущим окружением. Унести с луга в складках платья запах нежно любимой, тонкой душицы, заменить городскую прическу туго заплетенной «золотой косой девичьей», из горожанки перевоплощаться сразу по приезде в деревню в неотъемлемую часть и леса, и луга, и сада, инстинктивно владеть тактом, уменьем не оскорбить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или деталью одежды — это все дается только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим шестнадцатилетняя Люба владела в совершенстве, бесознательно, конечно, как, впрочем, и вся семья.

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнату на втором этаже и только что собралась сесть за письмо — слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился



у ворот, открыл калитку, заводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна? «Из моего окна ворот и этой части дома не видно; прямо под окном пологая, зеленая железная крыша нижней террасы, справа – разросшийся куст сирени загораживает и ворота, и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная, подсознательно, что это «Саша Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматове, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили; батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстук, черная юбка, туфли кожаные коричневые, на низких каблуках. (Ни зонтика, ни шляпы в сад я не брала, только легкий белый зонтик). Входит Муся, моя насмешница младшая сестра, любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности: «Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с Шахматовским Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie – это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили во главе с Mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню, и землю. Говорят, липовая аллея цела и по сейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые (недавно, лет десять назад посаженные, еще редкие), подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали – краса нашего пейзажа. Подходя немного сзади через березовую рощицу вижу, что на этой скамейке Mademoiselle «занимает разговорами» сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский? Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеваны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У всех у нас ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало человеку в то время «актерский» вид – интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил нескоро и отчетливо, аффективно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская

веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы – это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида, их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Козьму Пруткову, целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, my kind»*. А так как это обращалось иногда и прямо к тебе, то и смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным, это была громадная семья – от взрослых барышень и студентов до детей. Играли все вместе в «пятнашки», в горелки. Тут Блок стал другой, вдруг свой и простой, бегал и хохотал как и все мы, дети и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду и Юлию Кузьмину. Они умели ловко болтать и легко кокетничать, и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть... Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянии от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась: поцелуй, объятья – это было где-то далеко-далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку... «Но то звезды веленье», сказала бы Леоноу у Кальдерона. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезд» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня – что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девчонкиных байроническо-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером» и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью (это что? кажется из Толстого?) в жизни, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном Суме, репетиторе брата.

Так или иначе, «звезда» или не «звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюидами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была

* «О да, мое дитя!» - смесь английских и немецких слов. – Здесь и далее примечания составителя.



крайне сдержанна и холодна – Блок всегда это потом и говорил мне, и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок, да, положительно, перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, не видно, укрыто! Всегда можно сомневаться: да или нет? Кажется, или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или по крайней мере в присутствии Mademoiselle, сестры, братьев. Говорить взглядом мне и в голову не могло прийти: мне казалось бы это даже больше, чем слова, а и много раз страшнее. Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретиться по-другому мой взгляд уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

«Нет конца лесным тропинкам» ... — это в Церковном лесу, куда направлялись почти все наши прогулки. Лес этот – сказочный, в то время еще не тронутый топором. Вековые ели клонят шатрами седые ветви: длинные седые бороды мхов свисают до земли. Непролазные чащи можжевельника, бересклета, волчьих ягод, папоротника, местами земля покрыта ковром опавшей хвои, местами – заросли крупных и темнолистных, как нигде, ландышей. «Тропинка вьется, вот-вот потеряется...», «Нет конца лесным тропинкам...»

Мы все любили Церковный лес, а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, вся наша компания растягивалась. Мы «случайно» оказывались рядом в «сказочном лесу» несколько шагов... Это было самое красноречивое в наших встречах.

Даже красноречивее, чем потом – по выходе из леса на луговину соседней Александровки. Дальше – переправа через Белоручей, быстрый, студеный ручей, журчащий и посейчас по разноцветным камушкам. Он неширок, его легко перепрыгнуть, ступив один раз на какой-нибудь торчащий из воды большой валун. Мы всегда это легко проделывали одни. Но Блок опять-таки умудрялся устроиться так, чтобы без невежливости протянуть для переправы руку только мне, предоставляя Суму и братьям помогать другим барышням. Это было торжество, было весело и задорно, но в лесу понятно было большее.

В «сказочном лесу» были первые безмолвные встречи с другим Блоком, который исчезал, как только снова начинал болтать, и которого я узнала лишь три года спустя.

Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг на встречу Блоку был в вечер представления «Гамлета»...

Бекетова. Л. Дм. так же, как и Ал. Ал., увлекалась театром, мечтала о сцене. И вкусы оказались сходными: оба тяготели к вы-



сокой трагедии и драме. В то же лето в Боблове решено было поставить ряд спектаклей для окрестных крестьян и многочисленных родственников. Намечены были отрывки из классических пьес и водевили. В спектаклях должны были участвовать и племянницы Менделеева. Блок стал постоянно ездить в Боблово на репетиции.

В это лето (1898 г.) поставили два спектакля в помещении одного из обширных бобловских сараев. В глубине сарая устроили сцену с подмостками. Места для зрителей было довольно. Их набралось человек двести, играли отрывки из «Гамлета». Произнесены были все главные его монологи. Прошла и сцена сумасшествия Офелии, и сцена с матерью. Гамлет и Офелия – Ал. Ал. и Люб. Дм., мать – одна из племянниц Дмитрия Ивановича. Люб. Дм. и поэт составляли прекрасную, гармоническую пару. Высокий рост, лебединая повадка, роскошь золотых волос, женственная прелесть – такие качества подошли бы к любой «героине». А нежный, воркующий голос в роли Офелии звучал особенно трогательно. На Офелии было белое платье с четырехугольным вырезом и сиреневой отделкой на подоле и в прорезях длинных буфчатых рукавов. На поясе висела лиловая, шитая жемчугом «омоньера». В сцене безумия слегка завитые распущенные волосы были увиты цветами и покрывали ее ниже колен. В руках Офелия держала целый сноп из розовых мальв, повилики и хмеля вперемешку с другими полевыми цветами. Хмель для этого случая Гамлет и Офелия собирали вместе в лесу около Боблова. Гамлет в традиционном черном костюме, с плащом и в черном берете. На боку – шпага.

Стихи они оба произносили прекрасно, играли благородно, но в общем больше декламировали, чем играли...

Блок. Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен. Сириус и Вега...

Люба. Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающих ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте.

Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое – я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора.

Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной «барышни», в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть.

Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе – уже совсем в плане «барышни»



и «студента». Когда – еще позднее – мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же»...

Был этот разговор и возвращение после него домой. От «театра» – сеного сарая – до дома вниз под горку сквозь совсем молодой березничек, еле в рост человека. Августовская ночь черна в Московской губернии и «звезды были крупными необычно». Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в кутерьме после спектакля и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора и было нестрашно, когда прямо перед нами в широком небосводе медленно прочертил путь большой, сияющий голубизной метеор. «И вдруг звезда полночная упала»..

Перед природой, перед ее жизнью и участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось потом, дышали одним дыханием. Эта голубая «звезда полночная» сказала все, что не было сказано. Пускай «ответ немел», – «дита Офелия» и не умела сказать ничего о том, что просияло мгновенно и перед взором и в сердцах.

Даже руки наши не встретились и смотрели мы прямо перед собой. И было нам шестнадцать и семнадцать лет...

Бекетова. Осенью этого года Блок поступил на юридический Факультет. Он говорил, что в гимназии надоело учение, а тут, на юридическом, можно ничего не делать. Зимой он стал бывать у Менделеевых. Они жили в то время на казенной квартире, в здании Палаты мер и весов на Забалканском проспекте...

Блок. Осенью я шил франтоватый сюртук (студенческий), поступил на юридический факультет, ничего не понимал в юриспруденции... По возвращении в Петербург... Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекался декламацией и сценой... и играл в драматическом кружке... На одном из спектаклей в зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике»... присутствовала Любовь Дмитриевна...

Бекетова. Прошла зима, а летом в Боблове устроили второй спектакль в том же сарае. На этот раз поставили сцену в подвале из пушкинского «Скупого рыцаря». Мы с сестрой, к сожалению, опоздали на это представление, но, судя по рассказам, Ал. Ал. играл интересно. Потом ставили еще сцену из «Каменного гостя», «Горящие письма» Гнедича и чеховское «Предложение». В «Предложении», изображая жениха, Блок до того смешил не только публику, но и товарищей актеров, что они прямо не могли играть. Собрались ставить «Снегурочку», но это почему-то не состоялось, и спектакли в Боблове больше уж не возобновились. Но поездки в Боблово верхом на неизменном Мальчике не прекращались, и часто Блок возвращался поздним вечером, при звездах.

Тут начинается непрерывная вязь стихов о Прекрасной Даме...



Люба. Лето 1899 года... проходило почти также, как лето 1898 года, с внешней стороны, но не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности (романтика первого лета). Играли «Сцену у фонтана», чеховское «Предложение», «Букет» Потапенки...

Блок. Помню ночные возвращения шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любове Дмитриевны... К осени (это 1900 год) я, по-видимому, перестал ездить в Боблово... И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось...

Люба. К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы, куда поступила очень пассивно, по совету мамы и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято. Перед началом учебного года мама взяла меня с собой в Париж, на всемирную выставку. Очарование Парижа я ощутила сразу и на всю жизнь. В чем это очарование, никому в точности определить не удастся. Оно также неопределимо, как очарование лица какой-нибудь не очень красивой женщины, в улыбке которой тысяча тайн и тысяча красот. Париж – многовековое лицо самого просвещенного, самого переполненного искусством города, от Монмартрской мансарды умирающего Модильяни до золотых зал Лувра. Все это в воздухе его, в линиях набережных и площадей, в переменчивом освещении, в нежном куполе его неба...

Хоть я и поступила на курсы не очень убежденно, но с первых же шагов увлеклась многими лекциями и профессорами, слушала не только свой 1 курс, но и на старших... Я слушала лекции и старших курсов по философии, и с увлечением занималась и своим курсом, психологией, так как меня очень забавляла возможность свести «психологию» (!) к экспериментальным мелочам.

Я познакомилась со многими курсистками, пробовала входить даже в общественную жизнь, была сборщицей каких-то курсовых взносов. Но из этого ничего не вышло, так как я не умела эти сборы выжимать, а мне никто ничего не платил. Бывала с увлечением на всех студенческих концертах в Дворянском собрании, ходила в маленький зал при артистической, где студенты в виде невинного «протеста» и «нарушения порядка» пели «Из страны-страны – «расходились» по очень вежливым увещаниям пристава. На курсовом концерте была в числе «устроительниц» по «артистической», ездила в карете за Озаровским и еще кем-то, причем моя обязанность была только сидеть в карете; а бегал по лестницам приставленный к этому делу студент, такой же театрал, как и я...



После концерта начинались танцы в зале, и продолжались прогулки в боковых помещениях среди пестрых киосков с шампанским и цветами. Мы не любили танцевать в тесноте, переходили от группы к группе, разговаривали и веселились, хотя бывшие с нами кавалеры-студенты были так незначительны, что я их даже плохо помню.

Бывала я и у провинциальных курсисток, на вечеринках в тесных студенческих комнатках, реминисценции каких-то шестидесятых годов, не очень удачные. И рассуждали, и пели студенческие песни, но охотнее слушали учеников консерватории, игравших или певших «Пою тебе, бог Гименея...» и очень умеренно и скромно флиртовали с белобрысыми провинциалами-технологами или горняками.

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами»... Я считала себя освободившейся.

Но в марте около Курсов промелькнул где-то его профиль – он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели), когда он подошел, поздоровался, даже до того, как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и беспшабашный вид). В обращении со мной почти не скрываемая почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры – такие серьезные; словом, от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой и тут сложился их тип на два года. Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Он говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось в живописи и литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все это говорится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную и Блок мелодекламировал «В стране лучей» А. Толстого под *Quasi una fantasia*^{*} или что-нибудь из того, что было в грудах нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных жестких линий вырисовывался в свете лампы у роя-

* Соната Бетховена



ля в то время, как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь. Теперь я научилась остро смотреть на все окружающее меня – и предметы, и людей, и природу. Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более Блок и окружающие его предметы, и пространство. Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не могла...

В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку, из привезенных из Парижа. Прическу носила высокую – волосы завиты, лежат тяжелым ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел. Я очень любила духи – более, чем полагалось барышне. В то время у меня были очень крепкие «Coeur de Jeannette». Была по-прежнему молчалива, болтать так и не выучилась, а говорить любила всю жизнь только вдвоем, не в обществе...

Что я читала в эту зиму, точно не помню. Русская литература была с жадностью вся проглочена еще в гимназии. Кажется, в эту зиму все читали «Так говорил Заратустра». Думаю, что в эту зиму я и читала французов, для гимназистки запретный плод: Мопассан, Бурже, Золя, Лоти, Доде, Марсель Прево, за которого хваталась с жадностью, как за приоткрывшего по-прежнему неведомые «тайны жизни». Но вот уж верная-то истина: «чистому все чисто». Девушка может читать все, что угодно, но если она не знает в точности конкретной физиологии событий, она ничего не понимает и представляет себе невероятную чепуху, это отлично помню. Такую, как я, даже плутоватые подруги в гимназии стеснялись прошептать; и если я и вынесла кой-какие указания из их слов, то основное мое неведение было столь несомненно, что мне и подобным мне они сооблаговостили даже как-то дать в руки украденные у братьев порнографические фотографии; «все равно ничего не поймут!», и мы действительно ничего не увидели и не поняли, кроме каких-то анатомических «странностей», вовсе не интересных.

Но тут, в эту первую зиму «взрослой», я, действительно, очень повзрослела. Не только окрепли и уточнились умственные интересы и любовь к искусству. Я стала с нетерпением ждать прихода жизни. У всех моих подруг были серьезные флирты, с поцелуями, с мольбами о гораздо большем. Я одна ходила «дура-дурой», никто мне и руки никогда не поцеловал, никто не ухаживал. Дома у нас из молодежи почти никто не бывал; те, кого я видела у Боткиных «на вечерах» – это были какие-то отдаленные манекены, нужные в данном случае, не более. Из знакомых студентов, которых я встречала у подруг, я ни на ком не могла остановить внимание и была очень холодна и отчужденна. Боюсь, что они принимали



это за подчеркивание разницы в общественном положении, хотя тогда эта мысль мне и в голову не могла придти. Я не могла бы догадаться, будучи всегда очень демократичной и непосредственной и никогда не ощущая высокого положения отца в нашей семье. Во всяком случае, я ничего не поняла, когда как раз в эту зиму произошел следующий маленький инцидент, теперь мне многое объясняющий. На одном из студенческих вечеров я проводила много времени со студентом-технологом из моей «провинциальной» компании. Мы очень весело болтали, и нам было приятно и весело, он не отходил от меня ни на шаг и отвез меня домой. Я его пригласила придти к нам как-нибудь. В один из ближайших дней он зашел; я принимала его в нашей большой гостиной, как всех «визитеров». Я помню, он сидел, словно в воду опущенный, быстро ушел и больше я его не видела. Тогда я ничего не подумала и не заинтересовалась причиной исчезновения. Теперь думаю: наше положение в обществе казалось гораздо более пышным благодаря казенной квартире, красивой, устроенной мамой обстановке, со многими картинами хороших художников-передвижников в золотых рамах по стенам, более пышным, чем оно казалось нам самим. Мы-то жили очень просто и часто были стеснены в деньгах.

Знакомств с молодежью у меня было мало. Среди людей нашего круга было мало семей со взрослыми молодыми людьми, разве – гимназисты. А многочисленных своих троюродных братьев я как-то всерьез не принимала милые, умные, но какие-то все бородастые «старые студенты».

Правда, мамины знакомства подымались очень высоко. Среди маминых «визитеров» было несколько блестящих молодых людей. Но тут у меня опять общая черта с Блоком: тех, кого он называл впоследствии «подонками», пародирующее название на то, что принято было называть, напротив того, «сливки общества», и я не принимала всерьез. В те годы за светскими манерами я была неспособна видеть человека, мне казалось, что передо мной – манекен. Так что эти блестящие молодые люди оставались вне моих интересов, это были «мамины гости», я почти никогда и не появлялась в гостиной во время их приходоов. До замужества я так и не натолкнулась на круг людей, который был бы мне близок и интересен. Мои студенческие знакомства были, действительно, несколько упрощенного типа.

В этой одинокости жизнь во мне просыпалась. Я ощущала свое проснувшееся молодое тело. Теперь я была уже влюблена в себя, не то, что в гимназические годы. Я проводила часы перед зеркалом. Иногда, поздно вечером, когда уже все спали, а я все еще засиделась у туалета, на все лады причесывая или рассыпая волосы, я брала свое бальное платье, надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большому зеркалам. Закрывала все двери, зажигала большую люстру, позировала перед зеркалами и довольная, зачем нельзя так показаться на балу. Потом сбрасывала



и платье и долго, долго любовалась собой. Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, коленой старинной девушкой. Белизна кожи, не спаленная никаким загаром, сохраняла бархатистость и матовость. Нетренированные мускулы были нежны и гибки. Течение своих линий я находила впоследствии отчасти у Джорджоне, особенно гибкость длинных ног, короткую талию и маленькие, еле расцветающие груди. Хотя Ренессанс не совсем мое, он более трезв и надуман. Мое тело было как-то более пронизано духом, тонким укрытым огнем белого, тепличного, дурманного цветка. Я была очень хороша, я помню, несмотря на далеко не выполненный «канон» античного сложения. Так задолго до Дункан, я уже привыкла к владению своим обнаженным телом, к гармонии его поз, и ощущению его в искусстве, в аналогии с виденной живописью и скульптурой. Не орудие «соблазна» и греха наших бабушек и даже матерей, а лучшее, что я в себе могу знать и видеть, моя связь с красотой мира. Поэтому и встретила Дункан с таким восторгом, как давно прочувствованную и знакомую.

Такой была я весной 1901 года. Ждала событий, была влюблена в свое тело и уже требовала у жизни ответа.

И вот пришло «мистическое лето». Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он придет: это теперь – верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Одно было любимое – желтовато-розовое с легким белым узором. Вскоре звякала рысь подков по камням. Блок отдавал своего «Мальчика» около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу, часами разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги... Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз, ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня. Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же наверно пишете? Вы пишете стихи?» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги... Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна...

Понемногу я вошла в этот мир, где не то не я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями,



окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но, в сущности, одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто, что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат, так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах...

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано, по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предложениями. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой, около часов, всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе с вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды...

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше самоощущение двух заговорщиков. Мы знали то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового искусства, в нашей семье, как и везде.

Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой, помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стеклом в руках, в белом кителе, высоких сапогах, и говорил на тему «зеркал», отчасти Гиппиусовых, но и о своем, еще ненаписанном... «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен». Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрос-



лел, развился, но какие странные вещи говорит – декадент! Вот слово, которым долго и вкривь, и вкось стремились душить все направо и налево!

Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяло в те времена и впервые встретившихся людей, – таких было еще мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались по-прежнему жизненно далеки.

Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на курсах М. М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как неожиданно для себя я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу – это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной частью дня. Раз, идя по Садовой, мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, что вне этой древней правды. Никакой Гостиный двор – любимый мираж соблазнов и недоступных фантазмагорий блесков, красок, цветов (денег было мало-мало) – не развлекал меня. Я пошла дальше и почти маниакально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной в бриллиантах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше, за колоннами остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз пришли облегчающие, успокоительные слезы...

Я стала приходиться в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку... Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кошунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической «красивой скорби».

В сумерки октябряского дня (17 октября) я шла по Невскому к Собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.



Так начались соборы, сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок... и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту...

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, что я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно. Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось, и слушалось со всей ответственностью.

Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых...

От Боткиных провожал меня на извозчике Блок. Это было не совсем строго корректно, но курсистке все же было можно. Помню, какими крохами я тешила свои женские претензии. Был страшный мороз. Мы ехали на санях. Я была в теплой меховой ротонде. Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные и попросту попросила его взять и спрятать руку. «Я боюсь, что она замерзнет». «Она психологически не замерзнет». Этот ответ, более «земной», так был отраден, что врезался навсегда в память.

И тем не менее в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые ясные слова, а моя сдержанность и гордость удерживали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от Собора и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном – и ушла. А письмо было приготовлено вот какое:

«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все, что я пишу, сушая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть на минуту в неискренние отношения с Вами, чего я вообще не выношу и что с Вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно объяснить Вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.

Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю Вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны, стало ново – до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне вся-



ких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, что мне нужно, чем я готова отвечать от всей души... Но Вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала Вам: «надо осуществлять»... Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует ваше отношение ко мне: «мысль изреченная есть ложь». Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренне ждала хоть немного чувства от Вас, но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг оборвалось, умерло; почувствовала, что Ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо... Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, что я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно!

Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу Вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что Вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей «дружбы» что ли, я уверена; у Вас всегда найдется утешением в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но надеюсь и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления...»

Прекрасная дама взбунтовалась! Ну, дорогой читатель, если вы ее осуждаете, я скажу вам наверно: вам не двадцать, вы все испытали в жизни и даже уже истрепаны ею, или никогда не чувствовали, как запеваает торжественный гимн природе ваша расцветающая молодость, А какой я была в то время, я вам уже рассказала.

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, *nach wie vor*^{*}, так что «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое и он хотел мне передать после разрыва и так же не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им.

Блок. 29 января 1902. СПб

То что произошло сегодня, должно переменить и переменяло многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня — трагическую. Я должен (мистически и по

^{*} Ни тогда, ни после (нем.).



велению своего ангела) просить Вас выслушать мое письменное покаяние за то, что я посягнул или преждевременно, или прямо вне времени на божество некоторого своего Сверхбытия; а потому и понес заслуженную кару в простой жизни, простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению. Давно отошло всякое негодующее неповиновение. Теперь передо мной впереди ныне только чистая Вы, и, простите за сумасшедшие термины, — по отношению к Вам, — бестрепетно неподвижное Солнце Завета, я каюсь в глубочайших тайниках, доселе Вам только намеревавшихся открыться — каюсь и умоляю о прощении перед тем, что Вы (и никто другой) несете в Себе. Это — сила моей жизни, что я познал, как величайшую тайну и довременную гармонию самого себя, — ничтожного, озаренного тайным Солнцем Ваших просветлений. Могу просто и безболезненно выразить это так: моя жизнь, т. е. способность жить, немислима без Исходящего от Вас ко мне некоторого непознанного, а только еще смутно ощущаемого мной Духа. Если разделяемся мы в мысли или разлучаемся в жизни (а последнее было, казалось, сегодня) — моя сила слабеет, остается только страстное всеобъемлющее стремление и тоска. Этой тоске нет исхода в этой жизни, потому что, даже, когда я около Вас, она ослабевает только, но не прекращается; ибо нет между нами единения «должного», да и окончательного не могло бы быть... Но, если Вы так «обильны», как говорит мне о Вас мое «мистическое восприятие», то я, вспоминая Ваши пророчесственные речи о конце Вашей жизни, — безумно испытываю Ваше милосердие; ибо нет более мне исхода, и я принужден идти по пути испытаний своего Бога, — и Вы — мой Бог, при нем же одном мне и все здешние храмы священны. И вот, испытав и злодействуя, зову я Вас, моя Любовь, на предпоследнее деяние; ибо есть в жизни время, когда нужно это предпоследнее деяние, чтобы не произошло прямо последнее. Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, — на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только — мертвой. Жду. Вы — спасенье и последнее утверждение. Дальше — все отрицаемая гибель. Вы — Любовь.

(...)

Между 5 и 7 февраля 1902. Петербург

Именем Бога всемогущего, который ближе к Вам, чем ко мне, но держит в своей благодати равно Вас и меня, обращаюсь к Вам уже не с обыкновенным письмом, ибо нет более места обыкновенному, а скорее с просительной проповедью, как это ни странно, может



быть, для Вашего сравнительного равновесия. Прошу Вас совершенно просто и внимательно отнестись к этому и решить, может быть, трудную, но доступную Вашему бессмертию, в которое я верю больше, чем в свое, загадку целой жизни. Еще раз говорю Вам твердо и уверенно, что *нет больше ничего обыкновенного — и не может быть*, потому что Судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего, в совершенном сочетании с тем, что мне неизвестно, а, потому самому, служит предметом только поклонения и всяческого почитания, как Бога и прямого источника моей жизни или смерти. Может быть то, что мне *необходимо* сказать Вам, будет очень отвлеченно, но зато вдохновенно, а все вдохновенное Вы поймете. Я же *должен* передать Вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную людям, потому что об этой тайне я понял давно уже главное, — что понять ее можете только *Вы одна*, и в ее торжестве только *Вы* можете принять участие. В том, что я говорю, нет выдумки, потому что так именно устроена жизнь, здесь корень ее добра и ее зла. И от участников этой жизни зависит принять добро и принять зло. Примите же Высшее Добро, не похожее на обыкновенное, в том свете, который Вам положено увидеть от века. Я знаю Вашу вещую веру в конец Вашей жизни, который воплотился на земле в Идею самоубийства, о чем мы говорили не раз. Кроме того, я знаю и чувствую то неизреченное, которое Вас томит, от которого Ваша душа «скорбит смертельно», о котором Вы хотели сказать и говорили мало, потому что нельзя передать, которое я ощутил тогда, как ощущаю теперь, ибо нет моей большей близости внутренней к Вашим помыслам, чем величайшая моя отдаленность от Вас во вне.

Люба. Жизнь продолжалась в тех же рамках, я усиленно училась у Читау, которая была не только очень довольна мной, но уже строила планы о том, как подготовить меня к дебюту в Александрийский театр на свое прежнее амплуа — молодых бытовых. Уже этой весной Мария Михайловна показала меня некоторым своим бывшим товарищам (был М. И. Писарев, это помню) в отрывках из гоголевской «Женитьбы». Блок на спектакле не был, я послала ему билет с запиской:

«Первой идет на спектакле «Женитьба», в которой я играю; если хотите меня видеть, то приходите вовремя, п.ч. «во время действия покорнейше просят не входить в зал». Л. Менделеева. 21-го (марта).

В «Женитьбе» я и впоследствии играла с большим успехом, но — вот тут, вероятно, одна из моих основных жизненных ошибок — амплуа бытовых меня не удовлетворяло. Да, я с удовольствием вкладывала в него и свою насмешливость, и наблюдательность, и любовь к живописной жизненной мелочи. Но — это не вся я. Больше и нужнее мне: крупные планы, декоративность, живописная позировка,



эффект костюмный и эффект большой декламации – словом, план героический. В этом плане меня никто не хотел признать. Во-первых, я была выше и крупнее, чем принято для героини; во-вторых, у меня не было больших, выразительных глаз, которые – неотъемлемая принадлежность героической выразительности. Я думала искупить эти недостатки голосовыми преимуществами – голос был большой и очень выработанная, разнообразная читка. А также умением носить костюм, чувством позы и изобразительностью движения. И действительно, когда мне удавалось дорваться до героини – выходило хорошо и очень меня расхваливали... Но это амплуа редко встречалось в репертуаре, а для более житейских героинь, например, Кручининой в «Без вины виноватые» у меня не хватало теплоты, бытового драматизма.

Если бы я послушалась Марию Михайловну и пошла указанным ею путем, меня ждал бы верный успех на пути молодых бытовых, тут все меня единогласно всегда и очень признавали. Но этот путь меня не прельщал, и осенью я к Читаю не вернулась, была без увлекающего дела и жизнь распорядилась мной по своему.

Лето в Боблове я провела отчужденно от Блока, хотя он и был у нас. Я играла в спектакле в большом соседнем селе Рогачево (Наташа в «Трудовом хлебе» Островского), Блок ездил меня смотреть. Потом надолго уезжала к кузинам Менделеевым в их новое имение Рыньково около Можайска. Там я надеялась встретить их двоюродного брата, актера, очень красивого и сильно интересовавшего меня по рассказам. Но судьба и тут или берегла меня, или издевалась надо мной; вместо него приехала его сестра с женихом. Со зла я флиртвала с товарищами Миши Менделеева, мальчиками-реалистами, как и в Боблове с двоюродными братьями Смирновыми, тоже гимназистами, которые все поочередно влюблялись в меня и в мою сестру. Но что это за флирты? Да, читатель, когда вы читаете у Блока о «невинности» царевны и тому подобном, вы смело можете принимать это за чистую монету!..

Блок. 21 июля 1902. Шахматово

Сейчас я вернулся из Боблова... Л. Д. сегодня вернулась от Менделеевых, где гостила чуть не месяц. У нее хороший вид; как всегда почти — хмурая; со мной еле говорит. Что теперь нужно предпринять — я еще не знаю. Очень может быть, что произойдет опять всыпшка... Я хочу не объятий: потому что объятия (внезапное согласие) — только минутное потрясение. Дальше идет «привычка» — вонючее чудище.

Я хочу не слов. Слова были и будут; слова до бесконечности изменчивы, и конца им не предвидится. Все, что ни скажешь, останется в теории. Больше испуга не будет. Больше ПРЕЗРЕНИЯ (во многих формах) — не будет...



Я хочу сверх-слов и сверх-объятий. Я ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ. Все, что случится, того и хочу я. Это ужас, но правда. Случится, как уж — все равно, все что. Я хочу того, что случится. Потому это, что должно случиться и случится — то, чего я хочу...

Люба. Я рвалась в сторону, рвалась из прошлого; Блок был неизменно тут, и все его поведение показывало, что он ничего не считает ни потерянными, ни изменившимися. Он по-прежнему бывал у нас...

Блок. 29 августа 1902. Шахматово

Пишу Вам, как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, Боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скаредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура — Ваши лилии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный тяжелый золотой узел волос — ложились на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь... Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (м.б. пошлости), падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душевной волной. И вдруг, страшно редко, — но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, м.б. мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно изображение мое. После этого, опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались. До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово — всегда легкое, капризное «Кто сказал?», «чьи?» Как будто в этом все дело. Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать. А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?..

Один только раз мы ходили очень долго. — Сначала пошли в Казанский собор (там бывали и еще), а потом — по Казанской и Новому переулку — в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный,



морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда — они собирают в кружки) — и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нити лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться — легче. Есть яд, быстродействующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? — ... Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алтаря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов. Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты. Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было *в последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз были уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набережной Фонтанки и на Невском около Глазунова, близ Казанского собора. Это уже лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января, — а уж 7 февраля — полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас — мимолетность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из этого... для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное, притом того же порядка.

16 сентября 1902. Петербург

... Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако — не стоит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документиком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и мало постижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более, что все они, *как и должно быть*, бездоказательны. Потому я ограничиваюсь констатированьем своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня *пока* к решению, вероятно, довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что т.н. жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что



я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом что ли — простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко, и в сущности даже недостижимо (об этом еще будет речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) — все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений — хоть на какой-нибудь почве. Однако, при ближайшем рассмотрении, сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не рошщу и не дерзну рогатъ), а далее — потому что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уж не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны. Таким образом все более теряя надежды, я и прихожу *пока* к решению... (не отправлено)

Люба. Но объяснения все же не было и не было. Это меня злило, я досадовала — пусть мне будет хоть интересно, если уж теперь и не затрагивает глубоко. От всякого чувства к Блоку я была в ту осень свободна.

Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И вдруг мне стало ясно — объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали.

Дальше все было очень странно: если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала — сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе: по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство — что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли. Вечер проводили, как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так часа в два он спросил, не устала ли



я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча, и молча, не стовариваясь, пошли вправо – по Итальянской, к Моховой, к Литейной – к нашим местам. Была очень морозная, снежная ночь. Взывались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал, не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прошу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах я приняла его любовь, что сказала, не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший со следами снега.

Блок. «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую в единую святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок. Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. Полковника Кублицкого № 13. 7 ноября 1902 года. Город Петербург.»

Люба. Потом он отвезил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

Думаете, началось счастье – началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его, и моих, чужие вмешательства – словом плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще не вполне владела собой, еще не поддавалась надвигающемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала



за отца корректором в газете «Петербургский Листок», я подождала ее выхода, провожала домой со смехом и рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком!..»...

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что уже 9-го я расставалась с Блоком завороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампы или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отдалены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно побуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова – это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, который Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого...



Глава II. «Делай со мной, что хочешь...»

Блок. 10 ноября 1902. Петербург

Ты — мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое Имя здешнее — великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты — Звенящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную. Не принимай это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь ни там. И Ты везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя. И я везде для Тебя блаженный и без сомнений, в конечном безумии, и последнем сумасшествии совершу все, что Ты велишь — все великое, как убийство, все малое, все ничтожное, серое — и оно уже не будет серым и малым, потому что сойдет от Тебя, в Твоем тайном и сладостном велении. Мои мысли все бесильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, возликую близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все очарования, и шопот мой, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, пророческие. Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и провидел смутно, но наяву, близко и далеко вместе — Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и измерять, — то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне. Напиши мне только слово, только черту от Твоей руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя, потому что болен и жар, но я знаю Тебя и чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой, и моему счастью нет границы и меры, как у меня нет слов и нет логики, один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны, наяву непробудные». Я не знаю, в чем мне клясться Тебе, и клянусь Тобой, моя Любовь.. Я — Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И прости за бессилие этих слов.

Люба. Чехов смеется над «Душенькой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы, эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я гово-



рю о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он очень любил. Даже почтовую бумагу переменяла, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее. На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора. Но лишь мимо-летно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он также умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он ко мне на Курсы...

11 ноября 1902 г. Петербург

...Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца о тебе, все перечитываю твое письмо, твои стихи, я вся окружена ими, они мне поют про твою любовь, про тебя, и мне так хорошо, я так счастлива, так верю в тебя... Только бы не эта неизвестность! Ради бога, пиши мне про себя, про свою любовь, не давай мне и возможности сомнений, опасения!..

12 ноября 1902 г. Петербург

Мой бесконечно дорогой, милый, единственный! Нет у меня слов, чтобы сказать тебе все, чем полна душа, нет выражений для моей любви, я не умею сказать, как мне хочется скорей, скорей быть опять с тобой... Прости мне, что я мало пишу тебе и ничего не умею высказать! Но ведь ты, я знаю, ты должен меня понять, должен почувствовать, что я живу и жила лишь для того, чтобы давать тебе счастье и что в этом мое единственное блаженство, назначенье моей жизни...

Блок. *12 ноября 1902. Петербург*

Мой Ангел, моя Возлюбленная, ради Себя Самой прости меня за то, что я не писал вчера. Верь мне, что минута забвения о Тебе — мне все равно, что последняя минута, смерть без исхода. Верь мне, что я с Тобой вечно, неизменно, во всех обстоятельствах, во все часы, глубоко и страстно торжествую, праздную последний сон свидания, жажду Тебя бесконечно. Мне препятствует теперь проклятое благоразумие, и я подчинюсь ему только для будущего, для неизмеримо-радостного. Я не знаю, когда это, наконец, возможно, клянусь Тебе, что сделаю все, что в моих силах. Я хочу быть перед Тобой полным бодрости и духовной силы, а Любовь не измерится и не погаснет ни теперь, ни после, никогда. Я клянусь Тебе, что Любовь к Тебе больше моей жизни и моей смерти, больше всего во вселенной, звенящая, ликующая, что мне мало трех жизней, мало вечности, мало человеческой силы, чтобы выразить Тебе, высказать хоть ближе к Вечной Неподвижной Правде все, чем Ты была, есть



и будешь для меня. И песен моих мне мало, и часто я жалею о них, о их бледности, о самой невозможности языка человеческого сказать все, что бессильно вырывается и не может прорваться. Нужны церковные возгласы, новые храмы, небывало целомудренные, девственные одежды, неслыханные, нездешние голоса и такие своды, которым и конца нет. И звук уйдет и не вернется больше, — тогда я узнаю и поверю, что он был истинно великолепен и истинно непомерен, что Ты приняла его достойного, не одетого в эти жалкие, хоть и царские, лохмотья земной поэзии. Чтобы оттуда в наш поэтический сумрак просился новый и «беззакатный день». Ты — Заря моя, Ты взглянула на всю мою ночь, на все бесчисленные обломки моей души, на дымный красный костер, бог знает как, откуда, что шепнуло Тебе, что все это истинно Твое, хоть такое разбитое, разнокалиберное, неединое? Я перед Тобой, коленопреклоненный, клянусь Тебе, что это так, что мне без Тебя — смерть, а с Тобой — Любовь. Твой, пока живу, пока дышу, до конца. Пиши мне еще, ради Бога, что Ты пишешь — несказанно.

18 ноября 1902. Петербург

...Напиши мне, можно ли писать к Тебе еще или *всегда* на курсы....А еще, я чувствую вдруг в эти дни, что я ужасно много видел и узнал в жизни, и мне уже хочется иногда, так близко от Тебя, ощутить неподвижность настоящего ключа этой жизни, верного и единственного, «от нужд и бед Тебя спасая, как тяжелый, ударами избитый щит». И потому я пишу сегодня о житейском. Люблю Тебя, как никого и никогда мне не снилось любить. Прежде я видел Тебя в вещих снах. Такие странные и яркие, большей частью осенние, и потому я люблю осень и Тебя, и желтый и красный дикий виноград на Бобловском балконе.

Люба. *18 ноября 1902. Петербург*

Мой дорогой, пиши мне и домой, и на курсы, только как можно чаще, больше! Я теперь и живу только ожиданием твоих писем, перечитываю их без конца, хочу через них понять и прочувствовать все, что у тебя на душе. И в то же время я в последнем письме все надеюсь прочитать, что тебе лучше, что мы скоро увидимся. Господи, да когда же это будет? А знаешь, я на тебя вчера чуть не обиделась. Утром я каждую минуту ходила смотреть, нет ли письма от тебя; наконец, твой конверт, твой почерк... и вдруг письмо маме! Сначала я, я не знаю чего-то, невыносимо испугалась; но мама ничего не говорит, значит — бояться нечего, и мне стало обидно и больно, до самого твоего письма, вечером. Оттого я и не написала тебе вчера, мне не хотелось упрекать тебя, не зная, в чем дело, а писать другое я не смогла бы. Я пишу все эти глупости, чтобы ты понял, в каком я теперь приподнятом, напряженном состоянии; я готова



малейшее молчание, малейшее холодное слово истолковывать в самую невероятную, дурную сторону... И какое счастье, какая радость — твои слова любви, когда я перечитываю их, я спокойно и счастлива, и так благодарна тебе за них, и так люблю тебя, люблю, люблю без конца!

Блок. 20 ноября 1902. Петербург

У меня нет холодных слов в сердце. Если они на бумаге, это ужаснее всего. У меня громадное, раздуваемое пламя в душе, я дышу и живу Тобой, Тобой, Солнце моего Мира. Мне невозможно сказать всего, но Ты поймешь, Ты поняла и понимаешь, чем я живу, для чего я живу, откуда моя жизнь. Если бы теперь этого не было, — меня бы не было. Если этого не будет — меня не будет. Глаза мои ослеплены Тобой, сердце так наполнено и так смеется, что страшно, и больно, и таинственно, и недалеко до слез. Еще несколько дней я не могу, говорят, Тебя видеть, т. е. выходить. Это ужасно. Ты знаешь, что это так надо, но мне странно. И еще страннее, что я подчиняюсь нелепому благоразумию. К великому счастью, я только подчиняюсь ему, но оно вне. Во мне его *нет*. Пока я знаю, что дело идет о нескольких днях (сколько — несколько?) и что от этого зависит будущее, я терплю еще. Но если бы это были недели или месяцы и болезнь была бы непрерывна и мучительна, я бежал бы ночью, как вор, по первому Твоему слову, по первому намеку. Теперь, когда пройдут эти дни и я увижу Тебя, знай, что я сделаю все.

Будет говорить страсть, не будет преград. Вели — и я выдумую скалу, чтобы броситься с нее в пропасть. Вели — и я убью первого и второго и тысячного человека из толпы *и не из толпы*. Вся жизнь в одних твоих глазах, в одном движении. Ты не увидишь перемены, кроме внешней, кроме ежечасно, ежедневно меняющихся т.н. «настроений». Во всех будет лежать печать рабства Тебе — от скептицизма мирового до печальной мудрости, от экстаза до неподвижности. Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве, и в Петербурге. Бегают бледные, старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торговым и по утонченным базарам, и по салонам, и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего — знамена из тряпок и из шелка, и из неведомых и прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей — и мой тоже. Но сердце, сердце незабвенное и все проникающее, знает Тебя. И покоряет ум и волю, и властвует над ними, и приказывает им. Там — мне нет числа. Здесь — я с Тобой и один. Мое тамшнее треплется в странностях века. И все оно собирается здесь, у Твоих ног, как непокорная змея, желавшая познать и заслушавшаяся лучшей и неслыханной Музыки. Твоя воля открыть мне все бездны, и я безвольно и безмысленно исчезну в них.



Люба. 20 ноября 1902 г.

...Твои письма кружат мне голову, все мои чувства спутались, вырвали, рвут душу на части, я не могу писать, я только жду, жду, жду нашей встречи, мой дорогой, мое счастье, мой бесконечно любимый!..

Блок. 21 ноября 1902 г. Петербург

... Для меня свершилось то, что не повинуется моей магии. Прежде многое я собирал изнутри, имея власть усыпить одних чудовищ и расшевелить других. Теперь я вижу, что над этой собирающей силой стоит другая совершеннейшая Твоя Сила извне. Потому я и говорю Тебе, что в Твоей власти теперь сделать все «мое», потому что я слепое орудие — не больше. У меня даже и стихи не выходят. Боюсь тех слов, которые обозначают действительное, нынешнее, когда Ты со мной. Я узнал все слова из тех легенд, которые говорят о том, что Тебя нет и не будет со мной. И привык к ним, и с ними был, как у себя. Я знаю разлуку, мучительную и нескончаемую. Свиданья я еще не знаю. Твоей близости я еще не знаю. Все ново и непривычно, все люди кругом по-другому. Ты понимаешь это? И потому, Моя дорогая, я боюсь, что в моих словах Ты не найдешь того, что нужно. Не младенческие ли они, не бессвязный ли это лепет, не кощунственно ли говорить все это Тебе, с которой я говорю всегда с мыслью — можно ли это, годятся ли эти слова простые и человеческие? Ты представляешься мне в эти минуты Существом, знающим все это наперед, надышавшимся лилий и роз в странах Неведомых для нас, для меня, как для толпы. И мне часто приходило это в голову в связи с легендами, поющими о Тебе (хотя бы посредством моих же стихов и дум), как о Царице Народной, все познавшей внутренне, молчаливой и недоверчивой к тому, что происходит здесь, что какой-то человек из народа (это был я) почуял один и стал мечтать и надеяться на Невозможное Счастье.

23 ноября 1902г. Петербург

... Молодость делает свое дело, облакает мир в свои думы, в свои линии, путает числа, года и месяцы. Я уже иногда не верю и не помню, кто Ты, прежняя, обманчивая, манящая фея, так бесчисленны и многогранны, и многолетни были мои думы и мечты о Тебе, все о Тебе. Как молния иногда мелькнет ночью в лесу с лунными бликами, лошадь дрожит и шарахается в сторону. И право, я не знал тогда, где Ты, не здесь ли, и все допускал, все невероятное и все невозможное, и сам дрожал от восторга и ожидания. И часто не мог понять, где огонь, какой огонь, что в этом огне, не знак ли это расцветающей страсти. И чудилась Ты в лилиях Офелии, с тяжелыми потоками золотых кос. И кусты шевелились. Все это было, я знаю, что это было. И зима, и город, и внезапные встречи, — все вспыхивает и все безотчетно. Любви нет выхода из золотых сеток...

**Люба. 6 декабря 1902. Петербург**

Мой дорогой, любимый, единственный, я не могу оставаться одна со всеми этими сомнениями, помоги мне, объясни мне все, скажи, что делать!.. Если бы я могла холодно, спокойно рассуждать, поступать теоретично, я бы знала, что делать, на что решиться: я вижу, что мы с каждым днем все больше и больше губим нашу прежнюю, чистую, бесконечно прекрасную любовь. Я вижу это и знаю, что надо остановиться, чтобы сохранить ее на век, потому что лучше этой любви ничего нет на свете; победил бы свет, Христос, Соловьев... Но нет у меня силы, нет воли, все эти рассуждения тают перед моей любовью, я знаю только, что люблю тебя, что ты для меня весь мир, что вся душа моя — одна любовь к тебе. Я могу только любить, я ничего не понимаю, я ничего не хочу, я люблю тебя... Понимать, рассуждать, хотеть — *должен* ты. Пойми же все всей силой твоего ума, взгляни в будущее всей силой твоего провидения (ты ведь знал, что придут и эти сомнения), реши беспристрастно, объективно, что должно победить: свет или тьма, христианство или язычество, трагедия или комедия. Ты сам указал мне, что мы стоим на этой границе между безднами, но я не знаю, какая бездна тянет тебя. Прежде я не сомневалась бы в этом, а теперь... нет, и теперь, несмотря ни на что, я верю в тебя, и потому прошу твоей поддержки, отдаю любовь мою в твои руки без всякого страха и сомнения...

Блок. 6 декабря 1902. Петербург

... Ты *можешь* быть свободна *от сомнений*. Я понял все до конца в Твоем письме. Сути настоящего я еще не понял окончательно, будущего — тоже не окончательно. Этого еще *нельзя* понять. Я только твердо и непреложно знаю, что Ты *теперь должна* быть свободна от сомнений и *МОЖЕШЬ* твердо *ВЕРИТЬ* мне в том, о чем Ты думаешь. Все это я не могу довольно ясно выразить в эту минуту. Но *знай*, что *теперь* полновластны «свет, христианство и трагедия»... Завтра, если Ты можешь, будь в Исаакиевском соборе в 4 часа дня, мне *нужно* сказать, и я страстно хочу Тебя видеть. Верь и будь спокойна. Рассуждать и придумывать буду я.

Люба. 13 декабря 1902. Петербург

Мой дорогой, моя радость, что-то ты теперь делаешь, думаешь? Очень тебе плохо? А я сижу в нашей комнате, перечитываю твои стихи, но больше все вспоминаю, вспоминаю... Знаешь, пожалуй, и лучше, что нам нельзя видеться, потому что тебе необходимо сидеть дома: приезжают к нам Менделеевы из Москвы, завтра или в понедельник; мне, конечно, придется почти все время быть с ними; и если бы только это мешало нам встречаться, мне было бы слишком досадно, я не выдержала бы, пожалуй, наделала бы глупостей и выдала себя. А я этого страшно боюсь теперь, мама что-то меня все рассматривает, а вчера даже говорила, что у меня



какое-то усталое лицо; ну, да я решила теперь хорошенько взять себя в руки и притворяться во всю — буду весела, буду ходить с Менделеевыми по театрам, они еще, пожалуй, кстати теперь приехали, помогут мне! А отдыхать, думать о тебе, ждать тебя, вспоминать буду приходить сюда, в нашу комнату, когда удастся вырваться на минуту. Только ты не бойся за меня, поверь, уж я сумею разубедить и успокоить маму, я поняла, что нужно для этого, из ее же «того самого» разговора...

Блок. 13 декабря 1902. Петербург

Я все думаю о волшебном, о Тебе. И сквозь эти бесконечно прекрасные, удаленные от всех людей (они все без исключений не понимают или не знают, в чем дело) думы,— постоянное житейское беспокойство о Тебе, о том, что, может быть, Тебе лучше не приходить в эту комнату на Серпуховской, пока я болен, потому что все эти люди какие-то грубые и подозрительные.... У меня, в конце концов, просто чувство отвращения ко всем им и к тому внутренне нечистому, что они говорят, а главное — думают. Не лучше ли устроить так, чтобы в какие-либо личные отношения и разговоры с ними входил только я... Кроме того — это меблированные комнаты, какое-то подозрительное и подмигивающее слово. И все они тоже подмигивают... Понимаешь, что я боюсь не за одно имя, которое, конечно, никому из них не известно и не будет известно, а и за лицо, которое им примелькается, на которое они будут смотреть с любопытством (не с улыбкой ли еще?). Во всяком случае, моя репутация у них не высока, но это мне совершенно все равно, и я боюсь только за Тебя. Так как я говорил с ними не раз, то и имею основания для опасений... Я лежу в постели и еще пока без жару. Не могу и просто не хочу догадываться о том, что говорила Тебе мама; думаю, что то, что она сказала, не похоже ни на что, что она необыкновенно далека от всего, что есть. Имею дерзость и смелость так думать — и чувствовать, что я во всем своем бессилии и во всей тленности могу лучше хранить Твою вечную юность, чем все остальные, и имею на это неисповедимое право...

Люба. 14 декабря 1902. Петербург

Мой дорогой, конечно я не буду ходить сюда, если это тебе хоть немного неприятно; пока же все было хорошо... Мне будет немножко жалко не ходить сюда, здесь так хорошо думать, вспоминать о тебе у того же стола, на том же кресле, когда никто не может мешать. Ну, да все равно, я не буду ходить, милый, не беспокойся за меня. А писать ты можешь и на курсы, и домой иногда, например, завтра, в воскресенье...

Знаешь, мой дорогой, мы можем совершенно успокоиться насчет мамы, я в этом убедилась вчера, хоть и немного неприятным образом, но зато уже наверно: мы с мамой сильно поссорились.



Началось с пустяков и общих вопросов... вспомнился «тот» разговор, и тут-то я и убедилась, что мама ничего не подозревает; она сама говорила, что просто хотела меня предупредить на всякий случай. Мы были настолько возбуждены, что мама не могла бы не высказать, если бы она знала или подозревала что-нибудь, но она даже не намекнула ни на что. Сегодня мама захотела продолжать и вчерашний, и «тот» разговор, но мне было слишком невыносимо и оскорбительно за нас слушать такие вещи, так что мы с мамой поссорились окончательно...

Блок. 14 декабря 1902. Петербург

...Теперь ночь, и я пишу один после целого дня стихов, разговоров и известий, литературных и политических. Я, наконец, написал настоящие хорошие стихи ... В Твоем письме о ссоре с мамой мне все-таки мерещатся какие-то опасения. Какова была для Тебя эта ссора? У меня не было жара, я что-то надеюсь, что поправлюсь скорее... И опять о житейском: напиши мне, куда писать завтрашнее письмо, на Серпуховскую (если нет препятствий) или на курсы? Пока все это не устроится, не угнездятся все эти домашние птицы, я не могу не говорить о мелочах, не спрашивать Тебя о ненужном, потому что мне необходимо, чтобы Ты была устранена от мелкой практики, даже от заглазной критики недостойных. Прости меня, мне каждый день прибавляет знания о Твоем Совершенстве. Тут уж не о «небесном» даже я говорю. Это все — после, теория, не наше настоящее. Настоящее все вокруг Тебя, живой и прекрасной русской девушки. В Тебе то, что мне необходимо нужно, не дополнение, а вся полнота моя. Если Тебя не будет, я совершенно исчезну с лица земли, «исчерпаюсь» в творении и творчестве. Без Тебя я так немислим, что, я думаю, некоторые просто видят, наконец, что действую не я сам, а что-то внутреннее вдохновляет. И уж, конечно, эти не знают, кто это внутреннее, это Ты, и уж, конечно, я знаю, что это — Ты, что весь сложный механизм движется от Одного Двигателя — Тебя и Тобой. Тут вся моя цель и вся загадка и разгадка, «узел бытия», корни и цветы...

Люба. 15 декабря 1902. Петербург

...Нет, мой дорогой, я не буду больше ходить в нашу комнату без тебя, верю, так лучше, если ты этого хочешь.

Пиши мне на Курсы. За меня не бойся совсем; нехорошо это, я знаю, но я теперь отношусь тупо и равнодушно ко всему чуждому, а тем более враждебному нашей любви; все как-то проходит мимо, совершенно не затрагивая меня, точно его и нет совсем. Чтобы разговаривать с кем-нибудь, мне нужно все время держать себя в руках, напрягать внимание, а то я начинаю не понимать слова, которые слышу, не знаю, что я должна говорить. В голове все время вертятся твои слова, стихи, фразы из твоих писем... Ну, да я не могу



все это рассказать, ты сам понимаешь, чем я живу теперь и что для меня все остальное. Твое письмо искренно и такое, которое я больше всего люблю — ты пишешь, что пишется, что приходит в голову; только зачем ты говоришь: «опять отвлеченно»? Разве ты думаешь, что мне «отвлеченное» менее интересно? Да нет, ты не думай этого.

Пришли мне твои стихи, мой дорогой, на Курсы завтра... Сегодня, кажется, мне дадут побыть одной и опомниться; мне теперь хочется уже этого, потому что развлечения, театр, совсем не развлекают, не помогают проходить времени, а только досадно мешают думать о тебе...

Блок. 15 декабря 1902. Петербург

...Все кричат, а я молчу до неприличия, и через все так неизменно высоко и звонко поются песни о Тебе — слова и фразы, или одни только мелодии без звуков, иногда с случайными протекающими в голове словами — так же произвольно и безвольно, как шум деревьев, когда их качает ветер. Поет, поет — и все забывается, все светло и ярко, торжественно и тайно. Тут какая-то великая тайна «жизни по любви». Совершается закон лучшей награды за прежние и нынешние невозмутимые сны. Ты проходишь мимо, Ты здесь вся, неизгладимо вырезанное письмо на камне, глубокие черты сильной и верной руки Промысла. Вся судьба здесь... Я уверен, что когда-нибудь найду для Тебя забываемое слово или ощущение, или что-нибудь выходящее из обыкновенных рамок, из этой груды моих беспорядочных, хоть и любящих слов, которые я расстилаю перед Тобой устно и письменно. Тут нам откроется внезапное — *и мы поймем до конца...*

...Неужели Ты думаешь, что я не пишу отвлеченно (т. е. стараюсь не писать) потому, что мне кажется, что Тебе это не интересно. Я сам не хочу теорий, они только помогают, они сбоку, они — цветное стекло в сверкающем переливчатом окне. В Твоем окне, моя Любовь, моя жизнь! И к Тебе на это окно слетают белые голуби. Под это окно прихожу я, то задумчивый, то страстный, и не смолкну. Прикажи мне петь — и я буду петь; шептать — и я буду шептать. Ты теперь осталась одна — и это лучше. Тебе будет легче и тише, может быть. Я еще наговорю Тебе теорий, и напишу. Теперь же — я Твоей безумный, восторженный, неумело слагающий думы...

Люба. 17 декабря 1902. Петербург

...Весь день ждала я этого часа, когда останусь одна вечером, в тишине. Думала, что смогу сказать тебе мои бесконечные думы о тебе, мою любовь... Но я так устала за день от всех людей, мне так нужно все время напрягать внимание и волю, пока я с ними (а сегодня у меня не было ни минуты покоя), что даже писать тебе мне трудно — прости, опять глупое, вялое письмо! Утром была я на курсах, не успела хорошенько вчитаться в твои письма (если бы я умела говорить о сти-



хах, я сказала бы самые восторженные слова об этих, но я могу сказать только, что люблю их так же, как и все, что ты пишешь), пришла Шура, пришлось долго говорить с ней, ничего не рассказывать, а это трудно — не потому, что мне хочется рассказать, теперь этого со мной никогда не бывает, трудно отклонять вопросы или неопределенно отвечать на них, когда она знает так много. Сегодня же вернулась Лида, и с ней пришлось «проболтать» весь вечер, а завтра весь день тоже должна быть с ней, вечером идем опять в театр. Хорошо еще было бы, если бы хоть кончилось все скоро, но ведь, представь себе, мой дорогой, на рождество приезжает тетя (мамина сестра), я обыкновенно все время проводила с ней, часто ходили в театр, — как мы будем видеться. Такая досада на всех и тоска без тебя!..

Блок. 17 декабря 1902. Петербург

... Не тревожся, помирись с окружающим. Когда я ждал тебя в то отдаленное и прекрасное время Твоего молчания, мне были незаменимы часто простые люди, простые слова, разговоры, театры. В этом мимолетном, бесцельном можно все время прислушиваться, можно сгорать сердцем, чуя где-то вдали скрытое и готовое вспыхнуть мерцание другого сердца. Там бьется и замирает другое и близкое. И во всем невинном хаосе окружающего, как будто ненужном, всплывает прекрасное и доброе, как бы веет тихое, греющее, пророческое знамя. И в его теплых складках таятся мгновения, готовые снизойти и осуществиться. Это хорошо, это — так надо. Через это вся простая жизнь примиряется с желанной жизнью как будто в каком-то «голосе тонкого холода». И теперь, моя Тайна, моя Любовь, Ты, светлый и белокрылый Ангел, мне это чувство часто знакомо, через всю тревогу, через все глубокое потрясение, через вихрь моей Любви к Тебе. Ты устала теперь вообще, от «разного», от «нового», а не только от окружающих людей и слов. И я иногда чувствую эту усталость от «сладкого бремени». Она легка и выноσιма, потому что близка к томно-зовущему голосу. Ведь и райские птицы устают от счастья. Когда Ты очень устанешь, не пиши, Тебе трудно. Я все пойму и все знаю, и, хотя Ты бесконечно высоко над мной, и в мои долины смотрит то же солнце — один и тот же луч. Помни все время, что я сердцем с Тобой, что Ты — властная, а я — подвластный, и нет больше моей Любви к Тебе; что никакая сила в мире не страшна для Тебя по отношению ко мне. Верь этому и будь хоть в этом спокойна. Мне нужна только Твоя жизнь, бьющаяся около, и в этом я сам чувствую свою силу и свою власть над остальным — бедным и преходящим. Для Тебя — мое сердце, все мое и моя последняя молитвенная коленопреклоненность...

18 декабря 1902. Петербург

...Одна женщина, принадлежавшая к Пифагорейской общине, в VI веке до Рождества Христова (заметь, заметь!) написала между



прочим вот что: «Когда женщина победит низшие побуждения и овладеет гневной силой духа, тогда родится в ней божественная гармония». И все эти Пифагоровы братья и сестры считали себя «равными блаженным богам». И еще много чего «странного» есть в истории. «Люди» не поверят всему этому. Хочешь верить *Ты?* Я верю. Но мне нужно «угадать Твое имя», потому что уже «тает лед, расплываются хмурые вьюги, расцветают цветы». Солнце повернуло на весну. Как красиво и как тревожно! — Я почему-то опять беспокоюсь о том, что у Тебя вышло с мамой. Не указывает ли это на то, что она о чем-нибудь догадывается? Конечно, это пустяки, и Ты будь спокойна...

Люба. 18 декабря 1902. Петербург

...Опять вечер, кончился еще один скучный, бестолковый и утомительный день, и опять я совсем устала и оступела. Хотя теперь могу отдохнуть ото всех и свободно, без помехи думать о тебе, только о тебе; и это уже успокоение и счастье. Скорее бы увидеть тебя, знать только, что ты со мной, ни о чем не помнить, ни о чем не думать! Ты пишешь что-то, что я не совсем понимаю, но раз ты веришь всему этому, буду верить и я, пойму потом. Только где я возьму «гневную силу духа»? Не знаю, ведь теперь-то уж никакой ни воли, ни силы у меня нет; сила любви — что-то похожее на полное бессилие. Но я все-таки твердо верю, что, когда это будет нужно для тебя, я сумею и силу найти, сумею и понять все, пойму, где твое счастье и что я должна делать. А теперь я понимаю только, что мне нужно видеть тебя, что пока я тебя не увижу, я точно не живу, так пусто и ненужно все кругом...

Блок. 23 декабря 1902. Петербург

... Может быть, Ты до сих пор думаешь, что было когда-нибудь время, когда я *только* думал о Тебе, и не чувствовал Тебя, живую, источник моей *жизни*, а не моей фантазии. Этого никогда не было. Было только время, когда Твоя холодность принимала такие размеры, что мне *оставалось* только ждать загробных свиданий. Но не было дня, когда бы я на первое слово, движение, улыбку в мою сторону не ответил бы Тебе со всей земной страстью; и Ты напрасно думаешь и теперь, что бывают у меня дни отвлеченные и реальные. Бывают *более* отвлеченные, когда я надыхнусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я *никогда* не забуду, что Ты живая и молодая, такая, как Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа. Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фантазии в рифмах. Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их граничит рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда вы-



певаётся из сердца прямо, непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля. Я люблю Тебя так, как наверно никогда и никого не любил и не полюблю. Ты — вся моя *молодость*, моя *живая* надежда, мое *земное* бытие. Ты — мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда с тех пор, как я Тебя встретил. И *всегда* я сказал бы Тебе о моей страсти, если бы Ты *позволила* мне в прежние года говорить не только о бесстрастном. Но Ты никогда *не позволяла* мне этого, и это было так *надо*. Я писал бы Тебе сейчас всю ночь. Я полон Тобой весь день. Я хочу обнять Тебя, гладить Твои волосы, смотреть в Твои глаза...

Люба. Каким-то подсознанием я понимала, что это то, о чем не говорят девушкам, но как-то в своей душе устраивалась, что не только не стремилась это подсознание осознать, а просто и вопросительного знака не ставила. Болен, значит «ах, бедный, болен», и точка. Зачем я это рассказываю? Я вижу тут объяснение многого. Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это — платная любовь, и неизбежные результаты — болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости — болезнь не роковая. Тут несомненно травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безличная, купленная на несколько минут. И унижительные, мучительные страдания... Даже Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной... Даже К. М. С. не сыграла той роли, какую должна была бы сыграть; и она более, чем «Урания», чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось — разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 1914 году было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен победила все травмы и только с ней узнал Блок желанный синтез и той и другой любви.

Говорить обо всем этом не принято, это область «умолчания», но без этих столь непринятых слов совершенно нет подхода к пониманию следующих годов жизни Блока. Надо произнести эти слова, чтобы дать хотя бы какой-то материал, пусть и очень неполный, фрейдовскому анализу событий. Этот анализ защитит от несправедливых обвинений сначала Блока, потом и меня...

25 декабря 1902. Петербург

... Милый, бедный, опять ты болен!.. Это становится уж совсем несправедливо и жестоко со стороны судьбы... Ведь это не хорошая судьба насылает на тебя болезнь, а «ветер, который задувает свечи», с ним надо воевать и делать ему все на зло. Спрятаться бы от него куда-нибудь, как мы спрятались в нашу комнату! Без тебя мне не хочется больше ходить туда, буду вспоминать, как я ждала тебя, а это было совсем невесело: я больше часу просидела в кресле, все слушала, ждала твоих шагов, боялась пошевелиться, чтобы не пропустить их...



...Фу, какой ты противный! Я ждала, ждала, ждала до сумасшествия тебя с 2-х часов! Хоть бы предупредил. Теперь я не знаю, когда мы увидимся. 26-го, мне кажется, что-то опасно уходить, да, пожалуй, ты опять не будешь. Приходи лучше к нам, будет дома только Ваня и я, хотя и то не наверно. Больше не хочу писать, ты не заслужил.

... Мой дорогой, милый, прости глупейшее письмо, которое я тебе написала сегодня, из нашей комнаты! Ты, пожалуй, будешь думать, что я сержусь на тебя, конечно, нет, я ведь знаю, что если ты не пришел — значит, нельзя было, или письмо не понял (я думаю, это вероятнее всего). Мне было только уж очень жалко, что я не видела тебя сегодня, раз была возможность, а видеть тебя сегодня мне хотелось ужасно, совсем без тебя стосковалась, хоть мы и недолго не виделись. Настроение теперь у меня всегда одинаковое, когда я одна без тебя; полная нечувствительность ко всему, что не касается тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересуется тебя... Странно это! Ведь после 7 ноября, когда я увидела, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня изменилось до самой глубины; весь мир умер для меня, и я умерла для мира; я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе — нет ничего, что в ней мое единственное, возможное счастье и цель моего существования. Я повторяю, кажется, что писала прежде, но мне хочется говорить об этом, я так ясно сознаю, ощущаю это сегодня. Как бы ты ни любил меня, моя любовь к тебе всегда одна, потому что она вся глубина души моей, то, что в ней постоянно и вечно и не может измениться.

Раньше я не знала, не понимала, что у меня в этой глубине души, я все старалась найти себя (это ты мне сказал, и это правда), теперь я нашла себя. В душе, в глубине — светло и ясно...

Блок. 26 декабря 1902. Петербург

...Сегодня утром я получил Твое письмо о том, как Ты ждала меня, и о «ветре, задувающим свечи». Если бы этот ветер был до сих пор властен надо мной внутренне, как был некогда, это было бы ужасно. Но я чувствую только его последнее озлобление, невозможность повредить в корне. Уже он бессилен, потому что наступило Твое царство. Болезнь временна и пройдет. Это только мелкая досада. А мои «белые думы» далеки от этого смрадного ветра, глубоко гнездятся «у заветных тропинок души». Прости, что я так бессвязен сегодня и вообще не всегда пишу ровно. За окном — весенние струи, тающие снега, Твое дуновение, «песни весенней язык». Мне иногда мучительно хочется встретить Тебя и вместе с Тобой оградиться от всех людей разноцветным щитом любви. Может быть, от некоторых и не надо ограждаться, но теперь я чувствую, что от *всех*, потому что даже понимающие поймут что-то свое, другое, а не наше; все чужие. Это то,



что Ты пишешь мне, это наша одинаковая песня, наше ближайшее. Лучшее в жизни должно быть хранимо. И если это лучшее не перенято от других, то нет причины вверять его и делить с другими, которые не принимали участия в устройении наших тайнодействий, алтарей и священных обрядов; и даже я, больше, чем Ты, связанный с житейским, неодолимо свободен и осенен Твоей девственной ризой...

Люба. 27 декабря 1902. Петербург

...Ты, вероятно, знаешь это чувство: уверенность, что ты не можешь прийти, и в то же время безумная надежда и ожидание, и чем больше невозможность, тем сильнее и настойчивей ожидание. Так и сегодня, к вечеру, я вдруг стала тебя ждать; знала, что у тебя жар, что ты лежишь, и все-таки ждала до 9-ти часов; а потом стало грустно без тебя и захотелось говорить о тебе. И мы долго с Мусей разговаривали и о тебе, и о всем, что ты мне говорил; я все вспоминала и рассказывала Мусе; конечно, немного в другом виде, чтобы она понимала; да она и так много понимает и ей много можно говорить, хоть она и молчит в таких разговорах; а если и не понимает, все таки любит слушать. О тебе я говорю, конечно, только как о «поэте», о твоих стихах, твоих взглядах, да и то немного можно сказать, но и это успокаивает, сменяет тревогу светлыми, радостными думами о тебе.

Теперь поздно, все разошлись, пишу тебе, перечитываю твое письмо... Так мне, ну, прямо, весело становится чувствовать в тебе эту силу духа, и тебе хорошо, и мне с тобой не страшно — уж не будет этих прежних сомнений, и весело, что эта сила, хоть немного, и от меня. Удивляюсь, отчего я с мамой все еще не помирилась, в теперешнем настроении, мне было бы, пожалуй, и легко это, только если бы повод был другой. Тебе, должно быть, не нравится, что я так долго в споре с мамой, так ты скажи, если хочешь, я постараюсь помириться. Все забываю в каждом письме написать тебе о том, как я получаю твои письма: не беспокойся, это очень хорошо и просто устраивается; я сама беру их утром на кухне, а если приходят после, то их несут прямо ко мне. Да и вся прислуга меня любит и «изменяет» какой-нибудь с их стороны совсем не боюсь... Присылай мне стихи, которые пишешь теперь...

Как теперь здоровье? Уж теперь надо посидеть подольше дома, поправиться хорошенько...

Блок. 27 декабря 1902. Петербург

...Зачем Ты думаешь, что мне «не нравится», что Ты не миришься с мамой? Этого не может быть. Я понимаю это только, как способ выражения. Мне *все* нравится — без исключений. Если хочешь, если можешь — помирись, это я думаю, для Тебя лучше. Лучше, чтоб не было натянутых отношений, маленького диссонанса в доме, особенно, когда этого не нужно и можно обойтись без него...



28 декабря 1902. Петербург

...А сегодня днем и вечером ... было нечто очень странное: разговор у нас с мамой. Очень трудно даже описать его, до такой степени он был сложен и вместе не выходил за пределы жизненной практики. Один из самых необыкновенных, и из них — самый необыкновенный. Прежде всего, помня (как и во все продолжение разговора), что Ты мне говорила один раз на Серпуховской — относительно того, что Тебе *не* неприятно, если мама (моя) знает нечто и подозревает остальное,— я скажу Тебе, что теперь она знает *почти все* (кроме, конечно, нашего главного, заключающегося *только* в нас, незнакомого никому и чего выдать нельзя по самому его существу). Но, останавливаясь на этом пункте, я прежде всего ужасно жалею, что Ты не знаешь мою маму. Во всяком случае, если можешь, поверь мне пока на слово, что большего *сочувствия* *всему* до подробностей и более положительного отношения встретить нам никогда не придется. Кроме того, все, что возможно, она понимает, зная и любя *меня* больше всех на свете (без исключений). Подробностей разговора я даже пока не напишу Тебе, потому что они сравнительно второстепенны. Разговор начала она сама, и во все время его (он был *без* имен) я имел две руководящие нити: во-первых — помнил то, что говорила мне Ты — поразительное для меня до крайности, чему я придаю теперь значение громадное; во-вторых — все время все-таки говорил *минимум* того, что можно и *нужно* было сказать (раз уж принять во внимание первое), *сдерживал* себя в словах. Теперь мне, конечно, всего важнее то, как отнесешься к этому *Ты*. Если можно, напиши мне как можно скорее только несколько слов. Во всяком случае, все это очень важно. В случае Твоего положительного и благосклонного ответа в совершившемся факте откроются многие горизонты, в том числе даже практического свойства. Если же Ты *хоть на одну йоту* *недовольна* этим, даю Тебе клятву, что я *прекращу немедленно* всякие расспросы со стороны мамы и все будет так, как будто она *ничего не знает* (а это она сумеет сделать). При этом имей в виду, что мама относится к Тебе более, чем хорошо, что ее образ мыслей направлен вполне в *мистическую* сторону, что она *совершенно* верит в предопределение по отношению ко мне. Кроме того, *необходимо*, чтобы Твоя мама *менее чем когда-нибудь* могла подозревать что бы то ни было, потому что здесь (как Ты и сама, конечно, чувствуешь) *или* то, *или* другое. На этом я пока и кончаю — и мне *необходимо* знать, что думаешь Ты, ради Бога, до глубины искренно. Малейшее принуждение может повернуть *даже нас* на ложный путь, потому что мы еще вполне, как я теперь совершенно ясно вижу,— в критическом периоде. Если Ты *сколько-нибудь против*, ради Бога, так и скажи — и я ручаюсь, что *все будет по-прежнему*. Жду Твоего ответа. Сегодня я не написал Тебе ни одного красивого слова. Все слова житейские. Но это так надо.



Мое настроение все такое же бодрое, только я злюсь на тех, кто ровно ничего ни в чем не понимает. Но злюсь, а не раскисаю. Стихов новых еще нет. Я злюсь на тех, кто не Ты, Ангел Светлый, Ангел Чистый, моя Судьба, мое Все...

Люба. 29 декабря 1902. Петербург

...Нужно тебя слушаться, ты опять был прав, лучше не получать писем дома! Пиши в 5-ое отделение, здесь ближе, можно будет чаще ходить. Я вообще довольно свободна, тетя была все время с мамой, хотя теперь мама начала рисовать, придется мне заменить ее. Это ничего, пока нам нельзя видиться, а потом будет досадно. Бываем теперь часто в театре. Вообще, на праздниках, нам будет почти невозможно видиться; я уж нарочно не иду теперь к Шуру, чтобы хоть этот выход остался. Никаких планов на январь у меня нет особенных; видеть тебя — чего же мне еще!

Как твоё здоровье? — Пишу утром, потому письмо выйдет пустое, холодное, и я лучше ничего не буду писать, кроме того, что мне хочется сказать на твои письма и про стихи, выйдет не то, лучше напишу сегодня вечером, мы дома сегодня. — Если тебе не понравится (совсем не «способ выражения», а я правда боялась), что я с мамой в ссоре, я не буду мириться с мамой: искренно не могу, а заставить себя хотела только из-за тебя.

«Новый Путь» для меня был очень интересен; именно то, что ты пишешь, и еще один рассказ «Вьмысел»; забыла фамилию автора, а журнал у мамы. Там молодая девушка, которая кажется «ему» древней, тысячелетней и не живой, с мертвыми глазами. Ты меня тоже называл древней, а мертвой я тебе не кажусь?..

Блок. 29 декабря 1902. Петербург

...Этого не только никогда не было, но я думаю еще, что в Тебе такая глубокая сила истинной жизни, что Ты свободно и безболезненно-спокойно все время отдаешь часть ее мне, и эта часть так громадна, что я чувствую себя совершенно возродившимся и необыкновенно бодрым. Все в другом свете. Об этом я уже писал Тебе. Кроме того, еще сила развивается все время через мою связь с Тобой, и в этом постоянном упражнении духа, несомненно, кроется энергия будущего. Но главное — все от Тебя. Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремавшие или уходившие на бессознательное. Я говорю Тебе, что мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь.

Если Ты не можешь помириться с мамой теперь, это ничего. Если даже что-нибудь потеряется от этого теперь, то наверстается потом. Но мне кажется, что даже и теперь от этого мало теряется, потому что причина ссоры лежит не очень глубоко, а основана главным образом на том, что мама совершенно не понимает Тебя и едва



ли вникает в сложность Твоей развивающейся души, забывая, как это часто бывает, свое собственное прошлое. Едва ли ее можно винить за это, тем более, что она и не могла бы понять, при всем желании даже, Твоих исключительно громадных сил, частью еще покоящихся, частью начинающих приходиться в брожение. Тем хуже для нее, если она не может присутствовать при твоём пробуждении и расцвете, которому я, кажется (и дай Бог), единственный сознательный и восхищенный свидетель...

Люба. 30 декабря 1902. Петербург

Мой дорогой, я рада, что мама знает все, я давно этого хотела в глубине души, потому что хотела, чтобы она знала, что тебе хорошо теперь, что ты счастлив и что, если я и сделала тебе что-нибудь злое в прошлом году, то теперь и ты, и мама можете мне все простить за мою любовь. Кроме того, я твою маму люблю теперь больше всех на свете, после тебя, и мне хотелось всегда, чтобы и она хоть немного знала меня и любила.

Напиши, ради Бога подробнее, это все так странно, и я еще не совсем понимаю. Прости, что письмо придет так поздно, я твое вчера не получила, опоздала на почту. Мама ничего не знает и теперь ей и подозревать нечего. Помни, что кроме моей любви и тебя, у меня ничего нет на свете, я верю только тебе, делай что хочешь, говори все, кому хочешь, а маму твою я люблю и верю ей...

Блок. 31 декабря 1902. Петербург

... Ты пишешь, все-таки, то, чего нет, о чем и речи не может быть, что кто-то должен прощать Тебя. Неужели Ты не видишь, что у меня может быть мысль не о прощении, а только о бесконечном поклонении. Ты, без сомнения, все время указывала мне дорогу среди ночи и, когда я стал сбиваться, внезапно подняла факел и брызнула мне в глаза ослепительным светом Истины, Добра и Красоты. Ты, не переставая, ведешь меня по неуклонной дороге все дальше, все цветистее, все шире, указываешь мне в синюю даль. В этом для Тебя не должно быть сомнения, так же как я верю в это с каждым днем тверже. Ты учишь меня счастью. Я учусь, но «никогда не буду выше Учителя»...

Относительно разговора (с мамой) мы лучше будем говорить. Он был «практический» и больше не повторялся. Но мама довольна всем «этим». Она многого не знает еще, все-таки. И о мистической сути я ей говорить не буду, она только может думать об этом сама. Больше никому говорить не буду. Что будет в 1903 году? Я молюсь о счастье, Ты сияешь мне. Нет минуты, не освященной Тобой...

Бекетова. В январе 1903 года Александр Александрович сделал предложение и получил согласие Любови Дмитриевны Менделеевой...

**Люба. 13 января 1903. Петербург**

...Сегодня мне стало грустно от сознания, что «ты — для славы, а я — для тебя»; вчера было просто, ясно и весело, а раньше, помнишь, я испугалась этого. Но надо привыкнуть к этой мысли, понять, что иначе и не может быть, тогда и будет легко помириться с ней, да и мириться то даже не придется — будет видно, что так надо, так хорошо. Ты понимаешь, — не то страшно и непонятно, что «я — для тебя» — в этом ведь счастье, все счастье для меня; жутко и непонятно, что «ты — для славы», что для тебя есть наравне со мной (если теперь может быть иногда и не наравне, то *будет* потом) этот чуждый, сокрытый для меня мир творчества, искусства; я не могу идти туда за тобой, я не могу даже хоть иногда заменить тебе всех этих, опять-таки, чуждых мне, но понимающих тебя, необходимых тебе, близких по искусству, людей; они тебе нужны так же, как я. Ты, может быть, не захочешь согласиться с этим, но ведь и я то, и твоя любовь, как и вся твоя жизнь, для искусства, чтобы творить, сказать свое «да»; я для тебя — средство, средство для достижения высшего смысла твоей жизни. Для меня же цель, смысл жизни, все — ты. Вот разница. И она то пугает, то нагоняет грусть, потому что я еще не освоилась с ней, не почувствовала ее необходимость; потому что во мне слишком много женского эгоизма; хотелось бы заменить тебе не только всех других женщин, но все, весь мир, всех, все...

Я думаю, ты видишь, что я не жалею, не ропщу; я понимаю умом, что иначе не только не может, но и не должно быть; и знаю, что будет время, когда я и почувствую все, и тогда начнется бесконечное счастье, которое уже не будут в состоянии смутить никакие сомнения. А пока ты должен мне прощать все эти «настроения», верно, нужно пройти через них. В общем, я, кажется, опять пере-сказываю твои же слова; но это ничего, я пишу то, что чувствую.

Сейчас мне ни страшно, ни грустно, я слишком все старалась разобрать, вышло что-то вроде «теории», а ее бояться нельзя же; мне только спокойноно, что ты? Совсем ли я тебя расстроила сегодня своими глупыми выходками? А ведь у меня правда сначала «нервы расстроились», а потом уж и совсем поглупела; удивляюсь, если ты на меня не сердисься...

Блок. 31 января 1903. Петербург

...Завтра (в субботу) я пойду на Серпуховскую и возьму оттуда все (даже Твоя булавки и мои письма) к себе. В воскресенье мы встретимся в 2 часа и погуляем, если погода будет не опасная для Твоей простуды. Сегодня все обговорил с мамой. Видеться совершенно можно у меня. Мама поговорит с отчимом, *который отнесется ко всему более чем очень хорошо*. А главное, *мы не будем видеть* (если Ты не захочешь) *ни маму, ни отчима*. Мама будет у себя в комнате на другом конце квартиры, а отчим, когда будет дома, — там же.



Ничего не слышно совсем, везде ключи. Самое ужасное — расстояние, но придется помириться пока. Через мосты есть закрытая конка. Подумай об этом и согласишься. Все подробности, из которых многие я уж обдумал, обговорим в воскресенье. Комнаты никакой уже придумать нельзя, потому что везде опасно. А здесь, у меня, *лучше и чище* всех других (наемных) комнат.

Ничего обыкновенного нет. Я говорю об этой «практике» только потому, что без нее не обойдешься. Но мне не жалко, не больно, меня она не заботит. Ничего нет обыкновенного. «Там» расцветают новые цветы, уже более благоуханные, чем *были* здесь. Внутри поднимается и растет. Сердце занялось. Комната (на Серпуховской) *ОСТАНЕТСЯ НАШЕЙ*. Я оставляю там знак. Завтра все это будет сделано и пройдет. Память останется. Если и жаль, то только стен. Но не жалей, потому что нет потери. Там самый воздух запоет. Здесь, у меня, Тебе понравится. Больше я ничего не скажу. Сказать нельзя. Мне хорошо теперь, завтра и всегда. Не думай об ужасном. Мне хорошо...

22 февраля 1903. Петербург

...Но Ты не знаешь, что мне было нужно пройти, чтобы любить Тебя так, как теперь. Этого всего все равно не опишешь, и не расскажешь; все это можно только *пережить*. А то, что пережить, совершенно «вросло», уже неизгладимо и навсегда. Свой «мистицизм» я уже пережил, и он *во мне* неразделен с жизнью... Самый этот «*мистицизм*» (под которым Ты понимаешь что-то неземное, засферное, «*теоретическое*») есть *самое лучшее*, что во мне когда-нибудь было; он дал мне *пережить* и *почувствовать* (не *передумать*, а *перечувствовать*) все события, какие были в жизни, особенно 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно. И главное, он дал мне *полюбить Тебя любовью*, не требующей оправданий, *почувствовать* перед Тобой правоту сердца, увидеть все ближайшие и *многие дальнейшие* цели этой как будто бесцельной любви... «Мистицизм» дал мне всю силу *к жизни*, какая есть (если ее не так много, то это уже лежит в натуре; но, во всяком случае, она проявилась хотя бы в тех же стихах, а я думаю, что еще сильнее в том, что я чувствую по отношению к Тебе, ибо и стихи — отсюда). Это — все мое лучшее «я» — лучшее, и *САМОЕ НУЖНОЕ ТЕБЕ* — потому что Тебе *НУЖНА* моя любовь. Теперь же, когда Ты близка, это и *ВСЕ* мое «я», потому что нет ни одной области в жизни, которую бы не проникала Ты, Твое присутствие, — через этот же самый «мистицизм». Мистицизм не есть «теория»; это — *непрестанное* ощущение и констатированье в самом себе и во всем окружающем таинственных, *ЖИВЫХ*, ненарушимых связей друг с другом и через это — с Неведомым. Это — религиозное сознание, а не бессознательное затуманивание головы. Твой отец совершил *мистический* поступок, когда в великом напряжении энергии своего творчества открыл



биологический закон (жизненный), и самые эти биологические законы мистичны, потому что говорят о причинности, т. е. «детерминизме» (зависимости от...). Когда по стеблю поднимаются живые соки — происходит мистический процесс. Мистика происходит от греческого слова *misterion*... что значит — тайна. Тайны в конце не отрицают и матерьялисты (их разновидность — позитивисты), говоря, что открыто почти все, осталось открыть только еще «небольшой кусочек». Вопрос — откроют ли они это, разложат ли, анализируют ли Бога жалкие дети земли... Нет ни одного человека, в котором не был бы заложен мистический элемент уж по одному тому, что он живет себе спокойно, а в минуту смерти вдруг ему станет отчего-то жутко. Мистики совсем не юродивые, не «олухи Царя Небесного», а только разряд людей особенно ярко и непрерывно чувствующих связи с «Иным», притом чувствующих не только в минуту смерти, а на протяжении всей жизни.

Не думай, что я один называю именно это «мистицизмом». Это — общее понимание (конечно, не специально ученых философов и пр.). Тут нет точного определения, но его и вообще нет для мистицизма в самом широком смысле, как нет определений для неисповедимых путей Божиих.

Вот что такое «мистицизм». Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это — моя природа. От него я пишу стихи.

Через него я полюбил Тебя. Бог один знает, как это произошло. И оттого я всегда говорю, что в моей любви к Тебе — необыкновенное. Непрестанно люблю, как молюсь. Знаю, что это не просто любовь — не такая, как между неведающими и неверующими. Я ЗНАЮ многое, БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГИЕ. Дай Бог, чтоб узнал еще и еще больше. Владимир Сергеевич Соловьев, человек редкой учености и энциклопедической образованности, по ночам плакал и молился розовой тени. Мне каждая вечерняя заря приносит слышанное обетование о Тебе.

Все неизменно. Но невыразимо грустно, когда Ты изгоняешь из меня меня же самого, как бесов. Если хочешь, мы не будем говорить о тайнах. Нам много можно говорить о будущем счастье, в реальность которого я верю совершенно. Но только позволь мне не убивать себя самого, свою душу, которая вся направлена к Тебе одной. Когда Ты говоришь «пожалуйста, без мистицизма», Ты как будто произносишь смертный приговор над моими стихами даже. А они поют Тебе и о Тебе...

30 марта 1903. Петербург

...Что с Тобой происходит, моя Светлая Радость? Отчего Ты не скажешь никогда прямо, почему все Твое существо возмущается вдруг против меня? Ведь Ты никогда ничего не говоришь об этом, кроме редких намеков, иногда ужасно горьких, почти всегда не прямых, скрытых, запрятанных так, что их надо раскутать, — и они



запоминаются особенно резко и особенной тяжестью какой-то неразгаданности ложатся на душу. Потом через два дня Ты опять приходишь, а я иду к Тебе навстречу и все еще теряюсь в догадках, никогда не зная, какова Ты, что произошло у Тебя в сердце, прекрасном, добром, молодом, благоуханном, неожиданно богатом и до того неоткровенном в самой глубине. Большая часть Твоих слов о чем бы то ни было содержит в себе еще что-то, что я силюсь и не могу понять. Самого глубокого тайника Ты и сама не знаешь и, по крайней мере, не можешь открыть мне, и не мне его узнать, может быть. Но отчего не сказать когда-нибудь хоть о том, что Ты сама называешь «нервами», и что, по-моему, лежит гораздо глубже простых нервов, и, во всяком случае, сложнее их бесконечно. Я подозреваю эту сложность, подозреваю сложнейшие чувства, целые лабиринты препятствий, по которым Ты часть не хочешь сказать, часть не можешь, часть ленишься, часть, *может быть*, боишься. Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайних резких и беспощадных чертах просыпается двойственность *каждой* человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марионетки, дергающиеся на веревочках, могут приходиться на ум и болезненно тревожить. Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное непрерывное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящие *счастье*, к которому нужно прийти так или иначе *сознательно*. Не скрывайся от меня, все, что только могу, я пойму и обдумаю, все, что Ты ни скажешь, приму, *как очень важное*. Помни, что все произойдет среди нас *двоих*, и, что бы ни произошло, будет как будто забытым для других *всех без исключения*, потому что моя *гордость Тобой* совершенно исключает все остальное и я уже никуда не возвращусь больше в этом главном души, просто *не поведу и не открою органически*. Теперь подумай: Ты внезапно становишься на такую точку, что я могу бояться за *все*. Как будто Тебе доставляет необъяснимое очарование сознание того, что Ты в одну минуту можешь распатать и свалить все здание. Боишься Ты этого очень (я думаю). Тяжело Тебе от этого непомерно. Вдруг останавливается всякое движение, еще минута — и душа совершенно опустеет (это называется «трах»). В Твоих руках в эту минуту все, и, если была у меня власть (ничтожная, слабая власть минуты, состоящая только в том, что вся жизнь напряжена и вся ее сила дрожит и трепещет от Твоего дыхания) — она вся распадается и обрывает все свои нити. После этого — мы расстанемся (обыкновенно еще тут играет огромную роль эта, специально наша, опять-таки сложнейшая психология разлуки, ее двухдневной перспективы, и т. д., и т. д.)... Ты не говоришь, у меня — тоже мысли, тоже заботы — и опять мы встречаемся и не знаем, *победносны* ли были эти два дня? Я не могу угадать, Ты молчишь, и мы оба



замалчиваем. Если говорить *по заказу*, — ничего не будет. Надо, чтобы *хотелось* говорить и было легко, а от разговора — еще легче. Надо привыкнуть друг к другу и легче относиться к окружающему. А для этого помнить не переставая, что я всегда с Тобой, где бы и при каких обстоятельствах это ни было, например, при разговоре с мамой (моей) и всегда всей душой около *Тебя* и за *Тебя*, что я боюсь дуновения ветра на *Тебя* и особенно зорек и придирчив, когда что-нибудь касается Тебя (впрочем, тут я говорю, конечно, не о маме, которая сама очень чутка и всей душой к Тебе; но — я все понимаю в этом, что Ты чувствуешь и думаешь). Для примера следующее: если при мне бранят Пушкина или «старую церковь», я буду возражать или соглашаться в том и другом *мягко*. Если при мне издали хоть сделают намек о Тебе, или о чем-нибудь Тебя касающемся, Тебе близком, или, даже, связанном с Тобой отдаленно, я буду до последней степени *резок* и совсем не перенесу малейшего недоброжелательства... Если это будешь *Ты сама*, то человеку, посмевшему что-нибудь сказать, будет очень неприятно. И Ты думаешь, что есть какая-то область, сравнимая с Тобой для меня! Когда *ТЫ* — источник всех сил и надежд; до такой степени, что я жизнь мою отдам за то, чтобы Ты теперь не мучилась так ужасно, как, например, сейчас мучилась, уходя. Делай, что хочешь, решай, что хочешь, будь определеннее (мож. б., *безжалостнее*) теперь, чтобы не запутать бесчисленных узлов и не довести до самого невыносимого и болезненного разрушения их в последнюю минуту. Помни, что все во мне будет похоронено, как в могиле, и никогда не выйдет наружу, что нет ничего святее и целомудреннее по мне, что это все «останется между нами» и *НИКОГДА* не будет вынесено наружу. Или — будем проще, будем говорить, будем опять-таки распутывать узлы немедленно, чтобы их не накопилось столько, сколько ни одна человеческая сила не может распутать.

Теперь скоро 3 часа, сейчас опущу письмо, перечитал его, но пошлю все-таки. Если Тебе совсем не по настроению будет писать, напиши слово «*Приду*» — и больше ничего (или, наоборот: «*Не приду*»). Говорю про вторник, 8 часов вечера... Я клянусь Тебе, что беру совершенно на себя — безраздельно все, что Ты решишь относительно нас теперь и в будущем (говорю неясно, но пойми). «Никто не соблазнится о нас» — и я сам не сделаю никакого «скандала» (вроде самоубийства). Письма, пожалуйста, не показывай никому. Если причины ближе, попробуй сказать мне о них, м.б. — написать. Я пойму, что в моих силах...

Люба. 31 марта 1903. Петербург

... Конечно, я приду во вторник. Я очень хотела бы написать тебе, чтобы ты не боялся и не беспокоился обо мне. «Граха» не будет и не может быть. Совсем не в нем дело. Но в чем — мне совершенно невозможно объяснить тебе. Я все-таки, может быть, даже попробую



написать тебе вечером, когда не нужно будет торопиться, но уверена почти, что такие вещи не высказываются. Только ты не думай, что мне нужно решать что-то, мне нужно бы только объяснить тебе мои idiotские поступки и настроения, а, для этого, правда, пришлось бы быть к себе очень «безжалостной». Мне кажется в этом случае нам лучше бы было говорить...

7 апреля 1903. Петербург

Милый, дорогой, не знаю, как и начать рассказывать. Папа, папа согласен на свадьбу летом! Он откладывал только, чтобы убедиться, прочно ли «все это», «не поссоримся ли мы». И хоть он еще не успел в этом убедиться, но раз мы свадьбы хотим так определенно, он позволяет! Началось это очень плохо: мы с мамой стали ссориться из-за этого же, конечно. Вдруг входит папа. Мама (очень зло, по правде сказать), предлагает мне сказать все сначала папе, а потом уже строить планы. Я и рассказала. А папа, совсем по-прежнему, спокойно и просто все выслушал, спросил, на что ты думаешь жить; я сказала, и папа нашел, что этого вполне довольно, потому что он может мне давать в год 600 рублей. Теперь он хочет только поговорить с твоей мамой о подробностях, узнать, что она думает. Я прямо и поверить не могу еще, до чего это неожиданно! Мы-то думали ведь, что папу будет труднее всех уговорить, а он смотрит так просто и видит меньше всех препятствий. У него вышло все так хорошо, что и мама сдалась, хотя и пробовала сначала возражать, приводить свои доводы. Жаль ужасно, что мы с ней опять поссорились. После разговора с папой я пошла просить у нее прощения за первую ссору, а вышло еще хуже. Но я непременно помирюсь с ней завтра. Теперь все зависит от нас, т. е. от тебя. Бедный, мне тебя жаль — столько придется обдумывать, устраивать, хлопотать, ужасно много надо будет энергии и воли. Я-то помочь ведь почти не могу, знаешь ведь, какая у меня энергия. Хорошо хоть, что не очень долго все будет продолжаться, потом «мы отдохнем, мы отдохнем!» А все-таки, бедный ты! Не привык ты к таким скучным, практическим делам. А тут еще экзамены твои! Ты думай все время обо мне, а у меня нет минуты, которая не была бы твоя. — Мы сейчас, утром, помирились с мамой...

Блок. *7 апреля 1903. Петербург*

Моя Милая, моя Дорогая, сейчас я получил письмо. Счастлив без конца. Весь день были ужасные разговоры. Все измучились... Думаю, что будем венчаться осенью, потому что за границу ехать надо. Что Ты думаешь об этом? Потом останемся в Шахматове. Обо всем нужно говорить. Завтра приедет мама. Нужно скорее написать отцу. Твой папа, как всегда, решил совершенно необыкновенно, по-своему, своеобразно и гениально. О пятнице думаю, как об обетованном дне. Моим думам о Тебе нет и не будет конца...



19 апреля 1903. Петербург

... Должно быть, я слишком много пишу Тебе. Но я не могу иногда не писать. Я совершенно не могу иногда не говорить с Тобой, потому хоть пишу. Такой полноты счастья у меня никогда еще не было. Таких настроений — тоже никогда. Были сплошные таинственные восторги одиночества. То было совсем не так. Потому что я знал, что следующий час будет опять в затишьи. Теперь я знаю, что Ты завтра придешь, и этим живу. У Тебя будут новые очарования; а у меня — снова открытое сердце. И кроме того, самое главное, все это совсем не так, и совсем иначе, а как, я никогда не могу ни сказать, ни написать. Но это ничего, потому что Ты знаешь, как...

Люба. *21 апреля 1903. Петербург*

...Ты изгоняешь бесов, вот что! Я сегодня тиха и кротка так, что даже жаль, что ты не увидишь. Но я твердо решила изо всей силы держаться за такие настроения, вот увидишь в четверг, какая я могу быть смиренная, смиренная...

Я рада, что мне удалось так скоро тебя послушаться и понять. Теперь не нужно будет рассаживаться по разным углам, все будет хорошо так, само по себе.

Я не раскаиваюсь и не прошу прощенья, за то, что было, — ты не можешь на меня сердиться. Ведь в этом безумии вся моя душа, она тобой, тобой, тобой распалена, и только ты же своим приказаньем можешь укротить ее, потому что я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной, что хочешь... Вот у меня теперь опять такое время, что я усиленно чувствую себя твоей Дианкой; так хочется быть около тебя, быть кроткой, кроткой и послушной, окружить тебя самой нежной любовью, тихой, незаметной, чтобы ты был невозмутимо счастлив всю жизнь, чтобы любить тебя и «баловать» больше, чем мама.

Тяжело не видеть тебя так долго, я уж стараюсь не думать, что еще целых три дня. Да и в четверг мне ведь можно будет придти только вечером, помнишь, я говорила тебе, что надо идти в школу.

...Вечером приду, как всегда, ты можешь и не ждать, как хочешь, впрочем.

Напиши мне, пожалуйста, доволен ли ты мной, что ты думаешь, в каком ты настроении.

Мне хочется тихо и покорно целовать твои руки...

Блок. *21 апреля 1903. Петербург*

... Сейчас вернулся, скоро 12 часов. Главное, будь спокойна, не очень волнуйся. За Тебя я беспокоюсь и мне очень больно, что Твое молодое и прекрасное время так тревожно, и главное — тревоги все какие-то не молодые и не прекрасные, и разговоры Твои с мамой все тяжелые и не тонкие. Совсем Тебя не шадят, Тебе совсем *не нужно* говорить о том, о чем говорится, и это — самое горькое и самое



несправедливое. Когда мы будем жить вместе, Ты увидишь, что *можно* не говорить о многом, о чем не хочется или неприятно говорить. А теперь я Тебе прямо говорю, что я *не понимаю*, как это выходит, что такая «серость» забирается во все без исключения самые святые и самые неприкосновенные тайники. Я старше Тебя и мужчина, и прожил всю жизнь без этих навязчиво-ненужных подробностей, какого-то обихода, который только тогда имеет значение, когда к нему относятся не кисло. И, главное, все это ведь не настоящая практика и не окончательная трезвость взглядов, которую я могу понять, а какие-то мелочи — дрянь, из-за которой нечего трудиться. Ведь никому не весело и никому не хорошо, значит никто ни йоты не выигрывает, к чему же все это? Все устроится, будь спокойна, Ты можешь, потому что Ты — добрая, ласковая и милостивая. За все это прости, я, право, только из-за Тебя, да я и пойму, может быть, все это, если только увижу хоть какую-нибудь причину. А я сам в этом трескучем и докучном шепоте не теряюсь, у меня только разгорается душа, и я все яснее, яснее и яснее знаю о Тебе, о нашем счастье, о нашей свободе, о красоте нашего близкого будущего. Право, незачем все это, все пустяки какие-то, что-то несерьезное и какие-то полумеры. Тебя жаль так, как никогда, помни, что я отдам Тебе все, что в силах отдать. Мама сейчас приехала, говорит, что, когда Тебя видит, не знает, что ей сказать. Нрависься Ты ей с каждым разом все больше, и очень она Тебя любит.

А я Твой безраздельно и вечно, Ты знаешь, что об этом нечего говорить...

Люба. 27 апреля 1903. Петербург

...Когда я буду с вами, и мама увидит, что я не «отгораживаюсь», увидит на деле, как я отношусь к ней. Мы не можем не быть счастливы все, все!.. Так бы хотелось знать, что ты спокоен и весел и что мама не сердится больше на нас. Скажи ей про меня что-нибудь хорошее, если есть что...

Блок. 25 апреля 1903. Петербург

...Я опять пишу Тебе. Мне ужасно трудно, больно и тяжело говорить об этом. Мы с мамой сегодня утром ужасно поссорились, а теперь помирились. Она ужасно обиделась вчера, и вообще ей все время кажется, что мы хотим не обращать на нее никакого внимания. Ты знаешь, до какой степени она от всей души делает все. Она — ужасно больная и ужасно нервная. Ведь Ты поймешь, в каком смысле она обиделась? Ты не сердись на меня сразу за это, а подумай, что нам надо жить вместе. Нельзя ее так игнорировать. Ведь Ты знаешь, как я это говорю и что Ты для меня. Пойми все это, ради Бога, если Ты любишь меня, и не сердись на первое слово. Ведь я не за нее заступаюсь, потому что Ты знаешь, что мне нельзя заступаться перед Тобой даже за нее. Но мне ее невыразимо



жаль, и она так несчастна все эти дни, если бы Ты знала. У меня душа болит за то, как ты отнесешься к этому письму. Если Ты сразу примешь враждебный тон, как вчера, когда я хотел пойти к маме, чтобы сказать ей, чем все кончилось, — нам нужно решить не жить вместе, а жить отдельно, не на этой квартире. Ты знаешь мои отношения с мамой всю жизнь — это совсем необыкновенное. Я для Тебя сделаю все, Ты знаешь. Если Ты не сделаешь этой уступки, тогда нам нужно будет уйти. Но разве Ты не видишь и не чувствуешь, что тут, как это сравнительно просто улучшить, — к чему же, к чему же? А Ты знаешь, почему мы никогда не выходим и не пускаем к себе маму. Брани меня, как хочешь, называй холодным или еще хуже, но Ты все увидишь и поймешь потом, если захочешь, если любишь меня. Господи, как все это трудно и тяжело, если бы Ты знала, если бы Ты видела, если бы Ты слышала все эти наши разговоры. Ты снизойди и будь милосерднее. Я пишу, потому что знаю, как Ты можешь быть милосердна. А если рассердишься и не захочешь понять, тогда скажи определенно, жить или не жить вместе на этой квартире. Завтра я жду Тебя. Будь благосклонная и добрая, как Ты умеешь, и прости меня за все это...

Люба. Б.д. 1903.Петербург

...То вспоминаю, то представляю себе, что будет дальше; и все такое хорошее, все «несбыточные мечты» так несбыточно, сказочно сбываются. Ведь вот ты не знаешь, как я тебе благодарна, прямо-таки благодарна за твою любовь, за счастье. Иногда тебе кажется, что я становлюсь равнодушной; это когда я устаю быть откровенной, до такой непривычной степени устаю открывать тебе, отдавать в твои руки всю душу. Тебе кажется тогда, что душа закрыта для тебя, ты не видишь ее; а всегда, всегда каждое твое слово, взгляд, ласка проникает ее всю, она жадно ловит их и хранит все, и дрожит от счастья, и благодарна тебе, и любит, любит, любит. Вот мне не хватает слов, не нужно бы писать все это так по-детски некрасиво и слабо, а хочется иногда, вот как сейчас, хоть как-нибудь сказать, хоть так уж, если не умею лучше. А в твоих словах всегда музыка и сила и красота; ты не думай, я всей душой понимаю их музыку и ее смысл, за смыслом самих слов. Пусть слова старые иногда, но я всегда слышу их новую музыку, новую с каждым разом. Я, может быть, понимаю немного больше, чем ты думаешь, чем это кажется из того, что я говорю; конечно, почти всему научил меня ты; еще давно началось это переучиванье, с «мистического» года, и все это верно так подошло, что ли, ко мне, что кажется, будто и мое собственное...

Блок. 8 мая 1903.Петербург

Отчего Ты всегда думаешь, что в Твоих письмах «идиотский тон»? Я люблю его, как все, что от Тебя. И, кроме того, что я его люблю, в нем вот что: женская, женственная, до глубины женственная



манера, будто вялая, на самом деле — тонкая, нежная, как тонки буквы. Я люблю всякую букву. Буквы все убегают в длину фраз, а фразы длинные, как жемчужная нитка — нижутся, нижутся слова о любви. Вот, например, передо мной письмо от 12 ноября — две страницы, а все состоит из трех фраз, из которых две разделены только многоточием. И все о любви. Не ленивое и не вялое — и какое женское! До чего нет ни тени грубости, а когда пишет мужчина (настоящий), всегда даже должно быть, пожалуй, резче. У Тебя письма цельные, в них есть и Твой профиль, и Твои движения. Благоухание Твоих писем в том, что они — будто холодны, сначала. Потом — верность и неуклонность, какая-то вера помимо времени, вера сверх минуты, будто мгновение из жизни, а не из мгновения жизнь: нет принуждения (кроме внешнего), пишется, как пишется. И вся лень Твоей походки, «мягко-ниспадающей», призывной для избранного... Обаяние скатывающейся звезды, цветка, сбежавшего с ограды, которую он перерос, ракеты, «расправляющей», «располагающей» искры в ночном небе, как «располагаются» складки платья — и с таким же не то вздохом, не то трепетом и предчувствием дрожи. Ты не оправдывайся в письмах, я знаю их, знаю, о чем они. В них — мои вести и мои сказки. Между строк вырастают для меня предания о временах прошедших и будущих. И где же лучше располагать эти предания, как не между строк *Твоих* писем. Малая церковь Твоя — для меня эти письма, и я бы хотел украшать их любовной живописью. Ношу с собой последнее письмо и перечитываю, распеваю в сердце, учусь мелодии Твоей лени, Твоих линий, Твоего ума. И вся Ты передо мной за исключением того, чего я не знаю, чего узнать все не могу, что и Ты не расскажешь, потому что не знаешь сама, — то тайное, любимое дуновение, от которого Ты — сказочная Царевна...

Люба. Б. д. 1903. Петербург

Мой дорогой, не буду тебе много писать, в голове нет ничего, кроме беспорядочных отрывков из русской литературы. Держала экзамен около 8 часов вечера, получила 5 за отцов церкви и за Голубиную книгу. Шляпкин очень добродушно улыбнулся на мое кольцо, советую и тебе одеть, когда будешь держать. Очень мне неприятно писать такое холодное и глупое письмо, а лучше не могу. Напишу завтра, может быть. А твоего письма жду ужасно, напиши и завтра, вот хорошо бы опять по несколько писем в день, как бывало прежде, а то теперь мне делать нечего и будет скучно, скучно без тебя. Какое впечатление произвел на всех ваших родственник вечер?..

Блок. 15 мая 1903. Петербург

...Ты увидишь меня другим и, дай Бог, чтобы лучшим, чем я теперь. Теперь уже всплывают передо мной мои вины перед Тобой за это последнее время. Молчу, когда нужно говорить, или наоборот —



и, вообще, мало чуткости и мистического внимания к Тебе. Моя Дорогая, моя Милая, моя Несказанная, до чего я опять хочу сегодня быть с Тобой вдвоем *только* и больше ни с кем никогда. Отделиться от всего стенами, не слышать ии одного звука других голосов, не видеть ни одного лица. И, точно так же, не знать и не верить ни одному событию, ни великому, ни малому из посторонних нашему счастью. Знаешь, что это такое? То, что я давно почти ничему не удивляюсь, очень глубоко все знаю и потому не осуждаю уже никого и никогда просто. Давно известно то, что еще удивляет и пугает многих, многое из этого уже скучно и ненужно. Ты знаешь, что это *не* апатия, и ничего подобного. Но устаю от обычного и не всегда хочу совсем необычного. Теперь вот это так. И потому, вот в эту минуту, чувствую, что мне нужно особенно того, что Ты, кроме совсем необычного и Одной Тебе свойственного, можешь дать мне — одна во всем мире: женской любви — *женской*. Это и есть то наше отдельное и наше будущее, о чем я сейчас думаю: одни стены, одна комната, одна обстановка, одни мысли, одно и то же чувство, одна душа, полное «сочувствие» — то, что дается *только* одним условием — брака; *не* страсти, *не* маскарад, *не* маски, *не* цыганские песни, *не* искры в глазах среди пестрой толпы. Все это будет еще, как было, никуда не ушло, и Тебе и мне дорого и необходимо. Брак *НЕ* исключает этого, я знаю. Но то, о чем я говорю в эту минуту, возможно только тогда, когда мы будем связаны неразлучно. Чувствуешь ли Ты, как я вот сейчас, что беззаконность и мятежность совсем *не* исчезают в браке, они вечно доступны, потому что мы, как птицы, свободны и можем, как птицы, замирать и биться высоко в воздухе, с тем же криком, с тем же клетотом и призывностью молодой свободы. И знаешь ли Ты еще, что *законность* и безмятежность также необходимы в другие минуты, доступны *только* знающим о неразрывности своих связей, проникшим глубоко в тайну своего, отделенного от всех других, круга, имеющим *право* не впускать в него *никого*, ибо «что Бог соединил, человек не разлучает». И Ты думаешь еще, что я «жалею» чего-то. Ты не жалеи, а я то уж никогда не буду. Что же для меня *все* остальное (если хочешь, даже все остальные женщины, ибо это единственное, о чем мне, Ты думаешь, можно жалеть?), когда я так твердо и так неоспоримо знаю, что мне, кроме Тебя, никого не нужно? И может ли быть иначе, когда я все время чувствую, день ото дня сильнее, всевозможную связь с Тобой? Если бы Ты теперь вдруг, почему-нибудь, отошла от меня, я совсем не мог бы остаться. Что уж говорить о грехе, когда самоубийство стало бы глубоко законным для меня, и ни одна струна не шевельнулась бы во мне против него. И ты думаешь, что я жалею!

...«Родственный вечер» произвел хорошее впечатление, Ты не беспокойся. Твой папа вот какой: он давно *ВСЕ* знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не



бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм, и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда — беспокойно. И никому из Твоей семьи не спокойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это всепознание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех, кто к нему приходит. Но он никогда *не захочет* поверить, и ему *не надо* верить в то, что кто-нибудь может быть с ним откровенен и прост. Это ему очень тяжело, но он верит, что иначе не может и не должно быть, и никто в мире не убедит его в противном. Он считает необходимым долгом, например, «занимать» и т. п. Иначе он никогда делать не будет, но это ему тяжело и часто невыносимо, даже физически. Твоя мама страдает, между прочим, и от этого, и, вообще, до какой степени я понимаю, как она может страдать и от чего, — и мне часто ее страшно жаль, а в прошлый раз хотелось все время как-нибудь ей это выразить и ее приласкать. Но что этого нельзя было сделать и вообще делать нельзя (по крайней мере теперь) — это я тоже вполне и до конца знаю. Дай Бог, чтобы мама поправилась нервами летом. И больше всего на свете, я чувствую Твою жизнь, Тебя и то, сколько будет счастья...

Люба. Б.д. 1903. Петербург

...Ну, как отвечать на такое письмо, как твое последнее? Слишком хорошее оно, я не могу об нем писать.

Я даже совсем не хотела бы писать тебе сегодня, ничего не выйдет, да боюсь — ты испугаешься. Вообще, пожалуйста, не беспокойся обо мне, уж буду сидеть дома, для тебя.

Завтра уезжает мама сначала в Боблово, а потом к тете в Ростов, и вернется с ней по Волге; это очень хорошо, она и отдохнет и развлечется. А мне приходится оканчивать массу дел, так что я опять буду очень занята. Прости, но я, право, что-то совершенно не в состоянии писать сейчас. Перечитала опять твое письмо, не хочется после него писать о «делах», а хорошего не могу. Уж не сердись, ведь ты знаешь, что я не мастерица на слова и знаешь все, все, что я могу сказать тебе после твоего письма, что я чувствую. А от тебя жду еще, пиши, милый! Приходи пораньше 17-го, может быть прямо из фотографии к обеду, уж теперь совсем запросто, мамы ведь не будет. Или как хочешь, только пораньше. Уж я не хотела жаловаться на твои противные занятия, да не могу, уж очень скучно не видеть тебя так долго...

Блок. 16 мая 1903. Петербург

...Всякая вещь говорит о Тебе. Всякое настроение говорит о Тебе.

Разве у Тебя много «дел»? Тебе нужно еще (кроме той бумаги, которая у меня) «разрешение родителей» и метрическое свиде-



тельство. Скажи еще мне завтра, когда будет перебита мебель. Ее бы лучше прислать при нас. И вообще, Ты рассказывай мне «дела», мне интересно и нужно знать. Очень хорошо, что мама уехала в Боблово и к тете, она, правда, отдохнет. Я все думаю о том времени, когда мы будем совсем вместе и совсем вдвоем — и не знаю, как думать. Сон какой-то.

Вчера вечером и ночью я постигал всю бесконечность. Прощал все одушевленные и неодушевленные существа. Но это, как часто, досталось не легко. Опять приходил «Он» (чорт?) и пугал. Он очень неотвязен. Вчера показался мне простым, грустным и мутным. Впрочем, я никогда еще (кажется) не видел Его, а только чувствовал Его присутствие. Вероятно, Он бросит свои старые приемы — пугать бесконечностью и «растягивать» время, пространство и цепь причин. Будет ласкаться по-собачьи.

Сегодня Его нет. Завтра будет Дева. Все это мне известно, потому и пишу так просто Тебе, которая должна знать это обо мне.

Завтра приду пораньше. Знай, что я весь — Твой и больше никому не принадлежу. Все, что во мне шевелится и живет — для Тебя...

Люба. Б.д. 1903.Петербург

...Лучше бы я не обещала тебе писать, ты ждешь, а написать что-нибудь сегодня невыносимо трудно, почти невозможно. Ну что я тебе скажу? У меня еще не настолько смягчилось, раскаялось сердце, чтобы слова находились сами. Я не могу еще так раскаяться, пожалеть тебя за все несправедливости, которые я тебе говорю, за всю мою жестокость, чтобы защемило сердце, чтобы я заплакала. Когда я ужаснусь того, что я сделала, я найду слова, я сумею все загладить, может быть, заставить забыть. Трудно забыть и простить такую эгоистичную, бессмысленную жестокость, как моя, но я знаю, что ты любишь и простишь, даже забудешь. Ведь это отвратительно так — рассчитывать на силу твоей любви, после всего. Ну, прости меня, не беспокойся; ты только прости от всего сердца, всей любовью, и ты не будешь ничего бояться, ты увидишь, что ведь не всегда же я такая, что это прошло. Не буду оправдываться, не имею права, ты сам прости! Ты ведь сам знаешь, что я твоя всегда, что чтобы я ни делала, мне не уйти от тебя, и хоть я не достойна тебя, твоей любви (если бы ты знал, как я это теперь чувствую), все-таки я на век твоя, твоя. Напиши мне, ради Бога, не скрывая ничего, все, что ты думаешь, хоть и не стою этого...

Бекетова. В июне... Александру Александровичу пришлось опять сопровождать мать в Наугейм. Снова обострилась ее сердечная болезнь. На шесть недель приходилось расставаться с невестой. И переписывались они в то время деятельно...

Глава III. «Я ревную Тебя к ветру и воздуху...»

Блок. 29 мая 1903. Бад-Наугейм

...Вчера вечером мы приехали в Наугейм совершенно удачно, т.е. в смысле крушений, потому что остальное на железной дороге было отвратительно для мамы и для меня неприятно. Нашли виллу в тот же вечер, комнаты внизу с пенсионом. Сегодня ходили по городу и парку и были у доктора. Относительно мамы он сказал не очень ободрительно (нашел у нее еще, кроме порока сердца, ревматизм, по-видимому, сердечный), а относительно меня сказал, что я совсем здоров, только *einwenig** нервен и малокровен и т. д. . .

Я оторвался от Тебя как-то вдруг. Точно без приготовления и прямо вслед за «треггим звонком». До этих пор точно ничего не было, даже все приготовления к отъезду были чужды и мало заметны. Все, точно я еще держал Твои руки и целовал их, и вдруг Ты судорожно обняла и бросила, и ушла в толпу, и там только Твоя фигура видна с отходящего поезда. Это — последнее.

Вот почему я чувствую теперь «роман». Понимаешь? Не только, как жених к Невесте, но как-то еще, точно не сбылось. И меня дразнит и манит еще какая-то новая неизвестность Твоего обаяния. Вижу, что будет опять новее.

Расстояние так громадно, что я не могу подозревать, что Ты будешь чувствовать в ту минуту, как получишь письмо. И это опять меня дразнит. И оттого такие тяжелые «сухие» слова. Уж слов мало. Я совсем не могу и приблизительно ими сказать всего — и т. д. Понимаешь?

Ты осталась одна. Но только Ты не ушла в толпу и не слилась с ней. Ты точно поднялась из нее — и высоко остановилась. Вот — миг один, и моя душа сочтет Тебя Девой Марией. И она считает и считала Тебя Ею. Но *сказать* этого уже нельзя, это можно только *знать*. И знаешь это Ты, и знаю я. Но еще и еще мы знаем бесчисленное. Мы знаем вот теперь, в эту минуту (все равно — и Ты, и я), что Твое лицо живет, и пылает, и дышит. Оно прекраснее всех лиц человеческих (сегодня я видел без числа курортные женские лица, но — Боже мой!) Твои руки выточены и белы, их движения божественно-величавы. Но Тот, Высокий и Сильный, разлил по ним яркую, требующую кровь, и Ты вся горишь этой кровью. И я, только взглянув, только вспомнив, сам вспыхиваю.

У нас будет время требований. Ты будешь требовать, Твое великолепие будет требовать. Твои руки откроются и замкнутся. Я не то пишу. Я не о том пишу и не то хочу писать. Я весь, весь, весь исполнен Тобой. Нет места «другим». Ты знаешь, Ты слышишь, Ты видишь, Ты чуешь. Больше *не надо* писать сегодня...

* Немного (нем.).



Люба. 29 мая 1903. Петербург

...Писать нечего, знаю, что опять письмо не выйдет, и не могу пропустить дня, хочется хоть так говорить с тобой, мой ненаглядный голубчик, миленький мой! Я еще не получила твоего письма, и так его жду. Как хорошо, что твой портрет так удался, я все на него смотрю, когда дома. Вот и теперь он передо мной; теперь вечер, часов 10, я сижу у стола, кругом твои тетради, твои книги и все это так дорого, когда тебя нет. Сегодня я опять весь день бегала по городу; все выходит довольно хорошо, но еще что-то очень много дела, я еще и представить себе не могу, когда все кончу. Так хотелось тебе писать, а теперь вдруг трудно, не пишется; и устала опять, и внимание разбилось на мелочи. А жаль отправлять такое короткое письмо, такое неинтересное, ведь тебе будет неприятно. Ну, хочешь, расскажу, как было после вашего отъезда? Я стояла и смотрела, пока поезд скрылся; все меня ждали; потом мы пошли все вместе, все делали вид, что не замечают, что я «ultiérement»*. Папа встретил меня довольно расстроенный, жалел меня, хотя я и делала для него спокойный вид.

Нет, родной мой, лучше кончу, не пишется, прости! Совсем выходит не так, как на душе...

30 мая 1903. Петербург

...Верно, завтра получу от тебя письмо, мой родной; жду его ужасно. И ты, верно, или сегодня, или завтра получишь мое; бедный, так долго без вести обо мне, уж верно ты и беспокоишься, и скучаешь; я-то хоть одно получила уже.

Я читаю твои стихи, когда дома. Старые (Ксеньины и Катенькины) уж не мучают меня, как прежде на Серпуховской. Кстати, Ксения тут?

Глупо, что я пишу о неприятном для тебя, а мне что-то стало совершенно не обидно, и не страшно их всех, даже когда читаю стихи про них. Только иногда вспомнится прежний ужас и тоска на сердце, но как-то спокойно; примиренно. Теперь зато сильнее это удивительное чувство, когда читаешь стихи мне, обо мне; не подобрать слов для него; жаль, что ты его никогда не испытываешь.

Как время идет долго, ведь мы вот не виделись всего четыре дня, а представить себе этого нельзя, кажется, что уже бесконечность целая прошла. Ведь тебе так же? Вообще мне хочется поскорей, поподробней узнать, как, что ты!

...Мне наконец захотелось в Боблово, на свободу от хлопот и посторонних людей. Поеду, верно, одна...

Еду почти наверно 4-го июня.

Папа приедет в начале июля и собирается ехать с детьми недели на 2-3 по Волге; звал и меня; мне жаль было ему сделать опять

* До последней степени (*фр.*).



неприятное; отказаться; но он, конечно, понял и не обиделся, когда узнал в чем дело...

Блок. 31 мая 1903. Бад-Наугейм

...Настал вечер, и я нашел себя. Нашел великую, бьющую волнами любовь, сердце, как факел, все дрожащее и бьющееся. Нашел Твою песню в воздухе. Лица людей слились с ночью, их не различить, и они не мешают. Жадно и сильно вспоминаю; ночь сырая и звездная. Ты, Ангел Светлый, Ангел Величавый, Ты — Богиня моих земных желаний. Я без конца буду влюбленный, буду страстный, буду Твой поклонник и раб. Если иногда будут времена упадка и слабостей — ничего. Я впился в Твою жизнь и пью ее. Вся тебе знакомая сложность, может быть вычурность, моих рассудочных комбинаций временами, как теперь, бросается в сердце, там плавится и пылает, и все это, как огромный бушующий огонь, я чувствую и знаю, будет по-земному, по-здешнему — Твое до конца, без разделений. Будет время, которое оглушит меня самого. Я ни о чем не буду думать, буду только весь в одном чувстве. Так бывает, поверь, поверь! То, что Ты называешь не непосредственностью, вдруг будет непосредственным. Знаешь ли Ты, что меня страстно влечет к такой жизни, к такому вихрю. Пусть «роман» — он прекрасен. Пусть все, что угодно, не нужно ни слов, ни названий, ни дум, ни сомнений, ни рассудка. Я точно усну на то время, буду совсем другой. Не будет того «смеха», который давил Тебя, помнишь? Я уж говорю прямо. Будет, как служение, как молитва, как ураган — без тишины, без успокоенности. Знаешь ли — без «тихого угла», без «семейности», будешь Ты и буду я — одно. Об этом вихре, об этих мгновениях сладких и безумных, о которых мы всю жизнь не забудем, теперь мне говорит память о Тебе. В Твоих глазах, в Твоих движениях, в очертаниях Твоих, в Твоих дрожащих руках я видел и узнал это — то, что будет. Я никогда не знал истинной влюбленной страсти — этого поразительного сочетания. Как же можешь Ты отрицать во мне возможность почувствовать ее? Я говорю Тебе, что я все забуду. Я уже теперь забываю все. Я влюблен, знаешь ли Ты это? Влюблен до глубины, весь проникнут любовью. Я понимаю, я знаю любовь, знаю, что «ума» не будет, я не хочу его, бросаю его, забрасываю грязью, топчу ногами. Есть выше, есть больше его. Ты одна дашь мне то, что больше, от этого и свято все наше прошедшее. Оно передо мной, как громадная, бесконечная, сложная, красивая, движущаяся змея. Всей этой истиной последних 5-ти лет, сплошь заполнившей жизнь, наводнившей ее, я живу и буду жить. Лучшего не было. Но все это лучшее покрывает один зовущий звук Твоего голоса. Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, «декадентско-мистических излишаний», «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки в моей, ночь, лес, поле, луны красные



и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву. Опьяненности и самозабвения какими угодно средствами — пусть опера, пусть самая элементарная музыка, самые романтические бредни итальянских любовников, романсы со словами «розы — слезы», «мечта — красота», «вновь — любовь» и т. д. Только пусть голос поющего призывающий, пусть Ты около, Ты, гибкая, как стебель, влюбленная, зовущая в ночь — и знать, что замолчит голос, потушат огни — и мы уйдем, и будет ночь, и будем вдвоем, и никакие силы не разделят, и будет упоение и все — забвение, сила сплетающихся рук, Твои поцелуи, Твои белые зубы, Твои плечи, Твое благоуханное дыхание, замирающие движения, красота, страсть и безумья долгих мгновений. Чтобы знали оба, что принадлежат друг другу во всем, и был ответ на вопрос без слов и без мыслей. О, я знаю, что это может быть! Я не напрасно полюбил Тебя, не напрасно вызвал Тебя из Твоего отрочества я, а не другой, мы не напрасно подали друг другу руки. Мы влюблены и верим друг другу. И многих, и многих слов уже не нужно.

Ты не хочешь верить, как я чувствую, а не только понимаю то, что Ты говоришь иногда, как будто раскаиваясь, что сказала. Я с Тобой единоклубен, одушевлен одним и тем же, отзываюсь не всегда оттого только, что разные впечатления предшествовали или сопутствуют этому. Но отзовусь и запою одним голосом какой Ты хочешь страсти, до бешенства и безумия пойму и приму все, отдамся весь Тебе и Ты мне. Эти времена будут повторяться и будут прерываться, так нужно и так, Ты знаешь сама, неизбежно, но еще мы оба знаем, что это ничего, что у Тебя самой будут перерывы. Так будет волнующаяся жизнь, и мы будем опьяненные высоко, на гребнях волн, и будем стремительно, в вихре и пене нырять до самых глубоких и тайных проникновений в жизни друг друга. Оттого мы совсем узнаем и поймем друг друга только тогда — и во все остальные мгновения будет памятно это стремительное и бурное познание друг друга без мыслей и разговоров, без слов и рассуждений. Так Ты хочешь, я знаю, но знай, что и я хочу именно так, не иначе. Я хочу быть без конца влюбленным в Тебя и Твою духовную и телесную красоту (прости!) и сердцем, сердцем, сердцем узнавать и любить. Поэт же, как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного он откроет сердце, а не ум и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а не на идею. Корень творчества лежит в Той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но, если она потребует и захочет, теории отпадут, и останется один этот живой и гибкий корень. Так и я теперь, верно, опять приближаюсь к т. н. «эротической» области поэзии, в стихах, которые скоро будут, мелодия уже поет иначе. Пока все еще поет одна мелодия, слов нет. Но я уже открываю глаза, понимаю



небо и землю, встаю из праха, исполняюсь гордостью о Тебе. Со-
держания и слов еще почти нет, но уже знакомое чувство близко.
Так бывает перед стихами. Когда напишу, пришло Тебе. Если и со-
держание будет не совсем то, Ты не обращай внимания. Наверное,
будет песня рыцарского склада, там прислушаюсь я к цветению роз
красных, розовых и белых на Твоей груди и на Твоем окне. Руки
Твои белые, изваянные, дрожащие, горячие, прижимаю к губам,
мое Откровение, мой Свет, моя Любовь...

Люба. 3 июня 1903. Петербург

... Сегодня я провожу последний вечер на этой квартире, завтра
уезжаю. Я уверена, что ты не можешь себе представить, до чего му-
чителен каждый час расставания с прежней девической жизнью.
Точно я хорошо себя, точно никогда уж мне не видать весны, не ви-
дать ничего, что до сих пор было счастье и радость. И до отчаянья
жаль и последней весны моей, и комнату мою, и родных, и косу
мою, мою бедную косу девичью. Ты пойми, что я люблю тебя по-
прежнему, по-прежнему вся душа стремится к тебе, только к тебе.
Да если бы это не было так, разве можно было бы выдержать это
разрывание сердца; будь хоть чуть-чуть меньше моя любовь, и я все
бы бросила, от всего бы отказалась, только бы не отрываться, не
отрываться так мучительно от прежней жизни, только бы еще раз
видеть весну.

Это чувство до странности связано с прошедшей, кончившейся
весной, моей «последней» весной; мысль о «последней весне» прямо
преследует и доводит до слез; и жалко, что провела ее в городе, что
пропустила ее — последнюю-то. Успокой, утешь меня! Скажи, что
не умру я прежняя, останусь та же, что и я увижу еще весну, увижу
весну еще, еще и еще, что ты так ласково, нежно расплетишь мою
косыньку девичью, что и не заплачу я. Скажи, скажи мне скорей,
чтоб не боялась я, чтоб не плакала...

Блок. 5 июня 1903. Бад-Наугейм

... Душа моя, Любочка моя, Ясноокая моя Зоренька, не послед-
няя Твоя весна. Знаю это твердо, как то, что весь я Твой, для Тебя
на свете живу и для Тебя каждую минуту умереть готов. Больше
мне говори об этом, распинай меня, терзай меня, как Твое Бедное
Сердце захочет, бей меня Твоими нежными, сладостными, бес-
смертными словами,— а я буду и буду говорить Тебе, у ног Твоих,
что Твоя весна не последняя, Ты еще, еще, еще, еще увидишь, ус-
лышишь, почувствуешь, я ее не отниму у Тебя, я Тебе ворочу ее,
и весны Ты узнаешь еще, и счастье, и ласку, и нежность мою Ты
узнаешь, ибо несравненна моя любовь, мое обожание. Не мучайся
Ты так, не терзай себя, не плачь. А то, плачь, от слез легче, я все
Твои слезы приму, каждую слезинку на сердце положу, с собствен-
ной кровью смешаю. Я не зверь, не жестокий, не бесчувственный,



я бережно и нежно буду слушать Твое сердце. Вот, не полегче ли? Не свободнее ли? Не лучше ли? Не меньше ли болит Твое сердце? Я бы все боли на себя принял, все бы за Тебя выстрадал, если б только можно было. Ты успокойся, будешь Тихая, Тихая, а я буду Твое дыхание слушать, ворожить и гадать буду, углубляться буду, Волю Твою свято исполнять и хранить, законы Твои соблюдать. Приказывай, приказывай; знаешь, какое мне счастье Тебе хоть малое утешение дать. Вот я и сказать не могу ничего. А Ты и так видишь. Только помни Ты, моя Милая, что будет счастье, будут весны, все будет, так мне нагадывается, такое предчувствие во мне, так по судьбе выходит. Не оставляю я ни на минуту мысли о Тебе, Ты плачь, если легче, а я уж с Тобой вместе буду, никуда не отойду, косу Твою беречь буду. Не заметишь, не узнаешь, без горя, без боли, без страдания, моей Царицей станешь, моей Госпожой, моя Ненаглядная, моя Ясная. Уж поможет нам в этом Бог, верю, что поможет. Пиши, лучше ли Тебе или все больнее, а уж я все Твои страдания сам почувствую, никому не расскажу, знай хоть, что заодно с Тобой распинаюсь, может быть все-таки легче будет. Уж я почувствую хоть не так точно, только не слабее, весь в Тебе повторюсь. Только я сквозь всю боль Твою Счастье чувствую и новую весну будущих лет и сам не знаю, куда броситься — в Страдание Твое или в будущее Счастье Твое. Будет Оно, будет, будет, будет, я недаром говорю, и Весна будет — все будет, в Бога веруй, мне верь, слабому, жалкому, Тебе навсегда, навеки отданному. В ноги Тебе кланяюсь, туфельки Твои целую. Твой до безумия, Твой навеки...

Люба. 8 июня 1903. Боблово

...Милый, дорогой мой, ведь вот какая я несправедливая; сегодня не получила от тебя письма и уж готова и обижаться, и беспокоиться, когда сама так лениво тебе пишу.

Только ты мне все-таки скажи, что будешь иногда пропускать день, чтобы я не беспокоилась, не думала, что что-нибудь случилось... Пишу вечером, пишется лучше, а днем совсем трудно. Хотелось бы мне сказать про твои письма, только ты и сам знаешь, какие они хорошие, как захватывают, как много, много говорят; быть может из-за них мне так спокойно, знаю, что получу письмо, всегда такое новое, такое ласковое, милое, милое... У меня в комнате стоит букет прованских роз из Шахматова, и это мне так приятно, точно они от тебя. Мы собирались с Мусей сегодня ехать верхом к Шахматову, только была такая жара, столько слепней, что я совершенно не могла справиться с Мальчиком и вернулась через пять минут домой, а Муся ускакала в другую сторону.

Я весь день ничего не делаю определенного, очень это мне нравится всегда; устраиваю свою комнату, разбираю вещи; ах, да! представь себе: я нашла кофточку, в которой я была, когда мы познакомились... я ее все берегла, а теперь не помнила: не выбросила ли



я ее в прошлом году со зла, отлично помню, что собиралась; оказывается, что нет. Это для меня ужасно важно, для психологии прошлого года, и так приятно ее сохранить. Были сегодня у Смирновых на именинах, только там совсем мало народу, не похоже на прежние торжества.

Ну, вот видишь, из каких мелочей и неинтересных вещей состоит здесь моя жизнь, но мне очень хорошо, потому что привычно и потому что в последний раз; только это совсем, совсем без горечи и сожаления, моя радость, а спокойно и благодарно за все. Теперь, одна, у себя я сосредоточилась, и сердце начинает переполняться любовью, родной, голубчик, почувствуй это, хоть и не пишу!..

9 июня 1903. Боблово

...Милый мой голубчик, сегодня я много, много бродила по полям, там, где мы ходили вместе. Жарко, тихо, трава душистая, я совсем одна — так хорошо вспоминать о тебе. Я теперь только и делаю, что думаю о тебе, ничего и читать не хочется, и не работается, и гулять ни с кем не хочется, надо идти скоро и далеко; а брожу потихоньку или лежу в траве около конопли. Много цветов теперь, так хорошо, я заставила всю комнату; розы и красные лилии. А лучше всего безделье и лень, лень. Ты, наверно, отлично представляешь себе это настроение. А все-таки сквозь лень неприятно, что уж второй день от тебя не получала письма, сегодня воскресенье и не бывает у нас почты...

...Мне так досадно теперь на то, что я делала после письма 2-го июня: сама успокоилась и не подумала, что замучила совсем тебя, отделялась короткими, ленивыми письмами. Бедный ты мой голубчик! Ведь знаю я, как мучу тебя всегда, знаю, что ты все чувствуешь бесконечно больше и глубже меня, и не могла во время вспомнить, писать, чтобы заглядить, успокоить. Ужасно это расстройство, ведь теперь столько времени пройдет опять, пока ты получишь это письмо; я получаю только на четвертый день. Господи, когда-то это кончится! Ну что я могу сказать в письме? Когда ты пишешь, все чувствуется, что у тебя на душе, твои слова проникают и захватывают всю, талантливые, милые, дорогие слова. А... я не умею; вот если бы ты был тут, ты видел бы меня тихую, покорную и счастливую твоей любовью, я целовала бы твои руки, сидела бы у твоих ног, как там, помнишь? Я сумела бы заглядить, смягчить, заставить забыть боль, которую я причинила тебе. А ведь ты знаешь, как на меня налетают и потом быстро проходят всякие настроения, хотя, правда, и глубоко захватывают, и тяжело бывает. Теперь совсем прошла тяжесть и горечь. Жалко, конечно, жалко, без этого нельзя, девичьей жизни; только я, как и ты, твердо знаю, знала и до твоего письма, а теперь еще тверже знаю, что будет счастье, бесконечное, на всю жизнь; только теперь-то не могу себе этого представить, ведь будет все совсем, совсем другое, и счастье другое,



и весна другая; а мне жаль всего теперешнего и кажется, что без него и счастье не в счастье; да разве тебе самому меня теперешней не будет жаль потом; подумай! Только я тебе говорю, я ведь знаю, что я теперь только так думаю, а тогда буду счастлива; Господи, да ведь в тебе же все счастье, я же знаю! Ведь и ты знаешь, как будет хорошо, ты пиши мне, ты понимаешь, как мне необходимы, дороги эти письма, я зачитываюсь ими. Родной мой, только не беспокойся, не мучься за меня, почувствуй, что мне хорошо, как почувствовал, что меня что-то тревожит, не получив еще письма. (Ты заметил это и еще совпадения о письмах, чтобы не писать если не будем писать каждый день). Одно очень трудно и тяжело, слишком мы долго не увидимся еще, ведь пять недель еще. Боюсь, что под конец совсем собьемся с этими письмами. Ну, да ничего, ведь вот две недели прошли довольно скоро, проживем как-нибудь.

Милый, милый мой, ненаглядный, голубчик, не надо и в письмах целовать ноги и платье, целуй губы, как я хочу целовать долго, горячо...

11 июня 1903. Боблово

...Родной мой, я перечитала твои последние письма и вижу, что ты не совсем понял меня, ты понял все хуже для себя, чем я чувствовала и писала. Ты перечитай то письмо и увидишь, что испугалась я чего-то совсем не в тебе, и не говори, что я хочу изгонять из тебя что-то, ты уж прежде говорил мне это, и тогда это было больно, хотя тогда, может быть, и было в этом хоть чуть-чуть правды. А когда мы говорим про это теперь, еще больней, потому что это неправда, и жалко, зачем ты себя этим мучаешь. Ведь трудно в письмах говорить о всем, что думаешь, а в мои попадает только самая маленькая частица! Вот и ты не знаешь, что я теперь, как никогда, знаю и уверена, что ты такой, как я могла только мечтать для себя, а мечтала я об единственном, о самом лучшем на свете. То, о чем я жалею, во мне, только, знаешь, трудно писать об этом, лучше будем говорить, когда увидимся, а что это и тогда не потеряет интереса, я знаю...

Блок. 14 июня 1903. Бад-Наугейм

...В первых числах декабря, когда я нанимал комнату сначала на Троицкой, а потом на Серпуховской. *Ты сама боялась*, что мы «*губим*» свое счастье... Значит, было же и Тебе это сомнительно и жутко (я знаю, что не совсем то, что мне, но это все равно и не так важно). Ну, а теперь я окончательно понял, как молчаливо поняла Ты еще раньше меня, конечно, — что *нельзя* было уж ничего погубить. Я понял, что именно Ты главное (я, благодаря Тебе) сохранила мудрость и силу для того, чтобы быть счастливыми нам обоим. Никто не сделал бы этого лучше, тише, невозмутимее и увереннее. Заметь, что, когда Ты каялась, то каялась *не в том*, и это я оценил теперь только, как вообще, м. б., поздно принимаю всякие благословения, сходящие от



Тебя и с неба. Вот на этой Твоей «надежности», «постоянстве» Твоим и строилось медленно и прочно теперешнее здание ... Строится и теперь для будущего, потому что я «надеюсь на Тебя, как на каменную гору», что называется, и Ты, главное Ты, так же на себя надеешься. Это Лермонтов еще так неудачно (пошловато) сказал:

*От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро —
Зато не разлюбит уж даром.*

Этим самым Твоим гением молчаливой надежды Ты, кроме утверждения прочности нашей будущей жизни (ведь это канва — и все остальное *с этим* не страшно), делаешь *для меня* великую вещь: «опрощаешь» меня. Я сам замечая, что то, что я прежде (еще даже в зимних письмах к Тебе) мог выразить расплывчато и туманно (теорией), теперь могу сказать яснее и проще. С этим кончается для меня ужас той самой страшной фразы, которую Ты сказала мне весной: что Тебе придется «стать мистичной», а иначе будет «ужасно». Я исповедал это священнику, и, должно быть, стал попроще — на словах...

Ты не думай, что будет «другая» весна. Зачем так уж отказываться от прежней? «Прежняя» Ты и прежние Твои вёсны для Тебя страшно дороги, а для меня — Ты знаешь *не меньше* (на этом я твердо стою). А Ты как-то думаешь, что я-то и прогонию память о них, даже самую пакость. Нет, останется много. Ты задумайся, — и останется. Будут вечные белые думы, все равно, что старые и милые цветы переменят цвет. Но будут все те же *белые думы* над другими цветами. Я так много передумал, перепел и переискал этих неподвижных и неизменных, вечно милых, всю жизнь ласкающих снов (не знаю — другое бы слово), и Ты столько «помогла» мне в этом и столько сама дала мне их, что я верю в неизменность дорогого и в то, что каждая весна носит в себе одну молчаливую неизменность для всех «верующих» в это — холостых и женатых. Заря будет такая же заманчивая и свободная, а мы будем... еще свободнее. Ласковость бирюзового неба и Твой румянец и глубина Твоих глаз и жемчужины Твоих зубов — все одно и то же, одно счастье.

Твоя верность, о которой Ты молчишь, потому что сжилась с ней и чувствовала ее развитие давно, не знаю с какого возраста, — по моему, вернейший залог постоянного счастья. Пока будет это — все остальное будет мелочь. Видишь, сколько я говорю об этой верности? Значит, что я уж разглядел ее и понял, а потому не боюсь говорить. Да и Ты ее в себе знаешь и ценишь, я чувствую, что Ты знаешь ее, потому что всегда молчала о ней, только раз сказала, и то намеком; я знаю также, что Тебе хорошо и Ты не всегда тоскуешь. Все это я знаю и люблю страстно, люблю до гордости...

Мы с Тобой близки теперь и скоро будем еще ближе. Помнишь, как я боялся, что Ты рассказываешь Шуре? Я только теперь понял,



до какой степени Ты «не выдашь» и до какой степени я «уверен» в Тебе. Это гадко с моей стороны, что так поздно, а все-таки лучше теперь хоть знать это наверное. Видишь, что я в этом письме не казнию. Мне самому странно это, но у меня иногда проходит это желание (не всегда, впрочем), и я иногда чувствую (даже страшно сказать), что могу быть Твоим «другом». Прости за слово и прости за форму. Знаешь, я чувствую это вместе с той мыслью, о которой я писал Тебе,— что Ты совсем выросла и стала из ребенка женщиной. И потому мне иногда сразу представляются *рядом* наши возрасты, оба сильные, молодые и жгущие друг друга. Слово «друг» не то, что «муж». Это значит только поверяющий Тебе все самое сокровенное, о чем ни за что не станет говорить другим. И «друг» ничего не исключает другого, потому не бойся и согласишься стать мне подругой.

Ты написала письмо, подождала и подумала. Потом сделала приписку быстрой и стыдливой рукой. Я целую Тебя в губы, «как я хочу целовать» — «долго и горячо». Я прижимаю Тебя близко и чувствую, что Ты дышишь «долго и горячо». Вижу близко Твои брови, Твои волосы, Твои глаза, Твое горящее лицо. А все-таки — ноги и платье, прости, я не могу не поклоняться. Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево. Я все думаю о том, приедешь ли Ты в Шахматове в тот день, как мы приедем. Ты говорила, что это может быть. Я возьму Тебя за руку и уведу в зеленую тень. Хочешь? Если нельзя, так я приеду. Ты напиши, Радость моя, Весна моя.

Люба. 14 июня 1903. Боблово

Ненаглядный мой, ты все хочешь, чтобы я написала тебе, как я люблю тебя, будто ты не знаешь или забыл меня. Ведь я все та же и так же люблю тебя, милый, и хотела бы сказать это тебе так, чтобы ты почувствовал, но ведь ты сам знаешь, что для этого нужно особенное настроение, а у меня его давно нет, все время мне и лень, и устаю еще все от всяких пустяков, как поездка в Рогачево и т. п., еще не набрала силы, после города. И письма пишутся с трудом и не выходят, еще раз прошу тебя, милый, «не сердиться» на это! В Рогачеве вчера мы с Мусей провели почти весь день у доктора Григорьева. Они опять, конечно, устраивают спектакль и зовут меня, хотя неизвестно, что будут ставить, я еще совершенно не знаю, захочу ли я даже играть; иногда вдруг захочется, а потом не могу понять, как это могло прийти в голову.— Сейчас вдруг днем принесли почту и твое письмо... Бедный, я так и знала, что письмо будет идти бесконечно, а я слишком знаю, что значит ждать письма хотя бы только день. Родной мой, я глазам не верю, что вы приедете так скоро, теперь, значит, меньше трех недель. Повтори, ради Бога, еще раз это, такая радость! — Милый, ненаглядный мой, зачем ты пишешь всякие нехорошие вещи и про себя и про свои письма? Ведь мне же больно, ведь я же люблю, люблю тебя, голубчик мой



милый, всем сердцем, всегда читаю и храню твои письма, всем сердцем переживаю их. Милый, милый, и подумать не могу, что опять, уж навсегда, мы скоро будем вместе, не нужно будет и писать за тысячи верст, а будем вместе, всегда; такое счастье. Ты только не беспокойся обо мне теперь, мой родной, я жду тебя, мне хорошо.

Блок. 16 июня 1903. Бад-Наугейм

...Я не знаю, как я буду говорить с Тобой, когда приеду. Еще ни разу с 7 ноября мы не расставались на месяц. Мои дни здесь — жаркие, утомительные и сонные. Когда наступает вечер, у меня начинается смятение в душе, а к ночи, когда кричат коростели и шумят поезда, поднимается целая буря, и мне хочется медленно красться и прятаться в тени белых вилл и старых деревьев, точно Ты назначила мне тайное свидание где-то и близко и далеко, в тени, у воды. Тут будто вся ночь только для того, чтобы незаметно и тайно от всех сильно и страстно сжать Тебя в объятиях в шепчущей тишине, прижаться к Твоим губам, увести Тебя на край города, будто на край земли, слушать Твой долгий медленный шепот. Мне нужно, чтобы Ты зажала мне губы поцелуями без конца и заставила все забыть, чтобы предаться Тебе страстно и надолго, без единой мысли. Я пишу все это, точно одурманенный сонной грезой Твоего Присутствия, отдельной от всех, сознавая, что я законно ничего не понимаю больше в эту минуту и ровно никому не обязан признаваться столь томительно страстными словами, кроме Тебя. Кроме Тебя, нет ничего, и все слилось в Тебе, все мое прошлое и будущее, и настоящее, и ночь, и тихие росы, и знойные мысли. Я дерзок и свободен сказать Тебе, что красивее нас вдвоем нет ничего. Никогда не было у меня прежде этих забвений, этого праздника сердца, чтобы я мог так целиком свернуть шею уму и погасить все огни, кроме ночных поцелуев. Там в парке кружится теперь целый рой летучих светляков, и вода поет, башня задумалась, внизу и на горе — молчание, город задремал; все эти хромые, убогие, больные и нищие силой, если мучаются, то у себя, так что не видно, и не слышно, и не нужно. Осталась задумчивость розовых кустов, и шопот в полях, и гибкость в травах, и ниспадающая роса, и эта летучая гибкость в руках, стремящихся обвиться кругом Твоей талии, и непомерная, небывалая ласковая дерзость сердца.

Довольно. Прости...

Люба. 17-го июня 1903. Боблово

...Мне иногда интересно очень, как мы встретимся; ведь мы успеем совершенно отвыкнуть друг от друга. Уж и весной, когда мы не виделись дня четыре, и то было очень заметно, нужно было привыкать опять, мне по крайней мере. А теперь-то, после шести недель! Да я уж и по письмам чувствую, что ты меняешься, будешь другой, а вот какой? Да и я буду не такая, как была, это я тоже знаю; только



тебе, я думаю, это еще не заметно по письмам, потому что мне всегда трудно их писать, мало они передают. Пожалуй, я скоро воспользуюсь твоим позволением написать одно слово вместо письма, а то, право, досадно даже, до чего пишется не так и то, что хочется. Когда-то все это кончится! Дни стали идти так медленно, не дожидаться вечера, когда можно вычеркнуть еще день в календаре (я, как ты, тоже вычеркиваю дни). Теперь, пожалуй, прошло только около половины всего времени? Ужасно ты любишь клеветать на себя: и груб-то ты, и Бог знает еще что! А мне смешно даже защищать тебя перед тобой самим; ты только и можешь говорить такие глупости про себя и не знать, что мягче, нежнее, тоньше моего ненаглядного никого нет на свете. Да и все это знают; вот я покажу потом тебе, что написала М-ме Ленц маме про тебя, по поводу нашей свадьбы, я ее очень полюбила за это.

А ты все-таки, милый, не брани себя в письмах, ведь ты же мой милый: мой ненаглядный, мое солнышко ясное!..

Блок. 20 июня 1903. Бад-Наугейм

...Мы с мамой говорим не всегда хорошо. Она ужасно боится, что Тебя не знает и что трудно узнать. Просит все меня рассказывать разные мелкие и крупные вещи о Тебе, а я все молчу о Тебе, и у меня язык не поворачивается. Ты знаешь меня, знаешь, как мама ко мне относится, потому можешь все это предположить. Я все говорю, что разговоры ни к чему не поведут, а практика покажет. Она сердится на меня, а я на нее. С моей стороны это все скверно, а все-таки о Тебе говорить—для меня нож острый, даже с мамой. Потому из этих разговоров почти ничего, кроме неприятного, не выходило еще. Мы будем говорить с Тобой и об этом. Много нам надо говорить. Жара стоит невыносимая, камни жгутся. Мне часто противно все, что вокруг. Постараюсь устроить так, чтобы эти дни прошли благополучнее...

21 июня 1903. Бад-Наугейм

...Какой я буду? Влюбленный, восхищенный. Если нужно будет привыкать, ничего. В чем же Ты могла измениться? Измениться так, что мне надо сызнова привыкать? Я верю в Тебя — а Ты в меня? Сейчас с мамой вышел первый хороший разговор — о Тебе, о будущей зиме. Для нее он, вероятно, прибавил хорошего. Для меня — не много, главное потому, что я в ту же минуту начал невыносимо беспокоиться. Если в одном месте хорошо, в другом часто плохо, Ты знаешь это, так бывало и в эту зиму...

Люба. 19-го июня 1903. Боблово

...Известия этого письма тебе не очень понравятся, я думаю. Надежда Яковлевна устраивает опять «folle jorne»* и спектакль, набрала себе актеров на фабрике и у Егоровых, даже Мусю уговорила

* Правильно: folle journee (фр.) – безумный день.



играть, придется и нам с тобой; идет «Праздничный сон до обеда», я буду играть старуху Бальзаминову, а тебя умоляют сыграть купца Неуденова, роль не очень большая; ждать вашего приезда будут во всяком случае, и, пожалуй, тебе придется согласиться участвовать. Надежда Яковлевна уверяет, что все спрашивают, будешь ли ты, и будут разочарованы, если нет. Я ведь играю тоже, конечно, только чтобы не «подвести» и после долгих упрасиваний; а пока это займет время, и отлично: ведь и две с половиной недели это еще невыносимо долго, правда?.. А вдруг я буду играть и в Рогачево — ты ничего, не очень это будет тебе не нравиться? А мне хочется наполнить чем-нибудь время, а то ничего не делается, даже читать неинтересно. Нехорошие я вещи написала, милый, все тебе не нравится? Правда? Ответь, если еще успеешь, до приезда!..

Блок. 22 июня 1903. Бад-Наугейм

...Наше венчание в августе. *Весь июль* ...будет набит этими изобретениями Надежды Яковлевны. Нам с Тобой *нужно* говорить, *нужно* быть одним, *необходимо в это лето* не отвлекаться. Я знаю, что это будет, это пойдет дальше «увеселений», совершенно чуждые люди будут все время обращать внимание на то, что мы — Невеста и жених. Что у Надежды Яковлевны в голове? Неужели она не *понимает*, что она делает? Заставляет *Тебя* играть старуху Бальзаминоу! Меня самого совершенно к черту, я себе сам противен до последней степени в эту минуту, потому что чувствую, что случись мне разговаривать с Надеждой Яковлевной сейчас, я бы наговорил ей черт знает чего. Я *могу* играть купца, лавочника, вихрастого либерального идиота, решительно все равно, но заранее знаю, что не произнесу ни одного слова как следует, буду все время не обращать ни малейшего внимания ни на что и ни на кого, кроме Тебя, буду страшно мучиться тем, что *Тебя* разглядывают, о *Тебе* говорят пьяные мужики и рогачевская компания. Ради бога, прости меня за все это, я против рогачевских не имею решительно ничего в принципе, но я еще в прошлом году готов был разорвать их всех на клочки за одно то, что они любезны с Тобой....

...Неужели Ты не видишь, что для меня все остальное, кроме Тебя, все равно, хоть мир провалится, хоть светопреставление наступит. Еще вот откуда можно посмотреть: разве нам вся эта культура *напомнит* прежние спектакли? *Нет*, я говорю, определенно и уверенно, что нет. Хоть бы *переждать* это время (это лето), остаться с *Тобой вдвоем перед самой свадьбой*, не отвлекаться. Нам говорить нужно без конца, все силы уйдут на Надежду Яковлевну. Я лучше об ней писать не буду. И больше вообще писать не буду.

Только одно может заставить меня на все это пойти. Твое спокойное и твердое решение. Скажи, что это ничего не испортит и не спугнет. Скажи, *что Ты этого хочешь*, что все, что я говорю, — эгоизм, капризы, выдумки, жестокость. Я *сейчас же* все эти мысли брошу.



Я буду играть все, что хочешь, что *Ты велишь* мне, но играть так, что Надежда Яковлевна упадет в обморок. Я знаю неуклонно, что мне до игры не будет никакого дела, решительно никакого и *ни до чего*, кроме Тебя. *Разрываться НЕ БУДУ*, буду около Тебя, пусть все, что хотят делают, я от Тебя не уйду, если будут над этим издеваться, не уступлю и наговорю больше, чем можно. Прими все *только* так: все зависит от Тебя. Вели — и я буду играть. Я себя даже убедить постараюсь, что к этому отнестись надо *легче*. А теперь не могу, упорно не могу. А это проклятое письмо придет только на четвертый день.

Но, если Ты откажешься в ущерб Себе, мне будет гораздо хуже, чем теперь. Не оставь ничего недоговоренного. Пусть, кто хочет, думает, что я паясничая, мне все равно. Я Твой безраздельно. Не сердись на меня, я повторяю, что Тебе не должна быть неприятна моя *РЕВНОСТЬ*. Больше в жизни этих месяцев *НЕ ПОВТОРИТСЯ* (до свадьбы), разве они для народных гуляний? Прости, прости, прости...

22 вечером 1903. Бад-Наугейм

Наверно, мое утреннее письмо произведет на Тебя ужасное впечатление. Ты рассердишься, может быть. Я не могу иначе смотреть до сих пор...

... Я тысячу раз виноват, что говорю все это так поздно и такими гадкими словами. Что же мне делать; скажи, что все это ничего, и Ты не раскаешься. Мало того, что все это должно быть так, *убеди* меня силой Твоей мудрости. А я *сам* не убежусь никогда. Тебе в руки дана власть надо мной. Зачем же Ты не приказываешь, а пишешь таким тоном, точно неуверенным, колеблющимся, что, «пожалуй», придется согласиться? Если *надо* наверное, по-Твоему, если *для Тебя* это ничего, или приятно, или нельзя отказаться (последнего *не может быть*), говори прямо, что я должен и дело с концом. Но повторяю Тебе, если Ты теперь откажешься, не считая этого нужным, а только из-за меня, то это будет хуже. Я с трудом говорю о Тебе *с мамой*. Как же я буду говорить о Тебе с рогачевским учителем? Как же мне упоминать Твое имя человеку, которого я легче задушю своими руками. Прости за «сильные выражения». Но, я повторяю снова, Ты должна чувствовать, что *теперь, до свадьбы*, в эти минуты, которые *никогда не повторятся*, я ревную Тебя к ветру и воздуху, не только к людям, *всем без исключения более или менее*. Дай мне остыть, остыть не в любви, которая вечна, а в ревности, которая чрезмерна, но *не смешна*, потому что от нее у меня все внутри дрожит и трепещет. Вот она — та ревность, которой *Ты хотела*. *Ты хочешь ее*, в ней много сильного и *угодного для будущего*. И она колет всех, не входящих в *наш* круг, состоящий из *нас двух*. Ведь 5 лет это чувство росло, часто со страшной болью. Пощади. Почувствуй его, почувствуй, что Ты его хочешь,— и Тебе



будет легче встать на мою точку зрения. *Почувствуй*, что в нынешнее, теперешнее время *можно и должно* допускать Тебя, *ПОТОМ* (меньше) меня, *потом — никого*. Я торжественно и твердо отрекаюсь на это время от всяких «глубоких» отношений, *все* опустытели и осточертели... хорошие знакомые, друзья и пр. и пр. и пр. *Я с Тобой*, облекись же, ради Бога, в свою белую, несуетную ризу, и так, все это время, я внутренне простой перед Тобой на коленях. Я глубоко верю, что Ты поймешь меня, но придашь ли Ты этому значение, помимо моей страсти, доведшей меня до этой бешеной ревности. Это так сильно, что не может быть пошло. Так *не зависит от меня*, что, *наверное*, имеет долю *правды*. Я старался переосмыслить со всех точек, и только еще больше «нравственно зачихнул» от того, что предстоит. Гулянья повторяются, а эта минута не повторится. Это самое главное и непреложное. Тысячную часть того, что во мне, пишу Тебе. Ведь я же «без ума», я же сумасшедший, разве Ты не слышишь? Ведь Тебя же влечет ко мне, потому что я весь — одна страсть, одно безмерное, вылившееся из границ чувство. Прими меня так, как теперь, Ты в этом не раскаешься. Господи, если бы я все это мог сказать Тебе сейчас! Что я делаю! А иначе не могу. Прости и услышь, и пойми, пойми, пойми, Ненаглядная, что я не жесток, не требую, что это *не всегда так будет*, — *но теперь, теперь*, в эти летние ночи, в это безумное время. Ненаглядная, Божественная, прости, не сердись, не негодуй, делай как по-Твоему нужно, так, чтобы после не упрекать меня. Тебе самой будет от этого тяжелей. Ненаглядная, Солнце мое, прости...

Блок. 26 июня 1903. Бад-Наугейм

...Последние дни здесь проводить трудно. Кажется, что уж все равно, что здесь, и нетерпение одолевает. Мне, как Тебе, трудно писать под конец, у меня мысли то о том, чтобы ничего не упустить и все сделать вовремя, то просто расплываются и тонут, и замирает сердце при мысли о том, как встречу Тебя в первый раз, как Ты отнеслась к моим последним письмам (о спектакле), — и я боюсь встречи, боюсь видеть Тебя и слышать, так Ты прекрасна, так давно Ты стояла в сумерках на платформе, так давно мы все пишем без конца, не видя друг друга, ощущую. И прямо не могу представить минуты нашей встречи — на всю жизнь. И все это так непонятно хорошо, как никогда не было, и когда это чувство охватит, от него кружится голова... Это письмо Ты получишь верно накануне нашего отъезда отсюда. Мне хочется все бросить и знать об Одной Тебе, Милая.

Твой.

Я не знаю, как труднее встретиться: для того, чтобы быть вместе всю жизнь, или разлучаться на всю жизнь. Одинаково не могу представить. Как мне хорошо!..



Люба. 1 июля 1903. Боблово

Милый, совершенно и не понятно мне и не верится, что ты приедешь через четыре дня; так хорошо! .. Прежде всего, прости меня за мою глупость, уж я так теперь каюсь, так стыдно, что согласилась играть... Теперь я отказалась от всякого участия и за себя и за тебя...

Ну, а теперь я должна тебя, кажется, огорчить: я не приеду в Шахматово 6-го; и маме это давно не нравилось, только она, оказывается, не говорила, да и мне показалось, что это одно из таких «приличий», которые существуют не только для того, чтобы дать богатый материал для сплетен всем... но имеет и смысл настоящий, — как ты думаешь? Только вот, тебя мне жалко, ведь ты же ужасно устанешь; если очень устанешь, приезжай на другой день; а уйти и говорить можно и у нас.

Ну, прости меня, я знаю, что тебе неприятно, милый, родной мой!..

Блок. 3 июля 1903. Петербург

Моя Дорогая, Родная, бесконечно Милая, я увижу Тебя скоро. Зачем Ты думаешь, что мне неприятно то, что Ты написала, что не приедешь 6-го. Представь себе, я последние дни как раз подумал об этом точно так же, как Ты. Это не просто «приличие», которое нужно игнорировать, а, конечно, больше. Я понимаю и вовсе не огорчен, а приеду просто сам, скорее всего, вечером (в воскресенье), если достану только лошадь (мою придется утром запретить, чтобы везти нас со станции). Видишь, я все-таки стал сам соображать такие вещи, и Тебе не придется меня убеждать. Но пока еще так медленно соображаю, что не написал Тебе об этом. А мне бы хотелось все-таки, чтобы Ты еще побывала теперь в Шахматове и чтобы я показал его Тебе. Ты можешь приехать с мамой, а, может быть, когда-нибудь и одна? Мы будем говорить об этом, но уверяю Тебя, что я понял и согласен с Тобой и с мамой. Как здесь хорошо после заграницы! Я все что можно было убрал в нашей квартире, моя комната при лампе ужасно напомнила мне Серпуховскую, Тебе, пожалуй, понравится. А у Тебя ужасно пусто, нет письменного стола, ширм, туалета, мебели, но будет уютно и хорошо. Мне все ужасно нравится...

Я люблю Тебя, Золотокудрая Розовая Девушка, люблю больше моих сил, мне весело и хорошо так, как не было никогда. Сегодня я смотрел Твои карточки, видел Твои письма, все, что Ты писала своей рукой, мне дорог каждый кусок бумаги, на котором Ты провела черту. Как хорошо, что мы не будем играть, Ты меня обрадовала бесконечно... А разве кто-нибудь кроме Надежды Яковлевны очень недоволен тем, что Ты отказалась играть?

Боже мой, как я хочу видеть Тебя скорее и все забыть сначала, когда увижу Тебя, не думать ни о чем, даже не говорить, только смотреть в Твои глаза, моя Милая, моя Красавица, Ненаглядная, Счастье мое! Может быть, нужно написать еще о делах. А я не пишу. Зачем Ты не поручила мне ничего? Я могу только без конца



писать страстные слова, больше у меня в эту минуту ничего нет в мыслях. И последнее письмо! Я не помню, не верю своему счастью, не понимаю, что со мной, откуда это?

Если я не приеду в воскресенье то в понедельник приеду. До свиданья, по-настоящему, как редко бывает в жизни, моя Дивная, моя Чудная, мне страшно и весело...

Бекетова. Свадьбу назначили на 17 августа. А в середине июля мать и сын уже вернулись в Шахматово. К свадьбе приехал из Петербурга Франц Феликсович и из своего Трубицына — «тетя Соня». Она очень любила Блока и, несмотря на свои 78 лет, была еще вполне бодрой и живо интересовалась всем, что его касалось, и его стихами, которые иногда умела ценить. Восемнадцатилетний Блок гостил у нее в Трубицыне. Ему было весело в этом старом гнезде, полном милой и светлой старины.

Свадьбу назначили в 11 часов утра. День выдался дождливый, прояснило только к вечеру. Все мы встали и нарядились с раннего утра. Букет, заказанный для невесты в Москве, не поспел к сроку. Пришлось составить его дома. Ал. Ал. с матерью нарвали в цветнике крупных розовых астр. Шафер, Сергей Соловьев, торжественно повез букет в Боблово на тройке нанятых в Клину лошадей, приготовленных для невесты и жениха. Тройка была красивая, рослая, светло-серая, дуга разукрашена лентами. Ямщик молодой и шеголеватый.

Мать и отчим благословили Ал. Ал. образом. Благословила его и тетя Соня.

Венчание происходило в старинной церкви села Тараканова. То была не приходская церковь новейшего происхождения, но старинная, барская, построенная еще в екатерининские времена. Усадьба с запущенным садом, расположенным на горе, у пруда, давно была заброшена помещиками, но белая каменная церковь Михаила Архангела, где службы совершались изредка, хорошо сохранилась в описываемое время. Она интересна и своеобразна по внутреннему убранству и стоит среди зеленого луга, над обрывом.

В церковь мы все приехали рано и невесту ждали довольно долго. Блок в студенческом сюртуке, серьезный, сосредоточенный, торжественный.

К этому дню из большого села Рогачева удалось достать очень порядочных певчих. Дождь приостановился, и, стоя в церкви у бокового окна, мы могли видеть, как подъезжали свадебные гости. Все это были родственники Менделеевых, жившие тут же, неподалеку. Лошади у всех бодрые и свежие. Дуги разукрашены дубовыми ветками. Набралась полная церковь. И, наконец, появилась тройка с невестой, ее отцом, сестрой Марьей Дмитриевной и мальчиком, несшим образ. В церковь вошла она под руку с Дмитрием Ивановичем, который для этого случая надел свои ордена. Он был сильно взволнован. Певчие запели: «Гряди, голубица...»



Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное, батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата. На прекрасную юную пару невозможно было смотреть без волнения. Благоговейные, торжественные, красивые. Даже старый священник, человек грубый и нерасположенный к нашей семье, был видимо тронут и смотрел с улыбкой на жениха и невесту. Шаферов было несколько. Об одном из них, Розвадовском, упоминает в своих заметках Андрей Белый. Это был молодой родовитый поляк-католик, товарищ одного из братьев Люб. Дм., Ивана Дмитриевича, бывшего шафером жениха. Розвадовский был шафер невесты. Свадьба эта была для него событием, повлиявшим на всю его жизнь. После свадьбы он уехал в Польшу и поступил в монастырь.

Обряд совершался неторопливо. Когда пришло время надевать венцы, мы увидели не золотые, разукрашенные, к каким привыкли в городе, а ярко блестящие серебряные венцы, которые, по старинному, сохранившемуся в деревне обычаю, надели прямо на головы. Слова: «Силою и славою венчай я» прозвучали особенно торжественно. Дмитрий Иванович и Александра Андреевна плакали от умиления и от сознания важности того, что совершалось. Когда венчание кончилось, молодые долго еще прикладывались к образам, и никто не посмел нарушить их необычайного настроения.

При выходе из церкви их встретили крестьяне, которые поднесли им хлеб-соль и белых гусей. После венчания они на своей нарядной тройке покатали в Боблово. Мы все за ними. При входе в дом старая няня осыпала их хмелем. Мать невесты, по русскому обычаю, не должна присутствовать в церкви, и Анна Ивановна соблюла этот обычай. В просторной гостиной верхнего этажа стол был накрыт покоем. Нам задали настоящий свадебный пир. А на дворе собралась в это время целая толпа разряженных баб, которые пели, величая молодых и гостей. Им посылали угощение, деньги. Когда разлили шампанское, Сергей Михайлович Соловьев провозгласил здоровье молодых. Но молодые не остались с нами до конца пира. Они торопились к поезду и уехали в Петербург, где уже приготовлено было для них помещение в квартире отчима Блока. Там ждала их и прислуга.

Комнаты Блока в квартире отчима составляли как бы отдельную квартиру: расположены они были в стороне, и попасть туда можно было только из передней. Большая спальня, окнами на набережную, а прямо из передней – маленький кабинет, выходивший окном в светлый казарменный коридор. Нижние стекла окна заклеили восковой бумагой с изображениями рыцаря и дамы в красках. Получалось впечатление яркой живописи на стекле. Мебель в кабинете старая, вся бекетовская. Письменный стол – бабушкин, служивший поэту и впоследствии, во всю его остальную жизнь. Дедовский диван, мягкие кресла и стулья, книжный шкаф. На полу – восточный ковер...

Глава IV. Замаскированные

Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке простираются вспять — далеко, пересекая громовые годы России; и упираясь в эпоху ослепительных зорь, над которыми оба задумались мы.

С А. А. Блоком я был уже знаком до знакомства и первую весть об А. А. я имею от С. М. Соловьева в 1898, а не то в 1897 году. В эти годы уже узнаю: «родственник» С. М. Соловьева, тогда еще «Саша» Блок, пишет, как все мы, стихи; и как все мы: душой отдается театру Шекспира; я знаю, что он, как и я, — гимназист; уважает он дом Соловьевых, в котором я принят; Михаил Сергеевич Соловьев, брат философа, и супруга его, поощряют меня в моих странствиях мысли; необычайные отношения возникают меж нами; уж юноша 16—17 лет я дружу с маленьким Соловьевым (11—12-летним); особенно слагается близость меж мной и Ольгой Михайловной Соловьевой, художницей и переводчицей...

Михаил Сергеевич Соловьев был, воистину, замечательною фигурою: скромн, сосредоточен, — таил он огромную вздумчивость, пронизательность, мудрость; соединял дерзновенье искателей новых путей он с дорическим консерватизмом хорошего вкуса. Он, кажется, был единственный из Соловьевых, не соблазнившийся литературною и общественной славою... Он был моим крестным отцом: псевдоним *«Андрей Белый»* придуман был им...

В 1898 и 1899 годах мы с Сережей восторженно относились к театру; и покушались с негодными средствами на Шекспира, устраивая в тесеньком коридоре Соловьевской квартиры «спектакли»; мы ставили сцены из «Макбета», «Годунова», «Мессинской Невесты» с участием М. С. Соловьева, бывшего у нас режиссером (я был костюмером)...

В те годы впервые услышал о Блоке я: он, гимназист, как и мы, увлекался Шекспиром; и — декламировал целые монологи из «Гамлета».

Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиоттух (по второму мужу), дочь тетки О. М. Соловьевой и урожденная Бекетова, находилась в деятельной переписке с О. М. Соловьевой; зимами вместе с А. А. проживала она в Петербурге, а летами в имении «Шахматове», в 18 верстах от станции Подсолнечная по Николаевской ж.д., а около смежной станции Крюково (в 8 лишь верстах) находилось имение А. Г. Коваленской (матери О. М. Соловьевой, детской писательницы), где Соловьевы жилали все летние месяцы; здесь бывал и В. Соловьев; сюда мальчиком приезжал «Саша» Блок; и впоследствии я коротал здесь все летние месяцы с С. М. Соловьевым.

Будучи в Дедове в 1898 году, слышал я много восторженных отзывов от М. В. Коваленской (кузины С. М. Соловьева) о «Саше»



Блоке. Так память рисует мне первые узнавания о Блоке. Позднее по-новому воспринимаю я сочетание слов: «Александр Блок», а именно: в августе 1901 года...

В 1900—1901 годах «символисты» встречали зарю; их логические объяснения факта зари были только гипотезами оформления данности: гипотезы — теории символизма; переменались гипотезы; факт — оставался: *зarya восходила* и ослепляла глаза; в ликованием видящих побеждала уверенность; теории символистов встречали отпор; и с отпором «сократиков» явно считались; над символизмом смеялись; а втайне внимали ему: он *влил* непосредственно.

Появились вдруг «видящие» среди «невидящих»; они узнавали друг друга; тянуло делиться друг с другом непонятным знанием их; и они тяготели друг к другу, слагая естественно братство зари, воспринимая культуру особо: от крупных событий до хроникерских газетных заметок; интерес ко всему наблюдаемому разгорался у них; все казалось им новым, охваченным зорями космической и исторической важности: борьбой *света с тьмой*, происходящей уже в атмосфере душевных событий, еще не пущенных до явных событий истории, подготавливающей их; в чем конкретно события эти, — сказать было трудно: и «*видящие*» расходились в догадках: тот был атеист, этот был теософ; этот — влекся к церковности, этот шел прочь от церковности; соглашались друг с другом на факте зари: «нечто» светит; из этого «нечто» грядущее развернет свои судьбы...

В 1900—1901 годах молодежь того времени слышала нечто, подобное шуму, и видела нечто, подобное свету; мы все отдавались *стихии* грядущих годин; отдавались отчетливо слышимым в воздухе поступям нового века, сменившим безмолвие века...

Символ «Жень» стал зарею для нас (соединением неба с землей), сплетаясь с учением гностиков о конкретной премудрости, с именем новой музы, сливающей мистику с жизнью... мы, молодежь, — мы старались связать звук зари с зорями поэзии Владимира Соловьева; четверостишие Соловьева для нас было лозунгом:

*Знайте же, Вечная Женственность ныне,
В теле нетленном на землю идет.
В свете немеркнущем Новой Богини
Небо слилось с пучиною вод.*

«Она» — мировая душа, соединенная со словом Христа.

Сочинение Соловьева «О смысле любви» наиболее объясняло искания осуществить «соловьевство», как жизненный путь, и осветить женственное начало Божественности, найти Человечество, как Ипостась лика Божия...

Помню Дедово: пролетают четыре совсем незабвеннейших дня, проведенных здесь, между экзаменами; тайны вечности, гроба, казалось, приподымались в те дни. Помню ночь, которую провели мы



с С. М. Соловьевым на лодке, посередине тишайшего пруда — за чтением Апокалипсиса, при свете колеблемой ветром свечи; поднимались с востока рассветы; с рассветами присоединился не спавший всю ночь к нам Михаил Сергеевич Соловьев...

Утром с востока гремела тяжелая туча; и нам было грустно; в тот день я уехал в Москву: на экзамен ботаники. А через месяц, иль раньше, в Дедове появился приехавший погостить к своему троюродному брату — Александр Александрович Блок; произошла первая встреча московского кружка «соловьевцев» с поэтом, сознанием повисавшем над тем же, над чем повисали и мы...

Помнится, что в июле пришло от С. М. Соловьева письмо; и оно поразило меня; в нем описан приезд в Дедово А. А. Блока, с которым С. М. Соловьев очень много скитался в полях, разговаривал на темы поэзии, мистики и философии Владимира Соловьева; с удивлением сообщил мне С. М., что А. А., как и мы, совершенно конкретно относится к теме Софии Премудрости; он проводит связь меж учением о Софии и откровением лика Ее: в лирике Соловьева; и из письма выходило: А. А. независимо от всех нас сделал выводы наши же о кризисе современной культуры и о заре восходящей; те выводы он делал резко, решительно, впадая в «максимализм», ему свойственный; выходило, по Блоку, что новая эра — открыта; и мир старый — рушится; начинается революция духа, предвозвещенная Соловьевым; а мы, революционеры сознания, приглашаемся содействовать революции; чувствовалось в письме Соловьева ко мне: появление в Дедове Блока — событие, начинающее С. М. религиозно-мистическим электричеством, которым впоследствии он так действовал на меня... Письмо взволновало меня; оно падало на почву вполне готовую; ведь я в это лето отдал безраздельно себя соловьевскому мистицизму...

Первое прикосновение к первым прочитанным строчкам поэта открыло мне то, что через двадцать лет стало ясно всем русским: что Блок — национальный поэт, связанный с той традицией, которая шла от Лермонтова, Фета и углубляла себя в поэзии Владимира Соловьева; и ясно мне стало, что этот огромный художник есть «наш» до конца; поднимались вопросы: как быть и как жить, когда в мире звучат строки этой священной поэзии.

Осень и зиму 1901 года мы обсуждали стихи А. А. Блока; мы ожидали все новых полочек стихов; мнения наши тогда разделялись; сходились в одном: признавали значение, современность и действенность этой поэзии...

О.М. Соловьева – А.А Кублицкой – Пиотгух.

3 сентября 1901. Москва

...Мне хотелось поскорее сообщить тебе одну приятную вещь. Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно-описуемое, удивительное, громадное впечатление на Боря Бугаева, мнением



которого все мы очень дорожим и которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. Боря показал стихи своему другу Петровскому, очень странному, мистическому и фантастическому молодому человеку, которого мы не знаем, и на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по поводу стихов Боря — лучше и не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно, но мне это приятно и тебе, я думаю, будет тоже...

Белый. В декабре 1901 года произошло мое свидание с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус; с Гиппиус я обменялся мнением о поэзии Блока (если память не изменяет мне). С 1902 года между нами установилась деятельная переписка: в одном из писем ко мне З. Н. рассказывает о своей первой встрече с А. А., описывает его облик и делится впечатлением от стихов А. А., которые ей чужды, которые — пережиток эпохи; лишь в 1904 году изменила она свое мнение...

З.Гиппиус – Белому. 25—26 марта 1902. Петербург

... Видела Блока, говорила с ним часа три. Он мне понравился. Очень схож с вами по «настроению», кажется, гораздо слабее нас, но умом понимает всю опасность «жданья» в одиночество. Читал мне свои стихи. Мнение о них у меня твердое. Вас подкупает сходность «настроений». Стряхните с себя, если сможете, этот туман.

Оказывается, что и вы пишете стихи. Мы не знали. Очень просим вас, с настоятельностью, прислать что-нибудь...

Белый. Между тем: в 1902 году в Москве образовался кружок (небольшой) горячих ценителей Блока; стихотворения, получаемые Соловьевыми, старательно переписывал я и читал их друзьям и университетским товарищам; стихотворения эти уже начинали ходить по рукам; так молва о поэзии Блока предшествовала появлению Блока в печати...

Блок. 2 апреля 1902. Петербург

...М-ме Мережковская дала мне еще Бугаевские письма. Следует впоследствии обратить на них внимание больше — на громаду и хаос, юность и старость, свет и мрак их. А не будет ли знаменьем некоего «конца», если начну переписку с Бугаевым? Об этом очень нужно подумать...

Белый. Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед; отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы, — тем более, что он знал «Симфонию», вышедшую весной 1902 года...

О.М. Соловьева – А.А Кублицкой – Пиоттух.

22 декабря 1902. Москва

...Боря очень хочет написать Саше, но не решается и просил, чтобы я спросила, не сочтете ли вы это странным или неловким...



Белый. Помнится: в первых же числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, («в застегнутом виде»: предполагая, что в будущем мы подробно коснемся деталей сближавших нас тем, поступил я, как поступают в «порядочном» обществе, отправляясь с визитом, надел на себя мировоззрительный официальный сюртук, окаймленный весь ссылками на философов. К своему изумлению, на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт с адресом, написанным четкой рукой Блока, и со штемпелем: «Петербург». Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркивания: не будучи лично знаком он имеет желание ко мне обратиться, без уговора друг с другом обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись. Письма, по всей вероятности, встретясь в Бологом, перекрестились; крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей, — от которой впоследствии было и больно, и радостно мне: да, пути наши с Блоком впоследствии перекрещивались по-разному; крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг друга: мы и боролись не раз, и обнимались не раз. Встреча писем и встреча желаний, взаимный жест, встреча — меня поразила...

Письмо и озадачило, и восхитило: не таким привык я видеть А. А., представляя его созерцательным, тихим, задумчивым, может более законченным, но не способным на юмор, полемику, бойкие экстравагантные шаржи; этот юмор в соединении со скептически обостренным умом озадачили меня: озадачили, пожалуй, и несколько трезвые ноты максималиста Блока; озадачило великолепное умение вести диалектику (поэты — плохие рассудочники); я должен сказать: письма Блока всегда содержательнее, уточненнее, оригинальнее статей его. Помнится: я написал А. А. письмо-отповедь, но содержание письма и не помню; трагедия, пронизавшая скорбью в те дни, — вырастает в воспоминании; и — заслоняет на время переписку с Блоком: болезнь и кончина М. С. Соловьева, трагическая кончина О. М. Соловьевой (все в ту же ужасную ночь), состояние сознания С. М. Соловьева, оставшегося без родителей, похороны и проводы в Киев С. М. Соловьева... В эти дни получил от Блока лишь несколько строк, преисполненных ласки ко мне и соболезнующей грусти; несколько слов после пашей полемики, — первая сердечная встреча с А. А., как с родным человеком...

В скором времени возобновилась моя переписка с А. А., продолжаясь весь год до первой встречи в Москве (в январе 1904 года)...

В 1903 году, в конце марта, А. А. посылает любезное приглашение мне быть невестинным шафером на свадьбе его, должествующей состояться в июле иль в августе в Шахматове; такое же точно письмо получает С. М. Соловьев. Соглашаемся мы...

**Блок. 28 апреля 1903. Петербург**

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Не удивитесь, что пишу Вам так. Думаю, что не странно то, что мы с Вами никогда не видели друг друга в лицо. Но ведь видели иначе. Я женюсь этой осенью, в половине августа, в именин Шахматово Клинского уезда. Мою Невесту зовут Любовь Дмитриевна Менделеева. Что скажете Вы на то, что я буду от всего сердца просить Вас быть шафером на свадьбе, и, думаю, что у Невесты? Она также просит Вас. Если будете в Москве, или поблизости, приезжайте с Сережей Соловьевым, который будет шафером у меня. Не только мне, но и всем моим родным будет приятно и радостно видеть Вас. Пишу Вам кратко по причине экзаменов, которые Вы также держите. Если очень заняты, не отвечайте сейчас же, а подождите конца экзаменов. Я уеду из Петербурга в двадцатых числах мая за границу, откуда вернусь в половине июля прямо в Шахматово. Сережа уже знает все, Вам я не писал потому, что срок свадьбы только недавно окончательно назначен. Жду Вашего ответа, очень важного для меня. Не зная Ваших обстоятельств, не вполне надеюсь на Ваше согласие; может быть, Вы, кончив курс, совсем уезжаете из Москвы?..

Белый. 9 мая 1903. Москва

Милый и дорогой Александр Александрович.

Простите — я не сразу Вам ответил. Ваше письмо пришло в те дни, когда у меня был *«тахтит»* напряжения. Следовало быстро сдать 5 экзаменов.

Прежде всего огромное спасибо за честь, оказываемую мне приглашением быть у Вас или у Вашей невесты.

С удовольствием согласился бы, но я должен сопровождать папу на Кавказ и не знаю, вернусь ли к сроку.

Во всяком случае, мне хотелось бы быть у Вас шафером и поэтому я не отказываюсь от Вашего предложения. Я предупреждаю только, что вдруг мог бы и *не быть им* по обстоятельствам посторонним. Но ведь шафером можно быть сверх комплекта (число шаферов неограниченно); поэтому официально не рассчитывайте на меня, но частным образом я постараюсь быть у Вас или у Вашей невесты шафером.

Дорогой Александр Александрович, все никак не соберусь Вам писать: скучные, мелкие дела, да и наконец для меня *пришла пора молчания*. Слишком все странно *«там»*, я совсем потерял язык; трудно в письме передать то, что и самому-то себе не до конца выяснено. Вот мне хотелось бы ужасно лично видеть Вас. Надеюсь, мы встретимся осенью. После экзаменов подробно буду писать Вам, а теперь лаконичен...

Белый. А весной обрывается переписка: А. А. перед свадьбою с матерью едет в Наугейм; государственные экзамены поглощают



время мое; наконец, они окончены; мы с отцом собираемся ехать на Черноморское побережье. Внезапно отец умирает (от жабы грудной); переутомление, горечь внезапной утраты меня убивают; решают, что нужен мне отдых; и, уезжая в деревню, отказываюсь от участия в свадьбе...

3. Гиппиус. Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению.

С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда и с Блоком (когда, вероятно, и Блок с ним познакомился). И хотя Б. Бугаев жил в Москве, куда мы попадали нечасто, а Блок в Петербурге, отношения наши с первым были внешне ближе, не то дружественнее, не то фамильярнее...

Если Борю иначе как Борей трудно было называть — Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно-неподвижный Блок — и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся — почти до гримас: он то улыбается, то презабавно и премило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь; потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно: «Да-да-да»... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный, — Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори — они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.

Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок, — в нем чувствовали это и друзья и недруги, — был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание, или ощущение, очень прозрачное для собеседника, — что он *ничего не понимает*. Смотрит, видит, и во всем для него, и в нем для всего — недосказанность, неконченность, темность. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит *ничего не понимать*.

Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают» и редкость Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что ничего «не понимает», а все другие — не чувствуют?

Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, затейно, подчас прямо блестяще. О, не только понимает — он даже пере-перепопал... все. Говорю это без малейшей улыбки... Б. Бугаев не теней, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.

Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее — он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был *верен*. «Ты, Петр, камень»... А уж если не верен — так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен — ведь «ничего не понимает»...

Боря Бугаев, — весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, — он, танцую, перелетит, кажется, всякие «тара-рь». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать — туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...

Боря Бугаев — воплощенная неверность. Такова его природа.

Что же связывало эти два, столь различные существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь темы «искусства», того, что оба они — поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее — о их образах.

Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неизлечимо «невзрослые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев — это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это все было *вместо* зрелости, но отнюдь не она сама.

Стороны *чисто* детские у них были у обоих, но разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, оcutившийся один в незнакомом месте; в Боре сидел баловень, фантаст, капризник, беззакольник, то наивный, то наивничающий.

Блок мало знал свою детскость; Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.

Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм — Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен.

На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались, скажем прямо, людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца — оскорбительно. И признание



«ненормальности», и прощение за «поэзию». Что требовать с внешних? Беда в том, что этот взгляд незаметно воспринимался самими поэтами и писателями данного поколения, многими и многими (я не говорю тут собственно о Блоке и Бугаеве). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и невзрослость свою — именно причастностью к «искусству». Не видели, что отходят от жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все им за это снисходительно позволяющей...

З.Гиппиус – Блоку. 17 июня 1903. Луга

...Как это вы забыли, что давно сообщили мне о вашей женитьбе? Еще, кажется, в начале или конце марта, в тот вечер, когда переписывали письмо. Вы не говорили мне имени вашей невесты, но сказали, что женитесь, и даже не прибавили, что это секрет, а потому я и не держала этого втайне. После Карташов сообщил мне имя вашей будущей жены. Я была в Москве и видела Бугаева, мы с ним говорили о вас и о том, что вы предлагали ему быть шафером (отец Бугаева тогда был еще жив). Но даже если б и отец был жив — думаю, Бугаев вряд ли согласился бы шаферствовать, он был очень удручен вашей женитьбой и все говорил: «Как же мне теперь относиться к его стихам?» Действительно, к вам, т. е. к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены; все, кажется, даже без исключения. Вы простите, что я откидываю условности и, вместо того, что принято по-житейски говорить в таких случаях, — говорю лишь с точки зрения абсолюта. По-житейски это все, вероятно, совсем иначе, и я несколько не сомневаюсь, что вы будете очень «счастливы»...

Блок – Любе. 19 июня 1903. Бад-Наугейм

...Сейчас я получил вот это письмо от Мережковской. *Теперь Ты можешь видеть, в какой мере ТЕБЕ нечего бояться за меня.* Мне страшно не хочется комментариев, и я все-таки не могу от них воздержаться. Подробно расскажу Тебе все *не в письме*. Прежде всего письмо страшно важно не по маленькому своему тону, а потому, что *содержание* его открывает мне глаза на многое. Ответ последовал удивительно скоро (на мое короткое недавнее письмо), и из него видно, что «гам» мной интересуются (!). Если *ВСЕ* о Бугаеве *НЕ* ложь (а, вероятно, ложь многое, по крайней мере), то — каков Бугаев! Отчего он прямо не написал мне, к чему «экивоки» и отговорки. Но пока я не узнаю лично от Бугаева всего, я не поверю. Если и он с «ними» (с петербургскими мистиками), то мы с Сергеем Соловьевым остаемся *ВДВОЕМ*, остальные все против. Слава Богу, что это так уясняется, *я не боюсь ровно ничего*, потому что сердце у меня предано Тебе и в этом заострено так, *что, при случае, будет колоться*. А остаться *одному даже* в покидаемом литературном лагере мне не только не страшно, но и весело, и хорошо, и дерзостно.



Господа мистики, «огорченные дисгармонией» (каково!?), очевидно, совершенно застряли в непоколебимых математических вычислениях. Я в *первый раз* увидел настоящее *дно* этого тихого омута, посыпанное безобиднейшим желтым житейским песочком (повторяю, если все это действительно не сплошная ложь). Что значит «дисгармония», когда я ответствен перед Богом за женитьбу (что называют они женитьбой? Пошлость?) и за стихи, обращенные к Тебе же и взятые из Твоей сокровищницы? Если таков «абсолют», «с точки зрения которого» говорит г-жа Гишпиус, то я ее не поздравляю. Я ясно выразил еще весной, что я «молчу» (в отношении мистических вопросов) и теперь молчу еще более. Никто из них ничего не поймет из моего. Я буду говорить ВСЕ Тебе — от сердца и с сознанием полной правоты. Пойми — то, что я буду им говорить (редко, много по-прежнему буду молчать), будет не все и не от сердца. Они не святые, чтобы возносить мои молитвы и стихи к Богу. Вот пока ничего не скажу, а Ты скажи, как Ты отнесешься к этому «истинно Мережковскому» письму...

Люба. 26 июня 1903. Боблове

...Милый, я получила письмо Гишпиус. Лучше поговорим о нем, когда приедешь, я еще и разобраться не могу хорошенько в том, что думаю о нем, одно знаю, что очень мне было неприятно, даже больше чем неприятно, когда прочла его; сбило оно совсем с толку...

Белый. В августе получаю письмо от С. М. Соловьева, вернувшегося из Шахматова, со свадьбы А. А.; то письмо потрясенного: чем потрясенного, не могу понять я...

К октябрю попадаю в Москву; узнаю от С. М. о подробностях свадьбы; С. М. очень красочно, в лицах, рисует ее эпизоды; и я понимаю: С. М. поражен атмосферой свадьбы, сплотившей участников свадьбы в дни свадьбы в один коллектив; верю чуткости друга, но все же не могу я понять, что там, собственно, было, откуда взволнованность эта в С. М., этот блеск расширяемых взоров и самая интонация описания свадьбы; переживают мистерии так, а не свадьбы; прислушиваюсь; по С. М. выходило, что в Боблове, в Шахматове (имениях, где проживали жених и невеста) располагало все к тишине, к углубленному пониманию обряда венчания; обед после свадьбы какой-то особенный был; и природа была лучезарна, и — гости; состав их и отношенья друг к другу опять-таки высекали какие-то ноты поэзии Блока, какие-то ноты грядущей эпохи. Ведь вот тебе на: «*эпохальная свадьба*» — полшутливо подумал я, слушая повествование Соловьева; и все старался понять, что же, собственно говоря, поразило его; наконец угадал: свадьба Блока, «влюбленного в Вечность», на эмпирической девушке вызывала вопрос: кто для Блока невеста? Коль Беатриче, на Беатриче не женятся; коли девушка просто, то свадьба на «девушке просто» измена пути; право — темы поэзии Блока вызывали к догадке: какими путями духовными шел сам поэт? Ведь естественно было



нам видеть монахом его, защищающимся от житейских соблазнов; а тут — эта свадьба. С другой стороны (знали мы): в «свете Новой Богини» пучины мирские преобразятся, но как, в каких формах? Преображение мы волили; и о нем говорили; и в нас поднимался вопрос: свадьба ли это или это мистерия? По описанию С. М. Соловьева я понял: *«мистерия»* (что-то неопишемое); так подошло; невеста Менделеева, по Соловьеву, вставала воистину существом необычным; она понимала двусмысленность, двусмысленность своего положения: быть невестой Блока, быть новой, держащей на световые пути; во-вторых, А. А. Блок понимал, понимали иные участники свадьбы: ответственность свадьбы...

Переживания Соловьева во время венчания Блока запомнились мне, хотя я был, признаюсь, рассеян (иное меня занимало); С. М. очень образно рисовал предо мною отца Л. Д. Блок — старика Менделеева — хаосом, сопровождающим свою светлую дочь, музу Блока, которая в юморесках С. М. была «Темного хаоса светлой дочерью». «Темный хаос», подслушавший ритмы материи и начертавший пред миром симфонию из атомных весов, — был такую фигурой, которая и должна была ясно присутствовать при венчании Блока: благословляя невесту, заплакал старик Менделеев.

Запомнилась мне эта свадьба в рассказах С. М...

Белый – Блоку. 19 августа 1903. Серебряный Колодезь

...Ваши стихотворения мне очень нравятся, хотя и менее, чем те, которые Вы мне прислали в предыдущую присылку (еще зимой). А странны они...

Никого нет, кроме Вас, кто бы так изумительно реально указал на вкравшийся ужас. Знаете, я боюсь: куда приведут такие стихи? Что вскроют, что повлекут за собой?...

И Осень сказала: «Да уж сумею, сумею я летние изумруды переплавить в золото и багрец»... С той поры началось увядание. На изумрудном фоне показались пятна золота — пурпурного золота, чтоб засохнуть, свалиться, пролететь. Милый Александр Александрович, накопившиеся времена пролетали тут. Приближался полновременный день — день осенний.

Вот сижу на террасе и пишу Вам. Шумят деревья. Большие желтые листья, срываясь, проносятся. Летят, улетают, как времена. Вечно-грядущая, нежная, милая, ясная близость пересыпает жемчугами — и брызжут, и бьют в оконные стекла капли эти — слезы осени...

Чье-то похолодевшее лицо *так просто* улыбнулось, закрыло тонкими пальцами глаза. И шепчет, и шепчет: «В безвремяе... на далекую родину... сквозь мир... улетим — сквозь мир улетим!...» Хочется крикнуть: «Милая, Неизвестная, Дорогая... Что уж тут — летим!» В воздухе пляшут атласы Ее воздушно-прозрачных риз. Несется. Несутся ветром атласы Ее воздушно-прозрачных риз...

О, на родину — на далекую родину — все мы несемся... Стоит только раздвинуть атлас Ее фаты — несемся, несемся, мы несемся!... Стоило раз сказать Осени: «*Озолочу*», и началось увядание. На изумрудном фоне показались пятна золота — пурпурного золота, чтоб засохнуть, свалиться, пролететь... Накопившиеся времена протекали тут. Приближался полновременный день — день Осенний.

Осень. И опять Осень. И опять дорога Вечность грустных, знакомых слов: «*И плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие... Я вам сказываю, братья: ибо время близко... Ибо проходит образ мира сего*» (Павел I к Коринфянам). «*Хочу, чтобы вы были без забот*». И мы опять беззаботны, чтоб не быть детьми века сего. Так, как тучи, приходим и уходим. Кто нас задержит, если с нами наша молитва. Если так, с нами восторг. Если так, преобразимся — и пойдем, и пойдем по воздушно-голубой дороге. Молитва разорвет времена и пространства. *Вот что предшествует делу... Вот что объявит Имя Неизвестной... Выдержат мировую гармонию, убелиться мягкостью второго неба, не пасть* — ведь вот оно что!... Вот оно, наше дело!.. Вот какое!..

Мои нервы были разбиты. Кончина отца ошеломила, потрясла, убила меня.

Стал сир, и опять молился Ей.

Исцелила — и опять *все* такое нежное...

Милый, дорогой Александр Александрович, не бросайте ни Церкви, ни Соловьевских «*костылей*». Подай Боже всем такие «*костыли*».

Христос с Вами!..

Блок – Белому. 13 октября 1903. Петербург

...«Осень озолотила» и прошла...

Я бы устыдился, сообщая Вам все мои мысли о Вас. Многого и сам угадать не могу, и из своих мыслей. Одно время я думал написать о Вас статью, но теперь мне кажется, что рано, потому что все слова о Вас сплетутся с Вашими. В общих чертах, отдаленно-холодным взглядом окидывая, гипнотизируя дрожь наших слов, заставляя их хоть на мгновение застыть, можно еще сказать (с грехом пополам), что Вы *еще* больше «лирик», чем «мыслитель»...

Можно бояться сознательно *только одного*: своего ужаса. Нечто случилось. Может быть, новый звездный мост перекинулся, может быть, друга подняли за мертво чужие люди. Тогда и ночью, как «*среди белого дня*», в складках завесы образуется неожиданный разрез. Он может испугать — Вы знаете.

Только этот испуг страшен. Он ведет к неизгладимому. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещены ручки и ножки. Они так высохли, и из лица, некогда прекрасного, стало «личико», сморщенное, маленькое.



И голова ушла в плечи. Ему останется одно *в жизни*: весенним утром, в оттепель зимы, — бегать по улице с лесенкой, тушить фонарики, плакать на дворе: Ах, какой серый город! А из города ему не выехать, в деревню не попасть — даже *на билет 111-го класса* не хватит «средств». Он одиночествовал, он предавался лазурному плесканию, голубки ворковали жалобно, а ему, *старому от рожденья лгуну*, не пришло в голову зажечь лампадку. Красная лампадка, услышать тенор священника из струящихся седин бороды, чтобы «в сердце, сжавшемся до боли — внезапно прослезился свет...» *Не успел*. И не всякий *успевает* зажечь свою лампадку. Потому что лампадка у каждого своя — и, увы! мы в *этом* еще глубоко, нескончаемо индивидуальны, да еще, чтобы «продолжить удовольствие», носим маски и масочки. К чему?.. «Нос, как свечка» многое обещает. У многих из нас есть и были «носы, как свечки» — «восковые черть». Надо оживить, растопить. *Если сам не растопишь*, растопят другие. Это и будет страх, будет ужас. На такого человека испуганно взглянут сверху нежные личики, милые лилии Ангелов. Пусть *поскорее* зажигает свою лампадку.

Так я женился...

Не рассердитесь, что пишу Вам всегда меньше, чем Вы мне. Это — оттого, что я не понимаю своих слов, когда их много, лучше, когда мало. А Ваших слов люблю много...

Белый – Блоку. Начало ноября 1903. Москва

...Мне хочется Вас уведомить, что я не стану Вам отвечать, пока не окончится во мне период внутренней опустошенности, когда хочется убежать в пустыню... там раздается убийственный голос: *«пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»* (Ницше)... И вот бежишь туда, где поет *«умирающий лебедь Аполлона»*, вон там среди песчаного сумрака трепещут, колыхаясь, две алмазных волны — два белых крыла умирающего лебедя — лебедя Аполлона... Его сражают неутомонные повторения: *«пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»* — и прощальная песнь, лебединая!..

Возвращаясь из пустыни, я встречаю одни только маски. Я когда-то все думал, что знаю людей. Но когда обнаружилось, что то, что преобразало черты, искажало, двигало чертами мне незнакомых знакомцев, — я сам, колеблемый и отраженный на поверхности хаоса.

Теперь я узнал, что у меня нет зрения. Я — слепой, разве слепые не должны остерегаться? Все подозрительно им. Вот и я чувствую себя таким брошенным среди толпы слепцом. Сколько отсюда недоразумений! Выпукло-стеклянный, незрячий взор, устремленный во тьму, может смотреть в упор на кого-нибудь. И не зная, что я — слеп, они (зрячие) обратятся ко мне с вопросом, почему я смотрю все на них в то время, когда я (они не узнают того) смотрю в вечную тьму. (Их поразит мой стеклянно-задумчивый взор... Они найдут еще нескромным, что я все смотрю на них)...



Поймите положение слепца, который сознал, что *не видит*. Он еще все в задумчивости. Он осваивается со своим положением. Потом он сам обратится к друзьям, когда переживет первые минуты одиночества. А теперь не требуйте, чтобы слепой Вам подробно писал! Эти слова — только уведомление, только просьба о молчании...

Бекетова. 2 ноября 1903. Петербург

...Сашура женился на Любе Менделеевой. Об их любви и не упомянуто мною прошлую зиму, не собралась. Да и теперь не хочется об этом писать. Скажу одно: были сомнения и страхи, потом удивительная свадьба, полная религиозной, мистической поэзии, приезд Сережи Соловьева, подъем духа, успокоение; здесь первые впечатления этому соответствовали, но потом — опять пошли сомнения и страхи. Она несомненно его любит, но ее «вечная женственность», по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни тишины, ни способности жертвовать. Леня, своенравие, упрямство, неласковость, — Аля прибавляет — скудость и заурядность; я боюсь даже ей сказать: уж не пошлость ли все эти «хочу», «вот еще» и сладкие пирожки. При всем том она очень умна, хоть совсем не развита, очень способна, хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя почти некрасива, правдива, прямодушна и сознает свои недостатки, его любит, и порою у нее бывают порывы раскаяния и нежности к Але. Он — уже утомленный и страстью, и ухаживаньем за ней, и ее причудами, и непривычными условиями жизни, и, наконец, темнотой. Она свежа, как нежнейший цветок, он бледен и худ. Опять стал писать стихи, одно время заброшенные, а науками не занимается. Трудно судить, насколько можно на нее влиять. Я еще на это надеюсь. Аля ведет себя удивительно. Любовь к Сашуре ее учит быть мудрой, доброй и правой... Я люблю Любу, как и Аля.

Белый — Блоку. Начало ноября 1903. Москва

...Вот я опять хочу Вам сказать так много — и все обрывается, и опять на ум приходят все такие ненужные, все такие посторонние слова. Я потерял способ выражения своих мыслей, что знал — всё забыл и живу только неуловимо-пленающим, вечно-милым и всегда грустным. Но то — несказанно, а в сказанном и сказанном возвращаюсь к поверхности, застегиваюсь на все пуговицы... А еще умею быть самим собой, но люди говорят тогда, что я безумен...

Но вот ловлю себя на том, что я все о себе...

Дорогой Александр Александрович, напишите мне о себе. Кто Вы? Что Вы? Как Выживаете? Я же буквально ничего не могу писать *еще пока*, а может быть *и навсегда*... Область слова для меня есть предмет ненужный. Говоришь ежедневно столько слов, что слова давно *примелькались*... Начинаю относиться с судорогой презрения ко всему словесному и прежде всего к своим словам...



Вот настроение, которое охватывает меня, когда я обращаюсь к проявлениям, вот кожа моего пьяного веселья — похмелье после такого же былого опьянения. Я счастлив в то время, когда говорю о примелькавшихся днях и ночах. И потому я не могу в словах отразить степень моего счастья — слишком оно глубоко пустило корни...

Время чертит ломаную линию. Здесь и там прямолинейность обрывается. Время обращается на себя. Сейчас была осень. Сейчас зима, камни замерзли, свинец распластался над городом, пылевые кручи разносили по городу инфлуэнцу, тиф, воспаления, синий карлик (только в эти дни и дерзающий показываться на улицах нашей столицы) *опять* разгуливал в калошах и с зонтиком, под руку с супругой. А вот сегодня все услышали весеннее приближение, на могилах раздавался радостный шелест берез...

Или время ищет единой формулы для всех времен года... *Неужели и мне не найти лик своим ликам?* Когда я молчу — я спокоен и счастлив, когда я начинаю *проявляться*, из меня поет целый хор несогласованных (несогласных голосов): музыкальная фраза, пропетая в одном тоне, продолжается непосредственно из оперы другой...

Вот почему я боюсь проявлений... Ах, нужны ли они?.. Разве нельзя все забыть ради своего счастья...

Блок – Белому. 20 ноября 1903. Петербург

...«Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со всех сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими или не понимающими людьми. Потому, кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании, похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить. Чувствую себя виноватым и все-таки молчу по странному чувству давнишней известности моих возможных слов для тех людей, с которыми в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходит действительно похоронно как будто, — хотя у меня внутри редкая яркость, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самых близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я внутренне кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне показалось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно, и поставили Ваше состояние молчанья для себя на первый план. А я уже мирюсь с этим, потому что не вижу *крайней* необходимости тратить пять лошадиных сил на второстепенное... Вот и я «*все о себе*». Только, мне кажется, это ничего. Вам может быть интересно обо мне так же, как мне всегда захватывающе интересно все о Вас. Да и как же нам раскрыться, если не писать о себе. Ваша оговорка, мне кажется, напрасна, потому что мы понимаем уже навязчивость и ненавязчивость, так же как схоластику и не схоластику, как когда-то сказали Вы, и потому можем пользоваться свободно тем и другим для единой цели.

Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, *кто я, что я?* Разве Вы не знаете? То же и то же опять, милое, единое, вечное в прошедшем, настоящем и будущем. Дойти до напряженного проникновения — «и след мечты опять стяхнуть с чела». И что такое, эти наросты окружающих толков, аргог'ных определений шаблона жизни — для всех одинаковой — так ли? Чем лучше то, что выходит *только* из кабинета, чем то, что выходит *только* из будуара. То и другое — метафизическая сплетня. Я говорю о самом близком окружающем меня. Один из петербургских поэтов пишет мне: «про Вас ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи». М-ме Мережковская, кажется, решила это заранее. Что же это значит? М-ме Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в эту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, вот снова пишу стихи, и милое прежде осталось милым; и то, что мне во сто раз лучше *жить* теперь, чем прежде, не помешало *писать* о том же, о чем прежде... А тут «сложилась легенда»... Это порой кажется просто глупым, отдаленным от смысла. Извините за откровенность, она *не* цинична (как Вы, я думаю, знаете), мне хочется только сказать Вам то, чего во всяком случае не скажу Мережковским, если даже их еще увижу. Не отнеситесь только к этому с «судорогой презрения», хотя это тоже «словесное», не особенно нужное, разумеется... Милый Борис Николаевич, мне Вы написали столько незаслуженного, что я краснею, читая.

Вы говорите, что, может быть, навсегда замолчите. Это невозможно. Вам не о чем молчать, потому что Ваши богатства неисчерпаемы и повторения Вас не будет... Однако, однако, мы обмениваемся разговорчиками! Я боюсь, как бы с моей стороны это не кончилось полнейшим отсутствием словесных знаков. Вы будете печатать, а я в ответ, вместо никуда не годных «рецензий» — мычать.

Вы знаете, наверно, что разрывание от *понимания* окружающего иногда еще болезненнее скуки. Потому, вероятно, как и я, не всегда позволяете себе понимать. Впрочем, часто этого предотвратить невозможно, а потому начинается усиленное заглядывание в зеркала и на перепутья, где веет снеговой ветер...

Бывает и так. Но поймите же, наконец, *Вы*, московский и *не* петербургский мистик, что мне жить во *с т о* раз лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что мои стихи — препоганые.

Как бы это Вам приехать в Петербург? Мы с женой, кажется, поедем в Москву в начале января. Страшновато мне встретиться с Вами. Как-то это выйдет «официально»...

Спасибо за все. Я люблю Вас, как свою тишину и сон наяву — «среди белого дня»...



Белый. *Конец ноября 1903. Москва*

...Что это Вы говорите — будто страшно нам встретиться из-за официальности! Вот уж нет! Я совсем не официальный человек. Приезжайте скорее! Гораздо легче говорить, чем писать. Хорошо бы, чтобы Вы приехали не на несколько дней, а по крайней мере недели на две. Москва только тогда начинает нравиться, когда рассеется первый дурман новизны, который неизбежно окутывает всякого нового человека, заставляя фиксировать свое внимание не на основных чертах, а на блестящей мишуре — пене...

Нет возможности сохранить себя. Думаю скоро затвориться от людей. Вот почему я пишу Вам сейчас так внешне, отрывисто и неопределенно.

Лучше я подойду к своему зеркалу, подставляя к нему корзину из-под цветов. Несколько зеркальных струй, кипя, наполнят корзину, вспенаясь. Это будет корзина белоснежных цветов. Я отворю окно. Я выброшу бесконечность цветов и аромата на воздушный атлас, протянутый в воздухе, и вот помчится к Вам мое белое, светлое облачко привета.

Может быть, белый лебедь забьет к Вам в окна. Может быть, Вы догадаетесь впустить к себе тоскливо-восторженную птицу — птицу Снежной Радости... чуть-чуть грустную, застывающую в грусти...

Блок. *12 декабря 1903. Петербург*

... Не мы ли с Вами — люди в будущем враждебные друг другу, о которых Вы говорите? Я говорю это, потому что слишком люблю Вас. Между тем я боюсь, что с Вами что-то случится и со мной что-то случится. Иногда, пресыщаясь и уставая, как бы пропустив мимо себя любимую фалангу со слезами на глазах, я чувствую, что слезы высохли, осталось глухое утомление и удущье. Тогда нет в мире ни одной черты, которую мне не хотелось бы перевернуть вверх дном. Все валится в одну грудку, в которой ищешь того, чего никогда еще не находил. Когда мы оба затворимся от людей (я, как и Вы, хочу этого), с нами и случится. А пока один день я раздуваю ноздри, а другой — брожу как сонная муха. Должно же что-то треснуть и разбиться, чтобы под этим «что-то» оказалось единое...

Иногда приходит в голову, что петербургская теоретичность и схематичность может обратиться в практику. Эта практика будет иная, чем в Москве. Под Вами — голубая вода, легкий хрустящий песок на твердом дне. Здесь под нами ничего, ничего, ничего, голова кружится, когда остушишься, рабские мысли приходят: только бы не увидеть, — лучше совсем опять надолго съежиться.

О Вашем голубом дне я говорю только в противоположность нашему. Вы — над провалами и кручами, но что-то есть у Вас, за что ухватиться. У нас — ничего. Никто и руки не протянет. Полное одиночество, беспомощность, скудость сердца. Я слышал, что Вас



зовут в Петербург. Не ездите, милый, не переселяйтесь. Едва ли Вы хотите этого, впрочем. Мне очень хотелось бы хоть ненадолго убраться отсюда подобру-поздорову, к Вам в Москву...

Поверьте мне, что я Вас люблю теперь уже совершенно просто, даже помимо всех драгоценностей, которые Вы расточаете в стихах и прозе. Пошлю Вам хоть стихи. А в Москву, вероятно, мы с женой приедем. Вы приедете к нам в Петербург?..

Белый. Но – отсрочивался приезд... Наступал новый год...

Бекетова. В первую зиму молодые Блоки съездили в Москву, где было хорошо, и впечатление осталось светлое. Тут произошло знакомство с Андреем Белым и с кружком аргонавтов, где встречались и с Бальмонтом, и с Брюсовым, и с другими московскими поэтами...

Белый. Мне помнится: в январе 1904 года за несколько дней до поминовения годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, в морозный, пылающий день раздается звонок. Меня спрашивают в переднюю; — вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама за ним раздевается; это был Александр Александрович Блок, посетивший меня с Любовью Дмитриевной.

Поразило в А. А. Блоке — (то первое впечатление) — стиль: корректности, светскости. Все в нем было *хорошего тона*: прекрасно сидящий сюртук, с крепко стянутой талией, с воротником, подпирющим подбородок, — сюртук не того неприятного зеленоватого тона, который всегда отмечал белоподкладочников, как тогда называли студенческих франтов; в руках А. А. были белые верхние рукавицы, которые он неловко затиснул в руке, быстро сунув куда-то; вид его был визитный; супруга поэта, одетая с чуть подчеркнутой чопорностью, стояла за ним; Александр Александрович с Любовью Дмитриевной составляли прекрасную пару: веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов. Что меня поразило и А. А. — цвет лица: равномерно обветренный, розоватый, без всплеск румянца, здоровый; и поразила спокойная статность фигуры, напоминающая статность военного, может быть, — «*добророго молодца*» сказок. Упругая сдержанность очень немногих движений вполне расходилась с застенчиво-милым, чуть набок склоненным лицом, улыбнувшимся мне (он был выше меня), с растерявшимися очень большими, прекрасными, голубыми глазами, старательно устремленными на меня и от усилия разглядеть чуть присевшими в складки морщинок; лицо показалось знакомым: впоследствии, помню, не раз говорил я А. А., что в нем — есть что-то от Гауптмана (сходство с Гауптманом не поражало поздней).

Это первое впечатление подымало вопрос: «Где ты видел его?» И казалось, что должен бы был дать ответ себе: «Видел духовно, в стихах». Нет, — тот образ, который во мне возникал из стихов,



соплетался сознанием с образом, возникавшим во мне неизменно: с фигурой малого роста, с болезненным, белым, тяжелым лицом, — коренастым, с небольшими ногами, в одежде, не сшитой отлично, с зажатými тонкими, небольшими губами и с фосфорическим взглядом, вперенным всегда в горизонт, очень пристальным, очень рассеянным к собеседнику; я, разумеется, видел А. А. с перчесанными назад волосами; не думал, чтоб он был такой...

А курчавая шапка густых чуть рыжеющих и кудрявых, и мягких волос, умный лоб — большой, перерезанный легкою складкой, открытый, так ласково мне улыбнувшийся рот и глаза, голубые, глядящие вовсе не в даль с чуть сконфуженной детскостью, рост, эта статность, — нет, все это было не Блоком, давно уже жившим во мне, «Блоком» писем интимнейших, «Блоком» любимых стихов, мной затверженных уже два года. Скажу: впечатление реального Блока, восставшего посредине передней арбатской квартиры (мне Блок рисовался на фоне заневских закатов, на фоне лесов, у горы) — впечатление застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось; от этого пуще сконфузился; бросился торопливо приветствовать гостя, супругу его, проявляя стремительность большую, чем подобало; не по себе мне было; и мое состояние, я чувствовал, передается А. А.: он становится и любезным, светским, смущаясь смущеньем моим и выдавая смущение тем, что он мешкается в передней; вот что я почувствовал; происходила заминка, — у вешалки; я старался повесить пальто; а А. А. в это время старался запрятать в карманы свои рукавицы. Одна Любовь Дмитриевна не поддавалась смущенью; нарядная, в меховой своей шапочке, ожидала она окончания церемонии встречи.

С заминкою проходили в гостиную, где я, как мне кажется, познакомил А. А. и Л. Д. с моей матерью; все вчетвером мы уселись. Меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял впечатление, которое вызвал во мне; впечатление на нем отразилось, придав всем движениям крепкой и статной фигуры его мешковатость; он внутренне затоптался, не зная, как быть, что ему говорить; молчала спокойно Л. Д., сев в сторонке и наблюдая нас; чувствовал я, что А. А. с выжидательным любопытством все ждет от меня, я не знаю чего: слов ли, жестов ли, непринужденности ли (просто ждал разряджения атмосферы, в которой держал его); помню, как мы пренеловко сидели на старых потрепанных креслах оливковой нашей гостиной... здесь, в этих креслах, четырнадцатилетием ранее, дедушка Блока сидел, А. Н. Бекетов... я помню: седой, благодушный, с длиннейшею бородою и падающими па плечи кудрями, поглядывал он на меня, меня гладил: и — посадил на колени.

Запомнился ясный морозный денек; и запомнился розовый луч преклоненного солнца; и — розово-золотистая сеточка атмосферы, сквозь шторы залившая рыжевато-кудрявую голову Блока, склоненную набок, недоуменные голубые глаза, и застывшую принужден-

ную улыбку, и локоть дрожавшей руки, упиравшейся неподвижно о полустертую ручку старофасонного кресла, — руки, развивавшей дымки папиросы в зарю: слов, которыми мы обменялись, — не помню, но помню, что мы говорили об очень простых, обыкновенных вещах... и помнится, говорили о том, что нам следует говорить основательно; вспомнили даже слегка о погоде; и улыбнулись втроем тут визитности тона — тому, что еще не умеем друг с другом мы быть; лед затаял; я бросился, совершенно некстати, анализировать тон визита: нам трудно-де выискивать тон после писем друг к другу; у каждого друг ко другу за эти-де годы — рой мыслей, мешающих непосредственно видеть.

Замечу: А. А. обо мне верно думал иначе; не соответствовал в письмах я «глупому» виду; в строках, посвященных мне, А. А. писал, что кому-то дано на позолоченных счетах исчислить законы времен; и понять, что — темно; моя брэнная личность была этим «кем-то»; теперь эта личность сидела пред Блоком и видом своим хоронила себя самое. Затрудняла общение разность, разительная в темпераментах (*меланхолического* в А. А., *сангвинического* во мне), затрудняли общение методы выявления на людях; и мне, и А. А. приходилось страдать от различия наших внутренних биографий и внешних; и мне, и ему приходилось угаиваться; был А. А. близок к матери, но чужд отчиму (личности благородной, прекрасной), чужд родственникам, университету, родне Любовь Дмитриевны и военной среде, проникавшей во внешние условия жизни его: ведь А. А. жил у отчима, полковника, в Гренадерской казарме. И я, в свою очередь, жил в одиночестве (за исключением Соловьевых). До двадцати почти лет не было у меня никого; развивался — *«украдкой»*. Все налагало особую трудность в общении с людьми; наши чаянья, мысли, стихи созревали в *подполье*, которое оберегали мы оба; и нарастили на нас отложения среды, или — маски; не оттого ли так часто являются маски в поэзии Блока. Здесь неземная, там — снежная и оттого-то в ту пору писал я о *«масках»*...

— Ходили мы в «масках»; замаскированные, — встретились; замаскированные сидели и тот день.

Я в А. А. замечал в это время особый жаргон в отношении к людям: протянутасть к «корню», к последнему; и вместе с тем — недоверие, настороженность, испуг перед бестактностью, в каждом живой; да, ко всему *«предпоследнему»*, где конкретная жизнь перемешана с отвлечением в субъективную Майю, — питал отвращение он, закрывался стилем, который он нес, как естественность «очень хорошего тона». ...такт и тон повеленья во мне были вовсе иными; я был суетлив, говорлив; я себя выговаривал; я ощущал себя внутренне тихим, не теоретиком; но в проявлениях внешних я был непосеδοю, составляя контраст с очень выдержанным А. А., добродушно шутливый, скептическим по отношению к Майе, что делало явно его обладателем *хорошего тона*.



Взглянув на меня, всякий высказал бы: «Вот — московский интеллигент, оптимист и чуть-чуть Репетиллов»... Взглянувши на Блока, сказали бы: «Петербуржец, и — с выправкой; интеллигент? Нет, скорее — *дворянин*, позитивно глядящий, на вздох натянувший улыбку разочарованной скуки, и вместе с тем: добрая, сострадательная душа, обласкивающая уютом и спрятавшая точку скорби»... доверием веяло мне от А. А.; но доверие это в А. А., сочеталось со строгостью. Да, конечно, сказали бы, что А. А. не бывал в тех салонах, где действовал Репетиллов... Вероятно, А. А. долго стаивал у Невы и знал «Медного всадника»; не символизировал он: символическое восприятие — физический факт бытия для него. И то все выражалось в манере держаться: питанием к собеседнику, наблюдательностью (от А. А. не ускользало ничто) и готовностью ответить — решительно, без *абстрактных* подходов; но А. А. выжидал действительного подхода к вопросу; на *кажущееся* не отвечал он никак, замыкаясь в молчание. Я выглядел — интеллигентней, нервнее, слабее, демократичней, рассеяннее; А. А. выглядел: интеллектуальнее, здоровее, внимательнее.

Вместе с тем: оба мы не являли стиль лирики нашей; взглянув на А. А., не сказал бы никто, что он именно складывал циклы шахматовских «видений»; скорее бы мог написать он рассказ или повесть в тургеневском духе (хотя бы талантливее); посмотрев на меня, вероятно сказали бы: Этот рифмует: *искал — идеал*...

Но под маской дворянской во Блоке тайлся: неведомый Лермонтов, Пестель, готовый на все; под моими идеями, крайними, вероятно, тайлся — минималист, осторожный, и — постепеновец, выщупывающий дорогу, бредущий окольным путем (методических обоснований, намеков), всегда выжидающий мнение собеседника, чтобы потом лишь *открыться*; А. А. был во внешнем — спокоен; я — торопился, всегда на словах забегая вперед; но на твердое «да» или «нет» я не шел; А. А. — шел.

Характеризую редчайшую разность меж нами, которую мы ощутили при первом свидании — в темпераменте, в стиле и в такте; происходила такая заминка меж нами; сидели, не зная, что делать друг с другом: ведь о погоде не стоит ораторствовать, а о Прекрасной Даме — что скажешь? Впоследствии А. А. признался: был один миг, когда он не *поверил мне вовсе*, почувствовал, что я вовсе не «*тот*»; и это свое отражение в нем я почувствовал тоже; почувствовал он, что могу в «*предпоследнем*», в *трепещущем*, в *животрепещущем* даже сорвать то, что жило во мне, как заветное: жило ли? На мгновенье А. А. — заколебался: разочарован он был, как и я. Но, наверное, оба же мы ощутили, что кроме «личин», таких разных, какая-то общая суть оставалась; и ей мы сказали: Да, будет.

Поволенное обещание стало основой любящего отношения А. А. к моей брэнной «*личине*»; я это почувствовал; я уже полюбил его; но, увы, вел себя эгоистом; он явственно превосходил: оттого-то

и *братство*, связавшее нас, отражалось во мне тем, что я ощущал его старшим; я чувствовал младшим себя (мы — ровесники); я признаю: это — так; были же у меня превосходства: я был терпеливей, скромнее и робче; пусть он был мудрее, смелее и *старше*, — все же был он капризней во внутреннем жесте (при внешней податливости); не выносил «разговоров», которые я выносил; я сознательно шел их выстрадывать, переживая огромную боль; а он нет; я ходил, как ободранный, — спорами; он — отстранялся от них.

Еще штрих, нас так разнящий: если бы спросить у покойного о первой встрече нас с ним, он ее описал бы не так: метким словом отметил бы все то внутреннее, что возникало меж нами; и не пускался бы в психологические характеристики; он нюансы бы все опустил, но припомнил бы текст разговора, я — нет; не помню (говорил ведь он меньше); а кроме того: я прислушивался к бессловесному фону всех встреч наших с ним; за фотографию душевных нюансов ручаюсь: они напечатаны в сердце; а за слова — не ручаюсь: забыты.

Мне помнится только момент этой встречи, когда я признался в трудности мне говорить; он тут точку поставил над «i»; подтвердил: «Очень трудно». А я вновь ораторствовал, анализируя эту трудность; столь долгий анализ при первом визите — бестактность; что делать, — то было вполне неуместно... чего не любил А. А. Блок; но поверивши мне в основном, претерпел он меня. С первой встречи А. А. стал уже импонировать мне *тихой силой*, в нем жившей; она излучалась в молчание здорового, внешне прекрасного облика; ведь А. А. был красив (очень-очень) в ту пору; сказал бы: он был лучезарен (не озарен)...

Не было в нем никакой озаренности, мистики, сентиментальности «рыцаря» Дамы... Но — лучезарность была; он ее излучал и, если хотите, он ей *озарял разговор*; в нем самом озаренности не было, но из него расширялось какое-то световое и розовое тепло (темно-розовое порою); физиологическое и кровное; слышалась влажная почва, откуда-то проплавливаемая огнем; а «воздуха» не было; физиологичность души его при отсутствии транспарантности «озарений» производила страннейшее впечатление; и — подымался вопрос: «Чем он светится?» Какие-то радиоактивные силы тут были (преображенности, взрыва?); они излучались молчанием очень большой головы, наклоненной чуть-чуть набок, кудрявой и отмечающей чуть заметным склонением медленные слова, чуть придушенного, громкого, несколько деревянного голоса; — вдруг стремительно бойким движением, не без вызова, рисовало лицо его линию кверху; и — вылетал из чуть дрогнувших губ голубоватый дымок; он клонился из дыма над мелочью разговора, простого, конкретного; и — свечение, розовость распространялись вокруг, оставляя спокойным А. А., и охватывая собеседника, которому вдруг хотелось сказать о *«последнем»* А. А. Он спокойно выслушивал, недоуменно моргая глазами, отряхивал пепел; и — шурил глаза.



Вызывал впечатление пруда, в котором утаена большая, на поверхность редко всплывавшая рыба; в нем не было ряби, ни отблесков, ни лазури, ни золота: золота афористической ряби на лазурящем фоне идей; не было и играющих рыбок, выбрасывающих пузырьки парадоксов (пузырьки были зато в его письмах); в беседе не чувствовалось кипения (кипел собеседник): гладь тихая — ни теории, ни расstrуенной мысли; и окружающее отражалось — зеркально; да, он не казался *«рассудочным»*; мудрость какая-то сказывалась в такте жестов его, не торопливых и сдержанных, редких, но метких; вдруг: от поверхности приподымались тяжелые волны глубинности, взвинченной быстрыми ходами рыбины-мысли, вынашиваемой годами; присутствие *«рыбины»* *чуялось* в Блоке под маской готовности на все согласиться, чтобы «отделаться»; легкость, с которой Блок соглашался порою на все, распространялась в периферии его разговора; здесь часто могли вы услышать *«да»*, *«нет»* (и не «да», и не «нет»: ах, оставьте в покое меня: пустяки ваши «да», пустяки ваши «нет»...) — это значило: повремените — глубинная рыба вынашивается; когда он придет к утверждению узнания, то никакие силы не смогут свернуть его: узнанное проведено сквозь строй существа: тогда выскажется во внутренне повелительной форме: «Да, нет!» Этой внутренне повелительной форме извне соответствует мягкое, деликатное отклонение чуждого мнения: «— Может быть... А пожалуй, я думаю, что *это* не так: знаешь, это — не так. И с *«не так»*, или с *«так»* — не свернешь его.

Все это выглянуло из А. А. на меня уже при первом свидании нашем, расстраивая былые о нем представления и вызывая мучительную работу сознания; ожидал его видеть воздушным, мистичным, внемысленным, а земная, тяжелая и огромная интеллектуальность меня поразила, меня подавила; и высекался откуда-то издали лейтмотив семнадцатилетних общений, — огромное целое, бывшее мне порою прекрасным, порою тяжелым; грусть, сходную с разочарованием, — ни с чем не сравнимую грусть, какую испытываешь перед роковыми часами, слышал: «Да будет же воля Твоя». И послышалась поступь судьбы. Блок — ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе; все то прозвучало при первом свидании: встало меж нами. Отсюда — неловкость.

Запомнился этот морозный денек; и запомнились мне фонари на Арбате — в зарю, и — заря, погасавшая, грусть, охватившая; я пошел поделиться своим впечатлением о Блоке к Петровскому; и не помню, как именно очутились мы с ним на Никитском бульваре; здесь я рассмеялся: «Да, знаете, — вот неожиданным оказался, совсем неожиданным Блок». В стиле наших проказ (подстрелить незнакомых прохожих на улице парадоксальной ассоциацией, карикатурную звуковую метафорой, шуткой) заметил я: «Знаете на кого он похож?



Он похож на морковь». Так нелепицей выразить что-то хотел, передать что-то, — что, и не знаю: продолговатость лица ли, казавшегося очень розовым, лучезарным и крепким: «Похож на морковь или... на Гауптмана». А. С. Петровский к нелепице этой прибавил свою — что-то в этом же роде: так в явно мальчишеских выходках и постарался скорей распутить свою смутную, сложную грусть.

В тот же вечер с А. А. и с Л. Д. снова встретились мы у С. М. Соловьева; там всем полегчало; вдруг стало теплее и проще; быть может, произошло оттого это, что у С. М. Соловьева без «взрослых» мы встретились; С. М., родственник А. А., знавший давно его, одновременно ближайший мой друг, —непринужденностью, бурными шутками быстро сумел ликвидировать официальность меж нами; ведь стигль отношений друг к другу был нами же создан (понять философию Владимира Соловьева); образовали мы три — треугольник, естественно дополняя друг друга; и «око, иль *глаз в треугольнике*» — тема поэзии Соловьева («*Прекрасная Дамы*»), — присутствовала меж нами; С. М. был цементом, связующим: он ведь и вызвал мои отношения к Блоку.

С. М., — экспансивный, переходивший от шуток, подчас гимназических, к темам серьезным, умевший серьезное вызвать, умевший *серьезное* вовремя закрывать яркой солью острот и чудовищных шаржей, — С. М. близко знал и меня, и А. А.; он умел создавать между нами троими — «общественность»; он являлся естественно законодателем тона, заставив А. А. и меня полагать, что под «*маской*» натянутости, возникающей между мной и А. А., — лишь простое, хорошее чувство. Втроем было проще; и — открывалось незримое «око» меж нами (как будто вдвоем приходилось искусственно высекать это «око»)...

В этот вечер у Соловьевых я ближе увидел А. А.; в нем отчетливо проступала лукавость и юмор по отношению к своему появлению в Москве, к нам, ответственно здесь сидящим, к «*неспроста*» меж нами; он, медленно поворачиваясь к жене, выражал ей при нас впечатленья: «Знаешь ли, Люба, мне кажется, что Сережа...» В признаниях этих мне слышалось много простого, хорошего чувства, соединенного с юмором: юмор был сдержанный; юмором искрились краткие реплики на «витийство»; рассказывал что-нибудь медленным голосом; и — совершенно серьезно; а — становилось смешно; юмор этот был английский; он выговаривал веские мнения; но возникали вокруг этих мнений курьезные ситуации образов; губы дрожали от смеха у нас; он, расширив свои голубые, большие глаза, легким жестом руки, отрясающей пепел, едва оттенял юмор фразы.

Мой стиль был — лирический; мне от тонкого юмора Блока не раз доставалось: склонением головы, разведением рук А. А. метко вышучивал лирику, — мило, незлобиво, просто и весело; помнится мне, что А. А. представлял, как меня приглашают читать, я же



долго отказываюсь; великолепно, как мне говорили, умел пародировать он мое чтение стихов; я не мог убедить пародировать чтение при мне тем естественным доводом, что бесовестно зарисовывал карикатуры на Блока в присутствии Блока.

С. М. шутил грохотно — *«по-соловьевски»*. он строил гротески и шаржи, напоминающие пресловутое *«ха-ха-ха»* Соловьева. А. А. не шутил: юморизировал он; нет, не строил характеристик, а — отмечал только черточкою, или — простреливал метким, сражающим словом. Впоследствии вымерил разность меж нами в одной меткой фразе, ко мне обращенной: «А знаешь ли, Боря, ты — *мот*; я — *кутила»*. Под *«кутежами»* хотел разуметь он способность свою до конца отдаваться: свой максимум, спрятанный в тихой личине; под *«мотовством»* разумел он обычай мой сыпаться словом, проматывать словом душевное содержание...

А. А. в разговоре не двигался; он сидел в *«сюртуке»*, облекавшем его очень прямо, почти не касаясь спиной спинки кресла; он мог показаться порой деревянным; одежда на теле его не слагала морщин; сохранял свою *«статность»* и *«выправку»*: мало он двигал руками; не двигал ногами, лишь изредка наклоняя, иль отклоняя кудрявую рыжеватую голову, и опираясь локтями на ручки удобного кресла; менял положение ног, положивши одна на другую, качая носком; С. М. вскидывал брови, откидывал корпус; А. А. собирал свои жесты в себе; иногда лишь, взволнованный разговором, вставал он, топтался на месте; и медленными шагами прохаживался по комнате, подходя к собеседнику, чуть не вплотную; открывши глаза на него, голубые свои фонари, начинал он делиться признаньем, отщелкивал свой портсигар и без слов предлагал папиросу; и все его жесты дрожали врожденной любезностью к собеседнику; если стояли перед ним, а А. А. сидел в кресле, он тотчас вставал и выслушивал стоя с чуть-чуть наклоненным лицом, улыбаясь в носки; лишь когда собеседник садился, садился он тоже.

Так светскостью, вежеством, он отстранял иногда санфасонистые порывы московских знакомых, готовых шуметь, обниматься и клясться в священной дружбе, задев собеседника локтем, обрызгивая слюною (что хуже всего). *«Амикошонства»* А. А. не терпел; своим вежеством он отрезал он себя Репетиловых и Маниловых; им мог казаться почти равнодушным, холодным и замкнутым он.

Мне таким не казался в наш вечер «а *quarte»*, отступало куда-то все *«важное»*; мы отдавались веселью; мы были ведь молоды; мне — 23 года, А. А. — то же самое: семнадцатилетним был С. М.; двадцатилетней была Блок...

Л. Д. ощутил я в тот вечер тем целым, которое образовали мы: фоном бесед; может быть, порой *«оком»* среди треугольника; каждый из нас имел роль в нашем целом, Л. Д. — была символ целого: кто-то, помню, спросил ее в тот многопамятный вечер о чем-то; она с добродушием замахала руками: «Нет, я говорить не

умею: я — слушаю». Слушание — было активным; держалась, как «старшая»; и впоследствии выразил отношение к ней А. А. в стихотворных строках: как вернувшихся братьев с прогулки встречает — «сестра»; называет А. А. ее «строгой»; она —

Скажет каждому — *будь весел*.

И она говорила «*будь весел*» в молчании, каждому. Жив ее образ в пурпурном каком-то домашнем капоте, — у занавески окна; за окном — розовеют снега; луч зари освещает лицо ее, молодое, цветущее; розовый солнечный зайчик ложится на головку; она — улыбается нам...

Остановился Блок — на Спиридоновке, в доме В. Ф. Марконет, — в необитаемой малой квартирке, обставленной всеми предметами, необходимыми для жилья; я квартиры не помню подробно; запомнился общий какой-то коричнево-серый и выцветший тон — кресел старых и старых диванов... невидимый жар исходил от спокойного образа тихо сидящего в кресле студента, волнуя; я помню беседы втроем; помню тихо внимающую супругу поэта; и — розово-золотой воздух; и — будто вспыхивающее «Око» и

Поднималась молча Тайна роковая -

— то есть тайна о Ней, начинающей Третий Завет; да, мы знали, что камня на камне в ближайших годах не останется от культуры «сократиков», разметаемой ветрами эпохи катастрофической; да, серьезное смешивалось с парадоксальным, с ребячливым; мне помнится: часто мечтали мы попросту, по-молодому: мистерия человеческих отношений вставала: мечталась мне тихая жизнь среди лесов и скитов, нас, связавшихся братьев. Я помню, что на квартире В. Ф. Марконет у меня сорвалась вдруг фраза:

— Ах, как хорошо бы всем вместе — туда!

Л. Д. слушала, так уютно зажавшись (с ногами) в клубочек на уголке дивана (серо-коричневого, как вес) в своем ярком, пурпурном капоте, с платком на плечах, положив золотистую голову на руку; слушала, — и светила глазами. А. А. в серой, старой тужурке, передо мною опрокинулся в кресло; и — чутко прислушивался.

Мы говорили о том, что... уйдем... Так зовы *ухода* от старой культуры мы слушали вместе в московские дни, — на заре «*символизма*»: и *целое*, атмосфера, розово-золотой воздух, — веял же, веял!

Пусть скажут, что были мы глупы: не глупы, а — молоды.

Наши беседы за полночь в коричневатой квартирке перерывались молчанием (С. М. сузил брови... А. А. улыбался двойной улыбкой, скептически детской. Л. Д. — наливала нам чаю). Сидения наши, имевшие вид молчаливых радений, носили печать возникавшего тайного круга: эзотеризм *атмосферы* — блоули; непосвященные, — что сказали б они о подслушанном — вместе? Нет, в эти минуты мы не были балаганными мистиками...



А. А. ласковый, выдержанный, даже светский, везде возбуждал рой симпатий; среди аргонавтов — особенно; в литературной среде молодых «Скорпионов» и «Грифов» А. А. возбуждал любопытство; а дамы шептались: «Блок — прелесть какой».

С литераторами он держался любезно, с достоинством; он с головою, высоко приподнятой, стал перед теми из мэтров, которые, может быть, ожидали от Блока хотя б одного только жеста от Гильденстерна или Розенкранца, считая себя литературными принцами; к сожалению, представители нового направления не слишком освободились от старых привычек; и лесть принимали они. А. А. взял естественный независимый тон по отношению к мэтрам...

Я помню А. А. на моем воскресенье, его ожидали друзья — «аргонавты»;

...В эти годы, здесь, в маленькой белой столовой, раскладывался стол от стены до стены; за столом происходили шумнейшие споры; порой появлялись ко мне на воскресенья неизвестные и полуживые люди, поэты ли, интересующиеся ли искусством, — не ведаю... Запомнилось: в то воскресенье вокруг Блока толпились «аргонавты»; и обдавали его своим пылом, стараясь поскорее устроить на Арго, считая Орфеем А. А., чтобы плыть за Руном; было очень нестройно: А. А. был любезным со всеми, но — несколько изумлялся куда он попал...

Вскакивали, уходили и приходили; гремели летавшие стулья, врываясь в гам голосов, в перекрики, в смех, в споры; с А. А. я был мало в тот вечер, предоставляя А. А. его старым московским поклонникам; их старался узнать он, вникая во все, что ему говорили, не успевая с ответами; появлялась в нем мешковатость, переходила в растерянность; и живая улыбка нервически напрягалась; и — застывала; у глаз появились мешки; он темнел...

За читали стихи: Бальмонт, я, еще кто-то, он; Бальмонт вынул свою неизменную книжку: выбрасывать строчки свои, как перчатки, — с надменством; потом читал Блок; поразила манера, с которой читал он; сперва не понравилась (после ее оценил)... голосом точно стирал он певучую музыку собственных строчек, — деловитым, придушенным несколько, трезвым, невыразительным голосом; несколько в нос он читал и порою проглатывал окончания слова... не чувствовалось повышения и понижения голоса, разница в паузах; будто тяжелый, закованный в латы, ступал по стопам; и лицо становилось у А. А., как голос, тяжелым, застылым; острился теперь большой нос, изгибались губы из брошенной тени; глаза помутнели, как будто бы в них проливалось олово; тяжким металлом окутанный, точно броней, так он выглядел в чтении...

Я должен сказать откровенно, что мы посягали на Блока; и часто тащили его: показать. Он, сжимаясь, смиряясь: в нем слышалась боль... Эту боль я не раз подмечал (выражение нетерпеливости, жившей в нем): нетерпеливой правдивости; вздрагивал он в звуках



фальши, сжимался; на губах появлялась улыбка страдания от усилия — перемочь, стиснув зубы; когда ж аритмия росла, он — тускнел, облетая загаром и становясь некрасивым; дурнел весь в тенях, обостряющих нос, с очень сжатыми и сухими губами, — надменно изогнутыми: молчаливый, испуганный, странный и злой.

А я был — терпеливее: тоже страдая от фальши, я месяцами ходил, как ободранный; но нестройно нес, как свой крест, все старался организовать звук гармонии из сумбура, ему отдавая свой собственный ритм; Блок — сжимался: от нетерпения; а я — разрывался; порою — взрывался: тогда выходили совсем неожиданные инциденты, скандалы. А. А. в эту пору страдать не хотел...

Помнится, — характернейший вечер в издательстве «Гриф», где особенно переживалась нестройна; были там: и аргонавты, и грифы, и барышни «лунно-стройные», и А. А. с Л. Д.; произошел балаган: от неискренности одних, от маниловщины других; и — привирания третьих... вдруг сытый присяжный поверенный забасил: «Господа — стол трясется». Наверное, преобразование мира себе он представил, как... столоверчательный акт, — увидел, что Блок посерел от страдания, а Л. Д. очень гневно блеснула глазами; я — что говорить: все во мне замутилось за А. А., за себя... вдруг вижу: А. А. очень нежно подходит ко мне; начинает подбадривать: взглядом без слова; сочувствие превозмогло в нем брезгливость к душевному кавардаку; он весь просил; и пахнула тишайшая успокоительная атмосфера его на меня.

Вскоре вместе мы вошли; я шел, провожая А. А. и Л. Д.: шли мы в тихий снежок, порошивший полночную Знаменку; этот мягкий снежок так пушисто ложился на меховую, уютную шубку Л. Д.; помню себя я с ободранной кожей; помню: А. А., тихо взяв меня под руку, успокоительными словами сумел отходить; с того времени: в дни, когда что-либо огорчало меня, я являлся к А. А.; я усаживался в удобное кресло; выкладывал Блокам — все, все. Л. Д., пурпуровая капотом, склонив свою голову на руки, молчала: лишь блестками глаз отвечала она; А. А., — тихий-тихий, уютный и всепонимающий брат, открывал на меня не глаза — голубые свои фонари: и казалось мне, видел насквозь; и — он видел; подготавлилось тяжелое испытание: сорваться в мистерии; и потерять белизну устремлений; А. А. это знал; невыразимым сочувствием мне отвечал.

В эти дни перешли мы на «ты».

Он говаривал мне:

— Понимаю я: все это грубо: не, то и не так, что тебя окружает...

С. М. Соловьева в те дни уже не было с нами: он вдруг заболел scarлатиной... Ежедневно видались мы с Блоком и, странно, почти не беседовали об искусстве; и соловьевские теории с времени болезни С. М. оборвались, уступили простым очень жестам, А. А. жертвенно нянчился с состоянием моим, точно нянька с больным; я заботы его обо мне принимал с эгоизмом. То были последние дни жизни Блока в Москве...

Глава V. «Не пойду врачеваться к Христу...»

Блок – Белому. 7 апреля 1904. Петербург

...В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов. Он юродивый, нищий духом, потому будет блаженным...

Иванов. ...Ал. Блок был похож на рыцаря, «заоблачного воина», спустившегося из своей сферы на землю в среду «человеческую, слишком человеческую».

На нем, как в бою, доспех, шлем с опущенным забралом и длинный меч; но шлем и доспех легкий там, в своей сфере, здесь — тяжел. Меч свободный там, здесь — неуклюж, слишком длинен; концом его трудно вычерчивать слова посвящения на зашарканном полу...

Было ли обожение или обожание? Да, было, но такое тайное, скрытое, что никто его («ни, ни»!!) не мог заметить, а особенно «он». Верхом дурного тона я счел бы выявить его перед «ним» или перед другими ... Таково первое личное знакомство мое с ним, но стихов его я еще не знал...

Помню 22-го марта 1903 г. званы были мы на вторую вечеринку «Нового Пути», уже после только что вышедшей мартовской книжки журнала со стихами Ал. Блока. Та же квартира, но... темно и пусто; и в квартире, и на столе, и за столом... Ни нарядной публики, ни цветов, ни вина, ни закусок, ни белой скатерти на пустом столе. Тогда — ярко и пышно, теперь — полумрак: одна лампочка над столом в видах экономии. Редакционная бедность уж сказала: журнал не идет, подписчик не растет.

Уличный фонарь с Невского помогает освещению комнат. В его лиловато-белесом свете у косяка двери стоит Ал. Блок среди группы студентов, связанных с «Новым Путем». Настроение его было иное, чем на первой вечеринке: он был по-детски прост и мил, внимательно выслушивал всякие суждения об его стихах. Ко всякому мнению он был тогда «кроток и уступчив», стараясь понять каждого в похвалах и в несогласиях. Но несогласий в молодежи почти не было.

Для многих, думаю, он был тоже «вот, он!» Духом эпохи Возрождения XV века и нашей Руси веяло от этого заоблачного рыцаря... И картины Мадонн и ангелов, окружавшие в «Новом Пути» явления его стихов, не дисгармонировали со всем его стилем.

Я, конечно, подошел тоже со своими похвалами, порядочно юродствуя. Жму ему руки, говорю, что стихи его «это страшно хорошо», что это не «писательство», а «писание слова», что они не только красивы, но в них есть нечто «страшно хорошее», потому они и красивы. Ал. Блок вслушивается в мой «детский лепет» (дитятке было всего 23 года) с какой-то материнской заботливостью, стараясь понять, что такое я хочу сказать, вслушивается, склоняясь, как всад-



ник с коня слушает, пешехода. И вот улыбнулся... И вновь предо мною Ал. Блок — дитя ясное, как ясное солнце.

Если потеряем младенца-дитя в себе, если разучимся, обратясь, становиться как дети, то ничего из нас не выйдет...

Но если он ребенок, то такой, какого изображение мы видим на образе «Страстной» Богоматери, где Ребенок вдруг обернулся от груди Матери своей, увидав в Небе орудия его «страстей», его смертной казни, проносимые ангелами; если ангел, то такой, которому сродни не только Сирин — птица райской радости, но и Гамаюн — «птица вещая», зловещая.

Я уже глубоко любил Александра Александровича. Все сказанное вытекало из этой любви, но любовь глубже всего сказанного. Я любил Александра Александровича всего, как он есть, с душою, телом и Духом, до последнего волоска.

С этой любовью я садился как бы в его золотой челн, не спрашивая, куда и на какие встречи поплывем мы по стихам его. Новым словом веяло от него...

Не помню ясно, виделся ли я в ту весну с Александром Александровичем еще раз. Кажется, нет, но от Зинаиды Николаевны Гиппиус слышал, что он влюблен и ходит за город встречать Весну и собирать первые подснежники, потому и ни на каких собраниях не бывает.

Летом все разъехались по дачам... Уехал и Александр Александрович за границу, и потом в подмосковное сельцо «Шахматово», где в августе (17-го) совершилась свадьба его с дочерью Д. И. Менделеева Любовью Дмитриевной.

Узнав об этом по возвращении с дачи в город, я был удивлен, не зная, — как это? Ибо, по несколько одностороннему восприятию, мне казалось, что рыцарю, получившему дар посвящения, «лучше не жениться». Мне странным казалось представить Александра Александровича не женихом, а мужем и отцом семейства. Это не вязалось у меня с ангелообразными представлениями.

Но так как любовь глубже и шире всяких теоретических представлений, то я и этот факт — женитьбу Блока принял как нечто должное; вспомнил Лоэнгина и Эльзу, Иван Царевича и Царь-Девичу, когда мужья брака видимого остаются вечными женихами брака невидимого; и мне хотелось очень узнать — какова жена-невеста Александра Александровича.

Женатым Александра Александровича я встретил лишь в конце октября. День был хмурый, промозглый, и с залива дул сильный ветер «со скрежетом зубовным», воющий в телефонной сети на Тучковом мосту.

На панели, в слюкоти слипшихся, съежась, жалко жались в ознобе пальцы листья.

Зашагав по Петербургской стороне мимо Петровского острова (бродил я по Петербургу, куда глаза глядят, — тогда многие так



бродили, ибо вино внутри бродило), я тут как раз и встретил «его». Александр Александрович был особенный. Шел в Университет, но в лице ничего университетского: взгляд напряженно вглядывающийся в перед, как бы вслушивающийся, как мне показалось, в визг, вой и звон телефонных проводов там на мосту. Остановились. ...Узнал, улыбнулся, назвал по имени и отчеству; несмотря на кратковременное знакомство и долгую разлуку. (Он всегда, в противоположность мне, удивительно точно запоминал имена и отчества). Я был тронут вниманием его. Он спросил: «как я?», сказал — «а я женился» и просил приходить к нему, несмотря на дальность расстояния. (Я жил на Николаевской улице... а он на Петербургской стороне в Гренадерских казармах). Дал свой адрес, вырвав листок из записной книжки, и мой записал у себя. Говоря со мною и записывая, он в то же время в душе точно не переставал вслушиваться и вглядываться в то, что звенело и свистело на мосту, за мостом и далее, точно воин врага невидимого близость чувствует перед боем.

Тогда он был «сердцем преданный» не «метелям», а Зорям Несказанной, зорям не «города», а «града» Москвы, не реальной исторической, а сказочно-«несказанной», с теремами, светлицами, божницами, сказочно-мистической, с подмосковными далями, лугами и лесами, связанными с золотыми годами его детства и юности. Любовь к нашему городу Петра не узнавала еще себя, но была уже в нем тогда: он «бродил» по городу и особенно окраинам его; к городу, к брегам вод его «невольно влекла его неведомая сила». Взгляд тревоги и предчувствия в лице его тогда поразил меня очень. Мы простились. Он зашагал на Петербургскую, к мосту и исчез в начавшем тогда летать с моря мокром снеге...

Когда я в первый раз увидел Любовь Дмитриевну? Это был 1903 г., ноябрь или начало декабря.

Спектакль «Пеллеас и Мелизанда» Метерлинка: давала французская группа, гастроль где-то на Петербургской стороне, не помню, кажется, в театре Аквариума.

Был я с милым старшим братом Александром, который все понимал и от которого я всему научился в области искусства... В антракте, выйдя с братом в фойе, мы увидели стоящего около кого-то Ал. Блока. Мы уже оба были знакомы с ним по редакции «Нового Пути», но еще домами не были знакомы, т. е. не бывали в домах друг у друга.

Ал. Блок какую-то особенную симпатию питал к моему брату, ко мне тоже. Он сразу отделился от сидящей фигуры и подошел к нам поговорить. Тут же он повел представить нас Любви Дмитриевне. Подойдя несколько смущенно, я увидел большущую черную муфту, прежде чем обладательницу ее. Обладательница же муфты была «Сама», т. е. Любовь Дмитриевна. Прежде всего поразила величина всей фигуры и цвет лица, голова, миниатюрная в сравнении со всей фигурой. Золотистые волосы причесаны на уши под



меховой шапочкой. Взгляд чуть насмешливый, ведь я особенно представлялся ей, как тип из компании Мережковских. Стонущеворкующий голос и ясная улыбка. Почти не говорит. Мы недолго потоптались друг перед другом.

Кончался антракт, надо было спешить в зал.

Саша, брат мой, сейчас же заметил «какая большая». Великанша из скандинавских саг. Он тогда читал много скандинавские сказания и увлекался ими.

...В Университете встречались редко. Он* был филолог, я — юрист и довольно-таки сомнительный. Как-то в декабре встретились там на Университетской лестнице. Александр Александрович очень настоятельно и определенно попросил прийти к нему, условился тут же, что я буду обязательно такого-то числа и в таком-то часу у них к обеду.

16-го декабря 1903 по условию пошел я к нему в Гренадерские казармы, где он с женой Любовью Дмитриевной жил у матери, Александры Андреевны, и вотчима Кублицкого, полковника Гренадерского полка...

Наконец, нашел № 13 с фамилией «Кублицкий-Пиоттух». Позвонил. Распахнул двери расторопный денщик, и на вопрос «здесь живет Александр Александрович?», получил — «здесь, так точно. Пожалуйте, ждали».

Вошел. Прихожая бела, светла, на вешалке военное пальто и шапка. Зеркало в раме красного дерева... Против входа — дверь в полутемную гостиную. Из двери так косолапый выскочил, расшаркиваясь на скользком крашеном полу, блистающем чистотой; не лаял, но недоумевал, как принять нового гостя? Такса Краббом звали; любимец общий, особенно хозяина Франца Феликсовича Кублицкого.

Слева отворилась дверь, и из нее вышел Александр Блок.

Рыцарь у себя дома: радушный, гостеприимный и милый, без доспехов, в своей рабочей, «шекспировской» блузе.

Здороваемся. Ведет к себе налево в комнату длинную с высоким-превысоким потолком и окном, против которого низкая дверь в их спальню, и другая — в прихожую.

Встретила и комнате «Люба», Любовь Дмитриевна.

«Люба», жена Александра Александровича, была тогда точно девочка, только такая большая-пребольшая — дочь великана (дочь огромного старца Менделеева); Заря-Заряница — Красная девица, вдруг вспыхивающая вся, как зарница или заря, по поводу или без всякого повода. Руки ее «розоперстые» при душевном волнении имели склонность складываться умиленно или вопросительно-жалостно где-то у горла на груди; движения плавные, плывущие. Цвет лица — роза и молоко. Глаза уветливо-приветливые. Простотой и покоем веяло от нее; глубины русских вод с их потайной силой

* Блок.



грозовой, мерцающей в зарницах. Русь в ней и век Возрождения эпохи Леонардо; и в русо-золотистых волосах от пробора с зачесами на уши, и в сарафанно-свободном платье.

Я проплутал и опоздал, нас скоро позвали из Блоковой половины в столовую, где уже, отдыхая, ждал белый мясной пирог. Всюду, и в гостиной, и столовой, царила блестящая чистота.

«Мама» Александра Александровича Блока. Александра Андреевна, стояла у стола, встречая нас. Фигура у нее была точно у молодой девушки, а лицо и глаза как бы запечатлели на себе все, что перенесла она в теле и душе, не только в себе, но и в тебе: оттого так сразу становилось с ней просто, точно мы уж давно знали друг друга, знали не говоря, даже то, о чем не говорят. И лицо и глаза ее были точно у ребенка, которого били много по лицу, а он все вынес и теперь забыл; но боль в глазах осталась, вместе с каким-то знанием. Из-за стола привстал, знакомясь, вотчим Александра Александровича Франц Феликсович.

В нем было странное несоответствие меж внешними формами и внутренним их содержанием. Военный сюртук на удивительно невоенной фигуре, сутуло-покатой в груди и плечах, колкие черты лица с колкими усами и бородкой — на душе мягкой, с глазами, полными грудной грусти (как у больного грудью), душе, до смерти преданной долгу и жене.

Был тут еще и Витя Грек, чернобровый, густобородый офицер Гренадерского полка, сверстник Александра Александровича по играм в детстве (убит в 1914 г. при начале войны).

Пришла в столовую Любовь Дмитриевна, села меж Александром Александром Александровичем и В. Греком и вдруг с чего-то покраснела, как девочка, рассердясь на себя за свою краску.

Обед шел своим чередом. Я говорил какие-то несуразности, поглядывая от смущения на потолок, по карнизам которого «плыли улыбки, сказки и сны». По скатерти плавал белый лебедь — солонка, привезенная из-за границы, в солонке была «соль земли»: солонкой я любовался, вспоминая Лоэнгрина и царевен-лебедей, все связывая с сидящими Александром и Любовью. Александра Андреевна невольно любовалась на своих «деток», то-есть на Александра Александровича и Любу, и действительно было чем. После обеда опять повел меня Александр Александрович в свою и Любину половину.

Там я начал изливаться ушатами все, что только приходило в ум и сердце, не давая никому слова сказать. Александр Александрович не читал в этот вечер стихов, отчасти потому, что я категорически заявил о моем непонимании ничего в стихах, когда их вслух мне читают.

Поднялся и ушел внезапно на удивление всем.

Причина?!.. «Дома будут беспокоиться, что меня долго нет»...



В крещение в урочный час к 5-ти часам отправился я к Ал. Блоку...

Та же радужная встреча Александра Александровича и всей семьи. Только на этот раз «кривой» (так называл хозяин Франц Феликсович всех таксов) за что-то облаял меня.

Сидя за столом в столовой, я уже достаточно акклиматизировался и не молот несуразностей, поглядывая на потолок, но замечал и буфет, и столики у двух окон с графином и ящичками, и гравюру Маковского «Поцелуйный обряд», почему-то попавшую сюда.

Два окна столовой (как гостиной и комнаты Блоков) выходили на Малую Неву. Она лежала под снегами, и на той стороне мерцали редкие огоньки фонарей.

Высота потолков и окон давали дворцеобразный тон всему дому и эта дворцеобразность в моем тогдашнем представлении шла к дому, где живет рыцарь со своей дамой. Потому и мебель вся просилась в дворцеобразный ампир на крашеных полах и выражала его местами красным деревом: то в буфете, то в столике, то в зеркале, то в диване, в полах, во всем легко моющемся, чистящемся и сметающемся от пыли.

Всюду не керосин, как у нас, а электричество-величество; и оно не казалось здесь мертвым светом, но живым, гармонирующим с душою дома.

Воздух и стиль семьи не так задушен и уютно-домашен, как у нас, но зато более свеж и героически духовен, что хочет всегда выразить стиль ампира.

Семья здесь живет совсем иная, чем наша, но все же «своя семья», с ее глубочайшим «я» своего дома.

Этот дом един, хотя и раздвоен на две половины, половину Блоков, налево от прихожей, и половину Кублицкого, от прихожей прямо; но мама Ал. Блока еще в обоих половинах, и семья едина.

Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух (вотчим Блока) сидел за столом в военной тужурке полковника, в несколько служило-согбенной позе с наклоном вперед и ласково поглядывал на любимца своего такса Крабба, или Крабину, который обходил сидящих за столом, проникновенно заглядывая в глаза их — попадет ли ему в рот «кусочек, падающий со стола господ».

Такие кусочки ему ото всех и попадали, но, недостаточно внимательный к его проникновенным взглядам, гость не уделил ему ничего, и Крабб, несколько обиженный на мою рассеянность, недоумевая, отошел от стола к своему четырехугольному ложу у печки, составя о госте свое не совсем-то лестное мнение.

В этот вечер я познакомился впервые с Марией Андреевной Бекетовой, сестрой Александры Андреевны, или просто «тетей Маней».

Трудно представить характеры более противоположные, чем у этих родных сестер, сестер, любящих друг друга, но каждая по-особому, каждая в своем роде.



Любовь эта была связана единством веры и любви к «детке» Александры Андреевны, к ее Александру, «Сашеньке».

На глазах этой «тети Мани» у матери вырос, возмужал их Сашенька и теперь, когда он, как царевич Гвидон, «вышиб дно и вышел вон», она с той же верой и любовью смотрела на него, благословляя хотя бы издали.

Мать Александра и сестра ее благословляли его, но каждая по-своему, каждая в своем роде... Вот уж действительно «Да будет имя твое благословенно во всяком роде и роде».

Господи, до чего Мария Андреевна не похожа на Александру Андреевну!..

Мария Андреевна — философ рассудительный. Рассуждение и рассудок — основа ее, без рассудка ей беда . . .

Александра Андреевна — мистик духовный (и лицо у нее мистической сектантки), она все постигает не рассудком душевным, а в духе «ударно», в моментах, «ударах» вдохновения, без духа ей беда.

У Марии Андреевны руки неделовые в деле житейского быта; хоть рассудок и хочет помогать делиться делами с другими, но в руках все не ладится, особенно в хозяйстве, и руки опускаются, или захотят сложиться в критический момент.

Александра Андреевна, если в духе, да в ударе, так у нее всякое дело ладится в руках и даже несвойственное ей хозяйское; у Александры Андреевны не сложатся, не опустятся невовремя руки, если дух не изменит ей.

Но дух Александры Андреевны это конек не домашней породы; он вдруг может «понести», как «несут» порой лошади при виде мертвеца или автомата, несут, не видя и не слыша, разбивая экипаж, сами себя даже до смерти, и, очнувшись, удивленно смотрят страдальчески-кроткими глазами на то, что наделали они.

Мария Андреевна не способна так «понести», душа ее ровнее, сдержаннее и она душевнее Александры Андреевны; в Марии Андреевне душа и рассудок, в Александре Андреевне дух, проникающий душу и тело.

Мария Андреевна — больше душевный человек, Александра Андреевна — больше духовный.

Итак, несмотря на противоположность, они любят друг друга, каждая в своем роде, в роде душевном и в роде духовном.

И Александр Александрович любит каждую из них, хоть к матери он и ближе по роду своему, однако любит свою «тетю Маню» больше всех родственников по матери и жене, из которых он любовно признает еще вотчима Франца Феликсовича, называя его ласково «Францик».

После обеда Александр Александрович с Любовью Дмитриевной позвали к себе в комнату меня, Александру Андреевну и Ма-



рию Андреевну. Он просто сказал, что хотел бы прочесть свои стихи нам, если я, конечно, ничего не имею против и расположен слушать. Предположение это было основано на моем категорическом заявлении в прошлый раз о моей неспособности воспринимать стихи, особенно когда их вслух читают; но так как я на этот раз уверял, что очень хочу, то Александр Александрович, сел у стола на кресло около большого дивана и, вынув записную книжку в кожаной обертке, где были отчетливо переписаны его стихи, — приготовился читать.

Читал он почти всегда по записанному, а не наизусть. Даже, чтоб произнести речь, он должен был прежде записать ее на бумаге и, потом, читать, а не говорить.

Это был, выработанный опытом, прием, которым он взнуздывал стихийного коня вдохновения своего, надевая в своем роде ярмо на вольную выю его, с тем, чтоб тот мерно шел под уздой «власть имущего» всадника своего. Александр Блок был «заоблачный воин», рыцарь «Несказанной» боец в воздухе, во имя ее, с невидимыми миру, но видимыми ему «легионам» невидимок...

Вот отчего на лице его был не только заревой загар от близости Несказанной, но и желтый цвет «восковых» «до ужаса недвижных черт», в своем роде тоже загар, или маска от близости «того», от близости Князя, господствующего в воздухе, в лице которого он заглядывал там в битвах с ним; действие же личины того подобно действию головы мифической Медузы.

Однако «строгий крест» боевой охранял «заоблачного воина» в воздушных битвах с тем за Ту.

Этот «строгий крест» ясно обозначался в лице его, когда он, сев на своего невидимого воздушного коня, приготовился читать стихи, поднявшись с нами в ту сферу, где он бывал и бился.

При появлении в лице его «строгого креста» — все смолкло, как смолкает театр при ударе дирижерской палочки.

Даже рыцарь на матовой бумаге комнатного окна вдруг вытянулся и, брякнув мечом, — сделал на караул...

Всадник двинулся, и вот, он едет на мерно гарцующем, воздушном коне своем, озирая поля, леса, холмы и горы, и все, что «на небесах горе, и на земле низу, и в водах под землею»; мы же, следуя, следим снизу вверх за ним.

Конь гарцует под ним «так, так, вот-так» и тяжкий танец коня, запечатлевая каждый шаг «вот-так», в такт гармонирует со струнным распевом едущего всадника в строфах и стихах его «видений».

Кончил... Всадник сошел с коня на землю. «Строгий крест» сменился детски-ясною улыбкой на мою болтовню. Ал. Блок-дитя стоит перед вами, принимающий шутки, могущий сам в шутку говорить. Но всадник и без коня всегда всадник...

Я был глубоко поражен манерой его чтения. Внешняя холодность облекала «тайный жар» его стихов. При малейшей страстности, так



называемого «выразительного чтения», становилось бы неловко, как от фальшивой ноты, потому что исчезал бы «строгий крест».

Сознанием я не понимал толком содержания их, стихов, отчасти оттого, что вообще был слаб в понимании стихов.

Я несколько раз просил повторить то или другое стихотворение, желая сознательно растолковать себе, в чем тут дело. Александр Александрович повторял, но видно было, что делать это ему трудно.

Я старался сказать о стихах что-нибудь, кроме шаблонного «очень хорошо» или «очень нравится», но все мои старания кончались появлением в душе неотвязчивого образа осла, слушающего соловья, из басни Крылова...

Но что же жена, что же мать, что же тетя Ал. Блока? ведь они слушали стихи его со мною, как же слушали они?

Каждая из них любила по-своему Александра Александровича, по-своему воспринимала и радовалась за творчество его.

Мария Андреевна по-своему, — сложив руки и откинув голову, — просто радовалась, что творчество его идет дальше и дальше, и дай Бог, так бы всегда было.

Александра Андреевна, радуясь за дитя свое, переживала с ним дело его в воздухе, куда подымался он на коне. Она верила в чистую силу сына своего, верила в силу креста лица его против нечистой силы, но знала и тот воздух, в котором бьется дитя ее, плоть от плоти, кость от кости, вздох от вздоха ее; она знала, что в воздухе том есть вихри мертвые, туманы и обманы, которые, подползши, жалят героя в пятю, поражают доверчивого героя в спину.

Сердце матери вещи, как у Гамаюна, — птицы вещей. И в губах ее (от больного сердца иссохших) порой кажется, что-то от уст запекшихся, кровью той вещей птицы.

Зорко всматривается она в вихри, развевающие гриву коня сына ее, — откуда дуют они? С тревогой всматривается в туманы, подползающие к нему — не обманут ли коня?

Не опасности боевого подвига «даже до смерти и смерти крестной» боится она для сына, но опасности обмана.

Она не дает советов сыну в его деле, — что знает она в деле его — ее дело женское, но провозжая в путь воздушный сына, она то оправит уздечку коня, то стремя седла, вспомня как конь неровно ступил там-то, неладно осел под всадником своим.

Она говорила о стихах его больше нас всех потому, что разумела притчу речи его больше нас всех...

Она говорила, а «Люба» тогда — молчала. «Люба» (Любовь Дмитриевна) слушала молча, склонив пробор над столом или ручкоделем, порой пристально глядя на нас и за нас.

Она молчала, но Александр Александрович, сидя боком к ней, лицом к нам, слушал ее и в молчании. В молчании понимали они друг друга — Александр и Любовь. Ведь Ал. Блок тоже молчал о своих стихах.



В Любви земля молчала, как молчит она на заре, и земля в ней была глубока, как заря...

Земля тогда была в Любе со всеми, невыраженными еще силами земными, и земля, молча ждала «счастья», как «царства обетованного», которое принесет ей жених, как муж.

Но он, «заоблачный воин», все в походе, все уходит биться там в воздухе не на земле, с неземными врагами и масками туманами смерти. Он бьется там и за свою «царевну», но там он одинок, как горная вершина. Он виден ей и понятен, когда разойдутся облака и в лучах зари славословит Зарю, но, когда поднялись туманы, облачной мглой застилая высоты гор, и там начинается неведомый земле бой, она перестает видеть и понимать его, она только ждет; он же там одинок одиночеством гор, закрытых облаками от земли... Но ведь горная вершина не одна: с нею небо; — таков и Ал. Блок...

«Жена — слава мужа». И жена же хочет славы мужа на земле скорее, скорее таким, каким он есть. Но Александру чужда слава земли, она мучит его, если нет еще славы в вышних. Царевна-земля в Любе спит, ожидая царевича Александра, который бьется семь дней и семь ночей, обходя семь стран света, семь гор своей души за светлым лучом царевне; и, вот, он вернулся с воздушного боя усталый, измученный, даже раны на нем и от него веет еще неземными туманами; они чужды, непонятны и мучают царевну земную. «Сиротливо приникает она к ранам» жениха и как больному ребенку своему шепчет: «Милый! Зачем. Зачем?!»...

И вот занятно было, как Любовь Дмитриевна реагировала на стихи Александра Александровича. Она сама никогда не высказывала мнения своего, «молчала». Молчание казалось значительным. В нем лежало что-то затаенное, и оттого я следил и угадывал по лицу Блока как Любовь Дмитриевна к стихам его. Я сам абсолютно не умел выражать, что нахожу близким и ценным с литературной или философской точки зрения, в том или другом стихотворении, и мог только говорить «нравится» или «не так нравится» или вдруг «очень нравится». Блок этим удовлетворялся, удовлетворялась и Любовь Дмитриевна. Она как наседка готова была заспорить с тем, кто обидел бы Блока своим непониманием его стихов или превратным истолкованием. Тут молчаливая бы заговорила...

В этом была детски материнская заботливость к своему милому брату-Иванушке старшей сестры... Другое дело понимание творчества Блока у его матери. Это было настоящее потайное знание матерински-утробное и чуткое к малейшим изгибам в его творчестве. Она потому могла предвидеть уклоны в ту или другую сторону, показывать сыну пропасти, открывающиеся под ними, предупреждать и одним словом влиять или участвовать в творчестве Блока...



Без этого жизнь для нее казалась не жизнью, а одной пустотой. «Со многими схожусь в том или другом, с мамой во всем», так писал А. Блок З. Н. Гишиус.

Александра Андреевна никогда не разъясняла стихотворения Блока в том смысле как понимают разъяснения, о чем и о ком, когда и к чему, но она чуяла подлинный звук, полноту этого звука, присутствием которого и определялась удачность или неудачность стихотворения сына. И сын чутко прислушивался к мнению матери...

По окончании чтения стихов, в этот вечер я, бросив свои ослобразные замечания о стихах, решил, выражаясь по-тогдашнему, «открыть балаган», или начать балаганить, то есть просто весело шутить и, придумывая, рассказать что-нибудь смешное из жизни.

Все приняли участие в этом, и особенно Люба вдруг оживилась; ведь, с воздуха мы спустились на землю и стали «попросту веселье».

При смешном Люба вдруг всплеснет таким детским смехом, что и сам «мертвый» развеселится, как от песни Сирина — птицы райской... Право, что-то от птицы Сирина, не от корабельной Сирены, было в ней тогда...

В этот вечер я, не боясь, «что дома будут беспокоиться», просидел долго у Александра Александровича. И пошел домой часу в 12-ом, выйдя вместе с Марией Андреевной и двумя таксами, один ее — Пик, другой Блок — Крабб, уже знакомый нам: с ними вышел проводить нас Александр Александрович.

Пик приходил с давней прислугой, на самом деле скорее госпожой, Марии Андреевны — Аннушкой, «провожать свою барышню домой». Она жила недалеко от Блоков по набережной к Сампсониевскому мосту и могла часто бывать у сестры.

Резвясь и носясь по снегу, бежали перед нами эти два Крабб-такса под веселые оклики Александра Александровича. Они были большими друзьями, ведь и их тоже роднило летнее Шахматово; его они вспоминали, оглядываясь на окликающего их, как там, любимого молодого господина; от удовольствия приятных воспоминаний, шутя, ворча, они покусывали друг дружку за ушки, неистово разевая свои крокодильи пасти. Александр Александрович, проводив Марию Андреевну, с Краббом своим проводил и меня до моста. Наедине он спросил меня, не пишу ли я стихи, и, корбясь от стыдливости, грозящей бесплодием незамужней, я наконец сознался, что написал четыре строчки стихами, но такие туманные и непонятно-сложные, что не стоит их показывать. Когда, после долгих уговоров, я наконец чуть не на ухо Александру Александровичу прочел, вернее прошептал их, то Александр Александрович не мог понять, что тут сложного и непонятного, напротив, все очень несложно и не непонятно, а просто бездарно. Конечно, он этого мне не сказал, но, по недоумению его, я догадался, и, простившись, проклиная свой срам, побежал скорым шагом домой на Николаевскую...



Село Шахматово от Петербурга далеко, совсем за Клином под Москвой; петербургская гарь туда не долетит. Шахматово — имение покойных родителей мамы Ал. Блока, в 17-ти верстах от станции «Подсолнечное» или «Солнцегорское». Там у матери Земли живет его детство и юность в весенние и летние дни.

Александр Александрович с Любой уехал туда, с ними же и Александра Андреевна и Мария Андреевна.

Мать природа, родная Земля, оказала свое благодатное действие на истомленного городом Ал. Блока...

Чистое дитя, всегда жившее в Александре Александровиче, быстро стало поправляться здесь; он загорел душою и телом здоровым деревенским загаром. В пепельных кудрях солнце раздуло золотистый жар.

В Шахматове он первое лето проводит с Любой уже не только невестой «первой любви», но и женой.

По-новому строится жизнь дома. По-новому отделявается, с любовью, как стихи его, отдельный флигель, где живут они вдвоем с Любой.

Этот домик начинает говорить, как его стихи. Сажаются ими цветы. Вот тут его «куст белых роз», вот тут — ее «повилика вьется».

Копается в земле, загорает от земли, рубит деревья, строит заборы, ведется жизнь, далекая от умственных процессов, споров и битв города. В работе земляной оmyваются руки от городской кровной гари...

Отдыхает с ним и Люба его. И в Любе земля и заря радуются за него и за себя земле и заре.

Вместе гуляют они по полям и лесам, холмам и долам, дорогам и бездорожьям «на пролом» по окрестным местам Шахматова. Все хорошо, как в те годы золотые, душа и тело по-прежнему живет, но в духе — нечто новое, в духе — есть рана, сочится кровь от укуса паука; и городская рана, полученная на распутьи, может всегда открываться и даже здесь, в родном селе Шахматове.

На лето и мы поехали на дачу «Песчанку», где мы по летам жили уже который год. «Песчанка» — дачное место, уединенное близ станции Сиверской под Петербургом, в 60 верстах. Там пережито мною многое, многое из годов «первой любви».

Из «Песчанки» писал я в Шахматово письмо, где жаловался на непонятную тоску и оскудение души (кровь войны).

Ал. Блок ответил не сразу, но ответное письмо совпало с чрезвычайно важным моментом в жизни его духа и запечатлело его, совпало с отречением от Врача-Христа, и даже более, отречение от желания знать его.

В этом замечательном письме он пишет:

«Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его,



не знаю и не знал никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отречение, то желчное, то равнодушное...»

Откуда это?! Откуда это отречение и где же? В родном селе Шахматове подмосковном, у лона матери земли. Земля, как и ангелы, не отрекаются от Христа. Или земля уже слишком стяготилась кровью?

Но не в Шахматове зачалось это отречение. В Шахматове оно родилось, а зачалось оно в ночном городе Всадника Петра.

Правда, не так оно просто и определено, как покажется многим. Уже неопределенно просто оно потому, что далее он говорит: «кое-что нравится, но просто нехорошо, когда только нравится или нет — без страдания».

Однако отречение все же — отречение и влечет за собою последствия в духе, а потом и в жизни души и тела. От слов оправдаешься, от слов осудишься.

«Отрицаясь, пишет он, я чувствую себя бодрым, скинувшим груз, отдалившим расплату».

Вместе с этим «грузом» спадают с него, как груз, — и латы, и вечерняя грусть «заоблачного воина»: он бодро, решительно двинулся от заката в ночь.

Письмо с этим «отречением» было 15 июня, а через три дня, 18 июня, он пишет свое гениальное видение — стихотворение: «Вот он ряд гробовых ступеней».

*И меж нас—никого. Мы вдвоем.
Спи ты, нежная спутница дней,
Залитых небывалым лучом.
Ты покоишься в белом гробу...*

В погребении Ее Ал. Блок поступает так же определенно и решительно, как и в отречении от Врача-Христа.

Эта решимость в нем в связи с одним обстоятельством. Ночь надвигалась с ее властью тьмы, город мировой с его кровно бунтующей ночью. Вот что он пишет в этом письме от 28 июня.

«Не Вы причина моего бегства от Него: время такое. Всем нам скверно теперь — отчаянное время. Если бы я встретил Вас на несколько лет раньше, я выпил бы чашу с теплотой из Ваших рук. Но примелькались белые процессии, и я почти не снимаю шапки. Крутится моя нить, все мерно качаясь, иногда встряхиваясь. Безумная, упоительная скачка — на привязи. Но привязь—длинна, посмотрим еще. Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин — пусть, но ради Бога, не теперь!»

... «Не городской» Блок стал более городским, «заревой» — более ночным. Воздушный — более земным, рожденным в «бытии земли». Сходя в ночь на землю, ночью рождается он на земле. Теперь



уже нет в нем той прежней «заоблачной» грусти вечерней, «перекрестка» и «распутья», нет «грустящего» ни — в нем, ни о нем... ибо, вступая в новый круг, он чувствовал себя бодро.

Тогда в начале июля приезжает к Ал. Блоку в Шахматово из Москвы Андрей Белый, как «посланец» от Несказанной (Москва тут упомянута в «симфоническом смысле», в смысле «града», а не «города»; образы ее сказочных «теремов, светлиц и божниц» связаны с Зарей и Несказанной у Ал. Блока и А. Белого).

Андрей Белый, «Боря» (Борис Бугаев) — родной брат Ал. Блока по Заре их; оба они ведут «от Зари свою родословную», как рожденные ею...



Глава VI. Секта блоковцев

Бекетова. В 1904 году Блоки уехали в Шахматово ранней весной... Блоки поселились в отдельном флигеле, стоявшем во дворе при самом въезде в усадьбу. От двора он отделялся забором, за которым подымались кусты сирени, белых жасминов, шиповника и ярких прованских роз. Этот маленький домик состоял из четырех комнат с центральной печкой, сенями и крытой наружной галереей вроде балкона. Со двора – калитка и короткая прямая дорожка к ступеням крыльца. В сенях – лестница на чердак, где Блок вышил слуховое окно, из которого открылся новый далекий вид...

Поздней весной, в самый разгар цветенья сирени и яблонь, приехала и мать. Тут Блоки начали устраивать и украшать свое жилье. Мы с сестрой предоставили Люб. Дм. заветный бабушкин сундук, стоявший у нас в передней. Там оказались настоящие сокровища: пестрые бумажные веера, новый верх от лоскутного одеяла, куски пестрого ситца. Все это вынималось с криками радости и немедленно уносилось во флигель. Целый день Блоки бегали из флигеля в дом и обратно, точно птицы, таскающие соломинки для гнезда. За ними по пятам трусили две таксы: мой Пик и сестрин Краб. Погода была ужасная: холод, ветер, а по временам даже снег. Но Блоки этого не замечали.

Когда все было готово, нас позвали смотреть. Убранство оказалось удивительное. У каждого была своя спальня, кроме того – общая комната – крошечная гостиная, куда поставили диванчик, обитый старинным зеленым кретоном с яркими букетами. Перед диваном – большой стол, покрытый вместо скатерти пестрым верхом лоскутного одеяла. Вокруг стола несколько удобных кресел; по стенам полки с книгами. На столе лампа с красным абажуром, букет сирени в вазе, огромный плоский камень в виде подставки. На стенах, обитых вместо обоев деревянной фанерой, без всякой симметрии, в веселом беспорядке развесили они пестрые веера, наклеили каких-то красных бумажных рыбок, какие-то незатейливые картинки. Вышло весело и очень по-детски.

В то же лето занялись они устройством своего сада. Прежде всего соорудили дерновый диван. Его устроили в углу, где сходились две линии забора. Диван сработан был основательно и вышел очень удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки очень его любили и называли «канапэ» в память стихотворения Болотова «К дерновой канапэ». С боков, по сторонам его посадили они два молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень пышно; через несколько лет они сошлись ветвями и осенили канапэ. Между крыльцом флигеля и диваном, на небольшой солнечной лужайке, были посажены кусты роз – белых, розовых и красных. Желтые лилии, лиловые ирисы, розовые мальвы, все



принялось отлично. В тот же год вдоль забора, со стороны полей и дороги, вырыта была глубокая канава, приготовленная для посадки деревьев. И на следующий год вдоль всего забора насадили молодых елок, лип, берез, рябин, дубков. Все принялось как нельзя лучше и через несколько лет густо заслонило сад и жилье.

Все это устроили Ал. Ал. и Л. Дм. вдвоем своими руками, без посторонней помощи. Блок очень любил физический труд. Была у него большая физическая сила, верный и меткий глаз: косил ли он траву, рубил ли деревья или рыл землю – все выходило у него отчетливо, все было сработано на славу. Он говорил даже, что работа везде одна: «что печку сложить, что стихи написать»...

Вся жизнь этих светлых созданий со стороны казалась сказкой. Глядя на них, художник нашел бы тысячу сюжетов для сказок русских, а иногда и заморских. У них все совершалось как-то не обиходно, не так, как у других людей. Его работы в лесу, в поле, в саду казались богатырской забавой: золотокудрый сказочный царевич крушил деревья, сажал заповедные цветы в теремном саду. А вот царевна вышла из терема и села на солнце сушить волосы после бани. Она распустила их по плечам, и они покрыли ее золотым ковром почти до земли: не то Мелиссанда, не то – золотокудрая красавица из сказок Перро. Вот она перебирает и нижет бусы, вот срезает отцветшие кисти сирени с кустов – такая высокая, статная, в сарафане или в розовом платье, с белым платком над черными бровями...

Белый – Блоку. 28 марта 1904. Москва

Христос Воскрес!

Дорогой, Милый Александр Александрович, если бы Ты знал, с какой любовью и горечью я обращаюсь к Тебе с этим приветствием! Молюсь о том, чтобы Ты спокойно и счастливо «существовал» среди весенних «струек», «брызг», «опрокинутых кадок». Чувствую я, что Ты находишься на каком-то «междудорожье», и молю Господа о ниспослании Тебе сил. Помолись и Ты обо мне: мне трудно, очень трудно. Злые тучи ледяных вихрей неожиданно встали вокруг — и помчался на вихревых кругах, не знаю куда. «Лик безумия» сходит в мир, и все мы стоим перед страшной опасностью...

Я ужасно одинок. Я ушел *туда*, откуда мой голос, и прежде глухой, совершенно не слышен. Вот почему я молчу и не пишу Тебе... Дорогой, напиши два слова. Буду рад.

Христос с Тобой. Мой привет, уважение и искреннюю преданность передай Любовь Дмитриевне, а также и поздравление с праздником...

Блок – Белому. 7 апреля 1904. Петербург

...Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг осознал... и утешился. «Лик безумия



сошедший в мир» — и притом *нынешнего* нашего безумия — грозил и прежде. Но, знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит...

Я спал и видел холодные сны... Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшая гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнурку, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Превжних лиц я уже не вижу, страх перед *ними* отошел в милую память о собственной юности. *Больше некого бояться*. И люди уже не страшны. *Зато...* возвращается древняя и бурно-юная боязнь *стихий* — изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности...

Мы поняли слишком много — и потому *перестали понимать*. Я не добросил молота — но небесный свод *сам* раскололся. И я вижу, как с одного конца ныряет и расплзается муравейник *положим* расплюснутых сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной... а с другой — нашей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только *заглажу* ее. — Как видишь, я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, *но* часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень волны, которая меня несет. Потому — пронесет, а что дальше — опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать *Тебе* окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знал это всегда. Есть на Тебе такая печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в Твоем существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!»... Но все-таки, я не знаю, что с Тобой теперь. И едва ли пойму. Впрочем, скорее всего, что временами знаю...

Белый. 8 апреля 1904. Москва

...Спасибо за письмо. Мне стало тепло от него и уютно — стало уютно в бесприютности. Я вспомнил огневые закаты, зеленые трава и много синеньких колокольчиков. Аромат полей и несказанное блаженство приближений ушло от меня теперь, весной, а еще осенью, в ноябре, приходила весна и пела. Но почему-то я знаю, что когда, разбитый и усталый, убегающий от безумия, я приду в зеленую чашу и в изнеможении замру весь в цветах, Ты меня поймешь и не станешь расспрашивать *ни о чем*. Я Тебя нежно люблю за это, как будто уже все это произошло. Я не могу сейчас говорить умных вещей о Боге, о людях — я устал и хочу думать в цветах о «*ни о чем*»...

Я хочу *забыть*, я хочу быть не человеком, а «*существом*», вот что спасет людей и волнет свежую волну в их души...



Друг, ничего не надо. Будем отдыхать, бездумные, бездымные. Пока не нужно знать, существуем мы или нет, пусть этим занимаются неуклюжие проходимцы счастья. Само счастье ни в чем не нуждается. Оно слишком аристократично. Оно от безмыслия. Оно, только оно, как и цветы, успокоит, забавокает...

Я очень ярко ощущаю, что мы соединены чем-то очень сильно. Должно быть, будущим. У меня большая потребность Тебя видеть... Мне вообще кажется, что мы должны видаться в близком будущем. Здесь, в Москве, я начинаю себя чувствовать ужасно одиноким. Не будь Сережи, я бы мог сказать, что совершенно одинок, хотя «друзей» сколько угодно....

У меня теперь стихов нет. Поэтому я ничего не посылаю. Мой привет, искреннее расположение и уважение Любовь Дмитриевне...

Апрель—май 1904. Серебряный Колодезь

...Чем больше я думаю и переживаю, тем яснее мне, что знакомство с Тобой и с Любовью Дмитриевной для меня неспроста... Ты и Любовь Дмитриевна — ласковые, мягкие, утешающие. Ты думаешь, я не чувствую того мягкого, тихого успокоения, которое облаком находит на меня от времени до времени, и в котором я узнаю знакомые мне приветы. Я это знаю, знаю (я теперь многому научился). Слов мне не нужно. Спасибо Тебе, дорогой друг, за ласковое отношение ко мне. Знай, что оно мне несказанно дорого, как дорог был Ты мне, еще когда я не переписывался с Тобой. Бесконечно дорога мне и Любовь Дмитриевна. Я пишу все это неожиданно для себя, может быть, оттого, что, вырвавшись из города, я ушел в милое блаженство, откуда мне виднее внутренние, обитающие в тишине людские мысли.

...Я постараюсь летом быть у Тебя вместе с Сережей, если Ты позволишь...

Белый. В конце мая 1904 года я получаю от Блока настойчивое приглашение в Шахматово; С. М. Соловьев в Москве должен присоединиться ко мне: приезжаю из Тульской губернии я в июне в Москву... Лишь в последние числа июня, а может, в начале июля, решаюсь я ехать к А. А.; присоединяется ко мне А. С. Петровский, совсем неожиданно; я не помню, как он решился ехать со мною, но помню, что, сидя в вагоне, мы оба перепугались, почувствовали конфуз: я — от сознания, что еду впервые к А. А. и везу с собой спутника, которого не приглашали хозяева; А. С. — от того, что он сам «напросился»...

Незаметно приехали так на Подсолнечную, где вышли и наняли тряскую, неудобную бричку; на ней прокачались мы верст 18 до Шахматова...

Уже близ усадьбы с Петровским мы вспомнили, что места эти всех нас связуют по детству; С. М. Соловьев проводил лета в Крюкове (смежная станция); А. С. Петровский — под Поваровым



(полустанок меж Крюковым и Подсолнечной), а Л. Д. проживала в имении Боблово (Менделеевых) — здесь же. Приехали! Прямо из леса мы въехали на просторный, травой поросший усадебный двор, где таились в зелени службы (конюшни, сараи, дом, маленький флигелек, где жил Блок с Л. Д.); но «мальчишески» — перегуляли, когда оказались одни на крыльце перед плотно затворенной дверью одноэтажного дома с надстройкой, кофейного, может быть, темно-желтого цвета.

В переднюю робко открыли мы двери; там нас встретили две, как казалось нам, невысокого роста растерянные дамы; они были худы, нервны и порывисты (мать поэта и тетка поэта); и мы оказались захваченными врасплох; Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух признавалась впоследствии, что сперва она наше присутствие ощутила, как некий конфуз, передавшийся мне и воспринятый мной неприязнью; расстроился и понес несуразную витиеватую дичь по поводу появления нашего; А. С. Петровский — увял; проводили в гостиную нас через столовую; мы уселись в нее четвером и не знали, о чем говорить и как быть; я удивился растерянности Александры Андреевны, как некогда — внешности Блока; мать Блока такая какая-то... Какая же? Да такая какая-то — нервная, тонкая, очень скромно одетая (в серенькой кофточке), точно птичка, — живая, подвижная, моложавая; зоркая до... прозорливости, до способности подглядеть человека с двух слов, сохраняющая вид «институтки»; впоследствии понял я: вид «институтки» есть выражение живости Александры Андреевны, ее приближавшей, как равную к темам общения нашего с Блоком: тот род отношений, которые складывались меж «матерями» и молодым поколением, не мог с ней возникнуть; «отцов и детей» с нею не было, потому что она волновалась с нами, противясь «отцам», не понимая отцов, — понимая «детей»: скоро мы подружились (позволяя себе так назвать отношения наши: воистину с унижением к А. А. Кублицкой-Пиоттух сочеталась во мне глубочайших дружба).

Запомнилось первое впечатление от комнаты, куда мы попали: уютные комнаты, светлые комнаты, скромные, располагающие к покою; блистали особенной чистотой они, сопровождающей Александру Андреевну повсюду; не видел я ее «хозяйкой»: вокруг нее делалось все незаметно, уютно, само собой, шутя; но во всем был порядок («хозяйского глаза»); во всем была форма; и для всего был — свой час; я попал в обстановку, где веял уют той естественно-скромной и утонченной культуры, которая не допускала перегрузки тяготящими душу реликвиями стародворянского быта; и тем не менее обстановка дворянская; соединение быта с безытностью; говорили чистейшие деревянные, стены (как кажется, без обой, с орнаментом перепиленных суков); сознавалось: из этих вот стен есть проход в бездорожье: они «золотая межа» разговоров, ведущих: куда?..



Золотая межа Александра Андреевна — «одна из хозяек «дворянской усадьбы: и разговоры вели в бездорожие зорь: к А. А. Блоку.

Меня поразило: все в этих стенах, — простота, чистота и достоинство; нет — «разночинца»...

Запомнилось это сидение вместе, во время которого появились в гостиную двое юношей, что-то очень корректные: юноши были представлены как сыновья С. А. (тетки А.А.), появилась сама С. А., очень она мне понравилась; но она нас покинула: мы вчетвером (М. А., А. А., я и А. С.) перешли на террасу, сходящую в сад, упadaющий по горе витиеватыми и крутыми дорожками, соединенными с лесом лесными тропами (леса обступали усадьбу), прошлись по тенистому саду; и вышли в поля; и там — издали тотчас же увидели А. А. и Л. Д., возвращающихся с прогулки: их образ запечатлелся: на цветородном лугу, в ясном солнышке Любовь Дмитриевна, облеченная в стройно-розовый, раздуваемый ветерками капот, шедший ей, с белым зонтиком на плечах, молодая, розовощекая, сильная, с гладкой головкою, цвета колосьев. — Напоминала мне Флору, кусочек зари, или — розовую атмосферу А. А.; «зацветающим сном», стихотвореньем А. А. мне повеяло, и душистым и пряным. А Александр Александрович, шедший с ней рядом, — каким он казался высоким, широкоплечим, покрытым коричневым загаром! Без шапки, рыжеющий волосами на солнце, был очень под стать он Л. Д.; в своих длинных, рыжеющих голенищами сапогах, в очень белой просторной рубахе, расшитой рукою Л. Д. темно-красными лебедями и подпоясанный поясом с пестрыми и густыми кистями, напоминал мне Ивана Царевича. Созерцая прекрасную, розово-белую пару в цветах полевых поливаемых жарящим солнцем, я слушал горячие визги стрижей, расстригающих небо: церковных стражей; переливы далекие поля ржаного запомнились: чуть ли не вывалось вслух:

— Как подходят друг к другу они.

А. А. издали нас увидал, остановился и, приложив к глазам руку, разглядывал; нас узнавши, оставив Л. Д., побежал крупным бегом по полю; остановился он, запыхавшись пред нами: и со спокойною, важной какой-то улыбкой без удивления подал нам руку:

— Ну вот и приехали!

Тут повернувшись к А. С., он добавил все с тем же внушительным юмором:

— Вот хорошо.

А. С., сконфузившись, что-то хотел объяснить о приезде своем: но пред этой спокойной улыбкой без удивленья, улыбкой довольной, запутался в выражении; и — махнув безнадежно рукой, оборвал сам себя:

— Хорошо, что приехали.

Видом своим А. А. подчеркнул очень отчетливо, что приезд А. С. П. есть то самое, что лежало в порядке вещей, что так надо,



что «все обстоит хорошо». И А. С. — отошел: заулыбался: и уже пустился «прищучивать» обыкновенными «петровскими» шутками, что означало: в своей он тарелке.

Л. Д. подошла, улыбаясь, как к старым приятелям; повернули; пошли назад к дому; и удивлялись причинам молчания С. М. Соловьева; и тому, что не едет он: мы говорили об общих московских знакомых... о разных уютнейших пустыках, смысл которых меняется от настроения собеседников, и то кажется совершенно пустым, то — наполненным содержанием; помнится: весь разговор был лишь формой ласкового молчания всех нас, довольством друг другом; так шли мы согретые солнышком, — точно оно обвевало ветерочками, визгами ласточек, стебельками и мотыльками; казалось: мы — дома; нашли мы — наш дом; и простоту и уют А. А. сразу умел водворить между нами; то было лишь формой «хозяйской» учтивости; «тонкая форма» (почти что отсутствие формы) сопровождала повсюду; она создавалась светскостью Софьи Андреевны, хозяйственным тактом (такой не хозяйки на вид) Александры Андреевны; и лаской А. А.; «непринужденность» являлась умением обходиться с людьми; да, А. А. был умелый хозяин; он нас окружил незаметно заботами и входил в пустыки обихода.

В А. А. тут сказалась житейская, эпикурейская мудрость; сказывалось умение жить; и сказалась привязанность к местности, к духам лугов и лесов; вы сказали бы сразу: А. А. выросал среди лугов и лесов: среди этих цветов; в этих пестрых лугах и лесах среди этих цветов — продолженье «рабочего кабинета»; да, шахматовские закаты — вот письменный стол его; великолепнейшие кусты, среди которых мы шли, сплошь усеянные пурпуровыми цветами шиповника, — были естественным стилем его пурпуреющих строчек; мне помнится, как я невольно воскликнул:

— Такого шиповника я не видал: что за роскошь!

А. А. на ходу, зацепившись рукою за ветку, сорвал мне ярчайший пурпурный цветок с золотой сердцевинкой; запомнился ультрамариновый фон золотеющей зелени, с ярко пестрыми, очень пурпурными, крупными цветочными пятнами; а на цветущем, колеблемом ветерочками фоне запомнилась яркая летняя пара: «царевич» с «царевной»; кудрявый «царевич», в белеющей русской рубахе, расшитой пурпурными лебедами; «царевна», золотокудрая в розово-стройном хитоне — кусочек зари; иль кусочек самой атмосферы: поэзия Блока. Запомнились мне очень пряные запахи, очень странные визги стрижей, очень громкое чириканье крупных кузнечиков, блески и трески; уж мы поднимались к террасе; А. А., подняв голову, легким и сильным прыжком одолел три ступеньки террасы; Л. Д. чуть нагнувшись,

«Задыхаясь, сгорая, взошла на крыльцо» —

— не на крыльцо, на террасу: сейчас, вчера, вечно.



...Я отказываюсь приводить тексты Блока; смотрю с удивлением, с отчаянием даже: где, где тексты слов между мной и А. А.? Нет их вовсе, пропали...

И кроме того: если б я записал эти «Тексты», — немного было б записано; речи меж мной и А. А. — вовсе не было; была уютная, теплая, немногословная дружба, гостеприимство и ласка хозяйская: внутренний дом; слышалось в ощущении, что — принят в доме Блока (совсем, до конца); он готов поделиться душою.

Не духом... в «духе» был одинок он.

Мне помнится, как он посиживал в белой рубахе своей (с лебедями) — за чаем: и муху рассеянно накрывая стаканом, внимал «болтовне»...

А. А. улыбается (редко смеется); а Л. Д., сев с ногами на кресло, катается смехом.

Однажды А. А. меня взял и повел к деревянному домику, где проживал; показал огородик, окопанный четко глубокой канавой; взял в руки лопату, сказал:

— Знаешь ли, Боря, — я эту канаву копал: тут весною работал... Я каждой весною работаю. Так хорошо...

И казалось: копанье канавы есть важное дело; как знать: направление музы его, может быть, тесно связано с огородной работой; так близок он был в это время душе моей, что мелочи жизни его вырастали в значения полные факты; я чувствовал братом его; и обряд «побратимства» свершался: в бездумных сиденьях за чаем, в прогулках, в неторопливостях пустякового слова между нами (успеем наговориться!)...

Но мне и в Петровском синейшие мотыльковые дни, окропленные цветом пурпурным шиповника, встали, как дни настоящей мистерии, как вознесенье над прошлым в душевный ландшафт: и вся жизнь отошла и настоящее; каплею в нем растворилась...

А. А. — встанет, медлительно подойдет, скажет ясное:

«Пойдем, Боря». Чуть-чуть, в нос, чуть шутливо, с насмешкою, доброй такой; как бы приглашая во что-то хорошее с ним поиграть — подтолкнет; поведет за собой, мне хорошее что-то открытое собираясь, поставит меня к уголок пред собой, поморгает, переминаясь на месте, и скажет невнятно:

— Нет, знаешь...

— Все — так...

— Ничего...

Т. е. все — обстоит так, как следует; туч — не предвидится; не угрожают общению силы судьбы; и — есть главное: к чему оно?..

И опять, взяв под локоть, смеясь добродушно, А. А. меня выпустит из уголка, возвратит к разговору; он — сторож: блюдет «атмосферу», питая ключами вершин...



Помню: в первый же день мы гуляли... Вечером, на закате, стояли за домом мы четверо; шли по дороге от дома, пересекая поляну, охваченную лесами; прошли через зеленую рожицу; здесь — открылась равнина; за нею открылась возвышенность; над возвышенностью — край цветного, просветного, розово-золотистого неба; Л. Д. в своем розовом платье сливалась с оттенком зари (как кусочек зари); показала рукою она на возвышенность, на зарю; и сказала — туда в горизонт:

— Там жила...

За горбинкой земли, за «горой» («Ты жила над высокой горю») — имение Менделеевых, Боблово.

Мы стояли в заре; мы молчали; взглянул я на нас: наши лица, простертые к зорям, зардели; и все было — «зорным»... Понял тогда, что отсюда, от этого места неслись перелетные искры поэзии Блока — туда: в Боблово. Там над горой — Она.

С той поры еще в 1902 году Блок оборвался в дремучую чащу; Видение Дамы померкло: и — навсегда...

В молчании возвращались с заката; сырело, росело, туманилось: А. С. П., отведя меня в сторону, мне прошептал:

— Я теперь понимаю...

Что? Нет же, не спрашивайте, читатель!..

Помню: вечером распивали мы чай: было просто, и вот, после чаю А. А. нас провел в отведенную комнату нам (в деревянной пристройке); он, благодно посидевши у нас, пожелал нам спокойной ночи; еще долго с А. С. не могли мы заснуть; разволновался А. С.; он высказывал впечатленья свои то ложась, то привскакивая:

— Знаете ли?

Я смотрел на окно, прислонясь к подоконнику: купы деревьев (лиц, кажется) скатывались под уклон; открывались прозрачные дали; вон там — вечерело: вон там — утрелело; и нежное, пепельно-бирюзовое небо златилось краями смуглеющих тучек, взрываемых оком зарницы...

Первый день нашей жизни у Блока прошел, как прочтенное стихотворение Блока; а вереница дальнейших дней — циклы стихов.

Точно так же прошел день второй; никогда не забуду я линии тихих в своем напряжении крепнущих дней, монотонных во внешнем; и — бурно значительных.

А. С. Петровский и я просыпались часам к 9-ти; перекидывались словами и шутками, медленно мы поднимались: часам к 10-ти опускались мы вниз, к Александре Андреевне, — пить кофе; за кофе завязывались разговоры, всегда интересные: Александра Андреевна — великодушная собеседница; выяснилось, что, с одной стороны, понимала она нашу «мистику»; более принимала она наши «зори»; с другой стороны: в ней был скепсис; испытующе она нас проверяла; не раз наблюдал ее острый, меня наблюдающий взор; и скептически заостренный вопрос ее часто смущал меня; напоминала она мне покойную Соловьеву.

А. А. и Л. Д. появлялись позднее; они приходили из домика, заплетенного в розы, в пурпурный шиповник (в двух комнатках жили они); бывало, слышатся шаги на террасе: и с солнца, веселые, — входят они; А. А. в своей белой рубашке с пурпурными лебедями; Л. Д. в широчайшем капоте, мечтательно розовом; линия разговора ломается; определенных вопросов, которые мы подымали за утренним кофе с А. А., — уже нет: и расплываются эти «вопросы...

Межа разговора выходит в простор «бездорожий».

Ведет к бездорожью золотая межа.

Ярко верится нам, что по морю безмолвия к нам приплывает наш корабль, золотопарусный «Арго»; он нас увезет в новый свет; корабли не пришли, потому что —

Прекрасная Дама не ездит на пароходе.

Июльские синие дни проходили в сплошном теургизме, против которого предупреждал меня Метнер («Опасно переступить вам пределы искусства»); был странный душевный сеанс; и радение душ — без пути: лишь А. А. понимал, что межа к «бездорожью», к «беспутице» — выход из рамок к «пути»...

Я помню: мне раз стало ясно; от света я стал молчаливым; А. А., перегнувшись через спину А. С., за которой я прятался, — пристально вдруг на меня посмотрел; и значительно очень сказал;

— Боря, Боря, довольно.

— Не надо так делать, довольно... Молчанию моему он ответил:

— Не медитируй на людях, не замирай заражающим нас молчаливым экстазом, который переживание бесово: ложная сладость.

Он только сказал:

— Ну, довольно.

— Не надо так делать.

Сиденье за утренним кофе переходило в сиденье в гостиной, обставленной креслами, просторной и светлой, обставленной мебелью; тут: Александра Андревна и Марья Андревна скрывались (хозяйствовали).

Мы вчетвером размещались меж кресел; я стоял над креслом, разыгрывал перед Л. Д. и А. А. шаржи в лицах; порою прочитывал лекции; в сущности: линии слов развивал для А. А., чтобы он их окрасил, как лакмусовую бумажку; я был лишь бумажкой; А. А. — реактивом; и вот: отношение А. А. к моим мнениям ярко пестрило их: в фиолетовый, в пурпурный, в индиго-синий цвета; он окрашивал мысли короткими фразами, полуулыбкою; скажет, бывало:

— А знаешь ли: все-таки это не так — моя мысль заработает...

...К А. А. я прислушивался.

И наткнулся на нечто, невнятное, устрашающее: на точку сомнений; сомнения таил он, казался нам рыцарем: был — уже нищий: уже без «пути»; брел он ощупью в том, что мы все закрывали пышнейшими схемами; схемы он снял: понял: будет *темно*: зори



только в душе у нас; нет, он не видел; уже объективной духовной зари; и он видел, что мы отходили в пределы: нарисовали себе свое небо; папиросную бумагу, которую прорывает легко Арлекин в «Балаганчике».

Был — одинок; и я — тоже; старался не видеть действительности, обступавшей сгущаемым мраком: да, атмосфера сердец оказалась впоследствии розовым абажуром, зажженным в ночи, — нет, не солнцем. А. А. это знал; и — до времени не желал нас убить своей горькою, одинокою правдой; он знал, что заря нам закрыта, что не Прекрасная Дама, а Незнакомка, соединяет; порою среди разговоров о зорях темнел и грустнел: начинало казаться, что все погасили: минута сплошной черноты проходила: казалось, — под громом мы; в те минуты переживал я испуг не за себя — за А. А.; думал я: «Ну, чего Блок пугается? Что же случилось?» Раз даже подумал: «Да светлый ли он?»

У А. А. появились минуты сомненья во мне: раз С. М. Соловьев мне сказал о своем разговоре с встревоженной Александрой Андреевной, которая передала ему впечатление А. А. от меня: раз А. А. ей сказал после общего, тихого вечера вместе:

— Кто он? И не пьет, и не ест...

Он хотел подчеркнуть во мне тон аскетизма, уже обреченного на провал для А. А.; он ведь видел во мне человека (не ангела); знал, что сорвут с «ангелизма», что я — без «стези»...

Недоумением («и не ест, и не пьет») хотел выразить: «Неужели же он, как стезя?» Это значило: «Неужели серьезно он думает, что — стезя: разубудится он в этом! Не знает себя!» А. А. сознавал, что он знает, чего он не знает; я — нет; за меня огорчался он.

Раз, среди сиденья в гостиной А. А. меня под локоть взял; и, подталкивая, повел на террасу; с террасы спустились мы в сад, упadaющий круто; проходили лесными тропами: и выбрались — в поле: шли медленно, останавливаясь, мне А. А. выговаривал мысли, подчеркивал мысли его — не минутный каприз: нет, он знает себя; мы считаем каким-то особенно светлым его, а он — «темный»; поглядывал он на меня очень детскими голубыми глазами: с кривящимся ртом нагибался ко мне среди сеянцев трав колосистых и блеклых, рассеянно грыз переломанный злак; я не верил ему. Он настаивал:

— Ты же напрасно так думаешь», снова настаивал, «вовсе не мистик я; не понимаю я мистики...»

Тронулись; и тянулись короткие полуденные тени; и в свете сблизилось все и казалось исконно коснеющим; жарила полднем природа; я стал уверять, что минуты сомненья бывают, что он сам не верит минуте сомненья; А. А., меня взявши под локоть, с подчеркнутой просьбой поверить, — заговорил; о коснении человечества в роде и в быте; он — тоже вот косный; да — косный; да, да — родовое начало его пригибает к земле; то — наследственность, давит наследственность (понял, что он говорил об отце):

— Нет, знаешь, — темный я...

И продолжал развивать свои мысли о власти наследственных сил; казался взволнованным мне, хоть держался спокойно; и чувствовалось: он напал на исконную тему (на «рыбу», которая редко всплывает к поверхности слов).

Посмотрел: он стоял предо мною все с тою же горькой улыбкой:

— Старания тщетны: какие бы ни совершали усилия светлые силы, на чаше весов перевесит исконная смерть. Все погаснет; мы все... преодоление смерти обман... — так, казалось, без слов говорила улыбка.

Я помню непререкаемость тона, с которым он мне развивал это все: «Да, да, да — все темно!»

...Я смотрел на него; шевельнулось узнание: власть рока, дурной бесконечности, — власть интеллекта его, очень четкого и не согретого светом сердца; он сердцем воспринял Софию; сердечное восприятие он поставил превыше всего; в его логике Логоса не было; он впоследствии называл «не воскресим» Христом себя; в логике воскресает Христос; и тогда из могилы восстает наше «Я»; воскресения «логики» не было в нем; был большой «интеллект»...

Так среди полей, озаренных слепительно, я увидел «двойника», — тот второй его образ, который восстал через два только года (в эпоху создания «Балаганчика»).

Я «темного» Блока отверг, чтоб найти в «Блоках» Блока.

Восстание «темного» Блока в полях испугало меня; отмахнулся от слов: бормотал что-то бледное о «полуденном бесе», о косности, о паническом чувстве полудня; но самый синеющий пламень небес потемнел: вовсе черное небо раздвинуло синее небо; и посмотрело из синего неба на луг... этим небом уставилось Шахматово — над луговиной, у склона.

Мы возвращались; стараясь естественно отвязаться от слов; раздраженно срывал на ходу колосистые злаки; А. А. с переломанным знаком в руке шел за мной, продолжая меня убеждать: все-все к «худу».

— Ты, Боря же, знаешь и сам!

Показал на себя; не соответствовал им же навеянным снам нашей жизни, и легким, и розовым; не соответствовал «атмосфере»; я понял позднее: он трезво и горько смотрел: в атмосфере он видел «душевный сеанс»; это был «абазур», среди ночи — не зари; Блок — видел; мы — нет; из пленительной легкости нашей. Он ждал — разовьются жестокие бури, и будут — «надрывы», гармония здесь — утончение душ без пути; оно рвется во вскрик диссонанса; он видел, что в разном мы все: подошло нищество ко мне; видел он, что А. С. надрывается православием; видел, что «нищий» он сам; что в С. М. Соловьеве филолог уже загрызает теолога, а Л. Д., о которой мы были такого высокого мнения, — Л. Д., гиерофантита*

* Высший жрец Элевсинских мистерий.



душевных мистери, — она помышляла уже о карьере... обыкновенной артистки...

Порою сидения вместе его беспокоили: точно душевною «атмосферною» производили опаснейший опыт, от результата которого может возникнуть и жизненный эликсир, и раздастся чудовищный взрыв; настороженность в А. А. замечал; он разглядывал нас, уподоблявшихся детям над пропастью; чувствуя с нами себя, он себя ощущал еще нянькою, оберегающей детские игры; он был и хозяин; он вел через дни по опасной дороге, скрывая опасности, заставляя нас думать, что эта дорога легка и беспечна; соединясь душою в душевном, он не сливался душевностью с духом; а мы не слияние — слышали, глухо наталкиваясь на неслияние.

После нашего разговора с А. А. на лугу передал я Петровскому часть разговора; А. С. удивился:

— Да неужели А. А. — провалился: сгорел!

И — отмахнувшись от слов, мы решили бороться с унынием, с «духом печали» в А. А. ...

От чаю до завтрака мы прохладжались в беседах, переходивших в беседы за завтраком, более внешние от присутствия за столом сыновей А. С. (тетки А. А.) — правоведов; потом мы сидели — втроем, вчетвером; наконец, расходились; Петровский и я поднимались наверх (я — читать, а Петровский присаживаться за изучение древне-еврейской грамматики); Блоки шли в домик, к себе.

Мы сходились к обеду.

Однажды давно час обеда прошел, а А. А. и Л. Д. не вернулись из поля; мы тщетно их ждали и сели обедать без них; уже поздно вернулись они; на расспросы о том, где они пропадали, А. А. улыбался, не отвечая; а на лице Любовь Дмитриевны появилось лукавое выражение; она не сдержалась и, бросив салфетку на стол, рассмеялась:

— Мы — ссорились!

Ссорясь, сидели в лесу, пока дух примиренья не вывел из леса.

— Ну что ж вас поссорило? — спрашивала Александра Андреевна; заколыхались широкие плечи Л. Д. от лукавого смеха.

— Ну нет, не скажу...

А. А. тихо сконфузился: молча сидел.

— Вот какие вы скрытные, дети, — сказала, смеясь, Александра Андреевна:

— Не говорите — не надо...

После обеда — засиживались до вечернего чаю; и после чаю — засиживались; водворялось молчание; виделась издали освещенная комната с белым букетом кувшинок; собрали их с пруда, который — под церковью; помню: А. С. был охвачен усердием раздобыть для Л. Д. попышнее кувшинку; она же «прекрасною дамой» стояла у пруда, склонивши головку и положив на плечо белый зонт кружевной; А. С., рыцарь, под взглядами «дамы» залез по колену в студеную воду; букет вышел пышный; А. С. — совершенно про-



мок: но — удостоился благоволения «Королевы» Л. Д., так умевшей казаться торжественной когда надо, и неприступной; умевшей быть ясной, сердечной, простою сестрой; и умевшей — надуться, не замечать, наказывать за какой-нибудь жест, перетомить; и — помиловать; жесты карания, милости были присущи Л. Д. И она ими тонко и мило играла, как будто мы были детьми; вот, бывало, — нахмурится: а Александра Андреевна показывает глазами на хмурую «даму»: и шепчет нам:

— Люба-то, строгая!

А. А. подглядывает, точно хочет сказать:

— Что — попались: вот видите Люба какая... Всех вас забрала? Бойтесь, бойтесь ее...

Образовалась игра между нами; Л. Д. очень слушались; ей мы стремились во всем угождать: и она принимала угоды естественно, как подобает.

С. М. Соловьев все не ехал; уже собрались уезжать; накануне отъезда, под вечер, раздался в лесу заливной колоколец; и подкатила к подъезду тележка, откуда к нам выскочил радостный, загорелый С. М. Соловьев, в мятой черной тужурке (студенческой); шумом и смехом наполнил он вечер, рассказывая о пребывании у друзей, очередном увлечении («для стихов»); увлечения С. М. обрывались «сонетами». Вечером мы порешили: у Блоков пробыть еще несколько дней.

Очень скоро «Сергея» почувствовал «атмосферу», в которой все жили; — присмирел... изображал громовые пародии «Пиковой Дамы»; он внутренним слухом вполне обладал; и он схватывал музыку; изображая же музыку голосом, перевирал невозможно; он пел «деритоном», в себе совмещая контральто, сопрано и тенор, и бас; великолепно вырвывал он лейтмотивы трех карт; и гусарил под Томского... но особенно удавалась роль Германа...

Бекетова. При личном знакомстве с Люб. Дм. Блок Андрей Белый, С. М. Соловьев и Петровский решили, что жена поэта и есть «земное отображение Прекрасной Дамы», та «Единственная, Одна и т. д.», которая оказалась среди новых мистиков, как естественное отображение Софии. На основании этой уверенности С. М. Соловьев полусхуется, полусерьезно придумал их тесному дружескому кружку название «секты блоковцев». Он рисовал всевозможные узоры комических пародий на будущих ученых XXII века Lapan и Ramran, которые будут решать вопрос, существовала ли секта «блоковцев», истолковывать имя супруги поэта Любовь Дмитриевны при помощи терминов ранней мифологии и т. д...

Белый. Бурновеселые дни с Соловьевым — последний аккорд; тишина сквозь веселость цвела; отцветали кувшинки и желтые листья проглазили в зелени; эти последние дни протекли



безмятежно; я чувствовал братскую близость к А. А.; проходил целый день почему-то однажды в рубашке его (с лебедями); то было как бы «*побратимство*».

И я уезжал, загоревший, окрепший, принявший решение покончить с одним обстоятельством в жизни моей, угнетавшим; А. А. это знал, хоть молчали мы оба; лишь раз деликатным намеком он дал мне понять, что пора с «*обстоятельством кончить*»; Л. Д. утверждала решение; я — принял решение.

Так встало над листьями утро отъезда: и охватила грусть, точно мы уезжали навеки; до «*слез*» эту грусть ощутил; ведь вот: более не суждено было встретиться радостно и без «*вопросов*»; через год мы все встретились, но уже с «*вопросом*», которого не разрешили; и разорвали сложившийся треугольник: и стали *три брата* — врагами.

И помнится: подали нам лошадей; мы простились: Л. Д. и А. А. на подъезде стояли, махали руками; я — обернулся; зеленая ветвь их отрезала: лесом поехали.

Сосредоточенно мы колыхались по рытвинам; мы увозили клочок согревающей «розово-золотой» атмосферы, которую в будущем мы должны были ввести в свою жизнь...



Глава VII. «Милый, стань чудом!»

Белый. Мы все переживали какое-то озарение в Шахматове; для меня оно было тем значительнее, что теперь я уже не мог длить своих прежних отношений с *Н. И.*^{*}; я как бы дал обет прервать с ней *всё*; и Л. Д. намеком мне дала понять, что она этот обет принимает...

Я заявляю Н. И. Петровской, что я — *неумолим*; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л. Д. Блок; ее пронизательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство...

Вечер по приезде из Шахматова мы собрались на новой квартире С. М. Соловьева и возжигали ладан перед изображением Мадонны, чтобы освятить символ наших зорь, освященный шахматовскими днями...

Блок – Белому. 25 июля 1904. Шахматова

...Я ничего не могу сказать о настоящем. Ничего не было чернее его. Ничего не вижу, перед глазами протянута цепь, вся в узлах. Мне необходимо, чтобы это была снасть корабля, отходящего завтра. Когда он уйдет — яснее откроется далекое море.

Когда-то (здесь все мои надежды) я шел по городу, и такой же цепью был застлан горизонт. Но корабль отплыл в *тот самый час*, когда открылся глаз неба, и в нем явственно пошли звезды. И тогда я также *не ждал*.

Корабль стал строен, как вечернее облако (тогда). И тогда же повсюду появилась «*Она*» — отходящая, как корабль и как вечернее облако. И появлялась еще. Невероятность откровений искушала меня. Теперь — я сослан в каменоломню. Искра из камня — да будет! Есть еще связь с прошлым. Я хочу вспомнить забытое. Спасибо за Твои дуновения, за напуганный шелест...

Знаешь, я, может быть, не приеду к Тебе в «Серебряный Колодезь», а приду в Москве. Во-первых, что-то тяжкое, хмурое, смрадное идет от меня, и я боюсь развозить эту атмосферу, пусть сама претворяется. Ты мог заметить это в Шахматове, я все время чувствовал из-за этого угрызения совести...

Не рассердись и пойми, что самая действительная причина — первая. Победить ее не могу, хотя и из-за этого в свою очередь угрызаюсь совестью. Но тут есть какая-то натруженность — внешняя ли, временная ли, — Бог знает...

Белый – Блоку. Июль-август 1904. Серебряный Колодезь

...Мы — первые, неумелые, мы — и должны попадаться впросак каждый миг. Мы не всегда умеем «*ходить перед дуновением Вечности*» так, как Давид «*ходил перед Богом*». И Вечность покидает нас. Да.

^{*} Петровской.



И нужно учиться рыдать... — обиженным ребенком, покинутым Матерью. Нужно восторженно погибать. Что ж делать — мы первые, неумелые, как воины, присланные сражаться за Счастье из далеких стран в плохо известной местности. О, сколько раз я, казалось, проваливался в ужас, но всегда «дуновение выносило». Я не знаю, будут ли вечные муки, но чувство «спасенности» и почти безгрешности все растет и растет. И верно — мы отдохнем после жизни; а пока не нужно жалеть сил — нужно сжигать свою жизнь, быть и ледяным и жарким — сжигать жизнь во имя Будущего. Нужно копить в сердце это детское сознание: «Я — добрый, хороший, ни к чему не приученный, что с меня взять?» И с этим идти в ужасы влюбленным рыцарем Вечности, а если ужасы суждены на пути, встретим их, как Последнее Счастье, всегда ожидая гибели и оставленности, ни на что не надеясь. Ведь пройти до дна бездну скорби, значит уже не страдать, а тихо радоваться... хотя бы и ужасу: ведь ужас не может беспречно увеличиваться: напряжение нерва в определенном направлении имеет *предел*, за которым наступает или *физическая перемена*, или смерть, или разряжение, или, наконец, анестезия.

Милый, милый, что за слова Ты говоришь? — «Что-то *тяжкое, хмурое, смрадное* идет от меня!» Это от Тебя-то? Неправда, неправда. Да, Ты очень страдаешь, я увидел это тотчас же по приезде к Тебе, увидел в глазах, но «*никаким ужасом не веет от Тебя*» — я же в этом отношении довольно чуток.

Милый, не говори так, лучше опусти руки и обиженным дитей усни в Оставленности. Оставленность тоже Мать, любящая своего ребенка. Такая же нежная и любящая, как и Вечность.

Да уж не Вечность ли это? Да, тогда, когда мы говорим: «Уже впереди нет ничего — ничего», кто-то ласково принимает нас в свои объятия. Это Она, шутливо увернувшись из поля зрения, невзначай настигает расплакавшегося ребенка сзади — и целует, целует.

И, еще огорченный Ее исчезновением, отдыхает у Нее на руках, думая, что это руки Пустоты. О, не давай обману себя обманывать — призрак, дай ему волю, всегда кажется реальней реального.

Милый, Милый, Господь с Тобою!

Мы, такие усталые, Бог знает куда забравшиеся. Одежда наша истерзана. Руки, грудь и голова, изорванная терньями, проливают кровь — как «*вино новое*». На каменных утесах, среди пустырей, сидим друг перед другом с улыбкой жалкой робости, но уже радостной улыбкой: изорванное тело не болит, как бы в анестезии. И если послышатся муки, скорей, скорей надо их увеличить, чтобы боль, переплеснувшая через край безмерно, перестала выражаться. Милый, мы — тоже мученики, сжигаемые на кострах, пробегаем огневой пояс — борясь с драконом, там, за «*кольцом огня*» — спящая Брунгильда — «Невеста Иерусалима» — город Новый.

«*Не долго, не долго*», — шепчем друг другу и такие радостные, такие легкие, сияющие от мучения, как первые христиане.



О, да разве нам не дадут светлых ветров? Верю, верю — верю в то, что мы ненормально страдающие, а потому и вдохновенные, побеждающие. Господи, и для чего, и для кого, как не для Вечности — не для себя же? Мы, конечно, потерявшие себя, лики — иконы, живые — иконы во плоти. Мы сами альфа и омега, свое начало и конец — мы — символ, что то же самое, что икона. Мы боги. Милый, если Ты страдаешь, тоскуешь безумно, молю Тебе удесятеренных страданий — мученичества.

И Господь подаст Тебе, верь! Милый, милый, я пишу так безумно, бессвязно, глупо. Прости этот иступленный тон, но я Тебя люблю глубоко и страдаю с Тобой. Закружиться в водовороте страданий, среди колючек и розовых терний, захлебнуться в собственной крови, как в *«вине новом»*, — Боже, какое безумное, бессмертное счастье. Все светлеет, становится стеклянным — *«стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие стоят на стеклянном море, держа гусли Божий»*.

Верю, что в этих надорванных, иступленных словах уже сочтется река бессмертного здоровья.

Как? мы, пострадавшие до конца, еще не чудотворим исцеляющие раны? Так ли? Не хочу этому верить.

Я знаю, что могу творить чудеса. И ты тоже.

Милый, стань чудом!..

Бекетова. 13 августа 1904. Шахматово

...Но вот что новое и страшное — Сашура и Люба. Сашура — злой, грубый, непримиримый, тяжелый; его дурные черты вырастают, а хорошие глоснут. Он — удивительный поэт, но злоба, деспотизм, жестокость его ужасны. И при этом полное нежелание сдерживаться и стать лучше. Упорно говорит, что это не нужно и что гибель лучше всего. Это не есть дух противоречия относительно Софы, потому что было все еще до ее приезда. Но за год жизни с Любой произошла страшная перемена к худшему. Она не делает его ни счастливее, ни лучше. Наоборот. Что то? Она — недобрая, самолюбивая, она — необузданная. Алю она так и не полюбила и жестока с ней. Мне кажется часто, что это сгладится, что у нее ложный стыд мешает много, но я боюсь за будущее. Давно ли у него были добрые порывы? А теперь? Что же это будет?

Блок — Белому. 29 сентября 1904. Петербург

...Я потому не писал Тебе давно, что мало имел слов в запасе. И теперь их немного (хотя на деле все еще слишком много) — но я помню Тебя и люблю. Осень проходила хорошо, я мог радоваться. У меня поглощала время и «жар души» физическая усталость каждого дня, очень занятого учебным делом. И теперь то же дело — и пусть оно будет так зимой — до лета, пусть многое тонет в том, в чем есть своя тишина... Ты написал мне о конкретно-жизненном,



у меня было его много теперь, и я хочу сохранять это дольше и больше. За сеткой тихой суеты проходят, как в калейдоскопе, многие люди — и там же меняется нрав души — то буйно-золотой, свободный, захлебывающийся жизнью, то бездумно-тихий. Иногда поднимается глухое беспокойство, — что это: слишком мало или слишком много изживается в каждом моменте. Но и это тонет. Мне все хочется теперь меньше «декадентства» в смысле трафаретности и безвдохновенности. Я пробовал искать в душах людей, живущих на другом берегу, — и много находил.

Иногда останавливается передо мной прошлое... Но я живу в маленькой избушке, на рыбацьем берегу, и сети мои наполняются уж другими рыбами...

Бекетова. 23 ноября 1904. Петербург

...И вот я задумала освободить Алю от Любы и по-новому заняться музыкой: поучила дуэты и после обеда написала Любе шуточное приглашение и послала с Аннушкой. Она пришла, но такая невеселая, что мое настроение сразу упало. Спросила: «Почему тетя такая веселая? Мы говорили об этом за обедом». Пели — плохо довольно, но я была храбра, несмотря на все, что было обескураживающего.

Пришел Сашура, до того мрачный, что Люба еще стала печальнее. Должно быть, дома у них совсем плохо. Вот завтра узнаю, когда Аля придет. Боюсь, что это будет очень нехорошо, потому что покорный и униженный тон не годится, а более суровый и уверенный — тоже. Впрочем, теперь, может быть, ласка всего нужнее. А веселость не выйдет. Они ее спугивают мгновенно. Я только одна у себя и весела. Впрочем, с кем-нибудь другим еще могу, может быть, только не с ними. Печальные и страшные...

Блок – Белому. 1 декабря 1904. Петербург

Милый, напиши — что? Говорю, конечно, издали. Но, в последнее время, много думал о Тебе, чувствовал Тебя, и иногда, как никогда прежде, знал, что Ты — «один знаешь обо мне то, что я один знаю о Тебе». Сейчас пришла телеграмма. Ты — бесконечно дорог. Люблю Тебя и крепко обнимаю. Господь с Тобой. Беспокоимся. Помолюсь — и Люба тоже. Храни Тебя Бог. Трудное время. Крепко целую Тебя, объясни...

Если нельзя объяснить, конечно, не надо...

Белый – Блоку. 18 или 19 декабря 1904. Москва

Милый, я не знаю, как мне Тебя благодарить! Как благодарить мне Любовь Дмитриевну! Передай Ей мою глубокую благодарность: я никогда этого не забуду.

Милый, я ужасно Тебя люблю — и помню, помню. Так нуждался в помощи. Но уже 16-го декабря в 8½ часов вечера (т. е. когда была подана Твоя и Любовь Дмитриевны телеграмма) рухнули стены ла-



биринта, и я очутился опять на *вольном просторе*, мне было тихо и мягко. Я почувствовал голубиный лет усмирненной печали — спасибо, спасибо: *я никогда этого не забуду*. Сейчас вот сижу и пишу. И думаю о Тебе и Любовь Дмитриевне. И ясно. Передо мной весна. И белые стены Вечного Монастыря, и золотые луковки обители, и часы, и деревья — их неподвижные стволы, и ветви их, зеленые, нежные, раздуваемые и уносимые ветром, — и вода тишины, и серебряный серп, точно карандаш, начертивший струистые отблески, — и Время.

Время!

Пора. Что-то пришло ко мне опять — Милое, Ласковое. Милый, я слышу Вас — спасибо, спасибо: я никогда этого не забуду.

А недавно был ужас.

Не знаю, сумею ли рассказать «это» — ужасное «это», собирающееся меня пронзить бычьими рогами в лабиринте. То яростно смеется и блещет огоньками глаз бычьей морды в ночной пасти лабиринта, то — о ужас — нежно мычит и лижет руки кровавым языком, уговаривая добровольно сдаться, бросить меч, с которым я сознательно вступил в лабиринт, и поселиться здесь навеки.

Не знаю, сумею ли рассказать это.

Каждого человека с рождения до смерти сопровождает его музыкальная тема. В мою тему входит один мотив ужаса, который я должен преодолеть, иначе он погубит меня. Детство мое выросло из ужаса. Когда я еще не сознавал себя, я уже сознавал, помнил свои сны. Это всё были *Химеры*. Помню два сна. Они определили мелодию ужаса, всю жизнь преследовавшего меня. Один: будто мы сидим в садике. Вдали ворота, увенчанные не то крестом, не то иконой (потом оказалось, что это был церковный садик, принадлежавший Св. Троицкой церкви, что на Арбате). Мы сидим на лавочке. Как будто весна. Меня держат на руках. Уютно. Вдруг в ворота ползет на четвереньках бледный, бесконечно длинный человек, припадая на землю. Вползает в ворота, огражденные иконой, наподобие змеи или ящерицы. У него рыжие бакенбарды, гнилые зубы (он смеется, кивая мне) и фуражка, какие носят служащие из Казенной Палаты. Я замер... И дальше ничего не помню.

Другой сон: помнится мне, я видал его не раз. Комната. Горит свеча. В глубине мрак. Там всё комнаты: кажется, что нет им конца. Дверь, точно пасть, точно вход в лабиринт. За столом старушка бабушка (теперь покойная). У нее была лысина и она носила головной убор. Но вот она сидит без убора — лысая, и набивает папиросы, сотню за сотней, обвязанной в бумажный кружочек. Я беру бумажный кружок и хочу им щелкнуть, но лысая бабушка угрожающе предостерегает, чтоб лучше я уж не щелкал, а то беда. И я понимаю, что это так. И ночная пасть лабиринта угрожает. Но что-то приказывает мне щелкнуть — и... в глубине черных комнат на стук, раздавшийся оттого, что я щелкнул бумажкой, раздается ответственный стук. Еще. И еще. И уже это шаги. Идут. Тут открывается



мне, что если я не добегу до кровати, не закрою голову одеялом, произойдет несказанный ужас, ибо шаги раздадутся уже рядом и из лабиринта, из черной пасти выйдет «это». И вот я осознаю, что уже это все бывало, и что надо бежать. Помнится — десятки раз я уже спасался. Но я медлю. А шаги ближе — ужас подходит. Мгновение — и из лабиринта вырисовывается коренастый, низкорослый мужичок с красным мясистым лицом, в золотых очках, воспаленно-изумленным *не злым* лицом с золотой бородкой и толстым животом. Руки сложены на животе, пять красных пальцев торчат из рукава сюртука с правой стороны, пять красных пальцев с левой. Красные пальцы сплетаются, и «это» — добродушно посмеивается. Только в этом смехе больший ужас, нежели в злобе (впоследствии я узнал, что это был доктор Родионов, в детстве лививший меня от скарлатины).

Сначала было «это». А потом уже начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гёте, из Уландта, а я у нее на коленях засыпаю.

Вот моя музыкальная тема.

Когда я подростал (мне уже было 6 лет), вырос день, и днем ужасы отхлынули и обуревали ночью. Каждую ночь говорили (я не помнил хорошенько), что я кричал, будто пришел «Афросим». Я только помнил иногда, что все вокруг меня обрывалось, или что я зашел в подземелья (в лабиринт) и уже не вернуться мне обратно, и тогда приходило «это». И я начинал кричать «Афросим», и меня успокаивали. И ходили какие-то силуэты, и когда я приходил в себя, это были: мама, гувернантка. Впрочем, раз мне казалось, что я видел Афросима, и он почему-то напомнил мне доктора Родинова. А днем было солнце, и я бегал по аллеям в платье с длинными волосами, и меня дразнили, что я «девчонка», «мамин сынок», товарищи стреляли из револьверов, пугали пистонами, а солнце меня любило; но иногда среди солнца березы начинали свистеть «ссшишшссс» и начиналось «это». Мне хотелось тогда с кем-нибудь заговорить, чтобы «это» не росло. И «оно» проходило.

Доктора запретили, чтобы мне читали сказки, но это все было «не о том».

Милый, я нарочно пишу все это, чтобы Ты хоть сколько-нибудь понял, что со мной было теперь, а то «это» пожалуй будет лишь относительно понятно.

Тогда же я глухо понимал, что меня любят и берегут «там», но что есть другое «там», и из этого другого (лабиринта) от времени до времени выползает ужас и грозит меня растерзать.

Потом настали дни, когда все это ушло. Ужас, бунтующий в ночи, ушел. Тогда появился преподаватель латинского языка Казимир Клементьевич Павликовский. Он семь лет мучил каким-то несказанным ужасом, вызывая меня на истерические припадки



исступленности, которые он смирял единицей. Право, это не смешно, а ужасно, потому что я узнал мое «это», наплывавшее в шелесте берез «ссшисссе», приходившее ко мне коренастым Афросимом Родионовым (кстати: тут я узнал, что Афросим по-гречески значит: «Безумец»). «Оно» ушло изнутри, и вот появилось извне.

Я поступил в университет. Усердно занялся естествознанием. Стал писать стихи и читать рефераты об «одноклеточных организмах». Изнутри все улеглось. Извне я *избавился* (кончил гимназию).

И вот весной возвратилось. Опять я ждал страшного незнакомца... Тут же я узнал Владимира Сергеевича Соловьева, и потом увидел на одном из концертов среди звуков бетховенской симфонии *два глаза* — и больше ничего. Начались огненные откровения. На зверя, посылавшего мне из лабиринта Павликовских, Родионовых и др., опоясанных «*этим*», — на зверя восстала «Жена, облеченная в Солнце». Всадники зверя боролись с всадниками Жены ...

Я понял, что ужасы Хаоса в конце концов (Павликовский, Афросим) (в окончательности) воплотятся в Лик Безумия, в *Зверя*, а моя ласковая усмиренность детских дней — в Ее веяние, *голубиный лет усмиренной печали*, Св. Дух, сходящий на нас. После борьбы придет полнота времен и приблизится Господь. В Мережковских послышалась мне нота полноты, но еще я не мог разобраться какой — здешней, или Той, Окончательной. От них шло это веяние, или они зажгли во мне Христово, но вдруг я попал в лазурь: на горизонте было вино. Я думал, борьба кончена. Ласка и усмиренность «*Отныне и до века*» со мной. Я почувствовал, что я «*спасенный ребенок*». Я не знал, что это еще только отдых, что еще времена окончательной борьбы впереди... Я думал, это — счастье. Но все это было лишь замаскированное...

Опять началось. И на этот раз самый страшный бой: «*зверь*» набелился, нарумянился и незаметно присоединил свой голос к пиршеству лазури (цыганство, цыганский хаос)... Пахнуло «*жертвенным врубелизмом*», а потом вдруг появились отовсюду радостные единороги, затанцевавшие вальс, они кричали: «Здравствуй» и радовались, что я проглядел их под маской безбурности. Но это был первый порыв бури; еще настоящая гроза только приближалась.

Я стоял в голубых пространствах. Вдруг туча белых миндальных и бледно-розовых яблочных лепестков закружилась вокруг меня. Мне было хорошо в этом неожиданно пришедшем круговороте, застилавшем лазурь. И я шел в круговороте. И лепестки сплетались в один шатер — бело-розовый, озаренный голубым лучом месяца. И я думал, что это — храм. И в храме стоял Он с улыбкой кроткой безбурности: только не было того веяния, которое с Ним приходило. Но вдруг Он рассеялся, и посреди храма взвилась пепельная ракета. Взвилась и рассыпалась пеплом. И пепел начал кружиться вокруг. И тогда открылся лабиринт. Идя в белом и розовом водовороте миндального цвета, я незаметно спустился в лабиринт, повитый



ласковым облаком; но когда я уже был внутри лабиринта, пелена развеялась — и помчался бычий лик Минотавра. Тут я понял, что роковая тема ужаса, всю жизнь змеившаяся вокруг меня, но не смевавшая вступить в бой, теперь ринулась на меня. Мне предстоит или умереть, или убить Минотавра, защищая себя. Ужас еще не вселился в мир. Зверь еще не имеет определенного Лица, но уже на многие Лица падает тень. Теперь тень пала для меня на Лик Валерия Брюсова, и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук.

Еще в прошлом году он начинал *«творить марево»* вокруг меня, прикидываясь обозленным вепрем. Мне удалось его разбить внутри, но он нырнул слоем глубже и явился передо мной под личиной дружбы, но когда я пошел навстречу его видимой искренности, она приняла вид какой-то иступленности, так что я недоумевал, *«это все»* означает. Порой прорывались нотки стародавней ярости и он стал творить ряд ужасов. Из-за его спины выступил Ужас. И вот Брюсов снял маску. Он объявил, что уже год *«творит марево»*, и когда его просили удержаться от «марева», он прямо заявил, что *«теперь это не в его власти»*. Гипнотизер он сильный: стал ломиться извне и изнутри. Я понял, что воздвиг его мой враг, и что *«это»* — посланный подвиг. Помолился: разбил его внутри при помощи *«посланной свыше помощи»*, а он в ответ стал обливаться потоками грязи извне, все под видом *«нашей дружбы»*. Все это сопровождалось рядом гипнотических и телепатических феноменов. Были и медиумические явления: у нас в квартире мгновенно погасла лампа, когда ее никто не тушил, полная керосину, раздавались стуки. Маме в уши что-то шептало (она не могла разобрать *«что»*) и кто-то говорил *«Валерий Брюсов»* (мама тогда ничего не знала о нашей борьбе). Наконец я призвал силы, опоясался *«молнией»* и ударил в Брюсова; это происходило *«там внутри»*, но он ответил извне стихотворением, посвященным мне... где прямо говорит о «молнье» и много другого феноменального. Наконец приехали Флоренский и Петровский из Академии и отнесли в *«Скорпион»* стрелой сложенную записку Брюсову в знак объявления войны. Тут пришли *«белые купола и старцы»* и укрыли меня, дали отдых на два, три дня. Потом Валерий Брюсов опять начал свои странно-страшные нападения. Он стал постукивать, как Хунхуз: не будучи в состоянии напасть открыто, он стал тревожить ложными вылазками, не давая отдыха. И поскольку он *«во внешнем»* прямо заявлял, что во что бы то ни стало убьет меня (нравственно, духовно, и даже физически), вынуждая взяться за меч, постольку я решил *«все это покончить»*, вызвав его на дуэль. Едва я это подумал, как мне стороной передали, что он видел сон, что я его убил на дуэли после ссоры в кабачке в Кёльне в XVI веке (он теперь пишет роман из Кёльнской жизни), причем в числе присутствующих при этой ссоре был и Бальмонт.



Это мне открыло глаза. Дело в том, что я только что перед этим решил твердо, что после лекции Бальмонта, когда мы будем проводить с ним прощальный вечер (он уезжает Мексику) в одном из «кабачков» (в Большом Московском), я вызову Брюсова на дуэль, потому что был твердо уверен, что он подаст к тому повод: только что разбитый внутри «наголову», он должен перенести весь тон кампании «во вне», и я знал, что под маской дружбы на меня польются потоки грязи. Я решил не спустить ему ничего и дать пощечину. Все это я решил — и вот Брюсов рассказывает мне свой сон и всячески старается мне дать понять, шутя, что драться на дуэли он готов. Тут я понял, что в его «мареве» входит и дуэль, и что мой вызов «извне эффектный», изнутри — «срыв», ненужное бегство после генеральной победы над врагом. Тут я и послал телеграмму Любовью Дмитриевне, глубоко веря в силу Ее молитвы и в силу Твоей любви ко мне, и зная, что Ты помолишься за меня.

Спасибо, спасибо: все прояснилось, и я увидел, что «дуэль — марево», и что пусть лучше я буду испытывать «крестные муки», — ведь мучение, клевета, поругание суждено мне. И я пошел на страдание. И получил его. И счастлив.

Спасибо, спасибо, милый, за письмо: оно пришло... и утешило меня.

Строчки, написанные Любовью Дмитриевной, вызвали во мне молитвенное благоговение, и я понял: «я сильнее, чем сам предполагал»...

Блок. 23 декабря 1904. Петербург

Спасибо Тебе, милый друг, что написал обо всем. Скажу Тебе на это, прежде всего, что верно Ты знаешь, как поймет все это тот, который сидит во мне помимо всех остальных, сидящих там же; многие из них — пренеприятные господа, которых Твое извещение заставило поугомониться, — и вот протянулся ряд хороших дней, более тихих, более глубоких, самообсуждающих. Когда начинаются эти дни, — возвращаются обыкновенно настроения, очень давно покинувшие, совсем забытые, которые, казалось, были похоронены. Может быть, я даже присутствовал на похоронах и ставил свечки, но удивительно, что встретился опять с покойником, нисколько не удивился и принял его в круг самых живых и самых близких. Этот год с осени был особенный в этом смысле. *Особенно* резко и старательно было забыто осенью, во время обычного после лета укрепления «нервов» и «просияния» по этому поводу, — всё из прошлого. Летняя земля помогла, пожалуй, выковать очень хороший замок, который наглухо закрыл двери, и когда створки окончательно сдвинулись, пробудилось стремление писать зачетное сочинение и рефераты. Все это было выполнено успешней, чем когда-нибудь, стало приятно и лестно чувствовать свою «работоспособность» и возможность историко-литературных обобщений. Все это длилось до



очень недавнего времени, до Рождественских вакаций. Вероятно, это было полезно и укрепительно, потому что позади этого, когда створки приоткрываются (только теперь), оказывается *воспоминание* о днях, когда «постигал я первую любовь»... Дело в том, что кто-то *очень Добрый* (слава Богу! слава Богу!) заставлял *придумывать* то, что было *пережито* раньше. Конечно, это шло туго. Говорю о «Прекрасной Даме» (о, обоюдоострое название! надоело...). Придумыванье шло довольно давно. Может быть, теперь, когда *от многого* приходит пора отказаться (говорю о *молодости*; знаешь?), все меньше и меньше станут затемнять *Истинность* мгновенные, ребячливые построения. Ведь они были нужны, пока существовали какие-то странные, *казавшиеся* нужными связи с не совсем реальным. Очень вероятно, что поезд мой сделает еще только последние повороты — и придет потом на станцию, где останется надолго. Пусть станция даже *средняя*, но с нее можно будет оглядеться на путь пройденный и предстоящий. В нынешние дни, при постепенном замедлении хода поезда, все еще просвистывают в ушах многие тревожные обрывки, но странно: прежде мне хотелось писать Тебе и говорить вообще об этих вечно свистящих обрывках, а теперь хочется «остаться в границах» положительного письма. Такое же впечатление производят на меня и Твои последние письма. Ты пишешь все реальнее и все углубленнее; я принимаю это совсем просто и реально. С прежними письмами могли происходить случайности, — в дороге слова еще шевелились и могли искривиться. Теперь они всё закрепленнее изнутри. Все это происходит как-то помимо сознания. Правда — приближается странное время, я бы сказал, что «носом и глазами впивается» непривычная стихия средней полосы жизни, как когда-то — первая юность. Несмотря на всю эту положительность, — я *знаю*, кто Брюсов, и что — именно тот, о каком Ты пишешь. Прочтя Твое письмо, я подумал, что он сейчас заглянет и к нам, но почти не боялся. Ничего не случилось. Читал вслух Любе, она сказала, что ей это «близко». Иногда я боюсь за себя. Кое-какая «пронзительность» есть на моей душе. Странно, что я *почти* не встречал в жизни «этого» лицом к лицу. Предположить могу только одно из двух: или — окончательную бездарность в «переживаниях», — но это не так, потому что переживания «Прекрасной Дамы» были слишком несомненны; или — бессознательное уменье гонять чертей соответствующими средствами — их же оружием. Последнего-то я и боюсь иногда. Слишком мало пугаюсь. Но, может быть, ведь — я исчерпался. «Песне конец». Впрочем, «странно веселые думы мои» — налицо. Если бы Ты знал, как я *всегда не верую!* Но *иногда*, как, закинув руки в «голубое», могу простоять я над бездной — и почти полет! До сих пор есть эта возможность. Пусть *не верую* даже, потому что иногда еще даже возможность покаяться как будто брезжит. Впрочем, я не могу исповедаться у священника. Я думаю: «верно, нужна конституция» — искренно и часто



с серьезной злостью на правительство. Тут-то подбегает «ребенок-я» и, протягивая на меня палец, кричит, заливаясь смехом: «Он хочет конституции!» Этого ребенка я беру на руки и целую — и «я и Он одно»... *опять* одно. — Туго, гладкими стихами, часто *старательно* пишу поэму. Дошел наконец до части, где должна явиться Она. Знаю, как надо... но тут идет одна золотая нитка, которую перервать нет ни нужды, ни сил, продолжить, — может быть, — тоже. Дело в том, что на корабле должна прибыть Она. На корабле — *бочка*, самая простая, так — среди других тюков и бочонков. В бочке — *ребенок*. Все это только канва, но на канве появился самый реальный, страшно глупый, *Добрый*, мохнатый щенок с лиловым животом, по которому ходят блохи. Если я останусь правдивым — то заменю ребенка в бочке именно таким щенком... Впрочем, пишу Тебе все это скорее затем, чтобы бросить поэму и разбить ее на отдельные стихотворения. Я не посылаю Тебе стихов — стоящих нет пока. О твоих очень соскучился, — если есть — пришли, пора опять испить из этого Твоего кубка.

Ведь я нарочно, почти, не *отвечаю* на Твое письмо. Слов не найду, все равно, но *знаю, знаю*... Относительно слов все более становлюсь нищим, но иногда головокружительно какое-то богатство. Видишь, и я не умею, по-прежнему, писать письма. Но пусть хранит Тебя Господь. Знаю о Твоем *страдании*, страдающий и сильный — *«сильнее, чем сам предполагал»*...



Глава VIII. Завивание в пучоту

Белый. Помню: выехал я из Москвы вместе с матерью: мать отправлялась к подруге своей; в атмосфере тревожащих слухов мы тронулись в путь; из отрывочных, нервных газетных известий нельзя было точно понять, что творилось: лавиной росла забастовка...

Мы приехали в день — знаменательный ныне: то было девятое января, ничего не сказавшее в поезде нам; мы разъехались с матерью в разные стороны... по направлению к Гренадерским Казармам, на Петербургскую Сторону — я, к пригласившему офицеру, любезно отдавшему мне помещенье; в той самой казарме жил Блок; мой знакомый служил под начальством у отчима Блока, Кублицкого-Пиоттуха, батальонного командира...

Заехав на чистый, просторный, казарменный двор, отыскал без труда я квартиру знакомого офицера; звоню: открывает денщик, заявляет, что «их лагеродия» — нет; они нынче с отрядом — у заводского, у завода: по случаю забастовки; и — всего прочего; мне — приготовлена комната.

Прихожу умываться; денщик — за мной следом:

— Казармы-то...

— Пусты...

— Полк выведен...

— Защищают мосты...

Оправившись, поспешил я к А. А.; в этом корпусе обитали, как кажется, все офицерские семьи; все двери квартир выходили в огромнейший каменный коридор, пересекающий корпус; квартира Кублицкого выходила туда же; на двери, обитой, как помнится войлоком (серым) блистала доска: «*Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух*». И тут я — позвонился; открыл мне денщик (мы потом с ним дружили, обменивались чаями и понимающими улыбками: «Дома-с, пожалуйста!»); я очутился в просторной, чистейшей передней с высокими потолками пред желтыми вешалками.

— Пожалуйте.

— Завтракают.

Дверь распахнулась: и просветлел кусок комнаты с окнами, открывающими широкий и сырый простор; перерезая кусок белой комнаты, там показалась знакомая голова, с волосами рыжеющими, сквозящими заоконным простором; то был А. А. Блок — в фантастической, очень шедшей, уютной рубашке из черной, свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, которую не закрывал мягкий, белый, широкий воротничок; А. А. был в нем без галстука (а-ля Байрон). Конечно же: Любви Дмитриевне принадлежала идея рубашки... лицо закрывали глубокие тени передней; и все же: оно — показалось мне бледным, а сам А. А. мне показался, конечно же, перерисованным со старинных портретов.



Первый вопрос, им мне брошенный:

— Что?

— Ну?

И я — понял в чем дело:

— Да говорят, что пошли...

Торопливо, взволнованно встретились мы, обменявшись быстро приветствиями; золотая головка Л. Д. в зеленовато-розовом широчайшем капоте стояла в дверях:

— Вот и Боря.

— Борис Николаич, — повернулась Л. Д., отвечая кому-то, с салфеткой в руке... — а мы завтракаем.

— Ну что?

И меня повели через белую комнату, с окнами, за которыми сиротливо ширели пространства оледенелой воды; у подоконников поднимались, как помнится, листья растения, поливаемого Александрой Андреевной; узнал ту же все чистоту бледно-желтых паркетов, сопровождавшую Александру Андреевну повсюду; мне бросилась мебель, зеленая, старых фасонов, не подавлявшая, но расставленная приветливо, с пониманием; вкус был во всем; здесь стояла рояль; и — стояли блестящие, невысокие шкапчики (кажется, красного дерева), показуя переплетенные томики из-под ясного чистопротертого стекольного глянца; тут дверь — открывала столовую, комнату меньших размеров, оклеенную оранжевыми, согревавшими мягко обоями, со столом посреди, на котором накрыт был, как помнится, завтрак; приподнялась мне навстречу, всегда трепыхавшаяся, точно серая птичка, мать Блока в своей красной тальмочке (нет, в самом деле, не фантазирую я — эту красную тальмочку, помню, действительно помню!): а Марья Андреевна подкидывала, подмаргивала за нею:

— Ну что?

— Да — пошли...

— Говорят, что стреляли.

— Ах, ужас что!

И Александра Андреевна рукой отмахнулась, качнувшись талией (жест ее); носик, острясь, розовел на меня; разговора и не было, а — возгласы, предположения, беспокойства; все центры сознания сместились туда, в один центр: на Дворцовую Площадь; чрез каждые десять минут приходили из кухни известия, что — стреляют, стреляли; и — кучи убитых. И Александра Андреевна хваталась за сердце (больное):

— Поймите же, Боря, что он — ненавидит все это...

— А должен стоять там...

— Присяга...

Я Франца Феликсовича в это время не знал: он, всегда такой тихий и добрый, всегда благородный, являлся со службы, вступая в пространство оранжево-розовой комнаты с видом, который мог значить одно:



— Я же знаю, что тут вы беседуете о материях деликатных: нет-нет, не помешаю, — пожалуйста, не обращайтесь внимания.

И тщедушной фигуркою, в невоенно сидящем военном мундире, склонив над тарелкою нос, как у дятла, пощипывал узенькую бородку и ясно поглядывал черными кроткими глазками (чуть — себе на уме!): ну, кого мог убить он? Волнение Александры Андреевны за мужа я понял позднее лишь.

Но А. А. в этот день волновался другим: значит, был факт расстрела. Я никогда не видел его в таком виде; он быстро вставал; и — расхаживал, выделяясь рубашкой из черной, свисающей персти и каменной гордо закинутой головою на фоне обой; и контраст силуэта (темнейшего) с фоном (оранжевым) напоминал мне цветные контрасты портретов Гольбейна (лазурное, светлое — в темно-зеленом): покуривая, на ходу, он протягивал синий дымок папирсы и подходил то и дело к окошку, впиваясь глазами в простор сиротливого льда, точно — он — развивал неукротимость какую-то; а за чаем узнали: расстрелы, действительно, были.

С собой из Москвы привез целые ворохи разнообразнейших впечатлений о том, что меня волновало, с чем ехал я к Блокам; но — говорить ни о чем не могли мы; события заслонили слова.

Мы — простились; и я поспешил к Мережковским.

Остался обедать у Мережковских; мы после обеда отправились к Философам (жил он у матери); от Философов все мы попали на заседание представителей интеллигенции, в «Вольно-Экономическое Общество», в кучи народа, в растерянную толкотню вокруг стола, за которым какие-то люди не то заседали, не то обсуждали случившееся; здесь молчание перебивалось возгласами, разговорами, переходящими в споры; и оглашались различные сообщения; утверждалось: движение — не поповское, революционное; призывалось:

— Вооружимся!..

И вот — я на темных, морозных проспектах; кругом — ни души; полицейские скрылись; выныривали подозрительно озирающие друг друга фигурочки; изредка открывалось в морозы трескучее пламя кровавых костров, у которых серели озябшие и балдеющие солдаты, похлопывающие себя рукавицами и потопатывающие ногами на месте; виднелись козлы из сложенных ружей; в ночных переулках хрустела тяжелая постушь патрулей.

Едва я добрался до белого бока Казармы; ворота — захлопнуты, а у ворот — часовые: не пропускают меня, хотя я объясняю, что некуда больше деваться, что только сегодня сюда я приехал.

— Пройдет господин офицер: он — рассудит.

И я затоптался на месте, не зная, что делать; вдруг вижу — взволнованный толстячок-офицер, с подбородком двойным, рыжеусый, вразвалку бежит с револьвером в руках; и за ним два солдата; ему объясняю свое положение я; он обмерил меня недоверчивым взглядом; и — выпалил (мне показалось испуганно):

— Казармы пусты!..

— На Казармы, по слухам, рабочие двинулись.

— Предупреждаю: вы подвергнетесь неприятностям, связанным с долгой осадой...

Но я предпочел неприятности «долгой осады» топтанию перед дверью Казармы; и — меня пропустили; впоследствии мне сообщили, что кроме семейств офицерских, шести инвалидов, патруля,.. подполковника (толстенького офицера, со мной говорившего), не было здесь никого. Долго я не ложился в пустой офицерской квартире; события дня волновали меня.

На другое уж утро рассказываю и Блоку о виденном накануне, о Мережковском, о «Вольно-Экономическом Обществе», о разговоре перед воротами...

Советовался с А. А., как мне быть? Надо мне переехать; воспользоваться гостеприимством знакомого офицера, настроенного реакционно, естественно, я не хочу; и А. А. согласился со мною...

В тот день познакомился с милым я Францем Феликсовичем, который тихонько выслушивал все разговоры, явившись к завтраку, от какого-то пункта, где должен стоять был с отрядом, — который выслушивал молча... мои впечатления о настроении улиц, поглядывал грустными взглядами; разговор все вертелся вокруг происшествий; и раздавались слова, очень прямо клеймящие подлых расстрельщиков: тут Франц Феликсович опускал длинный нос, точно дытел, в тарелку; мне было неловко; старался быть сдержанней я; но А. А., как нарочно, с приходом тишайшего Франца Феликсовича говорил все решительней; мне казалось: тоном старался его — подковырнуть, уязвить, отпуская крепчайшие выражения по адресу офицерства, солдатчины, солдафонства, не обращая внимания на Ф. Ф., будто не было вовсе его, — будто мы не сидели в Казармах; как-никак, Франц Феликсович, защищавший какой-то там мост, мог быть вынужденным остановить грубой силой толпы (к великому облегчению Александры Андреевны, этого не произошло); но я думаю, что Ф. Ф. не отдал бы приказа стрелять, предпочтя, вероятно, арест; с каким видом вернулся бы он в этот дом, так решительно, революционно настроенный; да и сам он с презрением относился к «солдатчине»; тем не менее: факт стоянья Ф. Ф. у какого-то моста с отрядом все время нервил А. А.; крепко, несдержанно он выражался, бросая салфетку; и — чувствовалась беспощадность к Ф. Ф.

Я заметил в А. А. этот тон беспощадности по отношению к отчиму и в других проявлениях; мне показалось: его недолюбливал он; и — без всякого основанья, как кажется; раз он сказал:

— Франц Феликсович, Боря, — не любит меня.

— Таки очень... — прибавил с улыбкой он.

Но этого — я не видел, не чувствовал даже; наоборот: постоянно я видел уступчивость, предупредительность, мягкость, хотя Александра Андреевна поговаривала, что Ф. Ф. очень вспыльчив.



— Он может кричать — очень страшно! Но был он отходчив. Я думаю, что отчужденность меж отчимом и его неприемлющим пасынком — отчужденность кругов, воспитанья, привычек; А. А. был профессорского, литературного круга; а Ф. Ф. — был военный, «служак»; и он, понимая свое положение в доме, — во всем уступал и не вмешивался ни во что.

Мои первые петербургские дни отделяют меня от А. А...

Бекетова. 12 января 1905. Петербург

...Каждый день вижусь с Алей. На фоне всего этого Люба, будирующая после неистовых ревнивых сцен... не сочувствующая движению, презирающая рабочих, а главное-то Алю. Или злостно молчит, или прорывается злыми всплшками, как было вчера вечером... Вчера днем вдруг пришла ко мне Аля с нежным бело-розовым букетом, а потом Сашура с Любой с красными тюльпанами. Были веселые и милые, требовали чая, конфет и еды. Все было прекрасно. Аля назвала Любу хулиганкой, да не один раз, а два; Люба обиделась и ушла с этим. По-моему, это была первая ракета... Пошли разговоры о вреде и пользе фабрик. Она развивала обычную свою теорию о пагубности фабрик, денег и т. д., выказывая обычное же презрение к науке и законам истории и политической экономии. Сашура, обыкновенно говорящий то же самое, был на Любиной стороне. Много у Али было нелогично, и, главное, выказывалась невежественность, но было умно и оригинально, А Любино было все сплошь чужое. Кончилось резкой выходкой Любы... Думаю, что дальше было и хуже. Если бы был у них Андрей Белый, он бы поддержал Алю и вообще нашел бы слова, примирившие обе стороны, а Люба не посмела бы говорить резкости...

Белый. Революция заслонила собою все прочее; сыпались быстро удары репрессий; меня волновали аресты знакомых; революционное настроение крепло, и кроме того: в эти грозные дни перебрался совсем неожиданно я к Мережковским, уговаривавшим меня поселиться у них.

Мережковскому грозили арестом; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

Теснейшее, непрекращающееся общенье мое с Мережковскими в эти дни перешло в настоящую, очень конкретную дружбу; и пафосу дружбы отдался, воспринимая живей круг идей Мережковского...

В квартире Д. С. проживали тогда сестры Гиппиус — Т. Н. и Н. Н.: «Тата» с «Натой», художницы; я подружился особенно с «Татой», которая уводила меня к себе в комнату и усаживала на серый диван; у нее был альбом и в него зарисовывала она все фантазии, образы, сны, сопровождая эскизы порой комментарием; этот дневник, мысли-образы, я полюбил; и часами мы с ней философствовали над эскизами; помню один из них: на луной озаренном лугу, в простыне, кто-то белый, худой и костлявый таинственно раскакался по травам...



В квартире у них — *«атмосфера»*, которую остроумнейшим образом охарактеризовал раз Бердяев, сказавший: «Вы — понимаете: вы беспомощны в *«атмосфере»* у них; вы приходите к Мережковским сказать: *«Я не с вами...»* А Мережковские вам отвечают: *«Так почему же вы, если не с нами, не уличаете братски нас...»*. И начинаешь их братски опровергать; вдруг уже ощущаешь, что ты уличаешь — *внутри атмосферы*; ты стал — антитезой; ты — внутри синтеза; тут Мережковский пристроит мгновенно свой синтез; попаден: *внутри атмосферы уже...»*

...Поэтому и назвал В. В. Розанов эту квартиру, пропахнувшую сигарами и духами, *«мистическим логовом»*; он оглядывал стены, как кошка, и — говорил, улыбаясь:

— Нет, что-то такое тут есть.

Это *«что-то такое»* — я чувствовал; и еще более чувствовал Блок...

Об *«атмосфере»* квартиры, о доме Мурузи, — не раз говорили с А. А. в это время мы.

А Мережковские, в свою очередь, уличали меня А. А. Блоком; они наблюдали неудержимое, ежедневное убежание от них к А. А. Блоку; они бы мне *«запретили»* охотно сбегание к Блокам... чувствовали, что со мной ничего не поделаешь: вынуждены признать, что А. А. и «Я» — братья; и все-таки: З. Н. все-то хотела ввести в надлежащую приличную норму мое неприличное исчезновение к Блокам. И наконец, Мережковский нашел себе формулу моего тяготения к Блокам; *«декадентская мистика»* соединяет-де нас; убегания к Блокам есть бегство *«волчонка»* в глухие леса, в завывание, в «ууу», после уроков естественного муштрования, долженствующего превратить декадентского, хвост поджавшего, волка в овчарку религиозной общественности; тщетно добрые пастыри Мережковские волчонка дисциплинировали; они нуждались в *«овчарке»*; такую *«овчаркою»* воспитать меня очень хотелось... В такой глупой *пустой* легкомысленнейшей оценке моих отношений с А. Блоком, с С. М. Соловьевым и с Александрой Андреевной напечатлялася удивительная поверхностность и нечуткость к другим, которая искони отличала Д. С. Мережковского...

Неоднократно говаривал мне Д. С. Мережковский:

— Послушайте, эти ваши сидения у Блоков, — болезнь: тут — безумие. А З. Н. прибавляла:

— Да, да: метерлинковское косноязычие *«что-то», «где-то»* и *«кто-то»* вместо открытого Лица и Имени...

Словом «ууу» пресловутой осмеянной рифмы: цариц-ууу *Прекрасная Дама* поэзии Блока, Царица, представилась Мережковским со шлейфом из ууу: цариц-ууу. По представлению их, мы, невнятные мистики, рыцари Дамы, едва ли не собирались для упрямнейшего в ношении этого шлейфа из «УУУ». Сочинивши пародию из нашего преклонения перед идеями Владимира Соловьева, З. Н. принималась меня той пародией тыкать:



- Уж вы постыдились бы!
- Постыдились бы... Взрослый ведь вы человек; ведь вы деятель, а — Прекрасная Дама...
- Ужас!
- Хлыстовщина...

Я же молчал: возражать, спорить, строить опровержения — перед З. Н., кто имеет о ней представление, — тот меня близко поймет... Так, бывало, я пробираюсь молча по коридору из своей комнаты, стараясь проскользнуть мимо двери, открытой в гостиную, где часа в половине четвертого только что вставшая З. Н. Гиппиус перед зеркалом расчесывает гребенкою пышные волны золотокрасных пушистых волос, упдающих на спину, за спину (ниже колен); и — прикрывающих плечи; я — пойман.

- Куда? — и из красных волос застреляли глаза-изумруды.
- Я к Блокам! — стараюсь сказать независимо я: не выходит.
- Опять?

Я накидываю поскорей на себя свою шубу; и — улепетываю; в спину летит мне:

— Безумие!

Шелк (то — задвижка у двери); я — скатываюсь по лестнице, мимо швейцара; свободен!

И — к Блокам!

А возвращаюсь лишь вечером.

Многочасовое сиденье у Блоков интриговало всегда любопытствующую З. Н., она спрашивала:

— Нет, не понимаю, зачем вы так долго сидите у Блоков. Ведь Блок — молчаливый такой. И — жена его. Что же вы делаете?..

Виновато моргаю:

— Молчите, сидите?

— Молчим и сидим...

И в чувствах, с несказанными чувствами: «где-то», «кто-то», «что-то» и завиваетесь в пустоту: ну, конечно!

Мои отношения к Блокам З. Н. окрестила названием: «завивание в пустоту»...

Между Казармами и массивнейшим домом Мурузи я чувствовал в раздвоеньи себя; я был вовсе разорван во время тревожного петербургского пребывания... из тяжелой, из прямой общественной атмосферы я вырывался стремительно — к Блокам, «домой»; в тишину безглагольного, комфортабельного покуривания, отдохновительнейших улыбок, вещающих «ни о чем», потому что:

— Ах, знаю!..

— Все знаю...

— Не объясняй!..

Развалиясь в мягком кресле, откинувшись головой в тень спинки и закрывая глаза, хорошо было думать и хорошо сознавать, что твое настроение здесь блюдетя: ничто не спугнет его...



Закинувши голову в мягкое кресло и созерцая большими глазами пространство над ним, размыкал свои губы; струя голубая дымок наполняла пространство причудливым облачком; и — в душе отдавалось:

- Знаю, все знаю...
- Ты с нами...
- Не нужно речей...

В фантастической, очень идущей рубашке из черной свисающей шерсти, без талии, не перетянутой поясом и открывающей крепкую лебединую шею, — мне кажется Байроном он, перерисованным со старых портретов.

Всепонимающим взглядом посмотрит, привстанет, ко мне подойдет, взяв за локоть:

- Пойдем...
- Я тебе покажу переулки...

И мы — одеваемся; мы выходим на улицу; А. А. водит меня по каким-то кривым переулкам, показывает, что он видит... А. А., стройный, высокий и розовый от зари, в нестуденческой шубе, в прекраснейшей, меховой своей шапке, чуть шурясь, рассматривает подробности быта... и я вижу: не ускользает ничто от внимательных взоров его... да — вот слово, которое характеризует его: *очень-очень внимательный взгляд*... он, да, — видел целое, а не черточки целого... В этом взоре — участие, не любопытство, а соучастие с тем, к чему он обращался; бывало, все-все он заметит... Мы, бывало, не раз останавливались в переулке, разглядывая происходящее; и А. А. говорил:

- Знаешь, здесь — как-то так...
- Очень грустно...
- Совсем захудалая жизнь...
- Мережковские этого вот не знают...

А это стояло кругом: и охватывала жизнь бедноты.

- Что вы делали с Блоком?
- Гуляли...
- Ну, что же?
- Да что ж более?
- Как — и молчали?..
- Смотрели — на переулки, заборы; на то, как *«край неба распорот...»*

— Удивительная аполитичность у вас: да, мы, вот, — обсуждаем, а вы вот — гуляете...

Помню: А. А. приведет от прогулки (замерзнем мы оба); подталкивая под локоть, усадит в спокойное, мягкое кресло, неторопливо усядется рядом в такое же кресло, неторопливо возьмет преогромную, круглую деревянную папиросницу, передо мной возникающего гада — на столе у него; и — протянет ее; раз он ею совсем



машинально взмахнул на меня, мне рассказывая о чем-то, и я тут невольно откинулся; он — рассмеялся:

— Ты — что?

— А ты что?

— Почему ты смеешься?

— А почему ты откинулся?

— Так... Мне казалось...

— А мне показалось, что тебе кажется, будто бы я собираюсь тебе предложить эти все папиросы зараз, чтобы вставить в твой рот папиросницу.

(Папиросница же была преогромных размеров.) А. А. любил «дикости». Мы замолчали. Молчание — длилось: в молчании вспоминалось странное, дикое:

— Почему эти глупые мелочи, жесты, врываясь в нить мысли, порой создают карикатурные ассоциации; знаешь что: одного очень-очень известного литератора впопыхах неуместной услуги однажды я вдруг схватил за нос — нечаянно, неожиданно вовсе: перепугался, что оскорбил ненамеренно нос литератора; всё старался себе самому показать, что — бывшее действие есть иллюзия и что схватывание за почтеннейший нос не имело здесь места.

— А вероятно, чем более ты это думал, тем более думалось: а схватил-таки, — улыбнулся А. А. И опять отдавалось мне:

— И не надо рассказывать!

— Знаю: всё знаю...

В перекидных разговорах, в молчании этом, сменяющем их, в безответственных ходах мыслей, в медитативности нашего сиденья, — отдохновение приходило мне.

Было что-то в А. А. столь пленительное и уютное, что часами хотелось сидеть с ним: в лукавой улыбке, в усталых глазах (я впервые заметил усталость в глазах у него — в Петербурге), в немом разговоре, перерываемом затяжкой папиросы, — мне чудилось приглашение к отдыху.

— Что? Бедный друг — измотался, измучился...

— Верно, украдкой удрал.

— Не объясняй мне: всё — знаю...

— Вернешься и — будет тебе нагоняй... опять «завиваешься» в пустоте!

— Нынче вечером верно в присутствии «Тать», «Нать»... поставят вопрос «они»: что делать с «Борей»?

И я — улыбаясь в ответ на улыбку, приоткрывавшую мне, что он — «знает, все знает»: до разговора о нем; так незлобивые смешки меж затяжек сопровождали медлительно тему нашей беседы «о Мережковских»: и я должен отметить: в ней было столь много любви-понимания к Мережковскому, как к хорошему человеку, которого он понимал и любил, «несмотря ни на что», — несмотря



на идеи, невольно я был откровеннее с ним, чем хотелось бы быть, часто давая З. Н. повод к ставимым мне обвинениям:

– Да, да, да!

– Вы, наверное, — *предаете* нас Блоку.

Но я не пугался; я — знал: Мережковские так любили все громкое... Мережковские не хотели понять, что с А. А. нас связали уже: переписка, московские дни и ярчайшие переживания Шахматова; самый «*стиль*» отношения моего к А. А. Блоку слагался в таком направлении, что и не было перегородок меж нами; невольно, поэтому, я делился с ним искренним впечатлением своим о Д. С. и З. Н., начинавших влиять на конкретные частности моего идейного бытия; он молча выслушивал, обнимая внимательным, всепонимающим взглядом, тем более что «*людей*» в Мережковских он и любил, и ценил...

Мое путешествие из дома Мурузи к Казармам происходило в 2—3 часа (каждый день); просиживал часто у Блоков часов до 6, до 7; очень часто обедал у них...

Иванов. 13 января 1905. Петербург

Был с братом Сашей у Ал. Блока вместо 11-го. Познакомились с Андреем Белым (Борис Николаевич). Молодой человек с шеей и глазами лани, отчасти раскосость козы, но черные ресницы красиво окаймляют глаза по-лани. Немного рисуется всеосприятлием в себя до истовости сердца или истерики, но очень, очень мил. Читает стихи нараспев. Немного неловко от напева, но привыкаешь...

14 января 1905. Петербург

Доставали билеты на сегодня на «Зигфрида». Вечером всей семьей были в ложе. Очень удачно! Замечательно пели все, особенно Ершов. Замечательно хорошо все.

В партере был Ал. Блок с Любовью Дмитриевной, с ними и Андрей Белый. Устремленный профиль, разрезающий воздух так, что волосы сдвигались назад, скользил он быстрым летом в проходах кресел к месту своему и от места в антрактах.

Александр Александрович и Любовь Дмитриевна выходили к нам в ложу, делились впечатлениями.

И в театре преувеличенные уши не унялись, кто-то уронил бильярд, и все подскочили, думали, что бомба...

Бекетова. 20 января 1905. Петербург

У Али — Андрей Белый — милый, умный, талантливый, добрый, но Боже, до чего утомителен и многословен. Люба ожидает объяснения теории Ларант, то есть секты блоковцев, и уже настроена необычайно благожелательно. А я поначалу плохо в это верю. Если это не пойдет далее «гносеологии» и пр., то мы не много узнаем. Он так мил с Алей, так ободряет ее своим отношением, что ему можно



бы за это простить и блоковцев, но считать его непогрешимым я не могу. Его суждения часто неверны и даже безвкусны...

Белый. Запомнилась мне их квартира, естественно, разделенная на половину А. А. и Л. Д. и на прочие комнаты; половина А. А. состояла из кабинета и спальни.

Бывало звонюсь: открывает денщик; коль А. А. и Л. Д. дома нет, — я вхожу в двери прямо, в гостиную; знаю, что встречу я здесь Александру Андреевну, с которой все более я дружу; тема наших общений самостоятельная... у Александры Андреевны тот же пылкий, скептический взгляд, наблюдающий подоснову душевных движений; она как бы мне говорит своим видом:

— Ну, да, — хорошо: утверждаете свет... Покажите мне вашу *тайную лабораторию* света.

За «скепсисом» у Александры Андреевны — огромная вера, надежда на... Главное; недоверие, настороженность — всегда; она первая явственно угадала, что стиль утверждений моих предполагает «катастрофу», «взрыв»; и не раз говорила:

— Вы, в сущности, не оставляете камня на камне: вы все разрушаете; ваше «да» — но мне кажется, будто нет его вовсе...

Тут я отвечал ей, что «дух» — не душа, что он — дышит, где хочет; и его не покажешь руками, не схватишь душою; и разговоры о том, погибать ли душевности в Духе, — всегда повторялись меж нами; Александра Андреевна меня поняла лучше прочих в непримиримейшем устремленьи к бунтарству, к протесту; казалось. Ал. Андр. влечется ко мне, но — боится меня; она явно тревожилась за судьбу «коллектива», учуяв его распаденье в будущем; и боялась *стремительности* моих жестов, боялась *фанатичности* С. М. Соловьева, которого я перед ней защищал.

Очень много рассказывала она про А. А., про его невеселое детство; рассказывала про отца А. А.; он казался ей темным (он был в это время профессором Варшавского университета); рассказывала о приездах *отца* в Петербург, о свиданьях с ним Блока, о том, как всегда тяжелили А. А. эти встречи с отцом, увлекавшим А. А. за собой по ночным ресторанам (отец А. А. силился поколебать веру в мистику своего просветленного сына); и явствовало: очень много раздвоенных чувств отложилось в душе у А. А. от общений с отцом...

При посещении Блоков я чаще всего заставал их. А. А. в эти годы был, собственно говоря, домосед; он меня проводил из передней налево в свой маленький кабинет — в очень строгую, длинную, однооконную комнату; из той комнаты белая дверь вводила в просторную спальню, откуда показывалась Л. Д. в своем розово-зеленоватом причудливом платье, напоминающем (как и все, что носила дома она) театральное одеяние. Здесь посиживали часто мы часами втроем; иногда разговором была недовольна Л. Д.: быстро вставала, без слов уходила к себе, нас наказывая отсутствием.



Кабинетик А. А. занимали: объемистый письменный стол, полированный, красного дерева; и такого же дерева шкаф, очень мягкий диван (от стола вдоль стены), очень-очень удобное кресло, в котором А. А. неизменно посиживал, под руками имея свою деревянную папиросницу; ею раз напугал он меня; у окна цепенели два кресла и столик; здесь сиживала Л. Д., иль, верней, собиралась в комочек, залезши с ногами на кресло, склонив свою голову в руки, обхватывающие деревянную спинку (любимая поза ее). Я сидел на диване, облокотясь о стол. Так встают предо мною сидения вместе.

Запомнилась статная молодая фигура А. А., уходящая в тени кресла с руками, небрежно положенными на ручки, с откиннуто курчавою головою; запомнился взор его, будто растерянню-любопытный; улыбочиво-грустно сидел он, внимательно вглядываясь... во что? Он был в той же черной, уютной рубашке, свисающей складками, не перетянутой поясом, открывающей крепкую, лебединую шею, которую не закрывал широчайший воротничок а la Байрон; казался опять и опять новым Байроном, перерисованным со старых портретов. Его закрывали глубокие тени; а из теней выступали глаза да лицо, побледневшее; не было в нем озаренности; поубавился с прошлого года загар розоватый; круги под глазами казались глубже; едва уловимые складочки около глаз проступили.

Ведь вот: разговора-то не было: было журчание струй: разговаривал я; и — пускал ручей слов, разрезавший ландшафты душевного испарения, образовавшего облака, где взвивались причудливо птицы фантазии; мне З. Н. говаривала:

— О чем же вы там все молчите? Я знаю уж... «где-то, да что-то, да кто-то»... Ах, — это старо: просто это радение, декадентщина.

Искренне я возмущался в то время обычною характеристикой Блока тогдашними литераторами; из нее подымался какой-то «балдеющий» мистик, оторванный от живой социальности и погруженный в туман беспросветной невнятицы; подлинно: Блок бежал «болтовни» и кружковской общественности, которая должна была скоро лопнуть в годах русской жизни; но он, поэт *страшной години России*, кипел, волновался в те дни; это видел я часто; а его обвиняли в апатии; и да: он из этого кабинетика мог сбежать бы... на баррикаду, а не в редакцию «Вопросов Жизни»...

А. А. очень редко в то время показывался в говорильнях, а если показывался, то — тускнел; перепутанный, побледневший, с недоуменными взорами; полураскрывши свой рот, он сидел и молчал...

Иванов. 24 января 1905. Петербург

Был у Ал. Блока. Андрей Белый — там. Я пришел, когда только из-за стола выходили. Хотели через ½ часа идти к Мережковским и Сологубу. Потом решили подольше остаться. Я принес и прочел



свое об Ал. Блоке. Понравилось и Ал. Блоку и Андрею Белому. Много говорили о истеричности (трещина пустоты в ней), о Софии, о безобразии и образе. И об утешителе — Деве.

Александр Александрович поцеловал меня, пожал руку и сказал «я очень люблю вас». Потом они ушли к Сологубу. Я остался с Александрой Андреевной, Францом Феликсовичем и Любовью Дмитриевной. Пили чай, говорили о театре, смеялись мило, ушел в 10 ½ ч.

Белый. В то время имел он домашний, семейственный вид; он просиживал дома с Л. Д.; иногда отправлялся — *«то делу»*, в редакцию; никогда не засиживался; уходил на прогулки — по островам; и простаивал часто у взморья, встречая закаты; он возвращался — повеселевший и бодрый, играя вскипающей строчкой стихов; от статей того времени не осталось следа; не расскажешь теперь, что такое вытрескивали ремингтоны редакции; а певучие строчки Блока, настоянные на приморском закате, остались России; молчанье его огласилось навеки; а *«горлодер»* скольких важных вопросов повергся в глубокое, гробовое молчание...

Общественность Блока в то время свершалась не в заседаниях, а — в прогулках по Петербургской стороне; иногда он захватывал на прогулки меня; мы блуждали по грязнейшим переулкам, наполненным к вечеру людом, бредущим от фабрик домой (где-то близко уже от Казарм начинался рабочий район); здесь мелькали измученные проститутки-работницы; здесь из грязных лачуг двухэтажных домов раздавались пьяные крики; здесь в ночных кабаках посмотрелся А. А. на суровую правду тогдашней общественной жизни; о ней же он, мистик-поэт, судил резче, правдивей, реальней ходульных общественников, брезгующих такими местами, предпочитающих *«трения»* с сытыми поиками...

В импровизациях веселели мы; импровизировал я; и А. А. меня поправлял; иногда — присоединялась и Александра Андреевна, которая находила естественным, что я днями просиживаю у Блоков; однажды, взяв за руку, и помаргивая карими своими глазами, она мне сказала:

- Да как же вам быть-то без нас...
- Ведь естественно...
- Вот вы и с нами...

Мне помнится, что отсутствие С. М. Соловьева, досель участвовавшего в наших сидениях, не нарушало гармонии целого; наоборот, без С. М. стало тише, спокойнее, непритязательней вместе; и если мое пребывание в Шахматове извлекло звуки розово-золотых ясных зорь, то сидение в петербургской квартире у Блоков оставило образ: высокого зимнего голубоватого неба в барашках....

Я часто в те дни философствовал; и Л. Д. мне внимала; она в это время была ведь курсисткою-филологичкой и посещала вни-



мательно лекции по философии; так, однажды она мне поставила строгий вопрос: каковы должны были бы быть гносеологические основы «*Laran*», ежели бы этот философ культуры действительно появился; и из вопроса, естественно, вырос ряд лекций моих, импровизированных на квартире у Блоков; А. А. неизменно присутствовал тут и прислушивался ко мне.

Так жил я в те дни в Петербурге — двойною и сложною жизнью: у Блоков, у Мережковских...

Никогда не забуду последний мой день в Петербурге: мы условились, что встретимся в Шахматове; и А. А., и Л. Д. провожали меня на вокзал; когда тронулся поезд, увидел в окно их веселые, ласково мне закивавшие лица.

Меж тем: в этот час был убит генерал-губернатор Москвы Великий Князь Сергей Александрович. Первое известие, узнанное мной в Москве — на вокзале, газетное описание взрыва в Кремле. И опять, как тогда при известии об убийстве фон-Плеве в часы возвращения из Шахматова (в 1904 году), мое сердце вдруг вздрогнуло; и почему-то я мысли свои обратил к А. А. Блоку...

Бекетова. 8 февраля 1905. Петербург

Боря Бугаев уехал. Люба парит на крыльях. Ее совсем признали царственно-святой, несмотря на злобу. Алю он любит и понимает, но я не верю в его слова. Не верю в такое величие Любы, в несомненность его религии... Как с ней трудно! А ведь на нее молятся. Все делает ее женское обаяние.



Глава IX. «Ужимочка» Достоевского

А.А. Кублицкая – Пиоттух – Белому.

Середина марта 1905. Петербург

Милый Боря, я Вас ужасно люблю, часто думаю о Вас со слезами и очень хочу что-нибудь сделать. Но нечего... Впрочем, вот что; все больше люблю Любу, все больше ей удивляюсь, а она с Вашего пребывания у нас тоже стала и любить меня больше и вообще милостивее стала. Согласитесь, что это с Вашей стороны уже прямо поступок и притом очень важный и очень великолепный. Мы втроем много о Вас говорим и постоянно очень Вас любим. Люба всегда называет Вас Борей, т. е. Боря. По Вашим письмам Вы все радостны, но мне кажется, что есть уже опять и грусть...

26 марта 1905

Я ужасно люблю Вас, просто трудно поверить, какая важная Вы спица в моей колеснице, т. е. совсем не спица, потому что я смотрю на Вас снизу вверх, но Вы понимаете...

Как Вы можете думать, что Люба на Вас сердита! Она так любит Вас всегда и всегда довольна Вами. Думаю, скоро она сама Вам напишет. Она так сказала вчера, когда прочла Ваше письмо ко мне...

Белый. Июнь стал душить нас; мы выехали в грозовой, угрожаящий тучами день, отправлялись в Шахматово; нагоняла тяжелая туча; гнала нас раскатами грома; меж Крюковым и Подсолнечной отгремела гроза; прошел ливень: С. М. Соловьев возбужденно посмеивался:

— Да — вот, — да: «старый бог» разгремелся заветом Синая!

Приехали к Блокам, покрытые грязью (дороги размыло); но небо очистилось...

Не знаю, — в чем суть: по приезде мы сразу же ощутили, что что-то случилось; мы встретились недоуменно; недоговоренность какая-то уж стояла; со странной натяжкой мы ощущали себя по отношению друг к другу; А. А. был другой; и Л. Д. изменилась. Казалось мне: и А. А. и Л. Д. нас не встретили с прежним радушием; было ли то только действие дней — грозových... но про себя понимали мы: атмосферическое давление — рамка иного, душевного; всех нас давило: давило присутствие вместе.

Я постараюсь, как ни трудно мне это, характеризовать настроение каждого; характеристика — субъективна, конечно.

Начну я с себя: по приезде с С. М. к А. А. Блоку заметил я вскоре же нечто, меня огорчившее; именно: я заметил, с недоумением, — мне очень трудно «втроем», «четвером»; прежде — трудностей не было; прежде С. М. был цементом, связующим и А. А., и меня; так было в Москве; и — так было в Шахматове; теперь — изменилось

все это; я стал замечать: *«тройки»*, которая возникала естественно, — нет; то был порознь с А. А., то был порознь с С. М.; вместе было нам неудобно, натянуто — не выходили сиденья вместе; весь стиль моего отношения к Блокам (к А. А. и к Л. Д., к Александре Андреевне) переменялся разительно; был как бы принят в семью (младшим братом), где я отдыхал от вопросов, просиживая в Казармах; теологические вопросы меж нами без всякого уговора совсем отступили куда-то; произошло это, думаю я, от того, что А. А., как и я, отошел от скорейшего разрешения *«соловьевских»* вопросов... и отдавались только душевности, без *«духовных вопросов»*; я не был встающим на цыпочки, каким видел меня некогда А. А., вопрошая:

— Кто он? И не пьет, и не ест.

Я стал *«есть»* и стал *«пить»*: стал вполне человеком... Было простое, житейское; и стихи мои того времени... бродягу полей полюбил во мне Блок; а житейски во мне любил *«Борю»*; мне кажется Александра Андреевна права была, мне сказав в Петербурге:

— Как вам быть без нас?

Этим, верно, хотела сказать она, что я врос в их семью; не могла бы сказать то же самое о С. М. Соловьеве; в семью он не врос; не нуждался — быть *«принятым»*; в Блоках он видел участников некой творимой легенды, — навязывая бессознательно им отвлеченные думы свои; это все тяготило А. А...

А. А. был в *«безвозвратности»*; С. М. каждым жестом своим возвращал, поворачивал на былое, не замечая, что все изменилось... я видел протесты А. А. против тем разговоров С. М.; и я видел: С. М. — этих жестов не хочет понять.

Меж тем: с С. М. связывался я тесней и тесней (в плане жизни); сроднились мы с ним... перед С. М. виноватым себя я почувствовал; я не сумел посвятить его в стиль отношений моих с А. А. в бытность мою в Петербурге; увидевши жесты протеста А. А. против стиля С. М., защищал я С. М... Исчезал, исчезал наш жаргон (*«блоко-беловский-соловьевский»*); и появились жаргоны: то — *«беловско-соловьевский»*; то — *«блоко-беловский»*; было мучительно: было — фальшиво: сидеть меж двух стульев; колесница общения в *«главном»* — завязла, общенье втроем распадалось; образовались — *«тарь»*. А. А. отводил меня в сторону, и мы начинали беседу вдвоем, и С. М. отводил меня в сторону: мы начинали беседу вдвоем.

Так я чувствовал встречу.

С. М. Соловьев переживал, вероятно, ту встречу иначе; за год изменился и он; в нем филолог окреп; и вырастало в сознании его все значенье поэзии Брюсова и стремление к чеканке переживаний; поэзия Блока казалась ему *«романтической невнятицей»*; А. А. ставил он ниже, чем Брюсова; и себя пережил он поэтом; А. А. отрицал в нем поэта:

— Поэзия не для Сережи...

И это же повторяла за ним Александра Андреевна.



Вместо прежних интимных бесед поднимались литературные разговоры; А. А. нам читал цикл стихов из *«Нечаянной Радости»*; а в С. М. поднимался протест; и А. А., и особенно Александру Андреевну протест обижал; обижало отчетливое отрицанье «невнятица»; противопоставлялись чеканные образы Брюсова; С. М. мне стал жаловаться на авгурский, несколько, тон поэтических замечаний А. А., и — поднимал свой протест против темного смысла иных замечаний:

— Чревовещание, невнятица.

И С. М. принимался отчетливо выгораживать Брюсова, не принимавшегося в этом доме за мэтра; его огорчало и то, что стихи, им написанные, отвергаются *«Блоками»* за филологию и за *«ученость»*...

Я боролся с напраслиной; эти протесты переходили в нападки на Александру Андреевну, порой очень резкие, но она мне прощала; и все же я чувствовал, что трехлетний союз наш трещит по всем швам.

И С. М. это чувствовал: чувствовал, что его побуждения призывать А. А. к долгу, к ответственности — воспринимаются, как *«химера»*; от этого мучился он; помню: днями просиживал он у себя наверху, согнув спину над греческим *«текстом»*: упорной научной работой хотел заглушить в себе боль; и сидение это опять вызывало *«подглядывания»* Александры Андреевны; *«научность»* вменялась в вину:

— Это все проявления — черствости, методичности... С. М. же с своей стороны говорил:

— Посмотри — Саша просто лентяй...

— Ничего он не делает...

— Я не могу, право, больше участвовать в атмосфере невнятицы, чревовещательных разговоров...

— У *«Блоков»* — безделье...

Я видел: он прав и не прав; видел тоже, что прав и не прав А. А. Видел, а — высказать мысли моей им обоим не мог.

Л. Д., *строгая наша «сестра»*, или — «око» меж нами — переживала какую-то думу; заметил я в ней того времени обостренное психологическое любопытство. Какая-то в ней просыпалась пытливость: она изучала нас всех: в наших сходствах и в наших различиях; даже: она провоцировала, чтобы в каждом из нас проявлялось раздельное между нами.

А. А. — вошел в полосу мрака; и намечалась какая-то скрытая рознь между ним и Л. Д. Уже не было молодой прежней «парь»; присоединялись семейные трудности; у Л. Д. все отчетливей нарастало какое-то отчуждение от Александры Андреевны; семейные трения углубляли в А. А. разуверенье в себе. В это время не мог он писать; Александра Андреевна мне раз на прогулке сказала:

— А знаете, почему Саша — мрачный; он ходит один по лесам; он сидит там часами на кочках... Порой ему кажется, что разучился писать он стихи; это его мучает...



Что в А. А. затаилось давно, что он высказал раз на лугу, отчего проступило мне в небе лазурном вдруг *черное* небо, — свершилось. Собрания наши за чайным столом в это лето происходили под черной небесною бездной; цвет душ — почернел; не пытался А. А. заговаривать зубы. С. М. Соловьев относил *черный цвет* атмосферы душевной к падению Блока, а я — раздваивался.

Да, иронией для А. А. прозвучали беседы на темы «*Laran*», дватри раза С. М. покусился на эти беседы; произошло нечто странное: вздрогнув, Л. Д. побледнела, ушла: так обиделась на беседы, звучащие явной насмешкой; и попросили С. М. не касаться «*Laran*»; он был изгнан; и для С. М. это значило: изгнаны темы, связавшие нас; и С. М. — разобиделся; с этого времени вместо дружеских тихих совместных сидений окреп тон глухой, напряженной борьбы: и между нами в молчании свершался труднейший диалог...

Только издали, из молчания фехтовались друг с другом; «*идеи*», которыми жили, казались Брунгильдой, похищенной темным Драконом; хотелось Дракона убить.

Очень помнится мне, что в то именно время Л. Д. показала рукой картину, повешенную на стене, изображавшую привязанную Брунгильду; у ног же ее извивался Дракон.

И сказала она:

— Освободите Брунгильду!

Я понял, что нас призывает она на последний, решительный бой:

— Что такое Дракон?

Он есть демон уныния, косности, разочарованной лени; он — дух буржуазности, жизнь без подвига; и — выходило: А. А., унывающий и угрюмо сидящий часами на кочках, — причина победы Дракона; подробнейшим образом то разъяснял мне С. М.; с Александрой Андреевной, с А. А., как с какими-то «*одержимыми*» вел себя он; и насильно отчитывал их.

А они упирались; в задоре С. М. все усматривая химеру...

И — пугались.

И возникали какие-то нападения друг на друга, угрозы друг другу и заговоры, и засады — в подразумеваемом, в темно глухом, в молчаливом; слова же таили мы, разговаривали литературными темами... литературными темами — фехтовались; С. М. — нападал на невнятицу. Цель А. А. заключалась в другом: отстраниться, отрезаться от влияния С. М., заключивши со мною союз (ибо я не насильствовал поэтическую свободу А. А.); я на «*мир сепаратный*» с А. А. и с Л. Д. не пошел; мне казалось предательством отказаться от друга в том именно, что составляет основу его устремлений.

Мучительны были обеды, сиденья всех вместе:

Раз кто-то воскликнул с надрывом:

— Давайте же мы откровенно играть в нападения, — в разбойников.



С. М. запел:

*Не бродил с кистенем
Я в дремучем лесу.*

Водворялись: «*надрывности*» каторжных песен, усмешечка Го-голя и «*ужимочка*» Достоевского.

Раз за обедом С. М. неуместно воскликнул:

— А знаете, Люба, — в вас что-то от Грушеньки Достоевского.

Л. Д. с вызовом усмехнулась, а Александра Андреевна — нахмурилась...

З. Гиппиус – Белому. 13 июня 1905. Малое Кобрино

... Не очень там увлекайтесь блочьей женой, не упускайте во времени главного, — важен, очень важен ваш приезд сюда теперь! А про Софию-премудрость я вам расскажу настоящее, реальное, прекрасное...

Белый. Раз — я не выдержал: вдруг за столом при всех вместе сорвал с себя крест, бросив в траву; А. А. усмехнулся недоброй улыбкой.

А. А. в это время уже был — не розовый; да, желтоватые пятна лица чередовались с тенями; он выглядел встрепанным; с недоуменным испугом, растерянно ширя глаза, с полуткрытым и жалобным ртом, искривленным улыбкой, сидел между нами, как будто он был посторонний, чужой, не «*хозяин*» (держал себя гостем); «*хозяйствовала*» Александра Андреевна.

Былые сидения после чая закончились; после чая С. М. уходил заниматься; Л. Д. — уходила; А. А. — уходил, без нее; я — бродил в напряженной тревоге — бесцельно по малым дорожкам тенистого сада, порой опускаясь в овраг; мне запомнились лишь отдельные разговоры с С. М., с Александрой Андреевной, с А. А. (а Л. Д. избегала бесед). С Александрой Андреевной говорили мы все о «*Сереже*» и «*Саши*»; я чувствовал: цель всех расспросов ее — доказать, что «*Сережа*» не прав в обвинении «*Саши*», ...что «*Саша*» — все тот же. С. М. защищал, как умел я. А. А. говорил про «*Сашу*»: разочарован он в зорях; разочарован он в нас; и действительно: А. А. доказывал; всем будет *трудно друг с другом*; по-разному подходили к зоре; непонимание еще прежде таилось меж нами; теперь оно вскрылось: быть худу...

А. А. был мне знаменем: он был магнитом, по линии притяжения к магниту мне строилось многое в идеологической жизни; была его жизнь явным символом мне; созерцал эту жизнь — эпохально жизнью; неспроста же: Блок, безыдейный поэт, пребывал вечно в центре слагавшейся умственной жизни: притягивал идеологов он... так факт его жизни воспринимался, как знамя, столь многи-ми. Фразою, жестом динамизировал он мой внутренний мир; и по-



рою могло показаться: обменивались незначашей фразой мы; но та фраза звучала, как шифр, к безглагольному; и за нею стояли годы пережитого вместе; под фразой «Блока» угадывал я иногда — ненаписанный том. Я читал его в сердце своем: и желая понять его жест, как бы мысленно закрывал я рукою глаза, чтобы внешнее впечатленье от облика «Блока» не заслонило бы молнии сердечного ведения, высекаемого молнией «случайного» слова; говорили всегда не о том, что — в словах, а о том, что — под словом; прочитывая шифры друг друга, мы достигали невероятного пониманья; когда не умели прочесть, между нами вставала ужасная путаница, угрожающая катастрофой.

Непониманье друг друга в таящемся за словами — несчастное Шахматово 1905-го года; оно было явственным расхождением трех жизней, пришедших к решению — *«взяться за руки»*, образовать жизнь совместную, новую: отойти от всех, все начать из себя; такой вывод — сам строился; и — оказалось: мы — разные; мы не призваны к *«новому»*; для А. А. стало ясно: — не призваны мы ни к чему; *«коллектив»* — *«Балаганчик»*; участник несчастного коллектива, — Пьеро: видно, мистики — договорились до *«чепухи»* (*«коса смерти»*, срезающая культуру — *«коса только девушки»*), — *«истекает он клюквенным соком»*. Я *«клюквенный сок»* не прощал ему годы: *«скептическую иронию»* над собою самим. И какие же были мы злые!

Я помню всех нас за столом: вот С. М. — загоревший, весь черный какой-то, подняв свои брови и стиснув губы за темными и густыми усами старается ухнуть крепчайшую дикость, чтобы испугать не на шутку свирепеющую Александру Андреевну, с которой он борется; в том, как он держит салфетку, пытаясь расправить сутулые плечи, — сосредоточенность, вызов; и Александра Андреевна бледнеет, бросает салфетку и с нервной улыбкой откидывает парадокс от себя, потрясая язвительно стриженной головою своею; и карие глазки ее так и бегают: по салфеткам, по краю стола и по грудям сидящих; в глаза не глядит, точно кошка, готовая защитить жизнь детеныша:

— Я полагаю, Сережа, — тишайше, едва ли не шепотом отвечает она, — что все это — не то и не так; это — *«брюсовщина»*.

— Отчего же, — грохочет Сережа, — я полагаю, что Брюсов наш первый поэт; ведь и Пушкин не испугался ни бездны, ни ужасов...

— Вот уже, выдумал — Пушкин; у Пушкина вовсе не так...

Любовь Дмитриевна, в широчайшем капоте, в платке на широких плечах, наклоненная неприязненно в суп, вдруг откидывается:

— Все стали *«Бальмонтами»*: все — испанцы; хватаются зверски за шпаги.

А я отвечаю:

— Давайте же, — будем разбойниками!

Окаменело, насмешливо в нос произносит А. А.:

— Что ж, — давайте!



В *«давайте»* же слышится вызов, какое-то *«ха»*, — не без дерзости (а, каково?). Будто видом своим говорит он:

— Молчу я, молчу, да и...

Что *«да и»* — скрыто; и окаменелые, зеленовато-желтые щеки (не розовые), прорезанная морщина на лбу, не предвещающая улыбки; а между тем — усмешается он, будто дразнится:

— Вот ведь вам всем: захочу — все напорчу, разрушу, нарушу: не трогайте лучше меня.

Я — раздвоенный, даже расстроенный (меж А. А., Л. Д. и С. М.), вынужденно защищаю упорные выпады С. М. Соловьева; но упираюсь в сурового, непреклонного Блока, с которым тайно и совершенно соприкасаюсь еще. Не понимает никто ничего. И *«подкивывает»* лишь невнятице с края стола заморгавшая Марья Андреевна... эти сиденья за мертвым столом в электричестве блещущем вечером, напоминали мне сцены из Метерлинка.

Свершалась драма души: погибала — огромная *«синяя птица»*; Прекрасная Дама — перерождалась в Коломбину, а рыцари — в *«мистиков»*; розоватая атмосфера оказывалась: тончайшей бумагой, которую кто-то проткнул; за бумагой открывалось ничто.

Это все показал *«Балаганчик»*, написанный через полгода. Да, вот — нашел слово я: что меня возмущало? То именно, что горенья недавнего Блока, которые образовали союз с ним, теперь отражались в нем *«Балаганчиком»*. *«Балаганчика»* — не было, правда, еще, но *«Балаганчик»* мы чуяли (он — писался в душе):

— Не *«Балаганчик»* — нет, нет: если есть *«Балаганчик»*, то — *«Балаганчик»* в тебе лишь!

Особенно помнится жуткий, грозой насыщенный вечер, в котором заложена мина, взорвавшая навсегда дружбу *«Блоков»* с С. М. В этот вечер я должен был *«Блокам»* читать мою рукопись *«Дитя-солнце»* (поэму). С. М., уже слышавший эту поэму, сидел наверху, у себя; мы его увидели: без шапки, без верхней одежды сосредоточенно прошагал на террасу: послышалось гремящее сапог; он нырнул в темный сад.

Я читал очень долго; мы долго беседовали; уже черная ночь прилипала; уже подали чай...

— Где Сережа?

— Наверное, сочиняет стихи. — (Он стихи сочиняет на прогулках).

Мы сели за стол; чай был отпит: одиннадцать! Где же *«Сережа»*? Мы вышли втроем на террасу; и звали в пространство стволов:

— А-а-у!

— А!

— Сереее-жа!

Молчание; стало всем жутко:

— Где он?

Мы рассыпались по саду; и кричали:

— Сережа!



И мы вышли в поле: кричали; луна подымалась (ущербная); желтые свету ложкились:

— Сережа!

Молчание.

Кто-то сказал:

— А в окрестных лесах-то ведь много болотных оконеч: туда попадешь,— да и канешь...

— Что ж, были несчастные случаи?

— Были.

.....

— Серее-жааа!

.....

Часы где-то пробили: час!

Помню, грустною кучкою жались друг к другу: Л. Д. перекуталась в темный платок; я кричал, что есть мочи. А. А. в рыжеватеньком, стареньком пальтеце (из него он давно уже вырос), с короткими рукавами, руками сжимаемая зачем-то огромнейший кол (с ним пошел он в поля), расклокоченный, с перепуганными глазами, без шапки, молчал перед нами.

Часы там ударили: половина второго; ударили: два.

Уже вернулись объездчики, посланные кричать по окрестностям (если попал он в болото, которое медленно втягивает, то он мог бы откликнуться); да, естественное объяснение: «погиб!»

Поднялись мы наверх; и — засели понуренно в комнате у С. М.; занемался рассвет; мне запомнилса зеленолицый какой-то А. А. в своем рыженьком пальтеце, почему-то сидящий у стенки: на корточках.

Вдруг на столе у С. М. мы увидели крест; одна страшная мысль, точно молния, промелькнула.

— Нет!

— Думаешь — нет? — переспросил тут А. А.

— Никогда!

— Ты уверен?

— Уверен!

В росеющем утре сидели у дома на лавочке; и — продолжали молчать; да, сомнения не было: вероятно, С. М. невзначай оказался в «болотном окне»; перебирали воспоминания о дорогом, нас покинувшем; мы любили его в этот миг *бесконечной любовью*; и слезы — навертывались. Делать нечего: надо еще подождать: час, другой; и потом разослать по окрестностям; надо уведомить в волости; надо сходить на окрестную ярмарку; и — расспросить пришлый люд:

— Не видали ль, — студента, без шапки, сутулого, в черной ту-журке, в больших сапогах...

Но — какое там! Нет, вероятно, Сережа погиб; это думали и Александра Андреевна, и я.

Утром в разные стороны посланы были гонцы; А. А. подали лошадей; он бойко вскочил; и — помчался, я помню, куда-то галопом;



а я побежал на окрестную ярмарку; было свежайшее синее утро; ни — облачка: молнией озарила надежда меня: я — найду его след.

Я толкался на ярмарке; останавливал — баб, мужиков, писарей и торговцев:

— Послушайте!

— Не видали ль — студента, без шапки, сутулого, в черной тужурке, в больших сапогах?

— Нет, кажись, не встречался... Прошел все ряды: ничего не узнал. Вдруг меня окликают:

— Послушайте, — женщина там вот из Боблова: барина видела... Вытолкалась из толпы низкорослая, старая женщина с видом прислуги:

— Вы это про барина, — про студента, который из Шахматова — без фуражки, в тужурке?..

— Да, да...

— А они ночевали у наших господ...

— Вы откуда?

— Из Боблова, от Менделеевых: как же, — барин пришел ночью к нам; чуть было не искушали собаки его...

— Он — у вас?

— Как же, как же...

Не слышал я ног под собой. Прибежал, — и кричу еще издали:

— Сережа — нашелся!..

И — рассказал всю историю; все расцвели; лишь нахмурилась Александра Андреевна:

— Какой эгоист: нас заставил промучиться! Нет — не прощу его... Мог бы прислать верхового... А. А. усмехнулся — загадочно, чуть-чуть насмешливо (мне не понравилась эта усмешка); Л. Д. улынулась — лукаво. А к вечеру лес огласился веселыми бубенцами; и подъехала тройка; из тройки к нам выскочил бойкий, веселый Сережа, — без шапки.

Но — тут произошло невероятное что-то. Я Александру Андреевну никогда не видал в такой злости; произошла невероятная сцена; стояли мы, помнится, вчетвером на лугу: Александра Андреевна, задыхаясь, едва ли не шепотом спрашивала С. М.:

— Что ж, — по-твоему *«так»* поступил ты? С. М., вдруг нахмурилась, ответил:

— Да, я поступил так, как должен был.

— А ты подумал, что я, с моим сердцем, могла умереть?

— Долг — первое...

— Какой же тут долг: убежать, никому ничего не сказав...

— Это — личный мой долг...

— Так для личного долга ты можешь переступить через жизнь человека?

— Могу!



Александра Андреевна перекривилась от гнева: и перед нею и ставшим кремневым С. М. произошел разговор очень четкий; я — слов не припомню; но помню, что этого разговора С. М. не простил Александре Андреевне, как не простила ему и она твердого заявления, что *для личного долга он может переступить через жизнь человека.*

С. М. впоследствии объяснял, что спустился с террасы он в сад машинально, прошел тихо в лес; и увидел — зарю; и *звезду над зарею*; вдруг понял он, что для спасения «*зорь*», нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша... С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное, в будущем рухнет; и он — зашагал, не вернулся за шапкой: все — шел, шел и шел, пока ночь не застигла в лесу; так он вышел из леса, прошел через поле; и канул — в леса; возвратиться же вспять он не мог; тут он вспомнил, что выбрался к Боблову. В Боблове — встретил приют; и успокоенный в том, что спас будущность нашу, не думал о нас; акт любви его к нам в этом диком, безумном почти, уходе за блистающей, нашей *звездой*, в Александре Андреевне естественно преломился химерою; поняла в этом жесте одно лишь она:

— Ах, какой эгоист!..

Я был искренне возмущен: Александра Андреевна, А. А. — как не поняли героической лирики С. М. Соловьева? Как могли опрокинуть ее, исказить? Мне казалось, что лучший мой друг оклеветан; почувствовал я, что мы все — сумасшедшие здесь; неразбериха меж нами и пребыванье дальнейшее в Шахматове просто акт безобразия.

Я признался С. М.:

— Больше нет, не могу: я — устал; уезжаю...

С. М. мне ответил:

— Тебя понимаю прекрасно!

— А ты? Уезжай-ка со мною...

С. М. посмотрел на меня исподлобья; и — сухо отрезал:

— Ну нет, я — останусь...

Я понял, что в том «*ну останусь*» С. М. затаил неугасимую оскорбленность, которую быстрым отъездом он не хотел Блокам выдать. Я вышел в темнеющий сад; и увидел А. А., я сказал ему:

— Саша, я не могу, я — поеду...

— Нельзя ли с утра лошадей мне?

А. А. посмотрел на меня очень веско и грустно:

— Ну что ж?

— Поезжай...

— Понимаю тебя...

В этом тихом и знающем «*понимаю тебя*» было сказано:



«Прошлое — без возврата. Не знаю, как в будущем встретимся; знаю, не встретимся больше по-прежнему».

Я — понимал: меж С. М. и А. А. образовалась роковая преграда, которую воспринимал я *«душевною драмой»*; я понял еще, что С. М. остается, чтоб точки над «i» были твердо поставлены:

— Знай, что отныне — враги мы!

Впоследствии мне С. М. рассказывал, что, когда я уехал, два дня еще оставался он с Блоками; ничего не сказали друг другу они; с остервенением (неестественным) просражались за картами, и С. М. распевал все:

— Три карты, три карты, три карты...

Вечером я поднялся к себе, зажег свечку; и — вижу: летучая мышь бьется в стены; гоню — все не выгоню; долго боролся с летучею мышью, с кусочком от тьмы, обступающей нас; тьма уже ворвалась в крут света, который был — розовым абажуром, бумажным; его разорвали: и ночь ворвалась:

— Плохой знак!

С тем и лег.

Утром подали мне лошадей. Мы спешили проститься; я что-то сказал на прощание; Блок, опустив низко голову, слушал; Л. Д. незаметно платочком смахнула слезинку...

Я не знаю, зачем очутился в имении Поляковых, где жил мой приятель... после доехал до станции *«Снегири»* (Павелецкой дороги); оттуда вернулся лишь в *«Дедово»*.

На другой уже день, на закате (закат был — багровый) вернулся С. М., проиграв два дня в карты: его не узнал: показался он мне опаленным, худым.

Очень странно: — мы в *«Дедове»* прожили с месяц еще, но молчали о Блоках; переменился весь темп разговоров; о *«звездах»* — не вспоминали; Жуковского — не читали; но — ушивались мы Гоголем: *«Страшную мезтью»* и *«Виет»*; то именно, чего Блок не любил, чего прежде боялись; казалось: весь дедовский воздух напитан был Гоголем.

Зори под август вставали — ласкавшие зори; раз был леопардовый свет на закате; пошел на него; и — запутался в травах; хотелось мне руки ему простирать: звать зарю.

Слышу — голос; повертываюсь: из кустов среди трав — поднимается сутуловатый С. М.; и кричит очень строго:

— Ты — что?

— Ничего.

И С. М., посмотрев на зарю, повернул от зари меня; и — отрезал:

— Пойдем: все — безумие...

Глава X. Лилии с черным крепом

Бекетова. 27 июня 1905. Шахматово

...На другой день уехал* скорее, чем было положено, причем передал Любе через Сережу записку с признанием в любви. Люба сказала это Але. Не знаю, сказала ли Сашуре. Неужели? Едва ли. (Да – нет). На прощанье Боря сказал Але: «Я Вас ужасно люблю А. А.». Сережа был, как ни в чем не бывало, и еще приедет. Аля думает, что Борино отношение к ней совершенно изменилось, да и Сережино тоже. Ей очень тяжела перемена в Боре.

Люба – Белому. Июнь 1905 г. Шахматово

...Я рада, что Вы меня любите; когда читала Ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня — это хорошо; это одно я могу Вам сказать теперь, это я знаю. А помочь Вам жить, помочь уйти от мучения — я не могу. Я не могу этого сделать даже для Саши. Когда захотите меня видеть — приезжайте, нам видеться можно и нужно; я всегда буду Вам рада, это не будет ни трудно, ни тяжело, ни Вам, ни мне. Я не покину Вас, часто буду думать о Вас и призывать для Вас всей моей силой тихие закаты...

Белый – Блоку. 22—24 июня 1905. Дедово

...Тихо летаю в беспредметной ясности, подобной снегу. Снег — тихий, ласковый, близок моему сердцу. Я могу и умею кружиться, где хочу, ибо «дух дышит, где хочет, и голос его слышен, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Иоанн). Кротко, безболезненно покрываю пространства, завиваюсь вьюгой по зимам, завиваюсь вьюжным ласточкиным визгом в голубых пространствах. Кроткая беспредметность — моя стихия: таков снег. Но когда туча снежинок попадает в душную тишину, неизвестно откуда возникающую, глухого пожара угрозы — не тает туча снежинок, не дождем изливается она на травы, — тяжким градом. Я могу быть всегда побивающим градом, и всегда не хочу, всегда хочу безвольно, бесцельно, просто носиться в пространствах, носиться о несказанном, завиваясь вьюжным визгом в ласточках, рвать вместе с ними пространства во имя «нового пространства» — «нового неба и новой земли».

О, если б мне быть всегда снегом!..

Люблю Тебя, Саша; хочу послать Тебе снежного забвения, которое тихо разливается вокруг меня. Аминь...

Блок – Белому. 19 июля 1905. Шахматово

...Люблю Тебя очень нежно и часто упоминаю Тебя и Твои слова и задумываюсь над ними. А почему не пишу Тебе — не знаю. Спасибо Тебе за снежное забвение... В прошлом и, может быть,

* Белый.



в будущем — многое, так что иногда улыбаюсь странности или тоскливости жизни. Видел во сне, что мы с Тобой — в росистом и тенистом лесу — зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать Тебе, как я умею легать всяческими манерами, и сидя, и стоя на воздухе; ощущение было приятное и легкое, а Ты удивлялся и завидовал. Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.

Ваш приезд с Сережей — последний — был, пожалуй, для меня важнее всех остальных — очень открыл меня. Я чувствую в нем много Нечаянной Радости. Но теперь я беспокоюсь внутренне о Сереже, мне все кажется, что здесь что-то не так и как бы не заменили одну пьесу — другой «по болезни артиста и лошади». Действие же пьесы уж, пожалуй, происходит именно в цирке, по силе критического момента и по трагизму его... Как будет с Сережей? Обнимаю Тебя и не знаю, плохо или хорошо Тебе...

Белый. *Конец июля 1905. Серебряный Колодезь*

...Так *хорошо*, что Ты мне написал. Мне было радостно получить от Тебя письмо, потому что Ты — один из немногих, которых я люблю *истинной любовью*. Радуюсь Твоему письму: *так хорошо*... Из Твоего письма пахнул аромат зеленого леса, окропленного слезами, а я живу в степях, сухих и жарких, и вот уже скоро две недели, как не было росы: спасибо Тебе, милый... Милый, я ушел из жизни и верю чуду, верю важности переживаемых моментов, которые — всегда трагизм; но этот *трагизм* наполняет мою душу готовностью *умереть, чтоб вознестись*... Я забыл мир эмпирической действительности... Тут оживаешь Ты, пробираясь в душу «*тайною тропинкою, скорбною и милою*», — живешь, дышишь ароматом лесов несказанных, летаешь и сидя, и стоя, — и всячески... Милый, спасибо Тебе...

Блок. *8 августа 1905. Шахматово*

...Сейчас смотрели на лунный туман. Ночь. Удивлялись. Твое письмо мне близко, близко. Спасибо... Я сам извещаю себя эти дни, и сам не знаю того, но извещаю о чем-то как бы в последний и в первый раз, как всегда бывает в острое время жизни. Извещает меня о чем-то легкая юность с перевитым жезлом, но иногда эта юность бывает косматая, разбойничья, и все-таки — легкая. Все это лето я отвечаю Тебе на Твою любовь. Как-то учащенно все думаю о Тебе, узнаю Тебя, может быть; почти не проходит дня без мыслей о Твоей единственности для меня и мира... Я ужасно молодую и, чувствуя это, очень радуюсь этому. Узнаю Тебя, говорю о Тебе, и душа прильнула к Тебе. У меня нет религии, но мне завещано: да не смущается сердце ваше. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно...



Белый. *14 августа 1905. Серебряный Колодезь*

...Милый, спасибо за письмо. Очень порадовало. Из далей улыбулось. Когда получил, то сорвал белых цветов, сделал букет и поставил у себя. Теперь подарили много жемчугу. И плывут, и тают — жемчужины...

Жемчуговый день, росяной, холодный, ясный. Ясно улыбаюсь Тебе. Верю, что все мы «будем»...

Бекетова. *14 августа 1905. Шахматово*

Аля больная и не владеет собой. Люба жестокая, недобрая и грубая, Сашура часто жесток и парадоксален отчаянно. Они с Любой красиво живут, но эгоисты отчаянные и холодно с ними, особенно с Любой. Кабы Аля была здоровее и не так невежественна, кабы Сашура был менее исключителен и жесток, а Люба была чуточку добрее.

Иванов. *17 сентября 1905. Петербург*

...Шли вдвоем пешком. Ал. Блок был какой-то особенный... Не помню, с чего перешли на следующий разговор.

— Женья, знаешь: кажется, ты и другие думают и говорят, что я «светлый». Это неправда, темный я, темный, Женичка! Мне тяжело, что меня все принимают за светлого, а я ведь темный, понимаешь?

— Понимаю, но не оттого ли ты и светлый принимаешься, что себя считаешь темным. По стихам-то ты не темный, и они свидетели того, что под темным светит и тьма не объяла. Может, ты и не знаешь светлого-то в себе, и когда ты светел.

— Знаю я это все, Женья. Мне говорили. Только все-таки это не то, не такой я. Может, это наследственность тяжелая от отца. Тебе о нем говорила мама. Он музыкант; очень хорошо Шопена играл и в то же время что-то безнадежно тяжелое и темное в нем. Он Демон, и очень мучил маму демонизмом, и мама о Демоне не может с тех пор слышать. Не понимаю, что такое во мне, ничего не понимаю ...

28 сентября 1905. Петербург

Сегодня са своими ездил к Блокам. Очень мило встретили маму, расцеловали ее. Александра Андреевна, Любовь Дмитриевна. Мама прямо очарована до слез простой красой Любы. Очень понравилась Любовь Дмитриевна. Какая русская красота! Мама все говорила.

Блок – Белому. *2 октября 1905. Петербург*

...Мне вдруг захотелось послать Тебе много всяких моих стихов, и плохих и получше. Напиши мне когда-нибудь, как они Тебе вообще кажутся, и покажи Сереже...

Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но, как ты думаешь, знаю ли я Тебя? По крайней



мере, я этого всегда хочу. Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому. Говорить об этом могу пока только с *непосвященными*. Но посвященным может быть разве Ты, никто кроме Тебя не услышит и знать не захочет. Но рядом с этим я совсем перестал бояться людей внутренне и доброжелателен ко многим больше, чем прежде. Куда-то совсем ушли Мережковские, и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Можно сказать, наплевали. Не знаю, надо так или не надо. Надрыва же никакого нет у меня и вообще нет надрыва. Я больше не люблю города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Часто из нее исходят все только одни гармоничные ощущения. Я никогда ничего не забуду в прошлом. Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер поевет и ключице мои руки запляшут свободно.

Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю. Если иногда в этом сиротливость, то я — «сам Господь своих вериг»...

Белый – Блоку. 11 или 12 октября 1905. Москва

...Как мне благодарить Тебя за присылку стихов: давно у меня не было таких приятных, радостных минут, как в тот день, когда Ты мне прислал стихи. Что мне сказать о стихах? Что они мне нравятся? Это было бы общим местом: ну конечно нравятся. Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы влетает в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя: этим выразителем, думается мне, являешься Ты. Как совместится Твой призыв к «*Прекрасной Даме*» с этими новыми для Тебя темами, как совместится «долг» рыцаря с «*просто*» битием хотя бы сил дaimонических, как совместится долг творчества жизни (теургизм) с параличом долга жизнью (шаманизмом) — я не знаю: между тем это важно — важнее всего. Но прежде чем говорить с этой точки зрения о присланных стихах, я коснусь Твоего письма ко мне, и свяжу его с тем, что мне хочется формулировать.

Ты пишешь мне: «Надеюсь, что она (душа)... приготовится к будущему». Дорогой друг, о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее — общественное обновление России, расцвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или *что?* Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее. Любя очерченность и точность *хотя бы* и символических переживаний, а также заинтересованный (столь важным для меня) Твоим путем, я решительно спрашиваю: какое содержание Ты мыслишь, когда ссылаешься на «*будущее*». Ссылкой на будущее можно себя и навеки связать и развязать, ук-



лониться, вынырнуть в другом можно ссылкой на то же *будущее*. Действительно ли Твое будущее (есть ли оно — конституция, всеобщая и тайная подача голосов, синтез науки, философии и религии) или оно — литературная фигура речи — скобки пустоты (или пустота в скобках, под которыми можно предполагать все, что угодно, *необязательное, нереальное, пустое*). Ты — *«захлопнул заслонку своей души»* — для чего? для того, чтобы готовить избирательные списки, или для чего-нибудь иного? Насколько я Тебя понимаю, Ты много надеешься на преобразование личности, но есть ли преобразование без ясно сознанных *средств* (реализации пути) поставленных целей? Ты так и полагаешь, говоря, что надеешься стать «Купиной». Но купина — символ Богоматери. Итак, Ты надеешься стать символом Богоматери — Ты, студент Императорского С.-Петербургского Университета, сотрудник «Вопросов Жизни»? Тут или я идиот, или — Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому. Мистика всегда реальна, если она *есть*, если вместо нее не даются удобные для жизни, не оформленной долгом, — *скобки*. Для меня путь мистического будущего определенно *реален*. Неопределенность пути есть лишь выбор *мотивов* долга, борьба средств, из которых *каждое* — реальность. Ты пишешь, что готовишься к будущему — стать *Купиной*. Я года *умираю*, истекаю кровью, подвергаюсь оскорблениям, непониманию, грубым подменам, *ища средств пути*. Ты спокойно *знаешь*, что нужно для того, чтобы стать «Купиной». Ради Бога, научи, выскажись. Пока же Ты не раскроешь скобок, мне все будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь, называя себя Купиной (а такие кощунства *не прощаются* — *знай*), или говоришь *«только так»*. Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая... А я ведь всегда с прочтения первого Твоего стихотворения полагал, что Ты работаешь во имя долга перед *«Прекрасной Дамой»*.

Может быть, Ты рассердишься на меня, но я не писал бы Тебе всего этого, если бы не глубоко любил Тебя; не ждал от Тебя... Летом, когда мы с Сережей были в Шахматове, мы оба страдали от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном мистическом пути, о котором я много и долго говорил Тебе в свое время и против которого Ты *не возражал* (почему?). Многое определилось и реально приблизилось с тех пор (и если хочешь, одно время полагал, что это приблизившееся связало нас, ибо Ты всегда во всем прежде молчаливо соглашался). Когда же нужно было совершить отплытие в страну долга и истины, а не *бытия просто за чаем и мистическими разговорами*, все запуталось: тут без сомнения Твоя неподвижность оказала влияние. Все осложнилось. Мы с Сережей почти обливались кровью... Кто-то грубо клеветал в это время, а Ты — Ты потом мне писал, что ждешь сказанного (?!). Ты эстетически наслаждался чужими страданиями. *Ведь тут абрикосовым компотом пахнет* (помни Достоевского). Ты во время наших



реальных мучений сам *не* вступил на путь реальной мистики (от слов и беспочвенных переживаний не приближался к делу) — Ты должен тогда был вступить в борьбу с моим мнением о пути, со всеми моими разговорами, Ты должен был бы все это проклясть, или *делом принять* — ни того, ни другого Ты не сделал: созерцал наши мучения, и они возбудили Твою «эстетическую» природу. Ты ничего не сделал для *пути* и в то же время рассматривал нас с Сережей как актеров, писал про Сережу, что он, кажется, не туда попал и т. д.

Знай, я не мальчик: и мистические мои «*выходки*» — не выходки экстатического гимназиста. Меня не соблазнишь мистическими скобками, ибо я — искушенный теорией познания. И то, что для меня *мистика и путь*, оно вполне ясно, просто и неопровержимо.

Ты летом отказался от будущего, которое мне ясно до очевидности, — почему же Ты определенно не вступаешь на путь бытия, путь прошлого (ибо настоящего нет: оно — или долг перед будущим, либо инстинкт прошлого, т. е. *зверство*): *это путь — растительной жизни*, имеющий свое основание. Там зверь. В долге — «*Жена*». Третьего нет: или зверь, или жена. Смешение — производит Сфинкса, психологическую мистику (я проклиная «психологию» мистицизма). Зверь завивается в Символ.

Если Ты о будущем, или спорь против моего будущего, переубеди меня, а не то я склоню Тебя к моим представлениям о будущем, или же — обернись на *Содом и Гоморру*, т.е. на прошлое.

Но Ты пишешь о *будущем*, называешь себя Купиной, говоришь, что Аполлон будет преследовать Тебя (!!!), — это насмешка надо мной, скобки, или *реальный путь*?

Откройся, наставь, научи: я не ребенок, чтобы мне всяким словом удивляться и верить.

Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман нескazanного, но они полны «скобок» и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны.

Дорогой Саша, прости мне мои слова, обращенные к Тебе от любви моей. Но я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с Богом, и с Чёртом. Да помогут Тебе силы. Прости за прямоту. Но сейчас ничто не мешает мне *сказать*, ибо я — властный.

Блок. 13 октября 1905. Петербург

...Сегодня я получил Твое письмо — такое, какого я ждал. Это последнее (т. е., что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить Тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего Ты спрашиваешь о том, буду ли сердиться, и объясня-



ешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно), — *кроме одного*: я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережиными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ Богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) — *все это* — речи идиотски бессвязные, понахватаанные чёрт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, — и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4), и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, *никогда*, даже когда писал *все* стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Максимкой Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декадентами и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда), и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, может быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно, так и надлежит студенту Императорского СПб университета и сотруднику «Вопросов Жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относительно мистики я знаю, что *она реальна* и страшна, и что накажет меня.



Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность, — во мне ее много. Когда Ты командовал «протсияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А ты сказал раз, что мне не нужно экзамена. Но я совсем не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потому что я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, который имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Может быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто разворачивается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать — я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я Тебя «соблазняет пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания, и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой, — значит меня не знать. Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься на меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю *теперь*, потому что я *всегда* был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить — уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить, — научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить *Тебя*? Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно — не «преображенная». А хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преобразуюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больше всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Никто во мне не смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или, просто, говоришь о ней?), но скорее — переворачивает острые камни.

Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста, не выживай Аполлонов и не задавай о них вопросов, Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же — боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).



О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство — «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение, я Тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради Бога, все *прямо*), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потому что теперь я таких слов никому, *кроме Тебя*, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель — прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность, научи. Я знаю, что Ты — властный...

Все, что я писал, во многом — не то. Мне важнее сказать Тебе, наконец: о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (*должен* быть) второй и третий — преодоление дракона и смерти. Второго подвига я, может быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответь: распинаю ли я Тебя? Существуют ли я? Ведь

*Предо мною куст терновый
Огнем горел и не сгорал.*

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще большую боль, или — совсем никакой боли.

Иванов. 17 октября 1905. Петербург

Утром получил открытку от А. Блока.

На пароходе поехал к Ал. Блоку. Встретил первых Франца Феликсовича и Александру Андреевну. Говорили...

Ал. Блок, Саша, пошел меня провожать и говорил очень сердечно, что надо ему маску сбросить, что он не тот как людям кажется. Что ему симпатизируют, а он не такой. Что лучше, чтоб его оставили совсем одного, и что это одиночество ему свойственно и единственно естественно.

Я говорил о пережитом мною, о чувстве себя как пустозвона, пустосвята, самозванца, пустышку картонную и в то же время говорил о начатой статье о Вере, Надежде и Любви. Он просил дать...

Прощаясь, Ал. Блок спросил: «Женя, я есть или нет?»

А я ему: «ты есть, есть «сын!» он значительно кивнул головой, улыбнулся страдальчески, но облегченно и, поцеловав еще раз, ушел.



Бекетова. 18 октября 1905. Петербург

У них невесело – Аля больная с жемчужно-тусклыми глазами, с головной болью, печальная деточка* еще не оправился от Бороного письма – Люба уже хмурится... Боря только что сильно прострафился, написав Сашуре ругательное послание с высоты своей пророческой власти. Все, т. е. Аля и Люба, возмущены. Одна детка написал смиренное письмо и только огорчился... Каков мальчишка! Люба назвала его свиньей, но избранить письменно не решилась, очевидно, боясь потерять свой престиж. Что же сделал Боря и в особенности Сережа? Они обливались кровью? Какова чепуха! Уж Сашура-то скорее же обливался, но он не толкует о своих страданиях и ощущеньицах, как делают блоковцы. И Сережа, и Боря в этом отношении страшно нецеломудренны...

Пышнословы, болтуны, клоуны. Сколько в них фальши. Но я не смела этого говорить про Бору – нашли провидца... Приписывает Сереже (!) какие-то страдания и не видит его фальши и сухости. Все это было бы очень приятно, но зачем все провозглашают его пророком и сам он это делает? Отношение к Любе, конечно, тоже часто совершенно неверное. Ну, да это понятно, а ведь Алю как смел обидеть, дрянной мальчишка. У, хотела бы я, чтобы Люба его избрала и избидела...

Люба – Белому. 27 октября 1905 г. Петербург

...Я не хочу получать Ваших писем до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше. Вы забыли, что я — с ним; погибнет он — погибну и я; а если спасусь, то — им, и только им. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Пока Вы его не искупите, я не верну Вам моего расположения. Меня признаете, его вычеркиваете — в этом нет правды. И в правду Вашего отношения ко мне я не верю. Вы очень чужды мне теперь...

Бекетова. 28 октября 1905. Петербург

Боря написал Любе письмо, которое она хотела послать распечатанным (жаль, м. б., ей Сашура помешал). Он в ужасе от крови и «алого гроба», умоляет Любу спасти Россию и его, словом вздор и бред. Она написала, что, пока он не откажется от лжи, которая в письме его к Сашуре, она от него отступается, и чтобы он помнил, что она всегда с Сашурой. Молодец, белая шейка с золотыми волнами волос!

Белый – Блоку. 30 октября 1905. Москва

...Что мне сказать на Твое письмо? Читал. И читал, и опять перечитывал. Значит, было у нас недоразумение в понимании друг друга. Ты не виноват, но пойми, что не виноват и я тоже. Ты писал

* Блок.



о Прекрасной Даме. Я ощущал всегда Ее веяние. Я хотел и *пути*, соответствующего веянию. Я не знал определенно, есть ли люди, идущие путем, предносящимся взору моему. Я слишком уверовал в выражения Твоих строчек и полагал, что Ты можешь и пути знать. Потом, при личном знакомстве с Тобой, я *понял до дна*, почему мог бы Ты (если не знаешь) вести по путям Тебе известным, и я хотел *проверить*, то ли предносится в будущем взору моему, что Ты можешь знать. Вот основание к тону всех моих отношений к Тебе и Твоей поэзии. Ведь стихи Твои сыграли Бог весть сколько в моей жизни. Вот почему тон вопросительный моего письма, и если была в этом тоне стремительность (увы — часто нетактичная и *всегда* мне свойственная) — прости мне. Дело в том, что всегда (или по крайней мере в лучшие моменты жизни) не только испытывать веяние Тайны хотел я, но и всю жизнь свою *реально* положить на престол Тайны; и когда что-то мешало мне до конца раскрыть душу Тайне, я терзал *нарочно* свою душу.

Вот и все. Больше ничего не умею ответить Тебе. Еще я скажу только одно: одно время я во имя *Путей*, мне предносящихся, хотел выйти к людям и в мир моих *видений* заключить мир предметов и отношений (даже внешних, светских, позитивных и т. д.). *Идя навстречу*, я неизменно терял ядро своей души и обессиливал в праздных судорогах психологии; но на все это я смотрел как на средство во имя Цели.

Кажется, теперь я ухожу в себя для себя.

И если я в моих (по всей вероятности, ложных) попытках реально найти одно мерило для Истины, Добра и Красоты случайно задевал других людей словом, делом и чувством, я приношу мое извинение.

Люблю Тебя неизменно, сильной, испытанной любовью.

Если бы ушел *и от Тебя* в одиночество, и там бы всегда *любил Тебя*.

Вот все, милый, что я хотел Тебе сказать.

Прости. Прощай. Не забывай меня...

Бекетова. 1 ноября 1905. Петербург

После трех дней «итальянской забастовки» я пошла к Але и встретила ее на дороге, идущую к тете Соне. Я проводила ее до конки и узнала много нового: получено письмо от Бори. Он разрывает с Любой самым резким образом, упоминает, что был в нее влюблен, и это уже указывало на то, что «все, что было», не то, а теперь, значит, «нет религии, нет мистики» и т. д., если она его не принимает и не отказывается от Сашуры (другими словами). У Али был по этому случаю сердечный припадок, Сашура в отчаянии, а Люба все приняла спокойно. Если случится что-либо страшное, т. е. Боря сойдет с ума или убьется, будет очень тяжело, но нельзя же ради этого позволять ему поносить Сашуру. И не может же Люба



ради культа блоковцев это терпеть. Боря совершенно прав, признавая свою влюбленность несовместимой с чистым религиозным культом. Я-то всегда чувствовала и знала, что все эти пышные речи и мысли основаны только на Любином женском обаянии. Обаяние это исключительно, Боря поэт и не совсем нормален. Ну, это и приняло такие чудовищные размеры. Отношение же его к Сашуре для меня неясно. Что ему от него нужно? Ведь христианство он отвергает, дети тоже, что же тогда? И почему прав Сережа? Темно это. Все, во всяком случае, очень важно не мистически, а фактически: важно в смысле оценки Бори как пророка. Ведь он все основывал на Любе, а теперь ведь все здание разлетелось – что же осталось? Это, впрочем, не совсем фактическая точка зрения. Но что же Аля и Сашура, лишенные Бори и Сережи? Особенно, Бори...

7 ноября 1905. Петербург

Еще новость – Боря написал Сашуре покаянное письмо (все берет назад), а Любе прислал подаренные ею цветы (лилии), повитые черным крепком. Красиво. Люба сожгла их в печке, не сморгнув. Аля превозносит ее любовь к Сашуре, а я поставила ей на вид, что это так понятно. Она говорила, что не могла бы так любить; я сказала, что я-то могла, и говорила, что и она бы так любила выбранного ею. Но это, в сущности, м. б., неправда. Разве она так любила? Кокетничала направо и налево во время этой любви. Это ли любовь истинная? Боря, очевидно, опомнился и уцелел. Аля продолжает считать его «Симфонии» пророческими.

21 ноября 1905. Петербург

Ужас пришел: сейчас я от Али. Застаю ее одну в гостиной на отоманке; говорит мне «иди домой, те барышни не придут, там эти змееныши Менделеевы». Лицо бледное, все перекошенное мукой. Я не ушла. Расспросила, в чем дело. Вчера, когда она пришла от меня домой, ее Люба обидела. Аля пришла к ней и говорит, что страшно у них: венчальные свечи горели перед образом, который страшный (Аля находит, что это дьявольщина). Люба за эти слова ее упрекала долго и строго. Она слушала, потом оправдывалась, наконец, ушла к себе. Люба ее вызвала и пробовала холодно поправлять дело, сказав: «Я не хочу с Вами ссориться». Ничего не вышло. Аля сегодня мучилась целый день. Мне говорила, что жизнь ее безобразна и унизительна и никому не нужна, что не убить ее – дурно, потому что это для нее было бы благодеяние. Что Сашура без нее хорошо обойдется. Францева жизнь ничем не хороша, а мне без нее будет лучше. Рассказала мне, как турок с вывалившимися внутренностями просил его расстрелять, а ему дали пить, и от этого стало только хуже. И что она – этот турок. Говорила, что мы с Францем смотрим на ее желание умереть, как на большую блажь. А у Любы уже была одна истерика и Сашура рыдал (Аля слыша-



ла, а м. б., ей это казалось), а когда ушли сестра и брат, они ушли к себе, и начались жалобные Любины речи и Сашурины ответы. Не знаю, чем это кончится; за чаем Люба смотрела угрюмо.

22 ноября. Петербург

Слава в вышних Богу и на земле мир! Сегодня Аля и Люба объяснились и помирились. Малышка сама пришла разговаривать и кончилось дело ее слезами и Алиными поцелуями.

Белый. Все кипело, как в кратере. Революция захватила... Все забыв, не умея дождаться конца забастовки, попал в Петербург.

Остановился на Невском я, в меблированных комнатах; и написал я письмо Блоку...

«...Хочу *просто* обнять и расцеловать Тебя. Люблю Тебя, милый.

НО

пока не увижу Тебя вне Твоего дома, не могу быть у Тебя, не могу Тебя видеть. Вообще, я могу или ясно улыбаться, быть снегом, или быть угрюмым.

Не хочу Тебя видеть, когда душа угрюма. Хочу Тебя видеть, когда душа ясна, потому что ясно люблю Тебя, милый.

Непреренно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов (на Невском. Буду в главном зале).

Будь, милый.

Если бы Любовь Дмитриевна ничего не имела против меня, мне было бы радостно и ее видеть.

Мой глубокий привет Александре Андреевне.

Остаюсь любящий Тебя

Боря

P. S. Если же у Тебя в душе есть хотя бы малейшее недоверие к ясности моей души и это препятствует непосредственному чувству Твоему мне просто улыбнуться без слов и рассуждений, *не приходи*.

Я пишу это совсем серьезно. Хочу Тебя видеть в ясности или никак: Ты ведь так дорог мне...».

В этот день я рассказывал нервно по номеру комнаты; я сознавал, что письмо, прерывающее общение, — резкость и вспылчивость, подымающиеся внезапно во мне; ведь недаром писали когда-то в газетах, что я, «*Андрей Белый*», *весь в скандалах всегда поседельный*».

С волнением вечером я сидел в большом зале у Палкина — среди переполненных столиков; помню, с эстрады запели кровавые неаполитанцы; вдруг: издали замечаю А. А. и Л. Д., пробирающихся по залу; при взгляде на них понял, что между нами вернулось все прежнее, милое, доброе; четко запомнилась мне: очень стройная фигура студента с высоко закинутой головой и с открытыми перед собою глазами, — бредущая тихо меж столиков; и — отыскивающая глазами меня; впереди шла Л. Д., похудевшая, в черном платье, какою-то



нервной походкой, с опущенной головою. А. А. увидел меня, ласково улыбнулся — улыбкой, которую я не видел в свой последний приезд к нему: любящей, братской улыбкою; и такую ж улыбкою расцвела мне навстречу Л. Д.; в тех улыбках, мне брошенных, в ресторане у Палкина под протяжное пение неаполитанцев, — свершилось решительное объяснение меж нами; улыбки сказали, что — объяснения нет; факт приезда, письмо, — объяснение.

Так мы сидели; и мы — пили чай; мы растерянно улыбались друг другу, сконфуженные, как... дети, которым — *«досталось»*; А. А. нас оглядывал с видом, который хотел объяснить:

— Поиграли в разбойники: будет — довольно!

И становилось — уютно, смешно; в А. А. вспыхнул былой юморист: прекомически в жестах припоминал он, как мы превратились в *«испанцев»*, бросающих вызовы; и казалось: гроза — пронеслась.

Атмосфера расчистилась; в долгих общеньях с А. А. и с Л. Д. было что-то от атмосферы, от нас независимой, необъяснимой реальными фактами биографии; вдруг становилось всем радостно и светло, — так светло, что хотелось, сорвавшись с места, запеть, завертеться, захлопать в ладоши; а то начинало темнеть — без причины; темнело, темнело, — темнели и мы под тяжелыми, душевными тучами; тучами неожиданно обложило нас Шахматово в 905 году; наборот: туч почти не видали мы в ноябре—декабре в Петербурге...

Впоследствии, углубляясь в особенность мира поэта, я понял, что кроме явных естественных объяснений изменности настроений меж нами, необъяснимое что-то осталось: в А. А. было что-то, что — действовало; настроением он меня заражал; он носил атмосферу: то — ту, а то — эту; то — розовато-золотую, а то — фиолетово-серую... Во внешнем же он оставался по-прежнему: и корректным, и вежливым, поражая отчетливым построением эпиграмматических фраз, произнося свое «чтобы» без повышения голоса, точно придушенного, деревянного и глотающего окончания, отдающие в «Н», в «М» и в «И»; в разговоре не двигался он, не образуя одеждою складок; сидел очень прямо, почти не касаясь кресла; лишь изредка наклонялся его голова; и — протягивалась рука с портсигаром; когда перед ним собеседник вставал, то — А. А. вставал тоже; выслушивал стоя, открывши глаза — голубые свои фонари — в разговоре; та же выправка, статность и выраженье *«хорошего тона»* лежали на нем. Но под формой держать себя чувствовалось изменение: чувствовались — неуверенность, боль и порою капризность (как в Шахматове в 905 году); *«атмосфера небесности»* от случайного жеста могла занавестись серо-лиловым туманом, восставшим от *«Блока»*; в застенчивом движеньи большой головы, растерявшейся голубыми глазами, — отчетливо значилось: глаза — помутнели; курчавая шапка густых, очень мягких волос не казалась курчавой, как прежде; рыжевший отлив — пропадал; и казался: не пепельно-рыжеватым,

а — пепельным; появились морщинки у глаз, уходящих в мешки под глазами; прорезалась явственной поперечная складка на лбу; и отчетливой, чувственной губы пылала; и сила стихийности, — не таясь, разливалась мощней — временною атмосферю: не *розово-золотою*, а *серо-лилово-зеленою*; где — была лучезарность? Перегорали остатки духовных загаров; и — побледнело лицо; и движение одно подчеркнулось, усилилось: сидеть молча с зажженной папирсой; и — вдруг: не без вызова, не без удали нарисовать лицом линию вверх, выпуская из губ над собою струю дымовую; в одном этом жесте мне виделось: удаль тайных капризов.

Не раз я впоследствии анализировал восприятия впечатлений от Блока; они рисовали отчетливо разделенные образы; вот Блок — уютный, домашний, меня заставляющий выговариваться, проникающий *всепониманием*; вот — Блок другой: кто мог быть неприятней, капризнее? Бессловесная глубина в нем могла обернуться рисовкой невнятицы, даже *«идиотизма»* какого-то; говорили впоследствии мы с Соловьевым о злом выражении лица у А. А.: идиотически злом, не могущем ответить на ясные доводы логики; да, такой *«Блок»* представлялся Ставрогиным; красота его самая нам казалась — *«ставрогинской»*, и наивность — рисовкой...

Критикуя поклонников Блока, С. М. обращался к себе самому: ведь он именно относился к А. А., как к «глашатаю»; а когда А. А. Блок не хотел быть «глашатаем», то С. М. упрекал «мирового глашатая» в подстановке под мудрость идиотизма.

Каким Блок казался непереносным, обидным, намеренно унижающим, — в дни разрыва с ним! И — сострадательным, ласковым в дни сближений; меж тем: и внимание, и унижительная небрежность — не выражались никак: предупредительный, малословный, неторопливый; ты встанешь, — он встает; садишься — опустится, молча подаст портсигар...

Но я — понимал С. М. Соловьева; я сам испытал не однажды необъяснимую оскорбительность для себя одного появления предо мною А. А.; так, в эпоху, когда не видались мы, на петербургских проспектах, среди толкотни пешеходов увидел я шедшего мне навстречу А. А.; он, зажав в руке трость, пробежал в бледно-белом своем панаме, быстро-быстро, — прямой, деревянный, как палка, с бескровным лицом и с надменным изгибом своих *оскорбительных губ*; он не видел меня; этот жест пробегания с тросточкой на петербургском проспекте тогда показался — венцом униженья; в душе отдалось:

— Как он смел не заметить?

А белая панаме, щеголеватая тросточка — были ударом по сердцу:

— Что, как — панаме? Как он смеет?

— Скажите пожалуйста!

— Это — что?

— Что за дерзость!



В период сближения — не было меры в желании умалиться — пред ним, сделать все для него, уступить ему место; а этого он и не требовал; он — удивлялся: и резкому гневу, и резкой восторженности:

— Ты — смешной!

Разговор в ресторане у Палкина — в нем заложены новые вехи общения нашего; эти общения (общение А. А. и Л. Д. со мной и с С. М.) напоминали сношение иностранных держав... У Палкина мы решили: распался *«вселенский собор»*; и С. М. не войдет в наше *«Мы»*; предоставляя свободу общений с С. М., и А. А., и Л. Д. подчеркнули: они не приемлют его. Распадение *«тройственного»* союза приканчивает эпоху моих *«теургических»* устремлений; в союзе вдвоем (А. А., я) был исход совершенно естественному художническому устремлению; никакие философы будущего (*«Лапань»*, *«Пампань»*) уже не учили нас жизни; то творчество жизни, которое мы утверждали, сводилось к импровизации, к новой *Commedia dell'arte*; безудержный артистизм подстилал нашу дружбу; сказали друг другу:

— Так будем играть; и во что бы ни выразилась игра, — ее примем.

Я чувствовал: с разговора у Палкина был естественно принят в *«игру»*; победило — доверие; в сущности, вместо *«мистерии преобразования мира»* мечтали теперь о *«мистерии преобразования мира»*; С. М. Соловьев для А. А. оказался тяжел...

Как бы говорил себе: Ее — нет! Не придет! Что же, будем — героями, Зигфридами! Будем же высекать жизнетворчество; настроение такое складывалось в А. А...

Все *«заветы»* Владимира Соловьева тем были нарушены; в нарушении заветов, быть может, супруга поэта сыграла немалую роль; мы считали «хранительницей заветов» ее; устремления к духу музыки, к импровизации, к превращению «неизреченного» в театральный мимический жест и в *Commedia dell'arte* в Л. Д. перегибали *«мистирию»* к сцене; желание стать артисткою сказывалось все более: так она повлекла за собой и А. А., и меня: к артистизму, к импровизации; в А. А. просыпалась любовь к сцене...

Лозунг, который в то время меж нами подчеркнут (*«Так будем играть»*), может быть, — бессознательное тяготение к сцене Л. Д. И, быть может, естественное созревание в А. А. — *«Балаганчика»*...

По примирению с А. А. и Л. Д. переехал опять к Мережковским; и потекла та же самая жизнь...

Бекетова. 3 декабря 1905. Петербург

Вчера прихожу к нашим: ждут Борю Бугаева (только что приехал, ужинал у Палкина с Сашурой и Любой). Пришел. Первые минуты были очень натянутые, потом обошлось, сидели до 12 ½ ч. ночи. Говорили много (весь чай) про Сережу; было опасно, но обош-



лось. Выяснилась окончательно его исключительная любовь к Сереже и полное к нему пристрастие при беспощадной строгости к остальным. «В Москве нет людей, кроме Сережи». Во всей Москве! Все никуда не годятся. Ведь только что было почти то же про Сашуру и Любу говорено. Теперь «возврат» к Сашуре.

О Боре не хотят говорить, обиженные его несправедливостью, а м. б., и по-другому. А уж не спускается ли он с недосягаемых высот? Деточка был восхитительно мил и добр и говорил «за маму». Маленькая молчала и цвела рядом со мной, пышно цвела. Боря высказал большую сухость.

Белый. Я делил свое время по-прежнему: между домом Мурузи и Блоками; но сидения вместе носили характер импровизации; медиумизм атмосферы подчеркивался; но нам было уютно; и — весело перешучивались, *«по-детски»* играли; однажды А. А. мне лукаво сказал, что они твердо знают, кто я.

— Кто же я?

Тут Л. Д. рассмеялась, решив, что не скажет; А. А. же, посмеиваясь себе в нос, опустивши глаза, очень тихо сказал:

— Не обижайся — такая игра уж у нас: ведь мы с Любою часто играем в зверей...

Так какой же я зверь?

— По-хорошему, — не обижайся: ты — беленький заяц; у нас он любимый зверек...

Бекетова. 6 декабря. Петербург

С. В.* запоздал к обеду, и вдруг явился Боря. Аля на седьмом небе, вся дрожит и чуть не плачет от радости.

Ушли оба рано, почти в одно время. Боря говорил обычным языком, хотя без философских терминов к счастью. Але сказал, что вдруг перестал на нее сердиться и ей напишет подробно, что теперь об этом всем думает, т. е. об ее отношении к Сереже и пр. (был разговор в пятницу). С. В. говорил что-то скучное с Францем за обедом и временами прислушивался к Бориному бреду, который был иногда очень красив...

Детка в это время сидел на ковре, обернувшись к Боре, и его кудрявая головенка была до того невинна и прекрасна, что С. В., очевидно, не выдержал и, обернувшись, вдруг наклонился к нему и, погладив его по кудрям, тихонько сказал: «Вы самый милый, самый хороший». Аля не поняла его движения, а я отлично поняла: сравнив его с Бориными трудными речами довольно-таки сомнительными и с Бориной лысеющей головой демона с характерными взлизями и острыми глазами под косыми бровями, он особенно пленился его несравненной красотой и детским невинным и добрым взглядом. До чего он был хорош в этот вечер. Давно такой не был. Это после ванны: личико порозовело, а кудри пушистые до

* Панченко, композитор, друг Бекетовой.



того пышно вились, что нельзя было их не тронуть. А они говорили, что Боря похож на Любу. Я с негодованием не соглашалась и С. В. тоже протестовал.

Белый. Иногда стили сказочных глупостей — не было; А. А. хмурился; от него шли туманы; мне — делалось душно; однажды особенно был он доверчив со мною; сидел в столовой — за чаем; повел в свою спальню, сказав, что ему нужно что-то поведать, отделить, — без «Любы»; меня усадив на диван, он пытался мне выразить, что теперь он пришел к удивительному, очень важному внутреннему знанию; знание связывалось с восприятием сильно пахнущего фиалкою *темно-лилового* цвета:

— Ты, знаешь, он — пахнет так душно: лиловый такой и ночной...

С этим цветом он связывал новую эру знаний своих; в ту эпоху сложил я теорию восприятия цвета; А. А. понимал, что в теории выражал я свои восприятия мистической жизни; определить человека, событие в *цвете, а цвет* — в свете этой теории означало: произвести опыт в духе; мистический опыт сложил: в отношении друг к другу цветов; и А. А., наклоняя лицо надо мною с волнением все пытался сказать, как он много узнал от вживания в едко-пахучий фиалковый, темно-лиловый оттенок; *оттенок* его как-то странно увел от прошедшего: и открылся ему такой темный, лиловый и новый, крупнейший мир. Что такое *фиолетовый* цвет? И — А. А. посмотрел на меня испытующе.

Я же смутился...

В оттенке, пленившем А. А... — величайший соблазн, удаляющий от Лика Христова; пока А. А. тихо, взволнованно пересказывал мне восприятие этого темно-лилового цвета, я чувствовал нехорошо себя: точно поставили в комнату полную углей жаровню; угар я почувствовал; то угар Люцифера; «пасть ночи», которая мне распахнулась однажды от разговора с А. А. на лугу, я увидел вторично; увидел А. А., уходящим в глубокую ночь; знал: ответить ему не могу, потому что А. А. — не поверит, обидится; я ответил:

— Да, в этом лиловом оттенке — предел утонченности, но нет — Лика...

— Что ж... ничего: хорошо!

И опять — стало душно; А. А. воспринимал прежде черное, как страшное, смертное, чего он боялся; теперь в эту «смертную ночь» эстетически он опустил три священные краски (лазурь, пурпур, белила), смешав их со тьмою; и это смешение — темно-лиловый оттенок, фиалковый, люциферический запах; так откровенностью со мною А. А. — был раздавлен; а он — не видел моих тайных мыслей: испуга за Блока, ведомого в «темно-лиловую» ночь из слепительной розово-золотой атмосферы; тут он прочитал мне «Ночную Фиалку» свою в неотделанном виде; он выразил в ней переживание «лилового» цвета и новых знаний, соединенных с «лиловым»...

Люцифер!



Очень долго сидели с А. А. на диване в ту ночь; он — читал мне набросанную «Ночную Фиалку», взволнованно посвящая в свои восприятия *лилового* цвета; а мне было душно...

Но спастись А. А. было мне трудно, почти невозможно...

Долго мы просидели вдвоем; после тихо вернулись мы к чаю; молчал; впечатление узанного давило; Л. Д. с Александрой Андреевной посматривали на нас; они знали: нельзя нас расспрашивать о разговоре вдвоем: было грустно и душно; и я поскорее ушел. А. А. так-таки ничего не заметил; тяжелое впечатление вызвал во мне он знакомничем с *лиловой тайной*.

В то время... я слышал все чаще от Блока об Е. П. Иванове, замечательном человеке по мнению Блока; и Александра Андреевна присоединилась к сыну; не помню, встречал ли у Блоков его в это время; встречался, наверное, у Мережковских; там звали Иванова «рыжкаком»; Е. П. скоро стал другом А. А. Про него много раз А. А. строго говаривал:

— Знаешь что, — он совсем удивительный: сильный и с опытом...

— Нет, он не то, что другие.

— Совсем настоящий.

Мне помнится, что А. А. очень часто впоследствии в трудных минутах своих обращался к Е. П. за советом. В эпоху, когда мы почти расхотелись, А. А. обращался ко мне:

— Ты спроси-ка Евгения Павловича: он — тебе скажет. Или:

— А вот — погоди: — вот придет Иванов, Евгений Павлович, — рассудит, как надо.

Не раз замечал я тенденцию у А. А. в очень трудных, запутанных отношениях между нами подставить Е. П., как третейского между нами судью; и за это а priori на Е. П. надувался я (несправедливо, конечно). Впоследствии я Е. П. оценил, как действительно одного из немногих, кто подлинно был символистом, не написав ничего, вместе с тем, — неприметно участвуя всюду, в глубинных истоках, рождающих внутреннее устремление жизни. На похоронах у А. А. подошел я к Е. П., пожал ему руку; он плакал; махнул он рукою:

— Ушел... Мы — остались тут; а для чего — догнывать? Дружба Блока с Е. П. обнимает года...

В то время как раз начинается более тесное соприкосновение А. А. с Вячеславом Ивановым, — через меня...

Иванову и Зиновьевой-Аннибал^{*} я рассказывал много и долго о Блоке, которого знали они очень мало, которых А. А. в то время дичился... В. Иванов меня поражал удивительным пониманием моего отношения к Блоку и к музе его, ко всему, нас связавшему, и к «атмосфере» меж нами; то именно, что осмеивали во мне Мережковские — несказанность, невыразимость, молчание, — то Иванов подхватывал, запевая своим тонким голосом, точно смычком

^{*} Жена В. Иванова.



громкой скрипки, петушьим смычком; он похаживал предо мною, потряхивал бело-льняным руном завивающихся волос, оглашая пространство причудливой комнаты, треугольной какой-то:

— В том — суть дионисического переживания: то, что вас связывает у Блоков — мистерия...

— Надо теплить мистерии...

И далее переходил он к теориям о новом театре, который уже очень скоро возникнет (и не на сцене, а в жизни интимной, возвышенной драматичностью).

Так В. Иванов высказывал величайшую чуткость к А. А. и ко мне.

Я частенько в то время передавал А. А. Блоку свое впечатление от Иванова; я утверждал изумительную проникновенность его; А. А. верил с трудом мне: препятствовала репутация В. Иванова, — репутация не поэта, а «*Теоретика*»; и препятствовал вид: вид профессорский; но Л. Д. откликалась на мысли о новом театре мистерий, как раз соответствовавшие настроенью ее, — создать пробу импровизации и найти внешний жест к безглагольному жесту; она увлекла А. А. в направлении этом.

Так я подготовил им почву для встречи с Ивановым; встреча связалась с конкретной мыслью: создать коллектив (полустудию, полубоцину); лишь немногие, избранные, должны были быть, по фантазии нашей, допущенными к коллективу; не помню кому принадлежала идея; быть может Л. Д.; А. А. — отозвался; Иванов, которому передал я затею, развил ее; а из всего вытекало: А. А. и В. И. должны были сойтись.

Я повез В. Иванова к Блокам впервые; и сидя в санях, созерцая фигуру В. И., чрезвычайно сутулую и закутанную в огромную шубу, с дрожащим «тенсне» на носу, я подумал: А. А. и Л. Д. испугаются — «*профессорствования*»; и — разговор — оборвется; но — он не сорвался: В. И. заплетал чудодейственную мягкую паутину идей; разумеется — очаровал Блоков он; Л. Д., кажется, особенно подчинялась словам о пурпурных цветах для одежд в дионисических таинствах и о зелененьких «*бакхах*»; решили: стараться осуществить «коллектив»; В. Иванов упомянул о Чулкове, как о чуткой душе, нас способной понять; и — включили Чулкова...

Бекетова. 16 декабря 1905. Петербург

Он* ужасно, томительно тяжел, и они находят его легким. Аля говорит, что он похож весьма на Любу. Это с ее-то трезвостью, молчаливостью, спокойствием и его гомерической нервной болтливостью и залезанием в эмпирию. Я уж молчу на все это, до того мне чужда эта точка зрения, чего-то я и тут не понимаю, и мне действительно кажется, как говорит Аля, что это все вздор. Много, ужасно много, по-моему, вздору и крайностей, которые все отпадут, как

* Белый.



многое уже отпало. Ведь, небось, не нравилось Але все вывезенное из Москвы в первую поездку Сашуры и Любы. Сам Боря писал сатиру на «крайности мистицизма», а теперь что же говорит? То была «сказка демократа», а теперь Люба и спасение мира через нее. До чего глупы мне кажутся его вечные вопросы к ней и то значение, которое он придает ее ответам. Ну, умна она, ну, мудра, но ведь не развита-то как.

Белый. Я — собрался в Москву; далее, кажется, куплен билет был; и — кажется, даже простился я с Блоками; словом — уехал; как вдруг — железнодорожная забастовка; восстание в Москве. Каждое мое передвижение от Блоков — сопровождалось сюрпризом; убийство фон Плеве, убийство великого князя, восстание на броненосце «*Потемкин*», восстание в Москве.

Я был вынужден переждать; с первыми поездками уехал; простились мы бодро; А. А. мне сказал:

- Переезжай-ка совсем к нам сюда... Л. Д. подтвердила:
- Скорей приезжайте: нам будет всем весело!

Иванов. 26 декабря 1905. Петербург

...В 4 часа раздался звонок и неожиданно пришли Любовь Дмитриевна и Александр Александрович. Люба в белом платье, белом боа и горностаевой шапочке. Такие оба великолепные, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вспомнилась «нечаянная радость». Перо от боа упавшее я храню от этого «визита»...



Глава XI. «Истекаю я клюквенным соком...»

Люба – Белому. 29 декабря 1905. Петербург

...Все, что Вы пишете, мне близко, близко. И я на все радуюсь и улыбаюсь. Очень хочу, чтобы Вы опять были в Петербурге, опять приходили бы к нам; тогда Вы видели бы мое к Вам отношение, даже если бы я и не говорила ничего. Ведь Вы будете так устраивать свои дела, чтобы приехать в конце января? Вы знаете, как мы все этого хотим...

Белый – Блоку. Конец декабря 1905. Москва

...Ты близкий мне навсегда.

Спокойный...

Звенящая грусть опоясала Тебя.

Я ее слышу.

Мне хочется часто умалиться в своем, чтоб мои страны не мешали мне все о Тебе безраздельно принять в свою душу.

Прости меня, если до последнего времени я Тебя не умел понимать.

Боже, как я раскаиваюсь.

Я все больше, все больше, все глубже Тебя люблю.

Мне странно писать это, разве прежде я не любил Тебя?

Любил всегда, но не чувствовал такой близости, как теперь. Усталый, разбитый, полуживой, я теперь хочу сидеть рядом с Тобой — без слов, без мыслей, без движений.

Я теперь беззащитный, безвольный, ослепший от мучительных переживаний осени.

Бога ради, не переставай меня любить.

Я теперь в положении нищего, отдавшего свои богатства, — обнищавшего в тоске так легко незаметно отвергнуть. Тоска меня сокрушила — тоска желтой осени, деревья облетали, листья кружились, облаков «меркли края».

Милый, брат мой, не покидай, не покидай, когда я, нищий, — отдыхаю.

Блок – Белому. 30 декабря 1905. Петербург

...Всегда помню Тебя, радуюсь, и учусь у Тебя. Все, что важно для меня в Петербурге, теперь полно Тобой, смягчено и улегчено... Через Тебя я теперь опять особенно люблю всех Мережковских, которых осенью начинал забывать, и знаю теперь, как это было нехорошо. На моей маме после Твоего отъезда я замечаю все время Твое влияние, она способна радоваться на Тебя, как ни на кого и ни на что в свете. Нечего и говорить обо мне, которому Ты близок и нужен бесконечно и в самом глубоком. Ты знаешь, что я только



почти никогда не умею этого выражать, а прежде не всегда был в этом уверен. Теперь я знаю ясно и уже спокойно и просто, как совершившееся твердо, — что Ты первый и единственный, показавший мне, что такое братское: что это не есть совместное, но истерическое захлебыванье «глубинами», которые быстро мелеют, и не литературное подмигиванье, — а тишина и безмолвная помощь. Мне больно, что я не умею помочь Тебе, а если иногда и помогаю, то бесконечно меньше, чем Ты мне. Но, может быть, поняв эту помогающую тишину, я и научусь помогать. В этом смысле Ты первый, вытаскивший меня из самодовления, в котором я вечно пребывал, не нуждаясь в братстве, пока не узнал, что это такое...

Люба – Белому. 20 января 1906. Петербург

Милый Борис Николаевич,

была сегодня Тата; она мне очень нравится, разговаривать с ней легко и просто, будто давно знакомы. Она очень, очень славная, и я понимаю, что она Ваш друг. И я хочу быть с ней близкой. Она будет теперь ходить к нам часто — рисовать Сашу...

Тата – Белому. 26 января 1906 Петербург

... К Блокам я хожу почти через день, его рисую. Писал он Вам? Любовь Дмитриевна сидит и вышивает. Мы разговариваем. Будто и о пустяках. Мне жаль, что как-то одну ее, отдельно, я не могу увидеть. Положим времени прошло еще немного. Они были у меня на именинах. Они оба очень хорошие, по-моему, но какие именно в отдельности — еще не поняла. Чувствуется, что в чем-то она над ним. Вот в чем? Портрет Ваш им очень не понравился. А Иванову Рыжему да... Брюсов (был у нас. Я его застала уже уходящим) видел Ваш портрет, и очень ему техника понравилась. А сам портрет, как «Боря», нет. Он сказал (скромно и мягко), что кто видел хоть один момент Вас настоящего, тот не может удовлетвориться этим портретом. Значит, он видел Вас в настоящем виде?

У Блоков особенная тишина, мир. И кругом хорошо. Писали они Вам что-нибудь обо мне, или нет?

Белый. Я готовился к переезду; казалось мне — мы с А. А., с Вячеславом Ивановым можем начать *наше дело*; подготавливать — наше действие; *мистерию человеческих отношений* под скромной личиной: интимного, театрального действия. Любовь Дмитриевна мне писала в то время: «Скорей приезжайте: за ваше отсутствие написал Саша драму; она называется *«Балаганчик»*: хороший он...»

В феврале 1906 года я — тронулся в Петербург.

В феврале я — опять в Петербурге; за день до отъезда в Москве, у меня — аргонавты; меня провозжают: как будто совсем уезжаю... Очень грустно: действительно, — точно простились; не помню, чтоб так собирались, — потом; мы расстались; и — оказались в различных



течениях: не было молодого задора, как прежде; у всех обнаружилось — драмы... да, мы прощались.

Приехавши в Питер, остановился на Караванной я, в мебелированных комнатах, игнорируя Мережковских, которые не могли мне простить нападательный тон мой в «*Веснах*». Петербургские устремления были связаны с Блоками; в первый же день по приезде увидел в окне магазина я куст пышной, бледнеющей, великолепной гортензии — голубой; послал ее Блокам; боялся: за эту посылку — «*влетит*»; не влетело; Л. Д. лишь сказала:

— Такой не видала!

Александра Андреевна посмеивалась:

— Ну конечно, должны были вы этот куст нам прислать.

Все как следует...

И понятно: сердится — за что?

Было холодно как-то в гостиной с зелеными креслами; куталась в красную тальмочку Александра Андреевна; сердце у ней расшилилось; она говорила:

— Вы знаете, как припадок, так делается — не то: это знаете?

— Знаю.

— Так знайте же: это — от сердца...

Впоследствии в схватках невроза, я — понял, что чувствовала Александра Андреевна:

— Все то, да — не то...

Мне запомнились эти слова, потому что они выражали какую-то смутную мысль; эти белые стены, в которых сидели недавно с уютом — не те; и холодные: в комнатах — холодно; А. А. — тот же; и — нет: не декабрьский; и тоже поступок с гортензией; что нехорошего, — полюбила гортензия; я и послал; вышло — как-то не так; Александра Андреевна, хваля мне гортензию, точно старается: оправдать; мне не раз говорила Л. Д., что во мне — вкусовые дефекты; и частое перечисление драгоценных камней в моих строчках не нравилось:

— Саша не сделает таких промахов. Раз же сказала она:

— Посоветовала бы вам галстух носить другого оттенка; оттенок, который вы носите, как-то безвкусен...

И вот я почувствовал, что посылка гортензии всех покорила; но — пощадили; самолюбие — заговорило: замкнулся (не так меня встретили: не на *это* я бросил Москву...).

— Нет, не то!

Я позволил себе аритмию вторую: прочел им статью мою о «*Трилогии*» Мережковского для «*Золотого Руна*»... Стало холодно; стал я высказывать мысли, сплетая с цветами; привел им градацию тусклостей и Л. Д. поднялась; и — ушла; я не понял — за чем; — но обиделась явно; потом, уже выйдя, сказала:

— Ну что, — перестали ругаться?

Действительно, в тусклой градации — отразилось во мне что-то, схожее с недовольством, я сам — не заметил; Л. Д. поняла:



я ругался цветами. Прощался и видел: ярчайшие апельсиновые оттенки зари.

Блоки скоро меня посетили; и снова — «не *то*»; и — неловкость; коснели в безвкусице номера — около столика; подали чай; А. А., делая вид, что ему хорошо, — улыбался любезней; я сделался — словоохотливей, а Л. Д. — не любезней, чем надо; а косные стены стояли, нас гнали; и нам говорили:

— Не *то*!

Неудачился вечер; А. А. выпускал папиросный дымок и свой юмор: да, да, ждет меня распекание: «*Зина*» и «*Дима*» в присутствии «*Татья*» и «*Натя*» меня-таки да, — за статью.

— Ты-ка, спрячься пока: не ходи! попадешься, — влетит, — говорил он, вставая, похаживал вдоль стены, садился опять; и искорка юмора блекла; и взгляд становился далеким; и делалось вяло: и *серо-лиловая*, *серо-зеленая* атмосфера какая-то разливалась вокруг; принимался их потчивать сладкими пирожками., А. А. — улыбался:

— Нет, лучше оставь: не умеешь...

Так было в тот вечер; я ехал, переселялся, может быть, навсегда: и Л. Д., и А. А. вызывали меня; а, приехав, — увидел: *необходимости приезжать-то и не было*: тут в Петербурге *их* жизнь; я — с Москвой; выходило: я здесь состою адъютантом каким-то; и Блоки, так звавшие, сами не знали, на что я теперь, осознав, что — не нужен, — испытывали недовольство собою и — мною): как будто судьба моя попала им в руки; так тяжесть, которую вызывались нести, потому — что доверился зову; звать значило — к ним: а им было тяжело самим, углубились меж ними различия; было труднее им вместе; вплетение лишней судьбы — осложняло: чего-то во мне испугались; А. А. был под гнетом, передавшимся: и — в заботах: экзамены (государственные) предстояли ему; не до меня тут; а я появился: и — требовал точно чего-то.

Но суть не в экзаменах, а в желаньи А. А. отмахнуться от всех, с А. А. бывали периоды, переходящие просто в угрюмость; она развивалась в позднейших годах; для меня же отметилась только в этом периоде; периоды он убегал от людей; мне позднее случалось спрашивать:

— Что Блок?

— Блок — мрачен, невидим... И иногда прибавляли:

— Он — пьет.

А. А. чувствовал: слом путей приближался: темно, безотрадность; *лиловый* оттенок, манивший его в *ноябре*, — повел в ночь; стал — чернеть, обволакивая; щеголяние в пышностях цветочных он рассматривал маскарадом; доселе в быту он держался и милым, и светским, очаровательным через силу; раз я увидел его перепутанным, встрепанным: в Шахматове. А теперь его кризис облек в постоянное выражение скорби и строгости, воспринимаемое глухотою какою-то; часто сидел он в глубоких тенях, из которых торчал удлинившийся нос, и виделся мне изогнувшийся рот;



желтовато-несвежий оттенок хуdevшего лица, мешки под глазами, круги, — это все говорило без слов:

— Не понимаю!

— Не то...

Натолкнешься на этот невнемлющий взор: и — толкаешься в душу:

— Пойми!

Уже и злил меня видом, упорством, глухонемой безотзывностью; прежде отзывный, теперь — как стена; знал: Блок — умница; вид идиотский — каприз и протест; против слов; если бы был перед ним Мережковский, Бердяев, Булгаков, — я понял бы; а ведь тут — я; и заметивши, что Блок — глухарь, невнимающий внутренне, очень бесился: не мог допустить, чтоб А. А. относился ко мне, как к другим...

Видя Блока капризником, непонимающим внятности, — думал:

— Разыгрывает роль дурачка... А. А. водит за нос... И я раздраженно себе говорил:

— Ну, меня водить за нос — не будешь!

Такой вот аспект в лице Блока отчетливо выступил в памятный вечер; было втроем — неуютно; Л. Д. — побледнела в том черном, обтянутом платье, в котором я видел ее во сне (год назад). И вот, — точно я вошел в сон; или — сон этот вышел; внимала как будто бы звукам судьбы, охватившей так скоро; А. А. не поддерживал наш разговор (вывозил его — я). Заговорили о Рябушинском, редакторе «Золотого Руна» и о пиршестве в «Метрополе», смешных инцидентах; Л. Д. отмечала:

— Москва...

Что на ее языке означало:

— Провинция...

Мне доставалось:

— Москвич!

Это значило:

— Галстух не тот...

И глубокая разность «московской» природы от «такта», в которой рядилась Л. Д., поднималась меж нами; А. А. поправлял положение; но — знал; он с Л. Д.

— Говорил: — «у вас так это, а у нас, в Петербурге, — не так»...

Л. Д. тут зевнула:

— Пора: очень хочется спать!

Решено было встретиться — вскоре: А. А. прочитает написанный им «Балаганчик». И Блоки ушли; еще долго шагал, ударялся в стены, а стены сказали:

— Не то!

И хотелось — в Москву; было б лучше! Но я — не уехал...

Вот — чтение «Балаганчика» или удар тяжелейшего молота: в сердце; пришел еще рано, — в приподнятом настроении: ведь на-



писана гениальная вещь; ведь писала Л. Д. «*Балаганчик*» — *хороший*; «*хороший*» связался с мыслью, что драма — «*мистерия*»: для постановки в Интимном Театре, которого водили Блоки, Иванов и я; тут мне виделись *важные действия вместе*; то — утверждение любви коллектива...

Собрались в зеленой гостиной; пришел Городецкий и Пяст, и еще юноша, стянутый в свой сюртучок — преторжественно, точно на праздник; и Е. П. Иванов, столь чтимый у Блоков, которого Мережковские называли «*рыжак*», косолапо рыжел он, гудел между креслами; кто-то еще; Л. Д. с взвинченной аффектацией, стремительно принимала гостей (наблюдал, удивляясь ее экспансивности, новой в ней); каменный и угловатый А. А. деловито потаптывался, раскрывая гостям портсигар; был сюртук в этот вечер поношен на нем.

Все расселись на мягкие кресла; А. А. монотонно читал себе в нос:

— Истекаю я клюквенным соком.

Нелепые мистики, ожидающие Пришествия, девушка, косу (волосяную) которой считают за смертную косу, которая стала «*картонной невестой*», Пьеро, Арлекин, разрывающий небо, — все бросилось издевательством, вызовом: поднял перчатку! Назвать «*Балаганчик*» хорошим — не мог; и его написал А. А. Блок?

О, конечно, он — изгнанный из придела Иоаннова: так я подумал; и нечто, подобное смерти, переживал; я не понял страдания, продиктовавшего строки; но — понял я: даже радостная импровизация, о которой шла речь, — погибнет; и вместо души у А. А. разглядел я «*дыру*»; то — не Блок: он в моем представлении умер; пусть видели — *великолепнейшее произведение искусства*; произведение исполнено силы, — я видел; но думал: какую цену покупалась она?..

Молодежь — восхищалась; немеющий Пяст ничего не сказал; и спросили:

— Ну что? Я ответил:

— Да, знаете, — замечательно...

И весь вечер старался держаться, как если бы все было — «то»...

Мы с А. А. никогда не беседовали о «*Балаганчике*»; раз он повел меня сам: посмотреть на него. Посмотрели мы молча...

Зачем не уехал в Москву? Продолжал посещение Блоков; ходил — не к А. А., — а к Л. Д.; потеряв в А. А. брата, привязанность к «*коллективу*» я перенес на нее; а граница меж мной и А. А., переходящая во взаимное недоверие, просто оформилась тем обстоятельством, что А. А. предстояли экзамены: я же — не буду «*мешать*»; говорили об этом не раз мы с Л. Д., с Александрой Андреевной.

Просиживали с Л. Д. вечерами; и из рассказов ее выяснялся размер перелома в душе у А. А. и — подробности личной жизни, мне чуждые: другой Блок! Но Л. Д. говорила, что нужно беречь



его; что в нем — много больного и детского; но и другие — суть дети (что детское было — доказывает пристрастие Блока к картинкам; он, взрослый, вырезывал их, чтобы наклеить в тетрадь); говорила Л. Д.: ей порой с А. А. трудно; она — утомляется в роли: быть нянькой.

А. А. не присутствовал при разговорах о нем, а сидел в смежной комнате: с книгой; потом выходил и с натянуто-недоуменной улыбкою, сквозь которую проступала отчетливо хмурость, искал он предлог нас покинуть: рассеяться после занятий.

Казалось, что А. А. недоволен беседами, подозревая вмешательство в личную жизнь; но — молчал; и неискренность эта меня раздражала: ведь сам отдалился: и создал меж нами — молчание; стало несносно сидеть нам втроем, вчетвером; и когда собирались вместе, то чувствовал: А. А. думает, что я думаю, что он думает; каждый так думал; и легкость былого общения переменилась в непереносную тяжесть; лишь изредка силился я по-прежнему пооткровенничать, чтобы вместе *понять, разобрать*, но он видом показывал:

— Фальшь...

— Нет, не выйдет...

— Давай уж молчать...

— Говори себе с мамой и с Любой...

И стало казаться, что нет *«коллектива»*, а — ряд замыкаемых отношений, в которых не все безмятежно; разлад — углублялся: меж каждым и каждым; и — новые отношения строились: ясно лишь было, что о былом, о совместном, не может быть речи.

Да, эти недели окрашены: совершенным отсутствием на моем горизонте А. А.: он сидел — в смежной комнате; и — выходил, проходя; начинаются частые исчезновения Блока из дому; окреп в нем шатун...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. АРЛЕКИН

Глава XII. «Да, цедем! Да, люблю!»

Бекетова. За эти годы Любовь Дмитриевна, которая до замужества отличалась застенчивостью, под влиянием всеобщей симпатии и интереса развернулась и стала гораздо смелее...

Люба. Я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания, победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбита линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку.

Конечно не муж и не жена. О, Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я, и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, говоря, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь. Я не пошла на услаждение своих «женских» претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого, серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существует.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою неизблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем распатанной. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.



Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его — опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты так же». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по-писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти — это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немного прекратилось...

Белый. Я все более понимаю Л. Д.; очень странно: до этого времени лично почти не общались мы; Л. Д., точно играя на сцене, присутствием «освещала» нас, дирижируя тонусом разговоров, — улыбкою, взглядами; воспринимали вне лично ее, как бы фоном как место свершения важных душевных событий; она стала — «символом»; это С. М. Соловьев, деспотически правивший прежде «ладьей» общения, создал почву, такой «status quo» устранил Л. Д., превратив ее в символ, в жену мирового поэта, в инспиратрису его: в знак зори; о живом человеке не знали; создали Л. Д. для себя; и она — приспособилась к нам.

После резкого отчуждения С. М., Л. Д. вдвинулась в наше общение с А. А.; не была уже фоном, Любовью *Деметровной*, дочерью «хаоса» (Менделеева); из персонажа «*Лапановской* «философии» стала «сестрою»; взяла ноту — в трио; но брала ее только «*меж нами*»; с А. А. удалялись en deux, а с Л. Д. я никогда не имел разговоров (как с Гишпиус, с «*Татюю*», с Александрой Андреевной), выхождение С. М. из «*коммунь*» есть шаг на пути к моей встрече с Л. Д., продиктованной всем...

Расходясь с А. А., конкретно столкнулся с Л. Д.: человека увидел; и — понял: переживала острейший толчок, ее бросивший от «*зори*», интересов к науке и к Канту (она занималась сперва математикой, после же логикой), ее бросивший к скептицизму, к тоске по конкретности; не без надрыва вступала на путь артистизма; переход ей дался нелегко; и — страдала; и говорила, что «*зори*» вскружили ей голову; в «*инспиратрису*» всех — верила, вошла в роль; «*зори*» гасли; а «*роль*» — оставалась: инспиратриса, «*дочь светлая хаоса*», стала артисткой, говорила, что мы ее — портили «*ролью*». Теперь в ней сказался протест и желание выявить без



остатка себя, как себя; и — критически нас разбирала; и многое в нападениях Л. Д. было горькою правдой: она — человек, а не кукла, не символ; стал слушать ее, разбирать отношения наши друг к другу и нападать: на всю линию поведения А. А.; но Л. Д. защищала его; в защите же предо мною возникал новый Блок; это тоже удар для меня; Л. Д. видела в нем раздвоенье всегда; но она утверждала: А. А. — лучше нас; он, по-своему — прав.

Я — оспаривал.

В спорах о жизни мы сблизились, как искатели правды, ее потерявшие в безглагольность прошлых «радений»; прислушивались к искусству, ходили гулять в Эрмитаж... и возвращались Набережной, — в казармы, к обеду; тогда выходил молчаливый А. А.; я умел подмечать несогласие меж Л. Д. и А. А., присоединяясь к Л. Д., отдаваясь растущему отчуждению к Блоку; Л. Д. — подала бессознательный повод для критики «*Блока-поэта*», признавшись, как ей тяжело...

Встретился я с Мережковскими: произошло объяснение; приводили к присяге меня: укоряли, стыдили, — простили; и мы — обнялись; водворился по-прежнему в доме Мурузи; и было — по-прежнему: перед камином с З. Н.: разбирательства религиозно-общественных отношений с Д. С. и Д. В. Философовым, дружба и с «Татой», и с «Натой»...

Дружил я с Т. Н. (или — с «Татой»), бывавшей у Блоков, и — понимавшей меня; и З. Н., и Т. Н. я рассказывал о стене между мной и А. А.; З. Н. очень близко входила во все; говорила:

— А?.. Видите: ваши «*радения*», и безгласность у Блоков — к чему привела? Говорила я: «*где-то*», «*что-то*» — к добру не ведет.

Начинал ей внимать: отчужденье от Блока перерождалось в желание: агрессивно напасть.

И З. Н., и Т. Н. наблюдали растущую дружбу с Л. Д., и расспрашивали, принимая все близкое мне; в З. Н. Гипсиус жила жилка «*матерого*» агитатора; ей хотелось привлечь Л. Д. к кругу идей их; «*Блок*» — виделся безнадежно далеким; Л. Д. возбуждала надежды; обратно: Л. Д., оказавшая резкую оппозицию идеологии Гипсиус, стала меня о ней спрашивать; заручившись согласием З. Н., предложил я Л. Д. — отправиться к Мережковским; Л. Д. согласилась; и назвала З. Н. — «*Зиной*»; А. А. — показалось мне — был недоволен; но он, подавив в себе чувство, спокойно нас выслушал; выраженье, которое в нем не любил, промелькнуло-таки; не понравилось в нем противленье. Поставил я цель: расширять круг общений Л. Д., жившей замкнуто, только для «*Сашки*», а здесь, в этом быте — сомнительные бесенята: и быт мне казался болезненным миром болота, «*Фиалки ночной*», отравлявшей А. А.

Это все произвел «*Балаганчик*»; в мире душевном есть «*Блок*»; после — нет!



Уже яснили слезливые просины первых весенних деньков; просияли капельные слезы; и Петербург — улыбнулся; мягчайшею, ранней весною...

А дни — бриллиантились, в слезы пустились; расставились лужицы, и мостовая из белой вдруг стала коричнево-бурой.

В такой-то денек я заехал за Блоками (будто они не умели приехать); считал своим долгом! и собственно: вовсе не «их», а Л. Д. (А. А. часто бывал у З. Н.); из одной атмосферы в другую — в сопровождении недоумевающего А. А., который от нас запахнулся в «экзамены».

Надоело выслушивать: «Саша... экзамены... Сашин экзамен...» С пренебрежением думал:

— Вот невидаль: «Сашин» экзамен... Устраивают мировое событие из экзамена... Все мы держали; и не ходили с «экзаменом», точно с торбой.

Обращенье к экзаменам «Сашин» во мне вызывало:

— Ах, обращаются, как с тюком.

И я, каюсь, я звал про себя его:

«Тюк...» Я думал:

— А этот бы *тюк* да встряхнуть!

Я не видел, — пассивность А. А. происходила от вовсе иного: терял веру в жизнь; рассеянность, хмурость, далекость — впоследствии оказались: анестезией страдания... И да: истекала душа его — кровью; когда бы нашелся в те дни кто-нибудь, кто сумел бы внушить ему бодрость, последующие года не протекли бы так; разочарования двадцатых годов не унесли бы его! Я был близок к нему; и — не понял его; и все делал, чтоб боль его сделать острее; и присыпал к его ранам лишь соль...

С ограниченной тупостью я тащил к Мережковским его — на буксире: среди золотистых капелей; в двух саночках, стучающихся о выступавшие камни, тащился медленно у Литейного Моста; я — спереди; сзади — Блоки; — Л. Д. — возбужденная, а А. А. — лишь скучающий, что могли Мережковские рассказать его жизни? Я помню, что я обернулся на эту столь разную пару; Л. Д. помахала мне муфточкой; А. А. сидел грустный: отчетливый, розовый профиль его (розовеющий в солнышке), нос и лицо, напоминающее мне теперь не зарю, а лицо озаренного, скорбно-ущербного месяца; и большая, бобровая, очень пушистая шапка тенила глаза; я махнул им рукой; А. А. криво совсем обернулся. Ухаб: и — подпрыгнули; нос убежал в воротник, точно месяц ущербный под облаком.

Слово «*ущерб*» определяет мое впечатление от него в эти дни; что-то лунное в нем подчеркнулось; казался черствее и суше: поджатый, ущербный — не элегантен он был; и не розовым — желтоватым казался; он маску носил на *лице* острой боли, которая сопровождала стихи им написанные...

Таким блеклым, забытым и мертвым — сопровождал он Л. Д...



Все срывающий скепсис, подозревающая человека улыбка, граничащая с издевкою, и впечатление от него самого того времени — впечатление от ущербного месяца: деланная улыбка, зеленоватый оттенок мутнеющих глаз, мной подматриваемый сквозь налет равнодушия (Ну — избил бы, ну раскричался бы лучше!).

Таким я подметил А. А., подъезжающим в саночках к дому Мурузи; заранее он отравил мне всю радость знакомства Л. Д. с Мережковскими: не было еще знакомства, а он — «*искривил*» свой рот.

И к стыду своему я в себе уловил прилив бешенства к этому «*рту*».

Появились втроем мы в гостиной; З. Н. в белом платье (скорее в подряснике) там пышнела уже рыже-розовыми кокетливыми волосами, затянутыми ярко-алую ленточкой, несколько официально оглядывала через взлетевший лорнет; вот упал он от глаз; улыбаясь, пошла к нам: Л. Д. даже как-то рванулась навстречу; взяв за руки, сели рядом, озаренные красною вспышкой камина; его растапливал, перекаляя в нем шипчики; занял обычное место свое у огня, забавляясь развитием красного газа. А. А., — сел вдали: сел в тени; не желая вступать в разговор, он отсиживал; я молчал, чутко вслушиваясь; слышались ленивые фразы З. Н.:

— А... скажите...

— А... как же...

— А... Боря рассказывал...

Разговор принял дружественное течение; я удивлялся: естественна встреча; и думалось, глядя на Блока:

— Чего ты такой?

Он — тенел, выступая лицом, восковым, точно мумия...

Непроизвольным движением (от нервности или досады) я выхватил из камина щипцы, повернувшись в полуоборот и взмахнул ими в сумерках; увидавши сияющий белый зигзаг раскаленного, пахнущего угаром металла, Л. Д. вдруг схватила за руку З. Н.:

— Посмотрите...

— Что делает...

— Остановите...

Чего испугалась? Засунул щипцы в раскаленные уголья; и — отошел; явился Д. С.* очень-очень любезный и милый (как будто бы светский)...

Но все обращались к Л. Д., — не к А. А.; было ясно, что «Блок» не при чем: никому он не нужен; и «*нашим*» не будет («Мы — ваши, вы — наши!»)... Он сам это знал, покоряясь печальнейшей участи: ущербляться у стенки, досиживать, чтобы потом удалиться; и, отсидев, удалился.

З. Н. говорила потом о Л. Д.:

— Удивительно женственная натура она...

* Мережковский.



И Д. С. все похаживал:

— Да, что-то есть в ней...

И, кажется, выражал свою мысль: Л. Д. *действие* нужно; она — в *созерцании* (а под *действием* разумел он, конечно же, — *новое религиозное действие*), долженствующее открыться в кругу «*сознающих*»... Л. Д. надо бы было скорее «взопреть»: в заседаниях Религиозно-Философского О-ва... Поговорили с часок о Л. Д.; и «*взопрели*» на темы серьезные, об А. А. и не вспомнили...

На другой уже день пред разложенными сундуками, запихивая в сундуки переплетенные книжечки со стихами, флаконы духов, связки рукописей и изящные ленточки, З. Н. снова говорила о «*Блоках*»; просила писать ей...

И — опустело: мы зажили в «*Таты-Натиных*» комнатах; стало в гостиной уныло...

Да, решительный разговор! Но о чем? «*Балаганчик*» — не в нем только дело, а в том, что в словах между нами ни разу и не было сказано, что носилось вокруг «атмосферой» без слова, в ритмическом оберегании друг друга во имя единого Главного; перед какою-то темой ходили мы оба — ценнейшей, которую мы должны были некогда осуществить на земле; так, команда фрегата, осуществляет различные функции, в конечном итоге все функции способствуют плаванию; гордый фрегат пересекает опаснейший океан; и — приближается к Новому Свету; матросы команды во время пути могут ладить друг с другом; и могут поспорить они; это — частное дело; их общее дело какие-то производить очень разные действия (так: один измеряет глубины, другой — смотрит в трубку, а третий про-smаливает канаты; четвертый — стоит у руля); в результате же разнообразных и видимо вовсе не связанных служб совершается общее дело: корабль продвигается.

Да, возникшая непроизвольно «*коммуна*» — А. А., я, Л. Д. и С. М. Соловьев. Мы с С. М. добровольно избрали А. А. капитаном; Л. Д. оказалась по нашему мнению (уже потом) очень-очень талантливой капитаншей; С. М. ее прочил в начальницы; произошло вдруг смещение команды; и в результате: С. М. нас покинул; теперь уже я обнаружил подмену пути, в результате которого произошло столкновение; обнаружена течь, от которой — корабль погибает; а «*капитан*» называет событие это — «*Нечаянной Радостью*»; я все стараюсь пред ним обнаружить ошибку; а он — заширается, предоставляя нас участи; я — произволом захватываю от отчаянья власть над командным составом; и — силюсь спустить прямо в воду спасательные баркасы; теперь предлагаю настойчиво сесть пассажирам (Л. Д.), пока можно спастись. Меня спрашивают: «А капитан?» Я бросаюсь к каюте, в которой сидит легкомысленный капитан, начинаю ломиться в нее; дверь — заставлена, как нарочно, какими-то совершенно ненужными тяжестями и «тюками» («*тюки*» — государственные экзамены «*Саши*»).



Вот как символически изобразил бы я суть создавшегося положения меж нами троими.

Не важны совсем и те личные отношения, какие теперь обнаружались; меж капитаном и мною могли быть нежнейшие дружбы, могли быть сквернейшие свары; нежнейшие дружбы и скверные свары для общего корабельного дела — ничто, когда надо стоять у руля, когда надо натягивать парус; ведь общее дело — спасенье нашего корабля — в миг опасности вызвало бы лишь сознание долга в участниках плавания; мне казалось, что в личных тревожных нападках моих на А. А., непонятно молчащего в миг, когда наш погибает корабль, на который вступили мы все, осуществляю единственную возможную линию поведения так: в нападениях на Блока я видел свой долг; лишь годами позднее я понял: в молчании Блока была своя тактика, более мудрая, нежели беспокойное подавание сигналов к спасению; гибель душевного мира А. А. я воспринял, как течь корабля; он — в гибели мира души не забыл о духовном; в духовном пути продолжал свое странствие «*Арго*»; сильную качку воспринял ударом о камни; мой зов «*на баркасью*», — был бунтом матроса; и капитан отвечал мне:

— Молчи.

Я молчать не хотел; кричал:

— Гибель!

А гибели — не было; зов на баркасы был — гибелью; с ним и боролся А. А.; не расслышал духовной команды; А. А. не сумел сделать внятной команду; А. А. был Колумб, верно правивший плаваньем, но неверно осведомленный о способностях к слуху; оба — неправы; опять-таки, — правы; вина — не во мне и не в нем; и опять-таки, — может, во мне; он меня не винил; за мной бунт; я его обвинял.

Вины не было там, где искал я; вина в том, что трудные переживанья мистерии человеческих отношений свалились совсем неожиданно; невоплотимые без духовной работы... отношения опрокинулись: в безобразии долгих, гнетущих, кошмарами дышащих дней, даже месяцев; где же мудрые, вещи руководители знаний; Они — опоздали: они не пришли», допустивши надрыв в этой пламенной жизни...

Блок — душа столь огромная, что овладей она тайнами знания, она озарила бы светом Россию: но констатировали: что в начале столетия вопрошала душа русской жизни, не получая ответов...

Я Блока простить не могу!

Где же были вы, когда Блок подходил к вашим темам? И почему не ответили?

Он был близко от места Иоаннова Здания. Здания — не было...

Что думать? Что были мы жертвами тех, кто вершат судьбы, сроки, иль жертвами... собственной неосторожности? Мы отдались световому лучу, мы схватились за луч, точно дети: а луч был огнем; он нас сжег; назидательное объяснение опоздало — лет на десять!..



«Блок» теперь спит; я калекой тащусь по спасительным, *поздно* пришедшим путям.

Отвечайте же, мудрые!..

Люба. Весна этого года – длительный «простой» двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае «неувязки» до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки – шампанское замороженное... Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала – весь искрящийся огонь его укрыт лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама – полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне «разбойный размах»; это было, это я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолобивые, даже озорные поступки. Но иногда – заедала рефлексия, тягость культуры, тоже впитанная от рождения. Но иногда – прорывалось...

Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали, и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость. Да, по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех– или шестичасовые его монологи, отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением ко мне; или прямо или косвенно выходило так, что смысл всего – в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бугайные леса» появлялись иногда в гостиной – это Наливайко или Владислав*, смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне – привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил и речью самых влюбленных напевов – приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймится волнения страсти», еще что-то). Сам садился к роялю импровизируя; помню мелодия, которую Боря называл «моя тема» (т.е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой

* Слуги в доме Блоков.



мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые: то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, эта «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взгляда, даже без прикосновения руки, одним присутствием – это может быть еще раз и с другим? Это – «бывает»? Это я смотрю вот так на «Борю»? И тот же туман, тот же хмель несут мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева, с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться – о как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость; немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла. И с этих пор пошел кавардак...

Белый. Л. Д. мне объясняет, что Александр Александрович ей не муж; они не живут как муж и жена; она его любит братски, а меня — подлинно; всеми этими объяснениями она внушает мне мысль, что я должен ее развести с Александром Александровичем и на ней жениться; я предлагаю ей это; она — колеблется, предлагая, в свою очередь, мне нечто вроде *menage en trois*^{*}, что мне несимпатично...

Люба. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы...

То, что я не только не потеряла голову, но наоборот, отшатнулась при первой возможной близости, меня очень отрезвило. При

* Правильно - *ménage à trois* (*фр.*) – любовь втроем



следующей встрече я снова взглянула на Боря более спокойным взглядом, и более всего на свете захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Боря уехать. В гостиной Александры Андреевны, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми» – в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»... «Почему опрокинутые?», пугался всегда Боря) смотрит на меня покоренный и покорный и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии жестоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже отхожу, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях – присутствия. Но, в сущности, более опытному, чем он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил одурманенным поцелуям, и в дурмане сказанным словам – «да, уедем», «да, люблю» и прочему, чему ему приятно было верить...

Белый. Щ.* призналась, что любит меня и... Блока; а через день: не любит – меня и Блока; еще через день: она любит его, как сестра, а меня – «по-земному»; а через день все – наоборот; от адской сложности у меня ломается череп и перебалтываются мозги; наконец, Щ. любит меня одного; если она позднее скажет обратное, я должен бороться с ней ценой жизни (ее и моей); даю клятву ей, что я разрушу все препятствия между нами, иль – уничтожу себя. С этим являюсь к Блоку: «Нам надо с тобой говорить»...

А. А. же с упорством бежал, выходя к нам с Л. Д. или ко мне с Александрой Андреевной, вперял свои детские, очень большие глаза; и — просил:

– Боря, нет!

– Лучше нам помолчать: подождем!

«Снисходил»: сам же рвался к решительному разговору меж нами; и «снисхожденье» — откладывалось, как мучение: раздражением.

«Тюк» — думал я — «вот так «тюк!»».

Нет, не сдвинешь...

И превосходство порой прорывалось: казалось: щажу, но ценой осложнений сознания во мне.

Разговор велся линией жеста, поступков; словами — молчали, иль говорили: простое, пустое; помалкивала Александра Андреевна, настрожилась, почувствовавши отточность отношений.

Все-таки, — был разговор: и я считаю его обуславливающим поведение того года:

* Люба.



Заранее предупредил я А. А.:

— Ах, не надо бы...

Заявил: говорить-таки надо; от этого разговора зависит — все; попал в словах — ультиматум; и оторвавшись от чтения, посмотрел на меня очень-очень открыто; и, натягивая улыбку на боль, сказал:

— Что же, я — рад!

И я тут заявил о радикальном решении... отражающемся больно на нем; не забуду: лицо его, словно открылось: открытое, протянулось ко мне голубыми глазами, открытыми тоже; на бледном лице (был он бледен в те дни) губы дрогнули: губы по-детски открылись:

— Я — рад...

— Вот...

— Что ж...

О, горькая радость!

И был он прекрасен всем матовым ликом и пепельно-рыжеватыми волосами, и жестом изогнутой, гордо откинутой шеи, открытой и выражающей мужество; встал над столом, а рубашка свисающей шерстью легла вокруг талии мягкими складками; великолепнейшим сочетанием свето-тени: на фоне окна, открывавшего сирий простор ледяного пространства воды с очень малыми зданьями издали; перелетали вороны; и черно-синие, черно-серые тучи, смешавшись с дымами, праздно повисли; и — чувствовалось: поступь судьбы...

В этот вечер тревожная Александра Андреевна особенно тихо, передавая мне чай, торопила:

— Да пейте же, пейте скорее: вам надо...

— Уже поздно.

А. А. сидел молча; Л. Д. была чопорна; Александра Андреевна, показывая глазами на «Сашу» и «Любу», как бы говорила:

— Вы — бережнее!..

Встали, прошли в кабинетик А. А., затворив плотно дверь; электричество (красненький абажур); вот и стол с деревянною папиросницей, шкаф с корешком тома Байрона, столик любимого, темно-желтая с красным ткань, леопардовая какая-то, на Л. Д., шелестящая тихо, когда, точно кошка, Л. Д. припадала на жесты, чтобы вовремя выпрыгнуть из застылости и очутиться меж нами; схватясь руками за золотистую, подвитую головку, сверкающими глазами перебежать с А. А. на меня (и обратно), то — сталкивая, то — разводя нас, как секундант на единственном поединке идеологий, столкнувшихся жизнями; уподобляясь дуэлянту, на дерзостных выпадах (на секундах и примах без кварт и секстим), напал на А. А., побивая своей прямою предпологаемое «двуличие», чтобы сразу распутать неразрешимую петлю меж нами.



Выступая открыто, старался А. А. дать понять я, что лучше по-рыцарски биться, чем тайно подсиживать; будущее показало: «двуличье» А. А. было следствием верности духу при недоверии к той душевности, которую считал «духом» я; и, не видя душевности, я стремился к разрыву; диктовал ультиматумы позы; А. А. ждал лишь мудрого разрешения временем тяжбы; он правду мою созерцал, как туман, из которого выхода нет; есть — один: растворить в атмосфере: высоким давлением; я — боролся с туманом, бросался: и — попадая в туман: в этих жестах, бросающих к выходкам — была правда моя: верней поза, которую к рисовался.

И на тему «двуличия» распространялся я с пафосом; и А. А. — темный, встрепанный, беззащитно блуждая глазами, сидел «раскорякой» (без светскости), — у стены, на диване, выщипывая волосики из сидения; и опускал низко голову; и уставлялся в меня исподлобья «непонимающим» взглядом.

— Тюк!..

Тут вмещалась Л. Д.:

— Саша, да неужели же!

И — безмолвие, ни уступающее, ни обвиняющее: глухое...

Но он был победителем, отвечая на примы контрпримами; и — отлетала рапира моя:

— Нападай! — всеми жестами я говорил; опустил он рапиру: сидел и выщипывал из дивана. Тут поединку противопоставил другой: испытанье терпением, непоказуемым мужеством, полным отсутствием позы; а я, маркиз Поза, стоял перед ним; что мог он отвечать? Что решенья мои — фальшь и фальшь; сам исхода — не видел.

Молчал.

Но молчание истолковывал я по-иному; мне виделся образ противника, выронившего рапиру и открывающего грудь в расчете на то, что рапира опустится; и — опустилась: от чувства жалости: точно сел на ковер, совершеннейшим раскорякой, сказав:

— Конечно, для человека, севшего на пол.

И я — «тощадил», оборвав разговор и стремительно убежав, не простившись.

Мне стыдно: так мудрость ушибла меня; и бежал по промозглым проспектам с тоскою... по направлению к Шпалерной, где снял себе комнату (у Таты-Наты произошла перемена: перемещения); я попал в ресторанчик, на Караванной; в душе отдавалось:

— Победен! Победен!

Моя философия диктовала:

— Взрывать!

Философия эта врезалась в вопрос, поднимаемый каждым в те дни:

— Можно ли убивать?..

А. А. представлялся мне пропускающим нечисти в место, где строили храм. Вставал жгучий вопрос: что с ним делать? Как быть?



Бить по Блоку? Но — избегает он боя; и преграждает дорогу, как... «тлюк».

Отступил без ответа; ответ ресторанчик на Караванной, в котором по вечерам я угрюмо старался забыть тот же голос, мне шепчущий:

— Должен: ты — должен?

— Что должен?

Молчало...

Бекетова. 7 марта 1906. Петербург

Вчера было Алино рождение. Ее засыпали цветами. Пришли свои, два раза был Боря, второй раз принес белую азалию. Дети подарили тарелки с розами. Все это хорошо, шоколад, веселая молодость. Но Аля была не очень довольна. Ей не нравится Любино поведение. Она подражает З. Н., курит, приняла залихватский тон. Боря совсем в нее влюблен. Не знаю уж, чем это кончится. Аля долго отрицала опасную и дурную сторону этого. Говорила, что Сашура светел, что ничего и пр. А вчера она мне рассказала, что у Любы постоянно виноватый вид, а Сашура, очевидно, сделал ей сцену ревности. Она истерично хохотала и не пошла к Боре, как собиралась. Я не возражаю и не настаиваю, но отлично все вижу и понимаю. Такие же они люди, как все, и все это чепуха. Мне вчера было не по себе у них. О, какая разница с прошлым годом!

Белый. Она просит меня временно уехать в Москву и оставить ее одну, — дать ей разобраться в себе; при этом она заранее говорит, что она любит больше меня, чем Ал. Ал., и чтобы я боролся с ней же за то, чтобы она выбрала путь наш с ней. Я даю ей нечто вроде клятвы, что отныне я считаю нас соединенными в Духе и что не позволю ей остаться с Александром Александровичем...

Дела призывают в Москву; и я — еду; с намерением — скоро вернуться...



Глава XIII. Бесноватые

Люба. Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выдѣльвала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его и просила не приезжать...

Иванов. *11 марта 1906. Петербург*

...Вечером пошел к Блокам и застал Любовь Дмитриевну одну.

Я ведь тогда 9 числа от Александры Андреевны получил письмо и там приписка «ответьте немедленно». Я ответил. Любовь Дмитриевна не знает ничего такого. Обиделась. Сидела в платке и на рояле играла.

Я пришел, она радуясь говорила, как я нужен ей был на этой неделе и ждала встретиться, но не встретилась.

Как бы я сказал, так и поступила бы.

И говорила, о чем хотела сказать...

Любит Борис Николаевич Бугаев и без нее не может. Как быть? Сказал, что теперь такое состояние у Саши, что не надо уходить.

Я бежал ведь за ней 2 марта, она ехала в конке от больницы на Литейном до Бассейной. Но усумнился и она уехала, а надо было очень.

Не надо. А то двойники затреплют, ожесточат. Сашу сейчас нельзя оставлять одного.

Так решено: до времени и будет.

Когда прощались, Любовь Дмитриевна говорит: «Евгений Павлович, перекрестите меня». Я перекрестил три раза. Поцеловались братски во Христе. Я в ужасе за самозванство пустосвятости своей.

Она посмотрела и сказала: «Значит, все что было, – забыто». Улыбнулась.

«Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать. Если уйти с Борисом Николаевичем, что станет Саша делать. Это путь его. Борису Николаевичу я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Борисом Николаевичем мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уж сколько времени идти вместе не могу».

Они не одно любят. Ей он непонятен.

«Я не могу понять стихи, не могу многое понять, о чем он говорит, мне это чуждо. Я любила Сашу всегда с некоторым страхом. В нем детскость была родна и в этом мы сблизились, но не было последнего сближения душ, понимания с полслова, половина души не сходилась с его половиной. Я не могла дать ему настоящего покоя, мира. Все, что давала ему, давала уют житейский и он может быть вредный. Может, я убивала в нем его же творчество. Быть может, мы друг другу стали не нужны, а вредим друг другу. Путь



крестный остаться с Сашей. Тогда я замру по-прежнему и Боря тоже. Так или иначе, идти к Вере, как скажете? Это не значит, что я Сашу не люблю, я его очень люблю и именно теперь, за последнее время, как это ни странно, но я люблю и Боря, чувствуя, что оставляю его. Господи, спаси нас всех! Провожали когда Боря на вокзале в феврале, все прояснилось, и стало весело на душе и Саша повеселел. А последние дни с 8-го Саша вдруг затосковал и стал догадываться о реальной возможности ухода с Борей».

И Франц Феликсович и Александра Андреевна приуныли.

Это было 7—8 числа, когда писала Александра Андреевна.

Возможность осуществить любовь к двум, возможность осуществиться именно в религии и притон в таком хаосе, что не пришлось бы покончить с жизнью!

«До времени ждать!»

«Но бедный Боря, как вынесет».

Она не переставала рассуждать, уже решив.

Облокотись, руки на столе и стол весь трясся. Ужасное усилие. Голову руками закрыла. Слышно: «Боря жалко, что с Борей будет». Я говорю: «Очень всем тяжело». «Бедный. Саша, что с Сашей будет!»

Рассказывала, успокоившись, как во время свадьбы, на венчании она одна все вино выпила и Саше не осталось, и они не поцеловались. Старый священник забыл сказать. А когда потом, идя, Саша сказал ей «станем на колени», она не расслышала и не встала.

Потом все это как будто особое значение получает.

Саша заметил, к чему идет дело, все изобразил в «Балаганчике».

Люба – Белому. 9 марта 1906. Петербург

Милый, я не понимаю, что значит — разлука с тобой. Ее нет, или я не вижу еще ее. Мне не грустно и не пусто. Какое-то спокойствие. Что оно значит? И почему я так радостно улыбалась, когда ты начал удаляться? Что будет дальше? Теперь мне хорошо — почему, не знаю. Напиши, что с тобой, как расстался со мной, понимаешь ли ты, что со мной. Люблю тебя, но ничего не понимаю. Хочу знать, как ты. Люблю тебя. Милый. Милый...

11-го марта 1906. Петербург

Милый Боря, со мной странное: я совершенно спокойна. Люблю Сашу. Знаю, что то, что было у нас с тобой — не даром. Но не знаю, люблю ли тебя; не мучаюсь этим. Ничем не мучаюсь; спокойно люблю Сашу, спокойно живу. Милый, что это? Знаешь ли ты, что я тебя люблю и буду любить? Сейчас я была дома одна, приходил Евг. Пав. Иванов. Я говорила с ним обо всем, мне было нужно все высказать, я ему доверяю, он очень честный. Он понял, конечно, все; говорит, что пока мне надо быть с Сашей; Саше это нужно, он



знает. Да и я по своему чувству должна, хочу теперь быть с Сашей. Милый, а ты как же? Помню ли я только, что люблю тебя, или люблю? Не знаю, но ты верь. Не затрудняй мне мое искание твоим отчаянием. Люби, верь и зови. Странно, что прошли мученья, странно спокойно. Не пустота. Сейчас отдаленная музыкальная тема о любви к тебе, вдруг... Не знаю, реально ли. Прости, что мучаю; но я мучаю не во имя пустоты, и жалеть тебя не хочу, да ты и не позволяешь. Я ведь думаю, что люблю тебя, и буду любить, что теперь спокойствие далеко не окончательное. Так и говорила с Евгением Павловичем. Он думает, что выход — быть втроем. Милый, милый, ничего не знаю! и уж опять чуть-чуть колеблется почва под ногами... Пиши много и часто. Люби и не бойся. Не знала я, что твой отъезд будет так важен. Милый, ты только не бойся, не бойся! Будь сильным! Я буду тебе писать часто. Опять предчувствую много, много муки. Люби меня, люби!

13 марта 1906. Петербург

...Несомненно, что я люблю и тебя, нетленно, вечно; но я люблю и Сашу, сегодня я влюблена в него, я его на тебя не променяю, я должна принять трагедию любви к обоим вам...

Иванов. *14 марта 1906. Петербург*

Был у Блоков. У Любы голос дрогнул и глаза опустила. Какое-то неважное происходит. Говорит, сегодня точку над «и» поставила.

С Александрой Андреевной о письме говорил. Она много рассказывала о Саше и о Белом.

Чувствовалась растерянность и напряженность. Особенно втроем. Любви Дмитриевне трудно.

Люба – Белому. *14 марта 1906. Петербург*

...Саша теперь бесконечно любезен и ласков со мной; мне с ним хорошо, хорошо. Тебя не забываю, с тобой тоже будет хорошо, знаю, знаю! Милый, люблю тебя!..

16 марта 1906. Петербург

...Куда твои глаза манят, куда идти, заглянув в самую глубину их,— еще не понимаю. Не знаю еще, ошиблась ли я, подумав, что манят они на путь жизни и любви. Помню ясно еще мою живую к тебе любовь. Хотя теперь люблю тебя, как светлого брата с зелеными глазами...

17 марта 1906. Петербург

...Боря, я поняла все. Истинной любовью я люблю Сашу. Вы мне — брат, но теперь у меня, относительно Вас, слишком много трудностей и соблазнов — нам надо разойтись — до времени... Вы меня любите, верю, что почувете мою правду и примете ее, примете за меня мучения... Боря, понимаете Вы, что не могу я изменить первой любви своей?..



Иванов. 17 марта 1906. Петербург

Пошел к Блокам с боязнью, что случится что-нибудь скверное очень.

Очень скверного не случилось, даже скверного ничего и не было, но что-то легко страшное. Когда входил, Александра Андреевна быстро исчезла в дверь из гостиной. Франц Феликсович принимал вместо нее. У нее грудная жаба; припадок был, теперь поллучше. Саша и Люба вышли, сидели. Саша как-то недоуменно, и точно изменившись ко мне.

Я стал по комнате ходить: был в скюртуке статском в первый раз у них.

Саша говорит: «Ой, ты в скюртуке!»

«Какой смешной со спины. Отца моего напоминаешь. А спереди хорошо!»

Языки связаны все же.

Потом пришел И. Г. Гюнтер – переводчик Сашин на немецкий язык.

Когда я начал уходить, Любовь Дмитриевна говорит: «Отчего вы, Евгений Павлович, когда входите с улицы, имеете такой сердитый вид?»

Я говорю: «с «пустышками» на улице борюсь».

Саша — «Я ничего не понимаю как-то! Как это все делается. Ничего не понимаю!»

Нет, у них в доме какой-то мир... Вернулось прежнее. Любовь Дмитриевна за ужином шутит.

Папиросы курила в знак того, что она — друг Зинаиде Николаевне.

Александра Андреевна не идет в «Парсифаль» и передает мне свое место в ложу.

Было все хорошо, о Мережковском рассказывал, как он советовал «шлюхохамке поклониться». Все смеялись.

Люба. 19 марта 1906. Петербург

Милый Боря, знаю теперь сама, что не «благополучно» еще я кончила все затруднения. Мне трудно, трудно писать! Я расскажу Вам все. 16-го вечером я осталась одна дома. Было грустно, грустно, но не бесцельно. Мне захотелось стихов, взяла Вл. Соловьева и поняла и пережила, как никогда. Поняла, что не могу этому изменить, что это мое. Не изменю первой любви своей. Чувствовала тогда, что только Саша моя любовь; все его прежние стихи перечитала. Знала тогда твердо, что не изменять ему — в этом правда, в этом должна быть моя воля, так я должна поступать. Написала письмо Вам, но решила опустить 17-го, подождать еще одного Вашего письма. Письма не получила, ждала и мучилась. Потом пошла в город, опустила письмо там же, где прежде проспала Сашу. Не



ужасалась, мне казалось, что это еще не последний, не смертельный удар. С тех пор были Ваши письма, была грусть, и чувствовала, что ничего, ничего я еще не порвала. Тайну не порвала. Но как быть? Как же не изменить моей Тайне с Сашей? Она жива, я жила ею весь вечер, когда читала Вл. Соловьева. Боря, у Вас одна Тайна, Вам все ясно. Поймите мою безвыходность — у меня две тайны, где же Третья, которая их примирит? Теперь мне неизмеримо важно, что я тем моим письмом к Вам утвердила и присягнула моей Тайне с Сашей. Ей не изменю, и знаю, как не изменить. Но с Вами я не порвала и с Вами бесконечно неясно, как я буду. Знаю связь с Вами — но как ее воплотить? Вы ведь знаете весь мой демонизм и все мои соблазны. Увижу Вас, и опять меня потянет к Вам ближе, ближе, ближе... а я не хочу, не надо, не надо! Если знаете, как мне не изменить Саше, как быть с Вами — скажите! Видите, Боря, что мне выхода теперь не найти другого, как не видеть Вас? Но я же знаю, что так служу одной только Тайне, а другая жива же, жива! Но не знаю, как ей служить. Если возьмете *все* на себя, приезжайте. Все — все вопросы, все муки. И меня — не соблазняйте, будьте сильны решать самостоятельно. Приезжайте, я ведь хочу Вас видеть. Сегодня был Парсифаль, и у меня все время была безумная мысль, что увижу Вас там, что Вы приедете после моего письма. Теперь у меня нет влюбленности к Вам, а любовь моя к Вам — в муке. Это тоже меня пугает ужасно. Ничего не понимаю! Знаю одно: *нельзя* изменить Саше.

Милый Боря, начинаю ужасно хотеть Вас видеть, приезжайте, приезжайте, ничего не порвано, даже не надорвано у меня с Вами, все живо. Одно сделано мое решение, и письмо к Вам скрепило меня с Сашей; но Вас, но тебя, тебя, милый, не отняло у меня, а меня у тебя. Я и твоя, да, да, и твоя. Хочу, хочу тебя видеть, приезжай, а теперь пиши скорее, радуйся, жди! Милый, я так рада, что опять нашла тебя, теперь, пока писала это письмо! Милый, милый! Не забыть тебя, не уйти от тебя! Милый! Напиши скорей и приезжай! Помни, что меня мучает теперь, *как жить*, а Тайну, мои Тайны знаю и помню всегда...

Иванов. 19 марта 1906. Петербург

К двум часам был на «Парсифале» в зале Кононова на концерте, ложа № 3. Уже сидели там Любовь Дмитриевна и Мария Андреевна. Между первой и второй картиной 3-го акта сделали перерыв.

Я подошел к Любове Дмитриевне и спросил: «Легче ли вам? Мне показалось, вам легче как-то было вчера. Был точно мир?»

«Да, да, у меня бывает мир, находит так».

«Я знаете, послала 17-го письмо, где твердо говорю, что все кончено между нами. Это я ставила точку над «i». Не знаю, что с ним теперь. Мне казалось почему-то, что он в концерт этот придет.



И его нет; почему-то не оказалось. Я оттого написала, что чрезвычайно ясно почувствовала, что вы сказали тогда, я почувствовала потому что В.Соловьева прочла. Как странно, что мне казалось — он придет на концерт? Отчего это?» ...

Люба. 20 марта 1906. Петербург

Милый, бесценный мой Боря, опять мне очень тяжело. Саша почувствовал мое возвращение к тебе и очень страдает. Он думает, что это усталость от экзаменов, а я знаю, что это оттого, что я опять принадлежу поровну и ему, и тебе, милый, милый! Как ужасно, что не могу выбрать, не могу разлюбить ни его, ни тебя, тебя не могу, не могу разлюбить! Саша не хочет, чтобы ты приезжал в Петербург на Пасху, ни после — из-за экзаменов. А я не могу себе представить, что не увижу тебя скоро, я хочу, чтобы ты приехал. Но не хочу мучить Сашу — экзамены такой ужас, ведь правда, жестоко еще терзать Сашу во время них. Как быть? Ты постарайся придумать, а я пока придумала одно — не хорошо, не удобно: что ты приедешь в Петербург и я буду к тебе приходить, а ты к нам нет. Но это слишком трудно. Придумай, милый, и непременно приезжай, хочу тебя видеть! Люблю тебя по-прежнему, знаю твою близость, твою необходимость для меня. Но разлука — мучительна, усложняет, путает, запутывает. Мне надо, чтобы ты был со мной, мы так непременно устроим, хотя бы и с мученьями. Господи, думала ли я месяц тому назад, что столько, столько переживу муки, признаю и люблю ее! Не могу писать о моей любви к тебе, как хочу. Мне надо тебя видеть! Приезжай!..

Получила сегодня твои все письма, мучилась ими, тобой; но ведь теперь все прошло, я твоя, твоя!

З. Гиппиус – Белому. 20 марта 1906. Петербург

...Боря милый, знаю все о вас от Таты (и многое, о внутри, сама). И Любовь Дмитриевна мне написала сюда письмецо. И ваше получила... Я знала, Боря, что вам очень трудно было. И будет еще. Не прошло. Всегда трудно, но если дается, значит не сверх стал. Вот это надо помнить. У вас сплелись в тугие узлы нити и внутренние, нити и внешние. Узлы везде. Нельзя никакой, человеческой только, силой их распутать. И надеяться нечего. Откровенно как чудо примите то, что они должны быть распутаны и будут. Не вашей, но не помимо вашей воли, вот это тоже помните. Тут нужна вся воля человеческая, целиком, и тогда к ней приложится и Другая, и все будет. Потому и знаю, что вы должны быть человеком во всей полноте, со всей волей, крепостью и трезвостью, во всю меру данного вам. И тогда имеющему много дается и еще приложится...

Иванов. 21 марта 1906. Петербург

Пошел... к Ал. Блоку. Сидел с Александрой Андреевной; потом пришла Любовь Дмитриевна из комнаты своей. А Саша



занимался к экзаменам... Александра Андреевна очень расстроенная; от болезни упадок сил.

Говорила: «чувствую полную давно уже не бывалую пустоту».

«Сижу на полу. И вижу, что эта пустота-то и есть моя правда, а все остальное напускное. Потеряла все, что имела дорогого, потому что болезнь, и нет веры ни и кого и ни во что».

Утешал, говорил: «из-за чего так все трудятся и ищут, если незачем и нечего искать? и так покой?»

Любовь Дмитриевна говорит, что, выражаясь банально, я просто лицом похорошел...

5 апреля 1906. Петербург

Был у Блоков. Любовь Дмитриевна с пятницы страстной больна инфлуенцией. Пасху не встречали. Тоска была у них, и казалось, «не воскрес Христос». Мне ведь тоже.

Бор. Бугаев приедет в воскресенье.

Все принимает красноватый характер.

6 апреля 1906. Петербург

*В нашей гостиной у рояля стою я с Сашей Блоком и говорим. Белый где-то в других комнатах, но его не видно. Там же и Любовь Дмитриевна: она больна и лежит.

А. Блок мне говорит: «мы легкомысленных чертей одолеем, одолеем и легкомысленные черти, это все чертенята из альбома Татьяны Николаевны».

Не успел он договорить, как А. Белый тут как тут. Совсем у него только лицо другое. Усы закручены и блондин, и в лице что-то твердит: добьется своего.

Вышел или скорее «явился» перед нами у рояля, и говорит насчет наших разговоров о легкомыслии с легкомыслием черта:

«Ну, это еще мы посмотрим, кто кого одолеет!»

И чувствуется упорство.

Тогда я его беру за плечи и толкаю. Он исчезает, но нет нигде и Любви Дмитриевны. И думается во сне, что может, ее и не было в наших комнатах, а это мне все казалось. Или она с ним пропала?! Потом во сне мне Саша Блок о чертах и легкомыслии говорил, и, как ни хочу, не могу припомнить, что именно; а сказано что-то страшно важное, которое бы меня предупредило и объяснило бы многое...

Белый. Поддерживаю переписку с Л. Д.; Блок не пишет: молчит.

Заболевает Л. Д. Надвигается время обратного выезда в Питер; письмо от А. А.: не приезжай, потому что Л. Д. ослабела, а я — весь в экзаменах; и подобное — получаю от Александры Андреевны; воспринимаю я письма не просто; в них вижу предлог улизнуть;

* Сон.



это все обуславливает мой отъезд из Москвы; уведомляю Л. Д., Александру Андреевну неделикатнейше; Александра Андреевна обижена...

Блок – Белому. 6 апреля 1906. Петербург

...Не приезжай пока ни в коем случае. Я тебе напишу, когда Люба лежит, ей надо совсем не говорить и быть спокойнее. Она просто простудилась и бронхит. У меня самый трудный экзамен.

Люба – Белому. 6 апреля 1906. Петербург

...Письмо Саша написал, ничего не сказав мне, я узнала потом. Хотела требовать, чтобы ты приехал, но Саша не позволяет. Я так и радовалась, думая о воскресенье, когда ты приедешь. Я не влюблена в тебя, но тебе нет цены для меня, мой милый! Но я люблю Сашу и должна ему покориться. Все же увижу тебя этой весной. Ты для меня что-то большое, радостное, радостное и светлое. У меня все еще жар, но я уже поправляюсь, зато очень слаба теперь. Пиши мне. Я тебе буду тоже писать, но редко. Этой просьбой к тебе — не приезжать (придумана она Александрой Андреевной, она давно меня ею пугает, но я-то умела бороться, а Саша послушал), меня так и бросили к тебе. Но не надо забегать вперед — пусть все идет своим чередом...

Бекетова. 9 апреля 1906. Петербург

У Али была сегодня. Интересно, как идут события. Отношение к Боре совершенно поколеблено и Любу не считают ни мировой, ни священной. Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует — Люба рвет и мечет из-за того, чтобы не помешали ей видеться с Борей. Напротив того — Аля перечитывает письма С. В. к Сашуре и говорит о нем с нежностью. По выдержкам письма эти, действительно, прекрасны: и красивы и полны нежной любви к Сашуре, и умны и метки, и нет в них чуши и фраз.

Люба – Белому. 10-го апреля 1906. Петербург

...Ты решил приехать раньше моей просьбы в Петербург. Делай, как хочешь, милый, но к нам не приходи, пока я не попрошу тебя. Умоляю тебя, послушай меня! Я не хочу опутывать наших с тобой отношений ложью. А пока не пройдет Сашин последний трудный экзамен, до воскресенья, мне невозможно без натяжек, без трудности тебя позвать... Верь мне — я знаю меру твоей измученности. Знай и ты обо мне, щади меня. Как рада была бы я тебя видеть — если бы не вся трудность. Трудность в том, что тебя не любят у нас, как прежде. Саша боится меня потерять. Александра Андреевна все чувствует — и тоже боится. Они правы! Как всем нам трудно, Боже!..



Белый – Блоку. 10 или 11 апреля 1906. Москва

Саша, милый, милый, мой неизреченно любимый брат, прости, что я этим письмом нарушаю, быть может, тишину, необходимую для Тебя теперь. Но причина моего письма внутренне слишком важна, чтобы само письмо я мог отложить. Прочти, прими, и если нет времени и настроения, ради Бога, не отвечай. Ответишь потом когда-нибудь. Не ответа хочу я: я хочу только высказаться перед Тобой, потому что я хочу, чтобы все мои поступки и намерения были четко означены.

Ты знаешь мое отношение к Любе; что оно все пронизано несказанным. Что Люба для меня самая близкая из всех людей сестра и друг. Что она понимает меня, что в ней я узнаю самого себя, преобразенный и цельный. Я сам себя узнаю в Любе. Она мне нужна духом для того, чтобы я мог выбраться из тех пропастей, в которых — гибель. Я всегда борюсь с химерами, но химеры обступили меня. И спасение мое воплотилось в Любу. Она держит в своей воле мою душу. Самую душу, ее смерть или спасение я отдал Любе, и теперь, когда еще не знаю, что она сделает с моей душой, я — бездушен, мучаюсь и тревожусь. Люба нужна мне для путей несказанных, для полетов там, где «все новое». В «новом» и в «Тайне» я ее полюбил. И я всегда верю в возможность несказанных отношений к Любе. Я всегда готов быть ей *только* братом в пути по небу.

Но я еще и влюблен в Любу. Безумно и совершенно. Но этим чувством я умею управлять.

И вот теперь, когда мне ясно, что все дальнейшее для меня в «Главном»... — *быть* или *не быть*, — соединено с отношением моим к Любе, я не могу не вносить в эти отношения серьезности необычайной.

Ведь решается для меня вопрос, *стоит* или не *стоит* жить. Ведь душа-то моя в руках у Любы. Ведь она мне душу не вернула. Ведь стремясь к дружбе и общению с ней, я стремлюсь к самой высокой чистоте и ясности — к свету и правде. Ведь близость и общение с Любой для меня прежде всего единственно возможный путь просветить и возвысить другое мое чувство к Любе (влюбленность). Раз нет этого общения и просветляющего зова к высям, я *срываюсь*. Вот почему *теперь* этой весной мне так важно и необходимо видаться с Любой, чтобы привести к должным нормам свое отношение к Любе. Пока точной выясненности нет, каждый миг для меня — острый нож в душу, каждый день без нее ужас. Я не могу строить своих чисто внешних планов, без того, чтобы не поговорить с Любой долго, внимательно. Пойми, Саша, что вот уже месяц, как все часы мои — ножи, воткнутые в сердце, что эта боль не стихнет, пока я обстоятельно не поговорю с Любой как на духу, пока я не прочту у нее *о своей душе*, которой у меня теперь нет. Ведь за своей душой я должен вернуться в Петербург и видаться

с Любой. Более без души я жить не могу. Саша, если Ты веришь в меня, если Ты знаешь, что я могу быть благороден, Тебе мне нечего объяснять, чтобы Ты не думал обо мне внешне, дурно и плохо. Ты — не такой. Ты должен взглянуть на мои отношения к Любови Дмитриевне только с двух противоположных точек зрения. Или поверить в несказанность моего отношения к Любе; но тогда, тогда я должен, прежде чем ехать за границу, или определяться в ненужном и внешнем, теперь же видеться с Любой. Ты должен снять с меня все тени, которые на меня могут быть наброшены просто необычностью со стороны внешнего моих отношений к Любе. Тогда, например, я не понимаю, почему должен я отложить поездку в Петербург. Если Тебе нельзя быть со мной, ведь я приеду к Любе, чтобы многое-многое из заветного и глубокого выяснить себе — чтобы понять тайны Вечности и Гроба, которые вокруг меня разверзлись. Сейчас я уже обессилен очами сфинксов, со всех сторон на меня глянувших. Люба для меня — «Феникс», могущий сфинксов прогнать. Я уже на границе сумасшествия, ведь когда я уезжал из Петербурга, то только на две недели — так мне и Люба говорила. *Иначе я бы не уехал, не решив все для себя.* И вот теперь оказывается я должен испытывать пытки непомерные. Но я согласен и не приезжать, если Любе нужна тишина, если она не хочет моего приезда, лишь бы я только знал, что в этой отсрочке (неопределенной) не играют роли никакие *внешние причины*.

Если же все мои отношения к Любе мерить внешним масштабом (Ты это имеешь право), тогда придется отрицать всю несказанность моей близости к Любе; придется сказать: «Это только влюбленность». Но тогда мне становится невозможным опираться на несказанный критерий: тогда я скажу Тебе: «я не могу не видеть Любу. Но признаю Твое право, взглянув на все *слишком просто*», налагать veto на мои отношения к Любе». Только, Саша, тогда начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас. Стоя на первой, *несказанной*, точке зрения, я *готов каждую минуту сойти на внешнюю точку зрения*. Милый брат, знай это: если несказанное во мне будет оскорблено, если *несказанное мое* кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, я *на все готов!* Смерти я не боюсь, а ишу.

Теперь подхожу к моим открыткам, написанным Александре Андреевне.

Ты знаешь, что в таком напряжении я только и живу часом отъезда в Петербург. И вот мне пишешь, чтобы я не приезжал. Неужели Ты не знаешь, что в моей душе, которая с минуты на минуту готова разорваться, такое письмо *без точных указаний* причин моего неприезда, без точных указаний, когда мне приехать, — что такое письмо искра к пороховому погребу. Я вдруг оказался окутан черными клубами дыма, застывшего мне глаза. И в этом дыму удивительно, что мне показалось, будто единственная возможность



объяснения всего — внешние причины: желание меня отдалить от Любы тогда, когда это без *моей смерти* уже не может быть, ибо за своей душой я приду к Любе отсюда или *оттуда* — все равно. Ты — думал я — не можешь не знать этого. Стало быть, только Александра Андреевна *может так подумать*. Я сказал себе: «напрасно», всякая внешняя мера только средство ускорить катастрофу, если нужна катастрофа. А я ведь верю, что катастрофы быть не может, верю в несказанный путь с сестрой своей. Но если этого не хотят принимать, я иду на катастрофу.

И вот непроизвольно я написал открытки, словно в трансе, но теперь, уясняя себе свой поступок сознанием, я вижу, что открытки мои должны были означать *сигнал* к тому, что и на катастрофу я готов.

Но здесь не было с моей стороны злобного, нехорошего намерения.

Саша, горько мне и больно писать. Я хотел бы, чтобы все это само собою подразумевалось, и только потому, что усумнился, подразумеется ли все, мною написанное, Тобой и Александрой Андреевной, заставило *меня заговорить* теперь с болью, с ужасом, любимый, милый, соединенный в Главном со мною, брат мой.

Саша, знай, что у меня к Тебе лично ничего кроме любви и ясности нет и не будет, что бы ни было.

Саша, я должен до июня видеть Любу, потому что видеть ее теперь мне *исключительно важно*: наше теперешнее свидание все будущее оформит и определит. Живой или мертвый увижу Ее.

Буду ждать от Любы срока для приезда пока терпеливо.

Можешь показать мое письмо Александре Андреевне (мне бы даже хотелось бы, чтобы она прочла его, потому что писать Тебе *обо всем этом* я могу, а ей не могу. А она должна знать мои намерения).

Милый, милый брат, повторяю еще раз, что люблю, люблю Тебя...

Иванов. 11 апреля 1906. Петербург

Был у Блоков. Пришел домой, лег, не молясь Богу, и «заснул от печали». Вспоминаю теперь только с болью о вчерашнем, но уже светится надежда.

Вспоминаю вчерашнее у Блоков как кошмар. Внешне. Нос прямо пунцово горел. За чаем засмеялся, фыркнул, и крошка мокрая изо рта полетела в коробку с печеньем, не долетела и упала у крышки. Я подобрал. Все видели... Старался ничего не думать от отвращения.

Все признаки самозванца, которого следует разрезать на куски, положить в пушку и выстрелить.

Пришел я к ним в самом начале 9-го часа. Спросил: «дома ли кто?» — Дома все, кроме барина младшего, т. е. А. Блока.

Спросил Александру Андреевну. Франц Феликсович собирался в Царское село и надо ему помогать укладываться.

Александра Андреевна – «Ах, как я вам рада. Весь день вспоминала вас», и говорит «потому вот, что ведь Любочка».

Она говорила, как вызываяще Белый вел себя к Саше, все называл его «стариком» в халате и туфлях.

Тут я понял, отчего «Двойник» был прислан ею и – все это с «Балаганчиком».

А Любовь Дмитриевна у двери тут показалась, но спряталась, увидав, что я с Александрой Андреевной говорю, и вышла только потом. Александра Андреевна ушла помогать Францу Феликсовичу.

Я опять с Любовью Дмитриевной, как ровно месяц тому назад.

«Борю все разлюбили; еще Саша ничего, а все, особенно Александра Андреевна. Я вышла после болезни в первый раз и тут такое вышло» (плачет). Письмо Белый пишет Любви Дмитриевне и адресует Александре Андреевне. «Я сейчас его покажу». Ушла, принесла. Только стала открывать, вдруг Саша в дверях; пришел. – А, Саша! — я говорю. Нехорошо это у меня вышло, что-то жутко тревожное во всем доме чувствуется. И его приход жуткий.

Он ходил на Николаевский вокзал, послал телеграмму Борису Николаевичу, чтоб тот приезжал в воскресенье. «Такие письма были от него». Квитанции Любви Дмитриевне отдал. Поговорили втроем недолго и Саша учиться ушел.

Я опять с Любовью Дмитриевной один сижу, как тогда, и письмо вынула, дала читать. Я, читая, ничего не разобрал. Вижу сплошное отчаянье бесноватого.

А начался разговор с того, что я показал письмо Зинаиды Николаевны ко мне. И вышло вроде реакции: «Что я их по-прежнему люблю. Что ей не показалась фальшивая нота в письме к ней, как Саша говорит». Рассказал я про сон с Белым и Сашей и о легкомысленных чертах. И что забыл важное самое, что Саша такое говорил о Белом в связи с этими чертенятами и карликами.

Она спросила: «Вы говорили что-нибудь Татьяне Николаевне о том, об этом?»

«Нет. Но главное то, что Борис Николаевич сказал Татьяне Николаевне, что вы можете уйти с ним от Блока».

Любовь Дмитриевна вся так и поднялась – «Что-о?! Это не может быть!».

Я съезился самым подленьким образом.

Она в ужасе и отчаянья.

«Это, говорит, похоже на то, что я разболтал все, и что они все хитростью у меня узнали».

«Татьяна Николаевна говорила, что она убеждала его: не надо этого».

«Значит, я стала притчею во языцех».

Раз Тата знает, значит и все.

Я говорю: «Не знаю, нет, должно быть. А Зинаида Николаевна, думаю, наверно знает от...»



Тут очевидно стало Любви Дмитриевне, «что я проболтался и все от меня хитростью выведали».

Это неправда.

Но мне вдруг начинает казаться, что именно так. Ужас. Достоевщина какая-то.

У Таты это было в связи с размышлением о союзе трех, о Дмитрие Сергеевиче, Дмитрие Философове, Зинаиде Николаевне.

Крабб за чаем вел себя неподобающе. Люба платком махала, чтоб в трубу шло. Саша за чаем молол, повторяя зазубренные философские теории, готовился к экзаменам.

Александра Андреевна спросила «где Тата?» Я сказал: «в Москве».

А Гюнтер там? и этому придали значение.

В конце Люба сказала мне: «Расходясь с Белым, я расхожусь и с Мережковскими?» Это странно. Странно, что через это все как-то «языки развязались», все заговорили, «Позор сплетникам». Но через это атмосфера вдруг очистилась, стало яснее. Дай Бог. Очеловечивалось все...

13 апреля 1906. Петербург

Пришел в третьем часу к Блокам. Спросил Любовь Дмитриевну. Поздоровался с Сашей, вижу — идет Любовь Дмитриевна. — «Очень хорошо, что просто пришли». Пошли в гостиную. Что-то новое появилось во взгляде Любви Дмитриевны. Странно, не то жалкое, не то насмешливо жалеющее (проболтался, глупый, но добрый).

Спросил: «получили ли письмо от Татьяны Николаевны?»

«Получила. Я удивляюсь, что она так прямо говорит! Я ответила ей».

Я смущенно говорю: «вы видите, что мы не сплетники».

«Да, я знаю. Я удивлена, как Борис Николаевич твердо сговаривал, когда на станцию ехали, не говорить никому, и как это он уже делал, сказав Татьяне Николаевне».

«Все зависит от того, как я его увижу. Как увижу, так и решу».

Саша все время был с нами и вдруг сказал: «Боря навертел на себя любовь к Любе, а и нет ее»...

Белый. Святая неделя!..

Приехал с тяжелым принудом, иду неуверенный, буду ли принят: стесненно встречает Л. Д.; и приводит на «их» половину; из этого заключаю, что Александра Андреевна — не принимает меня...

Подавленный, возвращаюсь на Невский, в Бель-Вю.

Дипломатия восстановилась-таки: Александра Андреевна меня приняла, положив гнев на «сдержанность»; выказала удивительное терпение: всей душой примыкая к А. А., зная ярость мою на А. А. — быть такой деликатной! Л. Д. допускала меня к разговорам; ходил к ней; запомнился день; был он душен и мутен: гроза



приближалась; молчали; Л. Д. ушла взглядом в страду. А. А. в эти дни я почти не видал; он сидел у себя; и потом — исчезал он...

Иванов. 16 апреля 1906. Петербург

Встретил В. А. Пяста; первое известие: «Белый приехал», и что Блок вчера в дождь с ним в Лесной ездил.

Бекетова. 17 апреля 1906. Петербург

Вчера Аля заходила ко мне, гуляли вместе. Рассказала мне про Бору: явился вчера – жалкий и общипанный, было с Сашурой очень натянута, а Люба спокойна.

Иванов. 17 апреля 1906. Петербург

...Пошел к Блокам.

Солнце красное садилось и окна на набережной Невы горели, что «волчьѣ глаза», так, что на Выборгской стороне отражался в окнах блеск их. А в небесах высоко на пламени неба летели три журавля.

Мне страшно было идти, ибо «Андрей Белый приехал», об этом повсюду слышалось. Я боялся встречи первый.

Заря была красно-розовая на голубом небосклоне; как фату, набросила она пряди облаков. Это особенно было видно на дворе полка.

Он во флагах. Сегодняшний праздник полковой кончился, но не успели еще убрать флаги.

Вошел вверх по лестнице и из окна дивная заря, вся розовая, розовая.

Звонил три раза. Не открывали, денщик, верно, ушел.

Тогда стукнул в окно: у Саши было освещено.

Только постучал туда – форточка открылась и там Любовь Дмитриевна.

«Господи, Евгений Павлович!» и как сказала сердечно-дивно. «Я сейчас отворю вам», — послышался голос ее уже из прихожей.

Спросил о Саше, и потом о Белом.

«Очень тяжело: пули беру на себя» «Двое».

Один не муж. — Белый. Искушение.

Влюбленность подавленная. Он в ее власти; с ним все можно сделать.

«И совсем неправду о нем думали».

Когда сидели за чаем втроем с Александрой Андреевной, пришел и Боря.

Стали бутылку сабли откупоривать.

Я взялся. Да как-то откупорил, что всего Бориса Николаевича спрыснул.

Он — «а-а» — говорит улыбаясь — «святая вода». Потом он очень сердился втайне. Говорит, это я хотел его с «уголька вспрыснуть», но право же, ни тени недоброго не было.



Я думал сперва, что Борис Николаевич ко мне враждебен. Но потом разговоривали как-то хорошо, хотя и не то, что надо. Истеричность все же была, а может и чувство, но не глубоко.

«Все благополучно. Не больше и не меньше».

А Саша Блок все время не был, пошел «пить». Мы ждали, но он так и не пришел. Я простился один. Любовь Дмитриевна проводила меня до передней.

Белый. Однажды, в 12 часов ночи — он: входит в мятом своем сюртуке, странно серый, садится; и — каменеет у стенки; Л. Д.:

— Саша — пьяный?

А. А. — соглашается:

— Да, Люба: пьяный...

Вернулся в тот день с островов; в ресторане им было написано стихотворение «Незнакомка», потом получившее очень большую огласку; его — не любил за все то, что связалось с надрывом в А. А., выступающего из теней серо-стертым лицом; и — заявляющего хриплым голосом:

— Да, Люба: пьяный...

Стихотворение фигурирует, как автограф: я помню бумажку с набросанными строками; склоняюсь — над почерком: сравниваю начертания букв с начертаниями первых писем; да, да: изменилась рука; там — крупнее, прямее, нажимистей, четче; здесь — более хвостиков, закружений; и — буквы сливаются: спешка!

Меняется с почерком вид; исчезает совсем франтоватость: «студент» — безо всякой ложености; смята фуражка; и — голос: грубой (хрипотца); взгляд — припухший; где розовая атмосфера, которой он действовал? Глубже морщина на лбу; вырастает отчетливо нос, заостряется и бросая на впалые щеки какие-то протени; этой весной он ходит остриженный; воспринимаю его: некрасивым и темным, как будто он со свегу входит в тень; неуверенно, зыбко и шатко мне с ним; избегаю; и он избегает: молчит; я — поругиваю Чулкова, Иванова; он выговаривает с отчетливым «чтобы» пустое.

— Ходил на экзамен?

— Да.

— Выдержал?

— Выдержал...

Иванов. 18 апреля 1906. Петербург

Против Публичной Библиотеки встретил Бориса Бугаева. Он меня к себе звал на завтра.

19 апреля 1906. Петербург

Был у Бориса Бугаева в начале 1-го до 3 часов..

Говорили о Диевском монастыре... О покаянии и тени — отрицательно — он. На Иисуса в обиде. От Мережковских отходит... Тате письма «Не послал».



Разговаривали.

«Евгений Павлович, вы можете, вы можете поверить мне, что не могу иначе говорить, как говорю (в истерике кричит: «не могу, не могу»).

Я сказал «верю».

Белый был у Татьяны Николаевны...

23 апреля 1906. Петербург

Был у Блоков. Сегодня именины Александры Андреевны. Замечательно все-таки явление Божие.

Любовь Дмитриевна ужасно красива, даже жутко становится порой, жутко!

Когда пришел, то Белый прощался с Любой. Он был в белом. Сказала, чтоб я с Сашей отошел туда, к окну говорить, а сама пошла в прихожую договорить с Белым. Потом все пошли в столовую.

Белый неизвестно когда уедет. Ответ на мой вопрос: «Люба, ты не знаешь?»

Вообще в доме опять неблагополучно.

24 апреля 1906. Петербург

Был у Бориса Белого второй раз. Он хорош, хорош. Его любить и глубоко можно.

25 апреля 1906. Петербург

В гостином дворе встретил Любовь Дмитриевну. Идет без пальто — в желтом платье. Не узнаешь. Защитный цвет, делающий совсем незаметной, неинтересной.

«Борис Николаевич вас хвалит. Говорит, что вы придете, повертите шляпой и все хорошо. Правда ведь «все хорошо», Евгений Павлович?» «Да» — говорю.

27 апреля 1906. Петербург

Кажется, вчера простудился... Знобит здорово...

Белый. Л. Д. — рекомендует не ехать; я — еду.

...С облегчением встретили быстрый отъезд мой А. А. и Л. Д.; вот и завтрак, последний у Блоков. Сыграл на прощанье «*Вы жертвою пали...*» Сыграл, и — уехал: в Москву. А. А. был на экзамене. Я не простился с ним; Л. Д., помню, махала мне в форточку белым платочком...

Морально я одерживаю победу над Л.Д.; она дает мне обещание, что осенью мы с ней едем в Италию, и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней; она просит дать ей провести с Ал. Ал. последнее лето...

Иванов. 1 мая 1906. Петербург

Белый уехал, пока я хворал.



Белый – Блоку. 5 мая 1906. Дедово

...Поздравляю тебя с окончанием экзаменов. Желаю тебе всего, всего радостного.

Я в Дедове. Здесь тихо. Встает передо мной Солнце безвременья.

И жизнь, и смерть в один свет неугасимый сливается.

Тихо, покорно молюсь свету. Светоносный восторг со мною. Он несет меня на волнах ветра. Будет ветер. Ветер всегда. Все летит, исчезая, овеянное ветром. Ветер гонит миры. Мы забываем о ветре. Но прислушайся: каким потоком обуреваемо все? Все несется — несется.

Все в буре. Буря счастья и буря смерти — один ветер. Ветер веет. Ветер говорит слова неизреченные. Говорим и мы, исполненные ветра.

Неизвестно откуда приходит ветер и куда уходит. Неизвестно, откуда приходим и куда идем.

Идем в ветре, с ветром.

Ветер впереди. И в прошлом тоже.

Ветер.

Люблю Тебя нежно. Да будет ветер с Тобой всегда ныне и присно и во веки веков...

Иванов. 6 мая 1906. Петербург

Был у Блоков. Он кончил Университет по первому разряду. Пришел утром. Саша Блок читал стихи «Незнакомка». Кончается «in vino veritas». И затем 3-ю часть поэмы «Ночная фиалка». Красное вино, говорит, фиолетового цвета, а фиалка ведь белая, а не красная, говорю я.

Любе не нравится, тревога. А мне очень близко и напоминает сон кружения мой. Поразительно, что поэма тоже сон...

9 мая 1906. Петербург

После обеда нашего вдруг звонок. Господи! Александр Александрович; все из-за стола так и вышли радостно к нему, мама, сестры и я.

Зовут отобедать. Он говорит, что сыт. «Шарлотка» была последняя, «Шарлотку» — ну хорошо, «шарлотку» он любил.

Вид какой-то затаенный у него. Что-то замыслил и стесняется перед мамой. Такое лицо немного для наших ново и неприятно у него. Он бывал такой светлый, а тут что-то темное в лице.

«Женя, я пришел, чтоб ехать с тобою в Озерки. Гулять. Хочешь?»

Пошли в Сашину комнату. Он объяснил: «Вечером хотел пойти к Чулкову, но к Чулкову не пошел, а поехал «на острова» на пароходе и вдруг там решил, лучше в «Озерки» и «пить». У него такая тоска была, что оставалось только напиться.

* Истина в вине (лат.).



Доволен, что я согласился вместе.

Поехали на пароходе. Вышли у Новой деревни. Заехали в Озерки на поезде Озерковском.

Прекрасно на площадках: сидеть можно. Чудный воздух.

Приехали. Пошли на озеро, «где скрипят уключины» и «визг женский». В Шувалово прошли. Там у вокзала кафе. В кафе пили кофе. Потом Саша с какой-то нежностью ко мне, как Вергилий к Данте, указывал на позолоченный «крендель булочной», на вывески кафе. Все это он показывал с большой любовью. Как бы желая ввести меня в тот путь, которым велся он тогда и тот вечер, как появилась Незнакомка. Наконец привел на вокзал Озерковский (Сестрорецкой ж. д.) Из большого венецианского окна видны «шлагбаумы», на все это он указывал по стихам. В окне видна железная дорога. Финляндская ж. д. Поезда часто проносятся мимо... Зеленеющий в заре кусок неба то закрывается, то открывается.

С этими пролетающими машинами и связано появление в окне незнакомки.

«Теперь выпьем. Женья».

«Я насчет пьяниц с глазами кроликов».

«Послушайте!» — говорит, постукивая рукояткой ножа по столу. Лицо серьезное, надменно маскировано. Мне смешно, ему тоже, но роль выдерживает.

«Послушайте, дайте нам одну бутылку красного вина» (показывает на прейскурант).

Я ощущаю себя в положении девицы, которую привез развращать злодей.

Смеемся.

Пьем вино. Вино не дорогое, но «терпкое», главное с «лиловатым отливом» ночной фиалки, в этом вся тайна.

Подал лакей сонный бутылку. Откупорив, поставил два стакана.

Пьем и говорим серьезно. То есть он говорит. Я молчу.

О «Незнакомке».

Я начинаю почти видеть ее. Черное платье, точно она, или вернее весь стан ее прошел и окне, как пиковая дама перед Германом, скользнул и сел за столик. Одна, без спутников.

Саша в самом деле ждет, что кто-то придет, она, «Незнакомка». Верно, действительно, кто-то ходит.

По правде сказать, мне тревожно, не знаю «как» тут. Делаю глаза невинной жертвы.

«Еще бутылочку».

Сейчас же лакей подает еще бутылочку.

Выпиваем вторую. Значит, каждый по бутылке.

«Саша, не надо. Я не буду. — Будешь. Дайте еще бутылку».

Надо, чтоб пол начал качаться немного.

«Женья, оставь, это я угощаю».



«Теперь пойдём. Посмотри, как пол немного покачивается, как на палубе. Корабль».

Верно, действительно, точно онемели ноги немного, пол, как при легкой качке на пароходе, поднимается и опускается.

Незнакомки не дождалась, поехали тем же путем. Вышли у Летнего сада. Меня сильно мутило с одной бутылки. Вино было подкрашенное, по-видимому, но терпкое и лиловое.

10 мая 1906. Петербург

Для кого как, а для меня еще истины в вине нет. Такая теперь гадость! Тошнит, травит до рвоты. Морская болезнь от незнакомки.

Мучительно ужасно. Все кишки тянет вон через рот. Голова свинец; и трещит. Не знаю, как маме сказать, опять беспокойство наделаю.

К полдню поправился. Сода – хорошо. И потом задремал на диване под вентилятором. Проснулся как здоровый.

11 мая 1906. Петербург

У Блоков был в час. Завтракали. Сегодня уезжают в 3 ч. 30 м, а из дома в два часа дня.

Любовь Дмитриевна смеялась над тем, как выпивши мы были. Саша восклицал на мои жалобы на боль от вина: «Женя, да ведь всего две бутылки легкого красного. Как так ты был пьян?» Любовь Дмитриевна пила вино и все смеялась.

...В последний ли раз я с ними?..

Своей квартирой хотят Блоки жить, уже не в казармах.

Боюсь за Любу, ее не хватит.

Люба. Мы уехали в Шахматово рано. Шахматово – тихое прибрежье, куда и потом не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он – я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так все считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, все это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем samozабвением страсти – Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним это была бы, действительно, измена. У Л. Лесной есть стихотворенница, которое она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изме-



нил, значит она случайна...» С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала всю мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало...

Люба – Белому. 14 мая 1906. *Шахматово*

Боря, милый, не писала Вам, потому что мне надо было от Вас отдалиться, изглаживать все, что было. Вы ведь знаете, что то, что я так поддаюсь Вашему влиянию, Вашей страсти, для меня провал, всегда...

Люба. Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо – бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя в праве так поступать, раз я то уже свободна от влюбленности...

Белый. Моя нервность питалась... бурною перепискою с Блоками, ведшею прямо к разрыву; забрасывал Блоков я залпами писем, мобилизуя все свои взгляды на «ценность» и разрушая их тактику поведения тяжеловеснейшею артиллерией... доказать им: они — лицемеры; и — контрреволюционеры: буржуи, схватившиеся за мещанский уклад (мне впоследствии признавалась Л. Д., что огромный пакет моих писем сожгла она в печке); Л. Д. с темпераментом отпаривала удары мои, обвиняя меня в святотатстве, в абстрактности... из ссылок моих на апостола Павла она заключила, что объявляюсь Христом... Блок писал меньше: и — очень невнятно.



Я с каждым письмом отрезал себе путь примирения; все — компромисс; я дал клятву себе: компромиссам не быть: быть — по-новому! И бродя по сухим пропыленным дорогам, певал:

*Отречемся от старого мира:
Отряхнем его прах с наших ног!*

Там, где «ценностей» в отношениях нет, — их взрывают. С людьми? Что ж из этого. Ценность — надчеловечна... Пусть — смерть: все равно; упирался я тут в психологию террориста; вопрос, от которого я не мог отвертеться, — убийство; и акт, некий акт, кой должен свершить... стало быть... есть?.. Россия жила этим: экспроприации, покушенья, убийства! И все я — оправдывал; чаще вставало:

— А — можешь убить?

Отвечал:

— Не могу...

Отвечало:

— Так, стало быть, — смерть тебе!

Мысль о самоубийстве, болезненная фантазия, тут разыгрывалась на протяжении месяцев; я бродил по сухим пропыленным дорогам, мурлыча:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Не было мне ни покоя, ни отдыха; и я бросался в Москву; и оттуда — обратно; попал невзначай раз к себе я в имение да и застрял там дней двадцать...

Бекетова. 4 июля 1906. Шахматово

Ушла от них потому, что не могу с ними говорить. Чужды мне все их взгляды, их мистицизм, их отношение к жизни. Мне кажется все это глубоко фальшивым, особенно странны все эти речи в устах Любы — она переняла всю условную терминологию и будто бы все это ей вполне понятно. — «Зелено-лиловое время», «недотыкомка» и пр.

Люба — Белому. 22 июля 1906. Шахматово

Боря, Вы порываетесь узнать, Вы просите чего-нибудь определенного обо мне, хотя и было решено в письмах стараться умалчивать об этом до поры. Я ждала, когда совсем овладею всем тем, что созрело во мне теперь, чтобы написать Вам. Но теперь вижу, что Вы сами предчувствуете что-то, и Вам не терпится, хотите все знать, хотя бы и ужасное для Вас. Знаю, что высказывая все теперь, я отнимаю часть властности и непреложности у моих слов, которые были бы у них, если бы я написала, строго дождавшись минуты.

Боря, то, что было между нами, сыграло громадную роль в моей жизни; никогда, быть может, не узнавала я столько о себе, не видела так далеко вперед, как теперь. Вам я обязана тем, что жизнь

моя перестала быть просто проживанием; теперь мне виден и ясен мой путь в ней. (Я и слова буду употреблять Ваши, хотя, может быть, не так, как Вы.) Я тонула в хаосе моих мыслей и чувств; но вот Вы заговорили о ценности. Я стала искать (о, я все понимаю и узнаю, что Вы говорите, точно это мое, жило во мне, но слов я не знала) ценность моей жизни. Помните, я рассказывала Вам, как развивалась моя любовь к Саше, как произвольны были все мои поступки, как я считала нас «марионетками»? Разве есть возможность сомневаться, что любовь эта не в моей воле, а волей Пославшего меня, что она вручена мне, что она ценная, что в ней мой путь. Для меня незыблемо — она мой путь. А если так — во имя его все возьму на себя, нарушу все, не относящееся к нему, все вынесет моя совесть... «Иметь настоящую, свежую, пышущую здоровьем совесть, чтобы смело идти к желанной цели» (Сольнес)*.

Боря, знаю, что между нами, знаю Вашу любовь, но твердо знаю, что взять это или не взять в моей воле. Вот разница. И не беру во имя ценного, во имя пути мне данного. Путь мой требует этого, требует моего вольного невольничьего служения. И я должна нарушить с Вами все. Теперь это так. Пройдет время, и я надеюсь на это, Вы можете себе представить, как нам можно будет встретиться друзьями. Теперь — нет. А вот и обетование мне, что дано и суждено мне пройти мой путь. 17-го июля (как раз в тот день, когда Вы мне писали последнее письмо) мы пошли с Сашей на самую высокую у нас гору. Подходя к ней, я вдруг решила взойти на нее (Вы видите, я читаю теперь Ибсена). И сердце захолонуло, как перед важным и ценным. И я взошла на гору, прошла весь путь, не отставая от Саши, крутой, пустыми полями путь, в конце которого было одно бесконечное нежно-голубое небо. Мы шли быстро-быстро, сердце у меня билось и болело, дыханье захватывало, но я ни разу ни остановилась, ни споткнулась, ни взмолилась о пощаде, и все росла моя радость и благодарность за мой трудный, горный путь. Мы сидели на высоте; было громадное голубое небо, нежные голубые дали, вдаль был виден дом отца (Боблово), а в солнечных лучах плавали и кричали журавли.

Вот, Боря, вся моя правда обо мне. Я говорю Вам прямо от моей души к Вашей душе, помимо всяких истерик (они есть и у Вас, и у меня). Примите и поймите мою правду, как я понимаю ценность Вашу. Господь с Вами!..

Когда я написала письмо, открыла Евангелие (Луки, гл. 22, 51): Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И коснувшись уха его, исцелил его...

Белый. Моя экзальтация крепла; и после письма Любовь Дмитриевны я решаю немедленно выехать в Шахматово (оно рядом почти: одна станция); но — сознаю, что не буду я принят в усадьбе;

* Слова Хильды из драмы Ибсена «Строитель Сольнес».



решаю — остановиться в избе, в деревушке поблизости; но С. М. отговаривает.

А. А., судя по письмам, переживал тяжелейшее лето; в нем сказывалось протivление протiv тем, привлекавших недавно его...

Бекетова. 7 августа 1906. Шахматово

... Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видаться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. Аля страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру. Завтра предстоит тяжелый день ожидания до поздней ночи. Хорошо, что я все-таки с ней. Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ей малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу. Аля все еще повторяет его слова, считает его человеком необыкновенного ума и талантов. Странно мне это слышать, но перемена все же большая и теперь... В голову не приходит то, как можно смотреть на Бороно кривлянье, глупости и вычуры, и как невыносимо досадно смотреть на восторги по поводу всего этого. Вот, однако, до чего довела Люба свою тщеславную и опасную игру в дружбу и сродство душ с отчаянно влюбленным молодым поэтом. Гибели его она не боится, она ей не страшна. «Она сильная и все в будущем», — говорит Аля. Хороша сила! «Думала ли я, — говорила сегодня Аля, — что дойдет до этого! А я ж считала Любу такой мудрой и верной!».

Белый. Попадаю случайно в Москву: продолжаю обстреливать Блоков оттуда; и — получаю записку: Л. Д. и А. А. собираются на день в Москву объясниться; жду; утром однажды звонятся: посылный: А. А. и Л. Д. сидят в «Праге» и — просят туда; я — лечу; я — влетаю на лестницу; вижу, что там, из-за столика, поднимаются: ласково на меня посмотревший А. А., и спокойная, пышущая здоровьем и свежестью, очень нарядная и торжественная Л. Д. (ей одной было видно всех легче); она ставит решительный ультиматум: уgomониться. Я — ехал совсем на другое; я думал, что происходит полнейшая сдача позиций мне Блоками; едва сели, как вскакиваю к удивленью лакеев; и — заявляю:

— Не знаю, зачем вы приехали... Нам говорить больше не о чем — до Петербурга, до скорого свидания там.

— Нет, решительно: вы — не приедете...

— Я приеду.

- Нет...
- Да...
- Нет...
- Прощайте!

И — направляюсь к выходу, останавливаемый лакеем с токайским в руке; я — расплачиваюсь; Блоки, тесно прижавшись друг к другу, спускаются с лестницы; я — нагоняю: Л. Д. очень нервно обертывается; и в глазах ее вижу испуг (как в той сцене с щипцами, — у Мережковских); я думаю, что она верно думает, что я думаю — что-то недоброе; и я думаю на думы о думках: ...успокойтесь: *не это* грозит, а — *другое*, о чем вы не знаете. Показалось мне, что Л. Д. показалось, что имею в кармане оружие я.

Все втроем мы выходим; расходимся перед «Прагою»: Блоки — по направлению к Поварской, я — к Смоленскому рынку.

Я через два уж часа лечу в Крюково, сваливаюсь к С. М., ни на что не похожий; С. М. со мной возится; тут нелепая мысль посещает меня: уходить себя голодом; пробую втихомолку не есть (ем для виду): и попадаюсь с поличным: С. М. Соловьеву.

Не выгорело!..

Бекетова. 8 августа 1906. Шахматово

Саша с Любей вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделась с Борей. Поговорили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. Саша взял из «Скорпиона» свое посвящение Боре в новом сборнике стихов. Слава Богу! Разумеется, выйдет сплетня. Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение). Люба думала, что я буду злорадствовать. Не понимают они меня...

Белый. И я запираюсь опять на квартире своей; и моя медитация: переживание человеческого убийства, переживание до мельчайших подробностей террористического поступка (да, да, — не предложить ли себя террористам?); переживаю себя — убивающим: себя самого (жест Л. Д. обернувшейся на меня — там на лестнице, в «Праге» — инстинкт, диктовавший ей страх: ну и аура же была у меня!). Да, я был ненормальным в те дни; я нашел среди старых вещей маскарадную черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске: лицо мое дня не могло выносить: мне хотелось одеться в кровавое домино; и — так бегать по улицам...

Белый – Блокам. 9 августа 1906. Дедово

Я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня; гоните меня, бейте меня, бегите от меня, а я буду *везде и всегда с Вами и буду все, все, все переносить*. Планы один ужасней другого прошли передо мной, и я увидел *сегодня*, что *не* могу рассудком, холодно преступить: я всех Вас люблю. Мне остается позор: унижение



мое безгранично, терпение мое НЕ имеет пределов. Я все вынесу: я буду только с Вами, с Вами. Я орудие Ваших пыток: пытайте, и НЕ бойтесь меня: я — собака Ваша *всегда, всю жизнь*.

До 22-го в Дедове. Потом в Москве, с сентября там, ГДЕ ВЫ, и на все унижения готовый. Отказываюсь от всех взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспредельной Любви к Любе...

Р. S. Скажи Любе, что мы можем, МОЖЕМ, **МОЖЕМ** быть сестрой и братом. *Скоро увидимся*.

Белый. Здесь отмечаю, что нота *убийства* и *взрыва* была лейтмотивом того переходного времени; может быть, лучшие переживали убийство (одни совершенно реально, другие — в себе); большинство — разлагалось: в двусмыслице, в вялости, в крепнувшем сексуализме...

Неистовый Эллис*, бывало, сидит у меня: не удивляется маске нисколько; и экзальтирует; он — взвывает мое настроение; высиживается решение: вызвать А. А. на дуэль; твердо знаю: убить — не убью; стало быть: это — форма самоубийства; от Эллиса прячу намерение это, но посылаю его секундантом к А. А.; он, надев котелок и подергивая своим левым плечом (такой тик у него), отправляется тотчас же — в ливень и в бурю; его с нетерпением жду целый день, он не едет. Звонок: возвращается мама; и — застает меня в маске.

На следующий лишь день появляется Эллис; рассказывает: прокачавшись в бричке по тряской дороге, под дождиком, наткнувшись у Шахматова на отъезжающую в Петербург Александру Андреевну, — встречает А. А. и Л. Д. в мокром садике, на прогулке, отводит А. А., передает вызов мой; тут он имеет длинейшее с ним объяснение. Эллис, передавая это мне, уверяет: все месяцы эти имею превратное представление об А. А.; он — не видит причин для дуэли; А. А. — то же самое он говорил-де ему:

— Для чего же. Лев Львович, дуэль? Где же поводы? Поводов — нет... Просто Боря ужасно устал...

И А. А.-де так ласково спрашивал обо всех мелочах, окружавших меня: ну, — конечно, приехать-де надо мне к ним, в Петербург; кто же может меня задержать? Недоразумение все это!..

Передавая такие слова от А. А., Эллис быстро твердил, переключивая бородку и дергаясь левым плечом:

— Александр Александрович, — он: хороший, хороший!..

— Вот только: уста-а-алый, уста-а-алый!

И вот: сквозь «*химеру*» мне выступил образ любимого брата; очнулся я... Эллис же мне рассказал, что Л. Д. и А. А. целый день обо мне говорили; решили: А. А. будет ждать меня осенью в Питере.

— Стало быть то-то и то-то — не то?

* Поэт, переводчик, теоретик символизма, христианский философ, историк литературы.

— Ничего подобного, — уверял меня Эллис: рассказывал долго, как тихо бродили они по желтеющим, ярко осенним лесам, как А. А. приютил его на ночь, а ночью пришел к нему в комнату, сел на постель и беседовал. С ним — о себе, обо мне и о жизни...

Я представил, как, верно, он схватывал Блока за локоть; и — тряс ему локоть; и приближал свои красные губы к лицу, обдавая слюною А. А...

Люба. Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. Раз сам он не изменил чувств, не верил измене моих. Верил весенним моим поступкам и словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобным глупостей. А главная его ошибка — был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом... Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи, на придачу.

Поэтому, когда явился секундант Кобылинский*, я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что я сама должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спустила ему все карты и с самого начала испортила все дело...

Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся, в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад и вперед. Скоро узнаем и догадываемся. Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему — это уж его специальность. Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине, шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты? У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне, секундант-то! Ну, все

* Эллис.



испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, а мы, давайте сначала пообедаем. Быстро мы с Сашей меняем наши промокишие платя. Ну, а за обедом уж было пустяжным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры» — к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен... за чаем. Расстались мы все большими друзьями...

Белый. Ну, так — так: решено; еду я в Петербург, а дуэли — не быть; и даю себе слово: дуэли с А. А. — никогда не бывать! Эллис мне передал, что А. А. и Л. Д. покидают квартиру; как странно: переезжаем и мы; покидаю я дом, где родился; А. А. покидает то место, где жил еще отроком: в добрый путь!..

Белый – Блоку. 11 августа 1906. Дедово

Милый Саша.

Клянусь, что клятва моя не внушена этим голубым, светлым днем наступающей осени, а что я воспользовался им для того, чтобы в форму ее не вкралось ничто истеричное; а только одна святая правда. Клянусь, что Люба — это я, но только *лучший*. Клянусь, что Она — святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак — это не видать Ее, клянусь, что сила моей святой любви «*о свете, всегда о свете*», потому что, клянусь, я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один, один, один путь: это Люба. Клянусь, что тучи, висевшие надо мной от решения Любы, чтобы я остался вдали, истаяли безвозвратно и что покорность моя без границ и терпение мое *нечеловеческое*, кроме одного: отдаления от Любы. *Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба*, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы ни я, ни Андрей Белый, а — никто, и что душа моя вся ушла в то, чтобы близость наша оставалась. Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба — необходимый воздух моей души. Клянусь, что вся истерика моя от безвоздушности. Клянусь, что если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: и это не просто переезд, а паломничество. Я могу видать хоть изредка Любу, но я *должен, должен, должен* ее видать.

К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству...

Люба – Белому. 12 августа 1906. Шахматово

Милый Боря, Вы, должно быть, и не знаете, какой большой шаг Вы сделали для возобновления дружбы со всеми нами Вашими тре-



мя письмами к нам. И не в словах дело (такие слова зачем?), а в том направлении, которое приняли теперь Вы. После поездки в Москву я думала, что все кончено навсегда, и была очень близка к ненависти к Вам и презрению, так Вы унизили себя требованием своих прав и совершенным игнорированием других. Теперь я возвращаю с радостью Вам все мое уважение и вижу, что могу говорить с Вами опять и надеяться, что Вы меня выслушаете. Я предлагаю Вам, Боря, вернуть себе нашу общую и мою дружбу. Я говорила Вам, что нам и мне, после всего, что было, теперь, сейчас *невозможно* быть с Вами дружными, даже видется трудно, даже присутствие Ваше в Петербурге беспокойно и внушало бы вражду. Если же Вы переждете должное время — я уверена, мы все встретимся с Вами друзьями. Я это вижу по той горячей нежности, с которой Саша встретил Ваше письмо...

Блок – Белому. 12 августа 1906. Шахматово

...Прочтя Твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе, или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет. По всей вероятности, — чем беспокойнее Ты, — тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что я *верю себе* в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно так же как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в Петербург, — и лучше *решительно для всех нас*.

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько нужно, чтобы у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах — только большое и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать», и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать — и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: не посвящаю ее Тебе; во-первых, потому, что не вижу теперь — «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения стали глубже и они не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где Ты», и посвящение было бы внешним.

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и без лжи...

Белый – Блоку. 13 августа. 1906. Москва

...Право, я удивляюсь, что Ты меня не понимаешь. Ведь понять меня вовсе нетрудно: для этого нужно только *быть человеком*



и действительно знать, а не на словах только и не в литературе, *что такое Любовь*. Если я Тебе не понятен, объясни мне фактически, что Тебе во мне не понятно, и я с восторгом готов написать Тебе хоть диссертацию, объясняющую по пунктам то, что было бы во мне понятно всякому *живому* человеку, раз в жизни испытывавшему *настоящую* любовь.

Ты прекрасно знаешь, что я не могу не видеть Любы, и что меня хотят этого лишить. Я считаю последнее бессмыслицею, варварской, *ненужной* жестокостью, потому что весной (в апреле) я уже решил-ся на самоубийство, и меня Вы все (Ты, Люба, Александра Андреевна) предательски спасли моим переездом в Петербург — но только для того, чтобы через 2—3 недели опять предъявить мне смертный приговор и заставить протомиться 3 месяца. Этой неизвестности не выдержит никакая душа, и я удивляюсь, что есть люди, при всей своей утонченности не могущие понять того, что понятно всякому *человеку*, имеющему хоть каплю сочувствия к ближнему. Если Ты мне возразишь, что именно Ты по самому ходу вещей нормально должен быть лишен этого сочувствия ко мне, то все Твое 7-месячное поведение до сих пор противоречило бы такому возражению мне; я с своей стороны говорю и *подчеркиваю*, что не видеть Любы не могу, и что я свят и праведен в своем заявлении и что, пока я жив, я буду стремиться к тому, чтобы видеть Любу...

P.S. Действительно, лучше, что Ты отменил посвящение мне Твоей книги. Выбрав путь унижения, я готов целовать у Тебя руки, потому что Люба Тебя любит. Но готов и *жизнью своей поддержать* свое *святое право видеть Любу*.

Люба – Белому. 20 августа 1906. Шахматово

...Вы нас совершенно не услышали, Боря, и приезжаете в Петербург. Нам остается, значит (потому что это мы, не кто-то такой, воображаемый Вами), сделать все, чтобы позволить звучать в столь фальшивом положении только всем тем человеческим нотам, которые еще можно из него извлечь. Мы это сделаем. Вы тоже исполните свое обещание — не употреблять насилия: будете приходите к нам, как писали, часа на два раз в неделю, не будете присылать посыльных, цветов, хулиганов, швейцаров и т. п., а так же и потоков писем. Когда приедете, сообщите нам по почте Ваш адрес, и я напишу Вам день, когда Вы можете застать нас дома. — Александра Андреевна и Саша просят меня написать Вам, что хотя их письма и написаны до получения клятвы Вашей, но они от своих слов не отказываются. Когда они писали свои письма — желали Вам только добра. Мое письмо могло бы пояснить Вам смысл и их писем, если бы Вы захотели вникнуть.

Теперь я хочу Вам сказать несколько слов обо всем, что Вы уже давно пишете о Саше. Или все это внушено ослеплением, понят-



ным мне отчасти, или же Вы никогда не видели и кончика Сашиного мизинца, до такой степени все Ваши стрелы пролетают мимо и попадают в какого-то, совершенно не относящегося к делу «господина» Сашу, или, вернее, Сашку, и, может быть, даже и Сашку. Таким незнанием положения может только объясняться Ваша идея дуэли. Что Вы хотели ей сказать? Ведь Вы же дали клятву не убивать и очень на всей этой клятве настаиваете, значит, Вы желаете, чтобы Вас убил Саша: но неужели Вы искренно не знаете, что Саша не стал бы в Вас стрелять, если бы Вам и удалось всякими ухищрениями довести дело до дуэли? Что же это за нелепость?

Помните же, Боря, пожалуйста, все обязанности, которые Вы на себя клятвенно возложили, и сообразуйтесь с тем, что я уже Вам написала о Вашем будущем поведении...

Белый. Приезд в Петербург совпадает с перемещением Блоков; Л. Д. пишет мне, чтобы ждал приглашения; мне показалась записка враждебной, но я — скрепил зубы; и протекло: десять дней!

Каждый день ожидал приглашения: не было! Стал тут навещаться Иванов, Е. П.; было ясно, что это — неспроста; неспроста молчит он о Блоках, посматривает на меня; и — как будто с опаской; и — водит гулять; золотым сентябrevским деньком мы сидим на скамеечках Летнего Сада, закусьваем румяными яблоками.

В этом долгом, мучительном ожидании я простаиваю вечерами на набережной под огромным закатом: в сплошной неизвестности...

Белый – Блоку. 28 августа 1906. Петербург

...Я не знаю, получил ли Ты мое заказное письмо. Но еще раз прошу у Тебя прощения. Дуэль, которую я хотел предложить Тебе, вытекала не из личного чувства неприязни, а из полного недоумения, непонимания ни себя, ни Тебя, ни всего окружающего. Я запутался: *мареву* привалилось к очам — все закрыло: и в этом облаке мрака я ощущал невидимого, старинного, всю жизнь стерегущего меня врага. Я знал, что *мареву* рассеется только от *личных отношений*, а не литературных, письменных, а Вы все противились моему переезду. Тут я увидел что-то провиденциально-злое, и мне хотелось погибнуть лучше (я *конечно* не стал бы в Тебя стрелять), чем оставаться навсегда при ужасе. Вот как появилась моя клятва, в которой я видел единственное средство *мирным путем* спасти что-то огромное, дорогое и незабвенное в себе. Прости, прости, прости меня: я никогда не питал *зла* лично к Тебе, а только к силам, которые иногда, мне казалось, становились у Тебя за плечами и действовали произвольно против святости моей души. Все это *мареву*: всеми силами души постараюсь развевать его. А это невозможно на расстоянии. Не сердись на мой приезд. Почти на коленях я прошу снисхождения. Я так устал, так безумно устал... Милый брат, можешь ли Ты меня простить?



Иванов. 4 сентября 1906. Петербург

Решил зайти к Белому... Открыл двери без стука — увидел его, читающего свое произведение с рукописи. Он милый был. И как нужно было мне зайти к нему.

Первое, о чем заговорили — о «бесноватых» ...

5 сентября 1906. Петербург

Пришел в половину четвертого Белый ко мне. Как он измучен, истомлен. Как химеры его заклевали. «Бедный Боря!» Мама говорит, что крики его напоминают ей издали, как кричит наверху над нами душевнобольной Чиколев.

Борис Николаевич получил два письма от Мережковских, очень беспокоящихся за него. Они пишут «не решайте ничего определенного». «Определено — это что был основной мотив в эти дни у Белого. Боялись самоубийства.

6 сентября 1906. Петербург

Был у Марии Андреевны, говорит: «страшно Александра Андреевна в большой подавленности теперь без детей». «Я не могу жить, если хоть раз в день не зайду у них подышать». После пошел к Белому и подошел к подъезду на Караванной как раз в тот момент, как Андрей Белый выходил на улицу и брал письма.

Я спросил, нанял ли он комнату? предложил у нас. Он сказал: «с удовольствием».

Ели яблоки. Я читал ему 9 Авг. дневник. Он говорил, что этот день морил себя голодом. Разговор прерывался появлением негра в красном жилете на Симеоновском мосту. Купили яблоки еще; зашли во двор Инженерного Замка. Перчатки не снимал, когда и яблоко ел. Я все советовал снять, не подозревая, что делаю больно.

В Летнем саду — дивно. Желтые листья на дорожке лежат грудками, под ногами шуршат. Побывали в домике Петра. Говорил легенду о встающем с места автомате Петра с его собственными волосами.

Погода — теплая.

Борис Николаевич, выйдя из домика, говорит: «погода дивная», а на самом деле скверно внутри у него. И это в связи с письмом, которое получил он от лучшего друга.

Подшли к набережной, где причал, на часы посмотреть. И тут стал я прощаться, говоря, что лучше пока разойтись. А он спросил адрес Блоков. Я сказал. Он совсем растерялся как-то.

У него седые волосы.

Пошли по Литейной и начали спорить из-за чертова хвоста, как его ищут, и о чувстве и пустоте бесчувствия в истерике. Чувство должно быть, а в истерике любви нет. Штуки она выкидывает, а не дело делает. Выкидывает, а не рождает. Он чуть не налетел на меня с палкой, тоже совсем не священник.



На Надеждинской разругались вдрызг. Вдруг: «ну, видимо мы друг с другом не столкнемся, прощайте» и, не подав руки, ушел в обратную сторону.

Через день письмо.

7 сентября 1906. Петербург

Ну и письмо!

Мне стало грустно и как-то жутко. Надо было идти к нему. Я пошел. Постучался. Уже вечерело... Заря уменьшалась.

«А? Кто там?»

— «Черт» — отвечаю.

— А-а...

Заговорили. Он спросил, получил ли я письмо?

«Да, получил. А в письме что, то не стоит говорить».

Мы поцеловались два раза от души. Простились. Он сказал, что будет жить у нас, если что-нибудь не изменится, потому что у него всегда расстраиваются предприятия.

Любовь Дмитриевна передавала потом, что он все-таки не примирился. Рассказывала, как он хотел избить палкой и называл меня «присяжным поверенным». Очень едко и больно...

Белый. Все дни проводил я один; долго стаивал и на Неве, под огромным закатом с обидой и грустью.

Раз издали видел А. А. я с угла Караванной; он шел — быстро-быстро, наперевес держа тросточку, высоко подняв голову с бледным лицом, очень злым, с пренадменно зажатым каменным ртом, обгоняя прохожих; мелькнул белый-белый кусок *«танамы»*, залихватски заломленной; и — прорыжело пальто: в отдалении; вообразил я, что он сделал вид, что не видит меня; то же самое и я.

Вот — опять: осиянный закат; только здесь, в Петербурге, бывают такие закаты: все — четко, все — чисто; земля — как тарелка; блеск — в окнах; зеленая глубина — не вода; ярко-красные косяки, бледно-розовые вуали на небе; и — трубы, и — трубы, и — трубы; и — ветер от моря: в лицо...

Наконец: получаю записку Л. Д.; ее тон — неприятельский. Шел к ним в туманный и слякотный вечер (они поселились где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно: под крышей)...

Что-то было октябрьское в хмурой квартирке А. А. Впечатление это скользнуло, как сон, потому что меня охватило отчаяние: в пышных, в неискренних выражениях Л. Д. объяснила: они пригласили меня для того лишь, чтоб твердо внушить мне — уехать в Москву; А. А. тихо молчал, опустивши глаза, улыбаясь и не желая подать свое мнение, но, разумеется, внутренне соглашаясь с Л. Д. Не прошло получаса, — катился с четвертого этажа прямо в осень,



в туман, не пронизанный рыжеватыми пятнами мути фонарной; и очутился у моста; и машинально согнувшись, перегибаясь чрез перила, едва я не бросился — о, нет не в воду: на баржи, плоты, вероятно, прибитые к мосту и к берегу (не было видно воды: только — рыжая мгла); эта мысль о баржах — ознакомила меня; я стоял и твердил совершенно бессмысленно:

— Живорыбный садок! Живорыбный садок!..

Прели запахи.

Я возвратился — на Караванную (я проживал в меблированных комнатах, тех же, которые посетили однажды Л. Д. и А. А. в феврале: с того времени поднялось это все: семь мучительных месяцев!).

Помню, что на столе моем видел пакеты... Хотел писать матери я письмо, объясняющее все это, дожидаться рассвета (тогда можно видеть, где баржи, садки, живорыбные, и — где вода)... Да в таком состоянии и пробыл часов 9: без сна. Эти девять часов медитации мне показали: самоубийство, как и убийство, есть гадость.

А утром — записка от Блоков, другая по тону: преласковая; чтоб немедленно был; уже в десять часов я был там; примирительный разговор состоялся; и даже совсем ничего не сказали: все — страшно устали: — сразу решили, что следует год не видаться; меня уговаривали — отдохнуть за границей: и я — согласился.

Даем обещание не видаться: год.

В тот же день уезжаю в Москву.

Через две с половиной недели я — в Мюнхене...

Люба – Белому. 9 сентября 1906. Петербург

...Помните, как я смотрела на Вас, когда Вы победили смерть и вернулись? Разве я не верила тогда в Вашу светлость и честность? Верила, и теперь верю, и буду верить. И верю в нашу дружбу с Вами и хочу, чтобы Вы завоевали ее. Но не забывайте, что за нее надо бороться Вам не только с «внешними врагами», но и с собой...

Иванов. 9 сентября 1906. Петербург

Был у Блоков. Узнал, что Белый решил ехать за границу. То есть к нам не приедет в комнату. Все не удастся и катится назад...



Глава XIV. Умаление лжи

Иванов. 28 сентября. Петербург

...*Вижу столовую у Александры Андреевны в казармах и сидит Любовь и Александр, и как бы продолжают тот разговор, который мы вели последний раз у них за чаем с Александром и Любовью о «влюбленности» и о том, что они во свете, когда появляется свет вечерний в ней. И я удивлялся, отчего так за необходимость «влюбленности» Александр говорит, когда он так все любит закат и для него солнечный восход хуже, тоскливее.

Во сне же вот Любовь Дмитриевна говорит: «Я (она) иду туда, где не будете меня видеть. В монахины». Я удивлен, полушутя принимаю и говорю: «Ну, во всяком случае видеть-то будем».

А она говорит «Я иду туда, где не будете меня видеть; никто, ни даже — родные».

Она не «схиму» ли заточения хочет принять? Все взволнованы. Александр Блок это верно уже знал, не оттого ли он все за влюбленность говорил, чтоб отклонить это решение...

29 сентября 1906. Петербург

Днем был у Александры Андреевны, заносил билет на Садко.

Александра Андреевна говорила о том, что «дети» ее, Александр и Люба, по краю ходят. И «хочет из окна выброситься», он, а Люба, говорит, чувствует, что надо выброситься, но что пойду я лучше в «свинство» (как Женя называет), Александра Андреевна ужасно боится, что бросятся «пить» и Саша и Люба. Сама Люба говорит, что надо в «свинстве» тогда выход найти в бездну, а не в святости.

Потом ужас, что рассказала: ведь ее богиней хотели сделать Соловьев и Белый. С свечками по Москве водили бы! Гадость!..

Белый. Я в Мюнхене... вдруг!..— письмо Щ., я — «бесчестен», свой «Куст» напечатав в «Руне»; а «Куст»— бред, мной написанный летом,— в эпоху, когда Щ. нарушила слово свое; в этом жалком рассказе заря — не заря, огородница — не огородница; некий «Иванушка», ее любя, бьется насмерть с «кустом»—ведуном, полонившим ее (образ сказок); бой подан в усилиях слова вернуться к былинному ладу; и — все!

Ни намеков, ни йоты «памфлета»; сплошная депрессия... жалко; бред, о котором забыл,— напечатали.

И не в «бесчестности» каялся я, потому что «бесчестность» — предлог для «бесчестной» нарушить, в который раз, данное слово: писать; я ж, дав слово не видеться год, отрезал от свиданья себя; можно всаживать нож; его всаживать в спину — бесчестно...

* Сон.



Люба – Белому. 2 октября 1906. Петербург

...Вы должны помнить, что я Вас посылала на смерть; мне легче это делать, чем давать свое согласие, явно или тайно, на поступки непорядочные. Помните, я всегда готова повторить, что уже сказала раз: или изменитесь, или умрите (если жизнь для Вас связана с общением со мной). Все это говорю, получив «Золотое Руно» и прочитав Вашу повесть.

Ее напечатание — поступок глубоко непорядочный: нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе — лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли все; но отдать печатать — поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны. Вы знали, что делаете, и решились на это. Даже не потребовали, какой бы то ни было ценой, Вашей повести обратно, вернувшись из Петербурга, с надеждой на будущее, зная, какое оно должно быть. Это непорядочно. Чем Вы искупите этот поступок? На основании чего Вы хотите заставить меня верить в новое будущее, в Вас обновленного? Зачем с первого шага такой провал в ненавистное мне время моей распущенности и Ваших безумий?

Оправдайте себя — не словами, а делом, заставьте поверить словам о новом...

9 октября 1906. Петербург

...Скажу Вам прямо — не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше... Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне Вы показали их с трудом. Пусть так; не чувствую себя теперь скомпрометированной ничуть, так как существование Вашей книги будет вне сферы моей жизни... возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь. Надо для этого, чтобы теперешний, распущенный, скорпионовский до хулиганства, Андрей Белый совершенно исчез и пришел кто-то новый...

16 октября 1906. Петербург

...Я знаю, что во всем том ужасном, что происходило и еще происходит, виноваты мы все. Я больше всех, потому что мне было дано больше всего устоев и твердости, и я больше всех предала себя черту (или злу, все равно). Этим я страшно подорвала свое уважение к себе (безмерное прежде) и потому так мелка бываю теперь в моих стремлениях уничтожить все остатки наделанного зла. Еще раз хочу повторить Вам, в чем зло: я всегда знала, что любовь одна, и если для выяснения отношений моих с Вами дала волю влюбленности, это был разврат, и я это знала. Этим я загубила, может быть, даже навек, Вас и то настоящее, что было у нас родственного. Те-



перь я всеми силами хочу вернуть себе свое уважение и не пойду ни на один компромисс. Не Вы один виной в том, виноваты все окружающие Вас, но вышло так, что жизнь опустошила Вас совсем, и Вы легко теперь бросаетесь, куда бросает Вас среда, а среда Ваша — кошмар для меня — все это скорпионство, незаметно для Вас, ставшее Вам уже присутствием...

Из рассказа «Куст» Белого

«...Эх, не раз видывала его, да не раз — огородникова дочка-лебедь, по вечеру за водой с коромыслом проплывающая, — белая лебедь, дивная, прелестью ужасной, будто молоньей, оясненная. Из-под сарафана ножка с богородициных слезок росы медвяные сотрясала. Капало ей на ножки миро цветочное. Белый, белый сарафан ее, заплата пурпуром, грудь теснил, прижимался; ее дышала грудь молодая жадно. Не смыкались уста ее красные, ее страстные, чуть оттененные пухом уста персиковым, вечно шепчущие в небо голубое, прозрачное, в небо звездное ведовские свои призывы да признания. Соболиные брови, заянтаревший лик, бледно-розовых яблонь румянец да звезды-очи каким бархатным, вкрадчивым, томным волновали душу, каким ласковым ожиданием — у, ароматом каким дыша — дурманило русалочных кос золото зеленое! А взоры? Уязвленному сердцу не вынести ее несказуемых, ее синих, ее, хотя бы и мимолетных, взоров из-под тяжелых, как свинец, темных ее ресниц, когда с улыбкой, ведающей соблазны, обжигала она вскользь, как миндаль, удлинненными очами. А если б резнула тот воздух острая, дикая ласточка, выжигая визгом душу — нет, вы упали бы на землю к ее ногам, вы лобзали бы ее охлажденные росой ноги. Жаркие рыдания извлекла бы она из груди у вас, потому что и ее сгорало сердце от этих криков: и упала бы она на мягкую мураву, чтобы нежным прикосновением, как ветерок, легких рук своих изгладить из сердца томление смертное. Потом, улыбаясь себе самой, прочь пошла бы с коромыслом своим легким, вся в потоках бирюзы вечера нежного. Вот же какая была у огородника дочка!..»

«...Приподнявшись из ребра привражного, уж и видел он, как рукой перерезал своею сухой куст зарю ясную — зорюшку. Не было то далекая, заря — то девица была красная: с полей девица — полей — подходила, и волос ее потоки — желтый мед, ей на плечи стекавший; не смыкались уста ее красные, ровно в небо голубое к звезде первой, вечерней безумия свои посылавшие. А взоры? Не вынес несказуемых ее, ее синих взоров из-под темных ресниц, из-под, как миндаль удлинненных, разрезов глаз, на него засверкавших соблазнами ведовскими, не вынес, всплеснул руками, запрокинулся в овраг и долго рыдал там о безумно потерянном сне. Дикая ласточка остро резнула воздух мимо его ушей, выжигая визгом память о прошлом. Понял, что не зарю, а чью-то душу — полюбовницу свою — ворожбою



куст вызвал. И душа та была его плененная душа; душа, плененная чудищем; о ней в городах у него зацветало тихое сердце, и о ней поведовал он в домах и на площадях. Душа его, душа его — душа его плененная! Зачем призывала к себе, разве не любила она ласки лиственные ее полонившего урода? Нет, любила!

Любила, любила: безвластная, опустила руки свои белые на его уродливые плечи и, в лиственных объятиях сжатая, голову запрокинула, лия на землю медовые косы свои, к лебединой шее белой его, куста, корявые взволнованного уста припадали; что говорила она, ведовскою прелестью усмехаясь, что любила, о чем воздыхала, печаловалась, не услышал никто; не слушал и куст, целуя, целуя.

И она упала, и выпрямился над ней владыка — владыка сих опустошенных мест; державные длани пышно протянул, сжимая птичье гнездо, ровно скипетр, а она, теперь склоненная перед ним, целовала зеленые его руки жадно:

«Милый!...»

«...Повстречалась с ним огородникова дочка. Шла она, поклоняясь дому; золотая ее в белых фиалках головка, воней одурманенная, поднялась на Иванушку исподлобья, безвластно глянула, скромным взором ласково так затерзала. Вкрадчиво она грызла колос острыми зубками, сокрытой усмешкой слепительно его взволновала желаньем; истомная, усмехнулась, хоть ее бровей дуги собольи над глазами, над фиалками, сходились и жестоко, и остро; жестокое ведовство ее на слепнущее его сердце терпким вином властно пало, и, затерзанный прелестью, бесновато прынул оземь ей сжигать ножку поцелуем белую, росой охлажденную, обвивать колени ее руками упругие, укрытые пурпуром. Эхма! Буйная головушка — пропадай ты пропадом!

Тряхнул кудрями он — кудрями он русыми, да с закинутой головой и уставился взором в ее стыдливое, ее жалованье личико. Несказуемо вдруг лицо ее запылало, задышало опрозраченным томлением; будто угаром страсти пахнуло на него, и синие ее жгли угли-очи — ярко ширились, синие; да над синими брови черные понахмурились. Колосом во руке, во всплеснувшей на него замаянувшись, уронила во руки лицо, а сквозь белые пальцы ее засияли хрустальные слезы, плечи широкие заходили прерывисто от рыданий безвольных. Вся зацветилась она плачем жалобным.

«Душа моя — полоненная душа моя. Сердце мое по тебе, душа, болит-изнывает; верно оно изойдет током крови темной, бедный я, с разорванным сердцем я лягу у ног твоих, ненаглядная моя. Ты была бы, душа моя, со мною, кабы ворог давний не разлучил нас надолго. Это он, это он, ненавистный, разделил душу и тело на мое лютое горе, и с той поры тяжело влеклось тело белое, молодецкое, обездушено; бестелесного с той норы самой моя душенька на холодном небе заряницей разыгрывалась. Ах, камушек травленный сердце бедное да придавил!»

«Разве, душа, того сама не знаешь, — забыла? Не верю я, нет, не верю! Вспомни меня, ах, вспомни. Это — я же, это я тебя нашел!»

Сердобольно огородникова дочка склонилась и, жадно дыша, своими руками лилейными охватила тело белое, молодещкое, будто дитё малое, глянула в душу Иванушке, ровно сестрица оясненными от слез глазами, и не ветер потянул — тонкий из ее груди вздох провоял:

«Вспомнила, милый!»

Роковая меж ними теперь лежала тайна...»

Бекетова. 21 октября 1906. Петербург

... Люба в дурной полосе — не любит, когда к ним приходит Аля, а недавно при мне очень ее обидела. Был длинный, тяжелый и ненужный разговор, в котором Аля, по обыкновению, унижалась. Требовала любви и доверия там, где этого нет. Странная это у нее манера. Дело в том, что Боря Бугаев уехал в Мюнхен по Любиному желанию, предварительно видевшись с ними здесь и наделав массу глупых и несимпатичных вещей: грозил убиться, но не убился. Она разрешила это, выбрав вместо отъезда. Он, однако, сам предпочел уехать. Напечатал в «Руне» фантастическое нечто («Куст»), изображающее прекрасную огородникову дочку с «ведьмовскими глазами», зеленым золотом волос и пр., которую насильственно держит дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она-то его, Иванова, душа и т. д. Потом Куст уже является в качестве «красивого мужчины» с синим пятном на щеке и т. д. Этот бессильный пасквиль взбесил и разволновал Алю — Люба ни гу-гу ей, а сама, оказывается, написала Боре, что не желает больше иметь с ним дела. Он ответил, перевернувшись на каблучке, что не имел в виду ни ее, ни Сашу, т. к. Куст его царственный, а Сашу он очень уважает и ценит — и т. д. Словом, Люба как бы разорвала с ним. Аля упрекала ее в том, что она ей ничего не сказала, не захотела ее успокоить, а та говорила: «А вы зачем не поверили? а зачем вы меня в копыя приняли?» и т. д. Разумеется, Аля была посрамлена, а она (по своему мнению) возвеличена. Удивительно ко всему этому относится Саша. Без всякого раздражения; только Борина болтовня и кривлянье ему надоели. Ну, он-то великодушен и крупен необычайно. Ее же я считаю довольно обычной тщеславной и самолюбивой женщиной, но исключительно здоровой, страстной и обаятельной, а также способной, не интеллигентной, а именно способной. И недобрая она, и жестокая, ух — какая...

Белый — Блоку. 23 ноября 1906. Париж

... Верь или не верь, а я Тебя люблю. Или если не любовь, то нечто большее между нами. Во всяком случае отношения наши не могут оборваться так тупо без *одного разговора с глазу на глаз*, важного, как жизнь. Этот разговор только имеет косвенное отношение



ко всему, что случилось между нами. Центр его в другом. Ты не можешь уклониться от него, как и я не могу не говорить с Тобой в последнем обнажении правды. Этого обнажения в *последней правде не было между нами*. Оттого, быть может, в моем отношении к Тебе было так много лжи. Но одного не было: не было злонамеренности. То, что мне писала Люба о «Кусте», — ложь. Я это отрицаю и потому не считаю себя причастным неправде здесь. Неправда моя к Тебе совсем в другом, как и Твоя неправда ко мне от нашей немоты друг перед другом в последнем обнажении. Этой немоты *не должно быть между людьми*. Когда я приеду, мы будем говорить. Я не знаю, буду ли я говорить с другом, или врагом, но с Тобой будет говорить только друг. Прощай. Если не хочешь, не пиши. Прими это уведомление, как начало моего серьезного поворота к Тебе в дружбе вне всего побочного между нами. Ты не можешь обрывать со мной все, потому что в противном так обрывать мог бы провалившийся и погибший без возврата. Я не верю и не хочу верить ничьей гибели. Хочу света. Верю, хоть тяжело...

Блок – Белому. 6 декабря 1906. Петербург

...При теперешних условиях, когда все и всюду запутано, самое большое мое желание быть самим собой. Так вот: ты знаешь, что я не враг тебе сейчас и что о «Кусте» я совсем не думал и не думаю и не могу обижаться. Ты пишешь, по-моему, очень верно, что ложь в наших отношениях была и что она происходила от немоты. Тем более, необходимо теперь, когда мы оба узнали, что ложь была, всячески уходить от нее. И это, очевидно для меня, — *единственный долг* для нас в наших отношениях с тобой. Ты же пишешь принципиально, что «немоты не должно быть между людьми». Я могу исходить только из себя, а не из принципа, как бы он ни был высок. Потому говорю тебе: сейчас я думаю, что я ниже этого принципа, и, если и могу нарушить свою немоту по отношению к тебе, то только до известной степени, но не до конца. Если я позволю себе это относительное нарушение немоты, — опять будет ложь. Почему не могу до конца, ты знаешь: преимущественно от моего свойства (которое я в себе люблю): мне бесконечно легче уйти от любого человека, чем прийти к нему. Уйти я могу в одно мгновение, подходить мне надо очень долго и мучительно; теперь во мне нет мучительного по отношению к тебе, и потому еще нет путей. Навязывать себе какие бы то ни было пути я ни за что не стану, тем более в таких случаях, как наш; *важность* его я знаю очень хорошо и не могу не знать: не было бы всего, что было, если бы было не важно.

Теперь: если я еще не могу идти навстречу тебе и говорю тебе об этом, — то также не чувствую, что ты идешь мне навстречу. То, что ты пишешь, — и карточка и стихи и письмо, — я думаю, не полная правда потому, что ты говоришь, например, в письме о примирении, а в стихах: «Не гаснет бескрайная высь». Для меня воп-



рос дальше примирения, потому что мы еще *до знакомства* были за чертой вражды и мира. А «бескрайная высь» все-таки — стихи. И из всего остального — из слов и лица на фотографической карточке — я не вижу в тебе того, кого могу сейчас принять в свою душу. Для себя я и в этом еще вижу неправду, или, говоря твоим словом, еще не знаю твоего имени.

Но ведь, раз это важно, узнаю. Все, что необходимо, случится. Ты видишь, как я теперь пишу тебе, стараясь быть как можно элементарнее, суше и проще. Как же нам теперь говорить? Говорить всегда возможно, но нужно ли всегда? Я не понимаю твоего слова «обрывать», это совсем не то слово. «Обрывают» только те, кто заинтересован или увлечен друг другом. А я глубоко верю, что мы были дальше этого.

Если хочешь, можно и говорить, но думаю, что полной правды не выйдет и что немота еще есть. Я же не боюсь такой неправды и очень склонен ее забывать скоро. Думаю только, что именно теперь нам особенно должно было бы избежать жи. Если хочешь, будем писать друг другу, но только тогда, когда есть полная внутренняя возможность, как сейчас у меня. Знай только, что не «сержусь», не «обижаюсь», не могу говорить о «примирении». Совершенно могу так же, как ты, прислать карточку (только у меня нет теперь) и написать стихи тебе. Но для меня это еще не настоящее. И вот сейчас я тебя люблю так же, как любил, но и это еще не то.

Конечно, пришлю тебе «Нечаянную Радость», когда она выйдет. Пожалуйста, пиши мне «гъ» с маленькой буквы, я думаю, так лучше.

Белый. 15 декабря 1906. Париж

...Письмо Твое получил. Сначала было смутно. Оценил тон Твоего письма — хороший, верный. Это порадовало. Показало мне, что мы можем писать друг другу. Не понравилось только то, что Ты, кажется мне, не вполне почувствовал, с *чем* я Тебе пишу. Обратил внимание больше на форму моих случайно набросанных слов, нежели на мотивы моего обращения к Тебе. Ведь и открытка, и стихи, и карточка только предлог обратиться к Тебе. Согласись, я не знал, как Ты смотришь во *внешнем* на наши отношения: о сущности их я не сомневался. Я знал, что есть, должна быть вечная точка этих отношений. Следовательно, ни Ты, ни я не можем *никак не относиться*: а молчать, не переписываться, значит утверждать ничто, значит позволить торжествовать бессмыслице. А чем больше дать воли ничему, тем тяжелее, запутанней будет в будущем. А что это *будущее будет*, ручательством тому хотя бы Твои же слова: «*до знакомства были за чертой вражды и мира*». Но об этом потом.

Итак, чувство радости несколько парализовалось во мне тем, что мне показалось, будто Ты слишком психологически отнесся к карточке, стихам и пр... А все это было очень просто: что имел под руками, то и послал.



Но потом понял, что Ты не мог бы отнестись к моему письму совсем просто. Может быть, *потом* отнесешься иначе.

Во всяком случае спасибо за ответ, честность и правду которого я вполне оценил.

Я не изменял в корне своего отношения к Тебе после того, как мы виделись в Петербурге; а тогда мне почудилось, что я уже знаю, где твердый фундамент наших отношений, *глубина которых* до сих пор не находила как будто этого фундамента (я пишу о Тебе и себе — только. Об отношениях *одного к одному* Тебе, личности к личности).

Я не писал Тебе до тех пор, пока не узнал в себе, что будущая основа этих отношений, *несказанных не со вчерашнего дня*, во мне окрепла. Но совершенно независимо от этой внутренней работы в отношении выяснения нашей связи — в событиях, касающихся не чисто меня и Тебя, как *свободных личностей*, произошла безобразная путаница и бессмыслица; выяснять ее я не мог: 1) не было никаких средств, 2) да и было ниже моего достоинства. (Человек, облигтый ведром грязных помой, не пойдет ведь рассматривать, из какого ведра его окатили, а поспешит переменить одежду.)

Между тем все это могло повлиять во внешней механике отношений на Тебя и отраженно от Тебя на меня. Вот почему я и писал так внешне, и когда говорил об *«обрывании отношений»*, говорил только о механике, а не сущности.

Что побуждает меня обратиться к Тебе? То, что я, подойдя вплотную к смерти, проживя всю ночь в небытии (как труп), понял одно: *свет* во мне не погас, а потому никакая романтика смерти (романтика надрыва) не оправдывает безобразия того предательства над *Духом*, которое я хотел совершить своим самоубийством. *Никогда не вернусь на этот путь.*

Мне остался путь цели и смысла. И никакие низменные оскорбления не загасят во мне *Меня*, наоборот: возвысят, осмыслят. Но я знаю, что где Свет дается людям в их одиноком самоуглублении, там же предъявляются строгие требования быть с людьми. *Один человек не спасется.* Никогда не знал я так реально, так жизненно, как знаю теперь. И потому-то жизненным подвигом считаю я выяснять связь свою с людьми и работать над ней *во Имя*.

Не много людей я знаю в пути, т. е. в *несказанном* (5, 6 — не больше). И потому-то всю силу осмысливания Света я полагаю в работе над этими мне посланными связями, чтобы был путь, были люди, идущие и яснеющие от взаимности. Больше нет цели: все иное — надрыв или упорство косности. И если было между нами *несказанное*, то оно — только *несказанное*. И если мы связаны *несказанным* (ни враждой, ни миром), то *оно должно сказать*. Ни я, ни Ты не властны ни упредить сказ, ни упорствовать в *«ничте»*, а выяснять, идти. И потому-то я уже из своих глубин (хотя бы только из своих) утверждая *нужность и ценность Слова Жизни*,

должен стремиться к ясности, а не немоте: ибо в ясности только спасусь: *с людьми спасусь*, с людьми готов и страдать и радоваться: это самое последнее о мне самом. Это — о каждом. Между нами была немота. Она создала *ложь* (я пишу только об одном Тебе и об одном себе, т. е. о нас с Тобой). В этой лжи готов согласиться, что я виноват больше: но и Ты, и Ты виноват очень. (Пойми, что я стою вне обвинений, а в точке правды). Мне кажется — я начинаю понимать механику наших *«лжей»*. Знаю, как моя ложь выростала (беру *только* свое отношение к Тебе). Хочу со временем Тебе признаться явно в ней. Но этим признанием (необходимым) я получаю право и Тебе предложить вопросы, долженствующие выяснить мне то, чего я в Тебе не понимаю (на что прежде с истерикой злился, называл в себе Тебя неискренним лицемером и т. д.), а теперь только объективно устанавливаю.

Знаю, что письмами мы ничего не выясним: *выяснит жизнь и слова жизни* — слова наших личных, непосредственных бесед. Но правдивые письма — верю — подготовят спокойную почву, приготовят нас к тому, что мы хотя бы отчасти поймем, кто в чем находится; но главное: письма помогут разрушить паралич наших внешних отношений (отношения и внешние тоже могут влиять отраженно на путь, т. е. на несказанное). А вот когда нет между нами той минимальной сигнализации, которая все же возможна в письмах, и воцаряется *безликое, темное Ничто*, то в темноте этой могут возникнуть кошмары и сны, может расти новая ложь (в темноте можно себе что угодно представить, и это ложное представление, к несчастью, не может не превратиться в навязчивую идею, с которой трудно бороться даже реальностью).

Возобновление нашей переписки считаю я *правдой*, могущей парализовать многое: ведь все равно мы не разойдемся: *сошлись не случайно* — значит, с этим грех бороться.

Почему Тебе пишу? Знаю свет (как он звучит во мне — свет один ведь). В несказанном сказе моей встречи с Тобой лично еще до знакомства провидел (да и потом не раз видел) свет: поэтому провожу линию от себя к свету и от света к Тебе: хочу Тебя осветленным. Так же провожу линию света ко всем, мне посланным (6-ти) — от личности к личности по-разному (мои устанавливающиеся отношения к Мережковскому, например, индивидуально несказанны, но не так, как к Зинаиде Николаевне); но потом уже осмысливаю в общем свете.

Моя неправда к Тебе выражалась, между прочим, и в том, что я допустил неслучайность появления Тебя лично связать с некоторыми другими невыявленными отношениями и *сквозь все* смотрел на Тебя: тут ложь и неправда — это я знаю. Тут уклон самого незабвенного в сферу *«всех и каждого»*. Я же хочу безликое *«все и каждый»* повернуть в *«каждый»* (посланный мне на пути то на крест, то на радость) и *все*. Если *каждый*, то и *все*, а не если *все*, то и *каждый*. Люди, мне посланные на пути, — Ты, Мережковский,



Сереза, Зинаида Николаевна, Философов. Мне думается, что к этим *посланным* (посланникам от Бога) принадлежит и Твоя жена. Буду учиться все осмысливать, к каждому искать пути во Имя То, которое послало: буду угадывать каждого *в свете*. Знаю, что мой путь есть путь, назначенный каждому, кто хочет несомненного *света до Конца*. А не может не хотеть, кто свет в людях поставил над тьмою, или над электрическим, газовым освещением тьмы механикой отношений. Но путь мой — от каждого, как данного, ко всем, как спасенным. То, что я иногда опрокидывал и хотел идти то от всех к каждому (мертвая схема), то только от одного (через одного) сразу ко всем, — то была ложь. Эта ложь запутала мои к Тебе чувства (когда я смотрел на Тебя через всё, а не прямо проводил линию света от себя к Тебе). Но прости. В письме все это уж звучало *метафизикой*. Иначе быть и не может. Не смысл этой метафизики мне важен сейчас в отношении к Тебе, а только то, чтобы Ты понял меня в общем. Это общее — желание водворить между нами обоюдно честное отношение и совместно стремиться к правде нас с Тобой вне другого; я не коснусь субстанции этой правды, не коснусь пока (быть может, долго) деталей былой лжи. Не в этом полагаю я нужность мне моих писем к Тебе. Я хотел бы себе подготовить нормальную почву к тому, чтобы ощутить силу к разговору с Тобой, который будет со временем (не знаю, когда).

Нечего прибавлять, что я Тебя люблю *и не могу не любить* (это звучало бы фальшью). А хочу сказать только, что даже в самые ужасные минуты я вспоминал все хорошее, что было. Но несколько месяцев я шел явным путем гибели (с лета) и дошел до предела. Прошел демонизм, но не погиб. Овладел, и уж теперь только одно *живо*: спастись, быть нужным Богу и людям. Вот все. Истерика бывает, но теперь это скорей — мертвая зыбь после бури (море после шторма не может сразу стать зеркалом): но бури нет.

Пиши же. Пиши, *когда* хочешь и *как* хочешь. Не смущайся словами: захочется ругать, ругай. *Но пусть уменьшается ложь* наших личных с Тобой отношений...

Тага – З. Гиппиус. 20 декабря 1906. Санкт-Петербург

... насчет Бори и Любы. Ты не думай, что я за нее. Во-первых, ты, может быть, не знаешь, ведь они живут в браке, настоящем, с Блоком. Мне говорил Евг. Иванов, потому что ему казалось, что все этого не думают. Мать ему говорила. Я ей и писала даже, что пусть она оставит все психологии, а просто возьмет того, кого попросту больше *любит*. Еще весной. И она мне сказала, что так и разрешила и решала. Просто естественно больше любит Блока. Вот и все разрешение...

З. Гиппиус – Любе. 25 декабря 1906. Париж

Любовь Дмитриевна, милая.



Давно хочу написать вам. Не писать, а сказать какие-то слова. Мне необходимо их сказать — значит, верю я, вам необходимо их слышать. Пусть же не «письмо» это будет.

И я говорю мои слова к той «девочке» и — «человеку», которых я в вас видела сама, ощутила и почувствовала сама, знаю сама — и которых вы *сама* открыли мне. Если изменились — вы меня не услышите. Но я абсолютно не верю, чтобы вы могли тут измениться. Вы знаете, что Боря в Париже. Но я не о нем хочу говорить с вами — а только о вас. О нем я могу говорить с ним. С ним *о вас* — мне не нужно; его недомолвки мне бесполезны так же как были бы бесполезны длинные открытости и они не прибавили бы ничего к моему данному знанию о вас, к моему прониканию в вас. Я понимаю и то, чего вы еще сама в себе не понимаете. И знаю, что вы об этом знаете, — чего не понимаете. Я смею говорить об этом лишь потому, что, ведь, есть многое, что *вы* понимаете, а *я* нет, и я бы с той же простотой взяла вашу помощь (и надеюсь на нее) — как хочу, чтобы вы взяли мою.

Я думаю, что вы, как я, любите все прекрасное, резко-ослепительное и простое в своем действительно-реальном бытии. Тем мучительнее для нас пути тусклой и душной сложности, туманов, где не видишь земли и даже собственного тела. Ни, наконец, и собственной души. И без выхода, в беспомощности, отдаешься туману — все равно, благополучно-жизнейскому или над-рывному. Но в эти минуты я вспоминала, что *я есть*, что *я хочу быть* — и новое отвращение к все уплотщающему туману вырывало меня из его мутной власти. Потому и говорю, чтобы вы тоже вспомнили, что вы есть, что вы хотите быть, и быть с вечной и святой простотою бытия земли, которая под нами, и небесного свода над нами. Земля и небо, прежде всего, честные, требуют от нас какой-то честности тоже (вы должны всегда чувствовать это, и вы чувствуете) — а если нет, человек наказан в себе же, мукой, тупой или острой, все равно, ложью, которая съедает его самого.

Я думаю, — (и давным-давно думала, все время все знала, с тех пор, как видела близко ваши глаза), — что вы никогда не сможете *сказать* себе, *понять* в себе, любите ли вы Борю или нет, — пока или «да» или «нет» не воплотятся реально. То есть пока вы же не воплотите того или другого, по *вере*, честной, в «да» или «нет». И горевала, и мучилась за вас (в меру моей к вам любви), предвидя, что вы можете и не поверить сразу, и что тогда вам предстоит долгий путь ненужной, скучной, глухой, но тем более отвратительной муки, — не ваша она, не облагораживающая, не очищающая, — не сильная. Не боль, может быть, но возвращающая тошнота. — Милая, пусть не покажется вам, что я груба. Но почему-то мне чудится, что у вас много того, что и я переживала. У меня точно две правды — две любви боролись в душе. И я чувствовала, что *хочу обе*, а они ели одна другую. Если не было у вас этого — значит,



я не угадываю еще вас. Или еще будет. И вот тут-то я и хочу сказать вам (неужели даром я страдала, за себя лишь, а не за других?) — поймите: мы никогда никакой истинной любви не изменяем; мы лишь часто не узнаем ее природы, ее цвета, и пытаемся втиснуть ее не туда, где для нее святое место, а на чужое, на другую любовь, — и тогда одна из них выедаёт другую, и мы бедны, мы во лжи. Если бы вы поверили в свою любовь к Боре и дали ей ее несомненное место в вашей душе — вы сохранили бы обе полностью и святостью. Только тогда. Нам часто кажется, что мы новой любви отдаем все без остатка, когда говорим ей реальное «да», совершаем поступки, как бы жизнь отдаем, — и тем «изменяем» прежнему. Это неправда. Истинное, нужное в прежном — бессмертно. Мы лишь в данный момент оборачиваем весь свет на эту, новую, сторону души, все внимание — потому что ведь *тут* — рождается. Не убивайте ничего, что хочет родиться, ищет воплотиться. Вот убивая новое — легко убить и старое. А всякая причиненная смерть приносит смерть и тому, кто ее совершает, рано или поздно, так или иначе.

Наша же земная честность, человечески-святая, повелевает нам: а если не можешь верить в «да», и воплотить его — значит, ты веришь в «нет»; воплоти *его*. Каждый из нас тут человек постольку, поскольку вольно-покорен этому святому велению. Туманы завитков и блужданье в пространствах — оставим слабым, ничего не прошедшим людям. Им еще пока орошается — нам уже не простится.

Если вы не верите, что «да», что вы любите Бору, и не можете поэтому, направив весь свет на ту сторону души, где рождается новая любовь, — соединять сейчас с ним, как бы только с ним одним, жизнь, это значит, что *вы верите в вашу нелюбовь к нему*. А если в нее верите — то эту веру надо воплотить. Сказать такое фактическое, на вечное «нет» — которое разрушит ложь жизни, даст ясность и тоже возвратит вас матери-земле. Увидеть же глазами, понять, узнать в себе — нельзя до воплощения. Смотрите на *веру* вашу, которую надо, надо воплотить!

Я не хочу ничего знать о вас через других. И Тата знает это, и не пишет о вас. Я сама или вижу — или не вижу вас. Не отвечайте мне, если трудно и не хочется. Известите только, что получили мое письмо и что почувствовали, как я бескорыстно и просто хотела говорить. Если не сумела — не моя вина.

Я так верю в вас, что Боре говорю всегда одно: чтобы он ехал к вам, ясный и сильный, и с последней простотой спросил бы вас о вашей вере: верите ли, что любите его, да, — или верите, что не любите, нет. Будьте с ним, как с равным. Не жалейте его, — но и себя не жалейте. Вы не погубите его правдою «нет», — потому что и он, как вы, человек, он *есть* и для самого себя. Но его может задушить тупая, несправедная веревка, накинутая



не силой человеческой, а бессилием, серая веревка «ни да, ни нет», — веревка, которая и на вас накинута одинаково, и вас так же задушит, потому что и вы человек, как он, как я, — и надо всеми нами одни человеческие законы, одна правда — земли, любви и ясности.

Хорошая моя, вот главное верю я, что вы ясная, и ясности вашей до смерти не измените. Целую вас, вспоминая ярко, с бесконечной нежностью. Поймите мою душу...



Глава XV. Балаганчик Бумажных Дам

Люба. Пришедшая зима 1906-1907 года нашла меня совершенно подготовленной к ее очарованиям, ее «маскам», «снежным костюмам», легкой любовной игре, опутавшей и закружившей нас всех. Мы не ломались, упаси Господь! Мы просто и искренне все в эту зиму жили не глубокими, основными, жизненными слоями души, а ее каким-то легким хмелем.

Если не ясно для постороннего говорит об этом «Снежная маска», то чудесно рассказана наша зима В. П. Веригиной в ее воспоминаниях о Блоке...

Веригина. В то время как в Москве молодой режиссер*, окруженный юными единомышленниками, искал новые формы в театральном искусстве, в Петербурге начинающий поэт Блок говорил свое новое в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэт перестал мечтать о театре, как в ранней юности («Мое любимое занятие — театр»), но театр готовил на него нападение. Откристаллизовавшейся в Москве труппе во главе с Мейерхольдом суждено было сделать театр снова желанным и нужным для поэта.

В некоторых воспоминаниях о Блоке говорится, что поэт бывал за кулисами, вращался в кругу актеров. Многим это должно показаться случайным: молодой человек развлекался театральными представлениями, веселился в кругу интересных женщин.

«Болтали... Много хохотали...» — пишет М. А. Бекетова мимоходом. На самом деле это было несколько не так.

В театре Комиссаржевской создалась особая атмосфера, подходящая для поэта Блока. Перед открытием сезона устраивали собрания по субботам, на которые приглашались все наиболее значительные новые литераторы и поэты, для того чтобы актеры, общаясь с ними, находились в сфере влияния нового искусства...

В этот вечер Сологуб читал свою пьесу «Дар мудрых пчел». Я не заметила, когда вошел Блок, только после чтения я увидела его, стоявшего у стены рядом с женой, Любовью Дмитриевной, одетой в черное платье с белым воротничком. Она была высокого роста, с нежным розовым тоном лица, золотыми волосами на прямой пробор, закрывающими уши. В ней чувствовалась настоящая русская женщина и еще в большей степени — героиня северных саг.

Наружность Блока покорила всех. Он был похож на германских поэтов — собирательное из Гете и Шиллера. В тот вечер, по примеру других поэтов, он читал стихи в знакомой нам манере, но с совершенно индивидуальными интонациями и особенным металлическим звуком голоса. В нем чувствовалась внутренняя сила и большая значительность.

* Мейерхольд.



Блок приковал к себе общее внимание, хотя героем вечера должен быть Ф. К. Сологуб, Сергей Городецкий делил успех с первым...

В промежутках между декламацией и пением весело болтали группами, завязывались знакомства. Мелькали женские улыбки, локоны, шарфы... Вихреобразные движения Филипповой, скользящая походка Мунт, пылающие глаза Волоховой, усталые, пленительные движения Ивановой и, как горящий факел над всем, — сама Комиссаржевская; все эти женщины приветливо слушали, восхищались и восхищались, переносясь от одной группы писателей к другой.

Конец вечера Мунт, Иванова, Волохова и я провели в компании Блока и Городецкого. Они оба мне вспоминаются как-то нераздельно. Тут началось наше дружество. Я попросила обоих поэтов дать мне стихи для чтения, и оба охотно исполнили мою просьбу...

На втором собрании Блок читал свою пьесу «Король на площади». И еще более неотразимое впечатление он произвел на нас. Поэт сидел за столом, голова его приходилась между двумя красными свечами. Лицо, не склоненное над рукописью, только опущенные глаза. И думаю, что та радость, которую я испытывала при ощущении гармонии в существе поэта, охватывала и других присутствующих...

После небольшого перерыва, во время которого обсуждалась прочитанная пьеса, автора и других поэтов попросили опять читать стихи. На этот раз Блок прочитал «Незнакомку». Н. Н. Волохова была тут, не подозревая, что сама явится ее воплощением». «По вечерам над ресторанами...» имело наибольший успех. Этот вечер можно считать началом тесной дружбы Александра Блока с небольшой группой актеров, которая впоследствии принимала участие в его «снежных хороводах»: Н. Н. Волохова, Е. М. Мунт, В. В. Иванова, В. П. Веригина, В. Э. Мейерхольд, В. К. Пронин, позднее А. А. Голубев. Случилось это, вероятно, потому, что мы больше всех других хотели постоянно соприкасаться с миром Блока, относились ко всему, что было связано с ним, с наибольшим азартом...

Поэтов и художников приглашали не только в гости, но и на генеральные репетиции. После первого представления «Гедды Габлер» все собрались в фойе театра. Потом мы уже небольшой компанией начали собираться, по субботам, у Веры Викторовны Ивановой...

К нам в театр чаще других поэтов приходил Блок и каждый раз появлялся в нашей уборной. Волохова, Мунт и я гримировались в общей уборной...

Мы встречали его с неизменной приветливостью... Я угадала как-то сразу за плечом строгого поэта присутствие его веселого двойника, который мне стал так близок. Не знаю, когда и как это случилось, но очень скоро у нас установилось особое юмористическое отношение друг к другу...



Раздавалось звенящее: «А-а-а!» — приветствие Мунт. Волохова молча улыбалась своей победной улыбкой. Блок почтительно целовал руку у моих подруг, затем здоровался со мной, отчеканивая слова: «Здравствуйте, Валентина Петровна!» (Ударение делалось на первом слове.) У этой фразы был неизменно задорный оттенок. Между нами как бы произошло соглашение. При каждой встрече посмотрим друг на друга быстрым, ускользящим взглядом и потянется цепь смешных слов.

На генеральных репетициях и первых представлениях Александр Александрович прежде всего высказывал свое мнение о постановке, о нашей игре, затем уже шла болтовня — вдохновенный вздор, как я это называла. Во время рядовых спектаклей мы не говорили о пьесах и вообще не вели никаких серьезных разговоров. При звуке колокольчика спускались вниз. Александр Александрович шел за нами и иногда оставался у двери, ведущей на сцену, дожидаясь, когда кто-нибудь освободится. Тут говорили шепотом: часто к нам присоединялся Мейерхольд и другие актеры или кто-нибудь из художников.

Больше всего, особенно первое время, Блок говорил со мной, и Н. Н. Волохова даже думала, что он приходит за кулисы главным образом ради Веригиной, но однажды, во время генеральной репетиции «Сестры Беатрисы»*, она с изумлением узнала настоящую причину его частых посещений.

Блок зашел, по обыкновению, к нам в уборную. Когда кончился антракт, мы пошли проводить его до лестницы. Он спустился вниз, Волохова осталась стоять наверху и посмотрела ему вслед. Вдруг Александр Александрович обернулся, сделал несколько нерешительных шагов к ней, потом опять отпрянул и, наконец, поднявшись на первые ступени лестницы, сказал смущенно и торжественно, что теперь, сию минуту, он понял, что означало его предчувствие, его смятение последних месяцев. «Я только что увидел это в ваших глазах, только сейчас осознал, что это именно они и ничто другое заставляют меня приходить в театр».

Влюбленность Блока скоро стала очевидной для всех. Каждое стихотворение, посвященное Волоховой, вызывало острый интерес среди поэтов. Первые стихи ей он написал по ее же просьбе. Она просто попросила дать что-нибудь для чтения в концертах. 1 января 1907 года поэт прислал Волоховой красные розы с новыми стихами: «Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас, и я одна лишь мрак тревожу живым огнем крылатых глаз».

Н. Н. была восхищена и вместе с тем смущена этими строками, но, разумеется, никогда не решалась читать их с эстрады. Вокруг выражения «крылатые глаза» между поэтами возник спор: хорошо ли это, возможно ли глаза называть крылатыми и т. д. Стихотворение обратило на себя исключительное внимание потому, что оно

* Драма М. Метерлинка.



явилось разрешением смятенного состояния души, в котором находился Блок, естественно очень интересовавший своих собратьев. Этот интерес был перенесен теперь и на Волохову.

Всякому, кто хорошо знал Наталью Николаевну, должно быть понятно и не удивительно общее увлеченно ею в этот период. Она сочетала в себе тонкую, торжественную красоту, интересный ум и благородство характера.

Разумеется, увлечение поэта не могло оставаться тайной для его жены, но отнеслась она к этому необычно. Она почувствовала, что он любит в Волоховой свою музу данного периода. Стихи о «Незнакомке» предрекли «Прекрасной Даме» появление соперницы, но, несмотря на естественную в данном случае ревность, она отдавала должное красоте и значительности Волоховой, к тому же, может быть, и безотчетно знала, что сама непреходяща для Блока...

Бекетова. Кто видел ее* тогда, в пору его увлечения, тот знает, как она была дивно обаятельна. Высокий тонкий стан, бледное лицо, тонкие черты, черные волосы и глаза, именно «крылатые», черные, широко открытые «маки злых очей». И еще поразительна была улыбка, сверкавшая белизной зубов, какая-то торжествующая, победоносная улыбка. Кто-то сказал тогда, что ее глаза и улыбка, вспыхнув, рассекают тьму. Другие говорили: «расколничья богородица». Но странно: все это сияние длилось до тех пор, пока продолжалось увлечение поэта. Он отошел, и она сразу потухла. Тайственный блеск угас – осталась только хорошенькая брюнетка. Тогда уж нельзя было сказать про нее: «Вот явилась, заслонила всех нарядных, всех подруг»...

Веригина. Вскоре после нашего знакомства Л. Д. Блок пригласил Волохову и меня к себе, и мы сделали частыми гостями на Лахтинской, где тогда жили Блоки...

Мы бывали у Блоков обычно после спектакля и просиживали до 3-х и даже до 4-х часов вчетвером. Говорили о литературе, главным образом о стихах, о наших театральных делах и, наконец, шутили, просто болтали.

Блок в своем существе поэта был строг и даже суров, но у него был веселый двойник, который ничего не хотел знать о строгом поэте с его высокой миссией. Они были раздельны. Вдохновенный вздор, словесную игру заводил с нами этот другой Блок, который был особенно близок мне. Ему самому тоже всегда хотелось шутить и смеяться в моем присутствии. Н.Н. Волохова и Любовь Дмитриевна говорили, что мы вдохновляем друг друга...

Я слышала звон его веселья и видела тогда только его снежный образ. Известно, что жизнь Блока не была безгрешной, и все же никогда в его существе не запечатлевались соприкосновения с нижней землей. Я видела его всегда затянутым «лентой млечной»,

* Волохову.



отвлеченным и чистым, Н.Н. Волохова сказала однажды: «К Блоку тянулось много грязных рук, многим почему-то хотелось утянуть его в трясину, но с него все соскальзывало, как со льда, и он оставался прозрачным». В начале нашего знакомства я положительно не хотела верить в его многочисленные увлечения, и однажды, когда он, читая нам: «Открыли дверь мою метели», дошел до слов: «И женщин жалкие объятья знакомы мне, я к ним привык», — я расхохоталась: эти слова в устах Блока мне показались странными и совсем не подходящими. Я заявила ему это совершенно откровенно, когда он с удивленной улыбкой спросил меня, чему я смеюсь. Александр Александрович и Любовь Дмитриевна, в свою очередь, начали смеяться надо мной. Она упрекнула меня за то, что я смотрю на Блока как на гимназиста. Разумеется, я не смотрела на него так, но он мне казался всегда бесконечно далеким от земли. То, что я бывала почти ежедневно на Лахтинской и видела его в повседневности, нисколько не мешало этому. В квартире Блоков жили Поэт и Прекрасная Дама — настоящие, без тени того декадентского ломанья, которое было свойственно тогда некоторым поэтам и особенно их дамам. Безыскусственность, скромность и предельная искренность отличали обоих от большинства...

Я приезжала на Лахтинскую всегда в приподнятом настроении. Помню момент, когда на наш звонок обычно открывал дверь сам Александр Александрович. Неизменно в темно-синей блузе с белым отложным воротничком. При виде Волоховой он опускал на мгновение глаза, но я тотчас же разбивала «трепетное» настроение какой-нибудь неожиданной фразой, которая его смешила. Он преувеличенно вежливо снимал с меня пальто. Часто юмористический тон появлялся не сразу. Иногда мы говорили о чем-нибудь насущном для нас в данный момент, обсуждали что-нибудь достаточно серьезное, вдруг в Александра Александровича «вступало». Передавая мне чашку чая, он говорил напыщенно, каким-то пустым звуком: «Как я счастлив передать вам это». Обычно я сентиментально вздыхала, а Любовь Дмитриевна со смешком на низких тонах говорила: «Ну, начинается!» И уж раз началось, не скоро кончалось. Иногда Блок дурачился до изнеможения. Волохова говорила, что ее начинала беспокоить в таких случаях напряженная атмосфера, — я не замечала этого, меня несло в веселом вихре шуток вслед за Блоком. Впрочем, некоторую чрезмерную остроту ощущала иногда и я, это бывало главным образом в разговорах о Клотильдочке и Морисе, которые появились уже на второй год нашего знакомства. Однажды Александр Александрович сказал мне: «Мы должны с вами породниться, Валентина Петровна. Давайте женим наших детей». Я возразила на это, что у нас нет никаких детей. «Ничего, будут. У вас будет дочь Клотильдочка, а у меня сын Морис. Они должны пожениться». Через несколько дней после этого разговора мы с Волоховой пришли к Блокам. Я забыла о Клотиль-

дочке. Александр Александрович неожиданно ушел к себе и через некоторое время возвратился с довольным видом, держа больших, вырезанных из газеты кукол. Одну он поднес мне со словами: «Вот ваша Клотильдочка, Валентина Петровна, у нее ножки как у вас, смотрите». Я нашла этих детей прелестными, но с большой склонностью к дегенерации. Блок, смеясь, уверял, что Клотильдочка — мой портрет. Его Морис был с кудрявыми волосами и невероятно тонкой шеей. Александр Александрович повесил кукол на отдушину печи и во всех рассказах о них изощрялся один. Тут я только слушала вместе с другими и хохотала. «Саша доходит до истерики с этими Клотильдочками», — говорила Любовь Дмитриевна...

Когда поэт веселился и шутил, он шутил в области, где можно быть легкомысленным, в противоположность, например, Мейерхольду, который мог шутить всем. Так, Мейерхольд иногда увлекательно развивал какую-нибудь идею, казался влюбленным в нее и через короткий промежуток времени мог издеваться над любимым. Я знала, что Александр Александрович такого отношения не прощал, но сама я невольно прощала это Мейерхольду, потому что в нем — художнике и режиссере — я не видела никаких недостатков, была совершенно покорена его театральными замыслами. Блок относился к нему по-разному. В некоторых постановках он видел черты гениальности, другие отвергал, Мейерхольд говорил мне полушутя: «Я всегда ношу маску», и мне кажется, что в те моменты, когда на нем бывала маска, которой он овладевал до конца, Блок принимал его, когда же он принимал как-то новую и чувствовал себя в ней неуверенно, Александр Александрович отшатывался от него. Когда я говорю о масках Мейерхольда, я не хочу порицать его, это его природа — подлинно театральная.

Несмотря на огромную разницу в характерах, Блок и Мейерхольд иногда соприкасались в сферах творчества...

В период до постановки «Балаганчика» спектакли, концерты, литературные журфиксы, ночные беседы у Блоков продолжались. Мы приближались к настроениям «Снежной маски». Подошли к постановке «Балаганчика», который был написан для предполагаемого театра-журнала «Факель» и Мейерхольду сразу стал желанным. Вполне понятно, что при первой возможности он предложил пьесу театру Коммиссаржевской. Как раз Вере Федоровне необходимо было отдохнуть, она играла почти ежедневно, и предложение было принято. Решили ставить «Балаганчик» Блока вместе с «Чудом святого Антония». Роли в первой пьесе распределились так: Коломбина — Русьева, Пьеро — Мейерхольд, Арлекин — Голубев. Первая пара влюбленных — Мунт и Таиров. Вторая пара влюбленных (вихрь плащей) — Веригина и Бецкий. (Мейерхольд сказал, что Блок сам назначил мне роль «черной маски».) Третья пара влюбленных — Волохова и Горенский. Мистики — Гибшман, Лебединский, Шабровский, Захаров. Председатель — Грузинский, Паяц — Шаров, Автор — Феона.



Я уже говорила, что Мейерхольд, во многом противоположный Блоку, за какой-то чертой творчества приближался к нему. Это была грань, за которой режиссер оставлял быт, грубую театральность, все обычное сегодняшнего и вчерашнего дня и погружался в музыкальную сферу иронии, где, в период «Балаганчика», витал поэт, откуда он смотрел на мир. Фантазия Мейерхольда надела очки, приближающие его зрение к поэтическому зрению Блока, и он увидел, что написал поэт.

Вплотить такую отвлеченную, ажурную пьесу, привести на сцену, где все материально, казалось просто невозможным, однако режиссер нашел для нее сразу нужную сценическую форму. Без лишних разговоров, без особого разбора текста (если не считать пояснений Г. И. Чулкова, которые были только литературными), режиссер приступил к репетициям. Особым приемом, свойственным только ему, главным образом чарами актерского дирижера, он сумел заставить звучать свой оркестр, как ему было нужно. Истинное лицо поэта Блока через режиссера было воспринято актерами. Мейерхольд сам совершенно замечательно, синтетично играл Пьеро, доводя роль до жуткой серьезности и подлинности.

Художник Н. Н. Сапунов построил на сцене маленький театрик с традиционным, поднимающимся кверху занавесом. При поднятии его зрители видели в глубине сцены посередине окно. Параллельно рампе стоял стол, покрытый черным сукном, за столом сидели «мистики», в центре председатель. Они помещались за черными картонными сюртуками. Из манжет виднелись кисти рук, из воротничков торчали головы. Мистики говорили неодинаково — одни притушенным звуком, другие — почти звонко. Они прислушивались к неведомому, к жуткому, но желанному приближению. Когда В. Э. Мейерхольд репетировал с нами за столом, он читал за некоторых сам, причем всегда закрывая глаза. Он делал это невольно и прислушивался к чему-то невидимому, таким образом сосредоточивался. Эта сосредоточенность и творческий трепет режиссера помогали актерам в работе, совершенно новой и трудной для многих.

Художник Н. Н. Сапунов и М. А. Кузмин, написавший музыку, помогли в значительной мере очарованию «Балаганчика», который был исключительным, каким-то магическим спектаклем...

Бекетова. 29 декабря 1906. Петербург

Вчера была на генеральной репетиции «Балаганчика» в числе нескольких литераторов, актеров, Али с Любой. Автор не то Аполлон, не то ребенок и ангел, мелькал то там, то здесь своей головой поэта. Он был доволен и весел и не боялся провала, и не сердился на плохих актеров. Люба веселилась в театрально-почетной обстановке и все находила прекрасным. Аля страдала на все лады, то тупостью, то остротой чувств. Во время «Балаганчика» чуть не плакала. Ну,



это понятно. Завтра первое представление. Будет много родственников, но не все. Как-то примет публика? Что будет, не знаю...

Веригина. «Балаганчик» шел с десяти репетиций и зазвучал сразу. Невозможно передать то волнение, которое охватило нас, актеров, во время генеральной репетиции и особенно на первом представлении. Когда мы надели полумаски, когда зазвучала музыка, обаятельная, вводящая в «очарованный круг», что-то случилось такое, что заставило каждого отрешиться от своей сущности. Маски сделали всё необычным: и чудесным. Даже за кулисами перед выходом мы разговаривали по-иному. Я помню момент перед началом действия во время первого спектакля. Я стояла и ждала музыки своего выхода с особым трепетом. Мой кавалер Бецкий и его двойник тихо расхаживали поодаль, кутаясь в плащи. Я почувствовала, что кто-то стоит у моего плеча, и обернулась. Это была белая фигура Пьеро. Мне вдруг стало тревожно и неприятно: «Что, если он скажет что-нибудь обычное, свое, пошутит и разрушит очарование», но я тотчас же устыдилась мелькнувшей мысли: глаза Пьеро смотрели через прорезь маски по-иному. Он молчал. Ведь мы находились в таинственном мире поэзии Блока. Мейерхольд, по-видимому, в этот момент ощущал это больше всех.

Послышался шепот: «Бакст пошел», — это означало, что подняли первый занавес, распеванный Бакстом. Представление началось. В зрительном зале чувствовалась напряженная тишина. Тянулись невидимые нити от нас в публику и оттуда к нам. Музыка волновала и, как усилитель, перебрасывала чары создания Блока в зрительный зал. Когда опустился занавес, все как-то не сразу вернулись к действительности. Через мгновение раздались бурные аплодисменты с одной стороны и протест с другой, последнего было, правда, гораздо меньше. Вызывали особенно Блока и Мейерхольда. На вызов с ними вышли все участвующие. Когда раздавались свистки, усиливались знаки одобрения. Сразу было ясно, что это был необыкновенный, из ряда вон выходящий спектакль.

Многие потом бывали на «Балаганчике» по нескольку раз, но была и такая публика, которая не понимала его совсем и никак не принимала.

Кажется, в антракт перед «Чудом святого Антония», ставившегося в один вечер с «Балаганчиком», а может быть, после окончания спектакля к нам в уборную пришел Блок и поднес цветы — Мунт розовые, Волоховой белые и мне красные. Он был в праздничном, приподнятом настроении, и мы очень радовались его успеху...

Тата – З.Гиппиус. 30 декабря 1906. Петербург

Сейчас были на «Балаганчике» Блока... Блок выходил — автор — с лилиями в руках: дали ему. Люба была озабочена, но сияла «в туалетах». А мать Блока мне просто запросто что-то полюбилась.



Она живет одна — отказалась от своей радости жить с ними ради любви к Блоку. И маленькая, печальная и одинокая. Люба завоевала Блока, отняла у нее. И вот у меня к ней жгучая жалость. Повезу ей моего Блока* подарить, она очень хочет. Потом все хотелось ей за кулисы. Говорю: а Люба разве Вас не может повести? Говорит робко: «Да не знаю, захочет ли». Тогда я быстро стала ее убеждать, что нечего и думать. Говорю: вон, Люба, идите к ней скорей, и она Вас проведет. И она покорно пошла к ней просить. Прошла за кулисы. Блока она любит больше всего на свете. А теперь живет одна, любимая собака даже подохла, а Пиоттх почти все время в разъезде.

Не знаю, Зина, хорошо ли, что Дмитрий** Борю вызвал. И хорошо ли, что вы ему советуете ехать. Что может измениться? Что Боря, безусловно, Любу любит страстнее, непобедимее — правдивее и значительнее, чем она его, — это я думаю. По-моему, Боря, естественно, махровит свою любовь, но махровость его, передающаяся Любе, безусловно, ее не делает здоровой. Поселяется кошмар, надрыв, взвинченность, безумие, «пяточки» подымаются от земли, и получается вывих. Как Боря может *решить* дело? Или нужно, чтоб она с ним пошла, или чтоб Боря убил себя. Но она решила, что она Блока любит, а не Борю. И в простоте своей естественной она значительнее, чем во взвинченности. Тише и серьезнее. Иванов уверяет, что при Боре она красивее необычайно...

Выхода не вижу. И думаю, Боре невероятно трудно. Конечно, он ко мне придет. И он потому вам мешает, что опирается на вас, как еще на своих учителей первых, по-старому. Не знаю. Любовь Бори к Любе не грех для него, потому что он сам *еще* нигде. Но *заставить* Любу полюбить Борю больше Блока — никто не может. И Боря Блока презирает, хотя глубоко любит. Ну, пусть, пусть.

Бекетова. 31 декабря 1906. Петербург

Вчера было первое представление «Балаганчика». Публика первых представлений: литераторы, художники и музыканты из новых. Несколько дам, причастных к искусству и, конечно, родственники. Учащейся молодежи сравнительно мало, только интересующаяся искусством, так или иначе. Сначала шел «Балаганчик». Играли значительно лучше, чем на генеральной репетиции, все прошло гладко; постановка, несомненно, красива и оригинальна. В общем, празднично, святочно и везде, где стихи, веет благоуханной поэзией. Во время действия был все время хохот в толпе учащейся молодежи, среди грубых и некрасивых лиц. В конце пьесы раздалось шиканье и пронзительный свист, но все покрылось громкими и дружными аплодисментами. Много раз вызывали автора, он вышел и показался во всей своей юной и поэтической красоте. Шиканье, свист и гром аплодисментов. Ему сейчас же бросили из первого ряда белую лилию и фиалки с зеленью... В общем, успех.

* Картину.

** Мережковский.



Публика, разумеется, избранная, не то будет потом, и интересно, что скажут газеты. Родственники не бранились... Автор и Люба сияли...

Веригина. За два или три дня до представления нам пришла мысль отпраздновать постановку «Балаганчика». По совету Бориса Пронина решили устроить вечер масок. Заговорили об этом при Е. М. Мунт, с которой мы вместе жили. Волохова и В. В. Иванова приветствовали эту идею, и Вера Викторовна предложила свою квартиру, так что в дальнейшем к ней были перенесены и субботники, на которые приглашались наиболее близкие знакомые из художественного и артистического мира.

Решили одеться в платья из гофрированной цветной бумаги, закрепив ее на шелковых чехлах, головные уборы сделать из той же бумаги.

Вечер должен был называться «Вечером бумажных дам». Для мужчин заготовили черные полумаски. Мужчинам было разрешено не надевать маскарадного костюма, их только обязывали надевать маску, которую предлагали при входе каждому. Написали приглашение. Его текст приблизительно был следующий: «Бумажные Дамы на аэростате выдумки прилетели с луны. Не угодно ли Вам посетить их бал в доме на Торговой улице...» Следовал адрес В. В. Ивановой, т. о. номер дома и квартиры без ее фамилии. Она ни за что не хотела, чтобы в ней видели хозяйку.

Это приглашение давали читать в антракте по время первого представления «Балаганчика» всем, кого хотели пригласить...

Почти все дамы были в бумажных костюмах одного фасона. На Н. Н. Волоховой было длинное со шлейфом светло-лиловое бумажное платье. Голову ее украшала диадема, которую Блок назвал в стихах «трехвенечной тиарой». Волохова в этот вечер была как-то призрачно красива, впрочем, теперь и все остальные мне кажутся чудесными призраками. Точно мерещились кому-то «дамы, прилетевшие с луны». Мунт с излучистым ртом, в желтом наряде, как дикий цветок, скользящая неслышно по комнате; Вера Иванова, вся розовая, тонкая, с нервными и усталыми движениями, и другие. Я сама, одетая в красные лепестки мягкой бумаги, показала себе незнакомой в большом зеркале. У меня тогда мелькнула мысль: не взмахи ли большого веера Веры вызвали нас к жизни? Она сложит веер, и вдруг мы пропадем. Я сейчас же улыбнулась этой мысли...

Одна из комнат... была убрана разноцветными фонариками, и маски нежно и бесшумно веселились в призрачном свете. Все были новые и незнакомые, но молодые они были на самом деле, а не только в свете фонариков.

Было условлено говорить со всеми на «ты»...

Всего легче «ты» говорилось Блоку. В полумраке среди других масок, в хороводе бумажных дам, Блок казался нереальным, как некий символ.



Однако и здесь за плечом строгого поэта был его веселый двойник, реальный для меня — красной маски, теперь, как никогда в другое время. Казалось бы, что Блоку не до шуток: как раз на вечере «бумажных дам» лиловая маска Н.Н. Волохова окончательно покорила его...

От загоревшегося чувства поэт стал трепетным и серьезным, однако, повторяю, я совершенно ясно почувствовала, что веселый двойник был тут же. Помню момент в столовой: живописная группа наряженных женщин в разноцветных костюмах и мужчин в черном. Поэты читали стихи, сидя за столом. Строгая на вид лиловая маска, рядом с ней поэт Блок. В глазах Волоховой блеснул иной огонь: тогда-то «на копне ботинки узкой» дремала «тихая змея». Н.Н., по-видимому, прониклась ролью таинственной бумажной дамы. Когда я увидела эту торжественную группу, мне вдруг захотелось нарушить ее вдохновенную серьезность. Из всех присутствующих я выбрала Блока и обратилась со своим весельем именно к нему, хотя повторяю — казалось бы, момент был совершенно не подходящий. Я сделала это инстинктивно, почувствовала за пафосом его влюбленности беззаботную веселость юности.

Действительно, Александр Александрович сейчас же отозвался на мой юмор. Выражение лица у него стало задорным, он развеселился и с этого момента в продолжение всего вечера двоился: поэт трепетал и склонялся перед лиловой дамой, а его двойник говорил вдохновенный вздор с красной маской...

Через некоторое время из столовой, мы перешли опять в комнату, освещенную фонариками. Там на диване сидела Любовь Дмитриевна и рядом с ней, кажется, Г. И. Чулков. Ее фигура в легком розовом платье из лепестков тонкой бумаги не казалась крупной в углу дивана. Легким движением красивой руки она гладила край оборки. Глаза были опущены. Мне показалось странным выражение ее лица, оно не было детским или лукаво мудрым, как обычно, а какое-то непонятное для меня. Когда вошли Н. Н. Волохова и Блок, она выпрямилась и замерла на некоторое мгновение. Волохова опустила в кресло недалеко от дивана. Любовь Дмитриевна встала, сняла со своей шеи бусы и надела их на лиловую маску. Ни в той, ни в другой не было женского отношения друг к другу. Как раз Блок очень разграничивал женское и женственное, причем первое ненавидел.

Так после постановки «Балаганчика», с вечера бумажных дам, мы вступили в волшебный круг игры, в котором закружилась наша юность...

Тата – З. Гиппиус. 3 января 1907. Петербург

Сейчас от меня ушла Любовь Дмитриевна. Она мне сегодня очень понравилась. И все мои прежние малые замечания вам — подтвердила. Она дала мне полное разрешение теперь написать



вам все, о чем мы с ней говорили. Только боится, как бы ты не стала «вообще — в салоне» рассказывать (конечно Дмитрию и Диме* — дело другое). Началось так: спрашивала, что вы пишете. Я сказала, что Боря в Париже, что она знала. Сначала не говорила ей, что он хочет приехать в Петербург. Она спрашивала, какой он теперь. Говорю: пишут, стал серьезнее, тверже. Поразились: странно, говорит, может быть, последнее время. Из Мюнхена он им прислал по карточке с Блоком, в велосипедном костюме, в чулочках. Говорит — последнее время на нем было столько «скорпионовщины», что «ужас». Она говорила очень просто, встревожилась за Боря и не понимает, зачем ему приезжать в Петербург. Я ей говорила о своем предположении — Боря думает, что истина-то любовь его к вам и что вы, если не влюблены, то должны быть, что Саша есть ваша смерть и т.д. Она мне так говорила: она виновата во многом, кокетничала. Но и Боря же своим поклонением ее вывихнул. Она так говорит; «Я совершенно измерзлась: стала каждым своим шагом любоваться и считать себя действительно центром, всякий жест, слово — полно тайного смысла. Чем они меня с Сережей** делали? Прекрасной дамой чттили...

Ну, я и была влюблена, надо же и это понять. И понять, что такая влюбленность не есть настоящая любовь. Тогда я у Саши совета спрашивала и сердилась на него, потому что он мне давал свободу, говорил; как хочешь. Он поверил в меня, и вот он мне и показал, где моя правда. В настоящей любви есть и влюбленность, конечно. Боря во мне превозносил то, что во мне скверное, бесосновное, летучее. Все это был вывих, мой провал, моя пошлость. Саша меня вызвал к жизни первый раз — своей любовью, а то я бы была не человеком, а пустышкой, пошлячкой. Второй раз в этой истории он помог победить Боря, опять моего дракона, мою в себе пошлость и провал. Сам по себе Саша светлый, ясный. Мы с ним люди разные. Он не понимает, что нужна цель, движение, *Путь*. А я уж без цели не могу».

Я спрашиваю: «Вы *уверены*, что вы Боря не любите, и что с ним для вас нет правды? Так ли это?» Она мне: «Ведь, помилуйте, целый год это было. Я уверена и знаю, что я Боря не люблю и что идти мне с ним не надо. Я бы хотела, чтоб он был, как прежде: Любовь истинная, только та, когда она взаимная, оба любят, а вот Борина — не истинная. И он должен ее побеждать».

Я ей говорила, что трудно безвольному победить органическое, особенно когда сам человек еще в своей правде усомниться не может. Он-то, верно, думает, что вы для него и он для вас. Она печалилась за Боря, как бы ему дать это понять, как его образумить. Было жалко ей его. Говорит: если бы кто мог ему помочь, то Мережковские, а они-то его поощряют. Я ее просила тебе написать

* Философову.

** Соловьевым.



самую, но она с грустью говорила, что не знает как. Я ей сказала, что иногда она мне сама кажется обратным «не то есть, не то нет». «Да, — говорит, — есть это во мне, но есть ли какое-нибудь «основание»?» — «*Персть — есть*», — говорю (иногда, когда без надрыва она, в серьезности). Была очень простая, серьезная, и в простоте значительная. Ей, видимо, было трудно мне говорить, и удивило, что Боря вам рассказывал.

Я все ее слова и вопросы перевела в одну длинную речь, по существу все включающую. Боре не читай, а можешь сказать, я думаю. Или от себя, что ли. Борю мне жалко ужасно, но, право же, Люба не та, что он о ней думает. Как быть — я не знаю, Может быть, когда-нибудь *они опять сойдутся, даже, может быть, один для другого предназначены, но не в той форме и не сейчас*. Люба все-таки больше живой человек, чем сосуд жизни — вездешней. И у него, несмотря на махровость, — мужская, безличная влюбленность.

Люба. Мой партнер этой зимы, первая моя фантастическая «измена» в общепринятом смысле слова, наверно, вспоминает с меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением переживала, когда мы проснемся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: «бег саней», «медвежья полость», «догоревшие хрустали», какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с его немислимыми, вульгарными «отдельными кабинетами» (это-то и было заманчиво) и легкость, легкость, легкость... Георгий Иванович*, кроме того, обладал драгоценным чувством юмора, который очень верно удерживал нас от всякого «пересола». Когда он несколько лет назад «вернул» мне мои «письма» — вот это уже был пересол, тут чувство юмора ему изменило! Но я была им рада и с умилением перечитывала этот легкий, тонкий бред: «О, я знала, что сегодня Вы будете не в силах от меня отделаться, что от Вас будет сегодня весть. А я разве не странно отношусь к Вам? Разве не нелепо, что когда Вы уходите, обрывается что-то во мне, и страшно тоскую. Но ничего мне не надо от Вас. Иногда только необходимо встретить Ваш взгляд и знать, что не уйти Вам от меня. Сегодня хотела бы видеть Вас, я дома сейчас и весь вечер.

Ваша Л. Б.»

И бумажка тонкая, и почерк легкий, летящий, почти не существующий.

Не удивляйтесь, уважаемый читатель, умилению и лиризму при воспоминании об этих нескольких зимних месяцах — потом было много и трудного и горького и в «изменах» и в добродетельных годах (и такие были). Но эта зима была какая-то передышка,

* Чулков.



какая-то жизнь вне жизни. И как же не быть ей благодарной, не попытаться и в вас, читатель, вызвать незабываемый ее облик, чтобы, читая и «Снежную маску», и другие стихи той зимы, вы развеяли по всему нашему Петербургу эти снежные чары и видели окруженными пургой всех спутников и спутниц Блока...

Из повести «Слепые» Г. Чулкова

...Когда они вышли из клуба, мартовский влажный вечер обвеял их горячие лица. Любовь Николаевна теперь не смеялась.

— Я не хочу домой, — капризно сказала она, прижимаясь к плечу Лунина, — я хочу на Острова...

На Каменноостровском она торопила извозчика:

— Скорей! Скорей!

Неожиданно она запрокинула голову.

— Милый! Милый! Целуй!

Лунин покорно прижал свои холодные губы к ее тоже холодным губам.

— Мы мертвые, — прошептала в ужасе Любовь Николаевна. И вдруг она вскрикнула: — Что это? Что это?

Они проезжали мимо дома старого князя. Во втором этаже все окна были освещены ярко. Двигались черные тени.

— С отцом случилось что-то... — сказала Любовь Николаевна, судорожно сжимая руку Лунина. — Боже мой! Как страшно... Боже мой!

— Вы домой хотите? — с тревогой спросил Лунин.

— Домой? Нет, нет... Я боюсь. Боже мой! Я схожу с ума. — Она повернула заплаканное лицо к Лунину: — Я к вам хочу, Борис Андреевич.

— На Жуковскую! — крикнул Лунин извозчику, и ему не казалось странным, что Любовь Николаевна так неожиданно, ночью, решила ехать к нему и вот сейчас целовала его холодными губами. Когда Лунин и Любовь Николаевна очутились вдвоем в лифте, она закрыла лицо руками и вздрогнула.

— Зачем это? Зачем?

— Рассуждать не надо, — сказал Лунин, — судьба такая. Все как сон. И мы кому-то пригрезились, должно быть, такими.

— Какие у вас холодные руки. Лунин отпер квартиру и без звонка, не разбудив прислуги, провел Любовь Николаевну к себе в мастерскую.

— Светает, — сказала графиня, — шесть часов.

Лунин отдернул штору на огромном окне, и открылся Петербург утренний: туманная, желтая даль Литейного проспекта, скучная сеть трамвайных, телеграфных и телефонных проводов; сине-зеленые пятна ночных гуляк, проституток, дворников...

Любовь Николаевна, в тоске ломая руки, отошла от окна. Она стояла посреди мастерской бледная теперь, с темными кругами под



глазами, улыбаясь растерянно, как будто недоумевая, зачем она попала сюда.

— Ну, целуйте, целуйте руки мои... Мыслей не надо. Правда? Ведь мы влюблены? Влюблены?

Лунин молча стал на колени перед нею. Злые сладострастные огоньки загорелись в ее глазах.

— Вы во мне куртизанку увидели, — сказала она тихо, — может быть, вы правы... Я бы и натурщицей могла быть. Тело мое прекрасно...

Она села на диван.

Казалось, что холодный желтый туман вошел в мастерскую художника. Станный мертвый свет струился по стенам, тканям, картинам. Он оплетал душу паутиною, как огромный паук. И казалось, что никогда не развеется слепой туман, что город задохнется в этом трауре...

Неожиданно Любовь Николаевна вскрикнула:

— Страшно мне! Сейчас случилось что-то... Ах, не хочу я думать, не хочу...

Она протягивала руки к Лунину, но смотрела куда-то в сторону, как будто видела иного, кого Лунин не видел. Потом она сказала печально:

— Разве так надо было? Ах, все равно... Пусть... Она раскинулась на диване, как была, неодетая, и тотчас заснула.

Лунин сидел у окна и думал о том, что вот сейчас произошло то, что могло бы быть важным и значительным и что прошло, испепелилось, исчезло, как исчезает этот желтый неживой туман.

Лунин не верил, что он обнимал и целовал графиню. Не верил, что он, Лунин, как убийца, холодно и бесстыдно обладал телом этой несчастной утомленной женщины, которая возбуждала в нем теперь только жалость.

Уже развеялся туман; оживал город; шумела улица; под солнцем огнем черным светился гранит...

Графиня спала: распустились ее рыжие волосы; не слышно было, как дышит она. Казалось, что она лежит в глубоком обмороке...

Веригина. Блок, а вместе с ним и мы все жили в кружении карнавала ночных таинственных фантазий и в повседневной действительности непрерывно в течение целого периода.

Те два театральных сезона были незабываемым, чудесным сном для всех, причастных снежным, ослепительным видениям Блока.

Вспоминая о наших вечерах, я вновь и вновь вижу всех нас на розовой диване и шкуру белого медведя перед камином, «а на завесе оконной золотился луч, протянутый от сердца, — тонкий, цепкий шнур...».

Этот луч-шнур опутывает нас, но он такой неощутимый и не тягостный, он золотится только на завесе оконной, протянут от сердца пляшущих теней масок...



На вечере бумажных дам Н. Н. подвела поэту брови, а он написал об этом: «Подвела мне брови красным, посмотрела и сказала: — Я не знала: тоже можешь быть прекрасным, темный рыцарь, ты». Так почти во всех стихах «Снежной маски» заключены настоящие разговоры и факты тех дней...

Снежная Дева потухла, ушла, но сама Волохова осталась той же яркой индивидуальностью, как и до увлечения ею Блока. Ее сверкающую улыбку и широко открытые черные глаза видели фойе и кулисы Художественного театра, где она училась. Ее красота, индивидуальность там уже были оценены по достоинству. Прекрасное лицо. Обаяние, чарующий голос, прекрасный русский говор, интересный ум — все, вместе взятое, делало ее бесконечно обаятельной. Волохова сама была индивидуальностью настолько сильной, что она могла спорить с Блоком. Она часто противоречила ему, дальше я остановлюсь на этом. Она сама была влюблена в Петербург и его мглу и огни, и указывала на них поэту. Оба много гуляли и катались по вечерам, и отсюда посвящение к «Снежной маске»: «Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу моего снежного города»... Чувство Волоховой было в высшей степени интеллектуальным, собственно — романтика встречи заменяла чувство. Тут настоящей женской любви не было никогда. Она только что рассталась со своей большой живой любовью, сердце ее истекало кровью. Поэтому, когда с приближением Блока в ней проснулись Снежная Дева и захватывающий интерес к окружающему, я очень обрадовалась.

Но здесь была двойственность: с одной стороны, глубокое, большое чувство к отсутствующему, с другой — двойственное, скорее интеллектуально-экстатическое отношение к тому, что происходило в окружении Блока. В эту эпоху она была особенно интересна, потому Блок и называл ее падучей звездой и кометой. Наталия Николаевна бесконечно ценила Блока как поэта и личность, любила в нем мудрого друга и исключительно обаятельного человека, но при всем этом не могла любить его обычной женской любовью. Может быть, потому еще, что он, как ей казалось, любил не ее живую, а в ней свою мечту.

По временам Н. Н. Волоховой хотелось избавиться от своего мучительного чувства к другому, и она жалела, что не может влюбиться в Блока. «Зачем вы не такой кого бы я могла полюбить!» — вырывалось у нее однажды.

«Снежная маска» вылилась из первого смятения от неожиданного отношения женщины. Блок говорил: «Так со мной никто не обращался». Все же он облекся в форму красивую — не отвергнутого любовника, а рыцаря желанного и в высшей степени нужного. По его словам, от Волоховой он получил второе крещение...

Неразрешающаяся романтика мучила... Это тревожило мать. Блок принял второе крещение и как бы преобразился, но теперь



он и Н. Н. Волохову обреч на снежность, на вневременность, на отчуждение от всего жизненного. Он рвал всякую связь ее с людьми и землю, говорил, что она «явилась», а не просто родилась, как все, явилась, как комета, как падачая звезда... Отсюда происходил их спор. Она с болью настаивала на своем праве существовать живой и жить жизнью живой женщины, не облеченной миссией оторванности от мира. Может быть, особенно горячо и с особенной мукой она настаивала на этом потому, что действительно в ней был какой-то разлад с миром, она в душе чувствовала себя глубоко одинокой и часто во многом сама не принимала мира таким, как он есть... Мне понятно волнение и протест Волоховой. Соприкоснуться так близко с тайной поэзии Блока, заглянуть в ее снежную сверкающую бездну — страшно: она, разумеется, сейчас же ощутила, что стоит рядом с поэтом, которому «вселенная представлялась страшной и удивительной, действительной, как смерть...»

Блок был неумолим. Он требовал, чтобы Волохова приняла и уважала свою миссию, как он — свою миссию поэта. Но Наталия Николаевна не захотела отказаться от «горестной земли», — и случилось так, что он в конце концов отошел. После он написал о своей Снежной Деве стихотворение, полное злости, уничтожающее ее и совершенно несправедливое. Я не знала об этом, так же как и она, до последнего времени. Она прочла с ужасом и возмущением, с горечью — за что? Думаю, за то, что он поверил до конца в звезду и явленную комету, и вдруг оказалось, что ее не было, тогда он дошел до крайности, осыпая ее незаслуженными упреками. Любовь Дмитриевна в свое время, вероятно, также порой тяготилась своей обреченностью Прекрасной Дамы, потому что она вначале любила Александра Александровича обычной земной, любовью. Она осталась с ним до конца благодаря тому, что была очень сильная, а он нуждался в ней больше, чем в ком-либо. «Люба мудрая. Люба знает». А она, разумеется, верила, что он знает больше всех, что его речи являются известного рода «откровением». Отсюда и смирение Любви Дмитриевны...

Она гуляла и каталась с Блоком по улицам Петербурга, влюбленная в его мглу и огни. Между ними шел неустанный спор, от которого он мучился, она иногда уставала...

Волохова. ...Часто после спектакля мы совершали большие прогулки, во время которых Александр Александрович знакомил меня со «своим городом», как он его называл. Минуя пустынное Марсово Поле, мы поднимались на Троицкий мост и, восхищенные, вглядывались в бесконечную цепь фонарей, расставленных, как горящие костры, вдоль реки и терявшихся в мглистой бесконечности. Шли дальше, бродили по окраинам города, по набережным, вдоль каналов, пересекали мосты. Александр Александрович показывал мне все свои любимые места, связанные с его пьесой «Незнакомка»:



мост, на котором стоял звездочет и где произошла его встреча с потом, место, где появилась Незнакомка, и аллею из фонарей, в которой она скрывалась. Мы заходили в кабачок, где развешивалось начало этой пьесы, маленький кабачок с расписными стенами.

Действительность настолько переплеталась с вымыслом, с мечтой поэта, что я невольно теряла грань реального и трепетно, с восхищением входила в неведомый мне мир поэзии. У меня было такое чувство, точно я получаю в дар из рук поэта этот необыкновенный, сказочный город...

Веригина. Однажды я сказала Н. Н. полушутя, что впоследствии почитатели поэта будут порицать ее за холодность... Н. Н. рассмеялась над моими словами и сказала мне, что иногда она не верит в подлинные страдания Блока: может быть, это только литература. А над Любовью Дмитриевной взвился «костер высокий». Однажды она приехала к Волоховой и прямо спросила, может ли, хочет ли Н. Н. принять Блока на всю жизнь, принять поэта с его высокой миссией, как это сделала она, его Прекрасная Дама. Наталья Николаевна говорила мне, что Любовь Дмитриевна была в эту минуту проста и трагична, строга и покорна судьбе. Ее мудрые глаза видели, кто был ее мужем, поэтому для нее так непонятно было отношение другой женщины, ценившей его недостаточно. Волохова ответила: «Нет». Так же просто и откровенно она сказала, что ей мешает любить его любовью настоящей еще живое чувство к другому, но отказаться сейчас от Блока совсем она не может... Слишком было упоительно и радостно духовное общение с поэтом...

С Таврической от Вячеслава Иванова и с Васильевского острова от Сологуба мы шли обычно большую часть дороги пешком. Блок, Ауслендер, Мейерхольд и Городецкий провожали четырех дам — Волохову, Иванову, Мунт и меня (мы жили в районе Офицерской). Мне вспоминается, как далекая картина, видение — одно из таких возвращений. Было тихо и снежно. Мы шли по призрачному городу, через каналы, по фантастическим мостам Северной Венеции и, верно, сами казались призраками, походили на венецианских баутт прошлого. Наша жизнь того периода также проходила в некоем нереальном плане — в игре. После «Балаганчика», на вечере бумажных дам, маски сделали нашу встречу чудесной, и мы не вышли из магического круга два зимних сезона, пока не расстались. Незабываемые пляски среди метелей под «песни вьюги легковейной», в «среброснежных чертогах». Высокая фигура Сергея Городецкого, крутящаяся в снежной мгле, силуэт Блока, этот врезанный в снежную мглу профиль поэта, снежный пней на меховой шапке над строгой бровью, перебеги в снегу, звуки «струнных женских голосов» (слова Блока), звездные очи Волоховой, голубые сияющие — Веры Ивановой.

Так часто блуждали мы по улицам снежного города, новые северные баутты, а северный поэт из этих снежных кружений тайно



сплетал вязь... Всюду мы были вместе в своем тесном, близком кругу, и, где бы не появлялись, наше оживление передавалось другим: на литературных журфиксах, на концертах, в театре. Многие врывались на миг в этот блоковский круг, но быстро ускользали, и в нем оставались только самые близкие, спаянные одинаковыми настроениями.

Все театральные события, казавшиеся важными в свое время, потускнели в моей памяти. Игра в театре, которую я так любила, кажется мне теперь далеко не такой волнующей и яркой, как та игра масок в блоковском кругу. Правда, что уже в ту пору я не смотрела на наши встречи, собрания и прогулки, как на простые развлечения. Несомненно, и другие чувствовали значительность и творческую ценность всего этого, однако мы не догадывались, что чары поэзии Блока почти лишили всех нас своей реальной сущности, превратив в северных баутт...

Наступило 10 февраля — мои именины. Мы с Екатериной Михайловной переехали к тому времени на Торговую. Мунт уже поправилась от воспаления легких, но еще не выходила. Городецкий, Иванова, Ауслендер, Пронин, Сапунов и другие явились с поздравлениями. Александр Александрович и Наталия Николаевна приехали поздно. Они были в нашем театре на первом представлении «Свадьбы Зобеиды». В пьесе ни я, ни Волохова не участвовали. По дороге Блок и Наташа сочиняли стихи, подражая «Менаде» Вячеслава Иванова. Явились они оба веселые, возбужденные, принесли морозный воздух, смех, звук металлических голосов. Сейчас же стали декламировать только что сочиненное стихотворение:

*Мы пойдем на «Зобеиду»,
Верно дрянь, верно дрянь.
Но уйдем мы без обиды,
Словно лань, словно лань.
Мы поедем в Сестрорецкий
Вчетвером, вчетвером,
Если будет Городецкий —
Вшестером, вшестером.*

Тут упоминается Сестрорецкий вокзал, избранный нами для прогулок по милости Блока: он любил туда ездить по вечерам весной совершенно один, в одиночестве пить терпкое красное вино. Там ему чудилась «Незнакомка»...

Однажды Блок и нам предложил туда поехать. Случилось это в первый раз в конце января. Из Москвы приехал наш друг Н. П. Бычков и пришел к нам на спектакль. Кажется, шел «Балаганчик», на котором Александр Александрович всегда бывал. Оба встретились в антракте в нашей уборной. Тут и было решено, что после спектакля Блок, Волохова, я и Бычков поедем в гости к «Незнакомке». Мы взяли финских лошадок, запряженных в крошечные санки. Нам



захотелось ехать без кучеров, чтобы мужчины правили сами. Мы отправились туда, где блуждала блоковская Незнакомка, в туман, мимо тихой замерзшей реки, мимо миражных мачт...

Впереди в маленьких санках две стройные фигуры: поэта и Н. Н. Волоховой — с пленной грустью в безнадежной душе, наш приезд на скромно освещенный вокзал. Купол звездный отходит, печаль покидает Волохову — ею овладевает Снежная Дева.

Здесь мы все баутты. Мы смеемся, пьем рислинг, делаемся легкими. Тут не поэт перед нами, а его двойник, предводитель снежных масок. Мы говорим опять вдохновенный вздор, насыщенный чем-то неизъяснимо чарующим. Это обворожительный юмор Блока, юмор, таящийся за словами, в полуулыбке, в металле голоса. Воплотившаяся в Волоховой Незнакомка сидит тут рядом, только у нее очи не «синие бездонные», у нее «черные глаза, неизбежные глаза»...

Александр Александрович был остроумен в эту весну, как никогда. Мы много времени проводили вместе с ним и Любой, и нам было неизменно весело втроем. Откуда-то появился маленький мячик. Однажды мы забавлялись им целый день — цепь веселых слов соединяла полеты мячика. Помню, я бросала его об стену. Блок стоял, опершись на кресло: он держал папиросу в руке, часто подносил ее ко рту, выпускал дым с чуть-чуть приподнятой головой и бросал вслед клубам дыма слова неожиданно смешные. Мои ответы следовали вслед за вылетом мяча. Таким образом, игра наших мыслей и выражавших их слов была подчинена некоему ритму. Совершенно не помню, о чем мы говорили, помню только ощущение какого-то восторга, пробегающий по спине мороз, как во время игры на сцене, когда бываешь в ударе. Помню даже, что Александр Александрович сказал мне: «Вы сегодня в ударе, Валентина Петровна». На самом деле он же сам был причиной моего юмористического вдохновения. Помню также один вечер — окно в закатном свете, мы втроем сидели вплотную к окну в больших креслах и рассказывали разные разности. Между прочим, я рассказывала легенду о черном рыцаре, слышанную мною в детстве от отца. Блоку она очень понравилась, понравилось также, как я рассказываю. Когда он слушал, у него было детское выражение лица, широко открытые глаза смотрели внимательно.

Я кончила, он сказал: «Вы хорошо рассказываете, Валентина Петровна. Вам надо писать». Конечно, такая оценка была результатом его искренности и воображения, которое переоценило мой рассказ. Когда стемнело и зажгли лампу, настроение изменилось. Мы опять смеялись. Любовь Дмитриевна начала первая, вспомнила какую-то яму с лягушками, которых она боялась. Очевидно, они оба вспоминали что-то детское, смешное, потому что, когда она сказала: «Саша, помнишь?» — он тоже принял хохотать и сделался похожим на портрет ранней юности, про который она говорила: «Я люблю эту фотографию — тогда Саша был только моим»...

Глава XVI. «Мертвецу достаточно щелочки...»

Бекетова. 31 января 1907. Петербург

На днях была у Али на рождении Франца. Все равно, что там было, но когда все ушли, Аля сообщила мне нечто очень важное: Саша сам рассказал ей, что влюблен в актрису Волохову (все началось с «Балаганчика»). Он за ней ухаживает, с ней катается; пока, как он сказал, они «проводят время очень нравственно» (странно слышать такие слова от него) и, кроме того, он же говорит: «влюбленность не есть любовь, я очень люблю Любу». Люба ведет себя выше всяких похвал: бодра, не упрекает и не жалуеться, была одна на вечере у Али, он ушел, кажется, в театр Комиссаржевской. Все это вполне откровенно и весело делается, но Любе говорится, например, на ее предложение поехать за границу: «С тобой неинтересно». Каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии, после всех ее опьяняющих триумфов. Мне жаль ее до слез. Она присмирела, ласкова и доверчива с Алей и говорит: «Ведь какая я роза, до чего я подурнела!» Мне невыносимо думать, что она страдает и плачет, а между тем, как говорит Женя Иванов, м. б., это ей на пользу. Да, м. б., но кроме жалости к этому цветку, и в сущности ребенку, ужасно еще и то, что сказка их, значит, уж кончена. Если он и вернется к ней, то уж будет не то, та любовь, значит, уже исчезла. Это, конечно, брак виноват и, кроме того, полное отсутствие буржуазных и семейных наклонностей у него. Она из верных женщин и при том его пленительность сильнее ее. Она *всегда* шокировала его известной вульгарностью, а он ведь как есть поэт, так всегда им и бывает со всем своим обликом. Пострадать ей, конечно, надо, но – боюсь я за нее. Ведь согнуться она не может, как бы не сломалась и не погибла. Ведь годы самые страстные – всего труднее мириться. А поклонников нет. Боря потерял свой последний престиж, а других-то нет. Аля говорит: «это все влияние Вячеслава Иванова». Какой вздор! Еще прошлой весной уж была «Незнакомка», а теперь вот она и воплотилась окончательно. Разве поэт, создающий такие женственные образы в 25 лет, может быть верен одной жене?

Люба все-таки не красавица и красавицы ей опасны, а Волохова красавица. Не даром думала я об искушении маскарада после «Балаганчика». Да, я боюсь за Любу.

4 февраля 1907. Петербург

Третьего дня была у Али. Там был Саша. Аля мне вчера сообщила, что он хочет жить отдельно от Любы.

В Любу влюблен Чулков, который с женой разъехался. Люба с ним кокетничала и провела чуть ли не целую ночь в отдельном кабинете и катаясь. Последнее мне уже совершенно непонятно.



Франц думает, что это надрыв. Аля говорит, что нет, а я думаю, что это средство забыть червя ревности, обиды, горя и оскорбленного самолюбия, который ее съедает...

8 февраля 1907. Петербург

Пришла Аля. Страшно обрадовалась блинам и была все время добрая и милая.

Все мне рассказала про детей и про Кину*. Ну, они пока не хотят разъезжаться. Это, конечно, проще, т. е. удобнее, но не знаю уж хорошо ли. Ведь он уже серьезно любит Волохову, а Люба (с горя по-моему) кутит с Чулковым. Уверяет, что не страдает, но мы ей не верим. Как далеко это все от того, что было летом. Где ее гордая уверенность в своей неотразимости? Но смириться она все-таки не желает.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Иванову

10 февраля 1907. Петербург

Милый Женя, вчера в театре Люба спросила меня о том слове, которое Вы ей написали в письме. Просила объяснить и сказала — Учить он меня, что ли, вздумал?— Я ответила — нет, не учить, этого он никак не думал, а ночью, поздно ночью он глубоко тебя чувствует, думает, что ты страдаешь и надрываешься в своем теперешнем, и не верит, чтобы это было. Она сказала: — Все это глупости, а вот на днях я приду к вам советоваться, и не как к матери Александра Александровича, а как к Александре Андреевне... в эту минуту подошла Вера Иванова и Г. И. Чулков. Люба убежала. Была она слегка подкрашена, оживлена и суетлива... Люба придет ко мне советоваться, и я знаю о чем: разъехаться они хотят. Саша уже искал комнату вчера. Я на себя должна взять советовать об этом. И может быть в самом деле это надо — разъехаться.

Помогите мне, как умеете, сделать, что надо, сказать, что надо... Саша был у меня вчера и сказал мне, что «так долго жить нельзя», по ведь Н. Н.** уезжает 4-го марта, и, стало быть, уж немного осталось...

Бекетова. 15 февраля. Петербург

Была на днях у Али вечером. Застала у нее Кину и детей. Последние новости того дня такие: Волохова не любит Сашу, а он готов за ней всюду следовать. Люба совсем полюбила Чулкова и с ним сошлась. Хотели разъезжаться, но почему-то решили этого не делать. С этим и пришли к Але, которая в отчаянном виде сидела с Киной. У нее за обедом было «все другое». Аля в восторге от Любиной «силы» и вообще от нее; та благосклонно принимает обожание: победоносна на манер прошлогоднего. Я не люблю ее такую и даже

* Неустановленное лицо.

** Волохова.



думаю, что не начнись этого всего в прошлом году, Саше было бы лучше. Ну, не знаю. Аля только и боится, как бы они не разъехались, считая, что Люба – Сашин Ангел-Хранитель. Мне кажется, однако, что жить им вместе теперь не имеет смысла, и если она и прежде больше занималась собой, чем им, то что же дальше? Она мечтает об карьере актрисы, декламирует стихи, намереваясь все создать сама и хочет быть трагической актрисой. Я ожидала многого от ее декламации, судя по ее безграничной самоуверенности, а вышел полный дилетантизм. Хорошо сказала она только два стихотворения Вяч. Иванова. Городецкий был плох. Бальмонт тоже, Брюсов тоже. Кина со слезами бросилась перед ней на колени после «Кубка» Брюсова, а Саша стал злиться и говорить ей резкости. Я начала критиковать, и Люба мои слова принимала прекрасно. Саша после чая замолк, омрачился и уселся в стороне. Кина говорила пошлости, и Аля была очень довольна, да и Люба кажется тоже. Он злился и из всех их он один был мне бесконечно близок, хотя я несколько не злилась. Они мешали его строю. Он читал из «Снежной маски». Оказалось, что это перлы, а Аля говорит, что слабо. Вяч. Иванов тоже великолепен, а она его не признает совсем.

Все это меня ошеломило. Саша несчастлив, Люба взяла любовника после всего того, что она говорила летом и осенью. Как она обижала Алю, как возмутилась тем, что я сказала: «Еще неизвестно, так мало прошло времени». Как она презирала измену *одной* любви. И все мы так этому верили. Еще на днях Аля мне говорила: «у нее верное сердце, она всегда будет любить Сашу». Как затрудняют все эти родственники. И вдруг у Любы будет ребенок.

М. Бекетова. 28 февраля. Петербург

Вчера была у Али. Обедала с Киной. Люба уехала на масляницу с Мусей в Боблово. И превесело уезжала. Это еще раз доказывает мне, что никакой любви у нее к Чулкову нет, а есть потребность поклонения и наслаждений. Любовь ее прошла, м. б. еще кого-нибудь будет любить, но не теперь. Говорит, что надо себя найти, себя потеряла. Все они верят в ее силу. Да, она не киснет, не унывает, не жалуется, не тоскует и т. д. Она мажорная. Это без сомнения сила, но это не сила любви, идеи и пр. Это сила здоровья и жизни только. Я думаю так. По-моему, этого мало. Смелость есть тоже, даже дерзость. Все инстинкт, только инстинкт. Саша страшно злой, говорила Аля, как она сама.

З. Гиппиус – Белому. 9 марта 1907. Париж

...Люба ничего мне не пишет, я ей хочу снова написать, да адрес, № дома забыла. Четыре что ли? Напомните. Вы говорите: «Я ее все так же люблю, все так же». А я бы на вашем месте сказала точнее: «любовь у меня в душе все та же, все та же». Еще бы! Это уже иссякновение души, если в ней любовь уменьшается. Но любовь эта вся це-



ликом *ваша*, в вас горит вся, белым огнем. И любите вы прежде всего *ее*, вашу Любовь живую,— а... может быть... не Любовь Блок. *Может быть... может быть*, последняя — не воплощение, и даже не символ, а лишь — аллегория. Ну, я ничего не утверждаю. Я только вижу, ясными глазами моими, все возможности. Я утверждаю вас, и с этого утверждения никогда не сойду. Даже если бы вы сами себя начали отрицать. Я буду упорно, до тупости повторять, что это не так, и никогда вы себя окончательно отрицать не станете. Так, чтоб не найти в последний момент своего истинного, неизменного стержня... А себя найдете,— и опять все *свое*, что дороже себя неизменно вернется...

14 марта 1907. Париж

...Тата мне написала, что Люба уехала в деревню с сестрой, а Блок остался, ложится в 5 утра, а встает в 3 дня, все время в театре...

Тата – Белому. 9 марта 1907. Петербург

...Вы мне близки и *лично*, похожи мы с вами в самой глубине ощущением Тайны. И в любви — Тайны. Вы как бы мой брат родной, приехал издалека, узнала Вас в лицо. К Любе вашу любовь я понимаю, Тайну понимаю... Люба не может в себе убить святое, если бы даже и хотела. Это нельзя убить. И любит она Вас одного, как и Вы ее одну. Может быть, не знает еще, и много еще переживает, чтоб узнать, но это есть уже... Когда вы мне весной о ней рассказывали, помните? я принимала все, как есть. Но может быть, потому вам и тогда казалась как бы резонирующей, спокойной, что думалось — Вы-то еще не знаете, что она «все равно ваша», а в глубине поэтому тишина. И не «ваша» — это неверно, а вы с ней в одном, в Тайне и там узнали, что она еще не знает, сомневается, и ей еще многое нужно понять. И пусть случилось весной так, как случилось, и еще больше будет — это все не к худу... А Люба ведь у себя в имении вдвоем с сестрой. Вы знаете? И сколько времени — неизвестно. Все ее влюбления у Вячеслава Иванова и К° — ничтожны...

18 марта 1907. Петербург

...Люба здесь, давно у меня не была. Вернулась, зовут оба меня к себе. Хочу посмотреть их теперь, какие они оба. У меня была недавно Александра Андреевна, очень ее жалко, она страдает подлинно. Мне не хочется писать разных сплетен, которые ходят о Саше, о Любе. Что-то есть гнусное в передавании с чужих слов, обтрепанной «мольвы». Что сама узнаю от них, что сами мне скажут, то я имею право говорить. Мне кажется, что все что идет, идет не к худу. Я думаю, Люба Вас любит в глубине подлинно, одного Вас, с Тайной, которую и я в ней знаю. Она только еще сама боится смещения, и она права, это хорошо, что боится. Она себя разделяет, думает, что свет не в яркости, в дерзости и благоухании. Ей только увидеть Вас, какой вы есть, в «сущности своей», впрочем, даже и не увидеть, а утвердиться в том,



что видит, и себя собрать и ценить всю, а не надевать гнусной маски. Вся ее полнота — в вас, Боря. Я так чую.

Она мне как-то говорила: «мне теперь ничего, пусть приезжает!» (о вас). Легко и не так как должно, с надрывом. Она своей к вам любви боится, думает, что вы ее всю увлекаете туда, где должна быть одна чистота. Пусть поймет, это она поймет.

Вы знаете свою правду и, по-моему, вам ничего не надо бояться, вы собой владеете. И, Боря, главное, вы знайте, что ведь вы-то все равно для нее единственный, ей «никуда не уйти» от Вас. Пусть сама придет. А я бы стала как скала на вашем месте. Упорная, властная и спокойная. Вы это можете, потому что знаете, в чем правда.

И не сейчас, так потом, а может быть и сию минуту она поймет. Все равно не уйти. Если даже она и «влюблена» сейчас в кого-нибудь, как она думает, все это минет. Так «Ваше» сильно, что и тут властностью и спокойствием победит. Но как осуществить реально? Как поступить, как шагнуть? Как пробиться сквозь загородку, поставленную нарочно. Может быть, подождать. И это ничего.

Нужно, чтоб вы встретились опять внутренне. Люба Сашу любит, но ей мало его. Если она еще влюблена — и это часть, не вся она. Она сама стоскуется, увидите. Когда я ей передала Зинины слова, что «Сашинной любви ей мало, и я говорю, что и я так думаю», она как-то засмеялась, полуиспугалась и говорит, что «иногда и ей это кажется, но не надо думать». Она уверена, что Любовь к Саше праведная, а другие требования — грешные, пошлость ее, и в пошлость выходит какой-же...

Я ничего вам не говорю, Боря милый, чтоб приезжать вам, я еще увижу...

Бекетова. 27 марта 1907. Петербург

А Люба опять завела с Чулковым — не знаю уж, как и назвать. Ан. Белый в Москве. Пожалуй сюда еще явится.

Тата. 28 марта 1907. Петербург

...Боря, Боря. Вы пишете: «вы чуете, что она полюбит меня (или любит)... Разве я-то могу ее любить?» Я чую, что она поймет, что она любит. И Вам надо, чтоб она поняла, что любовь эта есть Тайна и вы и она уже предрешение «одно» — все равно, рвитесь вы, проклинайте, уходите, влюбляйтесь — вы одно и связаны раз навсегда кем-то, Любящим Вас, для Вас же, для Творчества мирового...

Люба над Тайной не смеет ругаться, в ней есть то подлинное, что не может пропасть. А я видела и верю. Я даже думаю, что надо иметь такую веру бездонную, чтоб она утишила все внешнее — и чтоб внешность Любы не смогли отвлечь, ни Саша, который в сущности своей хороший и не должен и он иметь боли незаслуженной.

А Люба на ваши руки легла, вы за нее ответственны. (Если только подлинно узнана вами Тайна.) Может быть, нет — ну тогда дело



другое. Я бы, Боря, родной мой, на Вашем месте к Любе отнеслась бы так, веря ей снова. И только, если бы поверила, что в ней, несмотря ни на что, «то» есть и будет всегда, только когда была бы готова так ее встретить, помимо внешнего — с ней вечной, помимо временного, наносного, только тогда бы смогла с ней видеться. Пусть она узнает о своем не вечном к вам отношении, пусть и она Вас узнает, но ей не нужно засорять глаз на свою суть, на свою вечность.

Нужно тишину, веру и радостную властность, только тогда можно ей показаться. Она себя обманывает, ей надо это показать.

Ведь Люба-то одна, вечная, живая, ясная и мудрая. Вы это знаете, Боря. «Это» исчезнуть ведь не может никуда. Зачем Вам встречаться не с ней, а с ее перчаткой. Если видеть, то ее. Если больно очень — лучше совсем не надо; пока. Потому что вечная придет, найдется. И как-то так должно быть, что Саше тоже будет не боль, а радость, потому что Правда боли не делает — в глубине своей. Пока — да; пока не видят этой правды, до тех пор боль. Вот и надо, чтоб Правда была ясна. И радостна...

Бекетова. 6 апреля 1907. Петербург

Толковать о том, настоящая или не настоящая Люба и Наталья Николаевна и пр. совершенно праздное занятие. Все это сущая чепуха, конечно. Вечной любви и вечной страсти, как у Тристана и Изольды и пр. больше нет. Саша и Люба вообще не Тристан и Изольда. Для того нужна была первобытность обстановки и чувства и, кроме того, — препятствия. Они новые, потому что все себе разрешили, а судьба помогла им тем, что у них нет детей, которые бы усложнили вопрос. Люба существо бесконечно жизненное и вполне эгоистическое, жаждущее прежде всего поклонения и наслаждений; он — поэт с исключительно страстным темпераментом и громадным воображением. Ну, любил друг друга несколько лет до своего брака и 3 года в браке, ну была сказка и юность, первые ее цветы. Теперь наступило иное. Ему нужна «смена эмоций», да, не более, и поэтому он полюбил именно Нат. Ник., которая до того противоположна Любе. Люба, немедленно, ему изменив и бросившись в объятия первого встречного мужчины, все еще не может перестать сердиться на разлучницу и времени от времени «себя ищет» и желает быть добродетельной, ждет, что та «провалится», а он к ней вернется. Едва ли это так будет. Разлюбит он и ту, конечно, а потом полюбит другую и к Любе временно вернется, но это будет не то, совсем не то, о чем она мечтает в своем наивном самообожании.

Тата. 1 мая 1907. Петербург

... Боря, я вам расскажу о Любе. Я ее люблю, мы с ней говорили не через слова даже, а глубиной; она знает глубокое; ей самой надо тихости, глубины и серьезности. Ей, ее душе.



Вот, расскажу. Она берет уроки у Мусиной, актрисы. Взяла 10 уроков. Летом будет заниматься. Летом она будет в Шахматове, одна без Саши. Саша останется в Петербурге. У них идет жизнь расколота. По-моему, она Сашу любит, конечно, но не может вся в нем поместиться. На Пасху Блок уезжал неизвестно куда. Он всю зиму влюблен в актрису. Она уехала. Он пьет. Вот факты. Александра Андреевна тоже будет в Шахматове. Я заходила во вторник на Страстной к ним. Их не было дома. И потом ни слуху ни духу. Я пишу Любе письмо, отчего она ко мне не зайдет? Написала ей с внутренним хорошим отношением. Я не пишу на-прасных слов и подписалась *Любящая Т. Гиппиус* — потому что правда почувствовала, что я знаю ее сущность с вашей в одном сращенную и что в этом ее люблю. И вот вчера они с Сашей вечером, в 11 часов ко мне приехали. Я Любе сказала, что Вы мне писали о своем здоровье. Она спросила, какой вы теперь, — я сказала, что тихий, строгий и упорно решительный (вы мне написали, что хотите *жить*). Она попросила показать ваш почерк. Я ей дала все ваши конверты — и заграничные, и теперешний. Она сказала, что за границей был почерк больнее, теперь все лучше почерк, лучше, хотя усталый. Была серьезная и простая. Блок стал темнее лицом, шире как-то и беспокойнее. Люба похудела. Как она знает вас по почерку! Мы сидели за чаем.

Потом Люба говорила, что Блок в ресторане каждый день почти — Блок что-то о «Вене» (ресторан) заговорил. И вот вдруг решили (30-е апреля было) поехать в ресторан «Вена», на Морскую. Я, Ната, Антон Владимирович * и Блоки. Задумано — сделано. Поехали. Там сели у стены за столик и стали пить шабли, есть сыр. Пили кофе, ликеры. Вот что в сущности было. Я говорила им: «не просто мы тут — дальнейшее отсюда родится». Не то намеками, не то знаками, не то глазами — я с Любой говорила. Она Вас вспомнила, как вы курите, Боря. Часто, часто и все облака кругом. Я вижу случайно — (уж мы об другом) — она курит — часто, часто. Говорю — Люба, вы в честь Бори? «Да, да, вы угадали». Потом Она сказала (отрывки передаю) «что было, то быльем поросло». Я говорила — «что было то и есть. Былье (былинки, трава) не переродят того «было», которое под быльем». Карташов стал доказывать — (не зная сам, о чем), что надо разворотить всю землю, чтоб воскрес мертвец, мало того, что крест зашатается. А Люба доказывала — что мертвецу достаточно щелочки, одной только маленькой, чтоб все разрушить, что крест раскачает землю — и довольно. Потом стала, спохватившись, смеясь, говорить другое, что она это так, что Антон Владимирович ее убедил. Тут и я ее словила: говорю, вот Люба — вы сами говорите. Много себя взвинчивает. «Надо всякую чашу пить до дна». Много еще детского.

* Карташев Антон Владимирович - русский православный историк, богослов и библиист.



Потом говорили, кто сколько бездн знает. Я говорила, что она знает две, но не знает, что две *должны* быть одной и *есть* уже — только увидеть. Она одну забыть старается ради другой — во имя единства. Это оттого, что она уже не может быть в одной, как одной, и в двух, как в двух. Что Блок — одну как одну знает. А я, Карташов и Ната — две как одну знаем. Люба этого не знает, но бессознательно хочет. Потом я говорила ей, что я кого увижу, то уж о том знаю. Раз я ее увидела, то уж это быльем не порастет. И оттого я так и подписалась под письмом. Она серьезно приняла. Она мечется и себе не верит. Она ищет, на кого, бы положиться, чтоб не выдал, и чтоб не ради себя, только, но и ради нее. Властно и просто. Я так думаю...

2 мая 1907. Петербург

...Не думайте, что им тут хорошо. У Любы нет радости, нет, Боря, это опыт, очень тяжелый опыт. И ей надо было это все. И Саша не в радости. Им двоим плохо здесь. Я с Любой хочу говорить, обо всем. Захочет ли она. Мне кажется она одинокая. Он, действительно, безумец, Саша, он сам не понимал, не мог, может быть понять настоящего. Оттого делал то, что ему было доступно, его пониманию. Я думаю, молчанием он давал Любе свободу без участия, добыв это силою воли, *никак* не относясь к этому всему. А Ваша и Любина любовь к нему сказывалась в том, что вам надо было быть и с ним, с его любовью. Он не понял или не знал, что его отношение вас разрушает, а ваше к нему ничего не рушит и любви не отнимает от него — только скрепляет. Он не понял, как он любит и как Вы. *Как Люба его любит и как Вас.* Если бы понял — не стал бы молчать и разрушать — а стал бы ревностно идти к вам. Все равно он Любу беднит, потому что так, как вас, — Люба его не может любить. С Ним — к вам ей нет пути, а с вами — к нему есть у нее.

Как я все это понимаю — я не знаю. Через вас и через нее. Когда я смотрю в нее — вижу вас, Боря, — в вас — вижу ее. И чем дальше — тем беспощаднее, бесповоротнее.

Вы сказали: я хочу *жить*, чтоб узнать, *кто* Люба. Люба одна, все та же и одинокая...

Я хочу, чтоб выяснилось все. Я хочу вам помочь. Я хочу, чтоб Люба перестала себя обманывать. А Вы только будьте сильным. Не ломайте себя, держитесь, дорогой. Будем верить в свет.

Надо быть здоровым, надо жить. Уныния у вас нет, но есть готовность не жить. Этого не надо. Надо быть здоровым. Надо и Любе хотеть хорошего, потому что она и вы одно. И Саша — потому что он будет с вами.

7–8 мая 1907. Петербург

...Я была у Александры Андреевны. Мы с ней долго говорили о вас, о Любе и Саше. Я увидела, что нашло марево на всех. Лики



искажились у любящих друг друга и пугали одни других этим искажением. Ей казалось (я ведь мало знаю, Боря, но так, как она говорила), что вам не нужна она, и все: она и Саша, и Люба искажились в вас так предательски, что и в вас она стала сомневаться. Что произошло — наваждение, положительно. Она говорит, что любит Вас как второго сына своего, но в вашей любви и верности не уверена, сомневается. Хочет страшно, чтоб выяснилось все. Люба стала лучше, глубже, тише и к ней более доверчивой и любящей. Сашу любит. (Да ведь и вы, Боря, тоже его любите.) Александра Андреевна говорит, что Саша молчал и уходил тогда, *сам по себе* и для себя отстраняясь. Я говорила, что это не надо было, что любящих его — и Любу и Борю — это не могло не возбуждать, огорчать, оскорблять, и они поступали не так, как бы нужно. Саше нужно было «отнестись», считаясь с фактом «серьезным» — вот это бы не оскорбило, как бы не было выражено — отрицанием ли, принятием. А то это хуже проклятия. Долго говорили. Она стала радостной и поверила в вас, как вы в Любу — что будет — не знаю. Боря дорогой, Люба уезжает в Шахматово, хотела сегодня. Я ей послала письмо коротенькое ваше, где вы о себе пишете, о здоровье и усталости. Я хочу, чтобы и она вас увидела не искаженным (велосипедный костюм на вашей карточке). Она хорошая, я ее не видала после, как послала, но знаю, что отнеслась серьезно... Саша говорит, что один вы так его критикуете, как ему нужно. Что один вы его понимаете, как нужно. А в этом любовь. И не в словах чувствуя, а в самом признании.

Нет, Боря, вы не один. Я вас не предаю... Ни Люба, ни Александра Андреевна, ни Саша вас не предадут, если и вы им будете верить во что бы то ни стало...

13-15 мая 1907. Петербург

... Вы правы, одному не снести. Вы совсем правы. Вы один, израненный так, измученный и искаженный в ложь — не можете идти только с «примирением», идти от себя, один. Никогда этого и не захочу для Вас. А вот — и они должны свое марево, свой «грех» победить. Должна быть вера обоюдная... Люба уехала в Шахматово. И перед отъездом прислала мне письмо... Пишет, так мне показалось, — просто и как-то тихо. Пишет — все думала и до сих пор ничего не додумала. Она теперь сама себя еще ищет. Надо дать ей тишину. Этот год столько ей дал опыта и столько отнял сил, что нужно себя найти. Сейчас она и для себя, и для вас ничего не может. Ей бы сейчас нужно было может быть такого же теплого ласкового слова, как Вам. Она еще себя не знает и где правда, где нет ее, не знает. И она запуталась, и ей трудно, и ей нужно тихо отдохнуть. Если бы она себя нашла, — не остановилась бы для правды. Я ей верю, Боря, а вы не мне верьте, *не моим словам* — а тому, о чем говорю. Может быть, если бы и вы, и они поверили друг другу — все было бы другое. И они, и Люба...



Мы говорили с Александрой Андреевной о Саше, Любе и Вас. Саша, я говорила, одиночка: сам на себе держится и отсюда творчество его — и затем лучи от себя и в себя, для наполнения своей личности. Но не для *жизни*. Вы Боря — без любви половина, не жизнь — ожидание жизни. Не творчество — ожидание творчества. А Люба кто? Безусловно, тоже тип «брачный» — *двойной* (или половинчатый), потому что вы ею пополняетесь, она в вас *вся*. У Саши может быть много любвей, влюбленностей — а любовь — к себе, праведная, потому что полная, единая и вечная. Может быть, менее полная, чем у брачного человека. А вы и Люба — одно. Ни она одна неполна — ни вы один. Я думаю, пока надо ждать и силы копить. Да, Боря, я знаю, как трудно не смиряться и — опасно, страшно. Но не надо так взлетать, чтоб падать: нужно ждать взлета, готовиться и упорно все ползти, ползти вперед. Вставать и взлетать, и опять ползти. Люба тихая теперь...

Сейчас был Евгений Иванов. Он сказал, что Люба уезжала в Шахматово и опять здесь почему-то, живет в казармах, потому что квартиру свою они оставили и Саша переселился пока к Александре Андреевне. Уедет, может быть, через неделю. Александра Андреевна действительно чуткая, и у нее есть хорошая аристократичность, благородство, только она слабая. Видит грех хулиганства иной раз в Саше и Любе. И тем ценнее, когда она о них говорит хорошо; она о Любе говорила, что у нее есть стремление работать, стремление к делу. В артистических стремлениях у Любы есть честолюбие, желание славы и т. д. Но теперь и это желание серьезнее и глубже, желание делать. Да, много надрыва. Много нужно простоты и здоровья еще, чтоб яркость опять встала, здоровая и просветленная, тонкая...

3. Гипсиус – Белому. 16 мая 1907. Париж

...Боря, очень бы я хотела теперь быть в Петербурге, всегда, часто, видеться с вами, говорить с вами, — и с Любой, конечно.

Я верю, вам, Боричка, т. е. верю, что у вас есть неприступная святая ваша правда, которую вы даже Любви не предадите. Но ведь эта-то часть и дает нам самые большие страдания. Иногда и туман покрывает наши ясные взоры. Мой совет, сердечный, умственный, практический, жизненный и душевный, — вы знаете, вы сам признали его верным, согласились с ним в минуту крепости и ясности. И я не изменю этому пониманию, и не устану вам повторять то, во что верю, как в вас. Помните и вы это, Боря: правда вашей любви *не осуществится*, если вы будете *жить при Блоках*, примиритесь с таким положением, как возможным и терпимым, как некоей «формой» для любви.

Я вам тут прямо *предрекаю*, и рано или поздно реальность вам подтвердит, что я это знаю и *знала*. Вам нужно, для вашей любви,



как для царицы, создать новую, царскую среду, а не приспособлять любовь к уже существующей петербургской среде, в которой живут Блоки. Ведь, все равно, не приспособите ее... если, конечно, она у вас царская. Главное — вы *можете*: это сделать, все остальное ниже вас и ваших сил. Если бы вы умерли, стараясь, приспособить любовь к среде,— и то было бы недостойно вас, именно потому, что вы, ваше назначение тут — или взять царскую любовь, или жить самому в царской среде, ожидая чуда — до последнего мгновения жизни. Понимаете ли, о чем я говорю? Царства — никто не может продать, ни за какую цену. Ни предать его. А если бы ваша жизнь теперь потекла *при* Блоках, при Любе, если бы вы оставили мысль «завоевать» ее, вырвать оттуда и увезти вон,— это бы значило предать свое царство любви... «Завоюйте» Любу тихой твердостью, без лжи и приспособления, возьмите ее оттуда и приезжайте к нам, в Париж. Что будет дальше — будет видно, это не конец борьбы, но это первый, необходимый шаг к чуду в атмосфере царской любви. Если Люба настоящая — вы это сможете сделать, она и сама делает. А нет — ее любовь служанка, и *вашей* царице нельзя быть в рабстве у рабыни...



Глава XVII. «Милостивый Государь!..»

Белый – Д.С. Мережковскому.

Середина ноября 1906. Мюнхен

...У меня были нервные дни. Я не хотел, чтобы нервы или истерика проскользнули у меня в ответе Вам, потому что нервы всегда создают ту поверхностную рябь, которая мешает глубине сказать-ся. А я все эти годы до такой степени тонул в нервах, что все, к чему ни касался я своей нервностью, двоилось для меня и в то же время двоило меня в глазах тех, к кому я хотел обратиться.

Вы пишете, что я не сообщил Вам о реальной *жизетейской* причине моей боли. Но моя боль создавалась не только под влиянием *жизетейских, отношений*. Она — вывод из всех моих прегрешений частью вольных, частью невольных. Она создала ту *сложность* и *кошмарность*, в которой я беспомощно барахтался последние годы. Я Вам сообщу.

Я никогда в жизни не испытывал глубокой, сильной любви. Но *Любовь* глубокая и сильная бывает только один раз в жизни. И вот с *такой любовью* мне пришлось иметь дело тогда, когда в умственном и теоретическом отношении я был уже подготовлен ко всему тонкому, сложному, а в житейском отношении был совершенно беспомощен. *Любовь* застала меня врасплох. Сначала она создавала атмосферу несказанную, какой-то ореол, в котором тонули все люди, замешанные в том положении, которое создавалось моей любовью; потом она обозначила тернистый, трагический путь, из которого не предвиделось выхода без катастрофы. Я был виновен, что с самого начала не убежал за тридевять земель от всего того, что создавало атмосферу *Любви*. Но я не знал, что мое чувство, развиваясь и укрепляясь, неминуемо приведет к трагедии. Мне хотелось всегда претворить мое чувство в какое-то коллективное действие, озарить им все и самому быть озаренным. И мне не противились люди, которые должны бы были предупредить все дальнейшее. Я не знаю, любит ли меня то лицо, к которому я испытывал такое сильное чувство. Быть может *да*, быть может *нет*. Но в его поведении столько жестокого, отравляющего, что в течение двух с половиною лет я совершенно изнемог от всего. Со мной играли, как играет кошка с мышью: когда я пытался бежать, меня прихлопывали лапой, когда, наоборот, я шел навстречу, от меня отвертывались. Как нарочно, это лицо уже два раза в жизни почти спасло меня от различных недоумений и ужасов, но чтоб потом с большей жестокостью погубить. Из меня вырвали все устои, разбили все мои взгляды на жизнь; от меня потребовали, чтобы я всего себя принес в жертву, и когда с болью и мукой я все это делал, от



меня отвергивались. И все это совершалось с видом невинного «ангельства», «простоты» и кротости. Так тянулось два с половиной года. За эти два года это же существо нанесло чуть ли не смертельную рану моему другу и брату Сереже. Оно чуть не разбило наши отношения. Я не мог поверить, чтобы та, в ком я видел столько «несказанного света», оказалась кровожадной и хищной пантерой, питающей свою психику противоестественной жестокостью.

Такое адское состояние не могло долго тянуться. Последние месяцы, когда меня обманули и предали особенно нагло, я совершенно сошел с ума. Передо мной реально прошли все виды зла. Я неделями проводил все время, реально обсуждая каждую деталь убийства. Я стал убийцей в душе. Я чувствовал, что после всего того, во что оказались вовлеченными целый рад лиц, только сильный и большой поступок может быть заключительным. Я требовал дуэли. Мне отказывали. Я хотел самопожертвования, с чьей бы стороны оно ни было. С моей или с другой. Мои порывы срывались. Меня, готового на все, обращали в шута. Тогда я пришел к убийству и чуть было его не совершил: с меня взяли клятву, что больше я не обращусь к убийству. Наконец, я уже стоял на перилах Невы темной сентябрьской ночью в Петербурге, и только случай заставил меня повременить с самоубийством: но последние минуты самоубийцы я пережил и понял реально, *какая это мерзость и гадость*. Израненный, больно, надорванный — вот какой я был последние годы, и удивительно ли, что я возроптал на Бога, на *правду*, на *свет*. Мне казалось, что все это только диавольская насмешка и ложь. И в этой лжи я не хотел быть.

Теперь я чувствую, как на меня нисходит сон, и я только прошу судьбу, чтобы сон этот был оздоравливающий. Вот тут, в Мюнхене, я тихо понижаю над прошлым, и у меня рождается надежда, что я выйду из борьбы с Богом и самим собой усмирленным и просветленным. Но я боюсь еще надеяться...

Бекетова. В конце января 1907 года скончался Дм. Ив. Менделеев. Его грандиозные похороны с несметной толпой народа и учащейся молодежи, несшей впереди процессии таблицу периодической системы элементов, были событием сезона.

Дм. Ив. оставил детям некоторое наследство, разделенное поровну между двумя его сыновьями и тремя дочерьми (одна из них от первого брака).

Блоки нуждались в то время, и деньги явились очень кстати. С их помощью удалось впоследствии съездить за границу.

Весной квартиру на Лахтинской сдали, а вещи поставили в склад. Л. Д. уехала в Шахматово, Ал. Ал. поселился на время у матери, в гренадерском полку... В Шахматове Люб. Дм. готовилась к сцене — изучала роли, занималась пластикой и декламацией...

Белый. К тому времени начинаются мои первые публичные лекции, которые имели успех, пока еще не затравили газеты и не был объявлен бойкот (эти прелести «прессе» еще предстояли); те лекции вызвали ряд новых встреч: с интеллигентною молодежью, с рабочими, с революционерами; жизнь начинала уже принимать этот вид утомительной суеты, от которой впоследствии так я страдал: жизнь среди телефонных звонков, посетителей, приглашений туда и сюда, теоретических «*принципиальных*» бесед; но под всей этой умственно интересной возней ощущалась тоска; сердце все еще не могло помириться с едва пережитою *драмой сознания*: с разuverением в Блоке и в прежних путях. Мы частенько встречались с С. М. Соловьевым, едва оправляющимся от тяжелого ревматизма, который схватил он в одну из поездок своих (зимних) в Дедово. По приезде в Москву я застал пригвожденным к одру его; он меня встретил с уютным, немного трагическим юмором:

— Да, вот, — дошли мы: тебя там в Париже изрезали*; ты обливался там кровью, а я вот свалился без ног.

Да, дошли мы до точки...

И нам обоим казалось, что годы предшествующие, вызывавшие в нас род какой-то горячки исканья путей, нас столкнувшие с революцией и поставившие перед лицом необходимости совершения какого-то *акта* — окончились *кризисом*, выпавшим в форме болезни; свалился в Париже я; в скором времени свалился С. М. Соловьев, здесь, в России; к тому же: сгорел его дедовский домик, где сиживал и В. С. Соловьев еще: домик, где столько пережили мы вместе! Задумывались над судьбою своею: но мало мы вспоминали пережитое когда-то у Блоков; А. А. для С. М. Соловьева теперь был общественной литературною силой, враждебной С. М.; беспощадную критику наводил он на Блока, стихотвореньям которого противополагал он стихотворения Вячеслава Иванова.

О Петербурге болталось так много; ходили какие-то сплетни о том, что там — «*Бог знает что*», и что «*средь*» Иванова — невероятнейший кавардак; я, конечно, не верил ни слухам, ни сплетням, стараясь не слушать о том, что болтают кругом; но я чувствовал: что-то ужаснейше надломилось в кругу, где когда-то встречались с А. А. мы; в чем суть — я не знал (да и знать не хотел); знал одно я: Л. Д. потеряла отца (старика Менделеева), изменилась совсем (говорили, — ее не узнать), поступила на сцену (и факта того я Бог весть почему все не мог ей простить: мне казалось, что факт поступления на сцену — предательство: выдача тайны «*мистерии*»); говорилось еще, что А. А. увлекается сценою (постановкою «*Балаганчика*»), что он весь погружен в интересы театра Комиссаржевской. Опять-таки: в «*сцене*» я видел для жизни А. А. и Л. Д. лишь кулисы; и самое тягостное к подмосткам рассматривал как болезненное извращение чистоты теургических устремлений недавнего прошлого; про А. А.

* Белый перенес операцию в Париже.



поговоривали, что и он весь — изменился, что стал попивать, что бросается в угар жизни, иль — мрачно молчит, удаляясь от всех; говорили: как будто бы он увлекается кем-то.

Но все, что случайно ко мне долетало из жизни А. А., воспринималось мной, как «надрыв», как жест боли и кощунства, как попрание святых, под которыми встречались все мы недавно еще для совместного «действия»; и вот это «действие», связавшее нас четверых, обернулось в А. А. и Л. Д. «балаганным паясничеством», отчего мы с С. М. Соловьевым свалились (в Москве и в Париже): болезнь — лишь итог, выпадающий в тело: итог *действий* Духа...

Нам ясно казалось, что «миф» нашей жизни, «миф» вещей, сперва не случайно нас свел с ним (и В. С. Соловьев, и М. С. Соловьев тут стояли «мифически» между нами), потом этот «миф» свел нас с Блоком для какой-то большой, малым разумом не осознанной цели, и мы, выражаясь словами А. А., «теремигивались», как заговорщики огромного дела; для этого «дела» мы выбрали «Блоков», как старших; и что же случилось: огромное дело — комедия; «инспиратриса», которую мы так чтили, — комедиантка; теург — написал «балаганчик», а мы — осмеяны: «мистики» балаганчика!..

Блок – Любе. 13 мая 1907. Петербург

... У меня душа какая-то омытая, как я сам сейчас в ванне. Чувствую себя как-то важно и бодро. Ты важна мне и необходима необычайно; точно так же Н. Н.* — конечно — совершенно по-другому. В вас обеих — роковое для меня. Если тебе это больно — ничего, так надо. Свою руководимость и незапятнанность, несмотря ни на что, я знаю, знаю свою ответственность и веселый долг. Хорошо, что вы обе так относитесь друг к другу теперь, как относитесь. Мне бы хотелось, чтобы все это ты, когда думаешь обо мне, неотступно знала. Напиши мне, что ты думаешь об этом теперь и не преуменьшай этого ни для себя, ни для меня. Помни, что ты для меня необходима, я твердо это знаю.

Мне кажется, это время одиночества (до приезда в Шахматово) будет мне очень важно. Я много пойму, постараюсь видеть меньше народу, работать и думать. Время предстоит очень важное.

Целую твои маленькие ручки и щечки, глажу твои светлые волосы, милый мой друг. Напиши о нашем саде...

21 мая 1907. Петербург

...Ты для меня очень светлая, и без тебя мне темнее. Свободнее, может быть, думать, потому что вообще одному свободнее думать. Но темнее мысли и иногда страшно, как не бывает при тебе... А вообще я все один и думаю очень много, так что устаю. Гуляю, пью вино иногда. На Финляндской дороге хорошо, только все не могу дойти до цветов — в долину, был на Шуваловском озере. Все-таки пусто

* Волохова.



и холодно одному, хотя хорошо и свободно. Какая-то длинная вязь мыслей, сильных, в каком-то зареве, иногда слишком зловещем. А о тебе я все время знаю ясно, что ты светлая мне и сильная, и не-померно близкая. И немножко мне как-то не по себе и тревожно, что ты одна и не со мной. — Ничего, что ты, маленькая Люба, лентяй и глупый — у тебя щечки потолстеют и порозовеют. Ты самый, самый настоящий маленький заяц Бу...

Люба – Блоку. 24 мая 1907. Шахматово

...Я эти дни провела разнообразнее; вот сегодня посадка, а вчера я надела свои новые сандалии на босые ноги, почувствовала себя страшно весело, пошла гулять через угольные ямы, на Прасоловскую поляну и Малиновую гору. На болотце там я увидела великолепные белые цветы; ты, может быть, их знаешь? Все болото покрывают, похожи на гиацинты, но внутри пушистые... Сегодня был первый дождь после хорошей погоды, полил наши посадки. Вышли на дорожку веселые лягушки, а вчера вечером около малинника шевелился наш зверь, только не показывался. И еще вчера вдруг запела в кустах на дворе зарянка — та же, так же, как в прошлом году и прежде. Когда я вышла из дома вечером после чая и вдруг опять ее услышала, — даже пошатнулась (в самом деле); вечер тихий, она поет, как сумасшедшая, за полем, за елками — светлое нежное небо. Стояла на балконе, и так близко, так живы были наши поцелуи в такие вечера, а потом, когда мы затихали в нашей комнате, зарянка продолжала, продолжала свою милую, одну и ту же без конца песню, так громко, под окном. У меня дыханье захватило, когда все это ожило, и если ты не помнишь, не любишь это теперь, вспомнишь и полюбишь потом, непременно....

Бекетова. 11 июня 1907. Шахматово

Приехал вчера неожиданно Саша. Большая была радость в первую минуту.

Люба счастлива приездом Саши, но до какой степени все другое теперь. Подурнела она бедненькая, загорела, носит некрасивую прическу, стала похожа на Мусю. Я сочувствую ее сценическому упражнению, но что-то не верю ее будущему успеху. Но где ее самоуверенность и победоносность? Где сияние красоты и властные чары? Ничего нет. Он же ушел вперед страшно далеко за эту зиму. Он, действительно, известный поэт, им дорожат, все его знают. Он, конечно, говорит и думает только о своем, но кто же этого не делает?

Люба – Блоку. 29 июня 1907. Шахматово

...Вот тебе, во-первых, письмо, которое я получила с прошлой почтой от Бори. Я отвечаю ему с этой почтой очень большим письмом, в два моих голубых листка, на его вопрос «за что гоните?» Кажется, хорошо, но во всяком случае честно, без чертовщины. Пищу



о его лжи, виляньях, притворствах, называю это «шулерством», имея хорошие карты в руках... говорю, что теперь никакие уверения с его стороны об исправлении не уверят меня, а я сама ему скажу, когда он освободится от лжи, первая, потому что прошла и его ложь и освобождение от нее. Говорю, что меня спасла любовь, а он свою любовь обратил в орудие лжи же, и ему остается только гимнастика и обливание холодной водой в переносном смысле. Под конец несколько слов схематичных, о моей теперешней жизни, как знак доверия к нему; что я теперь иду прямо на соблазны, и это лучшее средство, чтобы они распались... что жизнь легкая и веселая от волны событий; об актерстве моем; что от того, что было, не отрекаюсь, не боюсь этого, но благодарю Бога за спасение. Вот и все...

Блок – Любе. 2 июля 1907. Петербург

...Я получил твое письмо с Бориным, и стало немножко неприятно, что опять начинается все это. Можно ли быть таким беспомощным человеком, как он! Посмотрим, что он тебе напишет. Письмо я выброшу, а Боря, в сущности, люблю, или только жалею — уж не знаю...

Люба. 9 июля 1907. Шахматово

...Ты был совершенно прав относительно письма этого «Бори». Получила от него многолистное повествование о его доблести и нашей низости в прошлогоднем подлом тоне. Отвратительно! Сожгла сейчас же и пепел выбросила. Не хочу повторять его слова письменно, если тебе интересно будет, лучше расскажу. Одно утешительно, что как будто не собирается больше писать и ничего не просит, только отругивается. Я, во всяком случае, буду впредь отсылать его письма нераспечатанными. — Господи, как хорошо, что ты приедешь... Какой ты надежный, неизменно прямой, самый достоверный из всех, а мне — спаситель, я даже думала просто — Христос, все лучшее, что я знаю или узнаю — в твоём духе, окрашено тобой. А «Боря» мне теперь и не представляется иначе, как антихрист, противоположный тебе и главный мой соблазн; теперь он побежден тобой и мое дело — знать и не поддаваться соблазну, и он мне совершенно не соблазнительен сейчас, но ведь и ты и я знаем меру моей глупости, когда она вдруг налетит!.. А больше всего я хотела бы, и все об этом думаю — жить только тобой; но как? Как тебя не мучить этим и не мешать, а если не мешать, то не закиснуть? Хочется мне и сцену сделать только «занятием», не отдаваться ей и всему, что она порождает, — во мне это будет очень плохое. А к сцене возвращаюсь постоянно потому, что, ты знаешь, она единственное дело, для меня сносное, а без дела нельзя...

Блок – Белому. 6 августа 1907. Шахматово

...За последние месяцы я очень много думал о Тебе, очень внимательно читал все, что Ты пишешь, и слышал о Тебе от самых раз-



нообразных людей самые разнообразные вещи. По-видимому, и Ты был в том же положении относительно меня; ввиду наших прежних отношений и того, что мы оба служим одному делу русской литературы, я считаю то положение, которое установилось теперь, совершенно ненормальным. Не только чувствую душевную потребность, но и считаю своим долгом написать Тебе это письмо.

...Я буду говорить *только о себе и только за себя*, ибо в последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — *оставаться самим собой*. Между тем, собрав отзывы обо мне из Твоих статей и заметок... я увидал, что Ты: 1) противоречишь себе на каждом шагу, а именно: называя меня одним из «корифеев русской литературы» (название, конечно, злое и ироническое) и намекая на мою «скромность и честность» (?), находишь в моих стихах «идиотское» (вяжется ли это с «корифейством»?); говоришь, что я «неустанно кошунствую» и что я хвалю Чулкова за то, что он меня похвалил...

2) Исходя из понятия ненавистного Тебе «мистического реализма», Ты наклеиваешь на меня этот ярлык, с *которым я ничего общего не имел и не имею*, и с этой точки зрения критикуешь меня, уверяя, что я «описываю крендель булочной так, что волосы становятся дыбом» (?) и что я хуже Чехова (утверждение справедливое, но странное).

Имею ответить на все это следующее:

1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться.

2) с «мистическим реализмом», «мистическим анархизмом» и «сборным индивидуализмом» *никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего*. Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт, если бы все Вы его не раздували так отчаянно.

3) Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе особенно Зинаида Гиппиус... по поводу меня и Чулкова), — *не признаю*. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя.

4) Не считаю допустимым намеков на личные отношения в литературной полемике...

6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь, и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу.

7) Думаю, что все *до сих пор* написанные мной произведения, которые я считаю удачными (а таковых немного) — *символические и романтические* произведения.

8) Считаю, что стою на твердом пути и что все написанное мной служит органическим продолжением первого — «Стихов о Прекрасной Даме». Ввиду этого, не понимаю Твоего отношения к моей



литературной деятельности, поскольку ты считаешь мои новые произведения не связанными с прежними.

9) Упрек в *кощунстве* принимаю только *ограничительно*, считая, что все мы повинны в нем, и я не больше остальных. Никакого «оргиазма» не понимаю и желаю трезвого и простого отношения к действительности...

Считаю, что, по отношению к людям, я *минимум* имею право требовать от них честного и прямого к себе отношения — и *обязанность* — учиться у них тому, чего во мне недостает. *Максимум*’ов, т. е. любви, комплиментов и проч. (что часто связано с незаметным насаживанием на плечи) я не только не требую, но часто избегаю, ибо считаю себя *достаточно сильным, чтобы быть одним*.

Прошу Тебя ответить мне на это письмо. На Твои вопросы я готов отвечать. Что касается журнальной полемики, то я считаю своим *неприятным* долгом (потому что полемика, по-моему, слишком мелочна и ставит в тупик читающую публику) кратко высказаться в *postscriptum*’е одной из моих критических статей в «Золотом Руне».

В заключение прошу Тебя, хотя бы кратко, *указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения*. Этого пункта я не улавливаю, ибо, повторяю еще раз, к новейшим куцым теориям отношусь так же, как Ты...

Белый. 5 или 6 августа 1907. Москва

Милостивый Государь Александр Александрович.

Спешу Вас известить об одной приятной для нас обеих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение серьезно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня, и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «*Прошение*», *pardon*, статья о реалистах появилась в «Руне», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, *я с Вами поздороваюсь*. Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее...

Блок. 8 августа 1907. Шахматово

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клеветца на меня, заявляете, что все время



«следили за мной издали», — и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете» и никто, кроме Вас, не умеет страдать, — все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам *десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо*, для того чтобы Вы — или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, — или прислали мне Вашего секунданта. Если *до 18 августа* Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры...

Блок – Иванову. 9 августа 1907. Царское Село

Милый друг мой Женя.

Пишу тебе по совершенно особенному случаю. Дело касается развития наших отношений с Андреем Белым.

Ты знаешь, как он отзывался в последнее время обо мне в «Весах». Недавно приехавший ко мне секретарь «Золотого Руна» — сообщил о его состоянии, крайне изнервленном, и отказался повторить те выражения, которые он употреблял в разговоре с ним обо всех «петербургских литераторах», и обо мне, вероятно, в том числе. Судя по всему этому и помня наши прежние отношения с ним, я решил, что он совершенно забыл меня или же никогда не знал; кроме того, сплетни оказали большое действие. В этом духе я написал ему очень определенное письмо, прося его *точно указать пункты нашего с ним разногласия...* С тою же почтой я получил от него письмо... в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом.

На это я написал ему... что даю ему срок *до 18 августа*, чтобы он или взял свои слова обратно, или прислал ко мне своего секунданта; что, если он не исполнит ни того ни другого, я сам приму «соответствующие меры».

Ровно год тому назад, как ты помнишь, он вызывал меня на дуэль. Теперь нарочно описываю тебе все это, чтобы ты мог судить; если опускаю какие-нибудь подробности, то расскажу при свидании. — Теперь думаю, что *иначе* поступить совершенно не могу; для меня ясно, что *если он не сумасшедший*, то дуэль неизбежна; для меня совершенно ясно, что действовать нужно решительно: если он сумасшедший, то его бесконечно жалко, и я готов более чем



примириться с ним; если же нет, — то необходимо прекратить его поведение, а для этого единственный теперь выход — дуэль. Думаю так, передумав очень много и взвесив все; может быть, есть кое-что, чего ты не знаешь; тогда расскажу.

Таким образом, мне почти наверно будет нужен секундант. Пишу тебе прямо, что иного, кроме тебя, я не хотел бы; тебя я люблю и верю тебе глубоко; сверх того, ты знаешь все сложные и интимные обстоятельства всяких связанных с этим отношений за несколько лет.

Потому прошу тебя написать мне, как ты смотришь на это и имеешь ли охоту и возможность согласиться? Можно ли будет написать тебе (или телеграфировать на службу — *напиши мне подробный, адрес службы*), когда это понадобится? Согласен ли объясниться с А. Белым, если понадобится? Что касается всяких денежных расходов, то, во-первых, кажется, полагается платить за все сражающимся, а не секундантам, а во-вторых, их у меня теперь много (даже очень), а у тебя — верно, мало; потому прошу тебя взять у меня.

Наши все знают обо всем этом (может быть, я сделал глупость, что показывал письма, мама беспокоилась, но теперь — ничего... — Много гуляю, здоровею и думаю, сочиняю пьесу. Бывает тоскливо, но мало, чаще бодро. Как ты?..

Иванов – Блоку. Август 1907. Петербург

...Саша, милый, что же я могу теперь сделать? Ты как будто уже перевел стрелку, как стрелочник в Павловске, и столкновение неизбежно в силу сил Ветхого Завета, но я умоляю тебя, понимаешь ли, умоляю не делать этого... Мне определенно кажется, что ты его застрелишь, и я от этого холодею, потому что это не в нашем духе: не знаешь разве, какого мы духа? Он, конечно, сам не станет объясняться, он, конечно, прямо согласится на дуэль, так очевидно и письмо твое вызывает: да и намек на болезненность умственную уж очень ему обиден. Зачем поверил ты глупым сплетням о себе и усумнился о пути своем, ведь ты Ан. Белого и старше*, и здоровее, и мудрее... Потом же ты по природе аристократ, так мало ли что сволочь всякая молотъ будет, ты сам за собой следи и выдержи стойко, это в нашем духе...

Ты, конечно, сам догадывался, что я от секундантства откажусь, ибо к этой роли совсем не приспособлен и ничего не понимаю, как и что делать. Как оружие приобрести, объясниться как и разные другие подробности мелкие, от которых холодеть можно: например, куда отвозить и как поступать с убитыми.

Объясняться с Белым мне не следовало бы, но толку из этого никакого не выйдет, потому что он близок к помешательству и потому что, что бы я ни говорил, все его будет бесить, ибо он меня не

* ?



любит и, как сам писал, видит во мне орудие черта. Хорошего из нашего свидания выйти едва ли что может, а не для хорошего не поеду. К тому же чувствую себя как-то виноватым перед Белым, хотя хорошенько не знаю, в чем, и боюсь, что он личные объяснения примет за твои, а это, может, тебя компрометирует...

Сам ты говорил, что лучше бы о нас думали хуже, чем мы есть, а вот не выдержал, когда острые сплетни стали, ведь сплетни, черт их возьми, а ведь ты знаешь, никто серьезно не поверит, уж если ты хочешь знать, ибо есть личности, к которым пасквильные сплетни не пристают, и не верят сплетням про них, хотя и сплетничают...

З. Гиппиус – Белому. Август 1907. Баден-Баден

...О несчастном Блоке я немножко написала. Правда, в нем есть какой-то идиотизм. Слышала недавно, что он эту зиму чуть не разошелся с Любой, влюбившись в какую-то актрису, — но потом все обошлось, ибо она сама собирается в актрисы и даже брала уроки у... Мусиной-Пушкиной! Вот нашла преподавателя! Да и все там происходит в такой скверной атмосфере, что лучше не поднимать занавеса. Правда ли, Боря, что вы насчет нее более или менее успокоились? Есть ли у вас тут какие-нибудь планы действий, объяснений, — или вы поняли, что нужны серьезные события, чтобы вырвать Любу из ее несчастного milieu* и переменить в ней что-то ... даже если это и вообще возможно? Сам Блок — несомненно глупый человек, да и она, может быть, тоже, иначе бы давно задохнулась в этой петербургской чадности. Напишите мне о себе тут — с полной искренностью...

Белый – З. Гиппиус. 7-11 августа 1907. Москва

...Вы спрашиваете про Любу. Зина, к Любе у меня отношение серьезное, как жизнь и смерть, но больше я не в состоянии ее оправдывать, не в состоянии никак искать к ней путей. Пусть сама ищет. И я еще не знаю, прощу ли ее. Я послал ей последнее письмо ласковое; получил в ответ «слепое» письмо с обвинением меня во лжи и с требованием изменить отношение к Саше. В ответ на это я дал ей формулу отношения моего к Саше (идиот, негодяй или ребенок: последнее мало вероятно; следовательно?). На том все и оборвалось. После же статьи его о «реалистах» в «Золотом Руне»... я ему написал, что освобождаю его от допроса, которому хотел его подвергнуть, ибо рассматриваю его статью, как «Прощение», и стало быть все мне ясно и лучше уж нам никогда не встречаться, потому что руку-то я ему подать, пожалуй и подам, да что толку? Всего этого я не мог не написать: если угодно Любе после всего этого искать путей ко мне (вероятно она все между нами забыла: у глухих людей так всегда), я жду ее в том, что вечно; но сам

* Среда (франц.).



больше не двинусь ей навстречу никогда, никогда. Я вырезал 9/10 своей души, пораженные гангреной, осталась 1/10 прежней души, *но души*. С этим остатком прежнего я могу жить без Любы. Вот и все. Я сделал с собой опыт: приехал в Москву и не был в Петербурге. Месяц потом жил рядом с Любой, и не искал путей к ней (жил с 20 мая до 25 июня под *Крюковым*, а она около *Подсолнечной*). Раз 20 я думал, что поеду увидеться с ней, и всегда говорил себе: *«можешь всегда поехать, попробуй на этот раз овладеть собой»*. И овладевал. И знаю, что могу теперь года ее ждать, года ее не выдать. Никогда не забуду, но и не буду искать с ней встречи...

Белый – Блоку. 11 августа 1907. Москва

...Мне так важно было *себя* и *Вас* проверить: я полтора года кричу Вам то письмами, то просто внутренним обращением к Вам: «Пойми же, пойми: ведь не личные отношения только в основе моего недоверия, непонимания Тебя!». Если цель всего — *«балаганчик»*, то ведь кажущиеся совпадения в самом *Главном* — обман; а я хотя и разбился от ряда ошибок, но я не предал *последнего*: я знаю, я верю. И Вы — молчите. Наконец, я теряю голову, пишу Вашей жене обвинения против Вас в Вашем поведении относительно 1) меня и Вас (в нашем личном), 2) в отношении нас троих. Вы — ни звука. Я из целой совокупности *непонятого* наконец пишу резко, быть может вовсе несправедливо, но от искреннего непонимания. Вы вместо ответа или *играете* молчанием, или вдруг вызываете меня на дуэль, находите во мне клеветничество! Или это *система, метод*, или мы с *разных планет*: но мне думается, что я более способен понять мимику португальца, объясняющегося по-русски, чем Вас, которого так долго считал «близким»...

Если Ваши друзья плодят *«куцые теории»* и выдвигают Вас на своем знамени, почему же Вы не протестуете?... Я считаю своей обязанностью выступить против Петербурга...

Вы фальшивы (может быть вполне бессознательно), или когда заявляете мне, что Вы символист, или когда молчите в ответ на провозглашение Вас одним из знамен подозрительной и несуществующей теории...

Каждый из Вас *что-то* такое считает в нас отжившим, что-то новое каждый из Вас намеком провозглашает. Мы спрашиваем: «Что, объяснитесь подробнее». И все Вы ускальзываете. И мистического анархизма нет. И Вас как бы нет. А факт *«большого крика»* налицо.

Посему не могу, не могу ответить точно на Вашу просьбу: «Прошу Тебя, хотя бы кратко, указать мне на основной пункт Твоего со мной расхождения». Я, во-первых, не знаю *точной формулы* Вашего мирозерцания, Вашего литературного, общественного, религиозного, этического, философского *credo*. Свое *credo* формально при Вашем желании могу охарактеризовать. Думаю, что сейчас Вам это не ин-



интересно. Я знаю, и глубоко люблю Вашу поэзию. Последние периоды Вашей поэзии объективно (как искусство) ценю; многое по «настроению» мистически кажется мне абсолютно враждебным. В «драмах» Ваших вижу постоянно *богохульство*; оно с моей точки зрения может иметь и нравственно высокий и очень низкий смысл. Не знаю, из каких оно фондов, ибо, повторяю, «внутренне» потерял Вас из виду. В статьях Вы пишете образно; из-под образов трудно уловить *формальный* смысл, а *форма* — единственный компас при внутреннем непонимании. Ничего не знаю, схожусь или расхожусь...

Вы, вероятно, многое из моих нападок вообще на Петербург слишком принимаете на свой счет; иногда непроизвольно получают «намек», не адресованные ни к кому лично, но предполагающие каких-то лиц с крайне враждебной мне мистической и этической физиономией. Когда пишу о «кренделе», «чике», адресую не к Вам, а вообще ко всему кругу литературы, в котором Вы вращаетесь. Но и не могу не нападать. Я в данном случае выразитель лишь вообще настроения многих лиц в Москве, не кричащих о *соборности*, *дерзаниях*, «ЗЗЗ» объятиях, но вовсе не считающих себя отсталыми, декадентами, индивидуалистами; «индивидуализм» среди нас (многих) есть лишь маска стыдливости и боязнь профанировать то, что еще очень смутно и ценно в душе...

Мое заявление о том, что Вы — один из корифеев — искренно. «Гримасы идиотизма» — считаю, что они есть у Вас в поэзии, и мне видится тут *стилизация*, вместо непосредственно детского. Но разве это «инсинуация»?..

Вот исчерпывающий ответ Вам, Милостивый Государь; теперь судите, должны ли мы объясниться лично, или разойтись безвозвратно. Я думаю, будущее это покажет...

Белый. Я задумался над письмом своим; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку; поводов к дуэли, действительных, не было; в-третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет «дуэли»; и слово нарушить не мог...

Белый – Блоку. 11 августа 1907. Москва

...Просто я понял, что мы говорим на разных языках; то, что Вы называете, например, «корзинкой», я называю «сахарницей» и т. д.

То, что Вы пишете («я склонен приписать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению, или полному незнанию меня»), очевидно, совершенно справедливо. Но вот уже 1 ½ года, как Вы все сделали для того, чтобы недоразумение мое о характере Вашей личности не рассеялось, а, наоборот, укрепилось. 1) После наших прошлогодних (в августе) недоразумений, я открыто сказал себе: «Должно быть, я неправ: надо выяснить». Я повернулся к Вам с полной готовностью принять Ваши объяснения о характере наших



отношений. Вы промолчали, довольно *оскорбительно* для меня в ответ на мое желание выяснить Вашу личность (а я так нуждался в том, ибо, действительно, питал к Вам в глубине души такую симпатию, какую редко к кому питал). Я уехал за границу, только потому, что питал к Вам симпатию (к Вам и к Вашей супруге); я думал, что расстояние внешнее рассеет путаницу наших отношений (в которой я был, быть может, столь же неправ, как и Вы; но я хотел *правды*, хотел честно произнесенных слов, а не *неопределенно-бездонных* молчаний). Я ошибся. Когда, по прошествии 4-х месяцев, я отправил Вам письмо, стихи и карточку (поступок, который Вы извратили), я сделал это под влиянием хорошего, честного чувства. Я Вас продолжал ужасно любить и верить в Вас. Но недоумения мои о нравственном характере Вашей личности требовали, чтобы я Вас уведомил, что я нуждаюсь в личной беседе с глазу на глаз (где без посторонних свидетелей я мог бы как на духу Вам открыть мои мысли о Вас и без всякой предвзятости, наоборот, с верой, выслушать Ваш ответ). Я хотел нашей перепиской подготовить почву, чтобы гнетущее *меня молчание* (Вам, как мне казалось, выгодное) рассеялось и чтобы мы, наконец, при личной встрече увидели подлинные лица. Вы ответили опять письмом, общий тон которого мне показался обидным. Мне оставалось сказать себе: «Он паразитирует на моем вынужденном в отношении к нему молчании» (это паразитизм нравственного порядка). Тут я и перестал Вам писать; и объяснения с Вами получили для меня характер «привлечения к ответу». Вы скажете: «Это — насилие». Но насилие это вытекало из желания моего перед лицом моей правды оправдать Вас. Тут я и начал вчитываться в Ваши строчки, перечитывать Ваши письма, стихи; жадно ловить каждую Вашу печатную строчку. Наконец, я часто и много слышал о Вас от посторонних. Вот этот-то интерес к Вашей личности и побудил меня сказать Вам, что я давно за Вами слежу. Вы поняли в буквальном и точном смысле (*шпионство*). Вольно ж Вам *так* понимать. Вот когда я увидел, что пропасть между нами выросла до последних пределов, я и написал Вам, что *все между нами кончено*; т. е. человек, которого я любил где-то в глубине глубин, стал для меня *один из многих*. Раз это так, все недоумения мои, мучающие меня, когда они направлены к близкому, теряют свой смысл, когда усилием воли я близкого превращаю в *далекого*. Падает пресловутое «*шпионство*» и «*лакейство*» (хорошие словечки, не правда ли?). И уж тем менее охоты мне принимать Ваш вызов на дуэль (дерутся там, где *глубина* сошлась с *глубиной* и нельзя распутать узла: так было в прошлом году, когда я Вас вызывал: теперь: *не так*. Теперь Вы для меня — посторонний, один из многих, а со всеми не *предерешься*).

Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о «*прошении*», фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в минуту раздражения... Охотно беру назад



слова о «*прошении*», потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, Милостивый Государь, могу сказать только одно: мы друг другу чужды. И если когда-нибудь мы встретимся (не формально), то только тогда, когда Вы искренно захотите объясниться со мной не в превратно понимаемых письмах, не при помощи полемики (о ней я Вам пишу в неотправленном еще письме в ответ на Ваше письмо о литературных делах), а в личной беседе с глазу на глаз, где я мог бы Вам высказать все накипевшие за 1½ года мои недоумения и выслушать какие угодно обвинения меня с Вашей стороны. Как скоро Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только, но и сердцем понять, *что же это наконец происходит между нами...*

Блок. 15-17 августа. Шахматово

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прощении, так и я беру назад «словечки о шпионстве и лакействе», вызванные озлоблением.

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопрос о наших личных и литературных отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь объяснить, как все началось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказались различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи, Ваши мысли были необыкновенно важны для меня и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами *таинственную близость*, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или — страшное напряжение мистических переживаний (*всегда высоких*), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, — я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. *Теперь* вся разница только в том, что надо мною — «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря *холоду белого дня*, я нахожу в себе трезвость и большую работоспособность, чем прежде, *но и только. По-прежнему*, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне — *все те же* огненные переживания... сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что *по существу* — не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились



с Вами, я узнал и драматическую симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. *Я не разбираюсь в этой сложности.* Знаю одно: *мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам.* Я объяснял это ленью. Ровно через год мы встретились. *Мне было трудно говорить с Вами,* и я опять объяснял это своей ленью. Но это было *не* единственной причиной... Причина, *вероятно главная,* сказалась при следующих обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам *мистический страх.* Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом может быть — моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережил напряженно то, что мы — *«разного духа»*, что мы — духовные враги. Но я — *очень скептик*, тогда был мучительно скептик, — и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще *непостижимо* (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения. Потом — пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились, благодаря тому, что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но *не узнаю*, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я *не умею*, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает *никто на свете*, и я не хотел, и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до сих пор не препятствует моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу *душной атмосферы*, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского *credo*» я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, *уверю Вас*, эти сообщения



ничего не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — *очень* верю в себя, что ощущаю в себе какую-то *здоровую цельность* и способность и умение быть *человеком* — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не даст Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это *не* признания, *не* выкрики, *не* фразы, *не* «гам». *Все это я пережил и ношу в себе* — свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологических свойств: *я предпочитаю людей идеям*. Может быть, это значит: я предпочитаю *бессознательных, людей, но пусть и так*. Вы должны, если захотите, *понять*, в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. — Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь — милый, но 10 этих милых — *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, *(топускаю)*. Вина моя перед литературой — велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги *перед русской литературой...*

Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно. Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю — и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он — представитель 40-а простых миллионов, а я — представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделать не может с тем, что он «темен», а я с тем, что я — еще темнее, даже с «мистическим анархизмом» ничего не могу поделать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь *все проще*, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это — лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев... которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мое хватанье за Скитальца*; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что это — искусство.

* Беллетрист.



Чувствую, что всем, что пишу, еще более делаюсь чуждым Вам. Но я *всегда* был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?», — спрошу в свою очередь.

Драма моего мирозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — *лирик*. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таятся бездна, куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала*, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет *только моя душа*, — я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах (кроме Балаганчика)? ...Когда я издеваюсь над своим святым — *болею*. Но «*Балаганчику*» Вы придаете смысл чудовищный — зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы, — он омерзителен, вреден, пожалуй «мистико-анархичен». Поверните *проще* — выйдет ничтожная декадентская пескa не без изящества и с какими-то типиками — неудавшимися картонными фигурками живых людей.

Мои «хроники» в Руне суть *рассуждения* на известные темы. Никаких *синтетических* задач не имел, ничего *окончательного* не высказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, может быть, никому не нужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором, или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет на *то* ни образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем *войске* (войске людей с отточенными мировоззрениями) *действовать* я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое, *по-прежнему*, лежит ближе к Вам... Вот почему мне бывает больно, когда Вы, или лица из Вашего кружка, относятся ко мне, как к совершенно чуждому...

Если я кощунствую, то кощунства мои *с избытком* покрываются *стоянием на страже*. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же — сомнения и страхи находят и на часового. Если мы *действительно* расходимся с Вами «в глубине глубин», то, значит, основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной Маски»...

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы *верить лирику*, каков я, т. е., в худшем случае, — слепому, с мирозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит *нет*, чем *да*. Примите во внимание, что речь идет *обо мне*, *никогда не изменявшемся по существу*. В таком случае, если и Вы — неизменны, — нет причин *не верить* теперь, *или* не было причин *верить* тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть мо-



жет, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, *не изменяет Вас по существу*; Вы — все тот же, каким я Вас знал и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уж я наверное знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: *надоело* Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы — перед Вашим делом, что *во мне есть то*, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в *идейном* смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е., *не сходитьсь так*, как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я *храню* его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда. Вы, я *допускаю*, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой и неверной, чем Ваша. Но тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Нашему выражению: уверены ли Вы, что Вы — *вернее* меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я *верен*. Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу, — слова, слова, слова. Но, *право*, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит *не Балаганчик, клянусь*. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажании символа на пароход», которые, опять-таки, — поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать — *чёрт с ним*.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании и из литературы мистического анархизма, которому он потакает, да и еще кое о чем — более важном». Хорошо, я буду *отвечать* Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еще хаотичнее. Потому, может быть, лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». *Теперь*, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву; может быть, это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю, как могу...

Неужели я литературно подавал повод причислять меня к мистическому анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весь» и Вы имеете лишь *формальные* поводы причислять меня к этому направлению... но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня...



При всей неточности своего мировоззрения, я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Потому я издавна отношусь к... теориям, как к *лирике* — и *никогда не возвожу их в теории, принципы, пути*. Но зачем Вы говорите о *карьеризме* и т. п. Всем нам приходится это в голову. Но, ради Бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или наклонностей к порокам — раздувает их, треплет и губит *человека, а не писателя...*

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним, — из всего остального. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. Может быть, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинности друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом — невозможно. Ну, так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое. Пока же, примите мое уверение в уважении к Вам...

Белый. Письмо Блока ко мне (оно — первое после месяцев совершеннейшего молчания) было началом действительных *«мирных»* переговоров, окончившихся письмом Блока ко мне; в нем меня извещал он, что едет для личного объяснения со мною: оканчивался год положенного между нами молчания. Встретиться были должны мы: мы — встретились.

Помню, что в день приезда А. А. — волновался ужасно; поднимались все эти года, столь изменные; и — казалось, что с 1901 года — пережито столетие. Возвращался в этот день по Арбату (домой), я увидел пролетку и в ней А. А. — в белом; и в белой своей *панаме*; мне подумалось: да; таким его видел я раз в Петербурге, на Караванной, когда, как казалось мне, он не заметил меня; в той же белой он был панамы; и такой же, — весь бледный. Пересекал он Арбат по направлению к Новинскому, где помещалась редакция *«Золотого Руна»*. Было — пять часов дня. В семь он должен был быть у меня.

С нетерпением ожидал я его. Мама тоже была в нетерпении (она — только что вернулась с Кавказа). В семь, ровно, раздался звонок; я — пошел открывать: это был А. А. Блок. Но как я удивился: он был в своем темном пальто, в темной шляпе своей, в черном, гладком своем пиджаке — не такой, каким видел его на Арбате; и главное: тот, кого видел, был мертвенно бледен; а этот, передо мною стоящий А. А., — был совсем загорелый; и — скорее розовый (вовсе не бледный); так — стало быть: образ А. А. мне почудился на Арбате; потом, в этот же вечер, я спрашивал у А. А., был ли он — на Арбате; он — был: но не в эти часы, когда видел его. Так, горячее ожидание видеть А. А. мне подставило его образ.

Всегда удивлялся я первому впечатлению; оно — верный синтез, итог того, что переживается впоследствии; так: если бы я себе рассказал в этот миг впечатление от А. А. *очень-очень* конфузливо, с вежливой ласковостью стоящего на пороге квартиры моей, в темной шляпе с широкими очень полями и темном пальто, — то я должен сказать: вид его изменился до крайности за этот год, когда мы не видались. И в сторону прошлого: бессознательную радость в себе вероятно бы я нашел, если бы мог за собой наблюдать в это время; и удивление, и радость — о том, что весь образ А. А., передо мной здесь стоящий, напоминал мне скорее А. А. первой встречи (в 1904 году); и не было в нем ничего от А. А. 1906 года, такого тяжелого для меня; вид ущербного месяца, перекиривившего рот, — таким виделся мне одно время А. А. — вдруг куда-то исчез; и глаза не казались зеленоватыми; нет, голубые, большие и детски-доверчивые, они смотрели с той вежливой пристальностью, с какой глядели когда-то, казались слишком близкими; и наклон головы, и улыбка, и застенчивое потоптыванье перед дверью, и даже конфузливо сказанное невпопад: «Здравствуйте, Борис Николаевич» (вместо «Боря» и «ты»), — это все показалось возвратом к былому; обращение «Борис Николаевич», «Вь», скорей вызвало радость; с нелепой улыбкой ответил ему: — Здравствуйте, Александр Александрович!

И почувствовалось: что бы ни было между нами теперь, — все окончится примирением; сразу я понял, что разговор — оборвался, — мгновенный в передней, во время нелепейшего обращения друг к другу «Борис Николаевич», «Александр Александрович»; все остальное — лишь следствия; странно: во встречах с А. А. 1906 года — обратное: первое впечатление от А. А. мне гласило, что чтобы ни было сказано между нами — все тщетно: все только запугает.

Первому впечатлению верю: оно — не обманывает.

Пригласил я А. А. к кабинет; затворился; ощущалась неловкость от предстоящего объяснения; неловкость себя проявляла в бросаемых исподлобья конфузных взглядах, в полуулыбках и в том, что не сразу коснулись темы приезда А. А.: говорили о «Золотом Руне», о заведовании А. А. литературным отделом; А. А. в кабинете моем мне казался большим; и — каким-то совсем неуклюжим; локтями склоняясь на стол и расставивши ноги, он взял в руки пепельницу, и, крутя ее, высказал что-то шутливое: «юморист» в нем проснулся; но — «юморист» от смущения; точно видом своим выразил он:

— Подите вот, — дошли до дуэли: совсем по-серьезному...

И эту «юмористическую» нотой подхода к событиям, бывшим меж нами, он мне облегчал разговор.

Но начинать, как всегда, не хотел; ждал моих слов с терпеливой серьезною тихостью, ясно вперяясь в меня, чтобы я приступил к разговору; а я, как всегда, подступить не мог прямо, а начал издалека, распространяясь на тему о трудности говорить и ощущать одновременную радость, что вижу А. А., что такой же он, как и прежде, что



ощущаю по-прежнему близость к нему, будто не было между нами труднейшего года и будто не были мы разделены обостренной полемикой; начал — туманно:

— Да, да, — подтвердил А. А., — в сущности это все *не о том*, потому что слова, да и все объяснения — пустяки: если *главное* занавесится, то и все объяснения не помогут, а если *главное* есть, все — понятно...

Подлинных слов я не помню, но смысл был — такой. И я понял опять-таки: объяснения с ним — только внешняя форма для отыскания улыбки доверия; «*главное*», т. е. вера друг в друга, друг к другу, проснулась в передней еще; все, что часами теперь обсуждали, естественно протекало под знаком доверия.

Этого разговора, опять-таки, привести не могу; лишь запомнились внешние вехи его; объяснил я А. А. состояние сознания моего, меня медленно убеждавшего в том, что в поступках А. А. есть нечеткость, проистекающая от молчания. И А. А. постарался с терпением мне доказать, что в «*молчаньи*» его вовсе не было возмущающей меня затаенности; он считал: основная ошибка былого есть спутанность отношений, где отношения личные наши естественно спутались с отношениями близких и стали синонимом какого-то *коллектива*; так то, что возникло между нами в сложившемся коллективе, не возникало в А. А.; я старался поставить знак равенства меж, так сказать, социальными отношениями близкой группы людей и личными отношениями нашими; возникавшую между всеми нами невнятицу он старался отчетливо отделить от своих отношений ко мне; но он видел: я не приемлю такой изоляции отношений; так его нежелание говорить вытекало из сознания моей неготовности понимать:

— А когда есть невнятица в главном, то разговор без доверия друг ко другу бессмысленен!

Он постарался мне выяснить то, в чем не прав был пред ним; и упрекал меня бережно в психологизме, заставившем видеть его в мною созданном свете; но я возражал: он мог во мне вовремя пресечь мир иллюзий внятным словом, которое хотел я слышать; молчанье его и питало иллюзии; он пытался мне выяснить: иллюзии возникали во мне, и он видел, что *разговорами* их не рассеять. Разбор накопившихся недомолвок был легкий и освещенный улыбкой его, такой доброй и мягкой; и главное — мужеством: вскрыть тайное между нами; я видел решение А. А.: переступить через косность молчания, выявить правду его и мою в нашей длительной распре: понять объективно меня; и — заставить меня понимать его действия; я же с своей стороны постарался ему показать и себя. Обнаружилось: виною неразберихи меж нами до некоторой степени оказались Л. Д. и С. М. Соловьев (это думал А. А.); я старался С. М. защищать, но наткнулся в А. А. на известный упор; в свою очередь: он наткнулся во мне на тенденцию обвинять Л. Д. во многом,

испортившем нашу личную дружбу; между прочим: высказывал и я свое отчуждение от Л. Д. Наконец, мы решили, что в будущем, что бы ни было между нами, друг другу мы будем отчетливо верить; и — отделять наши личные отношения от полемики, литературы, от отношений к Л. Д., к С. М., к Александре Андреевне и т. д. В этом решении чувствовалась действительная готовность друг друга понять: я считаю, что с этого мига впервые мы повернулись друг к другу — вплотную: поверили основному друг в друге. До этого времени стиль отношений меж нами — душевный; теперь мы ощупывали друг в друге как бы духовный рычаг, обуславливающий нашу дружбу; и мы протянули друг другу теперь наши руки, сказали себе, что во многом еще не улегшемся между нами, мы будем друг в друге взывать только «к духу»; и верить взаимному уважению друг к другу.

Потом перешли мы к полемике...

Во многих вопросах литературной политики мы расходились с А. А.; но теперь в расхождении этом уже не было страстности: мы решили, что будем и впредь в разных группах; и будем мы даже идейно бороться: но пусть же борьба не заслонит доверия и уважения друг к другу.

В этом длительном разговоре опять незаметно мы перешли на *ты*: на «Боря» и «Саша».

Уже было 11 часов ночи, когда моя мама, все ждавшая окончания разговора, нас вызвала к чаю. Мне помнится: было очень уютно втроем; моя мама, любившая Блока, с довольством и радостью наблюдала нас; видела, что мы теперь помирились (она огорчалась всегда расхождением с Блоком); А. А. был уютный; касаясь того или иного — юморизовал он; я — смеялся; и чайный стол мне казался уютен и легок; и было странно мне видеть А. А., о котором за этот ряд месяцев во мне столькоросло: и вот — все, что стояло меж нами — рассеялось.

После чая опять перешли ко мне; говорили уже не о трудном: о легком; впервые я понял, что устремление к народу в А. А. проистекает из углубленного итога работы его моральной фантазии, что переоценка писателей «Знания» им в «Руне» есть продукт увлечения; понял: разуверение в «заре» не есть крах, а исканье «пути», что оно — неизбежно...

Я не помню слов, которыми мы обменялись с А. А. в эту ночь; но я понял одно: мир *лиловый*, который так меня напугал в нем когда-то, — рассеялся в нем: были признаны «Незнакомка» и «Балаганчик»; что происходило в нем, как явление кощунства, оскорбление святыни, теперь оказалось испытанием пути. Разговор с А. А., ясно раскрывший его углубление в тему России, вернул мне А. А.; сквозь лиловые тени, одевшие мраком лицо его, выступил прежний, исканьем оветренный, розовый отблеск; и внешнее что-то в нем перекликалось с былым; отпустил себе волосы он (в 1906 году был он



стриженный); и глаза голубели отчетливым строгим решением; был для меня прежним Блоком в ту ночь: милым братом; и — не прежним; в нем явственно подчеркнулись: закаленность и мужество; и в отношениях наших наметилась новая нота: доверия. Говорили мы в эти ночные часы очень мало; и больше молчали; и переваливало к исходу четвертого часа; а поезд его уходил только в семь. Я пошел провожать по светавшей Москве его; около Николаевского вокзала сидели мы в чайной с извозчиками; говорили теперь о простом, о домашнем; я чувствовал: А. А. радуется примирению.

Медленно разгуливали по перрону вокзала; и дожидались поезда. Перед поездом доверчиво протянули мы руки друг другу:

— Так будем же верить...

— И отделять все наносное, что возникает, от основного...

— И не позволим мы людям, кто б ни были люди, стоять между нами... Так мы, обменявшись *паролем*, простились. Тронулся поезд.

Я шел по Москве, улыбаясь и радуясь; показались прохожие: просыпалась Москва.

Так закончился этот двенадцатичасовой разговор...

Бекетова. 26 августа 1907. Шахматово

Саша сделал большие успехи в распушенности, безжалостности и эгоизме. До чего он бывает груб. Ведь этого прежде не было. И это именно с Софой*, хотя и с Алей бывает тоже, и со мной, и с Любой. Софа при нем теряет последнюю гибкость, а я делаюсь пошла. Что же это, наконец, будет? Люба всему потакает.

Съездил он в Москву. С Андр. Белым заключен мир. Люба эти дни, без Али, часто грустная, прегрустная. Об сцене бросила думать, говорит о мастерской дамских платьев. Часто задумывается. Да, есть над чем. Перед Сашей во прахе. Он сегодня с ней был мягок. Как я была рада! Устала от его жесткости. Все это так. Кругом они оба виноваты, но до чего они мне все-таки милы.

Белый. Примиренье с А. А. охладило на время во мне полемический пыл; мне хотелось внести ноты большего примирения с Петербургом; но страсти — горели; присоединилась к полемике З. Н. Гиппиус; под псевдонимом своим (Антон Крайний) писала она очень едко...

З. Гиппиус – Белому. Сентябрь 1907, Гамбург

... Ваша крепость, с какою вы не поехали на свидание с Любой летом — очень мне понравилась. Я считаю, что тогда так и надо было, — ввиду всякой возможности в будущем. Ну, словом, напишите мне все дальнейшее, как если бы мы с вами сидели на углу rue Mozart, в вашей комнате у огня. — Затем, Боричка мой хороший, еще вот что я скажу вам с великой серьезностью. Это будет коротко,

* Тетка Блока.



искренно и ясно, — и практически-точно. В моей и нашей любви — вы сомневаться не можете. И в моей любовной проникновенности тоже. Так вот: если только вам сейчас, в эту осень и зиму, не предстоит немедленное личное, новое устройство вашей жизни, в смысле твердого, хотя бы медленного, сближения с Любой, и сближения истинного, честного, т.е. вне Блока (какой бы он ни оказался), сближения не трех, а воистину двух, — если не это, Боря, — то вам надо приехать в Париж...

Правда ли, что Блок в Волохову влюблен?..



Глава XVIII. Палец в рану

Белый. Разделение группы писателей (на «Москву», «Петербург») углублялось; мы с Блоком оказывались в разных лагерях...

В эту осень запомнились гастроли Театра Комиссаржевской; впервые увидел на сцене я «Балаганчик», задевший когда-то так больно меня; постановка была — удивительна; прочие постановки («Сестра Беатриса», «Чудо Св. Антония» и т. д.) мне казались парадоксами, а не «сценическим, действием»; и notably было мне видеть Комиссаржевскую, замороженную «стилистикой» Мейерхольда; великолепно была она в пьесах Гольдони; была она связана в драмочках Метерлинка, к которому в то время закрадывалось недоверие; проблема театра меня волновала; осознавались невозможности символизма в театре; театр символический — есть мистерия; символизм, допустимый естественно в эпосе, в лирике переходит в теургию здесь; здесь актер — не актер, а нашедший пути человек; театр символический допустим лишь в грядущем; он — грань меж искусством и новой жизнью; *неновые* люди не могут вершить символических действий, ибо действия — литургика.

А. А. в эту пору был близок к исканиям Комиссаржевской и Мейерхольда; я — видел: искания обречены на полнейшую неудачу (Комиссаржевская через два с лишним года пришла сама к этому); было больно, что тут мы расходимся с Блоком; я видел в стремлении к театру — болезнь; я хотел оттащить от театра А. А.; и сомненья в возможности «символического» театра я изложил в фельетонах... Комиссаржевская заинтересовалась фельетонами; в них — опять-таки выявилась полемика с Блоком.

В ту пору устроили в Киеве «вечер искусства»; и получили приглашение на него москвичи; должны были поехать: С. А. Соколов, я, Петровская, И. А. Бунин, который так и не поехал; тогда, посоветовавшись с Соколовым (организовавшим поездку), я телеграммой просил Блока приехать; и получил телеграфный ответ, извещающий: «Еду». Мы двинулись в Киев (в конце сентября), в жаркий день; устроители вечера встретили нас на вокзале с приподнятой пышностью; чужало мне: «Э, тут что-то не то!» Группа киевского журнальчика «В мире искусств» в эстетическом отношении не внушала доверия; и пахнуло на нас неприятной дешевкою и неприятной рекламою; перепугал стиль афиш; ими был заклеен весь город; огромный оскаленный козлоногий лохмач, безобразно гримасничал на афишах; я думал: «Оповещение о вечере напоминает скорее оповещение о зрелище балаганного свойства». И в том, как везли нас по городу, как усадили нас вечером в ложу, как нас накормили, — во всем был налет театрального пафоса и безвкусицы; что-то скандальное завивалось вокруг нас; сообщили: билеты — распроданы до одного; и театр городской будет полон; и будут все власти;



С. А. Соколов, не понявший сперва *хлестаковщины*, нас окружающей, чувствовал великолепным героем себя; мы с Петровской конфузились; переговариваясь о том, что — скандал; киевляне пойдут на нас так, как идут на забавное зрелище (подлинно понимавших нас, знавших по книгам нас было так мало); я не сумею подкидывать гирь, кувыркаться, заглатывать шпаги, и голос мой — не труба иерихонская; стало быть: будет всем скучно; и «*номера*» из себя не представлю; меж тем: стиль афиш обещал «*номера*»; и мне было не по себе (пропал голос к тому же: страдал я запущенным гриппом). А. А. опоздал, не приехал; пришла телеграмма: он — будет в день «*вечера*».

Он и приехал, доверчивый, милый, немного переконфуженный тем «*бум-бумом*», в котором держали нас; все старался быть вежливым; и, по возможности, держаться в тени, что ему удавалось; мы трое (А. А., я, Петровская) жались друг к другу, старался не участвовать в «*буме*»; и киевляне, по-моему, разочаровались в нас (не глотаем мы шпаг); провалились во мнении киевлян мы до вечера; наоборот: Соколову везло: он ходил, окруженный внимающими репортерами; и гремел победительно бас его: про него говорили: «А Соколов этот — славный мужчина такой». Он естественно представлятельствовал «*от имени*» и «*во имя*»...

А. А. остановился в одном коридоре со мною в гостинице, кажется, на Крепцатике, недалеко от театра. Мы пили с ним чай; оживленный, веселый, раскладывался, сняв пиджак и вытаскивая сюртук. Доминировал — юмор: и умываясь с дороги, повертывал па меня добродушное лицо, загорелое, темное, встряхивал вьющимися волосами своими (на нем была шапка волос), мылил руки и улыбался лукаво:

— А знаешь, — ведь как-то не так: даже очень не так; не побили бы нас... И — вырывался смешок — тот особый глубокий смешок, от которого становилось невыразимо уютно; смешок этот редок был в Блоке; и мало кто знает его; в нем — доверчивость детская и беззлая шутка над миром и над собою, над собеседником; все становилось от смешка освещенным особо: и — чуть-чуть «*диккенсовским*», чуть-чуть фантастическим; мерещились Пиквики; А. А. передразнивал едко меня и себя, киевлян, окружавших нас «*бумом*», особенно передразнивал «представительство» от лица «*символизма*» С. А. Соколова.

За чаем А. А. мне сказал:

— Знаешь, Боря, приехал-то я ведь совсем не на вечер: приехал к тебе; ты позвал меня, и я приехал.

Пред «*ответственным*» выступлением нашим мы провели тихо время в незначущих пустяках разговора, которого содержание не вспомнится; не говорили мы о тяжелом былом, ни о том, что естественно нас разделяло; шутили, обменивались впечатлениями дня; и — строили шаржи, уподобляя себя «*джентельменам*»...



Наступил час позора; мы облеклись в сюртуки; и за нами приехали; с жутким чувством мы ехали на провал, говоря, что в огромном театре, набитом людьми, мы не сможем читать (голос мой пропадал окончательно); А. А., помню, смеялся, юморизировал и страшал меня; ничего не боялся С. А. Соколов. Я был должен открыть вечер словом, рисующим новое направление в искусстве; вообразите мой ужас, когда я услышал фанфару, оповещающую о начале; вслед за фанфарой я вышел и должен был восходить над оркестром (на сцене) — на какое-то весьма пышное возвышение, чтобы оттуда, рискуя пасть в бездну (свалиться в оркестр) оповестить киевлян о том именно, что требовало бы написания книги. Хрипя, кое-как я все это исполнил (мой голос достиг лишь пятнадцати первых рядов, так что, собственно, меня не расслышали); был награжден очень жидкими аплодисментами; и — спасся в ложу, где все мы четыре сидели (С. А. — горделиво, Н. И., я, А. А. — переживая какое-то чувство скандальности нашего положения); программа была невероятно длинна; Н. И.* тихо прочла очень тонкое что-то: никто не услышал ее; и никто ей не хлопал; А. А. прочитал *«Незнакомку»*, еще что-то, с видом несчастным, замученным, точно просил:

— Отпустите скорее на покаяние. Похлопали очень мало: и — отпустили охотно.

С успехом прочел стихотворные басни свои бывший в Киеве в то время профессором граф де ла Барт; произвел лишь фурор Соколов, зычно грянувший своего *«Дровосека»* (пропел он его); *«Дровосеком»* своим покорила киевлян; говорили потом: «Что такое там Белый и Блок. Соколов — вот так славный мужчина: поет, — не читает». Стихотворения мои почему-то поставили под самый конец, когда голос пропал уже вовсе; я жалкое что-то пищал, что расслышали в первых рядах лишь; представьте мое положение: видеть, как ряд за рядом от хохота клонится.

Вечер был полным *«скандалом»*; и представители нового направления, вызванные из Петербурга и из Москвы с такой помпой, — торжественно провалились бы в Киеве, если бы не выручил С. А. Соколов, поддерживавший один лишь престиж *«модернизма»*.

Естественно, что он чувствовал себя выразителем всего нового; и за ужином, данном в честь нас после вечера (мы с А. А. просидели, как на иголках весь ужин), сказал он нас чувствовавшим, что да, да: мы приехали-де покорять киевлян, так что я уж взял слово, чтобы умерить самоуверенность нового направления. На другой день газеты ругали нас крепко; так мы — провалились (поездка эта в памяти сохранилась, как нечто стыднейшее).

Через день я был должен прочесть свою лекцию в Киеве, и — уехать в Москву; А. А. мило остался со мною; мы много гуляли по Киеву; вечером забрели мы к Днепру; где-то в мощных оврагах, об-

* Петровская.



висших желтеющей зеленью, мы под луною стояли все трое: А. А., Н. Петровская, я.

Ночью этой случился страшнейший припадок со мною; я, улегшись в постель, вдруг почувствовал, что начинается что-то неладное; я вскочил, но став на ноги, снова почувствовал: вот сейчас, вот сейчас — упаду; в это время по Киеву разгулялась сильнейшая холерная эпидемия; поэтому вообразил: со мной-де, начало холеры; и понял, что надо мне много ходить (быстро-быстро) по комнате и тереть себе руки, что начал я делать; и знал, если сяду, остановлюсь, — упаду: в очень сильном волнении бегал по комнате, соображая что делать; и бессознательно полуодевшись, я бросился в коридор по направлению к номеру, занимаемому А. А.; стал стучаться к нему; он открыл мне:

— Скажи, что с тобою?..

— Не знаю, должно быть начало холеры...

Он — сел на постели, открыв электричество; я же забегал пред ним, потирая руками; не попадая зубами на зубы; он очень спокойно, участливо наблюдал меня:

— Это — нервный припадок; не уходи же к себе; тебе вредно лежать. И остаться теперь в одиночестве невозможно...

Он — оделся; похаживал рядом; он взял мои руки, он растирал очень крепко их — минут десять; и видя, что никакой холеры не начинается, он сказал:

— Нет, незачем доктора: просто с тобою мы просидим эту ночь; я тебя одного не оставлю в таком состоянии...

Мы — просидели; не забуду внимания, которым меня окружил он; в припадке я бегал по комнате; он — спокойно сидел предо мною на стуле, спокойно и ровно глядя на меня, облокотясь своим локтем на стол, положив ногу на ногу; и — покачивая носком; суетливости, внешней заботы и не было в нем; была — внутренняя забота; и от А. А. на меня исходило тепло; и — припадок стихал; в изнеможении опустил на стул; и — смотрел на него, как он ровно и ясно сидел надо мною, как нянька: всю ночь напролет. Мне запомнилось это сидение Блока, запомнилась ровная поза; уже изменился, разительно изменился он весь, — не лицом, а — пожалуй, манерой держаться (в тот год, когда мы не видались); стал проще, задумчивей; подчеркнулось мужество; появилась суровая закаленность; исчезла бывшая душевность; она в нем сказала перегаром; что прежде сияло вокруг, как невидная аура, как атмосфера, то, прогорев, стало пеплом, тившим лицо; вся душевность лежала, как пепел, на нем; он сожженным казался за пеплом душевности, как пролеты синейшего неба ночного за отгоревшими тучками; ясно мерцали мне звездные светочи; прежде душевность — сияла; и так сияют вишневые облака на заре; они — ярче зари; золотисто-зеленое бледное небо — за ними; но вот — отгорают, темнеют; а небо за ними — глубинится синевой, открывается звездочками;



звезды — из ночи, из ночи трагедии; я из ночи трагедии чувствовал Блока в ту ночь; я почувствовал, что какая-то внешняя огрубелость иль меньшая красочность есть бескрасочность контуров ночи; и понял, что кончился в А. А. Блоке период теней, или нечисти из «*Нечаянной Радости*»; ночью темной ведь нет и теней; есть спокойная, ровная тьма, осиянная звездами; предо мной сидел Блок, перешедший черту «*Снежной Маски*»...

Наблюдал я его: он — сидел — неподвижно (сидел он всегда неподвижно); но — неподвижность, и та, в нем иная какая-то стала; он прежде казался оцепенелым и деревянным; затянутый в темно-зеленый сюртук сидел прямо; теперь появилась в позах сиденья его — зигзагообразная линия; он сидел, изогнувшись, не прямо, порою откинувшись корпусом, а порою перегнувшись к столу, положивши руку локтем на стол, подпирая другою рукою большую курчавую голову; я сказал бы: теперь лишь вполне появился в нем профиль; я чаще всего помню Блока теперь, повернувшего мне профиль свой; появился отчетливо предо мной его нос (почти выгнутый); и появилась четкая линия губ и ушей; прежде помню я Блока en face; а теперь изучаю я профиль его (аполлоновский профиль); и замечаю я вспухлость губы его (нижней), которую умеренно подчеркнул в нем К. Сомов. Как прежде я видел в нем что-то напоминавшее Гауптмана, так теперь находил отдаленное сходство с портретами Оскара Уайльда.

Уж близился день: рассвело; мы хотели спросить себе кофе; но все еще спали; тогда, успокоившись, начал я говорить о себе, о своем одиночестве и о том, как мне трудно дается простое, житейское:

— Да, понимаю я, — тебе трудно живется, — сказал мне А. А. И внимательно посмотрев на меня, он сказал вдруг решительно:

— Знаешь что: возвращаться в Москву одному тебе — нехорошо; вот что я предлагаю: мы едем с тобой в Петербург.

С удивлением посмотрел на него: год назад он противился моему появлению в Петербурге; теперь — меня звал; в его зове я чувствовал определенное, продуманное решение; ясно, что с этою мыслью меня увезти в Петербург и приехал он в Киев.

— Ну, правда, поедем-ка вместе: ведь вот я приехал к тебе сюда: в Киев. Так почему же тебе не поехать со мной в Петербург?

Почему не поехать? Поехал бы я, да — я был в крепкой ссоре с Л. Д.; мы поссорились окончательно в бытность мою еще в Мюнхене; впечатление было, что мы поссорились — окончательно; и я знал, что А. А. это знает; так почему же зовет он опять (ох, уж эти мне зовы приехать: однажды приехал по зову я, — произошла канитель); я опять посмотрел на А. А. Он стоял на своем:

— Решено: мы поедем.

— Но как же мне ехать, послушай: ведь знаешь же сам, что бывать у тебя мне нельзя...

— Ты про Любу?



— Да.

Тут осторожно, с нежнейшею деликатностью подошел он к моим отношениям с Л. Д., мне стараясь доказать, что мотивов для ссоры с Л. Д. уже нет (миновали они), что пора помириться, что для этого одного мне бы следовало с ним ехать — теперь:

— Поезжай: будет весело.

— А что скажет Л. Д. при моем неожиданном появлении?

— Да она уже знает: мы с ней говорили...

Тут понял вполне я, что план увезти в Петербург меня А. А. прежде придумал. И я — согласился: решили мы ехать; поездка расстраивала тогдашние планы мои (в одной московской газете заведовать литературным отделом); а что касается лекции, предстоящей мне вечером, то А. А. мне решительно посоветовал не читать:

— Как же быть: ведь билеты распроданы; оповестить уже поздно... А. А. посмотрел на меня:

— Ты читаешь по рукописи?

— Да, по рукописи.

— Ну так вот что: прочту за тебя я. Ты хочешь?

— Конечно.

Решили.

Решив, мы спросили к А. А. в номер кофе: и мирно его распивали; припадок прошел; но А. А. настоял, чтобы я шел к себе — отоспаться, провел меня в комнату, уложил, посидел у постели моей и потом, посоветовавшись с уезжающими в Москву Соколовым и П. А. Петровской, он за доктором послал; доктор меня осмотрел и решил, что — бронхитик и нервное переутомление; перемена места полезна-де, мне; так решили с А. А. ехать в ночь, после лекции тотчас же.

А. А. приготовился прочитать мою лекцию: взял мою рукопись; и — внимательно ее изучал, чтобы гладко прочесть; но я к вечеру поздоровел; и решил — сам читать; вместе с ним мы отправились, предварительно отослав на вокзал наши вещи; А. А. в этот вечер с нежнейшей заботливостью не оставлял ни на шаг одного меня; сидел в лекторской рядом со мною, приносил мне горячего чаю; и на эстраде сидел рядом с кафедрой, наблюдая меня и решаясь меня заменить в любой миг, если я ослабею.

Провалился на вечеру я; а на лекции, наоборот, если память не изменяет, имел я успех: собиралась молодежь, а не жадная к «зрелищам» публика; после лекции, не возвращаясь в гостиницу, мы отправились на вокзал; А. А. все продолжал проявлять свою милую, неназойливую заботливость: он закутал мне горло, чтобы я после лекции не простудился; едва мы попали в вагон, как уже залегли (до отхода курьерского поезда); и — заснули; проснулись в двенадцатом часу дня (вероятно, сказалась бессонная ночь накануне); и просидели весь день в ресторанном вагоне, потягивая рейнвейн и болтая; опять было весело; и — шутливо (немного по-диккенсовски); мы



себя ощущали, как мальчики, затеивавшие веселую, но немного рискованную игру; и — чувствовалось: как-то встретит внезапное появление нас Любовь Дмитриевна, о которой не говорили мы.

Я впоследствии понял А. А. И в желании перетащить меня в Петербург было много участия к моему состоянию; А. А. считал вредным для нервов моих погружение в полемику и в «*политику*» литературы, которой чрезмерно я отдавался в то время... с другой стороны: он хотел, чтобы я пригляделся к тому, что из Москвы отрицал так решительно; например, — к театру Комиссаржевской, к которому был так близок в то время он, не разделяя моих опасений; он думал, — угомонюсь очень скоро я; но, увы, — ошибался: я — разразился полемикою, побыв в Петербурге.

Вслезливое, в очень холодное утро мы прибыли в Петербург. А. А. сам меня вез — по направлению к Исаакию, в Hôtel d'Angleterre.

— Здесь тебе близко от нас...

Со мною прошел он в мой номер; и, посидевши, поднялся:

— Теперь я поеду — предупредить надо Любу, а ты приходи-ка к нам завтракать; да — не бойся!

И, улыбнувшись, он скрылся...

Блоки жили тогда на углу Николаевской площади, около Николаевского моста: мне помнится — на Галерной, а может быть, — нет: в географии Петербурга — не тверд, я москвич; но я помню, что дом их был вовсе угольный, одной стороной выходящий на площадь, где церковь (коричневая), с золотой острой крышей.

Квартира их состояла из небольших комнат, убранных просто, со вкусом; ход был со двора.

Никогда не забуду я чувства смущенья, с которым звонился я; встреча с Л. Д. волновала меня. Но мы встретились просто; во всем объяснении с Л. Д. проявилась одна удивительная черта; объяснялись мы как-то формально; и чувствовалось, что объяснение подлинное, до дна, — ускользает; ну словом: мы, кажется, помирились, — не так, как с А. А. И еще я заметил: разительную перемену в Л. Д. Прежде тихая, ясная, молчаливая, углубленная, разverzаящая разговор до каких-то исконных корней его, — ныне она, наоборот, на слова вес как будто набрасывала фату легкомыслия; мне казалось, — она похудела и выросла; что особенно поразило в ней, это стремительность слов; говорила она очень много, поверхностно, с экзальтацией; и была преисполнена всяческой суеты и текущих забот; объяснение с Любовью Дмитриевной 1906 года могло бы вполне состояться, а объяснение с Любовью Дмитриевной 1907 года, казалось мне, — объяснение со светской дамой, исполненной тревожений, забот, удовольствий (до объяснений ли ей!). Так я, объяснялся, — недообъяснился: и водворился меж мной и Л. Д. полущугливый легкий стиль — даже не дружбы, скорее *causerie**.

* Непринужденный разговор (*фр.*).

Видел я, что А. А. в Петербурге подхвачен был вихрем своих обязательств, намерений, планов, забот; словом, — тот, кто ко мне приезжал объясняться в Москву, потом в Киев — исчез; появился передо мной в Петербурге захваченный шумной жизнью поэт, которому просто времени нет углубляться в детали общения; словом: я понял, что жизнь и Л. Д., и А. А. изменилась; была она тихой, семейною жизнью; теперь стала бурной и светской, и кроме того, понял я, что А. А. и Л. Д. живут каждый своею особою жизнью; А. А. был захвачен какой-то стихией; был весь динамический, бурный, казал бы я, что *влюбленный* во что-то, в кого-то; и в нем самом явственно я замечал нечто общее с «*ритмами*» «*Снежной Маски*»; он был очень красив и был очень наряден в изящном своем скюртке, с белой розой в петлице, с закинутой гордо прекрасною головою, с уверенной полуулыбкой и с развевающимся пышным шарфом; таким его часто я видел — в гостях, иль в театре, иль возвращающимся домой; я был больше с Л. Д., составляя отчасти компанию ей; очень часто А. А. оставлял нас; и — неся куда-то по личным делам; он казался мне в этот период весьма возбужденным, овеянным лейтмотивом мятели, которую он так воспел; все мятелилось вокруг него; он *мятелил*; и от него на меня часто веяло ветром мятели; мы мало с ним были вдвоем; он, как будто, всем видом и тоном хотел мне сказать:

— Будем вместе — потом: наговоримся — потом... Теперь — некогда: видишь, захвачен весь я...

Я его понимал; и его наблюдая, я им любовался. Л. Д. говорила мне часто:

— Переезжайте же к нам, в Петербург: я ручаюсь вам, — будет весело... Слова «*весело*», «*веселиться*», — казались мне наиболее частыми словами в словаре Любовь Дмитриевны; мне казалось: А. А. и Л. Д. окружали себя будто вихрем веселья; но скоро заметил я, что этот вихрь их несет неизвестно куда, что они отделились ему; и несет этот вихрь их не вместе; Л. Д. улетает на вихре веселья от жизни с А. А.; и А. А. летит прочь от нее; я заметил, они — разлетаются, собираясь за чайным столом, за обедом; и — вновь разлетаются.

Словом, — я стал наблюдателем жизни их. Я замкнулся от них (не враждебно, а дружески); я старался не нарушать своим стилем их стиля; я даже входил в этот стиль, я участвовал в общем веселье, старался быть светским, но — видел: веселье то есть веселье трагедии; и — полета над бездной; я видел — грядущий надлом, потому что веселье, которому отдавались они, было только игрой, своего рода *commedia dell'arte*^{*}, не более...

Л. Д. и А. А. были молоды; оба пылали расцветами красоты, сил, здоровья; но вместо тепла в жизни их я расслышал вихрь холода, подхватившего их и помчавшего путем «*артистизма*»; вот слово, которое определяет то именно, чем, казалось, жили они: артистизм,

^{*} Итальянская комедия масок.



театральность; да *действие*, о котором мечтали мы некогда вместе, теперь наступило для них; но это *действие* их не оказывалось мистерией, а *commedia dell'arte* оно оказалось...

Боль я почувствовал под весельем, под легкомысленным стилем Л. Д.; мне однажды она говорила в ту пору, что многое она вынесла в предыдущем году; и что не знает сама, как она уцелела: и от А. А. очень часто я слышал намеки о том, что они перешли Рубикон, что назад, к прошлым зорям возврата не может быть; я понимал, что пока проживал за границей, в жизни Л. Д. и А. А. произошло что-то крупное, что изменило стиль жизни; однажды, придя рано к Блокам, застал я в постели их; я дождался их в смежной комнате; тут раздался звонок: появилась Марья Андреевна*; мы с ней встретились впервые; она все расспрашивала меня о заграничном житье моем; и потом перешла на жизнь Блоков; и тут закивала с какою-то вещью грустью:

— Да, да: уж не то, уж не то... Нет цветочности... Вы, вероятно, заметили?

— Что?

— Да не та эта жизнь: облетели цветы, поизмялись... Мне Марья Андреевна показалась какою-то вещью: ну, паркою, что ли: с досадою я на нее посмотрел. В это время раздался мучительный, хриплый кашель А. А. за стеною; мне стало не по себе; этот — пустяк; но в оттенке его мне послышалось столько страдания...

Скоро вышел А. А., очень желтый, с мешками под сонными и, как мне казалось, страдающими глазами; он говорил хриплым голосом; голос его стал не тот, каким прежде он был: стал грубее он, стал таким хриплым он.

Я Александру Андреевну в эти дни в Петербурге не помню; быть может, ее не встречал я у Блоков; поэтому я заключал, что между ней и Л. Д., вероятно, — не лады.

Но почти я всегда натякался по вечерам на артистку театра Комиссаржевской, Веригину, которая по моим представлениям очень дружила с Л. Д.; очень часто встречал я и Волохову (тоже артистку, того же театра), дружившую очень с А. А. Волохова, Веригина — вот наше общество; порою встречал и Ауслендера, с которым носились артистки театра Комиссаржевской. Театр стоял в центре всей жизни А. А.; очень часто туда уходил он. Однажды меня он позвал с ним: смотреть «*Балаганчик*», дававшийся после — «*Чуда Св. Антония*» Метерлинка. Приехавши, мы застали еще представление «*Антония*», которое видел я и которое не любил; мы поэтому забрались в буфет: пили вместе коньяк; видел я, что А. А. возбужденный, встревоженный чем-то (какими-то личными переживаниями, связанными с театром) пьет: рюмка за рюмкою; я опьянел очень скоро; А. А. выпил больше, чем я, но совсем не пьянел; скоро он, посадив меня в первом ряду, быстро скрылся (ушел за кулисы); смотрел

* Бекетова.



«Балаганчик» один: я был пьян; и из первого ряда кивал я артистам; я помню, как сквозь туман, что А. А. появился в пустом бенуаре налево; и ласково, дружески покивав, быстро скрылся; я более в этот вечер не видел его, на другой уже день мне А. А. говорил:

— Мне рассказывали артистки, что ты сидел развалиясь; и курил папиросу — пред самую сценою...

Этого я не помню.

Другой раз поехали вместе мы (Л. Д., А. А. и я) на первое представление «*Пелеаса и Мелисанды*»; перед началом спектакля к А. А. забегал очень, очень взволнованный Мейерхольд; поднимаюсь на цыпочки и кивая изогнутым носом, хватался за голову он, восклицая:

— Да что: прыгать в бездны, — вот что теперь надо.

Он очень взволнован был предстоящей премьерою; представление мне не понравилось вовсе; был весь Петербург; мне запомнился в этот вечер А. А.; я его наблюдал издалека, в антракте: в фойе; он стоял у стены и помахивал белую розою, разговаривая с какою-то дамою, на него належавшей; стоял он, подняв кверху голову и обнаруживая прекрасную шею, с надменною полуулыбкою, которая у него появилась в то время, которая так к нему шла; его черный, прекрасный сюртук, не застегнутый, вырисовывался тонкою талией на фоне стены; шапка светлых и будто дымящих курчавых волос гармонировала с порозовевшим лицом; сквозь надменное выражение губ я заметил тревогу во взгляде его; помахивая белую розой, не обращал он внимания на належавшую даму, блуждая глазами по залу; и точно отыскивая кого-то; вдруг взгляд его изменился; стал он зорким; глазами нацелился он в одну точку и медленно повернул свою голову: тут он мне опять напомнил портреты Оскара Уайльда. Глядел на него я и думал, что вовсе не узнаю его, прежнего: где застенчивость, робость и детскость, которые так явственно выступали в нем; «*светский лев, а не Блок*» — так мне думалось; он же, все целился взглядом во что-то, рассеянно очень откланялся и быстрыми, легкими, молодыми шагами почти побежал чрез толпу, разрезая пространство фойе; развевались от талии фалды его незастегнутого сюртука.

Мне запомнился этот образ: как будто смотрел он не в зал, а чрез зал — в вихрь метели: и когда побежал он, то побежал, как во тьму «*моего города*»; почему-то я вспомнил слова посвящения первого издания «*Снежной Маски*»: «*Посвящаю эту книгу женщине с крылатыми глазами, влюбленной во тьму... моего города*» (так кажется). Про А. А. говорили в то время, что он — влюблен.

В тот приезд свой я очень любил А. А. Но говорил с ним я мало; мне было — так грустно; я чувствовал: жизнь, им лелеемая, — не настоящая жизнь; это легкий запой над подкрадывающейся к нему новой драмой сознания; и он знал, что я думаю; он как бы просил меня:



— Не разочаровывай: сам отдайся той жизни, которую я здесь веду. И Л. Д. мне говаривала не раз:

— Приезжайте же, будет весело...

Мне весело не было: наоборот, было — грустно...

У меня создалось впечатление: в это время А. А. относился пре-красно ко мне; но ему все казалось, что идеология москвичей мне губительна... в его представлении, вероятно, меня надо было изъять из столь вредной, абстрактной, в полемику вталкивающей атмосферы; и — приобрести: живой жизни; под эту жизнь в моем представлении он разумел «*артистизм*»; и — кулисы театра Комиссаржевской; но именно: в этой кулисной, обманчивой жизни я видел лишь пыль — пыль «*кулис*»; да: в моем представлении не я, а А. А. подменил жизнь живую кулисными «*суррогатами*» жизни; я видел, что спорить нельзя с ним; и я позволил завлекать себя в эту мне вовсе не близкую жизнь, наблюдая ее; и, естественно, не поддаваясь обману. Поэтому мы, превратившись в «*политиков*», не говаривали напрямик, а — таились; любил я А. А., но не верил пути его; мы оставались в противоположных и даже враждебных партиях; и тем не менее часто бывало уютно нам вместе; я помню, что часто просиживали вечерами у Блоков мы впятером: я, Л. Д., А. А., Волохова, Веригина, милая, молодая блондинка, дружившая очень с Л. Д. В ней мне виделся юмор, задор, доброта; с ней легко было; Волохова — не то: очень тонкая, бледная и высокая, с черными, дикими и мучительными глазами и синевой под глазами, с, руками худыми и узкими, с очень поджатыми и сухими губами, с осиную талией, черноволосая, во всем черном, — казалась она *reserve**. Александр Александрович ее явно боялся; был очень почтителен с нею; я помню, как встав и размахивая перчатками, что-то она повелительно говорила ему, он же, встав, наклонив низко голову, ей внимал; и — робел:

— Ну — *пошла*.

И шурша черной, кажется, шелковой юбкой, пошла она к выходу; и А. А. за ней следовал, ей почтительно подавая пальто; было в ней что-то явно лиловое; может быть, опускала со лба фиолетовую вуалетку она; я не помню, была ли у ней фиолетовая вуалетка; быть может, *лиловая*, *темная* аура ее, создавала во мне впечатлительные вуалетки; мое впечатленье от Волоховой: слово «*темное*» с ней вязалось весьма; что-то было в ней — «*темное*».

Мне она не понравилась.

Тем не менее были уютны и веселы вечера, проведенные вместе...

Люба — А.А. Кублицкой-Пиоттух.

14 октября 1907. Петербург

...Если бы Вы знали, что за страшная суетня. Ни одного дня (совершенно буквально ни одного), когда бы я не должна была ду-

* Сдержанная (*фр*).

мать, что — вот через час придет тот-то, а потом надо то-то, и так сплошь до вечера... В последнее время был Боря в Петербурге... Боря, в сущности, хороший и можно его обласкать, когда он будет жить в Петербурге, он ведь переезжает, но пока по-прежнему влюблен, и это сильно его портит. Вообще — странные влюбленные... Раз вечером, после «Пеллеаса» были у нас: Наталья Николаевна*, Валентина Петровна**, Боря, Ауслендер и мы. Все влюбленные, у всех воля и искания, все напряженные и беспокойные. Я была одна среди них; я называю себя «обреченной», живу без воли своей, без хотений, а ведет меня моя дорога, и я спокойно жду тех этапов, куда приведет...

Бекетова. 14 октября 1907. Петербург

Была у детей. Видела Борю. Говорила совсем хорошо. Много про Сережу***. Боря меня не шокировал и туману не напускал. Поэт он, да. Люба не понравилась. Недобрая и грубая. Ничего моего не понимает. Бог с ней. Ей, верно, трудно. Устала, не поощряют, ревность. Саша в лучах своей славы. Тих и кроток.

Белый. Дела вызывали в Москву (был октябрь уже). А. А. звал меня жить в Петербург.

— Приезжай, Боря, к нам...

— Тебе вредно застрять в вашей душной Москве.

А Л. Д. прибавляла:

— Истерики там, у вас.

— Приезжайте сюда...

— Будет весело...

— Обещаю вам это...

— Увидите сами...

И я обещал, что приеду: переселюсь в Петербург.

Я поехал в Москву ликвидировать все дела; и — и скорей перебраться; приехав в Москву, я застрял; очень странно: я прежде стремился к А. А. и Л. Д., а теперь переезд в Петербург — не пленял меня как-то; во-первых: меня не пленяла жизнь Блоков; я видел, что в жизни А. А. происходит какой-то разгром; предотвратить его не было в силах; я думал о том, что я буду, приблизившись к Блокам, в глухой оппозиции; наконец, ощущение, что еще предстоит объяснения с Л. Д., останавливало мой пыл переезда; во мне постепенно откладывалось недоверье к Л. Д.; переменились отношения наши друг к другу; как в 1906 году я, дружа с Л. Д., чувствовал отдаление от А. А., так теперь: примирившись с А. А., явно чувствовал я недомолвки с Л. Д.

Кроме этого: Мережковские, единственно близкие мне из петербуржцев в то время (кроме А. А.) проживали в Париже;

* Волохова.

** Веригина.

*** Соловьева.



с Ивановым* я разошелся идейно; и — видеть его не хотел; круг Иванова, пресловутая «*башня*», был чужд мне; я, в сущности, в Петербурге остался один бы; наоборот: в Москве — крепили все связи мои...

И — наконец: философские интересы мои находили пищу в Москве...

Словом: в Москве для меня жизнь кипела. А Петербург того времени был мне враждебен и чужд; только Блоки влекли меня, но... но... но...; и — все-таки: я в Петербург переехал.

Остановился я на Васильевском Острове, в меблированных комнатах, против моста; из окон моих открывался унылейший вид на Неву, к тому времени полузамерзшую: стоило перебежать этот мост и — я попадал прямо к Блокам; но к Блокам, представьте, я мало ходил; обнаружились тотчас же мои контры с Л. Д.; и настолько серьезные, что и мрачно засел в своей комнате и с отчаянною решимостью застрочил нападательную статью на театр...

А. А. был в вихре своих увлечений и, видя контры мои с Л. Д., мягко старался стоять в стороне он; мы с ним дружили издалека; но более, чем когда-либо, расходились в путях. А с Л. Д. я имел очень крупное объяснение...

Я, как Фома, таки палец вложил в рану наших мучительных отношений; и я убедился, что суть непонятого в Щ.** для меня в том, что Щ. пониманья не требует: все — слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней.

Я-то?

Последнее мое правдивое слово к Щ.:

— «Кукла!»

Сказав это слово, уехал в Москву, чтобы больше не встретиться с ней; все ж мы встретились лет через восемь; и даже видались, обмениваясь препустыми словами; вопрос был решен; и, стало быть, надо было при встречах с приличием лишь отбывать разговор, как при «даме»; известно, что их пропускают вперед, подают стуло им...

Мы с А. А. находились в дружеской переписке; но мы чувствовали, что говорить и видаться — не стоит. И уже понимал, что отделились друг от друга без ссоры мы; медленно замирало общение наше, чтобы возобновиться лишь через несколько лет; наступала страннейшая мертвая полоса отношений (ни свет и ни тьма, ни конкретных общений, ни явного расхождения)...

Письма писали друг другу мы редко; и, наконец, — перестали писать...



* Вячеславом.

** Любе.

Глава XIX. Сублимация пажжа

Бекетова. 24 октября 1907. Петербург

Только что была на Галерной*, чтобы проститься с Алей. Вечер прошел невыносимо. Саша гулял, потом пришел злой. Люба почти спала. Аля, не знаю, как и сказать. Молчали и сидели, как на похоронах. Наконец, стала собираться. Он сказал, что с ней поедет. Оделись, расцеловались. Люба осталась дома. Она ее нежно расцеловала и несколько раз сказала: «Спасибо тебе, малютка». Я стала ее целовать – холодно и бесстрастно подставила она мне свое лицо. Вышли на улицу. Она мне сказала, поцеловав меня сама: «Прощай, может быть, когда-нибудь еще увидимся, а м. б. и нет» со своей старой, новой улыбкой. Я с этим осталась, а они уехали.

Любе она говорила: «Стоило приезжать, я уезжаю ободренная» (конечно, с иронией). Ясно. Была она у меня третьего дня, сама пришла ко мне, не захотела в театр и много о себе говорила; сначала не хотела, потом все сказала и на другой день говорила, что легче стало. Говорила, что нет у нее ни кола, ни двора, что она себя погубила, что жизнь в Ревеле** безобразный сон, что все в ней тупо; радость была только при первом свидании с Сашей и Любой и когда ехала в Ревеле на вокзал. Что одно бы могло ее возродить, если бы дети ее очень любили и ласкали, а они только гуманны, она им не нужна. Что теперь трудный перелом, она потеряла старое и не нашла нового. Просилась жить со мной и Аннушкой.

На другой день у них она мне сказала, что выспалась и, кроме того, после разговора со мной стало легче. Я успокоилась за действие своих слов, но увидела, что Саша злой и тяготится домашними. Было много гостей. Саша был сначала груб с Любой. Потом все пришли. Его загребастала на весь вечер Мусина***. Поздно пришли молодые актрисы. Н. Н.**** «заслонила всех нарядных, всех подруг». Нельзя ее не любить, Люба перед ней совершенно меркнет, несмотря на всю свою прелесть и юность. Та какого-то высшего строя. Не от того ли он такой злой? Ведь она, кажется, холодна. А тут жена влюбленная и мать обожающая. Но что же теперь будет! Она уехала с мыслью о смерти. Слыхал ли он, понял ли и если понял, поднимет ли ее умирающую и оживит ли?

У нее все в нем, и ничего, кроме этого.

Ведь он бы мог одним словом ее оживить, но найдет ли он его? Слишком влюблен для этого.

Если бы он нашел свое слово! Ведь это бывало прежде. Есть еще у меня надежда...

* Очередное «пристанище» Блоков.

** Мать Блока уехала к месту назначения мужа.

*** Актриса.

**** Волохова.



11 ноября 1907. Петербург

Сегодня вечером, прогуливаясь изрядно, с опаской отправилась к Блокам. Меня ждала удача: дома один Блок. «Тетя, это ты, посиди». Я, конечно, посидела. Встали они в 3 часа, после вечера у Ремизова. Люба где-то в театре, а он в ½ одиннадцатого пойдет с Н. Н. в ресторан. Пили чай. «Тетя, хочешь пирога?» Детские вопросы и взгляды, дорогое личико с матово-золотыми кудрями. Рассказал мне все новости... дорого продал драмы, написал цикл стихов для «Весов». Прочел мне; хорошо, но не ново и не первосортно для него. Где лучше, где хуже. «Маска» была сильнее. Но все она и она, лучезарная. Насколько могу понять, он безумствует, а она не любит или холодна и недоступна, хотя и видятся они беспрестанно. Вида страдающего он не имеет, хотя в одном прекрасном стихотворении описано, как тянет холодная бездна воды, а в другом монах молчалив и спокоен и никто не подозревает, что она сказала ему «молчи» и никакие молитвы не нужны, когда ты ходишь за рекой. А Люба что? Мусина больна, уроки не бывают, много планов, ничего не клеится, но она «начинает влюбляться в Ауслендера». Итак, она не победила Н. Н., и сама как будто опять готова мимолетно увлечься. Не велика она в любви. Так ли любят истинные женщины?..

Жажда жизни и успехов сильнее всего остального... Ее женственность внешняя, неглубокая... Нет, где уж ей тягаться с Н. Н. и прежней Алей. Люба прелестна, но кокетство ее неприятно и резко, и это плохой признак.

А Н. Н. и кокетство не нужно. Она и не кокетничает, это ей бы не шло. Она ведет себя совершенно так, как ей нужно и с полным спокойствием и серьезностью, без суровости и без резкости. Ее глаза говорят, ее улыбка сверкает, ее тонкий стан завлекает, несмотря на худобу. Вот уж подлинно: «La megrure même était une grâce»*. Поэт нашел свою «Незнакомку». Это она. Да, бывают же такие женщины!..

Блок-А.А. Кублицкой-Пиотгух.

27 ноября 1907. Петербург

Мама, сейчас вот ночь, и я вернулся рано, по редкости случая — трезвый, потому что Наталья Николаевна не пустила меня в театральный клуб играть в лото и пить. Сижу и жду Любу, которая уехала куда-то с Чулковым, потому могу тебе написать спокойно — есть время... 30-го мы с Натальей Николаевной читаем, в концерте... 6-го читаем «Незнакомку» в «Новом театре» по ролям... Днем я теперь пишу большую хронику в «Руно», а Наталья Николаевна занимается ролью, а по вечерам мы видимся — у нее, в ресторанах, на островах и прочее. Снег перепадает, и резкий ветер. Я чувствую себя бодро и здорово, ко мне приходят, помимо приглашателей на концерты, от которых я стал отказываться, — начинающие писатели. Я даю

* «Сама ее худоба была прелестна» (фр.)



им советы, чувствую, что здоровые и полезные, они рассказывают о публике, о провинции: люди иногда простые, всегда — бездарные.

Я почти поверил тебе, что стихи мои плохи. Люба и Наталья Николаевна уверяют меня в противоположном, но мне кажется, что с лета я не написал ничего ценного, и вообще ценность моя — проблематическая; но мода на меня есть (пока мы были в Ревеле, устроила публика скандал на концерте из-за того, что я не «прибыл»)… Знаешь ли ты, что Люба едет с Мейерхольдом на пост и на лето в поездку (с труппой)… потом — на Кавказ, потом, может быть, в Крым с Натальей Николаевной (летом). Она уже условилась с Мейерхольдом. Будет играть в провинции Коломбину, выходные роли и хочет — Клитемнестру. Наталья Николаевна останется первый месяц поста здесь, а потом присоединится к труппе (на Кавказе). Может быть, и я поеду?..

Веригина. Екатерина Михайловна Мунт пригласила всю нашу компанию на свои именины. Мы решали их отпраздновать необычно. Кому-то пришла мысль устроить представление — импровизацию. Сценарий начали сочинять все вместе у Блока и продолжали у Мейерхольда. Придумывал все главным образом Блок, и в конечном счете осталась его редакция. Самое чудесное во всем этом и было выдумывание сценария.

Александр Александрович сидел в конце стола на председательском месте, мы все вокруг. Мейерхольд, ходивший по комнате, давал от времени до времени смешные советы… Сологуб — издевательские; тут он несомненно мешал. У Блока было, как всегда в таких случаях, озорное выражение глаз и мальчишеский рот. Он важно заносил на бумагу схему, по его словам, исходя из характера дарований…

У Мейерхольда, по его просьбе, роль была бессловесная. Он говорил сочинителям:

— Нет, господа, я боюсь, я не могу импровизировать. Блок на это сказал:

— Хорошо, вы будете изображать молчаливого любовника, который всех целует.

Так и было решено.

Интрига развивалась между ревнивым мужем, невинной женой и некоей подлой в красном. Эта злодейка, влюбленная в ревнивого мужа, должна была предложить невинной жене отравленное молоко и говорить монолог к «месяцу щербатому». Наташе надлежало говорить слова из другой пьесы, никак не относящиеся к мелодраме, предоставив, таким образом, остальным действующим лицам выпутываться из создавшегося положения. Задача молчаливого любовника в маске состояла в том, чтобы мешать актерам своими неуместными поцелуями, а помощь приходила от Ремарки, которая могла объяснять зрителю, что актриса, изображающая



Наташу, совсем не должна была появляться сегодня, что она это сделала по забывчивости, и многое другое, когда актеры придут в замешательство. Репетиций не было ни одной. Блок сказал, что иначе это не будет импровизацией, — как выйдет, так и выйдет...

Настал день представления. Мунт жила на Алексеевской, вместе с Мейерхольдами. Собралось довольно много народу, все наши друзья, разумеется...

Начал представление сам Блок — Некто в черном. Он вышел в черном плаще со свечкой, которую держал перед собой. Подражая андреевскому прологу из «Жизни Человека», он начал страстным голосом: «Вот пройдут перед вами: ревнивый муж, опирающийся обо все косяки, совершенно невинная жена, вяжущая чулок, некая подлая в красном, и Наташа не из той пьесы, и молчаливый любовник» и т. д. Он ловко закончил пролог, не рассказав ничего о пьесе, потому что сам не знал, чем она кончится.

Некто в черном стоял перед занавесом, который был сделан из шалей. Когда пролог кончился, Блок остался совсем близко у кулисы или, вернее, у занавешенной двери, сбоку, чтобы руководить представлением.

Открыли занавес. Невинная жена в пачках с добродетельным чулком на спицах ходила на пуантах, прилежно вязала, вздыхала об отсутствующем муже и рассказывала зрителям о своей невинности. Когда Блок нашел, что она рассказала о себе достаточно, на сцену был выпущен Ревнивый муж. Он громко вздыхал, стонал, заламывал руки, опираясь о косяк двери. Невинная жена, чтобы спастись от первой вспышки ревности, поспешно набросила на голову шарф и хотела уйти, как вдруг навстречу ей устремился Молчаливый любовник в черной маске и, как-то механически разводя руками, обнял ее и поцеловал. Бросив полный страха взгляд на Ревнивого мужа, она быстро удалилась на носочках в ужасе, как Эсмеральда, не забыв, впрочем, вытереть щеку после поцелуя маски. Между тем Молчаливый любовник с мрачным видом проследовал дальше по сцене, по дороге поцеловав, кстати, Ревнивого мужа. Последний отмахнулся от него, как от мухи, добросовестно оперся обо все косяки и, завернувшись в плащ, застыл в позе отчаяния. Тут вышла Некая подлая в красном и стала всячески стараться обратить на себя внимание Ревнивого мужа, но это ей не удавалось. Ремарка (в костюме Снегурочки) заявила, что сейчас стол и скамью уберут, а зрители пусть вообразят, что они видят перекресток и месяц, потому что Некая подлая в красном должна говорить монолог на перекрестке к месяцу шербатому. Я просила Блока, чтобы он разрешил мне сказать только несколько слов: пожаловаться месяцу на холодность Ревнивого мужа, поворожить на перекрестке и кончить, но Александр Александрович неумолимо заявил:

— Нет, вы должны говорить долго, по крайней мере страницу, так полагается...

В следующем действии Некая подлая в красном пришла, закутанная в черный платок, к Невинной жене и предложила ей купить молоко, в которое был подсыпан яд. Тут вдруг появилось новое лицо, именуемое Наташей. Она была в костюме средневековой дамы из «Балаганчика», наговорила какой-то ерунды про звезды, выпила отравленное молоко, приняв его за лимонад, и, кажется, намеревалась надолго еще остаться на сцене, когда Молчаливый любовник, по своему обычаю, неожиданно поцеловал ее. Она в замешательстве поспешила уйти. Репарка сейчас же попросила публику считать, что яд не выпит, так как Наташа — действующее лицо из другой пьесы и выпущена на сцену помощником режиссера нечаянно.

Невинная жена благополучно выпила отравленное молоко и стала умирать. Тогда муж, вдруг поняв свою неправоту и придя в отчаяние, закололся на сцене, то же самое сделала Некая подлая в красном (или, вернее, в желтом), когда увидела его гибель. Молчаливый любовник задумался, соображая, кого бы поцеловать, но, вспомнив, что поцеловал всех, подошел и поцеловал Репарку, вызвав ее неожиданную реплику: «Ах ты, мерзавец! Не на такую напал». Последняя реплика не была импровизацией: ее продиктовал Блок. Он же обязал Репарку говорить бесстрастным голосом, никак не тонируя, что получалось очень смешно. Замечательно играли свои роли Молчаливого любовника Мейерхольд и Блок — Никто в черном. Он так и остался весь вечер в черном плаще, как и все мы в наших костюмах. Вечер удался — актеры и зрители остались довольны друг другом. Было как-то особенно приятно и весело...

Бекетова. 31 декабря 1907. Петербург

Была Аля и уехала. В этот раз было лучше, но все-таки нехорошо. Сама говорит, что не сумела сладить с своим положением.

Разобидела она Нат. Ник. совсем и притом незаслуженно. Ведь, в сущности, только за то, что Саша любит ее, а не Любу. Прежде она говорила, что Люба дурно влияет на Сашу; теперь Н. Н., а Люба хорошо. Где же правда? Люба с высоты своего величия говорит о том, что Н. Н. очень развилась, считая, что уж сама-то она выше всяких сравнений. А ведь Н. Н. гораздо интеллигентнее ее и тоньше, и литературнее, а говорит-то она свое, а не чужое, как Люба. Ведь Люба-то выучила все эти слова, совершенно ей несвойственные. Обе они хотят быть Джульеттами и Иордис. Увидим, что будет. Люба молодец, ведет себя с достоинством и силой, ее и жалеть не надо. Правду говорила Аля, но ведь как она здорова и как самоуверенна и влюблена в себя. Мне Н. Н. гораздо ближе, хоть, м. б., Люба и крупнее.

Я в один год лишилась Али (она не только уехала, но разошлась с ней), Саши, которого почти не вижу, живя в одном городе. Если бы не ходила туда иногда, он бы совсем со мной не видался...



Веригина. Мы доигрывали в театре свои роли в постановках Мейерхольда, а репетировали на квартире Мунт пьесы для гастролей: Мейерхольд и второй режиссер Унгерн предпринимал поездку по западным и южным городам. Всеволод Эмильевич пригласил Любовь Дмитриевну Блок на роль Клитемнестры в «Электре» Гофмансталея. Она с радостью дала согласие и стала посещать репетиции. Любовь Дмитриевна раньше была уже на драматических курсах Читау, а в этом сезоне усиленно занималась постановкой голоса, декламацией и танцами. В ней дремал громадный стихийный темперамент. Блок знал это, и ему сделалось страшно, когда она захотела пойти своей дорогой...

Н. Н. Волохова мне говорила, что Блок хотел ехать с нашей труппой, чтобы не расставаться с ней. Н. Н. тогда запротестовала, найдя, что это недостойно его — ездить за актерами, а также сама не хотела показываться в будничной обстановке между репетициями и спектаклями, когда приходится возиться с тряпками и утюгом. Она хотела уберечь его от вульгарного. Наталья Николаевна говорила мне, что сказала Блоку нарочно в очень резкой форме. Она слишком уважала поэта для того, чтобы позволить ему унижаться. Однако он не понял ее и обиделся — это была их первая размолвка. В поездке Волохова постоянно получала от него письма в синих конвертах...

Тата – З. Гиппиус. 18 января 1908. Петербург

...О Боре пока не пишу. На его лекции были о искусстве будущего. Мне Любу жалко, потому что она одна. Борина любовь не совсем здешняя, берет Любу хорошую, а дурную высокомерно презирает. Может быть, Люба в себе свою гнусность и презирает так же, но из гордости нарочно ее усиливает. Скажешь — не интересно, психология. Надо, по-моему, не принимая гнусность, как-то изживать-то ее вместе, в трудности быть вместе. Хотя не смею ничего утверждать, потому что не знаю, как быть *реально*. Я думаю, что те, кто любят, и могут только искать путей друг к другу. А что Люба Борю любит — это я знаю. Может ему делать всякие пакости — из гордости. И себя в гнуснейшем виде ему показывать. Свободу хочет себе для себя взять. Не смотрю на нее с «нашей точки зрения», то есть для чего ей свобода и т. д. Просто такой человек. И душа человеческая. На нее какие-то надежды ты возложила. Это ни к чему. Не знаю тут, пока больна — ужасна...

У меня был Боря. Он вам не пишет оттого, что должен был бы писать о себе в связи с Любой, а это невозможно, потому что сложно и он боится всяких химер, на расстоянии возникающих. Он ничего теперь, сильнее, проще и спокойнее... Был у Блоков вчера вечером, но Любу не видел, она спала. Говорит, Блок — растерянный, слабый и милый. Он его любит...

Тата – Белому. 17 февраля 1908. Петербург

Боричка милый, получила ваше письмо, хотя не сейчас же отвечаю, но постоянно думала о вас. Я ждала — не увижу ли Блоков — все к ним собиралась, да не удавалось никак. Наконец, третьего дня днем зашла — выбрала время — никого дома не застала из них. Люба уехала вчера. Блок какой-то внутри печальный. Плохо ему, должно быть. (Мне говорили о нем, я не видала.) Мне очень досадно, что я Любу не повидала. Хотя я бы хотела ее увидеть одну, а я не думаю, чтоб она этого хотела. А на людях — к чему?..

Думала о Любе, что ведь в чем-то человек сначала сам для себя должен утвердиться и понять. Я смотрю на Любины выкрутасы (если она нашла себе дело действительно, то это уже не выкрутасы, а хорошо) как на известный рост личности самой для себя. Она еще для себя ничего не знает — как одна. Боря, вы думали о ее жизни? Она сначала была некрасивой дочерью (не она лично) знаменитого Менделеева, затем прекрасной дамой (не она лично), затем женой Блока (не она лично), тоже знаменитого, затем бы перешла к вам, опять к Андрею Белому. А она — все мощница, сама ничто и дела никакого. Все выкрутасы — бунт. А искверканные «безобразы» оттого, что она ломает себя, внутри хорошее в себе как бы задавливает. И вас боится, как свидетеля этого хорошего. Это я все заключаю (м. б. неверно) по разным отрывкам из разговоров. Она человек, который не хочет быть раскрытым раньше времени — пока не вырос. Лгать будет скорее, только бы не подглядели, какая она. Боричка, я все про нее. Мне ведь это тоже важно, я не только для вас, для меня это важный вопрос; как разрешится. Есть ли во что верить на свете?..

Тата – З. Гиппиус. 2 февраля 1908. Петербург

...Боря с Любой не кончил. И не кончит. Ты говоришь — как мне не надоело «подыгрывать» ему и Блокам. Очень ведь заманчиво, да и легко восстать и в одну линию все вытянуть — только, помоему, в этом известная скудость, бедность взгляда получается. Припечатала, что знаешь. Конечно возмущение и стойкость — ненарушимая. Но как не заглянуть в человека, чтобы узнать — как ему-то быть с этим. Не я на его месте — а он на своем, если бы он взял истинный взгляд. Как иначе? Как ему по правде быть? Я утверждаю совершенно определенно, что Борю одного, вне его к Любе отношения брать нечего, потому что можно взять только пол-Бори. В жизни, в близости, в действии. Может быть, он ближе к вам, когда вдали, потому что ему-то кажется, что его дело соединенное связано с Любой (с его любовью к Любе)...

Не могу я отрицать Любу для него, с легким сердцем. Чую здесь Борину личность и ее храню. Он что-то об этом знает. Сам он делается тяжелее и лучше от всей этой трагедии и ближе к вам,



потому что сам все серьезнее и серьезнее. Последний приезд сюда... он не видал Блоков совсем...

17 февраля 1908. Петербург

... По-моему, с Борей так. Он Любу любит — соединил ее с самим собой, с самым для себя существенным. Люба, как мне кажется в глубине, еще, может быть, бессознательно тоже Боря одного любит. Она же говорит ему, что нет, и пока, кажется, все разорвали. Люба уехала на Кавказ, Боря в Москве. Здесь после приезда не видались. Боря она боится, как свидетеля своей сущности и ее отношения к нему, и, как бесноватая, прячется, комедианничает *<так!>*. Весь плюс, все хорошее для нее добродетелью представляется, а грех нечто привлекательное, и как бы соблазнительное. Просто не жила и разобраться ни в чем не может. Кроме того, я думаю, у нее жажда дела — она и кинулась в драматическое искусство с жаром. Может быть, желание честолюбивое, потому что она жила до сих пор то в виде некрасивой дочери знаменитого Менделеева, то в виде Прекрасной Дамы, то в виде жены знаменитого Блока. То, наконец, предлагает быть возлюбленной знаменитого Андрея Белого. Человеку надо самому себя сначала найти, быть собой, вырасти, быть чем-нибудь. (Я по разным отрывкам разговора с ней это заключаю, о желании быть самой собой.) Какой-то личностью сначала. Хоть дурной, да право иметь перед собой, *во-первых*, и уже перед другими, *во-вторых*...

Люба – Блоку. 19 февраля 1908. Витебск

...Была уже «Беатриса» и «Балаганчик». Очень для меня незаметно, как на репетиции, а успеха не было никакого... играли мы нехорошо. Перед «Балаганчиком» случился скандал: занавес еле поднялся на аршин и не пошел дальше, пришлось спускать большой и начинать опять, это очень помешало зрителям. После него не аплодировали, как и после «Беатрисы», всего несколько хлопков. Мейерхольд так волновался, что, играя священника в Беатрисе, вышел и забыл все слова, начал подавать усиленные сигналы суфлеру. Суфлер у нас очень смешной, пьяница... Вообще же у нас общий тон ужасно рабочий, целый день репетиции, все страшно устали, искусства как-то совсем не видно. Или работа, или хохочем как-то безрассудно, для отдыха... Витебск смешной, точно большой Клин, и одна улица из Москвы, на которой мы живем в гостинице Бристоль, самой лучшей. У меня настроение очень странное — только работа, работа и очень приятно, когда можно посидеть, отдохнуть, и все забывается. С трупной дружественные отношения... Вампира сыграла, говорят все, что хорошо, и мне приятно было, хотя весь спектакль шел ужасно, все путали все. Но публике нравилось...



Блок – Любе. 20 февраля 1907. Ревель

... Послезавтра я уеду отсюда и в субботу буду в Петербурге.

Пишу тебе с ревельского вокзала. По вечерам бываю тут или в кабачке и пью пиво. А днем — занимаюсь. Вообще — невесело. Результат — мы с мамой приготовили сборник стихов...

Чувствую себя грустно и пусто, хотя разговариваю с мамой. Должно быть, вообще, я сильно устал. Как-нибудь бы отдохнуть, пожить иначе и в новых местах.

Меня очень занимает, как ты играешь, довольна ли ты игрой, и можешь ли сделать какие-нибудь заключения. По тому, что ты не пишешь, я заключаю, что ты очень поглощена. Но не расстроена ли, беспокоюсь...

Люба. 25 февраля 1908. Витебск

...Очень красивый Витебск, а мы и не знали ничего, кроме двух улиц до театра. Замучилась я совершенно за неделю от усталости, но сцену почувствовала только раз — когда очутилась в кресле одна перед театром в роли старушки в «Жизни Человека». Это была сцена, и такой позор от того, что я не играю так, как надо, что то, что я делаю, не искусство, что я вернулась в уборную, забила в угол и долго ничего не было, кроме рыданий от всей глубины души. Но меня наши все принимают очень всерьез как актрису, это очень приятно и я горжусь. Относятся ко мне хорошо все, а часть — Зонов, Костин, Гибшман и Давидовский, которые все живут вместе и называют себя «наша квартира», — и особенно, не без влюбленности, о чем очень смешно говорит Зонов. С Давидовским я затеяла легкий флирт, без этого невозможно: чтобы выносить всю эту безумную работу целого дня, все взвинчивают себя, по всем уборным беззаботный смех, хотя всем жизненно очень скверно, но тут все отпадает, от души и смех за кулисами, от души и флирт — но в той же области. До чего это реально — «актерский мир». До чего обоснован он, из всего человеческого существа, попавшего в такие условия, как работа на сцене, — по себе уже чувствую. За эту неделю игры как-то все свое прежнее было замкнуто, и жило все другое, и тоже настоящее и хорошее, право, потому что тоже чистое, тоже обоснованное. Все дело в том, чтобы за актерством не потерять свою человеческую душу, чтобы всегда можно было ее вскрыть в себе, а если и еще душа актрисы — еще богатство, еще новое. Рассказывать факты не буду, ты узнаешь их от Н. Н., милый. Клитемнестра прошла все-таки мало заметно для меня... Напиши в Минск, мы едем завтра. Мне будет еще роль интересная в пьесе Гамсуна «У царских врат», невеста... Сегодня много говорили с Мейерхольдом... о театре. Мейерхольд хороший в конце концов, право...



Люба. Он не был красив, паж Дагоберт*. Но прекрасное, гибкое и сильное, удлинненное тело, движенья молодого хищного зверя. И прелестная улыбка, открывающая белоснежный ряд зубов. Несколько парализовал его дарование южный акцент, харьковское комканье слов, с которым он не справлялся. Но актер превосходный, тонкий и умный. Впоследствии он поднялся очень высоко в театральной иерархии. Но в тот сезон он был еще начинающим, одним из нашей молодой группы, из которой выросли кроме него таланты К. Э. Гишмана, В. А. Подгорного, Ады Корвин, среди которой была я, подававшая не меньше надежды и так глупо загубившая все.

В нем и во мне бурлила молодая кровь, оказавшаяся так созвучной на заветных путях.

В тот день, после репетиции и обеда, немногие оставшиеся до спектакля часы, мы сидели в моем маленьком гостиничном номере, на углу диванчике. Перед нами на столе лежал, как предлог для прихода ко мне, какой-то французский роман. Паж Дагоберт усовершенствовался в знании этого языка, а я взялась ему помогать, чтобы избежать поиска слов в словаре, на которые, действительно, уходит много времени, а его было у всех нас очень мало. Однако и для нас не «прошли времена Паоло и Франчески...» Когда пробил час упасть одеждам, в порыве веры в созвучность чувств моего буйного пажа с моими, я как-то настолько убедительно просила дать мне возможность показать себя так, как я этого хочу, что он повиновался, отошел к окну, отвернувшись к нему. Было уже темно, на потолке горела электрическая лампочка – убогая, банальная. В несколько движений я сбросила с себя все и распустила блистательный плащ золотых волос, всегда легких, волнистых, холеных. В наше время ими и любовались, и гордились. Отбросила одеяло на спинку кровати. Гостиничную стенку я всегда завешивала простыней, также спинку кровати у подушек. Я протянулась на фоне этой снежной белизны и знала, что контуры тела еле-еле на ней намечаются, что я могу не бояться грубого, прямого света, падающего с потолка, что нежная и тонкая, ослепительная кожа может не искать полумрака... Может быть Джорджоне, может быть Тициан... Когда паж Дагоберт повернулся... Началось какое-то торжество, вне времени и пространства. Помню только его восклицание: «А-а-а... что же это такое?» Помню, что он так и смотрит, издали, схватившись за голову, и только умоляет иногда не шевелиться... Сколько времени это длилось? Секунды или долгие минуты... Потом он подходит, опускается на колени, целует руку, что-то бормочет о том, что хочет унести с собой эти минуты, не нарушив ничем их восторга... Он видит, что я улыбаюсь ему гордо и счастливо и благодарным пожатием руки отвечаю на почтительные поцелуи.

На спектакле, конечно, мой паж Дагоберт уже ходит чернее тучи, так смотрит, что я бегу от него, боюсь, что бьющая меня ли-

* Константин Давидовский.



хорадка будет слишком заметна другим. И все же где-то на сцене он успеваает почти проскрежетать около моего уха: «Теперь-то я уж больше не уйду»... И начался пожар, такое полное согласие всех ощущений, экстаз почти до обморока, экстаз, может быть и до потери сознания – мы ничего не знали и не помнили и лишь с трудом возвращались к миру реальности.

И все же первые минуты остаются несравненными.

Это безмолвное обожание, восторг, кольцо чар, отбросившее, как реальная сила – этот момент лучшее, что было в моей жизни. Никогда я не знала большей «полноты бытия», большего слияния с красотой, с мирозданием. Я была я, какой о себе мечтала, какой только надеялась когда-нибудь быть.

Это ли не «сублимация»? Влекло нас, молодых и нравящихся друг другу – желание. Отбросило его от меня мое собственное отношение к моему телу, к торжественному для меня моменту – показать его тому, кто должен был увидеть так, как я себя видела. Все могло сорваться, если бы он был «не тот».

Неужели бывают люди одинаковые, понимающие друг друга во всем и живущие общей жизнью с головы до пят? Неужели бывает это счастье? Я его не знала. С каждым была только одна какая-нибудь область общая, понятная. Даже потом среди просто «любowników»: со всяким по-разному и только одна общая струна.

Паж Дагоберт был мне самым близким в святом-святых моей жизни. В нем жило то же благоговение перед красотой тела, и страсть его была экзатична и самозабвенна. Пусть благодарность за эти шаги живет на этих, порою слишком жестких страницах. Я благодарна Вам и сейчас, на старости лет, паж Дагоберт, никогда этой благодарности не теряла, пусть и разошлись мы так скоро и так трагично для меня...

Блок – Любе. 23 февраля 1908. Петербург

...Я очень много думаю о том деле, которым ты занята. У меня очень широкие и определенные планы в будущем. Вкратце — вот в чем дело: интеллигентный театр приходит к концу. Та интеллигенция, для которой играет теперь вы и остальные,— одинаково не может быть показателем реальности театрального дела...

Реальную почву может иметь теперь, конечно, только *народный театр*, в самом широком смысле (фабричный, сельский, солдатский и т. д.), потому что только *свежая публика* достойна уважения, а без публики — нет театра... Потому необходимо приглашать всех вас (стоющих) к этой работе, в которой место нудных вопросов о количестве таланта, техники, голоса и т. д.— занимает *живая работа*...

Мне очень интересно бы знать, что думает об этом Мейерхольд, и знаешь ли ты всю *нереальность* теперешней вашей работы (независимо от техники, навыка, ученья и т. д.). Поговори с Мейерхольдом об этом и напиши мне свое и его мнение. То, что я говорю, более чем реально и, по-моему, истинно *празднично*.



В вашей труппе я считаю очень важными для дела *народного* театра — Наталью Николаевну, тебя (по всей вероятности) и (очень возможно) — Мейерхольда, изобретательность которого можно направить по очень хорошему руслу...

Люба – Блоку. 29 февраля 1908

...Сидим в мансарде у этих младших актеров... А то у Мейерхольда, у него и серьезно говорим. О твоём письме, например. Я думаю, уже из того, что я тебе писала случайно, ты видишь, что твоя формулировка может служить заключением к моим собственным переживаниям и мыслям. Да, это так. О, как я люблю театр. Я совсем, совсем в родной стихии! И не чужая я ему, чувствую, что скоро я стану совсем приемлемой актрисой. Я играю теперь роль Натали Ховинд в «У царских врат» Гамсуна. Это хорошая роль, реальная и честная, меня радует безумно...

Блок. 7 марта 1908. Петербург

Моя милая.

Хочу получить от тебя письмо. Немного беспокоюсь. Я живу очень тихо — дал зарок не пьянствовать. Ложусь и встаю рано, пишу большую лекцию... Вспоминаешь ли ты обо мне?..

Люба. 11 марта 1908. Могилев

...Конечно, вспоминаю я о тебе, милый, но творится со мной странное. Я в первый раз в жизни почувствовала себя на свободе, одна, совершенно одна и самостоятельна. Это опьяняет, и я захлебываюсь. Я не буду писать тебе фактов. Бог с ними. Знаю одно, что вернусь к тебе, что связана с тобой неразрывно, но теперь, теперь — жизнь, мчащаяся галопом, в сказочном весеннем Могилеве... Сцена — необходимое для меня совершенно. Я еще не актриса, но буду, буду ей. О, как бы хорошо, если бы ты ждал меня и не отрывал от себя. Мне так будет нужно вернуться. А теперь надо и хорошо, чтобы я жила моей безумной жизнью...

16 марта 1908

...Как ты, что думаешь обо мне? Мне так хотелось бы, чтобы ты жил хорошо, хотя бы мама была с тобой. Думай обо мне хорошо. Мне надо стать актрисой, а тут нельзя знать преград, надо все, все принять. Мне надо, чтобы опять задрожало в груди вдохновение, как в молодости, — это-то и есть то, что делает актрису и этого у меня нет еще... Не хочется писать мои похождения — может быть, сейчас уже все кончено, может быть, и еще хуже будет — не знаю. Много хорошего в этой безалаберности все-таки...

Тифлиса не будет, мы очень прогорели, денег дали всем по 10—15 рублей, еле-еле выбраться из Смоленска. У нас осталось едва на носильщиков и извозчика в Николаеве и несколько копеек на еду...



17 марта 1908. Николаев

...Дорогой мой, безумно тебя люблю и тоскую о тебе. Здесь нежный, весенний юг, голубой и розовый, мраки и огни кулис далеко, я одна с милой девочкой Адой, я свободна, смотрю на голубое небо и голубой разлив и тоскую о тебе. А горький осадок последних дней тает в душе, уходит. О, что, что ты скажешь мне? Как ужасно расстояние. Здесь я на краю света, небывалое что-то эта Россия. Нельзя ничего себе представить о ней, не видя. Вот Запад весь знаешь, весь чувствуешь а «в Россию надо только верить», до того она неуловима, неизвестна, неожиданна. Вот видела несколько народов и знаю, что они есть все неплохие, все новые, а что остальные? Вот теперь Николаев — плоский, раскидистый, белый. Хорошо, море близко, и о тебе, о тебе поется здесь, о чистом, нежном, ненаглядном. Хочется окружить тебя нежностью, заботиться о тебе, быть с тобой в Шахматове. А тут опять налетят эти огни кулис и «красные плащи»... Но посмотрим, посмотрим, как встречу я их теперь...

21 марта 1908. Николаев

...Мы исходили весь Николаев, были в порте — невыносимо хорошо: зеленый бесконечный Буг, переходящий в залив,— почти море и каменная набережная мола, восторг страшный. Вот мне хотелось тебе сказать, что опять я очень нежно-нежно с тобой... Мой ненаглядный, безумная я, измученная душа, но люблю тебя, Бог знает что делала, но люблю, люблю, люблю и рвусь к тебе...

Блок. *21 марта 1908. Петербург*

...Я думаю о тебе каждый день. В твоих письмах ты точно что-то скрываешь. Но мне можно писать все, что хочешь. И даже — должно.

Я радуюсь принципиально вашему провалу. Может быть, хоть кто-нибудь из вас очнется от сна. Беспочвенности и усталости я одинаково не принимаю к сердцу — им нет места среди нас — художников. И потому многим из вас я только могу пожелать: «что делаешь — делай скорее».

О тебе я до сих пор не знаю — можешь ты или не можешь слушать искусству. Может быть, да...

Очень широкие планы на будущее и много реального дела. Живу очень замкнуто — не пью уже давно ни капли.

Прошу тебя писать мне, потому что я думаю о тебе больше, чем о ком бы то ни было. О тебе и о долге. Не забывай долга — это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет...

Веригина. На четвертой неделе Великого поста некоторые из наших товарищей поехали в Москву, в числе их были и мы с Волоховой. Блок не выдержал и явился тоже в Москву. Н. Н. получила от него письмо с посылным. Поэт умолял ее прийти повидаться с ним. Они встретились и говорили долго и напрасно. Он о своей



любви,— она опять о невозможности отвечать на его чувство, и на этот раз также ничего не было разрешено...

Теперь поэт был еще больше раздосадован: между ним и Волоховой появилась даже некоторая враждебность. Мы уехали с Натальей Николаевной в Херсон, где должна была опять собраться вся наша труппа. Поездка продолжалась еще месяца полтора.

Александр Александрович ждал Волохову с нетерпением в Петербурге. Но когда, по окончании мейерхольдовских гастролей, она явилась туда, он ясно увидел, что Н. Н. приехала не для него, и отошел от нее окончательно. Впоследствии Блок отзывался о Волоховой с раздражением и некоторое время почти ненавидел ее...

Впоследствии Наталья Николаевна встречалась с Блоком раза два и всегда замечала волнение и смущение, которых он не мог скрыть. В последний раз она увиделась с ним в Художественном театре в 1921 году, незадолго до смерти поэта. Волохова заметила в нем какой-то порыв навстречу ей. Они условились встретиться в следующий антракт, но когда окончилось действие и Н.Н. стала искать глазами Блока, его не оказалось в зрительном зале. Дама, с которой он был в театре, сказала, что он заметно нервничал во время этого действия и ушел...

Люба. 29 марта 1908. Херсон

...Ты, должно быть, не получил одного важного моего письма из Могилева — тогда ты не говорил бы, что я что-то скрываю. Так, конечно, тебе не понятны мои письма. Я не писала там ничего прямо, зная, что ты не любишь знать точно все мое личное, вне тебя. Теперь должна сказать. Вот в Николаеве пришла нежность к тебе, а теперь опять живу моей вольной богемской жизнью. Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую себя. Как только будет можно, буду называться в афишах Менделеевой. Сейчас не вижу, и вообще издали говорить об этом нелепо, но жить нам вместе, кажется, невозможно; такая, как я теперь, я не совместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью, а вернуться к подчинению, сломиться опять, думаю, было бы падением, отступлением, и не дай этого Бог. Ты понял, конечно, что главное тут влюбленность, страсть, свободное их принимаю. Определенней сказать не хочу, нелепо. Вернусь в Петербург в 20-х числах мая, тогда все устроим внешнее. Деньги твои получила; какие это, милый? Я ничего не помню, ты писал как-то, что должен, разве это так? А если присылаешь сам,— не надо, я не могу больше брать у тебя, мне кажется...

Прошел день, и что написала — еще определенной: нельзя мне больше жить с тобой — нет почему бы и нечестно. Единственное для меня очень неприятное затруднение — это что мне будет удобно и просто, а тебя бросаю на кучу неприятностей,— это ужасно нелепая, хотя и мелкая, досадная задержка. Но мама будет в Пе-



тербурге на будущий год? Напиши, будешь ли ты с ней и где она? Я хотела бы написать ей. Ответь скорей и спроси, что хочешь знать, я все могу сказать тебе о себе...

Блок. 4 апреля 1908. Петербург

...Ты знаешь сама, как ты свободна. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала. Может быть, не понимаю от своего теперешнего равновесия. Но, чем больше я в равновесии, тем больше знаю реальное.

Что тебе написать, совсем не знаю. Ты пишешь мне, как жуя, — не так ли? Знаешь ли ты, насколько важно для меня твое письмо и имела ли ты какое-нибудь отношение ко мне, когда его писала? Ты пишешь, что я могу спрашивать. Я спрашиваю прежде всего, представляется ли тебе все будущее совершенно вне меня, или ты просто можешь судить теперь только о близком будущем?

Только эти вопросы. И то — слишком трудно задавать их в письме. А что, — письмо твое написано из самой глубины? Или — ты не знаешь теперь своей глубины?

Я пишу очень сухо. И стараюсь только простейшее. Я не знаю, как ты можешь понять меня «там»? И можешь ли понять.

Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о «честности» и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня.

Писать это письмо мне трудно.

Куда писать?..

...Самое досадное и ненужное, что никто не пишет мне адреса, и я не имею возможности писать почти никогда — тебе. Неужели ваши театральные дела до такой степени плохи, что вы случайно мыкаетесь по каким-то городам, без всякого толку. Я слышу от самых посторонних людей о провалах и каких-то неблагоприятностях. Не могу сказать, чтобы это было очень приятно. Для меня это начинает пахнуть какой-то крайней пошлостью, чрезвычайным легкомыслием и дисгармонией, вслед за которой легко может последовать обыкновенное «наплевать». Я бы мог очень много об этом говорить, но не время теперь, да и ты не поймешь.

Прошу тебя, прежде всего, не пиши теперь ничего маме, ей и так трудно жить, она в Ревеле, она со мной жить не может и я не могу тоже, вероятно. Я давно уже живу один, и единственным мое большое место — отсутствие твоих писем.

Мне писать опять трудно, как и вчера. Слишком много разнообразных чувств и мыслей. Но необходимо сказать тебе, хотя, может быть, и не дойду до твоего сознания.



Впрочем, очень немного: если ты еще будешь писать о том же и если уж надо об этом писать, то нельзя ли более досказанно? Мне нужно знать, — полюбила ли ты другого, или только влюбилась в него? Если полюбила — кто это? По твоему письму я могу думать, что не полюбила, потому что человеку с настоящими чувствами не могут приходить в голову такие нелепости и такой вздор, как ты пишешь — о маме, о деньгах, о квартирах, о неудобствах. Таких вещей нельзя писать в таких письмах, по крайней мере, — мне. И все-таки я могу все допустить, — и подозревать, что письмо написано со страшным легкомыслием. И всего страшнее то, что теперь опять много дней не будет от тебя ни слова.

Право, квартирные вопросы — второстепенны, и твоя «заботливость» в таком письме, где ты пишешь, что «жить со мной — нет почему бы и нечестно», — совершенно отталкивающая для меня.

Ты пишешь даже без запятых, потому в одном месте я могу истолковать письмо двояко, и по одному так, что не дай Бог. Нельзя же писать так опять-таки, пойми, что все это сряду — почти насмешка.

Очень нелегко писать, не видя тебя. И неизвестно — куда. Но прошу тебя, ответь мне, если ты имеешь ко мне какое-нибудь отношение, и раз уж ты начала все это писать. Помни о том, что, во-первых, я считаю пошлостью разговоры о правах и обязанностях и считаю тебя свободной. Во-вторых, ненавижу того человека, с которым ты теперь...

Этим летом будет 10 лет нашего знакомства. Напиши мне все главное откровенно и определенно. Всего хуже — не знать. Что бы я ни узнал, мне будет вдвое легче...

Тата – Белому. 11 апреля 1908. Петербург

...Я о Вас, Боря, не забываю. Блок как-то у меня был... Говорил, что очень хорошо себя чувствует в одиночестве и ни в ком не нуждается... Блок то еще говорил, что Люба очень довольна, веселится. Ну а теперь будто дело расстроилось, все разбежались кто куда, и... Мейерхольд — уехал. Где в настоящее время Люба — не знаю. И какие планы дальнейшие — тоже не знаю. Я слыхала, что Люба думает и ей говорят, что ее призвание — быть актрисой...

Бекетова. 12 апреля 1908. Петербург

Приехала Люба. Я ее видела. Жизнь, здоровье. Но показалась мне грубая, некрасивая; тоже нехорошее впечатление. Аля томится одна, зная, что ему не нужно ее присутствие, а он, по-моему, на новом пути к одиночеству. Мне кажется, и Н. Н. отходит. Или я ничего не понимаю?

Блок – Белому. 24 апреля 1908. Петербург

Милый Боря.

Я долго не отвечал на Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел «Кубок Метелей» и на-



шел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу. С моей точки зрения, там очень много кощунственного, но, так как Ты находишь со своей стороны кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что симфония эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не поймет. Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю (но и никто не понимает). К этому присоединяется ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий... Я не могу не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чем-то большем, чем мы, потому что за это всегда говорили и говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина» мистического порядка, и с точки зрения этой истины я принужден признать твою симфонию враждебной мне по существу...

Белый – Блоку. 3 мая 1908. Москва

...Очень благодарен за Твое правдивое мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. Ты утверждаешь, что все же мистические факты нас связывают; я утверждаю, что их нет и не было вовсе (то, что Ты называешь «мистикой», очевидно не то, что разумею я). Ввиду «сложности» наших отношений я ликвидирую эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапошного знакомства и пр.).

Не отвечай.

Всего хорошего.

Люба. Темные, страшные, непонятные месяцы и годы. Когда я оптимистична и верю – думаю, что нужны для чего-то были. Но сейчас не понимаю, что за бессмысленное, садистское мучительство? Что за страшная глупость и незащитность с моей стороны? Как я не вырвалась с самого начала, как не защитила себя?

С ранней, ранней юности предельным ужасом казалась мне всегда возможность иметь ребенка. Когда стал приближаться срок нашей свадьбы с Сашей, я так мучилась этой возможностью, так бунтовало все мое существо, что даже решилась сказать все прямо Саше, потому что он заметил, что я о чем-то непонятно терзаюсь. Я сказала, что ничего так не ненавижу на свете, как материнство, и так его боюсь, что бывают минуты, что готова отказаться от брака с ним при мысли об этой возможности. Саша тут же успокоил все мои страхи: детей у него никогда не будет.

В безумную мою весну 1908 года я ни о чем не думала, по-прежнему ничего не знала о прозе жизни. Вернулась в мае беременной, в предельном, беспомощном отчаянии. Твердо решила устранить



беременность, но ничего не предпринимала, как страус пряча голову под крыло: кто-то где-то при мне сказал такую нелепость, что делать это надо на третий месяц. Решила, значит, после лета, после сезона в Боржоме...

Люба – Блоку. 19 мая 1908. Рязань

...Пишу из Рязани, милый. Еду хорошо. Вчера весь вечер не понимала, куда и зачем еду. Теперь тоже не понимаю, но не думаю об этом...

28 мая 1908. Грозный

...Мне сейчас показалось, что ты думаешь обо мне, и мне стало очень грустно и за тебя и за себя, за все. Опять я одна в далекой, далекой России, живу на свой страх, все беру, что идет мне навстречу, и знаю, знаю, что дорого заплачу болью и страданием за каждое свободное движение, за дерзость. Чувствую в себе окрепшую душу актрисы и рвусь играть. Все лето буду одна в Боржоме, захлебываюсь при мысли о работе, о воплощении того, что уже живо, я чувствую, в душе. К тебе у меня трепетное отношение, опускаю глаза, в душе, перед тобой. Но не от стыда — жизнь моя не хулиганская и не случайная. Хотела бы, чтобы ты написал мне в Боржом, в театр: право, я буду этого стоять там...

5 июня 1908. Боржом

...Я здесь, одна, грустно, непонятно. Дождь, серый день, перед окном сейчас же высокая гора, лесом покрытая, зеленая; за спиной, через комнату, шумит мутная Кура и опять зеленая гора. И свежо очень. Приехала сюда из невероятной жары и пыли; ехала — не понимала и теперь опять не понимаю. Понимаешь ты — перед глазами громадный вопросительный знак. Там было просто и хорошо, а теперь уныло, и зачем, зачем все это?.. Только очи — вижу тебя строгого и властного, перед которым мне так грустно теперь и больно, и с вопросом, мучительно, поднимаю на тебя глаза. Как же? Как же? Что же все это такое? Хорошо, что я буду одна долго, бесконечно, все уляжется, тогда пойму, должно быть; как мне хочется узнать о тебе, получить твое письмо, Боже мой!.. Не знаю, можем ли мы быть вместе опять теперь, и когда это будет, но люблю тебя и ты единственная моя надежда, и на краю света не уйти мне от тебя...

14 июня 1908. Боржом

...Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу, что я с собой сделала? Что эта сцена? и все остальное... И разрывается сердце при мысли, при крике: ведь это я же, при чем же тут все эти нелепости, ведь это я, я, я! Ты знаешь, о ком я говорю тогда, ты один в целом мире поймешь, когда я кричу всем



сердцем: ведь это я же! Люблю тебя больно и сладко. Быть с тобой хочу больше всего на свете. Что здесь меня удерживает, не знаю. Может быть, страшная усталость воли. Одно знаю: быть с тобой, около тебя, и ничего, ничего другого не надо, и сцены не надо душе моей. Может быть, ты велишь идти туда или скажешь, что нельзя вместе, тогда приму опять все, но моя воля — быть с тобой. Но сколько муки я себе приготовила своим безумием, Боже мой!.. В душе моей растет какое-то громадное благословение тебе и всему Шахматову, всем вам. Благословенная обетованная страна и в ней желанный, любимый, милый мой ты. Пишу ночью, пишу любя тебя до слез, моя радость...

Блок – Любе. 14 июня 1908. *Шахматово*

...Думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день, и я живу все время тем, что жду тебя. До сих пор я не могу определить, должен ли я жить один; я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна — другого слова не придумаешь. Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но — не знаю. Здесь очень тихо — жарко, сыро и пышно. Наш сад растет. Я бываю много один... Здесь трудно жить без тебя. Я думаю о том, что ты вернешься в августе и мы вместе будем жить здесь осенью. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, когда ты вернешься. Досадно получать письма, которые идут около недели, и самому досадно писать. Но у меня очень постоянная надежда на то, что мы могли бы прожить здесь золотую осень.

Меня тянет теперь опять в Петербург... Петербург необыкновенно красив теперь. Там привлекательно то, что легче переживать это какое-то *переходное* в жизни время — от встречи до встречи с тобой. Очень много средств забывать о времени и произвольно устанавливать дни и ночи. А здесь нет этих средств — без тебя.

Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов. А вообще письмо писать я умею, по-прежнему...

А что же сцена? Это очень важно для тебя?..

Твои письма мне получать важнее всего, хотя и досадно, потому что — запоздалые. Настанет ли когда-нибудь время, что мы перестанем разлучаться?..

Люба. 21 июня 1908. *Боржом*

...Может быть, приеду в Петербург, когда ты будешь там, это мне будет легче, а то мучительно стыдно Шахматова, нашего дома и сада, пока я не очистила свою душу совсем от всего, чего так мучительно стыдно... Я теперь хочу быть с тобой всегда, не расставаться. То, что я зиму буду в Петербурге (это конечно) с тобой, меня ужасно волнует, радует, наполняет надеждой на что-то настоящее,



какое-то большое дело в самой жизни... И сама я в горьком, горьком опыте становлюсь лучше, я знаю — не буду тебя шокировать, так бережно буду нести нашу жизнь...

Блок. 24 июня 1908. Шахматово

...Время ползет без тебя какое-то тусклое, бесплодное. Здесь почти не перестает дождь — серый, осенний. Я начал сильно тосковать. Беспокоюсь о тебе, думаю постоянно о тебе. Жизнь тащится зачем-то, — и ты зачем-то в каком-то Боржоме; я совершенно уверен, что тебе там делать нечего. Эти дни я немного ждал тебя, думал, что ты оттуда уедешь. Что за охота проваливаться где-то на краю света с третьестепенной труппой? Не люблю я таких актеров, ох, как не люблю, заодно с Гете и Ибсенем.

Беспокоюсь о тебе, моя милая.

Тебе все еще грустно? Если бы ты вернулась сюда, я не возвращался бы в Петербург. А теперь — впрочем через 6 дней, а зачем — не твердо знаю; больше потому, что без тебя не сидится в тишине. И что писать тебе, — не знаешь, интересно ли тебе вот в эту минуту, когда ты читаешь то, что я писал десять дней назад...

Почему ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, что ты сомневаешься в том, как я тебя встречу...

Я как-то тоже устал. Мне во многих делах очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочел тебе ничего. Давно чужие люди зашаркали нашу квартиру. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. Ко многим людям у меня в душе накопилось много одинокого холода и ненависти... Мне надо, надо быть с тобой. А ты — хочешь ли быть со мной? То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого из этого я как-то не говорю даже маме. А если ты не поймешь, — то и Бог с ним — пойду дальше так. Ты не имеешь потребности устроить нашу жизнь так, чтобы и комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь «быта»? Есть ведь на свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью. Беспокоюсь о тебе...

Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что, если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже актерского «быта» мало на свете ям...

Люба. 24 июня 1908. Боржом

...Пьеса старинная*, вроде «Вспышки у домашнего очага» и «Что делать?» Чернышевского. Я играю милую, любящую женщину, ревнующую мужа, передевающуюся в домино и маску и т. д. Уже репетировали. Я очень ее чувствую, кажется, найду тон. Только бы удалось сыграть первый раз в субботу. Уехать отсюда я думаю

* «Когда б он знал» — пьеса К. Тарновского.



в конце июля, чтобы быть в Петербурге не позднее 1 августа. Раньше едва ли уеду, очень нужна в самом деле. А в Петербург приехать раньше Шахматова я продолжаю очень хотеть. Так лучше. Потом поедем туда вместе и проведем там осень, сколько захотим, наконец, ничто не будет мешать. А зимой вместе, вместе!..

Блок. 5 июля 1908. Петербург

Милая, я в Петербурге, страшно беспокоюсь о тебе. Уезжай скорей, как только можешь, из этого ужасного места... Что же твоя роль в старинной пьесе и что сцена?

Только бы ты вернулась ко мне. Я могу много и сочувственно говорить с тобой о сцене, но теперь, прежде всего, — ты сама будь со мной. Неужели ты не вернешься раньше 1 августа?..

Люба. 11 июля 1908. Боржом

...Опять захватила волна моего сумасшествия. Я чувствую себя актрисой и это меня сбивает, закруживает. Не пишу тебе, потому что не знаю, не понимаю, как совместить мои мечты о жизни с тобой с моей верой в себя как в актрису. Я играла Лидию в «Когда б он знал». Все очень хвалили, говорили именно то, что и я в себе чувствую... Теперь играю каждую роль с любовью. Была у меня роль без слов в «Марии Ивановне» Чирикова — Глашенька. Вышла живая и очень ярко, говорят, комичная. Еще Авдотью в «Детях Ванюшина». Завтра играю Христину в «Графине Юлии» Стриндберга. — Мне ужасно странно тебе писать все это актерское, все, что ты так не любил еще в последнее наше свиданье. Но ведь надо же, чтобы ты понял меня, принял из этого все хорошее, помог и мне отбросить сор (он есть, это я знаю). Но хорошее ты же поймешь. Я уверена, что когда увижу тебя, проживу с тобой немного в квартире, устроенной тобой, я смогу опять отречься от сцены (и ты говоришь, что я не чувствую быт, настоящий, да ты вспомни!), но этого не надо делать, то, что мне дано, нельзя отшвырнуть... Дела нашего товарищества идут пока очень неважно... Есть у меня зато «флирт» с милым мальчиком, о котором ты знаешь, мне не хочется называть и писать об этом, так это легко и не важно, может оборваться когда угодно. Но я целуюсь с ним... Верь только в меня, не беспокойся о случайных моих выходках, я верю в себя и тебя...

Люба. Мы все тогда увлекались хиромантией. Я тщательно избегала смотреть на свою левую ладонь: на линии жизни появилось и становилось все ярче красное пятнышко — ждала меня катастрофа. Я старалась так дожить, зажмурившись, до августа. С Д. порвала глупо, истерично, беспричинно. Чувство, что я на краю гибели, не покидало меня. Я делала то, что не делала никогда ни до, ни после. С самым антипатичным и чуждым мне актером из всей труппы шла вечером на «поплавок» на Куре, и пила с ним просто водку.



Мы сидели друг против друга почти молча, у него было тоже что-то свое и такой подставной манекен был нужен и ему, как и мне. Когда туман заволакивал сознание, он вежливо брал меня под руку, и мы также молча возвращались на дачу, где жили всей труппой.

В полном «смятении чувств» целовалась то с болезненным, черномазым мальчуганом, нашим актером, то с его сестрой, причем только ревнивое наблюдение брата удерживало эту любопытную, хорошенькую птичку от экспериментов, к которым ее так тянуло. Д. был тут же, но мы были чужими. Он совершенно не понял болезненность моего состояния и бездны моего отчаяния.

Странно, что играла я при этом хорошо, некоторые роли даже очень хорошо, например, героиню в большом, старинном водевиле «Когда б он знал», которую я сделала и живописной, и трогательной «тургеневской женщиной». Вся труппа очень за нее хвалила.

Да и здоровье не выдавало моего состояния. Я спокойно перенесла и даже просмаковала наше путешествие в Абастуман на гастроли с «Графиней Юлией» Стриндберга. Мы должны были проделать его, как приятную прогулку на автомобиле, которая должна была длиться часа два-три – не помню в точности. Выехали рано утром, чтобы доехать до жары. Но через полчаса шина лопнула. Запасной не было, и началась потеха. Шофер заклеит, несколько шагов – опять лопнет. Наконец, он – набил шину травой! И так мы, еле передвигаясь, в немислимых толчках и тряске, протащились весь день. Причем вода в охладителе кипела, и шел от мотора пар, как от самовара. Ежеминутно шофер сбегал с ведром к Кюре, наливал свежую воду, и сейчас же закипала и она... Всякая проезжавшая повозка обдавала нас густым облаком пыли. Мы с Таточкой Буткевич старались сидеть и не шевелиться, чтобы не дать проникнуть дальше толстому слою пыли, покрывавшему нас, хрустевшему на зубах, запорошившему глаза, все это под палящим солнцем. Приехали мы в 9 часов вечера (начало спектакля в 8 часов), и как на нас ни кричали, мы не согласились идти гримироваться и одеваться, пока нам не дадут вымыться с головы до ног. Все это я перенесла, как здоровая, т.е. с интересом и от души забавлялась всеми эпизодами такого колоритного денька...

Блок. 18 июля 1908. Петербург

... Какое мрачное для меня письмо. Все то, о чем я думаю, оно подтвердило. Мне жить становится все невыносимее. То, как я теперь живу, ненужно, холодно и пусто. Неужели же и ты такая же, как я. Ты пишешь уже так привычно о «волне своего сумасшествия». И в письме этом прежде всего — «Марья Ивановна» Чирикова (поздравляю вашу труппу с победой искусства), а потом — все остальное. Да, так, вероятно, и должно быть. А что же значит, «верю в себя и тебя»? Тоже — по привычке?

Если тебе больно читать все это, то я пишу это не для твоей боли, а от своей. Знаешь ли, что я тебе скажу? Если я буду продолжать



жить так, как теперь, — без особенных событий, вышивая иногда, веря до глубины одному только человеку — Евгению Иванову, не имея подле себя живой души, — этого ненадолго хватит: душа становится старой и седой. Из этого совсем не следует, что тебе нужно предпринимать что-нибудь.

Что же, действительно, — плод всех прошлых горьких, красивых и торжественных годов — Марья Ивановна, Боржом, Гельсингфорс, захудалая провинция, «зеленая сжука» с «покучиванием», актерство, развязность, «свобода» от всего «рабского»... и от всего свободного?— Или это все — только временная, крошечная тьма и настанет другое?

Целый день я ехал по сияющим полям между Шахматовым, Рогачевым, Бобловым. Только недавно. В лесу между Покровским и Ивлевым были все те же тонкие папоротники, сияли стоячие воды, цвели луга. И бесконечная даль, и шоссеиная дорога, и все те же несбыточные, щемящие душу повороты дороги, где я был всегда *один* и в союзе с Великим, и тогда, когда ты не знала меня, и когда узнала, и теперь опять, когда забываешь. А то — все по-прежнему, и все ту же глубокую тайну *мне* одному ведомую, я ношу в себе — *один*. Никто в мире о ней не знает. Не хочешь знать и ты. Но без тебя я не узнал бы этой тайны. И значит, к тебе относил я слова: «За все, за все тебя благодарю я...», как, может быть, все, что я писал, думал, чем жил, от чего так устала душа, — относилось к тебе...

23 июля 1908. Петербург

...Пишу тебе совершенно больной и измученный пьянством. Все это время меня гложет какая-то внутренняя болезнь души, и я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на длинную жизнь. Положительно, не за что ухватиться на свете; единственное, что представляется мне спасительным, — это твое присутствие, и то, только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас: мне надо, что ты была около меня равнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе; чтобы ты нашла средство исцелять меня от безвыходной тоски, в которой я сейчас пребываю. Кажется, ни один год не был еще так мрачен, как этот проклятый, начиная с осени. Пойми, что мне, помимо тебя, решительно *негде* найти точку опоры, потому что мамина любовь ко мне беспокойна, да я и не могу питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью; если этого никогда не будет, то мне ничего не останется, кроме пустой и зияющей темноты, когда я растрочу все свои жизненные силы. — Только на такое опускание по наклонной плоскости я сейчас способен, потому, может быть, что не имею твердой веры в то, что ты придешь ко мне.

Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно проклинать, мне надо, чтобы человек дохнул на меня *жизнью*, а не



только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все время делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам — тем больше я тайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний можно и с ума сойти. — Но неужели же и ты такова?

Посмотри, какое запустение и мрак кругом. Посмотри трезво на свой театр и на окружающих тебя сценических деятелей. Мне казалось всегда, что ты — женщина с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился. Помоги мне, если можешь. Я даже работать не могу, не вижу цели. И эти дни все похожи один на другой, ужасно похожи. И, если подумаешь, что еще много таких, совсем тошно. Лечь бы и уснуть и все забыть.

Я тебе писал в остром припадке отчаянья, лег отдохнуть. Сейчас у меня, по-видимому, жар, должно быть — простудился. Серьезного ничего не чувствую. Посылаю тебе это письмо Бог знает зачем, ведь меньше, чем через неделю не получишь. Я вышлю тебе денег, как только меня перестанет надувать вся издательская и театральная сволочь, а сейчас у меня — ни копейки. Если ты не решила совсем бросить меня, приезжай, как только можешь скорее. Никогда в жизни я не испытывал *таких* чувств одиночества и брошенности. Верно, предположения мои правильны, ты перестала помнить обо мне...

Люба. 26 июля 1908. Боржом

...Я думаю, что письмо твое... со всеми упреками — только от боли, от того, что я далеко и мои письма совсем закрывают, скрывают меня, и ты меня просто не имеешь в виду, когда все говоришь это. Я и не сержусь, и не обижаюсь несправедливостью упреков. В лицо ты не скажешь мне всего этого, когда увидишь. Я не буду больше писать тебе о сцене, пока мы не поговорим, ты все будешь понимать не так. Ты увидишь, что я по-прежнему я, что люблю тебя и хочу настоящей жизни. Только слова теперь такие мертвые выходят, что и писать не хочется. Буду стараться уехать скоро, как можно скорее, все еще не знаю, когда...

Блок. 26 июля 1908. Петербург

...Если бы ты знала, каковы мои чувства и мысли, ты, может быть, приехала бы несколько раньше 16 августа. С каждым днем все тяжелее. Не знаю, как дождаться тебя, хотя бы пришлось убедиться воочию, что в тебе что-то *невозвратно* отошло, как я думаю (т. е., не в тебе самой, может быть, а в твоей любви ко мне).

Всего ужаснее — неизвестность. Я вижу окончательно, что *так* я жить не могу. И пока я не убежусь твердо в том или ином (т. е., нужен я тебе или не нужен) — все это время будет сплошной пыткой. Сначала чувствовал себя только нравственно тяжело, теперь и фи-



зически. Если б ты писала мне что-нибудь отградное, ждать было бы легче. Но ты пишешь все тяжелее для меня, все «объективнее». Ради Бога, Люба, не утяжеляй камня на сердце, ведь я не кукла. Пока у тебя «апатия», у меня — пытка. Реши что-нибудь. Ты старись меня своими письмами. Если я тебе чужой, признайся себе в этом. Пока я не узнаю чего бы то ни было, я не могу ни работать, ни жить, ни думать. Такое «условное» одиночество — хуже каторги. Посылаю тебе это письмо на проклятый Кавказ, куда оно придет немилосердно поздно. Прости, что я мешаю тебе жить, прости. Может быть, писать все это — только еще отравлять тебя и себя. Но я, кажется, дойду скоро до равнодушия полного, отправлю к черту весь этот проклятый мир...

Люба. 28 июля 1908. Боржом

...Саша, поддержи меня, надо ужасно много силы. Что-то не так, мучительно не так. Но актрисой я быть должна, рано или поздно, это ясно. Я должна быть с тобой, это излечит сердце. Я на опасном перепутьи, Саша, помоги. Я люблю тебя, милый... Я приеду к тебе, я отдам тебе всю свою душу и закрою лицо твоими руками и вышлачу весь ужас, которым я себя опутываю. Я заблудилась, заблудилась. Не так, как ты писал в том письме, но все-таки ужасно. Я страдаю этот сезон, и потом учи меня жить, учи, что делать. Милый, милый, милый! Вот сейчас мне стало легче, яснее. Так просто — кончить, кончить все здесь до конца и быть с тобой; я ведь принесу много и хорошего, узнанного. Все тебе. Вот это я даже не понимаю, но это так. Милый, напиши мне, напиши хорошо. Помоги. Тает в душе какой-то холод. Ты со мной. Я люблю тебя...

Блок. 2 августа 1908. Петербург

...Может быть, правда, твои письма закрывают тебя от меня. Ведь я не упрекал, и ты не обижайся, ты знаешь ведь, что я не хотел тебя обидеть. Я все время полон мыслями о тебе и только на тебя и надеюсь. Правда, что я не вижу твоей сцены и говорю о ней, может быть, слишком легкомысленно. Но все это — от боли, которая была очень мучительна долгое время, а теперь надеюсь, что не очень долго осталось ждать, что ты уедешь раньше 17-го, и буду стараться ждать тебя тихо и сосредоточенно. В тот месяц я жил такой растрепанной, бестолковой и скверной жизнью; мне казалось часто, что ничего уже не осталось в мире, за что можно ухватиться. Но, может быть, и есть еще? И ты вернешься ко мне?

Ты расскажешь мне все о себе и о театре. Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве...

Глава XX. «Как Митьку воспитывать?»

Люба. Но пришел август, приехала в Петербург. Саша был тут. Я бросилась к докторам. Но к хорошим и почтенным. Они читали мне нотацию и выпроваживали. Помню свое лицо в зеркале — совершенно натянутая кожа, почти без овала, громадные, как никогда ни до, ни после, полусумасшедшие глаза. Я брала в руки страницу объявлений в «Новом времени», руки падали, и я горько плакала — знала, это будет верная смерть (пятно на линии жизни). Подруги не было, никого не было, кто бы помог и посоветовал.

Саша — тоже что-то вроде нотации: пошлость, гадость, пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий. И я спасовала, я смирилась. Пусть будет так. Против себя, против всего моего самого дорогого.

Томительные месяцы ожидания...

Белый — Блоку. 8 сентября 1908. Москва

...Сегодня весь день читал Тебя. Во многом Тебя не понимаю. Но захотелось выразить Тебе восхищение за некоторые стихи, которые навсегда останутся в русской поэзии перлами; сегодня перечел Тебя от доски до доски. Так отчетливо вспомнил Тебя: и *многое* вспомнилось, невозвратное.

Грустно на этом свете: люди сходятся и расходятся *вопреки чему-то основному*. Это *основное* у меня к Тебе — любовь и надежда на Тебя, за Тебя: где-то все это покоится в глубине; а *извне* — какая-то пляска марионеток (литературные отношения и прочее). *Неужели* же эта далекость от Тебя во внешнем и есть *Истина*.

Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною: очень обидело меня, что Ты, не зная моих мотивов, по-моему честных, порицаешь мою полемику. Это была вспышка. Прошу у Тебя, милый, прощения.

Во внешнем мы люди диаметрально противоположные; внутри же — там, там, — любовь у меня к Тебе; я очень мучался, что у нас *такие* сложились отношения, точно мы — враги. Прости меня, в чем я виноват перед Тобой.

Это тем охотнее я пишу, чем больше понимаю, что пути наши в *интимном* безвозвратно разошлись; и я пишу Тебе как бы из далекого, иного мира.

Еще несколько недель тому назад собрался Тебе писать, да глупое самолюбие не позволило. Сегодня же: грустно на душе — нет мира от сознания, что я в отношении к Тебе позволил себе резкость; а я в душе Тебя люблю.

Ну, вот.

Можешь мне не писать: мне все равно; если напишешь, буду рад.



Я же *должен* Тебе написать это письмо; оттого и пишу: больше не от чего. Это вовсе не желание завязать с Тобой переписку, а влечение сердца. Если напишешь, буду рад; не напишешь, не надо.

Ну Господь с Тобой, милый.

Прочти и не сердись. Я хочу только правды...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Иванову.

2 октября 1908. Шахматово

...Может быть, Сашин кризис кончился, может быть, перелом совершился, но результаты грандиозны. Месяц прожили мы с Сашей и Любой здесь радостно. И вот пришлось мне узнать... Пусть сама Люба вам скажет, Женя... Надо переживать теперь то, что выпло в жизнь из их смутных годов... Вы мне, Женя, написали в Ревель весною, что Люба с крыльями, полетела в жизнь. И отчасти этому помогло то, что она была бездетна и со средствами. Да, Женя, так это все. И зачем она со средствами? Для них обоих было бы лучше, кабы у нее не было средств. И какие уж это крылья? Пишу вам все намеками. Скоро поговорим прямо...

Люба. С отвращением смотрела я, как уродуется тело, как грубеют маленькие груди, как растягивается кожа живота. Я не находила в душе ни одного уголка, которым могла бы полюбить гибель своей красоты. Каким-то поверхностным покорством готовилась к встрече ребенка, готовила все, как всякая настоящая мать. Даже душу как-то приспособила...

А.А.Кублицкая-Пиоттух – Иванову.

17 ноября 1908. Ревель

...Я все-таки рада, что Люба сама с Вами говорила о «проклятых» теориях и обо всем. А до конца что же говорить? Ведь она теперь очевидна. Но, милый мой Женя, Люба написала мне на днях очень хорошее письмо. И хотя ей и тяжело, и горько до сих пор, но вопрос этот громадный и важный о ребенке будет решен хорошо: это будет *их* ребенок, Саша и Любы. Саша так решил. И Люба пишет, что это *ее* ребенок, она чувствует, и больше *ничей*.

Ну, вот, Женя. Разве это не хорошо?..

Люба. Я была очень брошена. Мама и сестра были в Париже. Даже Александра Андреевна в Ревеле; она очень любила всякое материнство и детей, но и ее не было. Саша очень шил в эту зиму и совершенно не считался с моим состоянием. И подруг моих никого не было в Петербурге. Старая наша «Катя», бывшая папина горничная, сокрушенно качала головой: кабы барин был жив, не такой бы уход был – папа обожал детей и внуков...

Бекетова . 19 ноября 1908. Петербург

Он был один в июне в Шахматове. Все было хорошо. С тетей Софой они совсемладили. Читал даже «Песню судьбы». Ей



понравилось. Уехал только за тем, чтобы пьянствовать и кутить с Чулковым и просадить сотни рублей, которыегодились бы после. Тосковал по Любе. Н. Н. еще весной иссякла. Опять выплыла Люба. Комета исчезла, осталась Венера. Когда уехала Софа, приехали дети (потом вскоре Франц). Месяц все шло прекрасно с детьми. Люба веселилась, как дитя, при общей нежности. Вдруг неприятный разговор, и потом Люба пришла к Але одна объясняться и призналась, что она беременна — не от Саши. Она была в отчаянии. Хотела вытравить ребенка, говорила, что это внешнее, ее не касается и пр. Все погубло, Аля ходила совершенно несчастная, осуждала Любу (да ведь и было за что все-таки; без любви, по-бальмонтовским заветам, слугу, этакое отношение к ребенку), не могла с собой справиться и пр. Теперь Люба привыкла к ребенку и его принимает, он же ведет себя, как Ангел, бережет Любу как никогда, работает, идет вперед, и принимает ребеночка к себе в дом...

Блок. 19-20 ноября 1908. Петербург

Ночной кошмар (патологический).

Первый акт

Писатель. Кабинет с тяжелыми занавесками на окнах. Книжки. Цветы. Духи. Женщина. Он — все понимающий. Она живет обостренной духовной жизнью. Глаза полузакрыты, зубы блестят сквозь полуоткрытые губы. Тушит огонь, открывает занавеску. Чужая улица, чужая жизнь. Тонкие мысли.

Посетители.

Ждет жену, которая писала веселые письма и перестала.

Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет.

Он заранее все понял и все простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим.

Но его видели не только на вечерах, в кабинете, среди толпы или книг, гордого и властного. Не только проносящимся с тою женщиной. Его окружает не только таинственная слава женской любви.

Его видели ночью — на мокром снегу — беспомощно плетущимся под месяцем, бесприютного, сгорбленного, усталого, во всем отчаявшегося. Сам он знает болезнь тоски его снедающую, и тайно любит ее и мучится ею.

Он думает иногда о самоубийстве. Он, кого слушают и кому верят, — большую часть своей жизни не знает ничего. Только надеется на какую-то Россию, на какие-то вселенские ритмы страсти; и сам: изменяет каждый день и России, и страстям... Испорчен (интеллигент).

А ребенок растет.

31 декабря 1908 — 1 января 1909. Петербург

Новый Год встретили вдвоем тихо, ясно и печально. На несколько часов — прекрасные и несчастные люди в пивной.



25 января 1909. Петербург

ЯНВАРСКИЕ ВСТРЕЧИ

25 января. Третий час ночи. Второй раз.

Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное — уродливо, кроме божественного и страстного тела. Она — глупая немка. Глупо смеется и говорит. Но когда я говорю о Гете и «Faust»'е, — думает и влюбляется. «Если бы ты даже был мазурик, если бы тебя арестовали, я бы тебя всюду искала». Я говорю с ней шутливо по-немецки, интригуя ее. Кто я — она не знает. Когда я говорил ей о страсти и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система — превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных — опять торжествует.

Все это так таинственно. Ее совсем простая душа и мужицкая становится арфой, из которой можно извлекать все звуки. Сегодня она разнежилась так, что взяла в номере на разбитом рояле несколько очень глубоких нот.

Ее коньки, ее сила.

Впрочем, увы, я второй из тех, кем она увлеклась.

Может быть, я лечу уже вниз. Моя жена не всегда уже имеет силу и волю сдерживать меня или рассердиться на меня (жутко это записывать). Или это оттого, что на днях будет Ребенок и она ушла в думу о Нем?

Не знаю.

Как редко дается большая страсть. Но когда приходит она — ничего после нее не остается, кроме всеобщей песни. Ноги, руки и все члены ноют и поют хвалебную песню.

Когда страсти долго нет (месяцами), ее место заступает поганая похоть, тяжелая мысль; потом «тоска во всю ночь» знаменует приближение. И совершенно неожиданно приходит ветер страсти. «Буря». Не остается ничего — весь страсть, и «она» — вся страсть. Еще реже — страсть освободительная, ликование тела. Есть страсть — тоже буря, но в каком-то кольце тоски. Но есть страсть — освободительная буря, когда видишь весь мир с высокой горы. И мир тогда — мой. Радостно быть собственником в страсти — и невинно...

27-28 января 1909. Петербург

Пьянство 27 января — надеюсь — последнее.

О нет: 28 января.

29 января 1909. Петербург

...Тихая передняя родильного приюта. 3 часа ночи, неперестающий запах. Рядом тихо говорят с Любой, готовят ванну. Акушерка



говорит по телефону с доктором. А вдали, наверху, за тишиной и полутьмой — неистовый далекий вопль рождающей женщины. Или это плачет ребенок? Потом уже — только в ушах звенит. Кафельные своды, чистота. Запах собрался в воротнике шубы.

Бекетова. 3 февраля 1909. Петербург

У Любы родился мальчик (как я и думала вопреки Але и пр.). Родился вчера, 2-го февраля, утром. Роды были очень трудные и долгие. Очень страдала и не могла. Наконец, ей помогли. Он слабый, испорчен щипцами и главное долгими родами. Мать очень удручена. Аля тоже (давно приехала, живет в мебелированной комнате, в Демидовой переулке). Очень боюсь, что мальчик умрет. Очень печально. Меня последнее время чуждаются. Что-то будет? Нехорошо.

У Саши много неудач, но работа и деньги есть... Нехорошая у нас полоса. И у Блоков с Алей, и у меня. Как-то у них разрешится?

З. Гиппиус. Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто о жене его заботился и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» — спрашиваем, «Ничего, ей теперь лучше».

День за день; наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик.

Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «он такой большой». Выбрал имя ему — Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло — и рассеянно.

— О чем вы думаете?

— Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..

Бекетова. 6 февраля 1909. Петербург

Были хорошие часы, теперь опять плохо. У Любы родильная горячка, молоко пропало, ребеночек слабый. За Любу страшно. Смотря сегодня на бледное ее личико с золотыми волосами, передумала многое. Саша ухаживает за ней и крошкой...

8 февраля 1909. Петербург

Ребеночек умирает. Заражение крови. Люба сильно больна. Будто бы не опасно, но жар свыше 39° и уже третий день. Я ее больше не вижу. Уныло, мрачно, печально.



9 февраля 1909. Петербург

Все то же. Ребенок еще жив, Люба лежит в жару и в дремоте. «Очень он удручен?» – спросила Софа. – «Это ему не свойственно, как и мне», – сказала Аля. «Ну, не скажу», – отвечала Софа. Да, в серьезных случаях он не капризничает и не киснет, она тоже не киснет, не склонна падать духом. Оба склонны ненавидеть в такие години все, что не они.

10 февраля 1909. Петербург

Ребенок умер сегодня в 3 часа дня... Любе лучше. Я поехала сейчас же к Саше. Он пришел при мне; через минуту, узнав, полетел в больницу. На лестнице Ваня, в воротах Аля – прямо от Софы. Поговорила она со мной и тоже поехала. Дождалась его и ее и оставила их за обедом. Он как будто успокоился этой смертью, м. б. хорошо, что умер этот непрошенный крошка... Люба, по-видимому, успокоилась.

11 февраля 1909. Петербург

Сегодня мне ужасно жаль маленького крошку. Многие говорят, что в смерти его виноваты доктора. Пусть так. М. б., и лучше, что он умер, но в сердце безмерная грусть и слезы. Мне жаль его потому, что Любе его мало жаль. Неужели она встряхнется, как кошка, и пойдет дальше по-старому? Аля боится этого. И я начинаю бояться.

Люба. Четверо суток длилась пытка. Хлороформ, щипцы, температура сорок, почти никакой надежды, что бедный мальчик выживет. Он был вылитым портретом отца. Я видела его несколько раз в тумане высокой температуры. Но молока не было, его перестали приносить. Я лежала: передо мной была белая равнина больничного одеяла, больничной стены. Я была одна в своей палате и думала: «Если это смерть, как она проста...» Но умер сын, а я нет.

Через несколько недель вернулась домой. В душе была, наверно, сильная травма. Я все переживала особенно. Помню первое впечатление дома: яркое весеннее солнце падало косым лучом на дверцу книжного шкафа в Сашиной комнате, и игра света на блестящей поверхности красного дерева казалась мне такой фантастически прекрасной и красочной, словно я никогда в жизни не видела еще ни света, ни яркой краски. Это после моей белизны, моего отхода от жизни.

Но потом доминирующей нотой была пустота и тупость. Даже странности – я боялась переходить улицы, боялась людных мест. Но почему-то меня не лечили; и я не лечилась. К счастью, решила ехать в Италию и спастись ею, как многих спасало ее искусство. Это было для меня, конечно, правильно...



Люба – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

12-13 марта 1909. Петербург

...Ехать мы хотим в начале апреля, раньше Саше не выбратъся — хочет всех повидать, покончить все дела. А пробудем мы там месяца два, вероятно, так предполагаем, а как выйдет, конечно, неизвестно...

Вчера были у нас Мережковские, все трое; снова рассматривали нашу квартиру, точно век не видели небогатых и простых квартир, а потом стали втроем продолжать свои разговоры, как бывало у Сологуба, совершенно независимо от нас, так весь вечер. Потом мы с Сашей удивлялись — зачем они, собственно, приходили?..



Глава XXI. «Люба на земле — страшно...»

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

7 мая 1909. Венеция

...Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно. Наши комнаты выходят на море, которое видно сквозь цветы на окнах. Если смотреть с Лидо, весь север окаймлен большими снежными вершинами, часть которых мы проехали. Вода вся зеленая. Это все известно из книг, но очень ново, однако, — новизной не поражающей, но успокоительной и освежающей. Дня через три мы уедем в Падую. Жить спокойно, просто и дешево...

Люба ходит в парижском фраке, я — в венском белом костюме и венецианской панаме. Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Все очень тихо, лениво и отдохновительно. Хотим купаться в море. Наконец-то нет русских газет...

13 мая 1909. Флоренция

...Сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны... Сегодня, а может быть, и завтра — ничего осматривать не буду, приятнее — слоняться и узнавать город. Те два для меня — как на ладони, а Флоренция велика, и с ней труднее освоиться.

Самочувствие все еще не слишком хорошее. Мы оба еще не совсем окрепли, хотя уже теперь гораздо лучше. Я покупаю картинки, а Люба—древности...

14 мая 1909. Флоренция

Люба опять помолодела и похорошела. Бегаёт. Ее называют сиңориной, говорят «que bella»*. За обедами мы говорим как-то тихо (шепчутся, как влюбленные), — может быть — по русской, может быть — по старой привычке...

Блок – Иванову. 7 июля 1909. Сиенна

...Мы в Сиенне, это уже *одиннадцатый* город. Воображение устало. На душе еще довольно смутно. Завтра уедем к морю, может быть, купаться. Из итальянских газет я ничего, кроме страшно мрачного, не вычитываю о России. Как вернуться — не понимаю, но еще менее понимаю, как остаться здесь. Здесь нет земли, есть только небо, искусство, горы и виноградные поля. Людей нет. Но как дальше быть в России, я не особенно знаю. Самым страшным и царственным городом в мире остается, по-видимому, Петербург. Мы поедем на Рейн, когда иссякнут деньги, а это случится скоро...

* Какая красивая (*ит.*).



Блок. 11-12 июня 1909. Пиза

Проснувшись среди ночи пил шум ветра и моря, под влиянием ожившей смерти Мити*, от Толстого, и какой-то давней вернувшейся тишины, я думаю о том, что вот уже три-четыре года я втягиваюсь незаметно для себя в атмосферу людей, совершенно чужих для меня, политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства. Источник этого — русская революция, последствия могут быть и становятся уже ужасны...

Надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно. Средство — отказаться от литературного заработка и найти другой. Надо же, как-нибудь жить. А искусство — мое драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимыми друзьями, — пусть оно остается искусством... без Чулкова, без модных барышень и альманашиков, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА. Италии обязан я, по крайней мере, тем, что разучился смеяться. Дай бог, чтобы это осталось... Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть много людей, работать и учиться. Неужели это невыполнимо? Только бы всякая политика осталась в стороне. Мне кажется, что только при этих условиях я могу опять что-нибудь создать. Прошу обо всем этом пока только самого себя. Как Люба могла бы мне в этом помочь...

НВ. ...Без Бугаева и Соловьева обойтись можно. — Озлобление свое ослабить. — Значит, революция только отложила мою какую-то черновую работу (заработок) на четыре года. Теперь о нем подумать страшно, но надо же как-нибудь жить и отвести в ежедневности — угол для денег, а в душе — угол для загнанного искусства и своей работы. А вдруг — стерпится — слюбится? Надо только начать что-нибудь не слишком противное — не пойдет ли потом как по рельсам?

Блок – А.А. Кублицкой-Пиотгух

19 июня 1909. Милан

... Мы в Милане уже третий день и послезавтра уезжаем во Франкфурт. Там проведем несколько дней (в Nauheim'e), потом поедem по Рейну до Кельна, а из Кельна, осмотрев его, прямо в Берлин и Эйдкунен. В Шахматове надеемся быть в конце июня, значит. Надо признать, что эта поездка оказалась совсем не отдохновительной. Напротив, мы оба страшно устали и изнервничались до последней степени. Милан — уже 13-й город, а мы смотрим везде почти все. Правда, что я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь — ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, вообще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа...

* Умерший сын Блока.



Меня постоянно страшно беспокоит и то, как вы живете в Шахматове, и то, что вообще происходит в России. Единственное место, где я могу жить, — все-таки Россия, но ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно — всё хуже и хуже.

Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто *некуда* вернуться — на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят,— цензура не пропустит того, что я написал. Пишу я мало и, вероятно, буду еще долго писать мало, потому — нужно найти заработок. Обо всем этом я очень хочу поговорить с тобой. Теперь, слава Богу, мы наконец скоро объездим все, что полагается по билету. Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма.

Сняться — мы так и не снялись. Как-то не собрались, и не нашли таких фотографий. Да и как-то глупо теперь сниматься. И я, и Люба с этого года слишком мало любим свои лица. Мне иногда мое лицо бывает противно.

Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: — чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей...

Болезне чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция. *Все* люди сгниют, *несколько* человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет...

Блок. 20 июня 1909. Милан

Завтра утром покидаем Италию. Слава Богу!.. Bad Nauheim: первой влюбленности, если не ошибаюсь, сопутствовало сладкое отвращение к половому акту (нельзя соединяться с очень красивой женщиной, надо избирать для этого только дурных собой). Может быть, впрочем, это было и раньше.

Бекетова. 3 июля 1909. Шахматово

Приехали дети, прекрасные, веселые. Люба снова помолодела и хороша, как в старое время. Радости от них тьма. Аля, бедная, дышит ими. Не знаю, надолго ли такой только праздник.

Блок. 8 июля 1909. Шахматово

Люба была в Боблове... Мама совершенно права в своем сегодняшнем беспокойстве. Происходит нечто серьезное.



Русская революция кончилась. Дотла сгорели все головни, или чаши людских сердец расплескались, и вино растворилось опять во всей природе и опять будет мучить людей, проливших его, неисповедимым. Вся природа опять заколдовалась, немедленно после того, как расколдовались люди. Тоскует Душа Мира, опять, опять. Из-за еловых крестов смотрят страшные лики — на свинце ползущих туч. Всё те же лики — с еще новыми: лики обиженных, казненных, обездоленных, лики великих любовниц... и других моих. Свинцовые тучи ползут, ветер резкий. Мужики по-прежнему кланяются, девки боятся барыни, Петербург покорно пожирается холерой, дворник целует руку, — а Душа Мира мстит нам за всех за них. «Возврат».

Люба вернулась сегодня из Боблова по-старому. Чужая, подурневшая.. Надежда Яковлевна опять устраивает в Боблове вечер, не мыслимый в только что пережитые годы.

Возвращается все, все. И, конечно, — первое — тьма. Сегодняшний день (и вчерашний) — весь с короткими дождями, растрепанными белыми гигантами в синеве, с беспорядком в листьях, со свинцом, напалзающим к вечеру на кресты елей — музыкален в высшей степени.

Будет еще много. Но Ты — вернись, вернись, вернись — конце назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять — возвращающийся.

Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидеть зарю Твою. Возвратись.

22-23 сентября 1909. Шахматово

Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем. Все отвернутся и плюнут, — и пусть — у меня была молодость. Смерти я боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, снятое место души — Люба. Она помогает — не знаю чем, может быть, тем, что отняла? — Э, да Бог с ними, с записями и реестрами тоски жизни.

Веригина. В 1909 году я приехала опять в Петербург осенью и пробыла больше месяца. Почти все вечера проводила у Блоков. Они вернулись из Италии. Александр Александрович написал цикл «Итальянских стихов»; читал их нам с Любовью Дмитриевной наизусть и особенно хорошо «Равенну». Блок сидел обычно на диване один, мы — в больших креслах напротив.

Когда мы рассматривали фотографии и открытки, привезенные Блоком из Италии, он, между прочим, указал на одну из фресок, изображающую Благовещение, и сказал: «Как раз это Благовещение в моих стихах». Действительно, ангел на той картине был демоничный «темноликий ангел с дерзкой ветвью», в темно-красных развевающихся одеждах. После чтения «Итальянских стихов» явля-



лось особое настроение, как будто мы переносились в иной мир. То были образы и картины «его» Италии. В такие вечера я чувствовала себя отделенной от внешнего мира как бы завесой и заключенной в пространстве, где царят только чары поэта. Такие моменты искупали все дневные неприятности — мелочи жизни отступали далеко. Большею частью подобное настроение приходило, когда мы бывали втроем... Случалось, что Александр Александрович бывал веселым. В ту пору он изощрялся о стиле Ната Пинкертон. Например, приглашая нас с Любовью Дмитриевной в кинематограф на Петербургскую сторону, говорил: «Пойдемте через Темзу в Сити», а однажды, когда мы втроем шли по мосту через «Темзу» и впереди нас оказался пьяный оборванец, едва державшийся на ногах, Блок повернул ко мне голову и спросил с необыкновенно значительной интонацией: «Вы не находите, что от этого джентльмена сильно пахнет виски?» В кинематографе Александр Александрович продолжал с нами разговаривать в том же духе, мы смеялись и почти совершенно не обращали внимания на экран. Возвратились домой очень веселые. За чаем Блок предложил мне переписываться и тотчас же написал письмо, которое, к сожалению, пропало. Помню из него только несколько строчек; начиналось оно следующими словами: «Дорогая моя! Сегодня приходил зет! Я ответил ему ударом кулака по столу...» Дальше шли намеки на какие-то таинственные события и ни с того, ни с сего фраза: «NN падает в непрестанные обмороки». Кончалось письмо так: «Сегодня вечером я приеду за тобой на своем автомобиле, в «Лештуков переулоч» (там было совершено какое-то преступление), и мы отправимся на мои золотые прииски. Постарайся обмануть тетку... Твой Александр Блок». Передавая письмо через стол, Блок сказал: «Ответьте мне, Валентина Петровна». Я немедленно исполнила его просьбу и между прочим, когда дошло дело до обморока NN, я написала «она». Александр Александрович спросил меня: «Разве NN—женщина?» Я удивилась тому, что у него мужчина падает в непрестанные обмороки. Александр Александрович чистосердечно сознался, что он просто не думал, о ком писал. Так мы шутили весь вечер, не предчувствуя мрачного периода в жизни Блока, наступившего через несколько дней.

Александр Александрович совершенно неожиданно серьезно заболел, Люба была настроена довольно мрачно еще до этого. Основной тон ее был грустный, уже когда я приехала. Она решила бросить сцену, но решение это явилось, мне кажется, под влиянием Блока. Люба ничем определенным не занималась. На мой вопрос, что она делает, ответила: «Да ничего, книжки читаю». Такое ничегонеделание было плохим знаком. Обычно Люба чем-нибудь интересовалась. То изучала старую архитектуру Петербурга, то фарфор, то кружево, то разыскивала старинные журналы, причем все это делала основательно и серьезно, в ней сказывалась кровь ученой семьи. Итак, незадолго до моего отъезда Блок заболел.



Однажды я пришла днем, он был дома, но сразу ко мне не вышел, появился только к обеду с завязанной щекой, говорил, что болят десны. После обеда сейчас же ушел к себе. Через несколько дней я зашла проститься. Александр Александрович не вышел совсем. От Любови Дмитриевны я узнала, что он очень страдает. Я уехала в Москву, кажется, в начале ноября и встретила с Блоками только через два года...

Люба – А.А. Кублицкой-Пиотгух.

1 декабря 1909. Петербург

Милая, вчера Саша уехал в Варшаву со скорым поездом вечером. Сегодня днем получена телеграмма от М. Т. Блок*, что Александр Львович при смерти. Может быть, Саша и застанет его еще живым. Очень ему тяжело было ехать...

Блок. 30 ноября – 1 декабря 1909. Поезд

Ничего не хочу — ничего не надо. Длинный коридор вагона — в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь — я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге...

Отец лежит в Долине роз и тяжело бредит, трудно дышит. А я — в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит — я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба — не хватило сил. Зброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее** со мной нет — чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться...

Блок – Любе. 1 декабря 1909. Варшава

Люба, я застал отца уже покойным. Он умер в 5 час. дня... Он мне очень нравится, лицо спокойное, худое и бледное, и приподнятые плечи. Ехать было страшно одиноко, все время тосковал и тоскую без тебя. Останусь здесь на несколько дней, на сколько — не знаю. Во-первых, — похороны только в пятницу. Во-вторых, — буду разбирать его квартиру и дела...

Впечатления буду рассказывать тебе потом. Устал, в конце концов. Теперь, во всяком случае, гораздо легче, чем было в поезде...

Бекетова. 19 декабря Ал. Ал. вернулся в Петербург. Ему очень хотелось к матери. Он горел желанием поделиться с ней варшавскими впечатлениями, сообщить ей новые проекты и планы. Наследство, полученное после отца, он с сестрою*** поделил поровну, каждый получил около 40 тысяч рублей, что давало возможность жить независимо и устроить шахматовские дела.

* Вторая жена отца Блока.

** Любы.

*** Падчерицей А.Л. Блока.



В конце декабря он приехал к матери. За ним – и Люб. Дм. Новый, 1910 год встречали в Ревеле вместе...

Блок. 10 января 1910. Петербург

После ужина, приехав на лихаче, пью шампанское, поцеловав ручку красавицы. Что-то будет?..

20 января 1910. Петербург

Скрипки жаловались помимо воли пославшего их. — Три полукруглые окна... — с Большого проспекта — светлые, а из зала — мрачные, — небо слепое.

Я вне себя уже. Пью коньяк после водки и белого вина. Не знаю, сколько рюмок коньяку. Тебе назло, трезвый (теперь я могу говорить с тобой с открытым лицом — узнаешь ли ты меня? Нет!!!)...

Люба – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

23 января 1910. Петербург

...Саша пошел сейчас на концерт... читать свои стихи... Он в умопомрачительном новом сюртуке; страшно просто и удивительно чистые и красивые линии. Мы что-то безумствуем последние дни оба, в смысле траты денег — покупаем книги, и я старинные вещи; книги очень хорошие... Думаем, как бы Вам устроиться с лечением получше и, по возможности, приятно...

З. Гиппиус – Белому. 27 января 1910. Петербург

...Читала вашего «Серебряного Голубя». Много очень там хорошего, глубокого. В восторге от него Блок. Вообще и он, и Любовь Дмитриевна особенно хорошо стали последнее время отзываться о вас и ваших писаниях.

Сейчас Блока мы реже видим. Он как-то более отошел от вопросов, занимавших его в прошлом году, сильно опять ушел в себя, вернулся в свое «неизреченное», где у вас с ним есть большие связи. То же могу сказать и про Любу. Она мне напоминает прежнюю, прежнюю Любу, до всего, опять спящую в том же «зачарованном» сне. Точно годы пролетели, не разбудив ее. Скажу вам открыто: не знаю, чего желать для вас; встретиться ли вам с Блоками, или нет. С одной стороны — как будто и хорошо, столько вас связывает общего; с другой — думается иногда: вдруг все, начатое с того же начала — опять так же и кончится? Словом — не знаю; не знает, вероятно, и Блок. А вы, хороший мой Боричка...

З. Гиппиус – Блоку. Февраль 1910. Петербург

...Выходит как-то нелепо: хотим видеть вас — а вы не приходите, при этом совершенно напрасно, т. к. Андрей Белый к нам тоже не приходит. Правда, и он мне сказал, что *не* желал бы встречаться с вами, но не бывает он у нас не исключительно по этой причине,



а, вероятно, и по полному безволию. За все две недели с лишком пришел всего два раза... Он живет у Вяч. Иванова и проводит *все* ночи в разговорах до 11 утра, так что в конце они уже говорить не могут, а только тыкают друг друга *перстами* и чертят по бумажке. Впечатление Боря произвел на нас потрясающее: совсем больной душевно человек. Лицо острое, забывает, что сказал, повторяется, видит везде преследования, и всякий с ним делает, что хочет. Впрочем, мы вам расскажем в субботу, приходите в субботу пораньше. Жалко ужасно, но мы уже бессильны помочь. Ему надо бы всю жизнь посвятить, ни секунды не оставлять, да и то неизвестно, помогло ли бы...

Блок. 18 февраля 1910. Петербург

Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе — мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, — страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но 1898 — 1902 (годы) сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее...

2 марта 1910. Петербург

...И потом произошел вихрь такой, что вот на следующий день я весь дрожу, хотя уже после ванны. Запоминаю косые их взгляды — вопросительные и испуганные, — я даже их вовлекаю в то, от чего им непривычно сладко и мучительно. «Ты Бог знает до чего дойдешь», «Я тебя боюсь». Грехи мои так тяжки, что утром пришла мысль об исповеди. Когда умру — все это прекратится.

Одна из лих: «Погибнешь», говорила, «Ты до всего дойдешь». — Да будет так. «Боюсь тебя»...

11 марта 1910. Петербург

...Я пьян, конечно, уже окончательно. Потому — остается только просить, благодарить и славословить — чтобы не случилось чего-нибудь...

Боже мой, Боже мой, в скуке...

Да! Я пьян...

Бекетова. Главным интересом этой весны, помимо всего, являлись планы перестройки шахматовского дома.



Выплатив тетке С. А. Кублицкой третью часть из полученных по наследству денег, Ал. Ал. обдумал план радикальной перестройки. Флигель, в котором они с женой жили первые годы, пришел в совершенную ветхость. И он решает водвориться в доме. Заводится переписка с плотником, живущим по соседству с Бобловым: прежде всего нужно заготовить лес, собрать артель рабочих. Один из денщиков Франца Феликсовича едет в Шахматово присмотреть за началом работ, а в апреле, на Фоминой неделе отправляются туда и Блоки...

За хозяйство взялась Люб. Дм.: и яровые сеяли, и коров покупали, и лошадей, все, разумеется, на деньги Блока. Для ремонта пришлось собрать целую артель: кроме плотников, явились тверские печники и московские маляры. Всего тридцать человек. Дом решено было ремонтировать и внутри, и снаружи: перестилали полы, чинился фундамент, ставились новые печи, дом красили снаружи, переклеивали внутри, крыша из красной стала зеленой, как была при первоначальной покупке Шахматова. Окна, двери – все было перекрашено заново. Балкон сломали. На его месте сделали прехорошенький новый. И наконец – пристройка. Над просторной комнатой старой боковой пристройки воздвигли такую же в виде второго этажа. Все это покрыли новой крышей, а из верхней комнаты, предназначавшейся для самого хозяина, образовался переход в мезонин, где Ал. Ал. устроил библиотеку. Все свободные от окон стены покрыли фанерой и полками, куда снесены были все книги из старого дома. В промежутках развесили портреты Леонардо-да-Винчи, Толстого, Пушкина, Достоевского, большую фотографию Джиоконды, привезенную из Парижа, врубелевскую Царевну-Лебедь. Посреди комнаты – большой стол и мягкие стулья. Сюда привозили груды книг из Петербурга, и много из этого безвозвратно погибло во время революции...

Из верхней, новой комнаты пристройки, где поселился Ал. Ал., открывался далекий вид. Нижние стекла окон вставлены были красные. Комната вышла светлая, просторная. Внизу, у Люб. Дм. было потемнее. Широкое итальянское окно ее комнаты выходило в сад, на большущий куст ярких прованских роз, которые были в полном цвету и на солнце, как жар, горели...

Так проходит весь май. В июне уже заметно утомление. Между прочим – жара и засуха. Но главное, конечно, – сложность и ответственность дела. С одной стороны, он торопит рабочих, желая скорее перевезти мать. С другой стороны – начинаются неожиданные препятствия: дразги, оттяжки, выпрашивания на чай и про падание в казенке, ссоры с подрядчиком, который, как водится, плохо кормит. Приходится разбирать недоразумения, подбадривать рабочих. Дело затягивается. Рассчитывали кончить к Петрову дню, к концу июня. И то скоро. Блок очень беспокоился, как



понравится матери перестройка и некоторые новые затеи. В конце концов возня с рабочими совсем его замучила...

Наконец к Казанской (8 июля ст. ст.) покончили со всеми плотничьими и печными делами. В Шахматове остались одни маляры, которые кончали наружную окраску. Обновленный дом сиял свежестью, весь серый с белым и с зеленой крышей, но старинная уютность его не была нарушена, все переделки были выдержаны в его стиле.

Я приехала за несколько дней до сестры. При мне Блоки кончали уборку комнаты Ал. Андр.; в столовой он вешал большую светлую лампу, купленную и привезенную из Петербурга.

Наконец Л. Дм. съездила в Москву и привезла Алекс. Андр. из санатории. Она плохо поправилась, все воспринимала довольно тупо, но через несколько дней, попривыкнув к новому, стала радоваться тому, что опять видит сына. Он надеялся на санаторию, рассчитывая увидеть большую перемену в здоровье матери, но был разочарован...

Все пошло своим чередом. Л. Д. хозяйничала, а Ал. Ал. тут же задумал строить новое помещение для работника. Сестра Софья Андреевна, я, Анна Ивановна Менделеева, приехавшая погостить тетя Соня – все восхищались обновленным Шахматовым, изобретательностью и вкусом хозяина. Блоки решили остаться тут на всю зиму...

В свою комнату Ал. Ал. привез старинный блоковский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. В нем были секретные ящики, где Блок сохранял письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, девичий дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь безвозвратно. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное – неизвестно...



Глава XXII. Болван из снега

Белый. Мое расхождение с Любовью Дмитриевной постепенно оформилось явным молчанием; мы не видались с 1908 года до 1916 года. А к А. А. отношение — замирало, не вспыхивая ни дружбою, ни враждою; но то, что естественно доходило о Блоках в Москву, было связано с слухами: об образе жизни А. А. Слухи я отстранял даже: я закрывал свои уши...

Каждый период имеет окраску; так: если окраска 1901—1902 годов — ожидание какого-то нового времени, то тема 1908 — разочарованье; в «Симфонии» фраза есть: «Ждали Утешителя, а надвигался Мститель». Ощущение 1908 года: да. Мститель — приблизился; А. А. ощущал его грозной судьбой; я — *Врагом*: надо было беречься; в духе 1901—1902 годов загадалось сближение с Блоком; в 1908 год писалось: разделение наше.

Это — мы поняли; и — замолчали: в молчании поднималась грусть; я искал все забвенья от грусти: в деятельности наших кружков, в философской моей устремленности, в спорах...

*Неслышанные перемены,
Невиданные мятежи.*

В этих строках классически отобразился лейтмотив ожидания «мятежей» и «перемен», который в 1908 году врывался в индивидуальные сознания наши, отрывая нас друг от друга, бросая в себя и в себе заставляя подслушивать что-то страшное, подкрадывающееся, как Враг, как Мститель за неп прочитанные, невоплощенные зори недавнего и кажущегося в то время таким далеким периодом жизни.

Зори обертывались в Блоке *кровью*; зори для него оказались взвешанною под небо землю.

Мы с А. А. по-разному пережили подмену *зори* — *кровью*; и это переживание подмены отделило нас друг от друга; каждый думал, что подменен — другой: а *подменивалась самая музыка времени...*

Суть перемены времени мы постигли позднее; и оба поняли одинаково; в этом наша новая и окончательная встреча с А. А. в 1910 году.

Пока же мы оба, по-разному переживали перерождение жизни в нас: А. А. искал порою забвенья в *вине* и в *страсти*: я — в замораживании себя сухими, философскими схемами; но разочаровались мы в сходном, даже... в *одних и тех же людях*, — причем А. А. винил меня в том, может быть, что *эти люди* изменились; а я — его, но мы поняли, что на эти темы нам лучше не говорить; о другом — не могли говорить; без уговору мы замолчали.

Перерождение жизни — свершилось: о жизнь мы разбились по-разному...



...По вечерам, совершенно измученный, я лежал на зеленом диване своем, чутко вслушиваясь в звуки моцартовских похоронных мелодий, которые за стеной наигрывала моя мать; приподымался во мне образ А. А., *отступившего в ночь*; быть может, в то самое время, он Дома... переживал, как и я, одиночество своей опустевшей квартиры, чтобы остаться до августа в Петербурге; я в то время особенно верил в чтение душ — на расстоянии, в телепатизм (со мной не раз происходили феномены телепатии); я старался прочесть его душу...и я вскакивал с моего зеленого ложа, прислушиваясь к похоронным звукам рояля: ну да! Наши зори сгорели; и *пепел* остался от нас ...благоговением к прошлому был переполнен я; думал я: «Да, не нам дано свершить действие сведения *света в жизнь*; и вот мы — умираем; но свет — есть; и жизнь — есть». Отношение к собственной гибели у А. А. возмущало меня; мне казался его пронизающий скепсис — цинизмом; а слухи, ходящие о его жизни (он пьет-де и кутит), которые я отталкивал от себя, но которые все-таки пронизали меня, — эти слухи разыгрывались в картины цинизма: в обстановке петербургских литературных кругов эта гибель души представлялась мне увенчанием лаврами поэта Блока. Впоследствии А. А. написал:

*Молчите, проклятые книги, —
Я вас не писал никогда!*

Но пока не были написаны эти слова мне жест Блока гласил: «Прославляйте меня, книги, повествующие о моей личной гибели: вы все же увековечиваете меня!» И я почти вскрикивал:

— Какою ценою!

Так заочно в глубинах сознания моего я с Блоком рассорился; вероятно и в нем происходили подобного рода разговоры со мною; — из пустой, холодной квартиры своей на Галерной, быть может, смотрел на меня он с укором...

Словом, во мне есть уверенность, что для А. А. образ мой подменился, так именно как во мне подменился весь образ его; все то происходило: в унылые месяцы темной реакции, когда учащались *клубы* («огарки») среди молодежи: господствовала саниновская психология; зловонием уже лопался над Россией Азеф; делалось страшно; а мы (А. А., я), ощущая всю гибельность атмосферы, смотрели уже друг на друга как на бациллоносителей страшной болезни; тяжелого скепсиса и цинизма; во мне поднимался естественный жест: опорить А. А.: не дослушав моцартовской ясной мелодии, я убежал в ночь, и метель, в слякоть, в ветер...

Потом возвращался домой, гасил свет; и ночами тупо глядел в окна комнаты...

Мне казалось: комната мои переполнялась тоскою моею; тоска от меня отделялась, *наклоняясь черным моим двойником надо мною...*

...Странные раздвоения сознания меня посещали; жизнь второй половины сознания диктовала порой совсем неожиданные жесты души; и таковыми были — припадки *боли и полемической злости*; в то именно время вышла книжечка драм А. А. — с обложкою Сомова; книжечка, из которой опять на меня из А. А. поглядели и *скепсис*, и *смерть*, — преисполнила меня стремительной полемической злостью; и тут неожиданно я написал обиднейшую рецензию на драмы (сколько раз потом я готов был рвать волосы за то, что она-таки была напечатана...)...

Из рецензии Белого «Обломки миров»

...Блок — талантливый изобразитель пустоты: пустота как бы съела для него действительность (ту и эту). Красота его песни — красота погибающей души, красота «*оторопи*», а не красота созидания ценности...

Как атласные розы, распускались стихи Блока; из-под них сквозило «*видение непостижимое уму*» для немногих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его, как создателя новых ценностей. Но когда отлетел покров его музыки (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница — правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попки и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты окреп стих поэта. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого прекрасного поэта гусениц; но за то мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся в проститутку и в мнимую величину, нечто в роде « — 1») призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти...

Но далее: Блок стал еще более совершенным техником, а Незнакомка, Смерть, жизнь, проститутки, рыцари, кабачки — все, к чему ни касался Блок, превращалось в изящный, как виньетка, покров, над... чем? И вот в «*драмах*» оказалось, что «*что-то*» есть... большое Ничто. Сначала расплыл мир явлений, потом расплыл мир сущностей. «*Драмы*» Блока — обломки рухнувших миров (того и этого), как попало соединенные в своем полете в пустоту...

Без связи, без цели, без драматического смысла, мягко струит на нас гибнущая душа ряд своих образов; символизм — ряд кинематографических ассоциаций, бессвязность — вот смысл блоковской драмы. Пусть читатель не примет мои слова за осуждение этих «*драм*»: в них есть особая красота «*оторопи*», красота мертвенности...

«*Человек в пальто* — (громко, как ружейный залп). Бри! *Собеседник*. Ну это... это... знаете. *Человек в пальто* (угрожающе). Что знаете? (Все — вертится)». (1-е действие «Незнакомки».)



Через действие.

«Из общего разговора доносятся слова: «рокфор», «камамбер». Вдруг толстый человек... высказывает на середину комнаты с криком: «Бри!» Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил «все» (3-е действие «Незнакомки»).

Попробуйте подойти к драмам Блока с точки зрения цели, смысла, ценности. «Бри» — и все тут! Вот безвольно вырастает чудесный образ, но как ружейный залп пустота выстреливает: «Бри!» И подстреленная, на смерть подстреленная душа струит на нас кинематограф образов. И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его герои — картонные манекены), плачем над драмою самого Блока. С нежной улыбкой погибающего вырезывает он свои картонажи; и — вот: мистики ждут смерти, Пьеро — невесту; приходит невеста с косой за плечами, — мистики думают, что коса не за плечами, а в руках; Коломбина верна Пьеро; Арлекин, пропев четверостишие, уводит Коломбину; автор врывается в картонный мир; Арлекин проваливается в бумажную бездну; в разрывах бумаги появляется невеста с двумя косами (косой и «косой»). В заключение Пьеро играет на дудочке. «Бри» — и все тут.

Вы говорите, — нельзя понять драм Блока; да их нечего понимать: их небо пропустит сквозь себя: ведь они — обломки ценностей, которым, быть может, молится поэт. Захватывающая сила этих драм есть бесцельная тризна поэта над своею душой, которая и себя, и свои кумиры бросила на алтарь... пустоты. Эту тризну я слышу; болезненную любовью, любовью — жалостью принимаю я плач больной души над собой и смех больной души над собой: плач и насмешка от чистого сердца. «Бри» — и все пусто!

Белый. Несправедливая эта рецензия появилась в номере майском «Весов»*. И А. А. на нее обижался, считая, что уговор наш естественно отделять наши личности от литературной полемики — явно нарушен; до появления рецензии мы не думали, что — в разрыве мы; после рецензии — ссора оформилась: мы при встречах протягивали сухо руки; и отходили в разные стороны...

Тут автор должен огорчиться: знакомство его с А. А. Блоком протягивается в года: были годы, когда мы не виделись, и когда долетающие ко мне факты внешней его биографии мной откидывались, до... личной встречи; но — не было дня, чтобы где-то не вспоминал о нем, возвращался к произнесенным меж нами словам, возвращался к строчкам, стараясь в них, через них понять Блока, завешенного мглою дней, мглою лиц; воспоминания о Блоке связались с личными думами, с несомненными кривотолками, возникающими во мне; Блок был, быть может, мне самой яркой фигурою времени; увлечения, устремления к людям, с которыми Блок

* 1908 г.

очень часто и не был знаком, обуславливались фазою моего отношения к Блоку; и — наконец: наши встречи настолько всегда диктовались определенными устремлениями, что я не могу не распространяться о некоторых идейных воздействиях, менявших мой облик и обуславливающих мой новый поворот к Блоку...

А. А. все-таки со мной не встречался; в одном инциденте, произошедшем со мною, он мужественно за меня заступился; я был благодарен ему.

Миротворное действие В. Иванова на меня и на Блока сказалось после моего отъезда; в апреле 1910 года в *«Обществе ревнителей Художественного Слова»* А. А. прочел свой доклад *«О символизме»*; докладу я радовался; чувствовалось: пора ликвидировать сору.

В тогдашний приезд раз только наткнулся я на А. А.: на вечере памяти Комиссаржевской, с которой осенью 1909 года я очень сошелся (и казалось мне — прочно; а через месяца полтора уже смерть к ней придвинулась); мы столкнулись в лекторской: я, Г. И. Чулков и А. А. Блок... Помнится, мы сухо протянули с А. А. друг другу руки и тотчас же заходили взад и вперед, не произнося ни одного слова и стараясь друг на друга не видеть. А. А. ходил от стены к стене, я тоже, но в направлении перпендикуляра, а Г. И. и измерял пространство комнаты по диагонали. Это неловкое молчаливое хождение друг перед другом длилось несколько минут, но я чувствовал уже в глубине души, что путаница между мной и А. А. ликвидирована, что то безусловное, верное и духовное, чему основа заложена нашим двенадцатичасовым разговором в Москве, развивается в нас вопреки всем формам духовного понимания и непонимания, вопреки всякой полемике, нас отделяющей...

В июле и в августе 1910 года я проживал в Боголобах, близ Луцка, в прелестнейшем домике, отделенном тенистой дубовою рощей от белого дома, в котором устроилось семейство В. К. Кампиони, лесничего Торчинской области, то есть его жена, его дети и падчерицы, Т. А. Тургенева, Н. А. Тургенева и А. А. Тургенева. *«Таня»*, *«Наташа»* и *«Ася»*; мы с Асей дружили; и мы собирались соединить наши жизни; и — помнится: как забирались на дерево с Асей, качаясь на зеленых ветвях и разговаривая часами: о жизни, о наших возможных путях к невозможному, соединяющих нас, о России, о Духе... Выговаривал все это я Асе Тургеневой, — из зеленых ветвей, овевавших меня, в те зеленые ветви (чуть-чуть надо мной), из которых высовывала свое личико Ася (и светло-русые локоны), чутко прислушиваясь к моему моральному миру; да, эти июльские жаркие полдни в ветвях, среди нас обнимавшего ветра, остались мне в жизни одним из значительнейших моментов, в котором складывалось волевое решение: разорвать с прежней жизнью; и что-то начать — начать строить; те миги определили последнее решение наше: прислушиваться к духовному знанию...



Здесь попалося «Куликово Поле» мне, строчка за строчкою совпадая с интимнейшими переживаньями этих лет жизни... каково же удивление мое (помню я), когда стало мне ясно, что в это же время А. А. — в сокровеннейших переживаньях моих так решительно совпадал; этот факт совпадения мне показал: вопреки внешней ссоры — остались мы братьями; как совпадали в интимнейших восприятиях жизни мы в годы зари, так теперь совпадали мы в годы томительной тишины перед громом.

Совершенно естественно, что я тотчас же написал А. А. Блоку письмо... Сияющий, ароматный ответ получил от А. А. я.

Так ссора закончилась...

Мне помнится, что сближение с Асей и примирение с Блоком совпало в сознании моем; и вернулась ко мне покидавшая долго меня любовь Божия — в Боголюбях; как часто твердил про себя в *боголюбских* полях: «Боголюбы: не спроста сюда я попал!» ...И бывало мы с Асей гуляли дубовыми рощами; и разговор продолжался: о Духе, о нас, о моей странной жизни, о Блоке; и Ася вливала мне в душу елей примирения с Блоком...

Белый – Блоку.

Конец августа — начало сентября 1910. Москва

Глубокоуважаемый и снова близкий Саша,

прежде всего позволю мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да, и незачем... Я почувствовал *долг* написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту *правду* несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть, или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв — все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а *во имя долга*. Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал.

Аминь.

Блок – Белому. 6 сентября 1910. Шахматово

Милый и дорогой Боря.

Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не

стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече (впрочем, и Тебе). Но внутренне я давно с Тобой, временами страшно близко, временами — с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе...

Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что *есть*, за *что* прощать друг друга; потому что, действительно, то, что было, — *было*, это *не* пустое место, это «бес всех нас попутал»...

Ну, так правда торжествует. И я скажу: Аминь.

Блок. сентябрь 1910. Шахматово

Ужасно сложное — в его жену влюблен человек гораздо более значительный, чем он. Они ссорятся, потом мирятся. Любовь. Перипетии любви.

Но есть одна задняя мысль: он, «защитивший» жену и сам называющий ее «первой любовью», всегда смутно знает, что она — не первая любовь. Какая же была первая?

Однажды случайно доносится отрывок разговора: «Вы слышали, умерла К. С.*» Он не может спросить. Бросается за газетой. Подтверждается.

Ужасно смешной вихрастый господин путается все время около, осведомляясь от времени до времени: «А вы не импотент? А мне кажется, что вы импотент?»

— Тьфу ты, пропадай, пусть будет по-твоему, только отстань.

Однако кто же умер? Умерла старуха. Что же осталось?

Понемногу он погружается в синеву воспоминаний. По их нити он уходит в глубокую ночь, откуда возвращения нет. В один пре-красный день извозчик привозит из кабака *труп*...

Блок – Белому. 22 октября 1910. Шахматово

...Учел ли ты то, что я *люблю гибель*, любил ее искони и остался при этой любви. Настаиваю на том, что я никогда себе *не противоречил в главном*. Мне остается только подчеркнуть в данный момент и для Тебя то свойство моей породы, что я, *любя и понимая*, может быть, более всего на свете людей, собирающих свой собственный «пепел» в «урну»**, чтобы не заслонить света своему живому «я»... сам остаюсь в тени, в пепле, любящим гибель. Ведь вся история моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также — последующие книги, «Балаганчик», «Незнакомку»

* К. М. Садовская, первая любовь Блока.

** Названия одноименных сборников Белого.



и т. д. Указать, что они *мои*; я могу отречься от них, как угодно, но не могу не признать их своими...

...Я всегда был *последователен* в основном (многие, заводя обо мне речь *серьезно*, т. е., не касаясь «собутыльничества» и т. п., считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным); я последователен и в своей любви к «*гибели*» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д. — свойства моей природы, более чем психологические). Теперь: Ты знаешь меня давно, между нами прошло многое, что *больше* нас обоих, что *должно* было часто заслонять нас друг от друга. Теперь, когда мы можем стоять лицом к лицу, веришь ли Ты мне, *всему* моему «я»... Я верю, что Ты меня *любишь* и *знаешь*, но хочу еще знать, можешь ли Ты мне во всем *верить*? Отчасти расчищаю эту дорогу так *особенно* старательно, потому что озлоблен и утомлен (как, вероятно, и Ты и все «*мы*») бесконечной сетью кляуз, обманов, передергиваний и сплетен, которые вьются вокруг нас всех все последние годы...

Белый – Блоку. Конец октября 1910. Москва

...Дорогой, старинный друг, бывший не раз и моим врагом (верю — это уже сожжено раз навсегда), да, я Тебе верю; принимаю всяким. Все личное между нами, психологически затруднявшее меня, сгорело бесследно: могу относиться к Тебе спокойно. И в этом спокойствии нахожу в себе мою любовь к Тебе: кто бы Ты ни был, принимаю; если Ты хочешь *гибели себе*, или вообще *гибель* преобладает в Твоей душе, я могу нежно жалеть, что душа Твоя еще в «*Пепле*»; но умалит ли *погибельность* Твоих переживаний любовь мою к Тебе? Если Ты вообще хочешь гибели всем, если Ты активно от *погибельного* и деятельность Твоя сеет смерть, то и объективно бы это почувствовал, и не написал бы Тебе письма... Ты пишешь мне, что «*Балаганчик*» и «*Незнакомка*» — *Твои*: не сомневаюсь. Но в эпоху появления этих драм мне казалось, прости меня, если я ошибался, что *ужасное подразумеваемое содержание* Ты преподнес нам всем с каким-то тайным злорадством: «*На-те*», «*съешьте*». Этот аккомпанемент, быть может, послышался мне потому, что между нами стояла стена взаимных подозрений; все, что Ты писал, воспринимал я сквозь туман болезненных отношений между нами. И потому не стою на своем; не в факте существования «*Балаганчика*» и «*Незнакомки*» суть дела, а в отношении автора к ноте гибели в себе; одно дело, если он говорит своей нотой «*не чувствую, что свет победит тьму*»; другое дело, если он говорит «*разрушу в вас свет*». Итак: знаю, что «*Балаганчик*» — Твой до конца... и все-таки *принимаю Тебя*...

Но если Ты считаешь, что нам встречаться неловко (чего я не думаю), то, конечно, я Тебя не зову. Понимаю и принимаю. Продолжаю любить издалика.



В последнем случае, благодаря моему предполагаемому отъезду на год, мы невольно остаемся с взаимной любовью и общей целью, но с трудом реализуемой вовне...

Белый. Весь сентябрь, весь октябрь и ноябрь протекает в сплошной лихорадочной суете для меня: подготовка отъезда в Италию с *Асей* Тургеневой; многообразная ликвидация дел и усиленная деятельность в кружках...

Разделяли нас годы молчания; встреча же произошла очень просто: без всякого объяснения; нужды в нем не было; то, что стояло меж нами (полемика и резкие недоразумения жизни), перегорело естественно; жизнью приблизились мы к общим темам России; в идеологических выступлениях без уговора мы встали, как прежде, под знамя, нам общее, символизма. В день встречи, в день лекции о Достоевском (моей), в Москве молнией разносилась весть об уходе Толстого; переживали уход, как громовой удар, как начало огромного сдвига инерции мертвенных лет этих; словом: переживали уход, как событие мировое; упоминанием о значении события этого я открывал мою лекцию; а за несколько лишь минут до нее повстречались мы с Блоком.

То было в красивом и светлом Морозовском зале, где по традиции религиозно-философского об-ва происходили собрания; зал был набит...

В эти миги рассеян был я, собирался с мыслями перед лекцией и окруженный кольцом очень-очень известных и мало известных, и даже совсем неизвестных людей, мне протягивающих руки и говорящих мне: «Здравствуйте»... Вдруг вижу: из-за роя причесок, голов, мне знакомое, улыбающееся такое лицо А. А.: вижу, как он пробирается очень неловко ко мне; и через голову собеседника я ему издали улыбаюсь, как будто бы мы лишь вчера с ним расстались и будто бы не было между нами тяжелого расхождения в прошлом; меня поразило в А. А. жест растерянного стояния в освещенном морозовском зале среди роя ему неизвестных, *«московских»* людей: жест не светской застенчивости и неловкости; не прекрасно сидящий, такой деревенский какой-то короткий и черный пиджак, не застегнутый (отчего он казался с широкою талией), и стоячий воротничок, не подвязанный черным шелковым шарфом, как шедшим к нему; цвет лица был обветренный, желтый такой, как и прежде без вспышек румянца и без следа розоватости былых лет, — желтый, желто-коричневый; улыбнулся растерянными, большими, прекрасными и голубыми, как прежде, глазами (хотя прежде и не было этих подглазных мешков, этих малых морщинок у глаз): он казался подсушенным, похудевшим, но — крепким, здоровым (здоровым казался всегда он и прежде: до самой болезни); курчавая шапка густых, не рыжевших, как прежде, волос, показалась темнее, чем прежде; и менее вьющейся.



Явно конфузился и мигал на меня, мешковато протаптываясь среди платьев, атласу, вуалей, лорнеточек, косо и прямо сидящих визиток, рубах, пиджаков, сюртуков, озиравших его, может быть, узнававших его, отчего еще пуще конфузился он; я протискивался навстречу к нему: в этом явлении А. А. после долгой разлуки заметил какое-то сходство во встрече, как и при первом свиданье в Москве; и мы крепко пожали друг другу протянутые, открытые руки; открыто глядели друг другу в глаза, не умея сказать ничего, переживая неловкость.

Переменились мы за истекшие годы (со дня первой встречи); тогда он казался таким петербуржцем, чуть франтом, с военной выправкой, дворянином, помещиком; и не нервным нисколько; я казался — интеллигентом, смешным и немного бестактным, демократичным и потирающим нервные руки во время старания высказать витиеватую, не поддающуюся оформлению мысль. Теперь: он казался нервнее меня (он помаргивал нервно, растерянно, ослепляемый электричеством зала, и казался не франтом и не помещиком: скорей — управляющим, «интеллигентом» и демократом; я был в длиннополом своем сюртуке, очень-очень уверенный и спокойный, что предстоящая лекция есть то самое, что надлежит мне сказать (да, во мне появилась с годами и выправка, и привычка к естественной вескости мнений, которая приобретается опытом лекций и семинариев).

Мы стояли среди разгудевшихся, пробирающихся к стульям людей; и уже над зеленым столом раздавался звонок председателя; и очки его важно облескивали все собрание, и металася седенькая борода; А. А., улыбаясь, сказал мне:

— Ну вот, как я рад, что поспел...

— И я рад.

— Знаешь, Боря, я думал, что я опоздаю: ведь я прямо с поезда; ехал, «чтобы» поспеть (улыбнулся я мысленно: «чтобы», — то милое «чтобы», которое я так долго не слышал).

— Сегодня из Шахматова?

— Восемнадцать верст тряся до станции, чтобы (опять оно?) не опоздать: перепачкался глиною; вязко: ведь — оттепель, а ты знаешь какие дороги у нас...

В это время заметил я очень внимательный, пристальный и как всегда очень-очень сияющий взгляд (изумрудно-сапфировый) М. К. Морозовой*, которой, наверное, рассказали уже, что на лекции — Блок; и теперь пробиралась она, улыбался, к нам в своем вечно сияющем платье, слегка наклонив набок голову, крупная и такая хорошая; я представил ей Блока, которого так хорошо она знала уже по рассказам моим, по стихам; и — любила; А. А. с прежней светскостью, в нем проступавшей сквозь вовсе не светский, дорожный, чуть трепанный вид, поцеловал ее руку; и, стоя, выслушивал, улыбаясь и опуская глаза вниз, как будто он пристально вглядывался в кончик носа своего (я опять в нем узнал этот жест, мной подмеченный в первые встречи;

* Известная меценатка, пианистка, хозяйка салона.

и — радовался: все милые, позабытые вновь восставшие жесты); но тут отвлечен я был дергавшим за рукав председателем: Г. А. Рачинский, уже протрезволивший над столом, не добившийся результата, пустился меня извлекать к реферату...

Очень мало мы говорили с А. А. в этот вечер; во время чтения лекции я видел внимательные, устремленные на меня мне знакомые взоры А. А., — очень добрые, выразительно говорящие:

— Ну вот встретились: вот — хорошо...

После лекции мы собирались у Тургеневых, я и хотел пригласить туда Блока, но он мне сказал:

— Знаешь, Боря, я очень устал: пришлось-таки ехать по слякоти; нет уж, до завтра (в те дни была оттепель). Мы назначили место встречи... и обменялись коротко лишь известием об уходе Толстого... еще показалось мне: впечатление от заседания, от шумного и битком набитого зала произвело на А. А. не особенно приятное впечатление; он имел то растерянное выражение физической боли, которое знал я давно и которое не могло относиться ко мне: и улыбка страдания от желания перемочь раздражающий шум, ему чуждый, передергивала похудевшее за вечер это лицо с удлинившимся носом и синевою под глазами: а может быть, просто сказалась усталость; вокруг капали слякоти: прыгали нервно круги фонарей; был туман: тускло-красный фонарик случайный, людьми не наполненной конки, прошел мимо нас, опавнув длинной тенью; так черная скромница, тень, посмотрела на нас окровавленным взглядом, несяся в тумане по времени; время, испуганный заяц, бежало за нею.

А. А. мне сказал на прощанье:

— А знаешь ли, Боря, в деревне так тихо, так хорошо в эти дни... Намело было, с Любою мы вылепляли болвана из снега.

И с этими словами — он скрылся. И я шел один: было мокро; текло; теплый ветер пальто рвал; по Глазовскому переулку шел к Штатному; думал я: совершались для меня два события: бегство Толстого и встреча с А. А. В эту ночь я сидел без огня в своей комнате и наблюдал, как из сумрака ручкой пролапилось кресло; я думал — о Блоке...

Запомнился очень А. А. в *«Мусагет»** на серо-синей диване, в косоугольной уютнейшей комнате с палевыми стенами; вот *«Дмитрий»*, служитель, нам подает с Блоком очень огромные чашки с чаем (огромные чашки заведены были для посетителей: их опаввали); А. А. широкоплечий, сидит развалиясь, положив нога на ногу и уронив руку в ручку дивана, поглядывая на меня очень близкими и большими глазами, поблескивающими из-под вспухших мешков; я рассказываю ему о наших редакционных работах, о маленьких суетах, переполняющих нас в эти дни; сам его наблюдаю; да, да, — изменился: окреп и подсох; стал коряжистый: таким прежде он не был;

* Издательство.



исчезла в нем скованность, прямота движения, которая характеризовала его: да, в движениях появилась широкая зигзагообразная линия: прежде сидел прямо он; теперь он разваливается, сидит выгнувшись, положивши руки свои на колени; и вижу и жесты рук, обнимающих это колени; и опять (субъективное восприятие) вижу лицо я не в профиль, как в 1907 году, а en face; да исчез и налет красоты, преображавший лицо его в наших последних свиданиях; исчезло то именно, что отдаленно сближало с портретом Уайльда лицо его; губы — подсохли, поблекли; и складывались в дугу горечи; а глаза были прежние; добрые, грустные; и начерталась более в них любовь к человеку; и жесты терпения появились во всем: нетерпеливости прежнего времени не было и помину; выглядел в эти дни А. А. скромным провинциалом: старался войти во все мелочи жизни *«сегодняшнего «Мусагета»* и вкладывал в ряд вопросов ко мне столько внимания, внутренней ласки, что мне казалось: простые вопросы, их тон, заменяли то длинное объяснение между нами, которое казалось необходимым; необходимости не было: *объяснили года нас друг другу*; мы встретились с чувством доверия, тотчас принявшись обсуждать мусагетские злобы дня, будто мелочи эти были нам подлинным воплощением духовности; соединились как деятели, много прожившие; братство теперь вытекало не из обмена душевностью, — из общего устремления к практической деятельности...

Вот — пустынные помещения ресторана; и вот мы у стойки — пьем водку; пьет много он; в жесте его опрокидывать рюмочку, — обнаруживается *«привычка»*, какой прежде не было; я смотрю на него, на мешки под глазами, и вспоминаю о слухах (как много он пьет).

Вот и — тестовская *«селянка»*, а вот — *«растягай»* (мы решили обедать по-тестовски); в серебряном очень холодном ведре — вот бутылка рейнвейна; отхлебываем в разговоре вино; и разговор наш какой-то простой и уютный, но — прочный, значительный по подстилающему молчанию: я высказываю А. А. восхищение перед песнями Вари Паниной; и говорим мы о Пушкине...

Я рассказываю А. А. о намечившихся переменах в моей личной жизни; оказывается, что ему все известно уже; мы решаем, что после обеда мы поедем к Тургеневым...

Посидевши за кофе, пригубив ликер. ... мы едем к Тургеневым.

Подмерзает, снежит, запорашивает; мы — молчим; неповоротное прошлое нас обнимает безликими лицами ночи; и вспоминается давнее пребывание Блока в Москве, когда снился нам сон (и о Ней): убежал этот сок в самогоны времен: в самороды событий; невзглядное, неразглядное время!

— Помнишь, Саша, мы тут проходили когда-то. — Показываю ему на Арбатскую площадь. — Ты шел в мокрой слякоти и с бутылкою пива на марконетовскую квартиру.



А. А. улыбается:

— Много прошло с той поры. Что Владимир Федорович Марконет?

— Он таков же: и — вспоминает тебя.

— Что-то будет еще?

И мы замолкаем: и были былины, и были грустины, а небылицы — нет, не были...

Часам к десяти появились мы у Тургеневых (Аси, Наташи и Тани): и Ася, такая вся маленькая, имеющая до неприличия молоденький вид с вьющимися волосами и в голубом балахончике, на который кокетливо надевала она козью шкурку, горбатаясь, как кошка, выглядывает на нас; с независимой дикостью; Наташа же принимает, как взрослая, нас; три сестры с любопытством естественным окружают поэта, которого прежде еще поллюбили они, о котором так много рассказывал им; он — большой, улыбающийся и спокойный, рассматривает их внимательно; если память не изменяет, — по просьбе Наташи читает стихи... Наташа и Ася воссели на мягкий диван; и, конечно, Наташа уселась скромно, — так точно, как подобает сидеть взрослой барышне; Ася с ногами: сидит, обвисает кудрями; и — горбится, очень внимательно слушая Блока. Мне радостно видеть такого мне близкого человека, как Блок, у таких близких сердцу, как сестры Тургеневы; из соседней же комнаты, темной — не видно предметов: твердеет меж всеми предметами ночь; точно каменным углем, не воздухом, все пространство наполнено; сказочен, сказочен мне этот вечер!..

А ночью, часам так к двенадцати, Блок сопровождал меня до дому; мы разговариваем — о Тургеневых; я спрашивал:

— Ну, как понравилась Ася?

— Да, острая она такая: дикая и пронзительная...

Из расспросов не удалось ничего от него мне добиться; и понял я в общем — одно: что он в Асе увидел значительную натуру, но не совсем разобрался в своих впечатлениях о ней; нерешительность эта меня огорчила; я стал объяснять, как близка стала Ася мне:

— Да?

Так сказал он, взглянул: и это «да» прозвучало, как будто бы он сомневался в словах моих; стал уверять его, что — ручаюсь за отношение к Асе.

— Да? — И — ничего не прибавил.

Зато говорил о «Наташе», которая очень понравилась.

У подъезда — простились, решив еще встретиться: в «Мусагете»...

В «Мусагете» простились мы; он отбыл в Петербург, окунул-ся в привычную суету, от которой так скоро устал... в эту зиму испытывал сильный упадок он сил и лечился массажем, порой улыкаясь французской борьбой; писал он «Возмездие».

Я же вскоре уехал: в Сицилию, потом к Африку (с Асей), откуда я часто, подробно писал А. А. Блоку...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПЬЕРО

Глава XXIII. От срыва к срыву

Бекетова. 5-го ноября он пишет* уже из Петербурга: «Мы сегодня нашли квартиру – хорошую...» Комнаты в этой квартире были маленькие и невысокие, из комнаты Блока – балкон. Светло, а из окон – далекий вид на Каменноостровский проспект, на лицейский сад. Большой особняк князя Горчакова – напротив. При нем сад, где снует симпатичный породистый пес, которого Блок наблюдает с любовью. В столовой водрузили еще одно блоковское наследие – огромный диван с ящиками. Комнаты устроили по обыкновению целесообразно и со вкусом. Блоку очень нравилась эта квартира. Он назвал ее «молодой» в письме к матери. И понятно: помещалась она на вышке, и не было в ней ни следа оседлости или быта.

Этой зимой 1910-11 года, собрав окончательно «Ночные часы», Ал. Ал. послал их в «Мусагет» для напечатания. В сезон 1911 – 12 года вышли в «Мусагете» вторым изданием и три тома: «Стихи о Прекрасной Даме», «Нечаянная радость», «Снежная ночь»...

На Рождестве, съездив на несколько дней к матери в Ревель, надарив ей новых книг и показав приготовленный для печати сборник стихов, А. А. вернулся домой и новый – 1911-й год встретил дома...

В январе 1911 года мать сообщила Ал. Ал., что муж ее получил бригаду в провинции и перед отъездом они оба собираются провести весну в Петербурге. Для этого надо нанять меблированную квартиру. В поисках такой квартиры Блок провел немало времени. Найти дешевое и порядочное помещение было нелегко. Наконец, в том же доме № 9, на Монетной освободилась такая квартира, и А. А. взял ее для матери...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Иванову.

31 января 1911. Ревель

...Наши отношения с Любой или, вернее, ее отношение ко мне — это *убийственное* в моей жизни. Стою на этом определении. Оно точное. Думаю, что если Вы, именно Вы, с нею об этом поговорите, и, как она сама Вас просила, объясните ее отношение ко мне, ничего, кроме хорошего, не выйдет. А для меня тут страшнее всего ее влияние на Сашу. При ней он со мной жесток до крайности и видит во мне один безвыходный ужас. А без нее он ко мне добр, откровенен и деликатен...

* Блок – матери.



Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.
21 февраля 1911. Петербург

Мама, вчера получил твое письмо. Я действительно надеюсь на *время*; – что все уладится. А теперь нужно сделать просто перерыв – к обоюдному улучшению отношений. Мне (и Любе) представляется так: когда ты приедешь сюда, не знаю, как лучше – видетсья или не видетсья тебе с Любой. Люба говорит, что она может очень хорошо с тобой видетсья, но что в этом все-таки будет неправда. Это мы увидим потом. Что же касается Шахматова, то лучше всего сделать так: весной я должен ехать достраивать скотный двор; может быть, лучше — с Любой; мы приготовим и наладим хозяйство (огород и пр.). Потом Люба хочет ехать в Erdsegen (около Мюнхена) на все лето, считает, что ей это будет очень полезно, — там нечто вроде санатории — с массажем и т. д. Я думаю, что для меня пожить без Любы будет тоже полезно; но *пока* мне самому не хочется жить в Шахматове долго (без перерыва) в этом году. Это уж — мои собственные стремления, независимые от тебя и Любы. Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока — неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому-нибудь морю, может быть — за границу, может быть, куда-нибудь — в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом... Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны — я «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — все более по существу. С другой — я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) — с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов. Все это — совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом — мой *европеизм*...

Масленица прошла очень бодро. Приехала Веригина, которая вышла замуж. Она очень хорошо рассказывает и говорит по-русски, вообще — в ней есть милая русская женщина. Скользкость пропала. В сущности, она гораздо умнее и живей ****.

* Н. П. Бычков, муж Веригиной.



Вчера я без конца проводил время с ***. *** — прирожденная «гетера», беснуется не переставая. Мы шатались втроем по городу, были и в цирке, и в разных местах. *** — очень милый, тихий и печальный, я думаю, что им придется разойтись, она его замучит. Впрочем, я пока советую им не расходиться. Ведь почти все «наши» женщины таковы, может быть, еще переменятся и станут серьезнее — хоть некоторые.

Тает, идет дождь и мокрый снег. Потому молодого месяца я еще не видел...

28 февраля – 1 марта 1911. Петербург

Мама, ко мне вчера пришла Гильда*. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит. Я пошел с чувством скуки, но и с волнением. Мы провели с ней весь вчерашний вечер и весь сегодняшний день. Она приехала специально ко мне в Петербург, зная мои стихи. Она писала мне еще в прошлом году иронические письма, очень умные, но совсем не свои. Ей 20 лет, она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду и говорит все, как должна говорить Гильда. Мы катались, гуляли в городе и за городом, сидели на вокзалах и в кафе. Сегодня она уехала в Москву.

А я получил сегодня письма — от тебя и от Бори — из Каира...

Белый – Блоку. 15 марта 1911. Каир

...Нас, слишком рано заговоривших, провокационно стукнули лбами. Нас заманили ложными зорями. И скажу прямо: Твой грех был в недостаточно резкой черте между Прекрасной Дамой и Незнакомкой. Мой грех — сначала в истерическом, слишком явном выкрикивании, отчего приключился... сначала «*Lapan*», а потом — не стану говорить: слишком все это тяжело. И в результате в полях русских заводил нас леший... В это время мы ненавидели, любя, друг друга: Ты винил меня, я — Тебя. Мы одинаково виноваты, или... одинаково невиноваты, ибо леший, водивший нас, оказался... японским шпионом. Штука попросту разрешилась. И то, что мучило наши души, теперь оно начинает грохотать на востоке: скорей бы... «*Куликово поле*», милый — то «*Куликово поле*», которое показало мне, что и Ты... Ты знаешь. Стало быть, дороги наши, не нами избранные, до смерти одного из нас будут всегда неожиданными... (сейчас погасло электричество: не верю — дрянной бесенок, японский «шпиончик» пугает хлопучками)... *сходиться*.

И какая тут прямая, явная, ясная линия — в этих ломаных, которые мы с таким упорством рисовали все эти годы друг для друга и... для себя.

* Героиня драмы Ибсена «Строитель Солнесь».

Не скрываю... Гибель подстерегает, каждого из нас ежеминутно, всякими неожиданностями, но подстерегает нас гибель, как русских, ибо русские... среди интеллигенции... *все наперечет*, все друг друга знают, и все... кому не след знать... о нас знают. Но наплевать. Даже и смерть... на *поле Куликовом*... ясная смерть.

Принимаю Твои слова об испытании, быть может, уже близком...

Как хотел бы, чтобы вернулось то время, когда, как прежде, мы тихо беседовали — втроем: я, Ты и... Сережа*. Факт, что Вы с ним хотя бы официально примирились, для меня... *громаден*: это указывает на то, что какой-то большой шести-семилетний цикл завершился. *Замкнулся круг подозрений*. Князья должны вновь сойтись и выкурить... трубку мира. Поиграли в «разбойники» — шесть лет разбойничали — довольно (помнишь, в Шахматове я сказал: «Поиграем в разбойники». Ты сказал — «Поиграем». Через *три дня я уехал*. Через пять дней уехал Сережа). Но цикл замкнулся. *Конец* стоит при *начале*. А *начало* — наши давние встречи втроем.

Блок. 9 апреля 1911. Петербург

...Послеобеденный сон в Страстную субботу:

«Мы с Любой нашли маме с Францем квартиру на Лицейской против нас. Там солнечно, но они не согласны, ворчат. На улице — весна, как будто знойно, и пахнет, может быть, цветами — но это только ужасно. Полдень, какое-то скитание по Лицейской и Архирейской.

Находим другую квартиру, в полуразвалившемся деревянном доме в Казарменном переулке (такого там нет, и переулочек несколько другой).

Почему-то долго я пробую перед вечером и ночью заутрени зажечь фонарь на улице. Трачу массу спичек — он не зажигается. Мама сидит тут же, где-то на пороге. Сходит ночь, совсем тьма, и я пугаюсь за маму и за все. Мама ушла, очевидно, в дом (свой), но я уже ее не вижу, хожу ощупью, много народу проходит, и солдаты. Я пугаю и пугаюсь солдат. Кто-то хватает за плечи (жмет под мышками). Я соображаю: это на газовом заводе прекратили работу перед заутреней. Но почему же только в этом переулке не горит? Еще соображаю, что, если бы от спички вспыхнул газ, он обжег бы мне руки и лицо.

В квартире у мамы. Уютно, но что-то грозное (все ужасно — лейтмотив сна). Самовар. Должен прийти какой-то офицер, и я собираюсь уходить, мама убеждает меня, что это неправильно, что я — эгоист. Я убегаю, поссорившись с ней, в темный Казарменный переулочек. Бросаюсь в какие-то полуворота (на место тюлевой фабрики). Там — свет и копошенья фигур во мраке. Я бросаюсь назад, меня чуть не уничтожают какие-то вращающиеся рычаги и поршни. Здесь — «гидравлический завод». Я вспоминаю: «Когда отводили

* Соловьев.



Неву, здесь хлопала вода, этим воспользовались и построили гидравлический завод». Спасаясь кое-как, чуть не раздавив руки и ноги. Из черного переулка в меня бросается несколько черных пьяных солдат.

Я достиг своего дома. Здесь две половины: наша (с Любой) и «менделеевская». Приотворена дверь в менделеевскую: там — огромные покои, роскошь, рояль, шелковая мебель, так что трудно пройти по огромной комнате. И везде — тонкие веточки цветов; это Люба поставила тайно от меня и с какою-то большей любовью, чем на нашей половине (с горечью понимаю я), потому что у нас — много цветов, а здесь — везде изукрашено их тонкими и деликатными веточками. Вдруг — шаги и голоса: Анна Ивановна* идет из глубины половины и говорит с Любой, по обыкновению останавливаясь (по-дамски), так что не знаешь, когда и куда пойдет — не разобрат что, но приближается.

Я бросаюсь стремглав, припирая тяжелую дверь с ухищрениями, на свою «простую» половину. Ноги не слушаются, общая слабость. Сзади голос Любы: «Когда Саша вернется...» Идут? И быстро. Цель моя — пробежать кабинет (свой), достигнуть черного хода, потом на улицу и броситься хоть в двор того же гидравлического завода — только бы не увидели со своего поворота, когда я буду на своем...».

Просыпаюсь.

Белый – Блоку. 29 апреля 1911 Луцк

...Где Ты! Что? С Каира нет о Тебе вестей. Ответ — куда писать летом. Мы в Афины не заезжали: понежились в стране обетованной недельки две, встретили Пасху (Христос Воскресе!) и после 11 дней прокачались от Яффы до Одессы. Первое впечатление *от русского* (не России): парходная грязь, заставила меня выругать вслух парход; но, к моему удивлению (так странно после иностранного быта), прислуга, команда, служащие, чуть ли не сам капитан были в восторге от моей брани и стали все еще пуще ругать высшее парходное начальство; парходная горничная Нина заявила во всеуслышание, что у нее нервный смех, а парходный доктор мрачно заявлял, что он никогда не лечится, ибо не дорожит жизнью (надо сказать, что с первым нашим случайным знакомцем-русским в Иерусалиме мы в пять минут пришли к убеждению, что пора всем сойти с ума... к сожалению, он скоро уехал приводить в исполнение свое намерение на Принцевы Острова); один из первых русских на берегу с негодованием нам заметил, что разгромлен московский университет, гордость России; предварительно этот *протестант* перерыл наши сундуки, ища контрабанду (он был таможенным чиновником), но, не найдя оной, хотя мой сундук только и был, что сплошная контрабанда, состоящая из привозных мелочей, заговорил о политике.

* Мать Любы.

Эти очаровательные впечатления хочется отметить прежде всего... А потом пошла уже менее очаровательная, но не менее удивительная музыка: мы видели марширующие по случаю царского дня гимназии с барабанным боем и развернутыми знаменами, ведомые *марширующим* (!) преподавательским персоналом в белых перчатках и при орденах; и тут пахло таким «мелким бесом», что ой-ой-ой... Лица преподавателей выражали чрезвычайное удовольствие по этому поводу с томным налетом грусти о том, что им не привелось еще маршировать на карачках; но после того, что видел, я думаю, что в следующий проезд через Одессу я буду ошарашен этой последней идиллией...

Таковы были первые аккорды России...

Блок – Белому. 8 мая 1911. Петербург

...У меня планы: около половины мая еду в Шахматово, а в июле поеду по Европе — много куда, если удастся. Сейчас чувствую себя плохо, у меня цынга, возобновившаяся с позапрошлого года...

До ужаса знакомо то, что Ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: морозящий дождь — и стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувство, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция «Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер). — В этих глубоких и тревожных снах мы живем, и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — все больше.

Все дело в том, есть ли сейчас в России *хоть один человек*, который здраво, честно, наяву и *по-Божьи* (т. е., имея в себе, в самых глубинах скрытое, но верное «Да»), сумел бы сказать «нет» всему настоящему; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой я не оставляю. Пишу и хочу писать об этом, но в письмах — не стоит и не выйдет. — Мы виделись с Сережей. Он прекрасен...

Блок. 17 мая 1911. Петербург

Уезжаем: Люба вечером — в Берлин, я днем — в Шахматово...

Сны и прочее. Сквозь все — печаль и растерянность перед разлукой на лето с Любой. И изнутри какая-то грызущая апатия и вялость.

Бекетова. Бригада была получена в Полтаве. Отдаленность места пугала и мать, и сына. Блок уговаривал мать остаться в Петербурге. Она не знала, на что решаться, но на лето, во всяком случае, собиралась в Шахматово, куда хотел приехать на некоторое время перед отъездом за границу и А. А. Люб. Дм. отправилась за границу на все лето; она решила основаться на одном из морских купаний и ожидать там приезда мужа.

До конца июня Ал. Ал. жил в Шахматове. Он провел там шесть недель. Надо было присмотреть за постройкой нового дома для



работника Николая. Значительную часть своего капитала истратил он тогда на Шахматово. Но и на поездку хватало...

Блок – Любе. 20 мая 1911. Шахматово

Люба, я о тебе все время думаю.

Когда я приехал в Шахматово, было серо, шел дождь; но тишина и свежесть. Первый день были неприятности с плотниками, но теперь пока наладилось. Главное построено — очень хорошо. Еще до июня, по крайней мере, простроим. Впрочем, об этом тебе не стоит писать.

Сегодня солнце и ветер. Много птиц и всяких тварей. Все свежо, кроме лип, дубов и роз — их съели мыши. Все звери и люди ведут себя добросовестно, кроме зайца, который пробил лбом забор в саду и обгрыз яблоню.

Мне кажется, что я буду писать,— очень тихо. Единственно, что нет тебя. Если бы можно было не беспокоиться только, было бы совсем тихо.

Напиши мне умное письмо. Я еще не могу писать умного. Десны побаливают, я не ем мяса и мажу их. Сейчас пойду гулять...

23 мая 1911. Шахматово

...Я еще не привык к Шахматову, все не хватает чего-то, и потому тяжело себя носить. Не хватает, очевидно, тебя. Весна прохладная, но сегодня под сад прилетел махаон — желтый с черным. Нарциссы крупные, луга еще не цветут. Я брожу пока без дела. Вчера приезжали Кублицкие; вообще — тихо все, и постройка приближается к концу...

30 мая 1911. Шахматово

...Вчера я был очень бодр и деятельно настроен, и понял очень много в своих отношениях ко многим. Прежде всего — к тебе.

Собирался писать тебе большое письмо, но сегодня уже не могу, опять наступила апатия. Уж очень здесь глухо, особенно в праздники некуда себя девать. И это подлое отсутствие даже почты, что теперь прямо тягостно, когда тебя нет.

Я хотел тебе писать о том, что все «единственное» в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определяет мою связь с тобой. Все, что во мне осталось для других, — это прежде всего ум и чувства дружбы (которая отличается от любви только тем, что она множественна и не теряет от этого); дальше уже только — демонические чувства или неопределенные влечения (все реже), или, наконец, низкие инстинкты.

Все это я мог вчера сказать еще определеннее, но я думаю, что ты и из этого поймешь то, что я хотел только точнее определить.

Накануне Троицы под вечер я зашел в нашу церковь, которую всю убирали березками, а пол усыпали травой...



Я поставил около постели два твоих портрета: один — маленький и хитрый (лет — 17-ти), а другой — невестой.

Н. Н. Скворцова* прислала мне свой большой портрет. Вот девушка, с которой я был бы связан очень «единственно», если бы не отдал всего тебе. Это я также совершенно определенно понял только вчера.

Конечно, я знал это и прежде, но для всяких отношений, как для произведения искусства, нужен всегда «последний удар кисти».

Я чувствую себя все время на отлете...

Люба. Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат — сестра, отец — дочь... Нет!... Больнее, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра, мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя вымышленными, но совсем живыми для нас существами, наш язык стал совсем условный. Так что — «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно воспринимаемое для третьего человека; как отдаленное отражение этого мира в стихах — и все твари лесные, и все детское, и крабы, и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случилось с нами, как бы ни теряла жизнь, — у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах...

Белый — Блоку. *Конец мая 1911. Боголюбь*

...Ася очень хотела бы Тебя видеть и поближе узнать; мы с Асей очень Тебя любим и часто теперь Тебя читаем в деревне по вечерам. Вспоминаешься Ты, и я чувствую по временам волну нежной (и на этот раз окончательной) к Тебе близости... *Тебя не хватает...*

Ты в конце июля едешь за границу; следовательно, Ты проедешь недалеко от нас ... И вот у нас с Асей созрел план, которому в Боголюбях все рады; звать Тебя к нам; у нас просто и хорошо; что Тебе стоит приехать на несколько дней в Боголюбь. Мы так давно не видались, так много могло бы возникнуть от этого... кроме всего, Ты бы просто, если б хотел, мог у нас помолчать...

Милый друг, нам ли удивляться срывам; Ты пишешь, что на Страстной все сорвалось у Тебя... Вся Россия идет от *срыва к срыву*, все только срывается; но то, что срывается, и то, где срывается, есть все та же действительность («современность»), которой Ты хочешь сказать свое «нет». Пусть срывается; пусть даже во все стороны рассыпаются осколки человеческих душ; мы, усталые, кошмарные, слабые, оказавшиеся в безумии своем крепче здоровых и крепких, и все же уцелевшие, полюбившие Россию, — мы *тоже* люди духовные. Душа наша погибала не раз, и бездушные марионетки, мы,

* Московская поклонница Блока.



корячились на «площадях, в переулках, в извилах»; потом мы бежали в кинематограф, подозрительно озираясь на всех, себе подобных. И все-таки за бездушным обликом нашим стоял Дух; душу свою мы в срывах не сберегли, но как знать, — Дух угасил ли? И если всё еще мы есмь — живем, утверждаем, болеем за родину нашу и любим — то Дух не угас в нас. Как знать, не калится ли пламенной он в пепле душевном. И не пора ли относиться к каждому новому срыву как к новой единице, прибавляемой к общей сумме... Много было у меня срывов, и я устал от них; я устал даже им верить, и тогда вдруг в глубине души моей ощутил я Духа... и робкая улыбка зари, и новое верное счастье улыбнулось мне жизнью; и я понял, что душа моя умирала иллюзорной смертью...

Пусть же носятся мгlistые вихри; оставь их, сожмись, уйди в себя; пусть меркнет свет вокруг, Ты закрой лишь глаза. И Свет Духа, свой собственный свет, прикосновением к все новым ранам, опять и опять, и опять будет Тебя исцелять... Пусть даже Ты переживаешь срыв, Ты скажи себе только: «В который раз»...

Блок – Любе. 3 июня 1911. Шахматово

...Здесь теплеет и пышнеет. Сегодня была сильная гроза. Я бродил по лесам, вымок до пояса и нашел новую породу грушевки.

Сегодня отпустили плотников. Завтра покончат все остальные. Дом вышел красивый и удобный...

Появились тучи ласточек. Два раза влетали в мое окно. Им особенно хочется слепить гнездо над нашими окнами. Лепят, но я боюсь, что краска скользкая, как бы гнездо не упало. — Много майских жуков. Соловьи учатся.

Боря* написал длинное письмо из Луцка о Мусagetских** делах — с настоящим приглашением приехать к ним (и от Аси). Они живут у Асиной матери. Мне это трудно теперь, я не поеду...

Мне предстоит еще видеть много интересного до встречи с тобой, но выходит как-то, что я еду за границу к тебе, это последняя цель, а все, что перед этим, только станции. Мне даже досадно, что это так.

Люба – Блоку. 5 июня 1911. Париж

...Он*** поехал о моем приезде, что не узнал меня, что я похудела, и я, по-видимому, ему изволила понравиться, что было мне приятно в смысле того, что я сама знаю, что я теперь гораздо лучше на вид, и неприятно, что это Чулкову. Я краснела до ушей, но скоро он стал уходить, его никто не удержал...

Блок – Белому. 6 июня 1911. Шахматово

...Во-первых — большое спасибо за приглашение обоим Вам; но не могу приехать: во-первых — еду очень скоро за границу,

* Белый.

** Издательства.

*** Г. Чулков, встреча в Париже, у Ремизовых.



во-вторых — не через Границу, а через Стокгольм. И сейчас — я совсем не здесь, а уже *там*, и там надеюсь утвердиться в том, что зреет во мне. Очень, очень многое изменилось во мне (во внутренней жизни, во внешней перемен нет, и я не хочу их). Между тем, я чувствую, что мы с Тобой друг друга очень давно не видали как следует; что наши так странно сходные во многом и радикально несходные в меньшем, но тоже существенном, жизни — должны встретиться *как-то* по-особому, совсем не так, как встречались даже в прошлом году в Москве (не говоря уже о прежнем). Вы вдвоем теперь; и это опять знаменует, что мы должны встретиться *совсем, совсем* по-новому. Передай, пожалуйста, Асе Тургеновой, что я радуюсь тому, что она мне пишет, и что Ты пишешь о Вашем отношении ко мне; ведь всем нам необходимо знать друг друга не только вместе, но и каждому каждого. И тут я боюсь всегда, что другие (родные) могут помешать; Ты прекрасно знаешь, как это бывает при самых лучших отношениях. Вот почему еще я боюсь к Вам теперь приехать; а совсем не от «плохой комнаты, собаки» и проч.

Милый друг, между нами стояли и наши матери, и бесконечные друзья и враги, не говоря о самом важном; и все это еще тогда, когда мы оба по-разному, но и чудесно сходно, были так далеки от «воплощения» или «вочеловечения»; когда мы оба вступали в ночную глушь, неизбежную для увидевших когда-то слишком яркой свет. Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески сказанное, или не по-людски ужасное, страшное, иногда — уродливое. Теперь все меняется для нас обоих (опять-таки), мы выходим из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы; по разным дебрям — и по-разному выходим; долгие годы не слышали голоса друг друга, а если и доносился иногда голос, то лесные дебри преломляли его, делали иным. Все это я чувствую за плечами, точно прожито сто лет; но для меня это были годы, умерщвляющие душу, но освежающие дух, и я их всегда благословлю. Верно — и ты. *Сходились* не по-человечески, *сходно* переживали этот долгий и страшный поединок души и духа, *сходно* окончившийся (частичным) поражением души; должны выйти из ночи — *чудесно разные*, как подобает человеку. Сходствует несказанное или страшное, безликое, но человеческие лица различны. Сходны бывают «счастливицы» («счастливики»), осужденные не воплотиться, носясь по океану удач и легких побед. Воплощенный — всегда «несчастливец», лик человека — строгий и сумрачный (Вольфинг) — «нуждой и горем вдаль гонимый».

Думаю, что Ты согласен со всем этим; пишу Тебе, потому что думаю об этом давно...

Блок – Любе. 7 июня 1911. Шахматово

...Ничего не могу написать тебе нового; только скучно без тебя. Очень редки даже письма. Последнее письмо... — было одно, вместо



двух, как бывало из Берлина, и неприятное. Во-первых — все о Ремизовых и о Чулкове; а мне тяжело, что ты с ними встретишься; и вообще тяжело, когда ты с кем-нибудь видишься далеко от меня. Потом, что-то дамско-парижское показалось мне в нем, даже безграмотное слово — «безусловно». Или — мне показалось только? Я чувствую нелепость в том, что я сижу на месте, а ты путешествуешь где-то одна. Наоборот было бы еще естественнее.

Находишь ли ты себя? Не плохо ли влияет на тебя Париж? Неужели ты еще с кем-нибудь видишься?...

Люба. 11 июня 1911. Париж

...Ты прав, и защищаться мне нечего, конечно, я хуже в Париже, чем в Берлине, единственное, что могу сказать себе в утешение, что продержаться на такой настоящей высоте, как я была в Берлине, и всякому трудно, а мне так очень непривычно. Не знаю, как было бы, если бы Париж был первый в моем путешествии, а так — это правда, высокого я унесу из него только немногие минуты, а то эти две недели разменяла на мелочи. И хочу очень уехать скорей опять к высокому, к одиночеству, и так встретить тебя...

12 июня 1911. Бретань

...Я остановилась на несколько дней в маленькой деревушке L'Aberwrach. Погода ужасная, туман и дождь — ничего не видно, но гостиница наша тоже в старой церкви, как в Венеции. Большая комната у меня с камином и есть другая для тебя, такая же, со скамеечками в стене у окна. Вид на море, через старую стену и калитку. Так — хорошо, боюсь, что плоско только здесь и мало моря... Отсюда мы бы с тобой поехали по разным местечкам и где понравилось — там бы купались...

Блок. 13 июня 1911. Шахматово

Люба, что за странность, что ты не получаешь моих писем? Я посылаю это заказным, и ты едешь ли ты его получишь: вероятно, дошло хоть одно, и ты едешь в Бретань...

Твои письма доходят. Прошное большое письмо опять меня встревожило; но, так как я не надеюсь, что это письмо дойдет, не пишу как (отдельные места, Ремизов, Чулков и пр.— не заграничное). Беспокоюсь о тебе постоянно. Происходит совершенно неестественная и нелепая вещь: ты едешь и смотришь, не имея времени углубиться и найти себя; я сижу на месте и питаюсь мыслями, находя и тебя и себя и то, что нас обоих кроет и соединяет.

Уезжай на океан, купайся, смотри на воду и думай. Мне временами невыносимо тяжело, что ты с Ремизовыми, а особенно, — что тебя видел Чулков, и что ты, вероятно, слушала его двусмысленности. Когда я думаю о тебе особенно хорошо и постоянно, как *теперь*, мне особенно больно видеть тень легкомыслия в тебе.



В сущности, я пишу тебе так нервно, потому что уже потерял терпение от нелепости положения (что ты едешь, а я сижу). Кроме того, проклятые письма мои не доходят, и ты теряешь связь со мной...

Белый – Блоку. Середина июня 1911. Боголюбы

... Два года тому назад (в 1909-ом году), после ужасов *05, 06, 07 и 08 года*, после непрерывного умирания 6, 7 и 8-го годов, только в 1909-ом году я почувствовал, что *максимум смертности* уже за плечами и что то, что, как надежда, брезжит (надежда не на *слишком яркий свет*, а на окончание чудовищно ужасного), уже тем самым смягчала жгучесть переживаемого *все еще* ужаса. И вот тогда-то я сразу понял неизбежность того, что было. Что же было? Несколько одиноких путников въехали на холм; и на холме встретились: позади их местность равнинная, прихлопнутая войлоком туч (чеховщины), грозносинеющих у холма (Ибсен, декадентство, кошмаризм). В эту зону декадентства вступил я в 1897 году, и свет блеснул с холма в 1900 году. *Северная Симфония* отметила холм: «Мчался вперед безумный кентавр (на холм), крича, что вдали он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет». На холме встретил меня Вл. Соловьев, а потом раздалось тревожные, жгуче близкие *Твои песни*, сливаясь с 2-ой симфонией. Кучкой людей, вместе глядящих на зорю, были мы...

Мы не увидели, что по ту сторону был лес; тропинки с холма расходились, затериваясь в глуши; идя навстречу *зарю*, мы удивились, что завеса заколдованного леса, вырастая, заслонила зорю. Мы обернулись друг к другу: между нами стояли стволы; между стволами мелькали *оборотни*. Мы думали, что мы уже провозвестники Света, и что за плечами одержанная победа; а *Свет* был лишь приглашением к будущему испытанию; мы себя вообразили *уже рыцарями*, а *рыцарство* должно увенчать в будущем наш тернистый путь.

Так я себе сказал. И это было началом *отрезвления*. С этого периода я понял, что *Пепел* мой уже за плечами, что он то, что для Тебя «Нечаянная Радость», а «*Четвертая Симфония*» во мне адекватна Твоим драмам...

За *Пеплом* меня встретило *общественное*: проблема Востока и Запада, Серебряный Голубь, или, вернее, *Оловянный Голубь* химер, наваждения над Россией: я нашел бодрость в том, что судьба моя, нечеловечески гадкое 1906—1908 года, есть отражение наваждения над всей Россией: «*злое око, Россию ненавидящее*» (посылающее и монголов, и евреев). То, в чем я сорвался, я назвал *впадением в монгольство*. *Вдохновение* от зари подменил я шаманством. Любовь к дали и подвигу подменил «*заколдованной, темной любовью*»...

Но когда я понял, что заколдованный круг образовался от *медиумизма всех нас*, и что *главный виноватый* — «*злое око, Россию ненавидящее*», чары смертного сна стали тихо спадать.



Я услышал вновь и «Голос Безмолвия», и твердую руку, пожавшую мою со словом: «*Мужайтесь*», и заря личного счастья вернулась (встреча с Асей) тогда, когда всем существом своим подлинно от себя я готов был отречься.

Последние два года, 1910—1911. Я уже еду с предчувствием, что лес редееет (пролеты между дерев, после гущины издали брезжит заря), а *главное* — шум моря *спереди* (верный знак окончания леса).

Это море я слышал и два года тому назад: я себе сказал: «Будет берег моря, будет отдых на берегу», чтобы потом началось плавание.

Корабль, команда, ответственность, разность функций на корабле (тот — рулевой, этот — кочегар) — разность индивидуальности плывущих, — все это будущее преднеслось мне с чувством уже зачисленности в число мне неизвестных матросов будущего (и сейчас не знаю, кто они): еще вокруг остатки леса, еще моря не видно (только шум приближается), а уже знаю, что команда корабля (мне за лесом невидные путники) *есть*.

Не хочу упреждать событий, но жду, верю в *миссию*, в *твердую*, нужную работу...

Вот основания нашей все еще *будущей встрече*: при всей разности нас, при разных функциях, которые мы будем нести на будущем корабле, мы встретимся, если верно то, чем обмениваемся мы в письмах; основания моей веры — вот они: оба мы видели свет с холма, оба ехали тем же лесом; море, к которому сбегает лес, — одно; берега его пустынные; здесь нет городов. *Нет и кораблей*: корабль, высланный к пустынному берегу, куда немногие попадают (большинство даже еще не в лесу, а на холме перед лесом, либо в зоне моих 1896—1900 годов, в зоне декадентства). Многие бывшие спутники заплутались в лесу, иные погибли; немногие оставшиеся выйдут к берегу: следовательно, они останутся либо между морем и лесом, либо — поплывут на корабле, где неожиданно встретятся: желание нести ответственность, чувство общественного долга, родина — вот условие стремления к кораблю.

Еще до письма к Тебе, в эпоху 1910 года, мы с Вячеславом* говорили о далеком будущем, когда мы вновь неожиданно встретимся.

И встретимся...

Ты понимаешь теперь, почему слова Твои о *свете* и *болоте*, о человеке, задумывающемся над контурами добра и зла, мне близки...

Когда люди впервые знакомятся, они говорят пустяки; но за пустяками встает нечто; я хочу вновь знакомства, и один из *символов* ознакомления — *встреча* в литературе. Но за всем тем еще какая-то проблема.

* ИВАНОВЫМ.



Читаю «*Войну и Мир*», и мне ясно: 1912, 1913, 1914-ые годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица; и поступь грядущих вторжений видимых (монголы, евреи), невидимых осознаем одинаково («Куликово Поле»).

Мы оба любим Россию...

Герои «*Войны и Мира*» сначала танцевали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... *все сошлись* на полях сражений. *Все были под одним Бородином.*

Так и мы.

Может быть, действительная наша встреча еще далека, но даже сознание возможности этой грядущей встречи есть уже начало всяких малых встреч, отрешенных от психологии.

Еще раз повторю: я встречаюсь с людьми теперь только воодушевленный одним сознанием: нужно, чтобы уделы русские положили оружие: скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья *еще* ссорятся.

Да не будет Калки!

Я знаю, что тут, в этом сознании, Ты — брат мне (по какому-то), как брат мне и Вячеслав; то же, что связывает нас всех, не может разбиться; если бы могло разбиться, то *уже* разбилось бы; факт, что мы говорим о том, о чем говорим, после *всего бывшего*, показывает, что *после всего бывшего* основания возможной связи — не литература, не психология, еще менее симпатия или антипатия к друг другу...

Пока и *этого* сознания достаточно.

Жалею, что нам не суждено встретиться теперь. Ты не совсем прав, когда пишешь, хорошо ли бы было, если бы мы встретились бы в *Боголюбях*; все условия здесь подходящи; нет психологии, люди здесь живут каждый в своем углу, не мешая друг другу. *Стадности, разговоров, умностей* нет никаких.

Ты был бы предоставлен самому себе...

Мне хотелось бы, чтобы Ты узнал Асю, мою жену, ближе, и Наташу, ее сестру...

Люба – Блоку. 23 июня 1911. Бретань

Милый Лалачка, не посылай мне больше злых писем, они меня мучат невыносимо своей жестокостью; когда ты приедешь, я тебе их покажу, и ты сам увидишь, что они очень несправедливы и что так писать нельзя, когда находишься за 5 дней езды. Я *знаю*, что тебе диктует их *твое* нервное состояние, а не отношение ко мне, но это не помогает, и слова бьют прямо в сердце. Я об этом всем буду с тобой говорить, когда приедешь; тогда же сговоримся, как нам быть дальше...

За время, когда я пишу это письмо, говорю с тобой, каким я тебя знаю, прошла боль от письма, в котором сказано, что ты не любишь меня, что я средний человек и потеряла душевный вес; подумай



сам, зачем это писать за тысячи верст? После этого успокоительное и доброе письмо — совсем не то, что оно само по себе. Мой Лала, надо очень много силы, всякой, ты уж поверь, чтобы через три часа (я его получила три часа приблизительно назад) быть уже спокойной, видеть тебя, милого и любимого моего Лалаку, а не какого-то с кнутиком...

Блок – Любе. 30 июня 1911. Петербург

Люба, сейчас я приехал из Шахматова, разобрал вещи, пил чай. Нашел твои четыре письма... Прости, что я писал тебе злые письма, но в Шахматове всегда обо всем беспокоишься больше, чем где бы то ни было. Очевидно, тишина и глушь возбуждают беспокойство...

Куда ехать, мы обсудим вместе, я хочу ездить и жить с тобой. И говорить будем. Не беспокойся обо мне, я тебя люблю...

Блок. 3 июля 1911. Петербург

Вчера в сумерках ночи под дождем на Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами. Страшный мир. Но быть с тобой странно и сладко.

5 июля 1911. Петербург

5 июля, 11 ч. 15 мин. вечера уезжаю в Aberwrach.



Глава XXIV. Цыганщина

Бекетова. В Шахматове после отъезда Блока за границу мы с сестрой жили невесело. Она все болела, и ее пугало переселение в Полтаву. Но в августе вдруг из Полтавы пришло от Фр. Фел. радостное письмо: он получил бригаду в Петербурге. Это был счастливый момент в нашей жизни. Алекс. Андр. тотчас же написала об этом сыну, и он ответил ей уже из Берлина, что весь день радовался и доволен тем, что это так естественно устроилось.

Квартиру в этом сезоне Блокам переменить не пришлось: не нашли ничего подходящего и остались на Монетной.

Мать и отчим поселились на Офицерской, 40, против Литовского замка. Мать и сын виделись часто, и на Монетную часто ходил денщик с какими-нибудь записками или посылками. Бывало и так, что придет по почте коротенькая записка, всего несколько слов: «Мама, тебе очень грустно. А я думаю о тебе. Саша».

Такие посылки несказанно ободряли мать...

Блок. 17 октября 1911. Петербург

Писать дневник, или по крайней мере делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. о. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконого языка перед самим собою, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и *восторге*, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменивших друг друга, эпох русской жизни. Многого никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно потеряно.

В начале сентября мы воротились: Люба — из Парижа, я — отсюда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. Мама поселилась здесь, у них уютно и тихо.

Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так и из этой — о жизни: тягостное, пестрое, много несвязного...

Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит...

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров), писать задумчиво. *Это* написать (что я задумал) — надо. «Помогай Бог». Но — *minimum* литературных дружб: там отравись и заболешь...

Сегодня: без людей. Солнце, мороз, красиво, гулял днем, вечером изныл от усталости — вино и утра без сна сказались.



Заячьи цветочки.

Сейчас уже ночь, мы собираемся спать, а я только сейчас случайно вспомнил, что такое — 17 октября. Днем я вспоминал еще о *sainte catastrophe** Но 17 октября есть тот день (и это я помнил), когда мы встретились на улице и были в Казанском соборе**.

10 ноября 1911. Петербург

...Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино... Лихач. Варьетэ. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Тот ли лихач — первый, или уже второй, — не знаю, ни разу не видал лица, все голоса из ночи. Она закрывает рот рукой — всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна. Часы с нею — мучительно, бесплодно. Я отвожу ее назад. Что-то священное, точно дочь, ребенок. Она скрывается в переулке — известном и неизвестном, глухая ночь, я расплачиваюсь с лихачом. Холодно, резко, все рукава Невы полные, всюду ночь, как в 6 часов вечера, так в 6 часов утра, когда я возвращаюсь домой.

Сегодняшний день пропащий, разумеется. Прогулка, ванна, в груди что-то болит, стонать хочется оттого, что эта вечная ночь хранит и удешевляет одно и то же чувство — до безумия. Почти хочется плакать.

Мама обедает, хороший разговор с ней после обеда. Провожая ее до трамвая. Опять ночь — искры трамвая. Вечер, утро — это концы и начала. В нашем ноябре нет начал и концов — все одно растущее, мятежное, пронизывающее, как иглами, влюбленностью, безумием, стонами, восторгом.

Эту женщину я, вероятно, не увижу больше, и не надо видеть, ни мне, ни ей неприятно, она «обесплочивает» мои страсти, бросает их в небеса своими саксонскими глазами. Она совсем не такова, какой я ее видел в первый раз.

Жить на свете и страшно, и прекрасно. Если бы сегодня — спокойно уснуть.

Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь молодеет ответно, так что наши пальцы тянутся друг к другу и с неизъяснимой нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встретиться, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестнице, прислоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а я внизу, у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро ветер рук моих, об-

* Святой катастрофе (*фр.*). Так называли спасение Александра III и его семью при крушении царского поезда возле станции Борки 17 октября 1888 г.

** С Любой.

жигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне со мной. Тогда в ушах моих начинается свист и звон виол, а глаза мои, погруженные в твои веселые и открытые широко глаза, видят тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, как большая туча, легко окружаю тебя — нырнувшую в тучу и восторженно кричащую белую птицу...

Белый – Блоку. 9 или 10 ноября 1911. Видное

Наконец-то я выбрался из города, с неделю метался, как полоумный. Ввиду Твоего *подозревающего* письма... Я пишу Тебе нарочно, о том, что я делаю, ибо Ты упрекаешь меня... чёрт знает в чем!! Да пойми: что вся неделя (единственная неделя в Москве) была сплошь соткана из необходимейших поступков. До этого — я бывал по дню (редко по два дня) в Москве, и единственное место моего *бывания* — Мусagetские вечерние собрания (*тоже необходимые*). До этого времени я в августе 10 дней приискивал зимнее помещение, до этого времени 3 месяца сидел в деревне; ранее — весной: десять дней жил в Москве, и в эти десять дней разрешал скопившиеся дела за мое 6-месячное отсутствие. Еще ранее — сидел в Африке.

Да пойми Ты, что, например, я два-три года не видал, какие такие литераторы, два года не был в театре, только на днях впервые после 1 ½ года слушал серьезное пение (без музыки же я жить не могу). Есть мне время заниматься всякой белибердой. Стыдись: Твой неосновательный упрек есть именно тот безжалостный по отношению к ближнему *«психологизм»* (не основанный на чуткости душевной), подлинное имя коему — химера, химера, химера.

Должен Тебе сказать, что легко Тебе, у которого на душе нет ответственности за целое учреждение (у меня *«Мусaget»* висит на душе, и я болею каждою деталью его существования), который за одни стихи, печатаемые во всех журналах Российской Империи, получает в четыре раза больше, чем я (года четыре тому назад Ты мне говорил, что зарабатываешь до 500 рублей в месяц; в то время я зарабатывал дай Бог полтораста); мне же приходится думать о том, откуда достать каких-нибудь 30 — 40 рублей, и волноваться *всеми* мелочами жизни, от которых Ты, должно быть, избавлен...

Ты пишешь, что между нами должно быть знание друг друга: большее знание, чем теперь, не думаю, чтобы было. Мы всегда видимся из пыли, сквозь фату сегодняшней моей и Твоей усталости, или наспех, или из истерики, как в былые годы.

Милый, видишь — и у меня сквернословие: но, к чёрту его! И — как хочется в ответ на Твои обвинения прижать к сердцу Тебя! Молча усадить у нас пить чай; как хочется вообще, в тишине пожить вместе, даже не обращая внимания на Тебя; просто гулять на закате в ноябрёвских полях, а вечером у самовара тихо, безнадрывно беседовать о том, что есть *«Мусaget»*, что такое *«железная спянность»*, почему в письмах не хочу *психологизма*;



в тихом, совместном житье хочу не *психологизма*, а душевной, нежной близости, участия.

Но... это невозможно!..

Если бы Ты приехал к нам в деревню пожить *в лесах и полях*, где так уютно, но где так тесно и неудобно, если бы Ты хотел в тишине отдохнуть от литературщины, дразг, «*сквернословие*» Твое разрешилось бы тихо по отношению ко мне.

Но ведь Ты не приедешь.

Но если бы Ты сказал: «*приеду*», я удивился бы и обрадовался.

Но, пойми, я-то... не зову; не относ приглашения к навязчивости...

Пожили бы *вместе*, о сколь многое разъяснилось бы...

Ну прощай: «*сквернословь*», ругай меня... и не думай, что во мне хоть на йоту изменится к Тебе что-либо; хотя — «*отругиваться буду*», ибо я — присяжный ругатель...

Блок. 15 ноября 1911. Петербург

Переписка с Наталией Николаевной Скворцовой. Желтый, желтый закат.

«Освободить» — нет, не могу. Я часто думаю писать Вам и не пишу, потому что мне кажется всегда, что Вы знаете все, что я думаю *обо всем*.

И в сегодняшнем Вашем письме нет никакого вопроса, а у меня нет ответа — словами.

Ваша безумная гордость (красивая гордость — красивая и жуткая, как многое в Вас) заставляет Вас говорить об «унижении» и о «языке Ваших горничных». Унижения нет и не может быть. Если любовь, — она не унижает, а освобождает, в ее солнце все меркнет — и своя гордость. Но это не она, а влюбленность — ночное, ну да — «ветер и звезды» — *не больше* звезд и ветра, а как ветер и звезды — и здесь нет унижения. — Вы знаете все это, как знаю я.

Это не первое — солнечное, а второе — ночное. За словами «ветер и звезды», «унижение», «язык моих горничных» мне ясно видно все ночное, все, что вызывает к бытию их заклинательная сила: ночи без рассвета, «неровный топот скакуна», кожа перчатки, пахнущая духами, цыганские песни, яд и горечь полыни, шлейф, треплющийся по коврам, звенящие за дверью шпоры, оскаленная пасть двери, захопывающей и выводящей на *ветер* и на *звезды*, на уничтожение, а не *унижение*, на «язык», пли вещь бормотанье всех на свете — и *Ваших горничных*, и гусаров, и поэтов, и лакеев.

Конец этого: горечь полыни, оборванная струна скрипки, желтый, желтый закат бьет в неизвестное окно, и «женщина» (только женщина — никто) с длинным шлейфом *свистит* «мушину» (тоже — никто, без лица) мертвыми губами, а «мущина», как собака, ползет на свист к ее шлейфу. Все это Вы знаете, не испытав, как я знаю, испытав. Все это я увидел за Вашими же словами.



Но, Боже мой, милая, Вы не этого хотите, и я не этого хочу.

Знайτε, если Вам нужно знать, что, когда ветер и звезды, то я слышу — Вашу ноту. Также знайте, что все, что Вы писали в письме без обращения (о себе), я знаю. Я не верю *ни в какие запреты здесь*, но на небе о нас иногда горько плачут.

То, что Вы написали в этом письме, я знал и без письма, я чувствую это всю осень, чувствую тревожно.

Я не только молод, а еще бесконечно стар. Чем дольше я живу, тем я больше научаюсь ждать настоящего звона большого колокола; я слышу, но не слушаю колокольчиков, не хочу умереть, боюсь малинового звона.

Примите все это как написано, *не иначе*, развяжите *сама* все несвязное.

Я не могу и не хочу освобождать. Иначе, чем есть, не могло быть. Мне это очень, очень нужно. *Вам также*. Всякая красота может «переменить и создать новое»...

16 ноября 1911. Петербург

Я написал Вам длинное письмо, но посылаю короткое. Длинное нужнее мне, чем Вам.

Унижения не может быть. Влюбленность не унижает, но может уничтожить.

Любовь не унижает, а освобождает. Освободить могу не я, а может только любовь.

Написал (и послал) третье.

16 ноября 1911. Петербург

После нескольких писем, которые я писал Вам вчера и сегодня, я понял вдруг, что такого вопроса, какой Вы задаете, нет, и потому нет ответа.

Это не свободолюбие, а только гордость заставляет Вас говорить об «унизительных чувствах» и о «языке горничных». Свободолюбие прекрасно, а гордость — только красива. Вы бы не сказали мне так, как написали (не «то, что», а «так, как»).

Мы еще не знаем друг друга. Во мне есть к Вам то же, что и в Вас ко мне. Вы рассуждаете, и я рассуждаю. Мы не видим друг друга в лицо, между нами — только стрелы влияний.

«Освободить» — нет; освобождаем друг друга не мы. Вы знаете это, как я.

За несколькими Вашими словами — надменно и капризно закушенная губка и топанье на меня каблучком. В ответ на это позвольте мне поцеловать Вашу руку, это также красиво, извините.

Дальше — я еще многое слушаю в Вас и хочу слышать то, чего Вы сама не слышите пока...

Унижения нет, мне это очень, очень нужно...

**Белый – Блоку. 15 или 16 ноября 1911. Видное**

...Имение мое продается дай Бог через 1 ½ года, а пока я — сейчас в ужаснейшем материальном положении. Я *должен* или бросить литературу и околачиваться в передних попечителя округа, или потребовать у общества, чтобы А. Белый, могущий писать хорошие вещи, был обществом обеспечен. И я требую от всех людей, кому я, как писатель, нужен, чтобы *писателю* не дали умирать с голоду: мне нужны до февраля месяца (когда я справлюсь с *Голубем** 400—500 рублей; у меня есть около 10 печатных листов описаний Египта и Тунисии. Кто может 1) или дать мне займы (в счет гонорара за Голубя) 500 рублей, которые обязуюсь отдать по представлении рукописи в *«Русскую Мысль»*, 2) или дать 500 рублей за материал (хороший), праздно лежащий у меня? Нет ли в Петербурге такого человека, или журнала, который не даст подохнуть А. Белому и не заставит его кланчить у *меценатов* о возможности существовать? *«Мусагет»* сам нуждается. *«Мусагету»* должен я 3000 (путешествие), которые уплачу по продаже имения и который соглашается *ждать*, но который *не может* без явного ущерба изданию *помочь мне* сейчас.

Пишу Тебе, не как другу, а как петербуржцу: к кому мне обратиться? Ни журналов, ни людей я не знаю: вы все вращаетесь в литературной среде, а я с Асей — мерзну в деревне и ни с кем не общаюсь. Ты рекомендуешь мне презреть суету сует и писать *Голубя*. Милый друг, рекомендуя мне покой, рекомендуй мне и возможность работать без спешки и без заботы о том, как просуществовать декабрь и январь месяца.

Не знаю, на что Ты живешь, и знаю, что А. Белому литературой жить невозможно, а денег своих — ни гроша. У меня на сердце жена, Ася. Для себя не стал бы я просить. Но мысль подвергать Асю голоду, ревматизмам и прочим принадлежностям литературной деятельности меня ужасает.

Ты — судья моего поведения: так будь же *не обвинителем только*, а постарайся меня как-нибудь устроить: или дай совет, как быть. Мне 500 рублей нужны сейчас *до зарезу*. Нельзя ли честно получить за праздно скопившийся у меня литературный труд, а не то через две недели я зареву *благим матом* у всех порогов богатой буржуазной сволочи: «Подайте, Христа ради, А. Белому». Зареву с гордостью, ибо я — Божией милостью художник, который по крайней мере обществом *должен* быть обеспечен *хлебом и одежей*. Или искусство, литература, мысль, образы *никому не нужны*. Ну, тогда я буду себе искать место хоть лакеем в ресторане: так и буду знать, что А. Белый никому не нужен, ибо его оставляют на произвол судьбы голодать.

Итак, жду от Тебя или совета, или какой-нибудь помощи, т. е. не попросишь ли Ты у кого-нибудь из писателей пристроить мои ру-

* Роман «Серебряный голубь».



кописи, или у какой-нибудь редакции дать мне в 500 рублей аванс. Главное мне нужны деньги.

Ответь тотчас же. Ибо время для меня *не* терпит; если ничего нельзя для меня устроить, то я должен это заранее знать, чтобы вовремя обивать пороги Шукиных и К°, прося денег. Конечно, я не обижусь, если Ты тотчас же ответишь, что ничего сделать нельзя. Я обращаюсь к Тебе, ибо никого в Петербурге не знаю, не знаю даже, кто за меня, кто против меня: знаю только, что Твои бывлые друзья (Чулков и К°) создали для меня полную невозможность писать где-либо (ибо они — везде: следовательно, я — нигде)...

Белый. Вдруг получаю из Петербурга письмо: от А. А.; пишет он: слышал о денежных затруднениях моих; и о том, что предстоит очень трудная ответственная работа мне, которая требует сосредоточенности; он же после отца получил небольшое наследство; поэтому просит принять он меня займа 500 рублей, которые ему ничего не стоит послать, но которые могут, быть может, меня поддержать в моей трудной работе. Письмо все — проникнуто очень большой деликатностью; и отказать уже А. А. я не мог; на сердечную, дружжелюбную помощь со всей простотою сердечно ответил: принятием помощи; да — я нуждался; три месяца сосредоточенной работы над «*Петербургом*» не мог бы я вынести, если бы не заем у А. А...

Так присылка мне Блоком 500 лишь рублей была стимулом возникновению «*Петербурга*». Поэтому А. А. Блока считаю я: вдохновителем «*Петербурга*» и подлинным автором восстания к жизни его...

Блок. 28 ноября 1911. Петербург

Страшный день. *Меня нет* — и еще на несколько дней. Звонки. Посланные разными силами ломаются в двери. У Любы долго сидела ее мать — я не вышел на провокацию.

30 ноября 1911. Петербург

Сегодня ночью скончался дядя Николай. Конец Бекетовского рода.

1 декабря 1911. Петербург

Сегодня вторая годовщина смерти отца. Может быть, и объявлено об этом в «Новом времени» или подобной помойной яме. Но я иду на другую панихиду.

На вчерашней панихиде, несмотря на мерзость попов и певчих, было хорошо; неуютно лежит маленький, седой и милый старик. Последние крохи дворянства — Василий на козлах; простые, измученные Бекетовские лица; истинная, почти уже нигде не существующая скромность.

Днем клею картинки, Любы нет дома, и, как всегда в ее отсутствие, из кухни голоса, тон которых, повторяемость тона, заставляет тихо проваливаться, подозревать все ценности в мире. Говорят дуры, наша кухарка и кухарки из соседних мещанских квартир,



но так говорят, такие слова (редко доносящиеся), что кровь стынет от стыда и отчаянья. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение — только скит; барская квартира с плотными дверьми — еще хуже. Там — случайно услышишь и уж навек не забудешь.

Конечно, я воспринимаю так, потому что у меня совесть не чиста от разврата...

Все это мелко, мелко. Когда-нибудь посмеюсь тому, что записываю теперь в дневник. Тут еще много «психического состояния»...

Задремал — и чудится все что-то (подошла мама — в платке, как всегда, тихо встала около меня)...

Очень, очень плохо, жалко чувствую себя. Не пошел на панихиду, Люба пошла одна. Я побродил, пили чай... На панихиде было опять мало народу.

4 декабря 1911. Петербург

(НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО Н. Н. СКВОРЦОВОЙ)

Наталья Николаевна, я пишу Вам бесконечно усталый, эти дни — на сто лет старше Вас. Пишу ни о чем, а просто потому, что часто, и сейчас, между прочим, думаю о Вас и о Ваших письмах, и Ваша нота слышится мне.

В душе у меня есть темный угол, где я постоянно один, что иногда, в такие времена, как теперь, становится тяжело. Скажите, пожалуйста, что-нибудь тихое мне — нарочно для этого угла души — без той гордости, которая так в Вас сильна, и даже — без красоты Вашей, которую я знаю.

Если же Вы не можете сейчас, или просто знаете о себе, что Вы так еще молоды, что не можете отрешиться от гордости и красоты, то ничего не пишете, а только так, подумайте про себя, чтобы мне об этом узнать.

27 декабря 1911. Петербург

...Тема для романа. Гениальный ученый* влюбился буйно в хорошенькую, женственную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его темперамент и не любя его (по подлой, свойственной бабам, двойственности), родила ему дочь Любовь (жизнь сложная и доля непростая), умного и упрямого сына Ивана и двух близнецов (Марью да Василья... не стану говорить о них сейчас). Ученый, по прошествии срока, бросил ее физически (как всякий мужчина, высоко поднявшись, связавшись с обществом, проникаясь все более проблемами, бабе недоступными). Чухонка, которой был доставлен комфорт и средства жизни, стала порхать в свете (весьма невинно, впрочем), связи мужа доставили ей положение и знакомства: с «лучшими людьми» их времени (?), она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна, и много.

* Д.И. Менделеев.



По прошествии многих лет. Ученый помер, с лукавыми правыми воззрениями, с испорченным характером, со средней моралью. Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято», что выражается в запугиванье либеральных и ничтожных профессоров... и семейной грызней — по поводу необозримого имущества, оставленного ей мужем. Судьба детей, — что будет дальше? Ей оправдание, конечно, есть: она не призвана, она — пустая бабенка, хотя и не без характера («характер» — в старинном смысле — годов двадцатых), ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый по-своему, положительно или отрицательно, незауряден...

Но: кому нет оправдания? — Такова цепь жизни, сплетение одной нити в огромный клубок; и всему — свое время: надо где-нибудь порвать, уж слишком не видно конца, и нить разрезают — фикция осуждения, на голову, невинную в «абсолютном» (гадость жизни, темнота ее, дрянь цивилизации, людская фальшь), падает вина «относительная». Кто не налагал своих схем на эту путаницу жизни, мучительную и отрадную, быть может: отрадную потому, что в конце ее есть какой-то очистительный смысл...

9 января 1912. Петербург

Вчерашнего дня не было. Был только вечер и несколько взглядов на маленькую Любу. Исцелить маленькую, огладить и пожалеть.

Сегодня в ответ на письмо Н. Н. Скворцовой (сегодняшнее) пишу:

«Есть связи между людьми, совершенно невысказываемые, по крайней мере до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами — по всему, что Вы говорили, по всему, что увидал в Вас, по всем «знакам, под которыми мы с Вами встретились». Если это так *действительно* (а я часто думаю, что да), то что значат такие письма, как Ваше последнее? Я ненавижу приступы Вашего самолюбия и происходящего от него недоверия, потому что вижу пути, по которым Вы к ним приходите. Ну да, это только — «чувствительность кожи», «принцесса на горошинке» — и всегда связанная с внешней чувствительностью нечувствительность внутренняя, душевная слепота; как только Вас настагает это, — Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому, который сам по себе бессилен и лишен способности *влиять* и *руководить*, потому что предан внешнему и личному.

Если Вам угодно избрать этот путь, то для меня невозможны ни внешние, ни внутренние встречи с Вами, потому что в первый раз мы встретились с Вами *НЕ* под этим знаком и потому что я давно иду по *другому* пути. Если бы было нужно то, о чем говорите Вы, то мы встретились бы с Вами раньше; этого не случилось, я прошел половину жизни (может быть, большую) другим путем, и мой путь



неизменим. — Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой. Я не толстовец, не американский моралист, чтобы не признавать таких возможностей в нашем мире; и даже больше того — я уверен, что в нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая «астральная мода» на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование. Но я уверен также, что Вы могли бы быть не только красивой, но и прекрасной, не только «принцессой на горошинке», каковые водятся в каждом маленьком немецком княжестве, но и *просто* принцессой — разумеется, менее заметной, но и более единственной. Еще я уверен, что соблазны пустоты всегда тем сильнее, чем больше возможностей полноты. — Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются незнакомки» с «поэтами». Вы — не «незнакомка», т. е. я *требую* от Вас, чтобы Вы были больше «незнакомки», так же как требую от себя, чтобы я был не только «поэтом». Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в «звездные бездны» — целовать ваши раздушенные перчатки, — когда Вы можете гораздо больше — не разрушать, а созидать».

13 января 1912. Петербург

...Кстати, по поводу письма Скворцовой: пора разорвать *все эти связи*. Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется или даже полюбит, — отсюда письма — груда писем, требовательность, застигание всегда не вовремя; она воображает (всякая, всякая) что я всегда *хочу* перестраивать свою душу на «ее лад». А после известного промежутка — брань. Бабе, какова бы ни была — 16-летняя девчонка или тридцатилетняя дама. Женоненавистничество бывает у меня периодически — теперь такой период...

17 января 1912. Петербург

Вчера на ночь читал «Ад» Стриндберга. Сегодня утром — письмо от m-ше Скворцовой. На днях было письмо, в котором она зовет меня подлецом. После этого — письмо, в котором она «согласна помириться», если я отдам ей *все* свои стихи (бывшие и будущие). В сегодняшнем: я ни в чем не ошибался в том письме, за которое она меня назвала подлецом. — Если бы я был моложе, на меня все это производило бы сложное впечатление. Теперь производит только впечатление путаницы. Я смотрю (за окном мороз, солнце) на лампу в столовой и сосредоточенно думаю о том, как бы разрешить эту скучную путаницу. Вдруг вижу, что в лампу проникло сознание, на ней — фигурки драконов, хотя и довольно добродушных, — между резервуаром и колпаком. Так вот как следует, значит, поступать...

19 января 1912. Петербург

Н. Н. Скворцовой: «В одном письме Вы называете меня подлецом в ответ на мое первое несогласное с Вами письмо. В следующем Вы

пишете, что «согласны помириться». В третьем Вы пишете, что я «ни в чем не ошибался» в том письме, за которое вы назвали меня подлецом. Только в Вашем сегодняшнем письме я читаю наконец человеческие слова. Но все предыдущие письма отдалили меня от Вас. Если бы Вы знали, как я стар и устал от женской ребячливости (а в Ваших последних письмах была только она), то Вы так не писали бы. Вы — ребенок, ужасно мало понимающий в жизни, и несерьезно еще относитесь к ней, могу Вам сказать это совершенно так же, как говорят Вам близкие. Больше ничего не могу сказать сейчас, потому что болен и занят. Мог бы сказать, но Вы все равно не услышите или не так поймете, и пока я не буду уверен, что Вы поймете, не скажу.

(Сейчас переписываю и совершенно забыл, что имел в виду.) — Для того чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах и отношениях), прочтите трилогию Стриндберга («Исповедь глупца», «Сын служанки» и «Ад»), — Я не требую, а прошу у Вас чуткости...

20 января 1912. Петербург

Люба была на могиле отца. Только что поставленный памятник, против ожидания, приличен (грубые, некультурные глыбы — столбы с цепями; медальона, который испортит многое, еще нет). Рядом прислонен бывший деревянный крест, испещренный надписями — излияниями химиков...

А внизу — «Звоните по телефону 40—42, правая кнопка, к гимназистке VIII класса».

Сзади — бедная могила Владимира (Володи) Менделеева, занесенная снегом; Люба отняла у отца два веночка из елки и положила на нее. Люба принесла несколько красных веночков.

Воротаясь домой и увидав за окном в столовой подушку из снега, Люба стала представлять, как там идут маленькие человечки на лыжах вдоль по канату. Придется подарить ей коробку оловянных солдатиков.

Вечером маленькая смотрит на систему Далькроза в Михайловском театре...

Белый. В январе в тридцатиградусный колкий мороз мы* приехали в Петербург; отправились тотчас на «*башню*» Иванова** и от туда поехали за вещами: в гостиницу, потому что Иванов с пленительным гостеприимством, которому противостоять невозможно, перетащил-таки нас; мы на «*башне*» и зажили; не изменилось ничто здесь: господствовали те же нравы; вставали, когда зажигались огни; и ложились спать — утром.

Мне было на «*башне*» легко; Ася быстро сошлась с Вячеславом Ивановым; перещучивалась с ним, мотая кудрями, а он добродушно

* С Асей Тургеневой.

** Вячеслава Иванова.



над нею подтрунивал; я любил видеть их, как они наклонялись над шахматами, забывали все в мире, — по вечерам, на софе...

Раз у Иванова невзначай сорвалось: «Блок же *пьет* — *пьет* отчаянно!» Я не расспрашивал Вячеслава Иванова о бытовой стороне жизни Блока; казалось, что все-все-все располагало к тому, чтоб мы встретились с Блоком; но встречи с А. А. в Петербурге теперь затруднялись тем обстоятельством, что, находясь с Любовью Дмитриевной в ссоре (года не видались уже), не мог посетить я А. А. у него на квартире; писать же ему и выпрашивать встречу — нет, нет: не хотелось. Увидевши Пяста* вполне получил подтверждение, что А. А. — очень мрачен; недомогает, и — затворился от всех... что А. А. уже слышал об этом приезде моем и хотел повстречаться, но очень просил никому не промолвиться о желании этом, особенно Вячеславу Иванову; к Вячеславу Иванову А. А. чувствовал охлаждение...

Через несколько дней после тихого, уединенного разговора с В. Пястом я получаю чрез Пяста (украдкой) небольшую записку, в которой А. А. приглашает меня на свидание в небольшом и глухом ресторанчике (где-то около Таврической улицы); я в условленные часы прихожу; ресторанчик убогий, но совершенно пустой, — располагал нас к уюту; я вижу А. А. ждет меня; он — единственный посетитель — встает из-за столика: с очень приветственным жестом; одет он в просторный и скромный пиджак был, подобный тому же, в котором я видел его год назад. Он осунувшийся, побледневший, но весь возбужденный какой-то (в Москве возбуждения этого не было в нем) ко мне обратился; что-то в облике его переменялось; остались вполне лишь «глаза» (усмиренные, ясные, добрые); стиль его отношения ко мне узнавал безошибочно я: по глазам и губам; и — потому-то в воспоминании о нем рисовался он мне то повернутым в профиль, то подставляющим «*face*». Когда нечто лежало меж нами, что нас отделяло, не видел я детских, больших голубых его глаз; мне казались они зеленоватыми, серыми, полуприщуренными; и не видел я этой пленительной, над лицом восходящей улыбки, а видел кривую улыбку; или — надменно сомкнутые губы. Так с первого взгляда, мной брошенного на А. А., понял я, что меж нами все те же хорошие отношения и что мы бы могли разговор наш последний в Москве продолжать, точно он был вчера. Между тем: в моей жизни свершались крупнейшие перемены; в его жизни? — Что-то происходило с ним (я видел то). Но так уже устанавливалось между нами: события личные наших жизней не задавали теперь всей тональности встреч (прежде было не то); обстановки встреч, лиц, разделявших нас, не было; из бессмертного, неперемennого центра, из «Я» в «Я» другого глядели мы, будто души, тела, оперение переживаний подсолнечных, красочность их, — отлетели уже; и будто бы мы из-за граней сражающей смерти, из вечно засмертного (где

* Литератор.



нет ни красок, ни образов) смотрим друг на друга. Глухой рестораник, иль блестящий зал, Москва, Петербург или Шахматово, Европа иль Азия, или Марс, иль Сатурн — помню много моментов меж нами, когда не имели б значения для тем разговоров, которые мы вели, эти малые или большие перемещения места; все — призрак: при-зрение, т.е. то, что вокруг прилипает к глазам (рестораник, квартира иль улица — то, что стоит «у лица»); действительность — действия наши — выносят на улицу нас; но улица — то, что стоит «у лица», что не может уйти от лица, что *прилично: отличное где?* Да, да: зрение есть созревание; «зрак» есть «зерно»; — *созревание* — зрение с кем-нибудь вместе; *созреет* лишь тот, чьи глаза отвечают глазам.

Этот скромненький рестораник, его желтый крашенный пол, освещаемый желтым светом, коричнево-серые стены с коричнево-серыми полинявшими шторами и с прислуживающим унылым и серым каким-то лакеем (с опущенным правым плечом и приподнятым левым), — тот серенький рестораник скорей подходил к разговору, чем эти сиянские оперенья природы, или блестящая, переполненная военными зала у Палкина, где когда-то мы встретились вместе раз; стиль нашей встречи теперешней был — стилем «*страшного мира*» (из третьего тома стихов); да, мы не были ныне уже дети «*Божии*», как когда-то нас кто-то назвал: дети «*страшных лет*» жизни России — несли бремя страхов.

Мы руки пожали друг другу, поцеловались и обнялись; я сердечно благодарил А. А. за оказанную им денежную поддержку; А. А. стал отмахиваться:

— Ты, Боря, пожалуйста не думай о возвращении денег; отдашь, когда сможешь; мне ведь осталось от отца небольшое наследство; его хватит мне... Если бы я нуждался, а ты бы мог помочь мне, то неужели же не помог бы?..

Мы сели: Блок, тихо склонившись, подробно выспрашивал об истории с «Русской Мыслью»^{*}; при упоминании о роли Брюсова в этом, он стал усмехаться:

— Валерий Яковлевич, ну конечно же — верен *себе*...

Скоро мы перешли на его состояние сознания; и я передал ему, что кругом говорили о том, как он мрачен и как удаляется он от людей.

— Это, Боря, и так, и не так... Тут ведь были другие причины. Я, видишь ли, болен был...

Стал мне рассказывать он, что в последнее время он вдруг занемог; и сперва все не мог осознать непонятого недомогания: даже подумал, что заразился одной неприятной болезнью; доктора подозревали сперва ту болезнь, ему сделали впрыскивание; лишь потом

^{*} Редактор которой П.Б. Струве отказался печатать первые три главы романа Белого «Петербург».



обнаружилось, что болезнь — совершенно иная (на почве нервов); и он успокоился:

— Видишь, это совсем ведь не то, что тебе обо мне говорили...

И он посмотрел на меня грустным взглядом; и улыбнулся, слегка отвернувшись, — пустым столикам;

— Из вот этого моего рассказа ты можешь сейчас заключить, что за жизнь я веду.

И опять посмотрел на меня вопросительно, грустно; тряхнув головой, протянулся к стакану вина.

— Да, я — пью... И да, — я увлекаюсь: многими!.. И опять поворот головы: и улыбка — в гардины.

Тут он начал рассказывать мне о характере своей жизни и о причинах, которые его толкают периодами к тому образу жизни, могущему показаться беспутным; он говорил о *«цыганицине»*, как одной из душевных стихий; и под всеми его словами, во всем столь не свойственном для него возбуждении, проступала глубокая грусть человека, терявшего внешнее равновесие вовсе и что-то увидевшего в областях «Мира-духа», но вовсе не там, где ожидал он увидеть (не в заре), а в потемках растоптанной и в тень спрятанной жизни; из всего, о чем он говорил, вырывался подавленный окрик: «Можно ли себя очищать и блюсти, когда вот кругом — погибают: когда — вот какое кругом!»...

В этот период у него было много встреч с женщинами... Эти многие появления женщин пред Блоком вместо утраченной, прежней одной, происходили в атмосфере «страстного» состояния сознания его, в визге цыганского напева и часто весьма: *«за бутылкой вина»*...

Мне известно, что в жизни Блока бывали встречи не только с аллегорической *Гильдой*, относительно которой, пожалуй что, можно сказать:

Взор во взор — и жгуче-синий

Обозначился простор.

Были встречи — без «взора во взоре»;

был и

Красный штоф полинялых диванов,

Пропыленные кисти портьер, —

— после которых А. А. внутренне восклицал:

Разве дом этот — дом в самом деле?

Разве так суждено меж людей?

...Он подчеркивал: в сфере стихий внешней жизни подвержен он всяким случайным опасностям, неприятностям — вплоть... до... до заболевания; он пытался, весьма возбужденный, мне сделать понятным, естественным, почему *это* так, не *иначе*: и почему-то — судьба его, которую он принимает смиренно; и в визге, и в свисте



метели, в объятиях бесшабашного ветра слагались поверхности этой мучительной жизни... между тем: в тайниках этой жизни отслаивались огромные и чреватые мысли о новой России «дите»...

Этот *черный его пронизающий воздух*, который так естественно напугал меня в 1904 году, во время шахматовой прогулки с А. А. (в поле), — окончательно окружил А. А. в 1912 году; голубая тишь сквозь *лиловые миры* тома второго стихов предвещали теперь подхождение А. А. к рубежу, к роковому порогу: к порогу, делящему душу от Духа; недаром боялся я в 1905 году погружения в *лиловые* отсветы его «*Ночной фиалки*» (разговор у него в кабинете)...

Все это мне вспомнилось в разговоре с А. А.; и подумывал я: «*Лиловые* те миры завели его в ночь»...я начал рассказывать Блоку историю моей внутренней жизни за эти последние годы: и попытался раскрыть ему мной составленный взгляд на *черта*, попутавшего и меня, и его, и Л. Д., и С. М. Соловьева когда-то; я попытался ему передать все события странные, происходившие со мною в то время и неизменно толкавшие меня к поискам строгого морального братства ищущих пути; я ему рассказал все, что можно, о встрече с исчезнувшей Минцловой*, о руководстве ее над моими «*духовными упражнениями*»; передал и ее уверение, будто бы за нею стоят «*посвященные*»; рассказал о болезни ее и таинственном исчезновении ее; рассказал, как прощаясь со мною, оставила мне она кольцо с аметистом, сказав, что когда придут ко мне люди от Духа и спросят о *кольце*, то его показав им, найду я путь Духа; я ему передал, как ждал сперва *встречи* я; но — не было встречи; и я ничего уже не жду от таинственных «*посвященных*». Я рассказывал много А. А. об исканиях Аси путей, о теософии, пути посвящения: словом, — рассказ этот был моей исповедью пути пред А. А., долженствующей поддержать его, чтоб он видел, что состояние покинутости, им испытанное, — тоска пред *порогом* судьбы.

А. А. слушал с глубоким вниманием, склонив голову: выслушав, он сказал:

— Да, все это отчетливо понимаю я; и для тебя, может быть, — принимаю... А для себя — нет, не знаю: не знаю я ничего. И не знаю: мне — *ждать*, иль не *ждать*. Думаю, что ждать — нечего...

...С А. А. Блоком я виделся раз всего; но свидание это мне стало значительней многих свиданий: оно мне дало ключ к «*Блоку*» тогдашнего времени: многочасовой разговор очень много открыл мне; и верю: *скрепил наши связи*. Открылось раз навсегда мне, что связывало А. А. с мрачным гением Стриндберга, что диктовало стихи его третьего тома...

Между прочим А. А., наклонясь надо мной, облакачиваясь рукой на спинку убогого стула (ведь вот же, я — помню), какого-то желтого, как полы рестораника, осведомлялся заботливо о течении болезни «Сережи» (С. М. Соловьева), который переживал в эти

* Известная теософка.



месяцы очень трудный, критический и ответственный момент личной жизни; события для него очень тяжкие так расстроили нервную систему его, что уже он три месяца находился в лечебнице Лахтина (в ней семь месяцев он страдал); даже нас не похвалили к нему; я старался А. А. передать все, что знал, что до нас доходило от страдающего С. М. Соловьева; А. А. слушал меня с напряженным вниманием; и в глазах его вспыхнуло прежнее теплое чувство к любимому прежде и близкому троюродному брату...

Потом, вдруг откинувшись и опустивши глаза, принялся очень медленно стряхивать пепел с своей папиросы; вздохнул и сказал:

— Да, вот, странники мы: как бы ни были мы различны, одно нас всех связывает: мы — странники: я, вот (тут он усмехнулся) застранствовал по кабакам, по цыганским концертам. Ты — странствовал в Африке... Да, да — странники: такова уж судьба.

И еще усмехнулся: и мы — замолчали: тут, грянула в совершенно пустом ресторане нектати — машина; какой-то отчаянный марш: и лакей, косоплечий (одно плечо свисло, другое, привздернулось), подошел и осведомился, не нужно ли нам чего: кто-то там, в уголке жевал мясо; газ тусклый мертвенно освещал бледно-желтые плиты пола и серо-коричневое одеяние стен; там, за стойкой сидел беспредметный толстяк, надувал свои щеки; и вдруг выпускал струю воздуха из толстых, коричневых губ; делать нечего было ему; он — скучал: слушал марш; и мы слушали тоже: молчали.

Молчание это в паршивейшем единеннейшем ресторанчике мне казалось — значительным; чувствовал: Петербурга и нет; нет проспектов, нет тел; нет и душ; мировое пустое космическое пространство (с иллюзией ресторанчика); и в нем два сознания, духовно вперенных друг в друга: от «Я» к самосознающему я.

Мы молчали: А. А. мне казался, как в 1910 году не прямым, а каким-то в движениях раскоряченным, потерявшим всю прежнюю, изысканную, светскую статью...

Сколько мы просидели с А. А. не упомню: по помню, что разговор перешел на мои отношения с Асей: А. А. меня спрашивал, что, доволен ли я путем жизни; и узнав, что доволен, как будто бы он удивился: но ничего не сказал.

Вместе вышли на улицу мы: была слякоть; средь грязи и струек, пятен фонарных и пробегающих пешеходов с приподнятыми воротниками (шла изморозь) распрощались сердечно мы: в рукопожатии его, твердом, почувствовал я, что сидение в сереньком ресторанчике по-особенному нас сплотило; я думал: «Когда теперь встретимся?» Знал я, что мы с Асеей вырвемся из России надолго.

Запомнился перекресток, где мы распрощались; запомнилась черная, широкополая шляпа А. А. (он ей мне помахал, отойдя в мглу тумана, и вдруг повернувшись); запомнилась почему-то рука, облеченная в коричневую лайковую перчатку; и добрая эта улыбка в недобром, февральском тумане; смотрел ему вслед:



удалялась прямая спина его; вот нырнул под приподнятый зонтик прохожего; и — вместо Блока: из мглы сырой ночи бежал на меня проходимец: с бородкою, в картузе, в глянцевых калошах; бежали прохожие; проститутки стояли; я думал: «Быть может, вот эта вот подойдет к нему...»

Мне захотелось остаться совсем одному; не хотелось на «*башню*», к интересным речам Вячеслава Иванова, думалось: будет расспрашивать он:

— Ну где же ты был? Что ты видел?

Тут неожиданно очутившись пред чайной, свернул я в нее; и — спросил себе чаю: и не прошло получаса, как старый картузник, богоискатель, уже за меня зацепился; возник разговор между нами; картузник меня угостил: поднес водки; и не позволил платить; подчинился я: выпил; и на прощание: облобызались мы.

Возвращаясь на «*башню*», я все вспоминал о судьбе А. А.; чувствовалось, что трагедия, о которой в литературных и поэтических кругах говорить бесполезно, подкралась к А. А., что стоит у «*порога*» он...



Глава XXV. «Не умею любить, но люблю...»

Блок. 28 февраля 1912. Петербург

Вчера обедала мама, разговор сначала тяжелый, потом — хороший. Ночью я провожал ее на извозчике через Троицкий мост по мокрому снегу. Ей стало нравиться у нас в квартире — в большей степени от улучшения отношения Любы...

Бекетова. 29 февраля 1912. Петербург

...Алина болезнь последний год в Ревеле очень усилилась. Она провела весну и часть лета в санатории около Москвы. Вернулась в Шахматово в год перестройки, ожидая со стороны Саши и Любы полного снисхождения, а вышло самое тяжелое лето, которое когда-либо было. Жестокостям их не было конца. Главное было на почве хозяйства и новых слуг (Николай и Арина). Окончилось тем, что Аля отравлялась вероналом. Один из ужаснейших дней моей жизни. Были минуты, когда я думала, что она умирает, и я не смела звать Сашу и Любу, зная, что им *до нее нет никакого дела*. Она была бы рада, ему все равно. Люба ее ненавидела, Саша озлобился от тревоги, сложности, трудности, роковых недоразумений и пр. Несколько часов я с ней провела, слушая ее бред, поднимая ее с пола, плача и пр. Вид ее, растерзанный и безумный, факт покушения на самоубийство — ничто их не тронуло.

Уехали мы с Алей. Увез ее Франц в Ревель. Последний год она провела, как в монастыре. Ей стало лучше. В Шахматово уже после того Люба не вернулась. Саша провел 1½ месяца. Уехали за границу. А как опять было плохо у Али, и Люба всю зиму не могла смягчиться. Внезапно перевели Франца в Петербург с этой осени. Отношения с Сашей были хорошие, часто по его инициативе виделись. Люба вела себя хорошо. Что она чувствует, не знаю. Она очень подурнела и присмирела. Верная жена и ничего больше. Начал поэму, очень значительную, охладел, бросил, по-моему, просто не справился. Это ему не по силам. Настроение ужасное. Большой любви нет, все мелкие и случайные вспышки. Почти не пишет. Очень знаменит, обаятелен, избалован, но столь безнадежно мрачен, что я за него страшно боюсь...

Блок. 29 марта 1912. Петербург

...Сегодня отвечаю Н. Н. Скворцовой, что: «все не так, слова ее — покров, не знаю над чем. Мир прекрасен и в отчаянии — противоречия в этом нет. Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка и беспорядка. Иначе — пропадешь. Душа моя подражает цыганской, и буйству, и гармонии ее вместе, и я пою тоже в каком-то хору, из которого не уйду»...



10 апреля 1912. Петербург

Утром — В. П. Веригина — хорошая, милая, но актриса и болтушка...

Веригина. Весной 1912 года, после зимнего сезона в провинции, я приехала в Петербург вместе со своим мужем Н. П. Бычковым. Он кончил Московское техническое училище и получил место в Петербурге. Мы поселились на Мытнинской набережной — на берегу Невы, против Зимнего дворца и Адмиралтейства. Перед глазами у нас была всегда всегда волнующаяся Нева, стянутая каменным поясом. Вдали на крыше дворца «только мнился» блоковский рыцарь. Мы постоянно смотрели в ту сторону. Иногда у нашего окна сидела Любовь Дмитриевна. Она часто бывала у нас, и, когда я приезжала к ней, я заставляла ее большей частью одну. Первую встречу с Блоком этой весной не помню. С Любой мы вели бесконечные разговоры о театре, о ролях. В ней опять проснулось желание играть. Она спрашивала меня о моей работе в провинции и, наконец, не выдержала, — предложила что-нибудь устроить летом под Петербургом, собрав компанию из своих знакомых актеров. 11 сейчас же согласилась на это. С Александром Александровичем мы пока не говорили, Люба не сообщила вначале, как он относится к нашей затее. Я лично с ним виделась редко и как-то не улавливала его настроения. Стихи его, разумеется, по-прежнему глубоко меня интересовали, и Любовь Дмитриевна дала мне два новых стихотворения — «Пляску смерти» и «Шаги Командора». С этих пор я ощутила реально, что Блоком все чаще овладевает «последнее отчаяние», и мне стало страшно за поэта.

Однажды я пришла к Любове Дмитриевне, не рассчитывая застать Блока дома, и неожиданно увидела его в столовой, стоящего у окна в солнечном весеннем освещении. Он показался мне таким, как был весной 1907 года. На лице то же юношеское выражение, та же задорная улыбка, та же дружественная приветливость по отношению ко мне. В эту минуту ничто в его существе не говорило о «последнем отчаянии». На этот раз мы втроем чувствовали себя совсем прежними. Блоковский юмор и шалости нас веселили и смешили в течение нескольких часов.

Когда нам вздумалось перейти из столовой в кабинет, Блок пошел впереди и вдруг с силой ударился головой об дверь. Мы с Любовью Дмитриевной вскрикнули от неожиданности. Александр Александрович вскрикнул тоже, но совершенно бесстрастным голосом: «Ай, ай». Оказалось, что он ударил рукой по двери, мгновенно приблизив к ней лоб почти вплотную. Получалось впечатление, что он понастоящему колотится головой об дверь. Он проделал свой фокус несколько раз, и мы каждый раз не могли удержаться от того, чтобы не вскрикнуть. Сам Блок повторял свое «ай, ай» и смеялся коротким смешком, искренним, как всегда в минуты своих дурачеств.



Ни о чем серьезном мы не говорили, так и прохотали до самого моего ухода, а под конец Блок вдруг сказал с грустью, о которой я упоминала выше: «Прошла наша юность, Валентина Петровна». Впоследствии он повторял мне это несколько раз...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Иванову.

17 апреля 1912. Петербург

Милый Женя, после Вашего ухода я все думала о нашем с Вами разговоре. И в частности о моем Саше. Мне кажется, дорогой мой Женя, Вы не знаете, насколько велика Сашина холодность. Вы как-то не допускаете себя верить, насколько он бесчувствен. А ведь уж надо это помнить, и если Вы его любите, не ждать от него чувств. Вы говорите: «Я мог бы околеть, и он не пришел ко мне». Да.

Что же делать? Он такой. У него это от отца и от матери. Я тоже бесчувственный или, как это принято называть, бездушный человек. Вы с Майей*, оба, не хотите этого принять. А надо, потому что надо знать того, с кем имеешь дело, и не ждать от него того, что он не может дать.

Саша живет страстями и духом. Это было с самых малых лет. Чувства — это ему было чуждо всегда.

Судите, как хотите, отвернитесь от него, но не собирайте смокв с терновника...

Белый – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

6 мая 1912. Брюссель

...Мы с женой переживали очень странные (и скажу откровенно) очень *светлые события*, были очень взволнованы, были в Кёльне и т. д. Только теперь все улеглось, и я могу со спокойным духом писать Вам.

Вы пишете, будто Вам кажется, что надо что-то делать. О, да! Это чувствую я определенно уже с 1908 года, когда чувство беспредметной тревоги о неведомом деле для меня достигло максимума. С 1909 до 1912 года история моей жизни вся связана с этим исканием.

Вы спросите: нашел ли я? Я отвечаю: нашел для себя; и не *путь дела*, а узенькую, поросшую травой тропинку среди болот и безбрежности, по которой иду, по которой идем с женою в надежде, что после лет ученья и дисциплины тропинка превратится в *Путь*, в большой жизненный *Путь*, нужный России.

Вы спросите: что же это за *тропинка*, как ступить на нее? На это я могу ответить лишь уклончиво и обще, ибо начало пути коренится для меня не в определенном учении, *credo* (учение, *credo*— все это приходит потом), а в определенном отношении к себе самому, к своим прошлым путям, к декадентству, символизму и мистике. Начало пути для меня в определенном смирении, в осознании прошлых личных ошибок и ошибок маленькой группы некогда тесно связан-

* М.П. Иванова



ных друг с другом людей, далее: ошибок той группы, которые гордо думали, что они носители *нового слова жизни*, далее: ошибок всех вообще *передовых людей*; далее, интеллигенции; далее — души русского народа. Ибо *всё, всё, всё* — навеки соединено в неразрывном звене. И от моего личного поступка (с какой ноги стал) зависит непосредственно событие важное: мы все ответственны; нам был дан Божий Дар, талант, а что мы с ним сделали? Как безбожно мы обращались с прозвучавшим некогда призывом: скромным работникам на Ниве Божьей даны были бриллианты прозрений; эти бриллианты должны они были *взять, понести и донести* до определенного места. А они присвоили себе данные им Дары (высшим людям все позволено — высшие люди по Благодати): они отнесли к врученной ноше, как к собственности. Я не сужу, но я это о себе утверждаю: я был присвоителем чужих богатств, я играл ими... за это я был поражен гневом Божиим... истекал кровью в Париже, умирал медленной смертью весь 1907 и год. И умирая медленной смертью, я винил не себя, а других: я — бичевал, писал о профанации, о кощунстве на Св. Духа; может быть, слова мои... и имели долю истины, но... это было все о соломинке в чужом глазу. Бревна своей гордыни не видел я: и нес справедливую кару.

Начало моего пути в очень простом: в переоценке себя самого, приведшей меня к абсолютному смирению. Я осознал, что я *нищ и гол*, что все *бунты, богоборчества, кризисы, забастовки* суть ничто иное, как *«ай моська, знать она сильна, копь лаёт на слона»*...

Я просто, как малый ребенок, заплакал и стал просить помощи: из переоценщика ценностей превратился в переоценщика переоценки. Отсюда же мое бегство от всех литературных кругов, от всех этих *«высших»*, от которых *так дурно пахнет*. Я не виню их: я устанавливаю факт.

И когда я смирился, многие слова, многие поученья, многие прежде с *высоты величия критикуемые истины* озарились иным, внутренним светом: смирение раскрыло глаза, и опять все события жизни, как некогда прежде (в 1900—1901 году), стали мне *пробразами*, я увидел буквы-символы; пришли люди и стали меня учить из букв складывать слоги; из слогов составлялись слова: словом, тогда-то я стал понимать шифр некоторых учений; мое смирение спасло меня: возгордился, пал, разбился, не умер — лежал с перевязанными ранами, встал, пошел...

Вот тогда-то дана была в жизни мне радость: моя Ася! Вся она в светлый миг моего пробуждения, как Светлое Обетование о прощении, как посланный небом Ангел вышла из Зари, воплотилась, протянула мне руку. И вот теперь мы идем вместе...

Вся она — заревой прорезь мрачно надо мною нависших туч: и земное счастье, и знак о мирах иных, и друг, и подчас руководительница.

Вы не поняли, милая Александра Андреевна, слов моих... о том, что надо *захотеть*. Да: надо захотеть увидеть себя, и тогда



увидишь вокруг себя: сумеешь разобрать шифр. Только для этого надо снять все случайные покровы, которые случайно сплела на нас жизнь: стать нищим и нагим — до последней черты смириться (видите, какое общее место — надо не бояться и общих мест). Тогда-то в душе прозвучит Голос Безмолвия.

Все кризисы, все индивидуальные постижения, мнения суть *иллюзии*. Я могу говорить глубокие вещи о судьбах людей и народов. Но если нет воспитания воли — все сон пустой.

Итак: *воспитание воли в мелочах* вслед за смирением. Раз сознанием к этому придешь неуклонно — помощь свыше будет в надежде. Раз *верой и надеждой* укоренишь в себе мысль об Учителе, раз будешь Учителя призывать, Учитель придет (явный или внутренний — как кому). На Пути моем уже раз был один реальный учитель, одно посланное небом лицо: оно помогло мне на время, помогло, быть может, и Асе. А потом я остался один, но я знаю уж: будут Учители. Теперь Учитель Невидимый, кажется, посылает нам учителя видимого: мог бы назвать и имя его, и путь, и учение — но что до того. Путь, догмат, методы воспитания воли зависят от индивидуальности: Вам — то, мне — это. Корень всему — смирение, отношение к собственной мудрости как к просьбе голодающего, брошенной в пространство: «Накормите». И потом корень всему — воспитание воли. Я лет семь тому назад пережил иллюзию царственности; и вот «экс-принц» страны обетованной, я считаю себя учеником, которому завтра предстоит держать экзамен в приготовительный класс: предстоит пройти гимназию, университет, и уж только потом (к 40 годам) сознать себя *полезным* работником для России. Радость учиться — вот моя радость!..

Если Вы спросите меня, кто же Ваш видимый Учитель, в приготовительный класс к которому Вы поступаете, я скажу: «Это Рудольф Штейнер». Считаю дело его самым важным. Считаю специально его ролью дать через несколько лет России нескольких *воинов*.

Впрочем, это личное мое мнение: повторяю, дело не в нем, а в сознании своей малости и *необходимости воспитывать волю*. А лучшего воспитателя нам, декадентам и русским, я не сумею назвать из всех тех, кто *явно выходит* из тайных братств говорить с людьми. Ася очень благодарит Вас за внимание и просит передать сердечный привет...

Блок. 22 мая 1912. Петербург

Ужас после более или менее удачной работы: прислуга. Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслышанно ужасное. Лицом — девка как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с *неизвестными* низшими формами (в мужиках это бывает вообще, вот почему в Шахматово тоже не могу ехать). Можно снести всякий



сифилис в человеческой форме; *нельзя* снести такого, что я сейчас видел, так же как, например, генерала с исключительно жирным затылком... То и другое — одинаковое вырождение, внушающее страх — тем, что человеческое связано с *неизвестным*.

Жена моя, актриса, этого не понимает и не хочет знать. В маминной прислуге есть тоже нечто ужасное.

Придется сегодня где-нибудь есть, что, увы, сопровождается у меня пьянством.

Так, совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или — неприступные цены, воровство, наглость, безделье; или — забытые существа неизвестных пород. Середины все меньше, вопрос о «прислуге» «обостряется», т. е. прислуги не будет просто, и чем больше у нас потребностей, тем больше их удовлетворять придется... самим.

Мои «эгоистические» наблюдения. Да, я очень «занят собой». Ничего не поделаешь.

Найти выход из западни сейчас. По-видимому, покинуть квартиру, которая в течение двух лет постепенно заселялась существами, сначала — клопами и тараканами, потом — этим.

Веригина. Кроме встреч у нас и у Блоков, мы с Любой постоянно виделись в «Бродячей собаке» Пронина.

«Бродячая собака» являлась местом, где собиралась художественная, литературная и артистическая богема. Любови Дмитриевне, мне и Н. П. Бычкову очень правилось бывать там. Мы встретили много старых знакомых, между прочим — художника Сапунова, с которым я была дружна еще в театре Комиссаржевской. Теперь мы рассказали ему о наших мечтах и планах на лето. Николай Николаевич очень загорелся и согласился принимать участие в нашем театральном предприятии. Он, Н. П. Бычков, Пронин и А. А. Мгебров с азартом взялись за это дело. Любовь Дмитриевна предложила передать им все полномочия по организационной части. О Мейерхольде, которому потом некоторые газеты приписали эту затею, вначале не было речи. В то время он разошелся с Прониным и не бывал в «Бродячей собаке». Кому-то пришла мысль выбрать Териоки. В один чудесный весенний день мы отправились туда четвером: Любовь Дмитриевна, Прошит, Н. П. Бычков и я.

Казино и театр в Териоках арендовал В. И. Ионкер, молодой швед, с которым Н. П. и Пронин быстро сговорились. Ионкер сдал нам театр на процентных условиях, причем его предупредили, что будет ряд экспериментов и рассчитывать на спектакли для дачной публики не придется.

Виктор Иванович произвел на нас очень хорошее впечатление. Он был культурный и симпатичный человек. Кажется, в этот же раз мы смотрели дачу для актеров. Вернулись в Петербург в радужном настроении. Мне запомнился этот солнечный день, Любино розовое,



нежное лицо, такое счастливое, и золотистые бананы, которые мы ели по дороге. Труппу набрали из актеров, посещавших «Бродячую собаку», из тех, кто более или менее подходил для ролей в намеченных пьесах. Сняли большую дачу на берегу моря с чудесным парком. Тут должны были жить актеры. Все в одном месте. Перед переездом в Териоки возник вопрос, какой пьесой начать. Любовь Дмитриевна сказала, что, по ее мнению, надо попросить Мейерхольда что-нибудь поставить, пока он еще не уехал. Так и решено было сделать. Всеволод Эмильевич начал работать над двумя пантомимами.

В первый раз он пришел в «Бродячую собаку» днем и снова встретился с Прониным по-дружески. Почти одновременно с Мейерхольдом вошел в наш кружок Н. Кульбин, который привел впоследствии Юрия Бонди как художника. Александр Александрович не присутствовал ни на наших репетициях, ни на собраниях, но все же был с нами. Он интересовался делом Любви Дмитриевны.

Когда пришел В. Э. Мейерхольд и с ним В. Н. Соловьев, оба старались увлечь нас в сторону «комедии дель'арте», главным образом пантомимы. Блоку это не нравилось. Он увлекался тогда Стриндбергом, увлекался по-блоковски, до крайности. Все время говорил о нем. Естественно, что все мы, близко стоящие к Блоку, тоже стали читать Стриндберга, и на нас его писания произвели глубокое впечатление. Поэтому было не случайно, что поэт Пяст дал нам свой перевод нигде не напечатанной пьесы Стриндберга «Виновны — не виновны». Однако нас интересовала и «комедия дель'арте», благодаря тому, что заключала в себе подлинную театральность...

Блок. 28 мая 1912. Петербург

Сегодня ночью наконец, накануне отъезда Любы, несказанный сон, в котором в первый раз связаны Люба и мама. Сон хватания за убегающую жизнь, боязнь жизни вообще, мучения и унижения последних дней, страшная тяжесть, но за ней — несказанное и великое.

Почти нельзя описать: Франц выписывает из-за границы кого-то «запрещенного» пана, и мы с мамой (или с Любой?) везем его ночью по трясучим проселкам куда-то сюда. Впереди нас на низких санках сидит не то сам этот пан, не то возница, старенький старичок, еле везет, попадает во все ухабы и вывихивает нервы, так что я бью его палкой; после этого сидящая рядом со мной (не то Люба, не то мама) ударяет его тоже палкой по голове, так что он пригибается, а я кричу с иступлением отчаянья и с восторгом жалости: «Не смей бить старика!» Потом мы приезжаем к какому-то огорку, выходит Франц и что-то кричит, чего пан должен слушаться.

Сон, сплетенный с вихрем каких-то других, посторонних; наиболее ясно только то, что я написал: жалость и юность — обе раздирающие. Ночь, возок, пустыня, «страшно» (потому что пусто), и со мной — мать и жена: в одной.



После нескольких дней бесприслужья — какая-то девчонка, умеющая сносно готовить, будущая горничная Мережковских (от Таты).

Вчера вечером мы вчетвером (Люба, мама, Франц и я) — в «Аквариуме».

Люба все эти дни носилась и хлопотала.

Сегодня бестактная заметка в «Речи» о Териокском предприятии, где пропущены Веригина, Мгебров и др. «настоящие» актеры, а упомянуты Мейерхольд, Кульбин, Пронин, я (!) и Люба... Кто давал заметку? — Любе она неприятна. И с какой стати упоминать ее, ничего еще не сделавшую? Да еще в качестве «жены поэта».

...Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется. Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впопыхах, бродили ощупью. Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты, и, как всюду теперь, оказались и талантливыми и находчивыми, быстро наложили свою руку и... вместо БОЛЬШОГО дела, *традиционного*, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское МАЛЕНЬКОЕ дело. Тут нашлись и руки, и пафос. Речи были о Шекспире и идеях, дело пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах, Кузмин с Сапуновым сватают Кроммелинков и т. д., — до чего дойдет, посмотрим, не хочу осуждать сразу.

К вечеру. В 4.30 маленькая уехала. Я с великой тяжестью провожал ее на вокзал (тут же — Мейерхольд и А. П. Иванов), потому что перед отъездом было невыносимо — оба мы «нервные». Смотрел, пока поезд не повернул, и маленькая смотрела.

С вокзала поехал к маме обедать, там обедал Женья*... В 10-м часу я ушел, в Мойке баграми шарили утопившегося, так и не нашли, бросили, городской сказал: сам всплывет.

Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазками на столе грустит отчаянно. Боюсь жизни, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет.

Блок – А. А Кублицкой-Пиоттух.

5 июня 1912. Петербург

...Поехал на открытие спектаклей в Териоки; и еще в Петербурге — что это никого нет (условились ехать компанией). Приезжаю, оказывается, открытие отложено до субботы 9-го. Впрочем, я не раскаивался. Сидели у них в даче, она большая и пахнет как старый помещичий дом, странно — столько разных людей живет вместе; все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку. Так как ко мне все относятся хорошо и почтительно, мне было легко. Позже приехал Пяст, мы присутствовали на репетиции, я видел, как Люба танцует испанку — танцует свободно и легко, хотя и поученически. Трудно судить без декораций и костюмов. Хотя у них

* Иванов.



еще ничего не налажено и довольно богемно, но духа пустоты нет, они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные, по крайней мере были тогда; впрочем, уже кое-кто ссорится и определяются партии. У Мейерхольда прекрасные дети и такс. За сосновым парком — море, очень торжественное, был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте маяк. Ночью мы возвратились в Петербург с Любой (она уже уехала вчера опять) и Пястом, в субботу многие едут их смотреть (и я).

Почти каждый день я работаю помногу. Жить мне очень спокойно одному, и приятная печаль. Очень важно жить одному...

Бекетова. Еще в июне Ал. Ал. занимался приисканием новой квартиры. Она была найдена очень скоро на Офицерской, 57, на углу набережной Пряжки, в 4-м этаже, — «в доме сером и высоком, у морских ворот Невы» (Анна Ахматова). Здесь Блоки прожили около 9 лет. Оба очень ее любили...

Блок — А.А. Кублицкой-Пиоттух.

10 июня 1912. Петербург

...Театр, хотя и небольшой, был почти полный, и хлопали много.

Мне ничего не понравилось. О Любе судить мне невозможно, особенно по вчерашнему спектаклю, где, в сущности, никому и ни в чем нельзя было проявиться. Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса разыграли бойко, — и Люба играла, держалась на сцене свободно, у нее был красивый костюм и грим, но она иногда переигрывала, должно быть, от волнения. Кроме того, были две пантомимы, из которых она участвовала в одной — танцевала; пантомима, по-моему, очень бессмысленная и необыкновенно банально придуманная и поставленная Мейерхольдом.

Спектаклю предшествовали две речи — Кульбина и Мейерхольда, очень запутанные и дилетантские (к счастью — короткие), содержания (насколько я сумел уловить) очень мне враждебного (о людях как о куклах, об искусстве как о «счастье»). Впечатление у меня было неприятное, и не хотелось идти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, — и потом я уехал на станцию, где встретил рецензентов... одобряющих спектакль.

Люба серьезная, занята все время, сегодня будет играть «Трактирщицу» (я не еду), а через неделю — «Многомного больного» и пьесу Стриндберга, — в обеих большие роли. Товарищи ее хвалят.

Назад ехали поздно ночью опять с Пястей и другими. Буду еще смотреть, может быть, Люба и актриса...

Блок. 11 июня 1912. Петербург

...В субботу моя милая играла в первый раз: в пантомиме я принял за нее другую, а в интермедии Сервантеса она была красива,



легко держалась на сцене, только переигрывала от волнения. Вся поездка была тяжела, почти все люди, кроме Пяста, были более или менее подозрительны ко мне.

После спектакля, от которого мне, в общем, было тяжело, мы с моей милой прошли немного по туманному берегу моря (над ним висел красный кусок луны). Потом опять я стал одинок, и стало мне опять не переварить этой пакости, налезшей на меня.

Сегодня был сильный дождь, я разбираю письма, вдруг приехала моя милая, было так хорошо. Пришел Франц, посидел немного. Я милою проводил на вокзал, до слез люблю ее.

Может быть, пройдет скоро эта мерзостная, вонючая полоса жизни, придет другая. Боюсь жизни...

Веригина. Нам всем в вечер представления он* хвалил исполнение пантомимы «Арлекин — ходатай свадеб». Мне сказал: «Очень хорошо, Валентина Петровна, очень профессионально».

Помню, что «испанская пантомима» «Влюбленные», очень интересно поставленная Мейерхольдом, не произвела впечатления на Блока. Очевидно, он увидел в ней черты дилетантизма. Никто из нас не был профессионален в испанском танце, который возникал по ходу действия, на короткие моменты...

Блок – Любе. 14 июня 1912. Петербург

...Ты не пишешь, и я не знаю, ехать ли в субботу или в воскресенье на спектакль.

Меня ловит Кузмин, Сапунов – и компания. Сейчас звали по телефону к вам с какими-то дамами и пр. Я неопределенно отвечал, но не еду несомненно... я боюсь этой компании и для вашего театра и для себя; нечего мне там делать; говорят по телефону, что записали меня в комиссию по устройству «карнавала» у вас — на лодках, в парке и проч. Все это очень последовательно, состав вашей группы таков, что интермедии и карнавалы в конце концов займут первое место, а остальное, если и останется, то затертое и загнанное.

Я этим, в конце концов, не возмущаюсь, все люди могут делать только то, что им предназначено. Меня заботит только то, как эта атмосфера коснется тебя...

Блок. 14 июня 1912. Петербург

...Ночью (почти все время сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери, — мне бы нечего делать здесь...

15 июня 1912. Петербург

...Около обеда пришел Кожебаткин** и принес ужасную весть: вчера ночью Сапунов утонул в Териоках — перевернулась лодка...

* Блок.

** Владелец издательства «Мусажет».



Люба – Блоку. 15 июня 1912. Териоки

...Сегодня ночью утонул в море Сапунов. Приехал вчера вечером с Кузминным и двумя художниками к нам. Они поехали кататься на лодке с «принцессой»*, которой Сапунов увлекался. Лодка опрокинулась в 3-х верстах от берега, Сапунов один не умел плавать; они все растерялись, цеплялись за лодку так, что она все время поворачивалась и топила их. На помощь подоспел матрос в лодке, но когда он подъехал и стал спасать четверых, Сапунова уже не было. Тело ищут все время, но еще не нашли. Кузмин в ужасном состоянии, у него болезнь сердца и потрясение на него страшно подействовало. Кульбин ухаживает за ним и принцессой, которая в отчаянии, — Сапунов все время держался за ее руку и успел ей сказать, что он не умеет плавать, и что ему предсказано, что он утонет в море...

Веригина. В тот роковой день Николай Николаевич звал Блока, горячо убеждая его ехать в Териоки, но Александр Александрович почему-то не смог поехать.

Мне кажется, что последнее обстоятельство сыграло печальную роль.

Если бы Александр Александрович согласился, катастрофа не произошла бы. Блок приезжал главным образом с целью навестить Любовь Дмитриевну и непременно пришел бы на дачу после репетиции, а с ним, разумеется, Сапунов и остальные. Эти сообщения никогда не были высказаны мной Блоку. Это огорчило бы его. Он хорошо относился к Сапунову, который был из тех, кого Блок называл «настоящими».

Смерть Сапунова наложила горестную печать на дело, которое мы начали с такой бурной радостью вместе с ним.

Печальная улыбка его Арлекина на флаге нашего театра напоминала об ушедшем художнике...

Блок. 16 июня 1912. Петербург

...Под тяжелым впечатлением вновь наваливающейся пакости поехал в Териоки. Маленькая моя играла светскую старуху в очень пошлой комедии Уайльда; спектакль, в котором чувствовалась работа, хотя и очень короткая, был весь опять ни к чему. Измучили окружающие люди, вечно спрашивающие о чем-то, когда я хотел бы видеть мою милую один и чтобы она не знала, что я на нее смотрю. После спектакля мы опять прошли чуть-чуть по берегу моря, в котором лежит тело Сапунова, окрестили друг друга...

19 июня 1912. Петербург

Я болен, в сущности, полная неуравновешенность физическая, нервы совершенно расшатаны. Встал рано, бодрый, ждатель милую, утром гулял, потом вернулся и, по мере того как проходили

* Бэлой Назарбек.



часы напрасного ожидания, терял силы и последнюю способность писать. Наконец тяжелый сон, звонок, просыпаюсь, — вместо милой — отвратительная записка от ее несчастного брата. После обеда плтуться в Зоологический сад, посмотрев разных миленьких зверей, начинаю слушать совершенно устаревшего «Орфея в аду» — ужасная пошлость. Не тут-то было — подсаживается пьяненький армейский полковник, вероятно добрый, бедный, нищий и одинокий. И сейчас же в пьяненькой речи его — недоверие, презрение к штрюку («да вы мущина или переодетая женщина», «хорошо быть богатым человеком», «если бы у меня деньги были, я бы всех этих баб...»), «пресыщенный вы человек» и т. д. и т. д.) — т.е. *послан еще преследователь*. В антракте вышел я и *потихоньку* ушел из сада, не дослушав, — знак был: уходи, доброго не будет, и потянуло, потянуло домой... Действительно, дома на столе телеграмма милой: «*Приеду сегодня последним поездом*»...

Полковник, по-старинному, прав, но полковников миллионы на свете, а я *почти* один; что же мне делать, как не бежать потихоньку в мой тихий угол, если он есть у меня; а еще есть пока. *Только здесь и отсюда* я могу что-нибудь *сделать*. Не так ли?

Тебя ловят, будь чутким, будь своим сторожем, не пей, счастливый день придет.

Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить милую. Вдруг вижу с балкона: оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, *выпил воды*, утерся... и пошел осторожно дальше. *Человек*...

20 июня 1912. Петербург

Конечно, напрасно я радовался заранее. Тяжело и неопределенно с моей милой. Проводил ее сегодня, опять она поехала...

26 июня 1912. Петербург

В моей жизни все время происходит что-то бесконечно тяжелое. Люба опять обманывает меня. На основании моего письма, написанного 23-го, и на основании ее слов я мог ждать сегодня или ее, или телеграмму о том, когда она приедет. И вот — третий час, день потерян, все утро — напряженное ожидание и, значит, плохая подготовка для встречи. Может быть, сегодня она и не приедет совсем.

Бу приехала сейчас же. Покушала чаю, и мы осмотрели квартиру, выбрали обои, вечером, перед ее ванночкой, я читал ей свою оперу, ей понравилось. Она сказала, что это — не драма, а именно опера, для драмы — мозаично...

3 июля 1912. Петербург

Проснулся на рассвете. Прохлада и острота мыслей после дней пьяной болезни и жары. Купальный халат шевелит кровь.



В Териокском театре стоит говорить о трех актерах: Л. Д. Блок, Мгеброве и Чекан.

В моей жене есть задатки здоровой работы. Несколько неприятных черт в голосе, неумение держаться на сцене, натруженность, иногда — хватание за искусство, судорожность, когда искусство требует, чтобы к нему подходили плавно и смело, бесстрашно обжигались его огнем. Все это может пройти. Несколько черт пленительных: как садится, как вертела лорнет, все тот же изгиб руки, какое-то прирожденное изящество нескольких движений, очаровательное произношение нескольких букв, недоговоренность. Хотел бы я видеть ее в большой роли.

Нет, все-таки я усталый и больной...

Внезапно, когда я писал письмо маме, приехала милая, милая. Мы провели день свято, я проводил ее на вокзал; вечером пришел Пяст — и загуляли...

Веригина Самой интересной постановкой сезона и одним из лучших созданий Мейерхольда нужно считать «Виновны — не виновны» Стриндберга. Пьеса эта была рекомендована Блоком.

Я уже говорила, что в тот период все его мысли были обращены к Стриндбергу. Нашим делом Александр Александрович интересовался и, конечно, влиял на него. Не все шло по его желанию, но главное, чем был отмечен сезон, исходило от него...

Я помню, как Александр Александрович Блок был взволнован постановкой, как он прежде всего отметил язык пьесы, со сцены звучавший как должно... Молодой художник Юрий Бонди, болезненный, хрупкий, духовно не был ни немоощным, ни вялым, его творческая энергия, его интуиция очень помогли Мейерхольду при постановке стриндберговской пьесы. Достоинство декораций Бонди заключалось главным образом в том, что силуэт человеческих фигур был остро подан в черной раме на фоне транспаранта.

Блоку чрезвычайно понравился акт, где Морис встречается с Генриеттой в Люксембургском саду. Парк был показан лишь тенью сучьев на золотом фоне заката. Черная фигура Мориса и малиновое манто Генриетты на этом же фоне. Они сидели на скамье, и их быстрые слова без пауз ударялись друг о друга, как рапиры двух врагов. Эта катастрофическая любовь во вражде не могла иметь иного обрамления, иного фона. Александр Александрович вообще не обращал особенно много внимания на декоративную, внешнюю сторону в театральных представлениях, но тут он отметил ее. «Заря и малиновый плащ, грозное в Стриндберге этим подчеркнуто». Вообще, эта сцена одна из самых главных. Тут заключено все роковое, вся неизбежность. Вот общий смысл сказанного мне Блоком о картине в Люксембургском саду.

В декоративном отношении чрезвычайно интересно было сделано действие в ресторане, о котором я уже говорила. Большой



диван посередине со столиком перед ним, и на авансцене сбоку — маленький столик, на котором стоял шандал с тремя свечами. За диваном против зрителей — громадное окно, и за — занимающаяся утренняя заря. Вначале окно завешено черным. Черный костюм Мориса и белое вечернее платье Генриетты, свечи, карты, бокалы с шампанским, желтые перчатки. Под конец действия черный занавес отдергивался. Транспарантом, за рамой окна показывалась утренняя заря, и одновременно слуга вносил вазу с желтыми цветами. Все это было заключено, как я уже говорила, в черную раму, и большое пространство еще оставалось впереди: широкий просцениум, на котором сбоку помещался портрет Стриндберга, прекрасно исполненный Кульбиным. Тут же стоял рояль. Антракты заполнялись музыкой. Играл И. Сухов, очень даровитый, по тогда совсем юный музыкант. И его Мейерхольд сумел сделать причастным трагической атмосфере спектакля. Черная рама не только создавала впечатление картины, но играла гораздо более важную роль: она сделала действие на сцене сконцентрированным. Актеры не видели зрителей, были всецело поглощены друг другом, но, играя для кого-то далекого, они творческим инстинктом посылали себя далеко за просцениум. У меня лично было ощущение подобное тому, как во время представления «Балаганчика»: зрители втягивались к нам за рампу. На первом представлении пьесы «Винновны — не виновны» присутствовали дочь Стриндберга и ее муж. Они были очень взволнованы спектаклем и спрашивали, неужели такая замечательная постановка не будет показана в Петербурге. Повторяю, Блок был потрясен ею так же, как когда-то «Жизнью Человека». Он принял все целиком. Особенно ему понравилась Люба в роли Жанны...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

15 июля 1912. Петербург

...Спектакль был весь праздничный и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папоротником. Все первое действие Люба не сходила со сцены и наконец по-настоящему понравилась мне как актриса: очень сильно играла. Действие происходит в церкви. Жанна (которую она играла) стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий... Люба говорила наконец своим, очень сильным и по звуку и по выражению голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык со сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы, в свою очередь, написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче; в те годы Стриндберг говорил исключительно языком молний; мир, окружавший его тогда,



был, как грозовая июльская туча, — *tabula rasa** на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги.

Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера), по-видимому, это если не поняли, то почувствовали, и потому — все восемь картин на сцене, не ярко освещенной, — задний фон — сине-черный занавес, сквозь который просвечивают беспорядочные огни. Иногда появится на нем красное пятно; все время мелькают на нем то бутылки с вином (парижское кафэ), то лоснящийся цилиндр и узкий сюртук героя, которого математика Рока загоняет в ужасное; то битая морда сыщика или комиссара; то красное манто котокити и отсвечивающий рубином крест у нее на груди; вдруг среди кафэ, в сценическом положении, почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии; полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии.

Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг.

Среди публики, очень внимательной, довольно многочисленной и не похожей на русскую дачную шваль (много шведов и финнов), была дочь Стриндберга; Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по-шведски, ни по-немецки; она — очень высокая худая пожилая женщина в треуголке с белым пером, одета просто; некрасивостью и измученностью очень напоминает отца — напоминает самым лучшим образом; она говорила, между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсингфорсская актриса.

Люба приедет на этой неделе, и мы переедем на квартиру, которая готова (я был там в пятницу). Жара в Петербурге, и все время, оказывается, была жара. — Из Териок мы ехали с Женей** вдвоем (ему тоже понравилось все, и Люба), в вагоне клевали носом от усталости. Он переночевал у меня, а сегодня рано утром ушел, пока я спал...

Блок. 16 сентября 1912. Петербург

Люба все уходит из дому — часто.

21 сентября 1912. Петербург

...Люба почти постоянно с Кузьминым-Караваем*** ...

25 сентября 1912. Петербург

...Люба опять проводит вечера с Кузьминым-Караваем...

28 сентября 1912. Петербург

...Милая моя опять ушла до поздней ночи...

* Чистый лист (*лат.*)

** Ивановым.

*** Артист и режиссер.



7 октября 1912. Петербург

Обедаю у мамы с тетей. Кузьмин-Караваев уезжает, Люба провозжает его. — К сожалению, еще нет. Люба с ним у Бонди. Люба просит написать ей монолог для произнесения на Судейкинском вечере в «Бродячей собаке» (игорный дом в Париже сто лет назад). Я задумал написать монолог женщины (безумной?), вспоминающей революцию. Она стыдит собравшихся. Ушел шататься, оставив маму, Франца и тетю в ожидании сегодня приезжающей к ним таксы, которая будет названа «Топшкой».

9 октября 1912. Петербург

...Люба ходит с китайским кольцом «на счастье» — с лягушонком. Пришла пора ей опять стать маленькой...

10 октября 1912. Петербург

...Люба продолжает относиться ко мне дурно. Днем — у мамы, она больная и без прислуги...

11 октября 1912. Петербург

...Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет.

Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов...

О модернистах я боюсь, что у них *нет стержня*, а только — талантливые завитки вокруг пустоты. Люба хорошо возражает: всякое предыдущее поколение видит в следующем циников, нигилистов, без стержня. То же было и с нами. Может быть, я не понимаю. Может быть, и у них есть «священное». Будущее покажет...

16 октября 1912. Петербург

...Ночью — острое чувство к моей милой, маленькой бедняжке. Не ходит в свой подвал*, не видит своих, подозрительных для меня, товарищей — и уже бледнеет, опускается, долго залеживается в постельке по утрам. Ей скучно и трудно жить. Скучно со мной тоже. Я, занятый собой и своим, не умею «дать» ей ничего.

Утром — опера, набросал вчерне 1-й акт. Перед обедом у мамы, у которой был доктор. Маме плохо. Долго лечить эту болезнь. Еще одна кухарка выгнана. Маленькая собака — непоседа. Боюсь, что будет неприятного характера...

Милая моя спит, записываю ночью, воротясь. Спи, милая, голубушка, если бы я мог тебе помочь...

* «Бродячая собака».



21 октября 1912. Петербург

...«Опера». Маленькая вальяжно и независимо сидит, пишет, читает и покрикивает в своей все еще небубанной комнате. Все рассказывает мне разное про Кузьмина-Караваева (своего) с многозначительным видом. Тяжело маленькой, что она не играет нигде, если бы ей можно было помочь. Наняла еще одну прислугу — глухую...

22 октября 1912. Петербург

С раннего утра — занятие «оперой», от которой я начинаю сатанеть. Понемногу — злая тоска. У мамы, с Любой — все бесконечно тягостно. Вечером — цирк с Жаном и Дэзи...

24 октября 1912. Петербург

...Люба — влюблена ли? Колеблется ли? (думает мама). Или — тяжело без дела, без людей (Мейерхольд говорил кому-то, что он вердит на нее, зачем она не поступила до сих пор к Далькрозу; муж Веригиной на что-то, кажется, обижается). Прибавляют тяготы эти вечные грязные денежные дела — брата. Родных у нее нет. Может быть, только я один люблю мою милую, но не умею любить и не умею помочь ей. — Милая вернулась около 3-х часов ночи...

27 октября 1912. Петербург

...Моя милая утром снималась *только* для Кузьмина-Караваева. Перед этим была у парикмахера. Это будет редкий портрет (в одном экземпляре), но зато у меня есть реже и лучше.

Вечером за чаем я поднял (который раз) разговор о том, что положение неестественно и длить его — значит погружать себя в сон. Ясно: «театр» в ее жизни стал придатком к той любви, которая развивается, я вижу, каждый день, будь она настоящая или временная; нельзя обманывать себя ей: уроки у Панченки и встречи в подвале «Бродячая собака» и прочих местах с людьми, может быть, милыми, но от которых — «ни шерсти, ни молока», не могут считаться «делом» и не могут наполнять жизнь. Дни проходят все-таки «о другом человеке»; когда ни войдешь к ней, она читает его письмо, или пишет ему, или сидит задумавшись. Надо, значит, теперь ехать в Житомир (!), а потом — видно будет... На этом я прикончил свою речь и ушел к себе, и милая пошла к себе, приняв, кажется, на этот раз мои слова к сведению.

Нам обоим будет хуже, если тянуть жизнь так, как она тянется сейчас. Туманность и неопределенность и кажущиеся отношения ее ко мне — хуже всего. Господь с тобой, милая.

Мучительнее всего — «внешнее» — что, как, куда, когда, провозжать, прощаться, расставаться, надолго, ненадолго, извозчики, звонки, люди, багаж, дни до отъезда.

Или это и есть то настоящее *возмездие*, которое пришло и которое должно принять?



Ну что ж, записать черным по белому историю, вечно таимую внутри.

Ответ на мои никогда не прекращавшиеся преступления были: сначала А. Белый, которого я, *вероятно*, ненавижу. Потом — гг. Чулков и какая-то уж совсем мелочь (Ауслендер), от которых меня как раз теперь тошнит. Потом — «хулиган из Тьмутаракани» — актрешка — главное. Теперь — не знаю кто...

28 октября 1912. Петербург

...Навещу милую тихонько, она спит. Моя маленькая спит, приветливо бормочет мне во сне...

29 октября 1912. Петербург

...Моя милая утром занималась шубой, днем — у Панченки, вечером — у Мейерхольда, который говорит о «Песне Судьбы» в Александринке (!) и хочет меня видеть. — Все получает и пишет письма, ласкова со мной. За обедом — плакала, говорила о том, что там — неблагоприятно. Он — мальчик, «хороший» (22 года), чистый, «знает ее жизнь», «любит» ее. 7 ноября (ровно 10 лет!)*, вероятно, она поедет в Житомир, теперь пока думаем мы оба, что на время. Будущее будет еще видно...

7 ноября 1912. Петербург

Сегодня моя милая уехала в Житомир...

...Милая сейчас едет, придет завтра вечером. Обещала телеграфировать. Господь с тобой.



* Со дня решительного объяснения Блока и Любы.

Глава XXVI. «Я погибну, если покинешь...»

Веригина. После териокского сезона я должна была служить в провинции, но возвратилась оттуда уже в октябре. Приехав в Петербург, я опять стала часто видеться с Блоком. В этот период у него появилось особое отношение к искусству. Когда я по привычке делилась с поэтом впечатлениями от прочитанного талантливого произведения или игры даровитого музыканта, он неизменно говорил: «Да, но ведь это не имеет мирового значения». Блок считал, что заслуживает внимания только то, что имеет такое значение. Иногда это выводило меня из себя, и однажды я сказала ему: «Я сама прежде всего не имею мирового значения, так вы самое лучшее не разговаривайте со мной». Он рассмеялся и обещал в беседах со мною не оценивать все с такой непомерной строгостью, а потом сейчас же сказал: «Нет, я все-таки должен говорить так, ведь иначе нельзя думать». Помню, что в эти же дни говорили об Андрееве, которого Блок разлюбил уже тогда за новые писания. Александр Александрович отмечал в нем «хаосничество».

В ноябре Любовь Дмитриевна уехала из Петербурга, и мы начали встречаться с Блоком у его матери, А. А. Кублицкой-Пиоттух, которая жила на Офицерской. Там мы продолжали вести и шуточные разговоры, и серьезные. Когда мы с Н. П. Бычковым приезжали к Кублицким без Александра Александровича, мы говорили много о его стихах и о нем самом. Александру Андреевну очень тревожило его увлечение Стриндбергом и в связи с этим возникшая дружба с Пястом, который был «под знаком Стриндберга». Она находила, что Пяст убийственно влияет на состояние духа ее сына своей чрезмерной нервностью и мраком. Вл. Ал. Пяст на многих производил мрачное впечатление, но я лично часто видела его веселым. Он острил по-своему, с юмором. Когда мы с Блоком вели наши шуточные диалоги в его присутствии, он удачно вторил. По словам Александры Андреевны, в Стриндберге Блока поражала и восхищала духовная сила — быть на грани безумия и удержаться, не переступить. И еще она говорила следующее: «У Саши и у меня есть общее со Стриндбергом помешательство. Мы всюду видим знаки, стараемся угадать значение самых обычных явлений. Стриндберг идет по дороге, видит ползущую гусеницу, для него это некий знак... и так во всем...».

У Александры Андреевны мы встречались с другом Блока Евгением Павловичем Ивановым и познакомились с ним настолько близко, что он стал бывать у нас...

Блок. 7 ноября 1912. Петербург

...Все время пронзает мысль о том, где, как она. В ней — моя связь с миром, утверждение несказанности мира. Если есть несказанное, — я согласен на многое, на все. Если нет, прервет-



ся, обманет, забудется, — нет, я «не согласен», «почтительнейше возвращаю билет».

Сегодня вечером — десятая годовщина* *Вечером*: и днем, и вечером — восторг какой-то — «отчаянный», не пишется, мокрый, белый снег ласкает лицо, брожу, рыщу. Наконец, когда заперся после чаю в кабинете и переписывал стихи, — телеграмма: «помню что седьмое пробуду больше недели господь с тобой любя»...

9 ноября 1912. Петербург

...Если бы Люба когда-нибудь в жизни могла мне сопутствовать, делить со мной эту сложную и богатую жизнь, входить в ее интересы. Что она теперь, где, — за тридевять земель. Мучит, разрывает, зря все это. Тот мальчишка ничего еще не понимает, если даже способен что-нибудь понимать...

Милая, когда ты приедешь, какая будешь, как жизнь пойдет? Господь с тобой.

Люба – Блоку. 9 ноября 1912. Житомир

...Мое отношение к тебе стало мне здесь совсем ясно: пятнадцать лет не полетели к черту, как ты говорил; конечно, они на всю жизнь, и здесь я чувствую к тебе не только привычку и привязанность, но и возможность снова встретиться сердцем. Я не буду писать тебе длинного письма, не буду тебе объяснять, как все обстоит теперь, — я приеду после половины ноября и смогу тогда сказать тебе много. Я только хотела дать тебе знать о себе и о том, что я думаю о тебе — ты понимаешь как; что ты не чужой мне, как было в Петербурге. Сейчас мне кажется, что я буду жить зиму в Житомире, но я не могу еще сказать, что решила это окончательно. И еще я не могу никак сказать, что с тобой порываю. А как все это устроить, мы поговорим...

Блок. 10 ноября 1912. Петербург

...Ее комнаты пусты — каждый вечер захожу туда. Холодно, но остался запах...

12 ноября 1912. Петербург

...Ночь и день необычайны. Всю ночь кошмары, в которых она — главное. Утро, полное сложных идей, вдруг — ее письмо. Мой ответ. Я посылаю его заказным в почтамте, потом ставлю свечу Корсунской Божией матери в Исаакиевском соборе, где все такая же тьма, как тогда. «Стриндберговские» препятствия на пути — ясные, очевидные. Все преодолены. После собора стало легче...

Блок – Любе. 12 ноября 1912. Петербург

Сейчас пришло твое письмо. Сегодня ночью я видел тебя во сне. Я думаю о тебе все время. Ненужно и невозможно писать

* Решительного объяснения с Любой.



тебе длинно, что я думаю. В кратких словах: я убеждаюсь с каждым днем и моей душой и моим мозгом, которые к старости крепнут и работают все гармоничнее, увереннее и действеннее, что ты погружена в непробудный сон, в котором неуклонно совершаются свои события: на Кавказе ты ставила на карту только тело, теперь же (я уверен, почти нет сомнения) ты ставишь на карту и тело, и душу, т. е. гармонию. Каждый день я жду момента, когда эта гармония, когда-то созданная великими и высокими усилиями, но не укрепленная и подтачиваемая и нами самими и чужими, врагами, — в течение десяти лет, — разрушится. То, что ты совершаешь, есть заключительный момент сна, который ведет к катастрофе, или — к разрушению первоначальной и единственной гармонии, смысла жизни, найденного когда-то, но еще не оправданного, не заключенного в форму.

Переводя на свой язык, ты можешь назвать эту катастрофу — новым пробуждением, установлением новой гармонии (для себя и для третьего лица). Я в эту новую гармонию не верю, я ее *проклинаю* заранее не только лично, но и объективно. Она — низшего порядка, чем та, которая была достигнута когда-то, и в том, что это так, я клянусь всем, что мне было дорого и есть дорого.

Если ты сомневаешься в этом, то я — не сомневаюсь. Если ты веришь в установление новой гармонии для себя, то я готов к устранению себя с твоего пути, готов гораздо определеннее, чем 7 ноября 1902 года. Поверь мне, что это не угроза и не злоба, а ясный *религиозный* вывод, решительный отказ от всякого компромисса.

Твое письмо лишь немногим отчетливее, чем прежние письма. Надо быть отчетливей, потому что каждый новый день теперь — есть *действие*, близящееся к тому или другому окончанию.

Прошу тебя оставить домашний язык в обращении ко мне. Просыпайся, иначе — за тебя проснется другое. Благослови тебя Бог, помоги он тебе быть не женщиной-разрушительницей, а — создательницей...

Блок. 18 ноября 1912. Петербург

...Вечером телеграмма из Вильны: «дома завтра девять утра любя». Едет милая теперь. Волнуюсь. В ее комнатах сегодня топили, теперь — слабый запах лилий...

20 ноября 1912. Петербург

Милая моя вчера утром в 9 часов, когда еще темно, приехала. Несколько разговоров в течение дня. Несравненная...

1 декабря 1912. Петербург

...Весь день — недомогание с моей милой, она не слушает, не слышит, не может и не хочет помочь, думается, кажется, не обо мне, не о моем, не о Нашем...



2 декабря 1912. Петербург

...Она опять получила письмо, была расстроена. Господин Кузьмин пьет без нее. После длинного разговора — ясно ей: ей нужно уехать в Житомир без срока, «последняя влюбленность», чтобы я отпустил по-хорошему. После общего разговора я выспросил частности. В конце этой недели она, вероятно, поедет, милая...

14 декабря 1912. Петербург

...Сегодня с утра милая укладывается. Зашла к маме, посидела, но не застала ее дома. Без четверти в пять часов милая уехала на Варшавский вокзал, заранее, из-за билета. На лестнице сказала мне: «Я приеду скоро»...

Милая моя, ты едешь теперь. Господь с тобой, возвращайся ко мне...

28 декабря 1912. Петербург

...Вечером телеграмма от милой: «выезжаю двадцать девятого приеду тридцать первого утром господь с тобой».

Господь с тобой, милая, жду тебя...

31 декабря 1912. Петербург

...У мамы — елка, шампанское, кушанье! Было уютно и тихо. Сюрпризы в ящиках с гаданьем — мы с милой получили одно и то же — смеяться. Тетины подарки: Любе — кипсэк, мне — Баратынский. В яйце, кроме того, у милой — часы, а у меня — мешок для денег. Пришли поздно домой тихой улицей.

Маме было полегче немного, Люба была в белом платье, пила шампанское и ликер, шутила с Топонькой.

Дай Бог светлого на Новый год...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

31 декабря 1912. Петербург

...Родная Маня, спасибо за совет не бояться. Я понимаю, что это во всех случаях всегда вредно и дурно для всех чего бы то ни было бояться. Я буду вообще стараться преодолеть темное чувство к Любе. Но не за себя я боюсь этого странного существа. Мне что!.. Тяжко иногда, что она так враждебна ко мне. Но бояться мне не стоит, обстрелена, избита я со всех сторон.

Ее враждебность ко мне не ради меня меня гнетет. Мне кажется, что со мною именно она могла бы сговориться. И ей бы стало легче. И Саше с нею. Он вчера бледный и печальный пришел ко мне вечером.

Вы, зная меня, поймете, что и не страдания я боюсь: ни для него, ни для себя не боюсь страдания. Но рядом с ним живет живое, сильное, как бывают звери, существо, которое молчит, кроется, тaitся. И если б Саша захотел и понял, он бы может быть мог сделать из этого богатого, хоть и темного материала, человека...



Блок. 9 января 1913. Петербург

...Ужасный разговор с Любой, я грубо браню ее за сон, за то, что не живет, не видит, она отругивается. Кончилось – гармоничнее...

Белый – Блоку. 10 января 1913. Берлин

Дорогой, глубоколюбимый Саша!

Поздравляю Тебя с Новым Годом, желаю бодрости, света и сил: Ася просит Тебя приветствовать...

Пока... мы — или выручены, или летим с треском в пучину внешней безвыходности. Но авось: Бог не выдаст, свинья не съест. И еще как-то верю в Провидение: Провидению угодно было не раз бросать меня в тяжелое положение, и всегда в последнюю минуту — что-то случалось. Бог видит, что нам сейчас нельзя покинуть Доктора*, что это было просто риском сойти с ума. И верю: Провидение в виде «Сирина»** выручит нас за этот год...

Милый друг: хочется Тебе сказать, как под внешними сложностями, «прямя» с людьми, под естественной беспричинной тревогой, являющейся всегда в начале оккультной работы, под тысячами новых, то болезненных, то бодрых, но небывалых прежде ощущений — слышим мы с Асей: крепкий прилив физических, моральных, даже... умственных сил. Знаешь: ведь мы уже ряд месяцев в положении, аналогичном линьке, мы линяем, шерсть старого клоками слезает с нас; и часто бываешь в положении, будто с Тебя содрали кожу (хочется кричать, как кричат от зубной боли); но зубная боль никого не привела к самоубийству (я помню, что во время сильнейшей зубной боли писал стихи); и даже чувствовал из-под боли приливы смеха, игривости; крича от боли, сам понимал комичность своего положения с подвязанной щекой.

И вот теперь — мы точно в таком положении: измученные, изнеможенные, с тысячами ощущений — и все же бодрые от сознания, что где-то в центре, в глубине растет непоколебимая твердая чего-то светлого, крепкого — того, что на периферии вызывает линьку, линьку старой душевности под напором изнутри наружу вламывающихся в душу духовных сил: старая душа — помесь чего-то духовного, но пропыленного истекшим десятилетием (прямя, литературой, мальчишеством, умственным блудом, смещением перспектив и неумением отстоять свое под гипнозом в душу лезущей улыцы) — эта-то старая душа, пропыленная калоша, с болью отпадает кусками; и как после линьки пушные звери щеголяют лоснящейся шерстью, так — верю — через год, полтора вернемся в Россию мы для работы: с запасом сил; ибо только вопрос в силах и выдержке...

Да, милый друг: знаешь ли, что эти 5 месяцев (с Мюнхена) мы с Асей переживаем сквозь все старое, вечно-знакомое, милое и груст-

* Рудольфа Штейнера.

** Издательство.

ное: переживаем сознательней и полнее — все то же: эпоху «*Прекрасной Дамы*» и «2-ой *Симфонии*», в 1912-ом году — 1902-ой год. *Но повторяю*: на этот раз переживаю я все это не как одержимый, влюбленный в неизвестное, а как муж...

Веришь ли, что — да? Верь, милый, верь: когда смогу твердо Тебе сказать, когда настанет пора мне близким говорить, а эта пора — придет, то — хочешь Ты или не хочешь: я приду к Тебе, обниму и постараюсь в Тебя вложить всю силу моей новой радости и на этот раз знания: *Свет — есть, Он и во тьме светит; тьма не обьяла Его...*

Знаешь ли, дорогой, эти пять месяцев я Тебе не писал, ибо все эти 5 месяцев ходили мы с Асей *потрясенные*: *потрясение* — вот точное название того, что с нами было и есть. Это *потрясение* в древних мистериях совершалось искусственно. Это *потрясение* было результатом Крещения Иоанна Крестителя. Это *потрясение* есть сотрясение сквозь физический организм *эфирного и астральных тел*: вся обстановка жизни у Доктора располагает к тому, что если Ты серьезно желаешь, как ученик, сесть у ног Учителя и *слушать*, то незаметно, медленно, почти механично *сотрясение* атмосферы невидимой вокруг Тебя потрясает до глубины глубин Тебя — и это независимо от Твоего темперамента, скепсиса или веры, — это просто от количества и качества сотрясений: хочешь не хочешь — Ты *потрясен*: и как только Ты потрясаешься, все обычное, дневное, будничное начинает менять свои контуры; все вокруг превращается...

Дорогой друг: при всей разности наших темпераментов, у нас нечто общее, что отличает нас, символистов, от Гумилевых: наше творчество было не эстетическим скептицизмом... некогда мы видели *зори*, зори были чем-то столь важным, что у нас и не возникало слов, искусство *это* или не искусство; прежде всего «*это*», а потом уже ярлычки. И вот поверь мне: я теперь знаю, что *это* было не только искусство; многое в нашем Творчестве было не отковки форм, а от *медитации*, т. е. от бессознательных, часто оккультных движений чего-то в своей душе; мы были в положении любителей, случайно забредших в паровоз и в неведении повернувших рычаг неизвестной машины: вдруг машина взревела, и мы стремительно понеслись в роковое, неизвестно куда, неизвестно зачем; вместо три — столб дыма в глаза; вместо духовного тепла — паровой котел паровоза. В итоге: столкновение поездов, стоны раненых...

Вместо пути в Академию, вместо классицизма и культа красоты: «Снежная маска», «Пепел»: распыление мира в метели.

И вот когда на смену нам появились здоровые, юные...

Мы — калеки, потерпевшие катастрофу с зарей — вдруг дружно сказали: «Нет: мы не приемлем этого». Оба мы одинаково возлюбили народную душу (знаю я теперь, отчего); и оба встретились вновь, *«после долгой разлуки»*, как символисты... *Это* мы называем



символизмом, а когда пытаемся оформлять, то сходимся оба, что в *искусстве* есть еще *нечто*... Дело не в слове, не в оформлении — так в чем же? В служении родине? Да, но надо уметь ей служить. Нет сил *сызнава* над собою работать, нет сил *сызнава* вернуться к юности...

И вот я знаю теперь: то, что выводит из состояния гипнотического уныния, то, что нужно таким, как мы, это — *потрясение, потрясение, потрясение*, называемое по-иному *очищением*. *Очищение* вовсе не есть намерение, мысль, самобичевание, самоуничтожение. *Очищение* есть нечто бездонно конкретное; и Такие, как мы, не могли бы иначе очиститься, как очищением, проникающим тела наши реально. Хочешь, я Тебе назову то, что привело нас по-разному сначала к *зоре*, а потом к катастрофам. *Это*, вызвавшее и нашу внешне-литературную деятельность (Ты писал стихи, я — «*Симфонии*»), было *не обычным* творчеством, а творчеством *медитативным*... мы *бессознательно медитировали* (заклинали, ворожили).

А свойство *медитаций* таково, что если неверно медитируешь, то накликаешь стихийные силы на себя, делаешь игрушкой чар и сил, которые уже потом Тебя гонят, а Ты не знаешь ни причины появления *злого рока*, ни средств остановить его *приток* (положение туриста, случайно повернувшего паровозный кран и летящего вдоль рельс к неизбежной катастрофе без возможности остановить паровоз); это медитативное свойство наших душ, отражаясь как *магия* в иных чертах нашего творчества, и *как злой рок, гонение* преломляясь в нас, — подлинная и единственная причина всего непостижно-страшного и злого...

Теперь-то я знаю реально, что такое игра в сказки для нас, т. е. что такое игривое отношение с Телом Христовым (землею), к нам взывающей русской народной душой (это к ней вопил Гоголь: «Что Ты смотришь на меня», и на этот вопль отвечает нам Штейнер: «Ваша народная душа ждет от Вас, чтобы Вы (русские) поняли, расслышали ее слова»).

Полусознательными медитациями (ворожбою) мы бессознательно кощунствовали, лишь кокетничая с Великою Страдалицею Землей Русской...

Средство выправить кривую линию наших прежде времени созревших в душе и поэтому *полуистинных* медитаций — прийти к подлинной медитации, понять глубоко-окультурный, одновременно и опасный, и глубоко-благостный, смысл ее. Но даже и прийти к пониманию необходимости для меня серьезно оккультно работать (не только во имя свое, но и во имя нас, близких, России), медитативно очиститься — даже прийти к этому нельзя, ибо 1) у меня не было даже веры в серьезность этого, 2) не было веры, что в любой час дня, времени можно сказать своему пути: «Сызнава, еще раз!» Самая возможность этого не достигается согласием или несогласием с той или иной доктриной, теоретической верой

или неверием в того или иного человека, в то или иное знание. Самая возможность решения работать возникает как молния, как молниеносный, реальнейший факт.

С самого нашего путешествия в Африку с нами (мною и Асей) бывали зарницы будущей молнии; видя зарницы, мы даже не предчувствовали Молнии. Все, что я Тебе писал о Брюсселе, было вдруг градом зарниц; встреча со Штейнером — первой *молнией* и первым громом; после этого был период двухмесячной тишины (между Брюсселем и Мюнхеном); мы продолжали жить в Брюсселе, или у д'Альгеймов*. Много спорили с д'Альгеймами, говорили, отбивались от нападений на Доктора. Все это были «умные» разговоры и бесконечные «споры». Лишь по обязанности как-то поехали в Мюнхен мы, — и вот: ряд разговоров с Доктором, *мистерии*, курс — все это было интересно, умно, глубоко, гениально, шумительно — далее: но не умным, гениальным увлекались мы, да и не увлекались, а констатировали: что сначала чуть-чуть, потом больше невидимо сотрясало атмосферу вокруг, потом стало сотрясать наши эфирные тела (данные нам медитации, которым механически мы предались, создавали удобные условия для эфирных колебаний) — и через это сперва физическое, потом эфирное *сотрясение стал* сотрясаться мозг, мысль, линии мыслей, а за ними сотрясались чувства и даже дрогнула воля; и вот: цепь постепенно усиливавшихся сотрясений обернулась вдруг в громадное *душевное потрясение*. То, к чему приступили мы, как к чему-то формальному, оказалось в итоге реальным. Уезжая из Базеля, мы были уже *потрясенными*. *Потрясенные* мы вот уже 5 месяцев скоро. И да: теперь я таю многое, многое, что не откроется никому из мудрецов, и что открываемо при случае и малому человеку, то — что поверхностно звучит так бледно, сухо, неталантливо: *окультурная работа...*

Все интимные лекции Доктора изъяты из публичного распространения, ибо они показались бы не тем, что они реально суть: читая лекции, Доктор словами, знаками, голосом, даже аллитерациями и расположением слов не *только читает*, но и как бы работает над эфирными телами слушателей, половина которых его реальные ученики, с утонченными от медитаций телами; лекции Доктора не лекции только. И когда я говорю, что ухожу с лекции потрясенный, то прими это реальнейшим образом: я потрясен, потому что в этих лекциях сообщается то, что еще *никогда после Христа* не сообщалось (включая сюда величайших мистиков); я потрясен, потому что жест, интонация и *невидимое* вокруг Доктора открывает мне за явным смыслом еще ряд убегающих смыслов; я *потрясен и еще как-то*: ну так, как уходили от Иоанна получившие крещение. Прими во внимание, что каждое утро и каждый вечер мы упорно, *медитативно* работаем сами, что, кроме того, готовим Доктору письменные отчеты о *виденном*, *понятом*, пишем схемы, читаем циклы; что атмосфера

* Французский журналист, романист, музыкальный деятель и его жена.



странничества (*wandern*), вменяемая Доктором, как полезный *entourage работы*, всегда с нами, что каждое свидание *личное* с ним есть событие, что каждая лекция *потрясает*, а этих лекций слышали мы с июля числом 45, то: Ты поймешь, что состояние *упорной работы, непрерывной потрясенности* создает атмосферу, без которой пока мы не смогли бы *работать*. Результаты же этой работы — огромная волна бодрости и реальных *увидений* в глубине души.

И вот единственный ужас наш, это тот, что мы могли бы быть насильно оторваны от Доктора отсутствием денег (но теперь есть надежда на «*Сирина*»).

Прости за всю *галиматью*. Но верь — *галиматья* эта реальное нечто...

Блок. 20 января 1913. Петербург

О Боре и Штейнере. Все, что узнаю о Штейнере, все хуже. Poleмика с наукой, до которой никогда не снисходил Ницше (который только приближал науку, когда она была нужна, и отгалкивал, когда она лезла не туда, куда надо).

В Боре в высшей степени усилилось самое плохое (вроде: «я не знаю, кто я»... «я, я, я... а там упала береза»). Этому содействует Ася. Матерьяльное положение Бори («*Мусает*», М. К. Морозова и «*Путь*», провал с именем). Неуменье и нежеланье уметь жить...

21 января 1913. Петербург

Днем у мамы. Мягкий снег. Перед ночью — непоправимое молчание между нами, из которого упало слово, что она опять уедет. Да, предстоит еще ее отъезд, а летом хочет играть где-то... Верно, придется одному быть, 10 лет свадьбы будет в августе.

22 января 1913. Петербург

...Милая сказала мне к вечеру: «Если ты меня покинешь, я погибну там (с этим человеком, в этой среде). Если откажешься от меня, жизнь моя будет разбитая. Фаза моей любви к тебе — *требовательная*. Помоги мне и этому человеку».

Все это было ласково, как сегодняшшний снежно-пуховый день и вечер...

29 января 1913. Петербург

...С милой ссорились (из-за актерства и Мейерхольда) со вчерашнего вечера. В вечеру помирились. Она в постельке, потягивается. Опять уедет скоро, может быть, на той неделе...

31 января 1913. Петербург

...Люба сегодня в кружке, который собрался у Веригиной и которым она, оказывается, вовсе не очень интересуется. Мы много спорим, иногда ссоримся, но милая как-то нежнее со мной...



Веригина. Перед войной 14-го года в ряды людей искусства вторглась какая-то почти неуловимая тривиальность, и если она в какой-то мере коснулась даже Сологуба, то нечего удивляться, что целый ряд талантливых людей отдал ей дань... Рецензенты и всякие режиссеры толковали вкривь и вкось о кризисе театра. В этой области процветал беззастенчивый дилетантизм...

Как ледяное изваяние, к которому ничто пошлое не могло пристать, стоял Блок, один, среди пестрого общества художников, литераторов и поэтов. Он неизменно оставался «самим собой». Малейшие крупницы пошлости болезненно раздражали его. Вполне понятно, что то же самое испытывали и те, кто часто общался с Блоком. Он был для них маяком, предостерегающим, освещающим тривиальность и мелкое. У нас росло недовольство окружающим, и в конце концов явилось желание как-то протестовать, хотя бы в своем небольшом кружке. Всего чаще мы бывали троим: Любовь Дмитриевна, Н. П. Бычков и я. Все мечты и проекты рождались у нас на Петербургской стороне, затем мы сообщали друзьям — Мейерхольду, Гнесину, Бонди и другим, если это было в их отсутств. Всякие решения, разумеется, доводились до сведения Александра Александровича — Любой в первую очередь. Когда у нас зародилась мысль устроить кружок, мы решили притянуть Александру Андреевну*. Как выяснилось из разговоров, эта потребность ощущалась и ею самою в такой же почти мере, как у нас. Конкретно мы заговорили об этом в январе 1913 года. Мать Блока откликнулась на наш призыв, очень заинтересовалась и назначила собрание у себя. Мы сообщили всем, чье присутствие считали необходимым. На первом собрании на Офицерской, кроме хозяев — Александры Андреевны и Франца Феликсовича Кублицкого-Ппоттух, были следующие лица: Ю. М. и С. М. Бонди, Е. П. Иванов, В. А. Пяст, В. П. Соловьев, Л. Д. Блок, Н. П. Бычков и я. Мне вспоминается этот вечер, как нечто чудесное, яркое. Все вопросы обсуждались с большим подъемом. Решили устроить нечто вроде клуба, где предполагали читать доклады и философского содержания, и касающиеся вопросов искусства и общественности. Мы поставили себе задачей борьбу с духом пустоты, который всегда был ненавистен Блоку. Высшая похвала у него выражалась словами: «Духа пустоты нет». Так сказал он, между прочим, о нашем Териокском театре. После первого собрания, на котором Александр Александрович не присутствовал, он мне сказал: «Мама говорила мне... очень хвалила». Через несколько дней собрание кружка состоялось опять у Александры Андреевны. На этот раз ясно обозначилось стремление большинства в сторону театра. Первые мы с Любой выразили, сначала довольно робко, желание организовать, наряду с докладами, драматическую студию и поднести ее Мейерхольду. Это предложение поддержало большинство. Через неделю собрались у нас с Николаем Павловичем. Обсуждался вопрос, делать ли драматическую студию или ограничиться докладами и диспутами по разным вопросам под руководством Блока. Хотя

* Мать Блока.



большинство было за студию, все-таки к окончательному решению не пришли. Еще через неделю разговоры о кружке возобновились опять у Александры Андреевны; на этот раз присутствовал Блок. Настроение было особенно приподнятое.

Все мы находились под впечатлением «Розы и Креста» — новой пьесы Блока, прочитанной нам автором за три дня до этого собрания у себя... На Мейерхольда, как на всех присутствующих, пьеса произвела сильное впечатление. Ему очень хотелось ее поставить, и он предложил Блоку провести «Розу и Крест» в Александрийский театр, однако поэт не хотел давать свою пьесу никому, кроме Художественного театра, который, как известно, взял ее и не поставил. И на меня пьеса произвела громадное впечатление. Океан, туман Бретани, Седой рыцарь через незабываемый звук блоковского голоса предстали передо мной по-особенному реальные, и не хотелось их видеть грубо воспроизведенными на сцене. Мне казалось, что там все будет так, как не надо, и первая мысль, которая пришла мне в голову, была: «Только бы он не вздумал ставить эту пьесу». Я высказала свое опасение потом Блоку. Многие просили у него «Розу и Крест», и всякий раз, когда он говорил об этом мне, был с моей стороны тревожный вопрос, не дал ли он согласия, но Блок неизменно отвечал: «Нет, Валентина Петровна, не дал и не дам». Втайне он, очевидно, все-таки мечтал о Художественном театре...

Блок. 10 февраля 1913. Петербург

...Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символов больше — один, отвечаю за себя, *один* — и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего возраста», обремененных потомством и акмеизмом...

11 февраля 1913. Петербург

...*Женя*. Я просто не понимаю его *грамматики*. Его фразы никак не связаны с предшествующими им фразами. Мама говорит о мозговом недостатке. Может быть. Утешительно одно: Женя ничего не завивает вокруг себя, все его отталкивают, он чист и подлинен, и то, чего он не умеет сказать, следовательно, подлинно.

А. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах — все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше «Ты» (с большой буквы)...

Люба – Блоку. 17 февраля 1913. Житомир

Все утро о тебе вспоминала и скучала о тебе очень. Я тебя люблю, Лала, я хочу, чтобы судьба перестала играть мной скорее, хочу



быть с тобой и не расставаться... Я еще не привыкла тебе писать и пишу мало, буду больше...

Блок – Любе. 20 февраля 1913. Петербург

...Не люблю я актеров, милая, постоянно мне больно, что ты хочешь играть. Тут *стыдное* что-то. Спасает *только гений*, нет гения — стыдно, скучно, не нужно. Гениальный театр — искусство, не гениальный — неблагодарное ремесло. К Станиславскому поедем. Пьеса с тех пор, как ты была, так еще никому и не читана. Мама почти все время больна, у нее часто жар...

Блок. 23 февраля 1913. Петербург

...Вчера и третьего дня — дни о Терещенке*.

Третьего дня вечером я позвонил к нему — и вовремя. Вчера... вечером пошел к нему... Сидя под Врубелевским демоном, говорили с ним и с сестрами о тысяче вещей. Я принес рукопись первых трех глав «Петербурга», пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда — повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы); отвлечение к тому, что он видит ужасные гадости; *мое* произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); не нравится твое — перелистал «Розу и Крест» — суконный язык.— И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами — вдруг притаится иное, все становится *иным*.

Какова будет участь романа в «Сирине» — беспокоит меня...

Блок – Любе. 25 февраля 1913. Петербург

...Теперь здесь тоже весна, часто солнце и тает, мне бывает хорошо. Думаю о поэме. Мы все сообща все время делаем дела в «Сирине», многое налаживается. Я хожу иногда за город. Получаю много писем.

О тебе думаю сквозь все с последней нежностью, все меньше хочу для тебя театра (вижу, думаю каждый день, как это теперь трудно и еще долго будет трудно — театральное дело), все больше хочу, чтобы ты была со мной. По-прежнему мы оба не знаем, что ты будешь делать, но все больше я знаю, что я — с тобой. Тебе, я знаю, теперь не во всем хороно, также, как и здесь,— не во всем. Но везде бывает в чем-нибудь нехорошо, что же делать; «жизнь проходит, как пехота», но в шаг ее врывается мазурка... и все этапы жизни нам с тобой суждено пройти вместе, чувствовать все вместе.

Мне много говорят и пишут обо мне, так что эти дни я стал сам себе нравиться. Это можно себе позволить ненадолго...

* Меценат, владделец издательства «Сирин», впоследствии — министр финансов Временного правительства.



Люба Блоку. 1 марта 1913. Житомир

... Все так же думаю о тебе хорошо... очень хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты гулять ходил на солнце, чтобы работало тебе так, как ты любишь, и обо мне чтобы ты думал, как теперь думал...

Блок. 13 марта 1913. Петербург

... Если мы, действительно, вместе с тобой уедем куда-нибудь летом тихо отдыхать, это лето перестает мне представляться бессмысленным и пустым. Ехать куда-то за границу одному — такая ненужность, одинокое погибанье. Потом хорошо бы нам хоть ненадолго побывать в Шахматове — вместе...

17 марта 1913. Петербург

Моя милая, сейчас я получил твое письмо. Как-то мне очень грустно эти дни, было тревожно, теперь грустно. Ничего я особенного не делаю и не могу делать.

Пиши мне почаще, хоть коротко, если долго еще не приедешь. Скучаю по тебе.

Люба. 20 марта 1913. Житомир

Лалака мой дорогой, получила твое письмо — ты пишешь, что грустно тебе. Милый, милый Лала, как я хочу, чтобы тебе не было грустно из-за меня, чтобы ты думал о моем отсутствии легко, — ведь ты же знаешь, что я вернусь и лето мы проведем вместе, товарищами. Я думаю о тебе всегда; сегодня утром читала «Ночные часы» и, конечно, проливала обильные слезы. Лала мой, но сейчас я еще не приеду...

Блок. 22 марта 1913. Петербург

...Милая, мне стало жить совсем горько. Жить тяжело, все враги кругом. Самый жестокий вид гонения — равнодушие. Я очень устал и изнервничался. Твоя жизнь там меня тревожит и заботит. Не знаю, почему ты там, на меня оттуда веет забвением всего и смертью. Приехала бы; весна, я тебя бы покатал и сладкого тебе купил. Ты даже почти не пишешь...

Люба. 27 марта 1913. Житомир

...Милый, я не хочу еще уезжать отсюда. Я думаю, что в сущности ты понимаешь, как и почему я здесь, и пишешь о «забвении всего и смерти» только под влиянием того, что тебе очень скверно в ту минуту. Ты знаешь тоже, что если бы я почувствовала, что я *должна* быть у тебя, я могла бы разбить все свое и уехать к тебе, потому что я люблю тебя и могу себя забыть для тебя. Но и ты меня любишь и отпустил меня сюда, и я так тебе за это «благодарна» (глупое слово, но я его чувствую всем существом). Ты не



захотел отнять у меня счастье, которое судьба вдруг мне послала, — зачем, почему, что это? разве я знаю. Я только знаю, что это — не смерть, и не забвение, и совсем, совсем не измена тебе, потому что это хорошее, потому что связь с тобой я тут знаю, куда лучше, чем все последние годы рядом с тобой. Милый, я очень неуклюже говорю, но посмотри на эти все слова, как на условные знаки, которыми я стараюсь тебе сказать то, что, опять-таки, думается мне, ты сам знаешь...

29 марта 1913. Житомир

...Я была бы рада тебя видеть, *очень рада*, мой Лала, но на другой же день затосковала бы о том, что бросила бы, м. б., навсегда, и жизнь наша была бы совсем не такая, как может быть у нас, а с моими постоянными «надутыми рожками» и нервными гримасами, которые тебя совершенно выбивают из колеи. Помни, Лала, что лето я хочу провести с тобой, и так и будет, и после лета вернемся вместе в Петербург. Господь с тобой, мой родной, прости за то, что мучаю тебя, прости, потому что знаешь, что я тебя люблю и что все, что во мне есть и было хорошего, все я отдала тебе...

Блок. 29 апреля 1913. Петербург

...Неужели ты не приедешь *прежде* конца мая и совсем не поживешь со мной? Во-первых, мне совсем постыла эта пустая квартира. Во-вторых, надо же хоть сообразить все, опомниться. Я тут без тебя прожил долгую и трудную жизнь, от которой ты — за тридцать земель (опять волнуюсь и мучусь; эти вздорные слова должны идти тысячу верст, через две недели я получу ответ — опять не о том, что меня волнует, опять — из какой-то *летаргии*; с ума можно сойти; мне вовсе не сладко)...

Куда ехать и когда, я не знаю. И не хочу знать (после этого ты опять будешь ждать «ласкового письма», какое пишется, когда в человеке еще, и еще, и еще раз все перевернулось вверх дном, и застыло в нежности, а душа... непоправимо устает и стареет от стужи, от неизвестности, от *сна* близких). «Просто нервь»... — нет, не просто...

Блок. 11 мая 1913. Петербург

...Днем позвонил приехавший Боря (Андрей Белый), я позвал их с женой сегодня вечером, а завтра — обедать...

Люба. 16 мая 1913. Житомир

...Конечно, нелепо, но отнять у себя еще два дня — я не могу. И вот сквозь все мое счастье здесь, сквозь отчаяние отъезда и долгой разлуки, которая мне предстоит, я сохранила для тебя такую нежность, так уверена была, что сумею быть тебе хорошим и полезным, ободрительным «товарищем» этим летом... А теперь боюсь,



что после всех этих «инцидентов», отсрочек и т. п.— ты и рад мне не будешь, одно расстройство — А если говорить о деле, так вот: я свой приезд назначила на 26-е, если тебе это удобно, так я приеду... Должна тебе сказать, что мне в Петербурге делать совершенно нечего, если ты будешь очень занят... может быть, ты и отложишь мой приезд. Но это, как *ты* хочешь...

Блок – Любе. 20 мая 1913. Петербург

...Ну, не приезжай теперь. Приезжай, когда захочешь. Я только прошу тебя писать мне не раз в восемь дней, а чаще. Если нечего писать, пиши только: «Я здорова» или что-нибудь в этом роде; или — телеграфируй также коротко, если забудешь написать письмо.

Я буду тебе сообщать, где я.

Я совсем был готов ехать за границу с тобой и потому волновался; знаю, что билетов достать все меньше вероятности, что в конце мая их придется ждать долго, и т. д. и т. д.

Последние недели стал уже понимать, что не стоит ехать за границу. Доктор позволяет сделать это во второй половине лета. Если ты согласишься тогда, я бы, может быть, поехал.

Пока я до конца мая буду лечиться; что потом, еще не могу решить; может быть, уеду куда-нибудь.

Настоящего дела, как было в прошлом году, у меня нет, все дела мелкие. Потому я устал и не знаю, что делать с собой...

Люба – Блоку. 23 мая 1913. Житомир

приеду вторник утром билеты за границу можешь взять теперь господь с тобой люба...



Глава XXVII. «Ей имени нет.

Ее плечи бессмертны...»

Бекетова. В мае Блоки стали готовиться к отъезду за границу. 12-го июня 1913 г. они выехали из Петербурга по направлению к Парижу...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

18 июля 1913. Шахматово

...Люба уделяет Саше несколько дней — недель даже — своей жизни, а потом опять возвращается, по-видимому, к своему теперешнему. По-моему, она разлюбила Сашу и вместо того, чтобы прямо это сказать ему, как-то и тут, и там что-то старается. Денег больше у нее нет ни капли. Она истратила все, что у нее было после отца. И поневоле живет с Сашей, потому что больше и не на что пока...

Бекетова. В Шахматово Блок приехал один и прожил с нами до половины сентября. Ему было там очень хорошо. Он много занимался чисткой сада, причем нередко пугал нас с матерью смелостью своего размаха. Рубить деревья было всегда одним из его любимых занятий, причем он обыкновенно увлекался, хватал через край и рубил кусты и деревья без всякой видимой надобности. Надо признаться, однако, что многое из того, что он делал, меняя какой-нибудь привычный вид или нарушая красивую группу, оказывалось впоследствии очень полезным для сада или дома. От его рубки в доме становилось светлее и суше. На этот раз он вырубил целый участок старой сирени, что, пожалуй, было и лишнее.

В этот месяц, проведенный в Шахматове в полном уединении, мы развлекались шарадами. Ал. Ал. любил всякие загадки и каламбуры, а я легко сочиняю подобные шутки. Сначала я успешно загадывала обыкновенные шарады, а потом придумала особый вид шарад в рассказах. Помню, какой эффект произвела загаданная мною за утренним чаем шарада «шпаргалка», для которой я сочинила целый рассказ, вклеив в него все три слога. С этих пор я должна была ежедневно придумывать такие шарады. Блок увлекался ими совсем по-детски: смеялся, радовался. Потом он начал и сам сочинять нечто в том же духе, но всегда очень натянутое по смыслу, громоздкое по форме и уморительно смешное. Уже к чаю приходил он с таинственным видом и немедленно начинал загадывать шараду, сотрясаясь от хохота и сияя от удовольствия. В конце августа приехала на короткое время Любовь Дмитриевна. Она ахнула при виде срубленной сирени, но зато остальные вырубки, жажется, одобрила. В это время шарады были в полном разгаре. Любовь Дмитриевна много и весело хохотала над измышлениями поэта. При ней сочинил он длиннейшую шараду в духе романа 30-х годов,



которую рассказывал целый день с утра и до вечера, придумывая все новые и новые стильные подробности. Загадываемое слово было: «завсегдатай» – и каламбур, и шарада...

Люба – Блоку. 12 августа 1913. Петербург

...Я приглашена сниматься в кинематографе, и даже не с меня «деньги» берут, а мне дадут — за первый раз 25 (рублей, рублей, а не копеек!)

Блок – Любе. 21 августа 1913. Шахматово

...Мне кажется очень странным то, что ты постоянно едешь в какие-то Бердичевы (точно — глупый сон). Иногда бывает от этого и грустно, и тяжело. Мне и кинематограф не особенно нравится, надеюсь только, что если эти... предложат тебе представить что-нибудь непристойное, ты откажешься.

Не думай, что я ворчу или брюзжу, я просто часто думаю об этом, и постоянно думаю о тебе; часто мне кажется диким, почему ты не здесь и не со мной. Мне здесь жить очень хорошо, тихо, я понемногу собираюсь с мыслями, растерянными в паршивой Франции, но ничего еще не делаю; все очищаю сад от суши и гуляю. Засуха и жарко, дождь только сегодня пошел. Вот бы ты приехала, мы бы уехали вместе...

Сейчас заходил к нам, гуляя, Ваня*, которому я страшно обрадовался, потому что он похож на тебя. Он пообедал; был очень мил и интересен; издает уже четвертую книгу; кажется, что он именно *делает* много... Мама все почти время чувствует себя плохо, бывают припадки, устает. Много хозяйничает.

Я с каждой почтой боюсь, что меня вызовут в Петербург для театрално-литературного комитета...

А может статься, что я все-таки скоро поеду — в конце августа или в начале сентября. Все-таки, на душе не очень спокойно. Да и ты, главное, со своими Бердичевыми и кинематографами; — ребячества. Боюсь я, что тебя так ветер носит.

Если бы ты знала, как здесь тихо и хорошо, ты бы приехала. После заграницы ценишь все подлинное особенно...

Люба. 25 августа 1913. Петербург

...Вчера позвонил Пяст, я подошла, он спросил, не приехал ли ты, сказал, что прочел в газете «День» известие о том, что ты отказался от Литературного комитета при императорских театрах, и огорчился этим...

Сегодня я снималась в кинематографе, и мне было очень интересно и весело, а сейчас вечером приятное, приятное чувство, что «работала»... Я представляла сегодня хорошую деревенскую девушку, обманутую баринком, которого она любит. Ездили снимать

* Брат Любы, И.Д. Менделеев.



в Лигово... Оно совсем хорошее, совсем русские березовые рощи, парк большой, старый и заброшенный барский дом с «архитектурой» и полуразбитыми статуями, мраморными скамьями... и семейством премиленьких, белых — ну хоть и не зайцев, но кроликов, в одной из комнат первого этажа, где я играла. Выехали рано утром, вернулась только около пяти. Играть страшно, но очень увлекательно. К сожалению, день был пасмурный и, может быть, ничего не вышло. Как только я сыграла первую картину, все стало вдруг со мной особенно предупредительно и вежливо — это мне придало много смелости для дальнейшего...

Веригина. Осенью 1913 года наша компания собралась снова. Все были бодры, полны энергии, и некоторым нашим мечтам суждено было осуществиться: мы организовали драматическую студию для Вс. Эм. Мейерхольда. Ввиду того, что, в основном, в нашей студии преподавалась пантомима и музыкальное чтение, что было ново и интересно, студию посещали артисты наряду с начинающей молодежью. В середине зимы мы решили издавать журнал, который должен был освещать работы студии, заявлять о новых исканиях в искусстве. «Журнал Доктора Дапергутто — Любовь к трем апельсинам» стоил совсем дешево его издателем. Все сотрудники писали даром, художник Бонди и затем Головин оформляли его тоже *gratis** редакция помещалась в квартире Мейерхольда. Подписываться на журнал заставляли родственников, которые были вовсе не причастны к театральным делам. Каждый номер выходил в количестве ста экземпляров.

Разумеется, сейчас же был поднят вопрос об участии Блока. Любовь Дмитриевна выразила сомнение в том, что он захочет участвовать в нашем предприятии; по ее словам, он не чувствовал никакого пристрастия к комедии масок, которая как раз прежде всего интересовала издателей. Однако Любовь Дмитриевна ошиблась. Когда Блоку предложили взять на себя редакцию поэтического отдела, он согласился и даже сам давал свои стихи в журнал... На суд Александра Александровича, собственно, поступал весь номер целиком, и Любовь Дмитриевна рассказывала, как он иногда сердился за какие-нибудь промахи, принимал наши дела близко к сердцу. Однажды я ему пожаловалась на то, что подписчики-родственники относятся с пренебрежением к нашему журналу, подписались из благотворительности и ни одной строчки не читают. Блок рассмеялся и сказал: «Не огорчайтесь, обыватели всегда говорят: «Какой же писатель Иван Иванович? Я вчера с ним чай пил». Теперь наш журнал стал редкостью, мне часто случается слышать фразу: «Не знаете ли, где можно достать журнал «Любовь к трем апельсинам?»» Каждый раз у меня является желание ответить: «У издательских теток, если они не сожгли его во время кризиса топлива».

* Бесплатно (*лат.*)



Как я уже говорила, в студии главным образом занимались пантомимой, но, несмотря на это, пришли к решению поставить лирические драмы Блока в Тенишевской аудитории. По желанию В. Э. Мейерхольда, который давно мечтал о «Незнакомке», приступили к работе над этой пьесой и над «Балаганчиком». Поставить спектакль силами одной студии, разумеется, не удалось. Пришлось пригласить на роль Голубого А. А. Голубева, на Звездочета — А. А. Мгеброва и на роль Председателя мистиков в «Балаганчике» — прежнего исполнителя Гишмана. Все эти актеры работали уже раньше с Мейерхольдом, и от их участия спектакль мог только выиграть, однако для «Незнакомки» не хватало главного — самой Незнакомки. Из актрис, посещавших студию, к этой роли никто не подходил ни по внешности, ни по характеру дарования. Мейерхольд решил дать Незнакомку ученице Ильяшенко, способной, хорошенькой киевлянке с мягким южным говором. Было совершенно очевидно, что выбранная исполнительница «причастна не тем раденьям», надо было только удивляться, как не хотели этого видеть. Правда, вначале думали поручить Незнакомку Любови Дмитриевне, но она наотрез отказалась. Во-первых, это выступление было бы слишком ответственным для нее, во-вторых, она считала вообще, что ей неудобно, как жене автора, играть в пьесе главную роль. Любовь Дмитриевна много занималась с Ильяшенко и сделала все, что было возможно, чтобы приобщить ее к творчеству Блока. Вторая Незнакомка — Зноско-Боровская — с внешней стороны была значительнее, но по дикции и в передаче стихов несколько лучше, но также еще мало артистична, кроме того, уступала первой в голосовых данных. Мейерхольд, очевидно, рассчитывал, что общий план постановки спасет «Незнакомку». Его увлекло все в целом, и он допустил эту ошибку.

В конце концов я тоже стала надеяться на то, что общий замысел постановки, чрезвычайно интересный, совершит чудо. Мейерхольд и Юрий Бонди хотели, чтобы виденья, вместо обычного занавеса, заволакивала пелена снега.

Белое полотно, голубой газ с расшитыми на нем звездами, легкий деревянный мост горбом — все это должно было создать впечатлительные легкости. Вместо действия — действительно виденья. У меня явилось опасение, что слуги просцениума, которые должны были действовать в продолжение всего спектакля, убирать предметы, менять занавес, помогать действующим лицам, как раз помешают впечатлению легкости, отяжелят представление. На самом деле вышло не так. Слуги просцениума оказались на высоте положения. Одежды в серое, ритмичные, ловкие, они сами были подобны видениям. Кроме того, их благоговейное отношение к блоковскому спектаклю передавалось залу. То, как они возносили синее звездное небо за мостом, как заволакивали белым, как бы пеленой снега, компанию в кабаке, как закрывали вуалем каждого, входившего на мост, осо-



бенно как становились на колени перед эстрадой с зажженными свечами в руках, изображая рампу, и запечатлевалось главным образом в памяти настоящего зрителя. Слуг просцениума играли студийцы... сам Мейерхольд, скрытый полумаской, Сергей Бонди и другие. Одним из настоящих зрителей блоковского спектакля был покойный Вахтангов, оценивший его как должно. Впоследствии он воспользовался идеей Мейерхольда и ввел слуг просцениума, под странным названием «цани», в «Принцессу Турандот». Вообще, постановка этой пьесы вылилась из «Журнала Доктора Дапертутто».

Однако у вахтанговских «цани» была другая задача — подчеркнутый ритм движения, точно под музыку; внешняя веселость сделала их обыкновенными цирковыми, а слуги просцениума Мейерхольда были совсем иными. Их музыкальность выявлялась не так просто, а главное, они были торжественными, священнодействовали во время представления. Юрий Бонди придумал грим для действующих лиц. Чрезвычайно удачно были сделаны глаза Незнакомки и Голубого. От ресниц, как бы продолжением их, шли синие лучи к бровям и вниз. От этого глаза получались большие и сияющие. Бобрищев-Пушкин насмешливо писал об этом: «У Незнакомки были огромные ресницы во все щеки, нарисованные так, как рисуют дети». На самом деле лучи шли вниз чуть-чуть дальше, чем подводят обычно глаза. Тот же рецензент не уразумел игры длинного плаща Голубого. Один из слуг просцениума благоговейно расстилал край плаща, подчеркивая его значение, а пошлый рецензент писал: «Так как на лестнице было трудно стоять с плащом, то один из прислужников все время ему укладывал плащ, как поудобнее». Рецензент бранил спектакль, в сущности, за плюсы, но в представлении нашем были и некоторые минусы, которых я не хочу замалчивать. Прежде всего — убогое освещение Тенишевской аудитории, его, должно быть, не учли режиссер и художник, задумав игру с тканями, заменяющими кулисы, задник и обычный занавес, изображающий снег и небесный свод. Я убеждена, что если бы было надлежащее освещение, спектакль имел бы больший успех даже у средней буржуазной публики.

Затем, многие, близко стоящие к делу, считали неуместным участие в блоковском спектакле жонглеров-китайчат, которыми Мейерхольд пленился где-то на улице во время их представления и захотел, чтобы они выступили во время антракта. Эта идея его настолько захватила, что с ним ничего нельзя было поделать, он точно помешался на этих несчастных китайчатах. Они жонглировали ножами во время антракта. Это получалось трогательно-нелепо, как-то ни с того, ни с сего. Точно пришел кто-то с улицы и заорал: «*Ножи точить, пять...*» Также казалось мне тогда неправильным, что слуги просцениума разбрасывали среди публики апельсины: казалось, это не гармонировало с содержанием спектакля.



«Балаганчик», о котором Чеботаревская писала, что он «выдержан с большею стойкостью и разыгран совсем хорошо», по-моему, проиграл в новой постановке. Прежде всего большим минусом было то, что Пьеро играл не Мейерхольд, и еще то, что представление было вынесено в публику. На месте уничтоженных первых рядов развертывалось действие с масками.

В театре Коммиссаржевской маленькая сцена «Балаганчика» была отодвинута в глубину, и только те из зрителей, внимание которых особенно устремлялось к актерам, ощущались ими и втягивались в их круг. Чуждое оставалось в зрительном зале. В Тенишевской аудитории актеры оказались во враждебном лагере. По крайней мере, половина зрителей была глуха к поэзии Блока и враждебна режиссеру, актеры же вынуждены были действовать в тесном окружении такой публики, что, несомненно, влияло на их настроение отрицательно. Итак, «Балаганчик» разыгрывался главным образом среди зрителей, на эстраде находился лишь стол мистиков.

Впрочем, последним рядам, которые шли в высоту, зрелище должно было казаться, как в цирке, более собранным. Мейерхольд и Бонди эффектно задумали освещение, но оно, как я уже говорила, не совсем удалось, благодаря слабым лампам аудитории. Люстры завесили цветной бумагой и слюдой, что было очень красиво само по себе, но синий цвет растянутых полотен от этого казался грязноватым. Кроме оформления, изменилось кое-что и в построении ролей, и в ритмах. Например, была переделана мной, по требованию режиссера, роль Черной маски из «вихря плащей», хотя такой, как я играла ее раньше, она нравилась автору и режиссеру, критике и публике, дружественной «Балаганчику». Тогда слова произносились в несколько замедленном темпе, зазывающе, нараспев, а вихреобразные движения шли в своем ритме, разумеется соответствовавшем ритму речи. В этом-то и было то новое, что отмечалось критикой. Во второй постановке режиссер заставил меня говорить в том же вихреобразном ритме, и, вероятно, благодаря этому роль доходила до всякой публики. Так Черная маска звучала проще. Теперь и костюм был другой, обязывающий к другим движениям... В аудитории нам дали мало репетиций. Генеральную репетицию пришлось сделать в Страстную субботу. Как всегда водится, последняя затянулась. Когда время стало близиться к одиннадцати часам ночи, все начали волноваться, некоторые барышни даже тихонько поплакали. Приближался час заутрени, всех ожидали нотации, неприятности от домашних. Однако никто из участвующих не посмел заикнуться о том, что пора кончить репетировать. Мейерхольд работал в этот день с бешеной энергией. Декорации трудно прилаживались, слуги просцениума должны были ловко делать перемены, возились главным образом с этим. Заказанная в Александрийском театре бутафория оказалась ни-



куда не годной. Режиссер и художник решили ее переделать. Им хотелось, чтобы все яства, фрукты имели вид не натуральный, а театральный, чтобы предметы эти «играли». Студийцы, во главе с братьями Бонди, принялись за работу и просидели за ней в Тенишевской аудитории, кажется, три дня...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

29 марта 1914г. Петербург

...Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить.— Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только 2 строки первые:

*«Слава тебе, безысходная боль, —
Умер вчера сероглазый король».*

Вот, можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок.

А Саша опять полюбил Кармен. Он ее так и полюбил во время представления в Музыкальной драме, во время ее воплощения Кармен. Я ее тоже видела. Хороша как певица и актриса. А теперь уже и катанья, и гулянья, и цветы. И целые дни заняты ею. А она опять стихийная. Вчера рассказывал...

Блок. 5 февраля 1914. Петербург

...Люба занимается какой-то веригинской пошлостью — для кинематографа. Мне кажется, она среди малоразвитых и обычных людей сама становится тупее. Ссора...

Бекетова. Сезон 1913-14 года ознаменовался новой встречей и увлечением. Осенью Ал. Ал. собрался в Музыкальную драму, которая помещалась тогда в театре Консерватории. Его привлекала «Кармен». Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которое ему очень понравилось, но особенно сильного впечатления он тогда не вынес. В Музыкальной драме он увидел в роли Кармен известную артистку Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения и соответствием всего ее облика с типом обольстительной и неукротимой испанской цыганки. Этот тип был всегда ему близок. Теперь он нашел его полное воплощение в огненно-страстной игре, обаятельном облике и увлекательном пенье Дельмас...

Александр Александрович много раз слышал «Кармен» в том же пленительном исполнении. В марте произошло его первое знакомство с Л. А. Дельмас в театре Музыкальной драмы. И в жизни артистка не обманула предчувствий поэта. В ней нашел он ту стихийную страстность, которая влекла его со сцены. Образ ее,



неразрывно связанный с обликом Кармен, отразился в цикле стихов, посвященных ей. Да, велика притягательная сила этой женщины. Прекрасны линии ее высокого, гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное, переменичивое лицо, неотразимо влекущее кокетство. И при этом талант, огненный артистический темперамент и голос, так глубоко звучащий на низких нотах. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив — весь он солнечный, легкий, праздничный. От него веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как с той, настоящей из новеллы Мериме, на которую написал Бизе свою неувядаемую оперу. Это увлечение, отливы и приливы которого можно проследить в стихах Блока не только цикла «Кармен», но и цикла «Арфы и скрипки», длилось несколько лет. Отношения между поэтом и Кармен были самые лучшие до конца его дней...

Блок – Дельмас. 14 февраля 1914. Петербург

Я смотрю на Вас в «Кармен» третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, — невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя. Я — не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы очень знаете это, раз Вы так знаете Кармен (никогда ни в чем другом, да и вообще — до этого «сезона», я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши карточки, совершенно непохожие на Вас, как гимназист и больше ничего, все остальное как-то давно уже совершается в «других планах» (дурацкое выражение, к тому же Вы, вероятно, «позитивистка», как все настоящие женщины, и думаете, что я мелю вздор), и Вы (однако продолжаю) об этом знаете тоже «в других планах», по крайней мере когда я на Вас смотрю, Ваше самочувствие на сцене несколько иное, чем когда меня нет (думаю все-таки, что все это понятно художникам разных цехов и без теософии; я — не теософ).

Конечно, все это вздор. Кажется, Ваша Кармен — совершенно особенная, очень таинственная. Ясно, что молитва матери и любовь невесты от гибели не спасут. Но я не умею разделить — моя проклятая влюбленность, от которой ноет сердце, мешает, прощайте.

Блок. 2 марта 1914. Петербург

...«Кармен», — какая-то Давыдова, о которой я почти не слышал. В креслах была она*. Я потерял голову, все во мне сбито с тол-

* Л.А. Дельмас.



ку — барышня, капельдинеры, m-me Ростовцева, пьяный дворник, швейцариха, — все показания различны. Но я потерял голову...

5 марта 1914. Петербург

2 марта. Я страшно тороплюсь в «Кармен». На афише Давыдова, но я тороплюсь, весь день — тревога. Разбрызгиваю слишком много духов.

Беру 8-й ряд. Вхожу, когда уже началось, увертюра пропущена, уже солдаты на сцене, Хозе еще нет. Рядом оказывается (через даму) председатель общества поэтов. Я жду Кармен (Хозе — тот же, Микаэла — та же). Рядом садится паршивый хам — офицер, громко разговаривающий с дамой. Выходит какая-то коротконогая и рабская подражательница Андреевой-Дельмас. Нет Кармен.

Антракт. Я спрашиваю у пожилой барышни (по-видимому, главной) правого прохода, будет ли еще Андреева-Дельмас. — «Нет, она больше не служит. Да она здесь в театре, сейчас со мной говорила».

Я курю и ищу среди лиц. Нет. Я спрашиваю барышню: «Вы мне покажете Андрееву-Дельмас?» Она мило идет, показывает в партер и говорит: «Вот сейчас смотрит сюда, рыженькая, некрасивая».

Я иду ближайшим проходом. Встречаю суровый взгляд недовольных, усталых, заплывших глаз. Прохожу на свое место (далеко). Не садится. Я перехожу назад, в темноте, близко от нее, сажусь. Начинаются танцы, сегидилья.

Я смотрю налево. Чуткость скоро дает себя знать. Она оглядывается все чаще. Я страшно волнуюсь.

Антракт. Я прохожу мимо. Она уходит и стоит с актером около входа за кулисы. Может быть, спрашивает, кто такой, когда я нарочно и неловко прохожу мимо.

Антракт кончается, я сажусь. Ее нет. За занавесом уже голубая ночь (в горах). Она проскальзывает тихо и садится на свое место. Все чаще смотрит в мою сторону. Я вне себя, почти ничего не слушаю. Иногда явственно овал ее лица в темноте обращен ко мне. Перед занавесом, еще в темноте, я прохожу мимо. Она бросает взгляд, быстро отворачивается, когда я прохожу к выходу, — и точно ждала, что я пойду.

В антракте я вижу опять издали, что она стоит с кем-то у входа за кулисы. Сергей Штейн; m-me Ростовцева подходит. Разговор: «..Разве Андреева-Дельмас лучше? Я ее много раз видела. Она замужем за Андреевым: (баритоном). Она прежде пела в оперетке... Миленькая (?)». (Я начинаю путаться.)

Свет гасят, вступление к 4-му акту, я жду. Уже толпа, уже торреадор. Ее нет. Я решаю ждать Хозе. Вот и Хозе, ее нет, на сцене, бездарно подражая ей, томится Давыдова. Я ухожу.

Внизу у вешалок — мой служитель: «Да вот она там всегда раздается, спросите у того». — Спрашиваю в глубине: «Высокая, светлые волосы, — да сейчас ушли» (полячишка).



Выхожу — мокрая метель. Иду по Торговой, боюсь и надеюсь догнать. Дворник огромного углового дома (Екатерининский канал и Мастерская) — пьяный. — «Здесь, с черного хода». — «А другого нет?» — «Нет». — «Да вы уверены?». — «Да». — «Она живет одна, или с мужем?» — «Да, одна». — «Она сейчас вернулась?» — «Да, кажется. Да». — «Так в ворота?» — «Да». Отхожу. — «Что ж, так и уйдете, не зайдете к ней?» — «Нет, мне надо только узнать».

С набережной — швейцариха. — «Нет, кажется, войти в подъезде рядом». Окончательно теряюсь.

Проходит веселая компания.

Возвращаюсь домой, сбитый с пути.

Так как она — женщина, в ней бездны, которые чувствуют меня. У нее сейчас мелькает мысль обо мне (она спит, верно). Слабое утешение. О, как блаженно и глупо — давно не было ничего подобного. Ничего не понимаю. Будет еще что-то, так не кончится.

Милая, она была простужена — сморкалась, чихала и кашляла. Как это было прекрасно, даже это.

Где же и когда я еще ее встречу? Я ленив, труслив и слаб. Но есть же во мне все-таки интересность какая-нибудь — более, чем опереточная, чем вообще актерская.

Что дальше будет?

4 марта.

Дождь. Либретто на Морской, в музыкальном магазине. — «Есть у вас карточки Андреевой-Дельмас?» — «Нет. Она сама только что была у нас, покупала ноты». На секунду теряюсь.

5 марта.

В фотографии императорских театров. — «Все вышли, но она будет на четвертой неделе опять сниматься — в «Кармен» и так. Была — головка в простом платье. Теперь у нее грим хороший. Позвоните, мы вам скажем, когда будут готовы». — Мокрая метель.

6 марта 1914. Петербург

В 4 часа В. Э. Мейерхольд — прекрасный. В первый раз в жизни я понял (он объяснил) суть его. — У Любы — Ильяшенко, «проходит с ней роль Незнакомки». Завтракала.

Блок – Дельмас. 11 марта 1914. Петербург

Прошу Вас, снимитесь, наконец, в роли Кармен и без грима. Все Ваши карточки, во-первых, непохожи, во-вторых — распроданы: их нет не только в больших магазинах, но и в маленьких, где обыкновенно остаются случайные.

Без грима Вам нужно сняться в рабочем репетиционном платье с черным нагрудником. В Кармен — в нескольких поворотах в I акте; первые слова («Когда я полюблю...»); хабанера (несколько движений); когда Кармен бросает цветок; когда Кармен уходит (взгляд на Хозе);



слова: «А мне что-то кажется, что приказа ты не исполнишь...»; начало песни «Там у моста за рекою» (на тачке); несколько поз около Хозе; Кармен, гадающая по руке Цуниги («...жизнью заплатишь ты...», взгляд на Хозе; впрочем, Вы не каждый раз на него взглядываете).

II акт: сегидилья (сидя на стуле и хлопая в такт пляске); слова: «...и эту тайну расскажу... я влюбилась...»; Кармен, слушающая Хозе (его слова: «помнишь, в день первой нашей встречи...»), Кармен, танцующая для Хозе.

III акт: разве бросание карт («Бубны!.. Пики!..») и когда Кармен прогоняет Хозе (не помню точно слов; смысл: «Оставь нас, гордый человек...»). В последнем движении (на скале) есть легкий налет модернизма, от Вас можно ждать большего. — Вообще III акт — наименее: невыгодный свет и платье.

IV акт: ожидание Эскамилльо (у стены аптеки); какая-нибудь поза из разговора с Хозе — в последний раз Кармен во всем великолепии, чтобы чувствовалась путаница кружев, золотистость платья, веер и каблуки; смерть: спиной, кошачье сползание по столбу (не знаю, может ли выйти на фотографии); во всяком случае — сидя у столба (зубы видны и улыбка)... *Ваш поклонник.*

14 марта 1914. Петербург

...Люба только вечером дома.

18 марта 1914. Петербург

... Люба шьет костюмы, репетирует, клеит, суетится все дни.

19 марта 1914. Петербург

...Люба до 6 часов утра в «Бродячей собаке».

20 марта 1914. Петербург

...Любу почти не вижу.

Блок – Дельмас. 22 марта 1914. Петербург

Простите мне мою дерзость и навязчивость. — В этих книгах собраны мои старые стихи, позвольте мне поднести их Вам. Если Вы позволите посвятить Вам эти новые стихи, Вы доставите мне величайшую честь. Мне жаль, что я должен просить Вас принять мое бедное посвящение, но я решаюсь просить Вас об этом только потому, что, как ни бедны мои стихи, я выражаю в них лучшее, что могу выразить.

Я боюсь быть представленным Вам, так как не сумею сказать Вам ничего, что могло бы быть интересным для Вас. Если когда-нибудь в театре мне представится случай поцеловать Вашу руку, я буду счастлив. Но мысль об этом слишком волнует меня.

25 марта 1914. Петербург

...*Стихи ей...– Я отдал стихи через швейцара. В «Парсифале» она не была. Ночью свет за ее шторой...*



26 марта 1914. Петербург

11 марта. В фотографии императорских театров телефонный аппарат испорчен. Пишу ей письмо с просьбой сняться. Написав, опять звоню в фотографию императорских театров. Отвечают: «Кто спрашивает?» — «Частное лицо». — «Не знаю, у нас не записано, в книжке нет, может быть, она на словах передавала».

Звоню на музыкальные курсы Волковой-Бонч-Бруевич. — «Артистка Андреева-Дельмас преподает у вас?» — «Нет, больше не преподает». — «А она в Петербурге?» — «Не могу сказать». — «Почему она не преподает?» — «Это уж я не знаю почему».

Письмо я подписал: «Ваш поклонник».

Прошу Женю* позвонить по известному мне номеру. Ему отвечают со станции, ругая его, что такого номера нет, переключивают (кажется, я напутал) и потом уже отвечают с места, что никакой Любви Александровны здесь нет.

Я звоню в ворота. Дворник: «Это вы звонили?» — «Здесь живет Андреева-Дельмас?» — «Да, к ним парадный ход с Офицерской (квартира № 9). Да вот их прислуга идет». — «Барыня в Петербурге?» — «Да, только уехала на концерты в Чернигов, со дня на день должна вернуться. Вам что передать?» — «Ничего, спасибо». Она остается, удивленная.

13 марта. Я передаю швейцару письмо с просьбой сняться. Швейцар, получивший на чай, сказал, что Любовь Александровна приехала сегодня утром.

14 марта. Я позвонил по телефону. Тихий, усталый, деловой и прекрасный женский голос ответил: «Алло».

18 марта. Опять мокрый снег. Да, я напишу цикл стихов и буду просить принять от меня посвящение.

Звоню в фотографию императорских театров. Там барышня, которая говорила со мной, заболела. — «Она не снималась на четвертой неделе».

22 марта. Вчера днем я встретил ее. Она рассматривала афишу на Офицерской, около мамы, не поднимая глаз. Когда она пошла, я долго смотрел ей вслед.

Сегодня после дня волнений в «Сирине». Вечером иду, волнуясь, в «Парсифалья». В первом антракте говорю с Н. А. Малько. Спрашиваю его, знает ли он ее. Он знаком. — «Если хотите, я вас познакомлю». Второй антракт мы опять говорим с ним. Я сажусь, уже занавес поднят (старец и Кундри у молодого деревца). Он проходит мимо меня в первый ряд, трогает меня за плечо и говорит мне на ухо: «Андреева-Дельмас хотела с вами познакомиться». Я почти перестаю слушать, верчусь. Через несколько минут нахожу ее глазами — она сидит сзади и правее меня. Во время перерыва (залу не освещают)

* Иванова.



она выходит, и я вижу, узнаю со спины это все чувствующее движение бесконечно дорогих уже мне плеч. Я досиживаю, думаю: ушла. Конеч, я выбегаю, она сидит у лестницы с кем-то (актером?). Я пробегаю мимо, одеваюсь, выхожу, тороплюсь по Офицерской. Встреча с Вас. Гишпиусом*, который, по-видимому, замечает во мне неладное. Хожу против ее подъезда. Подъезжает автомобиль, выходят мужчина с дамой. Нет, еще буду ждать. Идут двое, а сзади них — одна. Подходя к подъезду, я вижу, что она хочет обогнать переднюю пару и пройти скорее. Да, и оглядывается в мою сторону. Вся — чуткость. Швейцар бежит поднимать лифт. Через минуту на мгновение загорается, потом гаснет первое окно — самое верхнее и самое крайнее (5-й этаж). Я стою у стены дураком, смотря вверх. Окна опять слепые. Я дома — в восторге. Я боюсь знакомиться с ней. Но так не кончится, еще что-то будет.

26 марта. Ужасный вечер. Она приходит в первом антракте «Богемь». С ней — легион. В третьем антракте она ждет, что я подойду. Я пропускаю минуту (барон Унгерн). Она уходит. Полтора часа жду на улице — напрасно...

27 марта 1914. Петербург

«Кармен» в последний раз. — Телефон.

28 марта 1914. Петербург

Закрытие сезона: «Парсифаль». Туда она заедет за мной. — Я пойду в зал Щебеко с ней (она поет). Не состоялось. — Розы ей. — Розы в раздушенном платке. — Барышня подъехала в автомобиле. Платок ночью брошен в Неву. — Телефон от нее.

29 марта 1914. Петербург

Все поет... Телефон от нее к Кустодиеву...

30 марта 1914. Петербург

Телефон утром. — Диспут трех апельсинов в Тенишевском зале, — мы идем с ней (вернулись в 4 часа ночи). Мама с тетей. — Ну, а стихи в «Дне»? Их нет. — Дождь, ванна, жду вечера. Надел обручальное кольцо... Уже становится печально, жестоко, ревниво.

30 марта 1914. Петербург

...Важные стихи...

1 апреля 1914. Петербург

...Она была на репетиции «Кармен». Телефон в 8 часов, в 11 часов, ночь, дождь, мотор.

2 апреля 1914. Петербург

Я посмотрел на солнце из окна — она позвала. — Солнце, мы ходили три часа, пахнет ветром на ледоходной реке...

* Литератор, друг Блока.



4 апреля 1914. Петербург

Днем я встретил ее. — Уснул днем тревожным сном. — Свидание ночное — тихо.

5 апреля 1914. Петербург

...Цветы от нее, цветы Любе....

6 апреля 1914. Петербург

...*Письмо к ней*... Вечер у меня. Сказано многое.

7 апреля 1914. Петербург

...Мы с ней идем на первое представление «Балаганчика» и «Незнакомки». — Ночь на Стрелке.

Веригина. На первом спектакле было очень много народу, пустых мест не оставалось. «Балаганчик» шел после «Незнакомки», так что мне удалось увидеть второе «виденье». Первое прошло благополучно. Когда возвели горбатый мост и слуги просцениума торжественно подняли синий вуаль звездного неба на бамбуковых палках, я стала надеяться, что и второе прозвучит по-настоящему, хотя бы благодаря Голубому, которого играл А. А. Голубев, и Мгеброву, игравшему Звездочета. Но на первом представлении Мгебров «выплеснулся» (выскочил) из образа. Однако надо сказать, что на следующих спектаклях он уже играл как должно. Незнакомка не приблизила зрителей к видениям Блока. Роль для нее была трудна. Все же некоторым она нравилась. Но главным образом взбесили публику китайчата своим неуместным жонглированием.

Нам, участникам «Балаганчика», после их выступления пришлось бороться с враждебными настроениями, и тут нам в значительной мере помогла обаятельная музыка Кузмина. На первом представлении пьеса в целом успеха не имела. Блока все-таки вызывали. Он вышел через силу, с опущенными глазами, с сжатым ртом, а актеры, с наклеенными носами, с преувеличенно намазанными лицами, радостно аплодировали ему, и казалось, что вокруг него кривляются какие-то чудища. Я убежала скорее за кулисы, стараясь не встретиться с Блоком в этот вечер. Александр Александрович ушел домой мрачный и не приходил на спектакли два или три дня, но потом сердце его не выдержало, и он пришел опять. Он сел на ступеньки между рядами вместе с Юрием Бонди, и на этот раз ему вдруг представление понравилось. После этого Блок не пропустил уже ни одного спектакля. Он даже жалел, что сделал перерыв после первого.

Теперь, когда я вспоминаю эту постановку, вижу ее на расстоянии, для меня ясно, что в ней была своя правда — и наклеенные носы посетителей кабачка, и китайчата в их черной одежде с серебряными драконами, и золотые апельсины, и выход Мейерхольда на вызов с Юрием Бонди на руках — все это было молодо и талантливо и нисколько не умаляло поэзии Блока. В этом был свой особый



шарм, который действовал, как я уже говорила, на самого Блока и на молодого режиссера Вахтангова, толкнув последнего на новые рельсы, и, кроме этих двух, еще на целый ряд деятелей искусства.

Прошли блоковские спектакли, закончились занятия в студии.

Вскоре после пасхальной недели я уехала в деревню, куда меня вызвали телеграммой к больному родственнику. В сентябре мы с Н. П. Бычковым предполагали ехать за границу. Незадолго до отъезда в деревню я была у Блоков. Александр Александрович много шутил. Я рассказала ему с огорчением, что экземпляр «Снежной маски», подаренный им когда-то мне, изгрыз охотничий щенок, который потом подох от чумы.

Блок немедленно подарил мне опять книжечку стихов «Снежной маски» со следующей надписью: «Сия книга, ныне являющаяся библиографической редкостью, поднесена автором Валентине Петровне Веригиной ввиду сделанного ею 23 апреля сего 1914 года заявления о том, что первобытный ее (книги) экземпляр был съеден собакою, которая от того скончалась. О, сколь изменчивы и превратны судьбы творений, нами тиснению предаваемых! А. Блок»...

Блок. 14 апреля 1914. Петербург

... После обеда — сон в комнате, наполненной ею: шахматовский сад, ночь, страшно, стараюсь зажечь огни на деревьях, огней нет: один только большой; боюсь, оборачиваюсь — он уже с противоположной стороны, и я не могу понять, как, и не потух ли в орешнике, — ведь я поставил свечу к рябине у огорода. Проснулся — месяц справа в окне. — Ночь на нашей улице.

17 апреля 1914. Петербург

...Сидим с Любой вечером. — Вечер — жду, жду — звоню в 11-м часу — нет дома — жду. Телефон. К ночи на извожике ездили тихо, мокрый снег опять — вдруг.

19 апреля 1914. Петербург

... Днем — в Эрмитаж. Ничего не видели. Летний сад. О разлуке временной. Проклятый ветер... После обеда пришла дама звать читать на вечер. Я захожу к маме, с ней — у Кустодиева... Возвращаюсь, встречаю ее! Она пела весь вечер, глаза и зубы сияют.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

24 апреля 1914г. Петербург

...Вчера Л.А. Дельмас Кармен прислала мне букет красных роз. Это первая из тех, кого любил Саша, кто меня принял, да не знаю как...

Блок. 28 апреля 1914. Петербург

Она записывает иногда мои слова. Она вся благоухает. Она нежна, страстна и чиста. Ей имени нет. Ее плечи бессмертны.



1 мая 1914. Петербург

...В ней сегодня — красота, задор, дикость, тревога, страх и нежность. «Боюсь любви». Я перекрестил ее — в третий раз за время наших встреч.

4 мая 1914. Петербург

...Люба на футболе и на авиации. — Мы гуляли в Ботаническом саду и в оранжерее. Жаркий день. Я обедал у мамы. Вечером она в кинематографе (Миланский балет в Музыкальной драме), я — смотрел мертвые петли, скольжения и полеты вниз головой. Вечером поздно мы в кинематографе и гуляли — измученные, в тревоге... Я думаю жить отдельно, я боюсь, что, как *вечно*, не сумею сохранить и эту жемчужину.

15 мая 1914. Петербург

...Мы с Любовью Александровной гуляем на Стрелке и в Елагинском парке. — После обеда говорили с Любой о том, чтобы разъехаться... «Луна-Парк». Она. Мы на горах, — пустая нервность и страшная тревога. Гуляли, ветер, нервно, тревога. — Месяц справа молодой — видели я, и она, и Люба.

20 мая 1914. Петербург

У Любы — первые репетиции в Куоккале...

24 мая 1914. Петербург

...В 12-м часу она звонит с Царскосельского вокзала. Я приезжаю, мы сидим в буфете. Она говорит, что я забыл. Мы возвращаемся. Светлое утро. Она звонит. Последние слова: «Я прекрасно знаю, как я окончу жизнь... потому что вы оказались тот».

28 мая 1914. Петербург

...Спектакль в Куоккале — пьеса Дымова. — Странная смесь унижения с гордостью. Ее вчерашний взгляд. Я влюблен в нее сегодня так грустно, как давно не был. Часа в 2 ухожу на Васильевский остров. В 4 часа звоню — она вышла. Я вижу ее с балкона, маню ее. Она качает головой и уходит. Я ухожу на Финляндский вокзал. Посылаю ей розы. Звоню оттуда — ее нет еще дома. Возвращаюсь — звоню, мы встречаемся. Едем на Финляндский вокзал, с Удельной идем в Коломяги, оттуда — в Озерки, проходим над озером, пьем кофе на Приморском вокзале, возвращаемся в трамваях. Нежнее, ласковей и покорней она еще не была никогда. Она — в маленькой шляпе с длинным синим вуалем. Призрак города — красная луна, серо-черная вдали, белая вблизи ночь. Кротость ее. — Год!!!? — «Шарлотта и Вертер»*.

* «Страдания юного Вертера», любовный роман Гете.



30 мая 1914. Петербург

Я смертельно устал, иду бродить. Белоостров и Курорт. Возвращаюсь в 11-м часу. Она приходит ко мне, наполняет меня своим страстным дыханием, я оживаю к ночи. И опять, опять — пленительное смешение *вы* и *ты*.

1 июня 1914. Петербург

...Я еду в Куоккалу... Одинокое путешествие... Люба загримировалась красивой француженкой и местами недурна, но местами фальшивит. Публика аплодировала. Едва кончился спектакль, я бросаюсь назад. Возвращаюсь в 3-м часу ночи — холодной, белой.

5 июня 1914. Петербург

Вечером — телефон, ее неприятный голос, я злюсь, ухожу бродить. В 11-м часу звоню ей с Петербургской стороны. Мы встречаемся около консерватории. Едем на Елагин. Она опять нежна и заботлива, и задумчива, и страстна; к утру — холодно, ветер. Постылая белая ночь.

7 июня 1914. Петербург

«Любови Александровне Дельмас. Если Вы сохраните этот портрет, когда-нибудь он покажется Вам более похожим на меня, чем теперь».

8 июня 1914. Петербург

Еду в Шахматово в 3 ½ часа. — Мы дважды простились с Любовью Александровной по телефону. Когда я уезжал, она долго смотрела вслед из окна.

10 июня 1914. Шахматово

Сон о Любови Александровне — страшный и пленительный...

Огромный город, скорей всего, — Париж. Она сказала: «У меня будут гости», и я хожу по улице в ожидании, «когда это кончится». Ее дом на очень людной улице, и квартира высоко. Если подняться в соответствующий этаж незнакомого дома напротив, то на какой-то площадке лестницы есть *единственное* место, откуда можно заглянуть через улицу в ее квартиру. И я смотрю: столовая во дворе — видна сквозь окно пустой и темной комнаты. Кусок открытой двери — освещена часть стола. Она сидит тихая, напустив свои рыжие волосы на лоб, как делает иногда. В темном. По обеим сторонам два господина в изящных фраках. Один делает движение, будто хочет обнять ее за шею. Она виновато и лениво отстраняется. Все, что я вижу. Надо уходить. Я испытываю особое чувство — громадности города, нашей разделенности и одиночества. Но это уже — то *главное* сна, чего нельзя рассказать.



10 июня 1914. Шахматово

...Тоска и скука. Неужели моя песенка спета?

16 июня 1914. Шахматово

Полегче. Перевожу, хожу по тем местам, где я когда-то, в молодости, тосковал о Любе, а после — скучал с ней. Как сладостно. Встретил лисицу. В саду убрали березы, из двух вышла сажень с четвертью. Сегодня попрохладнее. К вечеру дождик накрапывал.

19 июня 1914. Шахматово

Я спросил маму: «Ведь тебе, в сущности, не нравится Любовь Александровна?» Она ответила: «Нет, напротив, она какая-то милая, симпатичная» (Наталья Николаевна была несимпатичная). И я наполнен к ночи ею.

Люба – Блоку. *12 июля 1914. Куоккала*

...Я поживаю недурно, хотя все еще работы нет, мы пребываем в кабарэ. Зато играем при полных залах и сборы очень хорошие: прошлое воскресенье в один вечер мы играли и в Куоккале и Териоках и собрали 1200 р. — в один вечер! Жалованья мне платят 60 р., я с гордостью на них теперь живу... Сегодня у нас Чеховский вечер с участием Чуковского...

Блок – Любе. *16 июля 1914. Шахматово*

...Мы ждем теперь письма от Франца, который должен решить, надо ли менять квартиру; он прислал об этом пока не совсем определенную телеграмму, так как, по-видимому, война заставляет его еще более думать об отставке. Может случиться, что мы с мамой поедем к августу в Петербург искать квартиру. Тебе, должно быть, нельзя будет теперь заняться прислужгой и ремонтом у нас, но, если бы можно было, я предпочел бы жить у себя, а не у мамы. Напиши мне, что ты об этом думаешь.

Жаль, что театральной практики у тебя нет...

Блок. *18 июля 1914. Шахматово*

Телеграмма от Франца, что его вызывают в Петербург. Белград бомбардируется австрийцами.

Люба – Блоку. *18 июля 1914. Куоккала*

...Вчера я провожала Кузьмина-Караваева в Житомир — не успел он отслужить, как опять в полк, из-за мобилизации; на этот раз к отцу, в 200 верстах от австрийской границы; не успеют объявить войны, как они уже будут в Австрии, на разведках. Война уже очень чувствуется здесь, по Финляндской дороге усиленно передвигаются войска... Хотя все-таки есть возможность, что войны не будет... все державы только хотят довести свою боевую готовность до последней степени, чтобы начать делить Австрию, на что идет и Германия, ус-



тупая Эльзас и Лотарингию Франции, получая всю немецкую Австрию, ну а дальнейшее деление само понятно. Не знаю, интересуется ли тебя все это,— мы здесь прямо рвем газеты и читаем с начала до конца. Манифестации и подъем в Петербурге не «Новое время» выдумывает — о нем говорят все, кто был эти дни в городе; я же видела только «манифестации» мальчишек и хулиган...

Блок. 19 июля 1914. Шахматово

Мы с мамой едем в Петербург.

20 июля 1914. Петербург

Манифест*.

Бекетова. Грянула весть о войне, которая непосредственно коснулась и нас, так как в семье был военный. Александра Андреевна получила телеграмму от мужа, вызывавшего ее в Петербург. Франц Феликсович лечился в то лето в Крыму от болезни почек. Начальство вызвало его в Петербург по случаю мобилизации. 19-го июля сестра уехала из Шахматова вместе с Ал. Ал. Я осталась одна с прислугой хозяйничать и доживать лето...

Люба – Блоку. 20 июля 1914. Куоккала

...Вот уже и война объявлена; говорят, скоро Финляндию объявят на осадном положении и всем надо будет уехать в 48 часов, я приеду тогда в Шахматово. Петербург окапывают и укрепляют. Часть гвардии... провезли мимо нас в Финляндию, но это по ночам. Днем как будто ничего и не заметно, только очень угнетенное настроение в воздухе, но торжественное; больше не поют на манифестациях, а ночью, когда проезжают запасные, отчаянно кричат «ура» и плачут. Наш спектакль сегодня отменила полиция... Вообще каждый день приносит столько нового, что не стоит загадывать...

Блок. 21 июля 1914. Петербург

К вечеру Люба приехала из Куоккалы.

22 июля 1914. Петербург

Люба едет в Куоккалу за вещами. — Ночью на Невском — немецкие вывески, манифестации, немецкие «шпионы», австрийские флаги.

23 июля 1914. Петербург

Англия объявила войну Германии. — Люба вернулась.

24 июля 1914. Петербург

Франц приехал. — Австрия объявила нам войну.

* Об объявлении войны Германии.



26 июля 1914. Петербург

Заседание Государственной думы и Государственного совета.
Манифест о войне с Австрией.

27 июля 1914. Петербург

У нас уже есть раненные.

28 июля 1914. Петербург

Любовь Александровна вернулась в Петербург. ...Жизнь моя есть ряд спутанных до чрезвычайности личных отношений, жизнь моя есть ряд крушений многих надежд. «Бодрость» и сцепленные зубы. И — мать. — Розы, письма. *Вечер* после дня тоски искупил многое.

17 августа 1914. Петербург

Сон о том, как она умерла, — всю ночь. Утром я переписываю письмо. Посылаю его и розы. — Одиннадцать лет нашей свадьбы с Любой. — Шуваловский парк. Наши улицы. Небо огромное. Ночью — ее мелькнувший образ. Ночью она громко поет в своем окне.

19 августа 1914. Петроград

Петербург переименован в Петроград. — Мы потеряли много войск. Очень много...

20 августа 1914. Петроград

Опять сон — о том, что я женился на ней.

Бекетова. Бригада, которой командовал Франц Феликсович, стояла в Петергофе. В мирное время он ездил туда только изредка, так как обязанности бригадного командира несложны. Теперь же ему пришлось переселиться на казенную квартиру в Петергоф для приведения бригады в боевой порядок. Поехала с ним и Александра Андреевна. Петербургскую квартиру Кублицкие оставили за собой, так как в Петергофе приходилось жить только до выступления в поход, которого ожидали вскоре...

Блок. *21 августа 1914. Петроград*

Мама уезжает в Петергоф. — Когда же я наконец буду свободен, чтобы наложить на себя руки?

22 августа 1914. Петроград

Взятие Львова и Галича. — Убийственно. — Люба назначена в госпиталь Терещенки в Киев... Вечером я встретил Любовь Александровну и ходил с ней по улицам. — Возвращаюсь ночью из Сосновки — ее цветы, ее письмо, ее слезы, и жизнь опять цветуще запутана моя, и я не знаю, как мне быть.



Бекетова. Александр Александрович встретил весть о войне с волнением и какой-то надеждой. На войну он не рвался, это было ему не свойственно, но он пожелал участвовать в работе, имевшей касательство к войне. Он поступил в ближайшее районное попечительство, оказывавшее помощь семьям запасных, и работал в комитете, председательницей которого была некая Депп. Он делал обследования, собирал пожертвования и т. д.

Любовь Дмитриевна готовилась в сестры милосердия. Она прошла подготовительный курс сестер, причем ходила за ранеными в Александровской больнице. В конце августа она уехала на войну в одном из первых отрядов Кауфмановской общины, в госпитале, оборудованном на средства семьи Терещенко. Все мы, разумеется, ее провожали. Она работала главным образом в Львовском госпитале, провела на театре войны девять месяцев. Из нее вышла образцовая сестра милосердия – не сентиментально-слезливая, пишущая письма «солдатикам» часто в ущерб более важным обязанностям, но строго исполнительная, энергичная, неутомимая и авторитетная...

3 сентября 1914. Петроград

Люба уезжает: 11.37 вечера с товарной станции Варшавского вокзала. – Поехала моя милая.

Люба – Блоку. *8 сентября 1914. Киев*

доехала хорошо смотрела город еду дальше... часто пишу господь с тобой....

Блок – Любе. *10 сентября 1914. Петроград*

...Я здоров и занимаюсь литературой, насколько могу; и прислуга очень хорошая. У мамы до сих пор не был — с 30 августа. Так без тебя все неблагополучно, и грустно и тревожно, что все как-то живешь «пока» и думаешь, что что-то наступит другое.

Напиши мне, не надо ли тебе чего-нибудь. Например, у тебя нет с собой ни одной книги. Может быть, посылать газету? Тогда я тебе подпишусь на «Русское слово». Если бы все это могло доходить, я бы сейчас же послал...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиотух.

28 сентября 1914. Петроград

...Сегодня я получил, наконец, письмо от Любы... Она с трудом нашла свободный час, чтобы написать. Она сидит, отрезанная от всего мира, в большой палате, устроенной ей самой. Из 25 – 23 заняты ранеными. Устраивать было трудно, потому что здание было страшно грязное: сначала – кадетский дортуар (это было помещение кадетского корпуса), потом – стояли войска, потом – австрийский госпиталь, потом русский госпиталь с монахами и, наконец, –



их госпиталь. В коридорах в грязи лежали 200 раненых, которых несколько дней с 6 утра до 11 вечера мыли и переносили в палаты. Обед – полчаса и чай 10 минут, а потом – сестры засыпают как убитые. Теперь у Любы кровати чистые и все перевязаны. Очень тяжелых дали более опытным сестрам. Однако одному из Любиных отрезали ногу; на другой день он уже хохотал над какой-то шуткой... Люба ничего не знает о войне, только с утра до вечера делает все, что нужно, для раненых...

Блок – Любе. 6 октября 1914. Петроград

...Бываю у мамы в Петергофе и она у меня. Занимаюсь Ап. Григорьевым. Больше все один, конечно; чувствую войну и чувствую, что вся она — на плечах России, и больше всего — за Россию, а остальные — Бог с ними — им бы только выпутаться из своих бед, а для нас они пальцем не шевельнут. Люди знающие подтверждают это...

Люба – Блоку. 14 октября 1914. Львов

...К.– К.* нашел меня и был у меня в госпитале. Это было 5-го. Их полк понес мало потерь, но лошади все замучены, и потому их поставили верстах в 40 от Львова на отдых и поправку. Они обошли Перемышль, были в Карпатах, все время в соприкосновении с австрийцами, но без крупных стычек. К. похудел очень, но загорел, и бодрый у него, военный вид. Отец его бережет**, но все же посылал с опасным донесением ночью под огнем и в свете прожекторов и ракет. Меня отпустили, и я провела день с ним и его отцом, обедали в ресторане и были в чудном кинематографе!..

Блок. 19 октября 1914. Петроград

...В 12 часов 3 минуты ночи Франц уезжает с эшелоном... Пишу милой. – Звонила Дельмас, вечером поет в первый раз Кармен. – Провожаем Франца...

31 октября 1914. Петроград

Вечером мы с мамой (я обедаю у нее) идем в «Снегурочку». А. Дельмас поет Леля, дала нам билеты. – К ночи – тревога, пустая. Из-за театра, красоты Дельмас, закулисной жизни.

3 ноября 1914. Петроград

...Л.А. Дельмас звонила, а мне уже было «не до чего». Потом я позвонил – развеселить этого ребенка.

Бекетова. В этом сезоне Александр Александрович много и плодотворно работал, имея дело с разными издателями. Продол-

* Д. Д. Кузьмин-Караваев.

** Отец Кузьмина-Караваева – генерал, при котором сын служил в качестве вольноопределяющегося.



жая посещать издательство «Сирин», в работе которого он принимал живое участие, он устроил мимоходом дела Андрея Белого, который жил в то время в швейцарском городке Дорнахе, где строился знаменитый Иоанновский храм под наблюдением доктора Штейнера. Александр Александрович знал, что Борис Николаевич в очень стесненном положении. Он подал Терещенко мысль сделать отдельную книгу из его романа «Петербург», напечатанного в альманахах «Сирин», что и было исполнено. Гонорар, полученный за эту книгу, дал возможность Борису Николаевичу пополнить свои средства и погасить ту ссуду, которой помог ему Александр Александрович в то время, когда тот писал свой роман. В 1915 году «Сирин» прекратил свое существование, так как Терещенко не находил возможным продолжать это дело в военное время. Он обратил свою энергию на нужды войны, предоставив в распоряжение военных организаций несколько грандиозных сооружений...

Блок – Любе. 17 ноября 1914. Петроград

...Я принимаю пожертвования на «елку в окопах», организовано это «Биржевыми ведомостями». Сегодня мне уже приносили вещи. Напиши мне, если вспомнишь, где мои фуфайки? Я их не ношу и хочу послать на войну.

Вести о Франце пока хорошие. Мама стала уставать скоро, но бодрая.

Жизнь, пока что, летит и летит. Вокруг меня много любви, и даже — тень какой-то «славы». Что же будет дальше — с тобой и со мной *вместе*?

26 ноября 1914. Петроград

...С мамой вижусь каждый день. Она устает очень, нервы сильно напряжены и потому выносливость меньше. Много, много всякого.

Я ловлю себя на том, что по старой привычке боюсь всего «хорошего» для себя, плохо ему верю. И все-таки мне почему-то просто хорошо было долгое время: жизнь шла такими сильными, мерными и упругими волнами. Что ты думаешь про это?

Каждый вечер скрещиваю тебя и твою кроватку...

Веригина. Мы сидели за чайным столом втроем и все время говорили о Любе, которая была на австрийском фронте. Еще до прихода Александра Александровича Александра Андреевна сказала мне: «Саша послал Любе модные журналы, сам ходил покупать». Я удивленно спросила, зачем ей там моды. На это Александра Андреевна ответила: «Саша знает, что она это любит — ее немного развлечет»... Меня очень тронули эти «журналы»: в обычное время Блок относился к таким вещам с насмешкой. Среди разговора Александр Александрович вынул из бокового кармана сложенные листы с напечатанными стихотворениями и передал мне их



со словами: «Вот, Валентина Петровна, это я хочу дать вам». Мне запомнилось мягкое выражение его *глаз* в тот момент, печальный, исполненный нежности, звук голоса. Я сразу поняла, что стихи отнесились к Любове Дмитриевне. Я пробежала их глазами...

Блок молчал, опустив глаза. На листках было напечатано еще два или три стихотворения... Настроение всего вечера окрашивалось цветом Любы. Мне ее тоже не доставало, и я рада была ощутить хотя бы ее тень...

Люба – Блоку. 30 ноября 1914. Львов

...Спасибо тебе, спасибо за хорошие посылки! Получала их во-всю. Журналы — замечательно пришлось по вкусу зайцу, конфеты уплетал за обе щеки — но и других угощал... Папиросы уже раздавала, а табак и трубки еще нет, — их можно курить только в коридоре, а у меня сейчас мало ходячих. Но очень обидно мне, что стихов не получила — так ждала их... Неужели они пропадут!..

Говорят, мы здесь не долго будем; двинут нас вперед. Давно это нам говорили, но теперь как-то и я поверила, что это будет — очень нужны госпитали поближе к делу. Но, конечно, это будут далеко не передовые позиции, а какой-нибудь городок, поближе к линии боев. Это хорошо, нас встряхнут немножко, а то очень уж удобно мы тут расположились...

Блок. 3 декабря 1914. Петроград

...Вечером — усталость, пьянство и безобразие.

Люба – Блоку. 3 декабря 1914. Львов

...Кажется, военные события собираются стуситься; так, по крайней мере, по слухам, — и мы будем очень недалеко от них...

Блок – Любе. 13 декабря 1914. Петроград

...О тебе я тревожусь, хотя определенных данных нет. И слухов я не слушаю. Людей, особенно враждебных войне, вижу я очень мало, но кажется, что постоянно нахожусь в какой-то кампании; такая во мне буря всяких чувств и мыслей.

Пишу статью о Григорьеве. «Вышиваю» иногда. Описать-то нечего, а кажется, так много.

Главное, ты *будь*. Пиши почаще. Я тобой очень горжусь, ничем так, как тобой...

Люба. 19 декабря 1914. Львов

...Должна тебе сказать, что теперь, когда у меня всего 6 больных, я вижу, что очень не прочь вернуться домой; кроме того, мне отчаянно хочется играть; точно зудит во всех жилках...



19 декабря 1914. Львов

...У нас определилось положение — мы во Львове, переезжаем в новое здание... А я опять не чувствую никакой возможности уехать — опять чувствую это, как измену, как бегство, а мне этого ничуть не хочется...

Блок – Любе. 31 декабря 1914. Петроград

Милая моя, с Новым Годом. Крещу тебя и думаю о тебе... Очевидно, так надо, как решилось с вашим госпиталем. Мне очень понятно, что ты можешь почувствовать «измену», если уедешь. Потом зато, когда кончится, у тебя будет сознание, что исполнено большое дело. Ну, Господь с тобой.

Между тем Мейерхольд вознадеялся, что ты приедешь. На днях он звонил мне, поздравлял с праздником... и просил написать тебе (он твою карточку получил), что как раз эти дни особенно о тебе думает, просит передать тебе «нижайший поклон», слышал, что ты можешь приехать... Говорил с Веригиной о том, что тебя страшно не хватает в студии, что там все как-то «расстроено» оттого, что «этих людей нет», что он «страшно ждет» тебя...

Сладкого не шлю по уговору с зайцем. Только журналы и тепленькое...

Ломятся ко мне барышни и литераторы. Я не пускаю...

Думаю о тебе, моя милая, и еще два имени — одно — мама, а другое — ты знаешь*. Кажется, никогда так тяжело мы с мамой, Францем и тетей не встречали Новый Год. Мама — в ужасном состоянии, больна и измучена, как никогда еще не была. Франц соревнуется перед отъездом. Мы с Л. А. пришли вечером, она пела, потом я проводил ее домой и вернулся встречать Новый Год. Разошлись мы около часу. Я вернулся домой, окрестил твою комнатку, потом говорил по телефону. Потом — Мейерхольд позвонил, поздравил меня и передал телефон Ильяшенке. Кажется, она хотела пококетничать, но тон мой не очень располагал. Страшную значительность всего происходящего я чувствую. Сейчас третий час ночи. Еще какая-то барышня звонила по телефону, не говоря имени. Я попросту прикрикнул и повесил трубку...

Господь с тобой, милая моя и дорогая Люба, целую тебя и крещу. Сохрани тебя Бог.

Блок. 31 декабря 1914. Петроград

...Я успел окрестить Любину комнатку, потом говорил с Любовью Александровной по телефону. Моя она и я с ней. Но, Боже мой, как тяжело. Три имени. Мама бедная. Люба вдали, Любовь Александровна моя. Люба...

* Л.А. Дельмас.

Глава XXVIII. Жизнь на открытом воздухе

Люба – Блоку. 6 января 1915. Львов

...Новый Год я встречала совсем необыкновенно: ушла одна в наш парк; там среди березок и елочек стоит ниша с мадонной и перед ней скамеечка — стоять на коленях. Была тихая ночь, чуть морозная; вдали — огни нашего госпиталя, — от них тихий свет на мадонне. Я стояла на коленях перед ней — и так легко-легко, ясно пришел Новый Год; но в очень высоком строе. Конечно, как полагается при всякой «мистике», по снегу носился черный пес, кружил, но не нашел меня и «исчез» до прихода Нового Года...

Блок – Любе. 9 января 1915. Петроград

Милая моя, жить эти дни трудно, устал я, больше забот, чем радости. Литература безысходная.

У мамы — жар, ко всему прочему. Она сильно простужена.

О тебе говорила мне (по телефону) Е. М. Терещенко. Видела ли ты Франца, получала ли картинки и тепленькое?

Григорьева я кончаю, скоро буду сдавать в печать.

Господь с тобой. Пока больше не пишу, грустно.

А.А.Кублицкая-Пиотух – М.П. Ивановой.

17 января 1915. Петербург

...Саша, за мою болезнь, выказал большую нежность и заботу. Вот польза моей болезни. А отдохнуть душой и телом, как Вы, родимый друг, желали, кажется, не пришлось... Мне не сужден покой.

Теперь началась ревность к Саше, по поводу меня, со стороны Л. А.* Саша уже жалеет, что нас познакомил. Совсем повторяется история с Любой. Конечно, до этого не дойдет и не может прийти. Но — посмотрим, что будет дальше.

Между тем Саше с ней хорошо. Она делает его легче, дает ему часы отдыха, трезвости, заставляет его проще смотреть на людей и на отношения. Так что я, сохрани Боже, мешать не буду...

Люба – Блоку. 19 января 1915. Львов

...Последнее твое письмо грустное. Товарищ мой, мне это очень тяжело; так хорошо было, когда твои письма были бодрые... Я вполне *определенно* это подумала и возьму отпуск в феврале или марте, смотря когда удобнее по работе...

19 января 1915. Львов

...Я об тебе думаю постоянно, мне трудно рассказать как — а только знаю, что больше всего на свете люблю тебя, куда бы меня ни бросило...

* Дельмас.



Блок – Любе. 28-29 января 1915. Петроград

...Сегодня получил твое письмо о том, что ты попадешь в передовой отряд, и о том, что ты меня жалела, получив мое кислое письмо. Все это очень взволновало меня. Я думаю о тебе — думаю сквозь всю мою жизнь, которая никогда еще не была такой, как теперь. Думаю, что не только в письме, но и на словах я не скажу тебе о своем, потому что никому, и даже тебе, говорить не надо; а, что главное, ты и сама поймешь.

Ты извести меня заранее, когда можешь приехать, все тебе будет чистенькое и тепленькое: теперь здесь большие морозы, и в твоих комнатах, которые я окрещиваю каждую ночь, душистый, почти морозный воздух, тишина невозмутимая, так что я каждую ночь чувствую это сызнова — после «своей половинь». Мейерхольд продолжает спрашивать, приедешь ли ты; я отвечал, что нет (еще вчера).

3 марта — 6 месяцев с твоего отъезда. Тогда можно вернуться к совсем, не правда ли?..

30 января 1915. Петроград

...Пропуская многие и твои и свои мысли, я отвечаю тебе, что только жизнь сама все устроит и поможет там, где, кажется, всего труднее. Пора уже это знать, когда столько пережили.

А разве тебя опять «бросило»? — меня не бросило, а привело. Все, что со мной теперь, должно быть, я уже не «увлекаюсь», я уже не играю и не «придумываю» (на 35-м году)...

19 февраля 1915. Петроград

...Ты пишешь, что я должен не беспокоиться. Это ведь только способ выражения — беспокойство. Теперь особенно — все, что я о тебе чувствую — превышает все беспокойства; т. е. беспокойство достигло предела и перешло уже в другое, в какой-то «огненный покой», что ли. Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мною, несмотря на свое, несмотря на мое. Мне так нужно это...

На спектакль студии я пошел, как всегда, с открытой душой, с желанием, чтобы мне понравилось, и мне, как всегда, страшно не понравилось почти все... узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который и есть любовь и воля, — мне и тяжело и скучно от никчемного «легкого веселья», и я не могу простить подробностей, которые простил бы, может быть, если бы меня хоть немного «обожгли» тем огнем, в котором все и без которого ничто не мило. Молодые и пожилые люди претенциозно кривляются... Изобретательности настоящей нет, воображение бедное и большое... Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин,



а претензии на пересаживание каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, *РУССКИЙ* — есть только *бесчинство*. Все это больно, потому что Мейерхольд — славный...

В «Зеленом кольце»* Мейерхольда вовсе не было... Актеры сыграли пьесу в четверть ее роста. Пьеса неумелая, с массой недостатков, и все-таки — какого она *роста*, какой *зрелости*, даже в руках актеров!..

Люба. 3 марта 1915. Львов

...Я ужасно хочу уехать отсюда, и думаю, что не вернусь сюда больше, поэтому жду Кузьмина-Караваева повидаться перед отъездом; оттого еще не еду... А уехать хочу, потому, что не только устала адски, но уж очень соскучилась по настоящему «своему», здесь ведь все-таки все время заставляешь себя, заставляешь...

Блок. 14 марта 1915. Петроград

...Телеграмма от милой: выезжает.

16 марта 1915. Петроград

Люба вернулась.

17 марта 1915. Петроград

Ночью — ужасный разговор с мамой.

18 марта 1915. Петроград

Любы нет дома большей частью...

10 апреля 1915. Петроград

...Ночью я видел сон, что Люба умерла.

20 апреля 1915. Петроград

...К ночи — телефон с Любовью Александровной, и я опять готов влюбиться, и она завтра опять поет Кармен.

А.А.Кублицкая-Пиоттух — М.П. Ивановой.

24 апреля 1915. Петроград

...У меня вчера обедали Саша, тетя Маня и Люба. Сама пришла. Это редкость и для меня огромная радость.

Люба устраивает свою собственную антрепризу, будет играть для рабочих в окрестностях Петербурга. Кузьмин-Караваев уезжает опять в действующую армию.

Блок. 16 мая 1915. Петроград

...Опять тоска. Бродяжничество.... Откуда-то опять ревность.

* Пьеса З. Гиппиус.



24 мая 1915. Петроград

Мама едет в Шахматово. Я проводил. Дождик. Хлопоты. Корректуры. Женщина бросилась с Николаевского моста. На войне все хуже.

А.А.Кублицкая-Пиотгух – М.П. Ивановой.

19 июня 1915. Шахматово

...Саша пишет часто, думаю, все-таки приедет. Кажется, Люба попала в хорошее дело. Играет Островского на Путиловском заводе...

Блок. 26 июня 1915. Петроград

...Любовь Александровна уезжает к себе через Москву. Я проводил ее на вокзале, грустно и тупо; воротясь, нашел письмо и розы.

30 июня 1915. Петроград

Уезжаю в Шахматово.

Люба – Блоку. 7 июля 1915. Петроград

...Сегодня я получила телеграмму от Кузьмина-Караваева о том, что 3-го июля убит его брат, а он сам контужен снарядом в голову, – это он пишет в письме, сидит в обозе; надеюсь, что контузия легкая, судя по почерку... Очень тяжело...

А.А.Кублицкая-Пиотгух – М.П. Ивановой.

6 августа 1915. Шахматово

...У нас через 10 дней после отъезда Франца побывала Любовь Александровна Дельмас. Прожила неделю. Я сама пригласила ее, написала ей письмо. Саша был очень рад. А я теперь ее узнала настолько, что, кажется, могу уже судить о ней, как о человеке. Она нам пела «Не пой, красавица...», закливание Марфы из «Хованщины», «Для берегов отчизны дальней» и многое другое. Но между романсами, которые она привезла, оказался новый романс Василенки на Сашины слова: «Вот он ряд гробовых ступеней».

Кончается так: «Здесь горит осиянный чертог». Этим стихотворением заканчивается первый том стихов. Музыка прекрасная. Слушать было почти невыносимо. Помните ли Вы эти слова? Саша начал делать ей замечания, говорить, что она не так поет, что надо холод, надо безличность. (Она не может этого, у нее везде страсть и полнота жизни). Кончилось тем, что он вспылил, она надулась. И слава Богу, больше не пыталась этого петь. Перед ее приездом я видела во сне Любу, как всегда, когда Л. А. подходит ко мне ближе. Мне не хочется сейчас говорить Вам ничего очень определенного, мой дорогой и чуткий друг, но теперь я знаю наверное, что Люба неизмеримо крупнее и чище. И теперь я увидела, что Л. А. не русская в самом глубоком смысле этого слова. Страдание ее не вспашет. Вы понимаете, что я все это говорю не для суда над нею, а для освещения своего места и назначения, так как я теперь думаю



встать в сторону и быть пассивной. Но Любе написала и надеюсь на ее приезд. Надеюсь на житье здесь до половины сентября.

Саша говорит о Любе всегда нежно — и теперь. Но та чаровница. В этом нет сомнений. Поет она так, что я сама хожу замороженная и в нее влюбилась...

Блок – Дельмас. 12 августа 1915. Шахматово

...Той недели, которую вы провели в деревне, я никогда не забуду. Что-то особенное было в этом и для меня. И это еще резче подчеркнуло для меня весь ужас положения. Разойтись все труднее, а разойтись надо...

Блок. 17 августа 1915. Шахматово

Двенадцать лет нашей свадьбы.

Люба – Блоку. 27 августа 1915. Петроград

...А ты радуешься на своего зайца: его наняли к Яворской за 80 руб. — а ты говорил: цена ему «пять»... Нет, я, правда, очень довольна. Меня пригласили на определенное положение — «grande dame и другие роли» (так написано в контракте); вчера уже получила роль в «Школе злословия» Шеридана, идет для открытия. После Яворской — роль моя самая интересная: м-с Кэндер. Вчера я и контракт подписала, и репетировать уже начали. Режиссер — Воротников. Мне Яворская очень нравится: воплощенная воля, худая, безобразная, хрипучая, умная, и как какая-то шрапнель — летит к цели и ничто на свете ей не помешает... С ней очень полезно мне будет «общение»: научусь, я чувствую, хотеть посылнее теперешнего...

А.А.Кублицкая-Пиотгух – М.П. Ивановой.

2 сентября 1915. Шахматово

...Здесь прекрасная осень. Сашенька увлекся преобразованиями в саду, работает и находит, что здесь все-таки лучше, чем в городе.

О его личных делах мы уж больше никогда и ни гугу... Кузьмин-Караваев пристраивается к какой-то школе, держать экзамен на офицера, уехал опять в армию, чтобы устроить дела. Стало быть снова будет жить в Петербурге...

Блок – Любе. 4 сентября 1915. Шахматово

...Не знаю радоваться ли за тебя, что ты поступила к Яворской. Тут я вижу хорошее в том, что у тебя под рукой дело; еще, что ты на войну не поехала; это уж для меня.

Здесь — осень, клены золотые. Все время я мудрю с садом...

Блок. 29 сентября 1915. Петроград

Вернулись в Петербург.



15 октября 1915. Петроград

Если бы те, кто пишет и говорит мне о «благородстве» моих стихов и проч., захотели посмотреть глубже, они бы поняли, что: в тот момент, когда я начинал «исписываться» (относительно – в 1909 году), у меня появилось отцовское наследство; теперь оно иссякает, и положение мое может опять сделаться критическим, если я не найду себе заработка. «Честным» трудом литературным прожить среднему и требовательному писателю, как я почти невозможно. Посоветуйте же мне, милые доброжелатели, как зарабатывать деньги; хоть я и ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И, уж во всяком случае, я очень честен.

16 ноября 1915. Петроград

Мне 35 лет. Цветы и письмо от Любви Александровны. – Мама и тетя днем у нас.

25 ноября 1915. Петроград

Люба опять проявляет силу и благородство. Отказалась от одной реплики в роли в пьесе А. Каменского. К ней сочувственно отнесся режиссер Арбатов...

8 декабря 1915. Петроград

...Боре Бугаеву Литературный фонд ассигновал 350 руб...

31 декабря 1915. Петроград

...Любочка вечером играет, а днем на репетиции. Вернулась в 10 час. вечера. Встречаем Новый Год вдвоем с Любой...

А.А.Кублицкая-Пиотух – М.П. Ивановой.

26 февраля 1916. Петроград

...По случаю моей болезни проявляется любовь ко мне сына и ... и... хорошее чувство невестки. Больше не прибавлю ни слова, чтобы не расточить привалившего богатства.

Сашеньку зовут в Москву. Художественный театр хочет ставить на будущей год «Розу и Крест». Зовут обсуждать. Он ждет, когда я буду вне опасности заболеть еще хуже. Надеюсь скоро поправиться...

Блок. 5 марта 1916. Петроград

Бо надоумила:*

Жили-были муж и жена. Обоим жилось плохо. Наконец жена говорит мужу: «Невыносимо так жить. Ты сильнее меня. Если желаешь мне добра, ступай на улицу, найди веревочку, дерни за нее, чтобы перевернуть весь мир».

Муж почувствовал, что нельзя прекословить жене. Он вышел на улицу и пригорюнился: не знает, где та веревочка... Вдруг видит – ...

* Люба.



15 марта 1916. Петроград

Люба пошла к Наталье Ивановне Манасеиной за билетом на спектакль в Александринку, где завтра играет Катя. Вышел М. П. Манасейн и говорит: «Что ж вы говорили, что она толстая? Что ж вы говорили, что она старая? Да она на барышню похожа»... Поликсена Сергеевна быстро простилась с Любой и ушла. Люба хотала весь вечер.

Михаил Петрович лечит венерические болезни. Это приучает к правде. Этот «мир» — одно из немногих правдивых мест нашей цивилизации.

Сегодня днем я встретил Любовь Александровну. Она красива, как всегда, вообще — неизменна, несмотря на все, что я эти дни чувствовал и думал. Хмурит брови, но улыбнуться может легко. — Я думаю, между прочим, что ни одно из ее писем за два года не подписано полным именем. Правда, может быть, это искупается многим другим — а, однако.

Пока я это записывал, позвонила какая-то «поклонница» и попросила позволения написать мне письмо... Я «позволил».

Многое вообще странно и скучно — одновременно.

20 марта 1916. Петроград

...Люба вчера получила приглашение... играть героинь в солдатских спектаклях в Измайловском полку в Красном Селе летом. Довольна...

25 марта 1916. Петроград

...На днях я подумал о том, что стихи писать мне не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо еще измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать матерьял...

27 марта 1916. Петроград

Вчера Люба передумала и отказалась от актерской поездки в Двинск на Пасхе. Одной горой на плечах меньше.

29 марта 1916. Петроград

Уезжаю в Москву вечером*.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

31 марта 1916. Москва

...Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в шестом часу. Пока говорю главным образом я, читаю пьесу и objaсняю, еще говорят Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы. Роли несколько изменены — Качалов захотел играть Бертрана, а Гаэтана будет играть актер, которого я видел Мефистофелем в ге-

* Читки и репетиции «Розы и Креста».



товском Фаусте (у Незлобина), — хороший актер. Граф, вероятно, Массалитинов. За Качалова я мало боюсь, он делает очень тонкие замечания. Немного боюсь за Алису — слишком молодая и тонкая, может быть, переменим (Вишневский справедливо заметил, что для нее нужны «формочки»), Алискан — Берсенов, думаю, будет хороший. У Станиславского какие-то сложные планы постановки, которые будем пробовать. Третьего дня я был в студии на благотворительном вечере, читали и играли Станиславский, Качалов, Гзовская, Германова, Москвин, Вишневский, Кусевицкий (на контрабасе). Вчера обедал у Станиславского, потом смотрел «Будет Радость» (понравилось, несмотря на многое), в антрактах ходил курить в уборную Качалова, сидел там с ним, Массалитиновым и Берсеновым.

Волнует меня вопрос, по-видимому уже решенный, о Гзовской и Германовой. Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Кроме того, я в нее никак не могу влюбиться. Германову же я вчера смотрел в пьесе Мережковского и стал уже влюбляться, по своему обычаю; в антракте столкнулся с ней около уборной, она жалела, что не играет Изору, сказала: «Говорят, я состарилась». После этого я, разумеется, еще немного больше влюбился в нее. При этом говор у нее — для Изоры невозможный (мне, впрочем, очень нравится), но зато наружность и движения удивительны.

Не знаю еще, когда приеду, до Пасхи или после. Напиши. Любе письмо покажи, я ей пишу мало...

Блок. 9-10 апреля 1916. Петроград

Как подумаешь обо всем, что происходит и со всеми и со мной, можно сойти с ума.

Около Исаакиевского собора мы были с Любовью Александровной. Народу сравнительно с прежними годами — вдвое меньше. Иллюминации почти нет. «Торжественности» уже никакой, так же как и мрачности, черноты прежних лет тоже нет. На памятнике Фальконета — толпа мальчишек, хулиганов, держится за хвост, сидит на змее, курят под животом коня. Полное разложение. Петербургу — *finis**..

19 апреля 1916. Петроград

...Мама получила от Мани Ивановой расстроенное письмо: Женя собирается жениться и жить отдельно от семьи...

20 апреля 1916. Петроград

Вечером у мамы будет Женя. — Я его увидал. Он говорит почти исключительно языком св. Писания, оброс, исхудал, женится в мае и зовет меня свидетелем.

* Конец (лат.).



9-10 апреля 1916. Петроград

Утром розы от Л. А. Дельмас и маленькое красное письмо любящее и мудрое, каких не бывало еще.

Я обедал и проводил вечер у мамы... Люба была на репетиции... («На бойком месте» для рабочих).

26 апреля 1916. Петроград

Вечером я иду к Мережковским. У Мережковских было – тяжело и скучно... Зинаида Николаевна читала статью обо мне, по поводу Ап. Григорьева. Статью очень ругательную.

Мережковские совершенно закрыты для внешних влияний, ничего нового они не увидят ни в ком и ни в чем. Зинаида Николаевна все-таки живее.

4 мая 1916. Петроград

Сегодня я проводил маму в Шахматово...

Бекетова. Всю эту весну и лето Александр Александрович провел в Петербурге. Любовь Дмитриевна играла в труппе Измайловского полка, состоявшей из освобожденных от призыва артистов. Выступала в ответственных ролях и имела успех...

Блок. *22 мая 1916. Петроград*

Люба играет в первый раз в Красном Селе в «Старом закале». До вечера нет дома. — Встреча с Женей и его невестой. Ее тяжелое лицо... Телефон от Любови Александровны — все то же, а я ей сказал что-то неприятное. Да, очень тяжелый день.

Выйдя из долга, поссорившись с только что вернувшейся Бо, я увидел все-таки молодой месяц справа.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиотгух.

23 мая 1916. Петроград

Мама, я сейчас обвенчал Женю. Свадьба была простая, благообразная и при солнечном свете, священник показался мне очень милым...

Женя был причесан гладко и стоял прямо; невеста была в белом платье, хотя без фаты. Жениными шаферами были я и Пяст, а у невесты – Алекс. Павл... и Женин сослуживец...

29 мая 1916. Петроград

Люба играет в Красном Селе «Женитьбу». Вчера на репетиции был пьяный великий князь Константин Константинович (сын стихотворца). Он не делал никому зла, а ломался перед солдатами — пел петухом и плясал; потом кормил ужином Ильешенку и Скалон и ухаживал за ними — совершенно прилично. Все это — по случаю сегодняшнего полкового праздника. Полковник Данильченко был тоже пьян. Люба и Стахова ушли в разгаре — наверх...



Ночь на Духов день. У меня женщин не 100 — 200 — 300 (или больше?), а всего две: одна — Люба; другая — все остальные, и они — разные, и я — разный.

Вчера в Измайловском полку сообщили, что взяты еще 35000 пленных и, по-видимому, Черновцы. Поэтому актеры пели гимн, и Любе после этого было особенно легко и приятно играть. Арбатов хвалил ее, говорил, что она сделает все, что хочет режиссер, и имеет хорошую школу, только — неопытна. Солдаты хохотали. Везили Любу в великокняжеском автомобиле — она рада.

Пишу, пишу...

3 июня 1916. Петроград

...Во мне самом осталось еще очень много личного. Жизненный переход тянется года, сопряжен с мучительными возвращениями. У меня есть и честолюбие и чувственность; это, вероятно, главное из оставшегося — и дольше всего будет. Но уже на *первых планах* души образуются некие новые группировки мыслей, ощущений, отношений к миру. Да поможет мне Бог перейти пустыню; органически ввести новое, общее в то, органическое же, индивидуальное, что составляет содержание первых моих четырех книг.

Пишу, пишу.

Люба каждый день репетирует «Двух сироток» (Элен)...

Белый – Блоку. *10 июня 1916. Дорнах*

Милый, милый, милый Саша,

Когда Разумник Васильевич* оповестил меня о том, что Вы хлопотали с ним о «романе», что Вы предприняли сами его издать, что Вы провели это *скучное* для Вас и *хлопотливое* дело, что, далее, Вы хлопотали обо мне в «Литературном Фонде» и что Вам я обязан субсидией, которая меня выручила, — когда все это я узнал, то я был (это не сантиментальность!) потрясен, глубоко взволнован: *и горячая волна благодарности поднялась во мне; я был почти растроган до слез; и долгое время стыдился ответить*, чтобы мое неумелое слово не оплотнило бы мое разряженно-ясное чувство благодарности не на словах, а в душе; действительно: мысль, что у меня есть в России друзья, которые меня любят и не забыли, есть огромная нравственная мне поддержка, а я был в момент получения письма от Разумника Васильевича именно в состоянии душевного разлада, подавленности вследствие условий моей 2-летней жизни здесь, о которых я ничего не могу рассказать, которые морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны, несмотря на то, что мой Ангел Хранитель, Ася, со мною и что доктор, которого мы обожаем, бывает с нами; не то, что Вы меня материально выручили (а субсидия «Фонда» меня воистину выручила), меня волнует, а то, что Вы

* Иванов-Разумник, критик, публицист, историк литературы и общественной мысли, конфидент Белого.



были мне дорогою-родною восточкой издалека, из «России» и что то, что Ты именно принимал участие в хлопотливых и скучных перипетиях моего «выручения», Ты, которого я неустанно люблю где-то там, в уголке своей души, и с которым мне было бы невыносимо переписываться целый период времени моего погружения в то, что Тебе было бы чуждо, а мне надо бы (теперь я уже не по-гружаюсь, а вы-гружаюсь из очень многого; и стало быть: начинаю получать дар речи); так вот: *это все* показалось мне неспроста, а овеванным именно тем, чего алкала душа: дружеской улыбкой без слов, рукопожатием без слов; и вот мне открылась картина этой зимы: воеет ветер, в оконные стекла бьет жалкая изморозь; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек; Ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально из «кантинь» (т. е. дощатого барака, где мы пьем кофе в 5 часов после работы): из-за загородки перекрестных «злых», «ведьмовских» взглядов, опрачивающих Тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы Тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда, как русского, к которому с симпатией относится доктор: с сознанием, что еще ряд безысходных месяцев Ты будешь обречен вращаться среди полусумасшедших «окультических» старых дев и видеть, как жена Твоя, превращенная в почти работницу, стучит молотком по тяжелому дереву, выколачивая свои силы (такова ее охота!), в облаке гадких сплетен и неопишимо враждебно-мерзкой атмосфере этой самой нашей «кантинь» обреченная жить; — вот с таким сознанием возвращаясь домой и принимаясь растапливать печи вонючими «брикетами» (зная, что теперь пойдет «брикетная вонь»), я бывал охвачен воистину безысходностью: поднимались в душе *все* теоретические умственные трагедии, переживаемые в условиях нашей жизни конкретно (например, «*восток или запад*»), подымались все мои личные трагедии, как понятные Вам, если бы я их рассказал, так и полупонятные Вам, как не членам нашего Общества: в аккомпанементе пушечных громов и воя ветров все это усугублялось; усугублялось и на почве расстроенного моего здоровья и т. д.; *т о г д а*: я уже не существовал (я — «*давно умер*»); я как-то странно заживал в мире чувств прошлого, в друзьях, событиях жизни, в вне-личном: я брал Твою книжку («*Ночные часы*»): и не мог оторваться; я вчитывался в строки так, как никогда: и, о, как отзывало мне: *Твое слово поэта*. Оно — напоминало, звало; я вспоминал Тебя. И именно в это время Ты действительно, реально, упорно помогал мне. Вот что еще взволновало меня, почти до слез взволновало; видишь ли: я боюсь, что мой «лирический» тон Тебе покажется неприятен, а он — просто фальшивое отражение в слове происходящего в душе: ну что ж: позволь мне быть лирически настроенным и скажите Тебе, что, несмотря на наше молчание друг к другу 3 года, я всегда лишь Тебя любил, что ни одно облачко «недоразумности» даже не пронеслось от меня к Тебе. Я просто понял из последнего нашего сви-



дания, что 1) Ты меня любишь и я Тебя; *но что* 2) то, во что я *лишь начинаю уходить, погружаясь с головой*, Тебе будет чуждо; 3) что я не хочу Тебе лгать: ни писать Тебе на Тебе любезные темы, как бы тая от Тебя «мне любезное», — я не мог; бессознательно приставать к Тебе «о *своем*» не хотел. И я понял, что мы в нашем *молчалии друг к другу* — поняли друг друга; и что это молчание есть наша взаимная друг к другу чуткость, сохраняющая «*свежесть*» мне моей любви к «*Твоему*». И я был прав: мне надо было глубоко-глубоко пережить смерть всего, что может быть смертью: смерть старой жизни, смерть былого круга отношений с людьми, умереть как бы для родины даже, быть бездомным «странником»: жить в мирах своей мысли и беспрепятственно пересекать «континенты» узваний; такие были мы с Асей и среди грохота наглой берлинской жизни, внешне-одинокие, всегда *вдвоем* (и лишь потом вчетвером: Наташа, Асина сестра, с мужем приехала к нам и живет до сих пор: мы здесь «*четыре*»), но и до сей поры «*четыре*» заброшенные — среди «*волков и тигров*» здешней жизни: почти «*красные шапочки*» без бабушки, но с «*волками*»).

Такие же были мы с Асей в горах Норвегии (между Христианией и Бергенем), в Кёльне, в Мюнхене, в Швейцарии, в Нюрнберге, в Швеции, на старом Рюгене, где жил некогда старославянский бог «*Световит*». И вот «*родиной воспоминаний*», новым образовавшимся континентом мы жили (построенным «домом») из переживаний, узваний: не было у нас пристанища: несколько моментов в Бергене, несколько дней в «Норд-Чёпинге» (старый шведский городок), Копенгаген, несколько интимнейших моментов с доктором в старом Нюрнберге, Аркона, снежные горы — здесь, в Швейцарии: и — незабываемое, огромное, «*старое и новое во все времена*» — доктор с нами: Берген, Христиания, Норд-Чёпинг и т. д. окрашены его жестом к нам; так жили мы до часа войны: мысли умерли, слова застыли; я не мог бы с Тобой говорить, потому что в течение 12 месяцев я говорить разучился, как и Ася: и мы тихо молчали: слушали, слышали, улыбались себе и друг другу — становилось «до слез» хорошо; становилось «до слез» дурно; а мы — сидели, ходили, плыли по воде, летели на поездах: из страны в страну, из города в город: и выяснялось все более (еще до войны):

«Твой час настал: теперь — молись».

Что было за последние два года 1915—1916 — закрываю завесу: было все: смерть, разложение, зарытие заживо, гроб, осмеяние, заушение, оплевание; и... «те же мы»: я, Ася; и тот же с нами — наш доктор. Но: «шум времени» отряхнул и вывернул: мы после «должного» сна уже просыпаемся (и это «должно»); не погружаемся, а *вы-гружаемся*; и весь мой жест не от периферии к центру, а из центра к... периферии: к Асе, к близким друзьям, к... вообще друзьям, к... людям, даже... к «литературе», «*дневнику происшествий*», к фельетону, к газете...



И вот хочется мне одного *из первых* обнять Тебя и сказать Тебе: мы «под громом событий» те же братья, как и встарь, и события мира нас по-прежнему спаивают: я Тебе ни «антропософ», ни и т. д., а брат, «Боря»: хочу им быть; хочешь Ты меня или нет — Твое дело: я несу давно уже Тебя в своей душе, как несу я в душе своей многих былых друзей, которые меня, вероятно, «и знать-то не хотят». Тебя, одного из первых, целую: скажи, кого любишь, что и я его люблю; скажи, кому хочешь, что я его приветствую: у меня нет врагов, для меня нет «направлений»; есть братья и сестры далекие и есть братья и сестры близкие. И Ты — первый среди них, которого я люблю.

Прощай. Христос с Тобой.

Боря

Р. S. Я Тебе должен, милый: теперь видишь, что я действительно не в силах отдать что-либо: до «войны» я надеялся к весне быть в России и устраивать свои дела (продавать собрание сочинений): *война* — отрезала. Но, милый, я выплачу Тебе: по возвращении из «фронта» (мы с Тобой скоро идем ведь?), я примусь за *дела*...

Блок. 13 июня 1916. Петроград

...Люба играла вчера в деревне Мурзинке (станция Обухово). Присутствовали местный пристав и мальчишки (на заборе). Вокруг происходило гулянье, так что трудно было говорить, но Люба перекричала всех, и ее вызывали. Люба играла Пшибышевского, акробат упражнялся, артистка дивертисмента танцевала мало-российский гопак.

Звонил Маяковский. Он жаловался на московских поэтов и говорил, что очень уж много страшного написал про войну, надо бы проверить, говорят — там не так страшно. Все это — с обычной ужимкой, но за ней, кажется, подлинное (то же, как мне до сих пор казалось)...

Ночью — разговор с Любой о приближающейся старости.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

16 июня 1916. Петроград

...Не еду потому, что надеюсь (м. б., и тщетно), еще что-нибудь написать. Глухое лето без особых беспокойств в городе, где перед глазами пестрит, но ничего по-настоящему не принимаешь к сердцу, — кажется, единственное условие, при котором я могу по-настоящему работать... Мне очень печально и неудобно, что это так, но для изменения этих условий надо ждать старости (должно быть, ждать больше нечего). М. пр., у меня на виске есть наконец седой волос; он уже, кажется, год, или больше, но Люба признала его только теперь. Однако, мне еще можно сказать, как Дон Карлос сказал Лауре: «Ты молода, и будешь молода еще лет пять, иль шесть...»



Блок. 25 июня 1916. Петроград

...Любочка капризничала, грустила о своей судьбе, вечером сидела на пороге балкона и читала Баратынского...

27 июня 1916. Петроград

...Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряженного с ней — есть *хамство*. Оно подстерегало меня с гимназических времен, проявлялось в многообразных формах, и вот — подступило к горлу. Запаха солдатской шинели — не следует переносить. Если говорить дальше, то эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна и бесконечна, без-образна.

Утром зашла уезжающая на весь день Люба и сказала, что она переменяла взгляд, и мне слишком трудно идти в тяжелую артиллерию...

1 июля 1916. Петроград

...Судьба моя вполне неопределенна. Я готов на все ужю, но мне еще не легко. Одиночество — больше, чем когда-нибудь. Все-таки им уловить меня не удастся, я найду способ от них избавиться.

Написал — и как будто легче. Гордость растет.

Ночью: из комнаты Любы до меня доносится: «Что тебе за охота мучить меня?..» Я иду с надеждой, что она — сама с собой обо мне. Оказывается — роль.

Безвыходно все для меня. Устал, довольноно.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

7 июля 1916. Петроград

...Сегодня я, как ты знаешь, призван. Вместе с тем я уже сегодня зачислен в организацию Земских и Городских союзов: звание мое — «табельщик 13-й инженерно-строительной дружины», которая устраивает укрепления; обязанности — приблизительно — учет работ чернорабочих; форма — почти офицерская — с кортиком, на днях надена ее. От призыва я тем самым освобожден; буду на офицерском положении и вблизи фронта, то и другое мне пока приятно... Начальник дружины меня знает. Сам он — архитектор. Более подробно напишу после. Паспорт уже отдал, и он заменен удостоверением, завтра получу подъемные (недостаточные, придется тратить свои деньги). Получу бесплатный проезд во II классе, жалованье — около 50 р. в месяц. Уеду недели через две, а может быть, и раньше...

Мне очень необходимы мои сапоги черного товара и белые носки. Пошли мне сапоги и носков не более шести пар (которые ты мне подарила) ПОСЫЛКАМИ *по почте*, иначе ничего не придумаешь. Кажется, каждая посылка должна весить не более 14 ф., потому, вероятно придется сделать две или три — без цены. Купить — страшно дорого...

*2 августа 1916. Парохонск*

Мама, я, вероятно, не буду писать особенно часто... Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно, почти ничего еще не делаю. Жить со всеми и т. д. я уже привык, так что страдаю пока только от блох и скуки... теперь мы живем в большом именье и некоторые (я в том числе) — в княжеском доме. Блох, кажется, изведем... К массе новых впечатлений и людей я привык в два дня так, как будто живу здесь месяц. Вообще я более, чем когда-нибудь, вижу, что нового в человеческих отношениях и пр. никогда ничего не бывает... Я очень соскучился о тебе, Любе, Шахматове, квартире и т. д. Лунные ночи олеографические. Люди есть «интересные». Княжеская такса Фока и полицейская собака Фрина гуляют вместе...

Блок — Любе. 4 августа 1916. Парохонск

Люба, один из моих товарищей едет в Петербург и потому я могу написать тебе всякие нецензурные подробности. Мы живем в имении князя Друцкого-Любецкого «Парохонск», верст в 12 от позиций. Я живу в главном доме, сплю, ем, скучаю и ничего не делаю. В 3-х верстах — станция Парохонск на реке Бобрике (как и мы). Это — последняя станция, куда доходят этапные поезда (из Лунинца), дальше идут уже только воинские, часто слышна канонада (глухая), в ясную погоду утром и вечером посещает нас аэроплан, бросающий бомбы главным образом на мост у Парохонска и в станцию Лунинец, где 90 путей. В мост ни разу не попал. В доме и флигелях стекла выбиты, одна бомба упала в палисадник месяца 3 назад. При мне бомб у нас еще не бросали. На горизонте видна иногда дозорная колбаса (привязанный шар), ночью — ракеты и прожекторы. Болот много, но мы сравнительно высоко. Тишина глубокая, несмотря на наших рабочих, которых еще мало. Единственный передовой отряд (их должно быть 4) работает в Чернове (верст 30 от нас — все это есть на штабной трехверстке, если не продадут, достань у кого-нибудь по протекции) — близко от позиций (верст 5—6). До сих пор неизвестно, попаду ли я в передовой отряд. Табельное дело очень просто, но не комфортабельно (как жизнь здесь). Рабочие неизвестно когда будут. Пока хозяйство анекдотическое. Строят телефоны и ватерклозеты. Ем много и, кроме казенного, еще пью молоко, иногда грызу шоколад, угощают конфетами и т. д. В деревне «Камень», куда я приехал на мешках с мукой по узкоколейке из Ловчи (169 верст), я прожил всего два дня, здесь отсыпаясь. Приехала вчера начальникова жена. Начальник милый, совершенно безвольный, помощник его — инженер, поляк, светский, не милый, но тоже безвольный. Пока что — я «помощник коменданта». Такой должности нет, потому я, погуляв и изредка расквартировав вновь прибывших, пью чай и болтаю в той или



другой конторе. Именье большое и запущенное; обед в 1 час, ужин в 7 (или все опаздывает), встаю в 7, в 8-ом (вначале в 6). Живу в одной комнате с Егоровым, Владимиром Николаевичем (сын профессора — техник), паном Протасовичем (тоже техник) и студентом Книппгаузеном (теперь заведует обозом). Рядом живет Идельсон (присяжный поверенный)... и многие другие — кто с текущих счетов, кто студент, всякие. Все это интересно маме, а мне — не очень. Говорят, мы здесь надолго.

7 августа Парохонск

Три последних дня я провел веселее. 4-го мы с таким же свободным от занятий табельщиком Зайцевым решили ехать на позиции, выпросили лошадей, сделали круг верст 20. До позиций не доехали, было жарко, но видели настоящие окопы и проволоку, ездили по болоту и по полотну железной дороги и т. д. 5-го я был командирован с начальником обоза (студентом) покупать бензин. Поехали на грузовом автомобиле, вернулись только вчера (без бензина, но с разными мелкими покупками), сделали верст 80. Шина лопнула, застревали в болотах и песках, ломали мосты, чтобы проехать, ночевали в Лунинце в офицерской гостинице (бесплатно). Я загорел отчаянно, на солнце было градусов 35. Шатались безуспешно по интендантским складам... лавкам и путям железной дороги. Вечером и на следующее утро обстреливали там аэропланы — очень красивые разрывы шрапнели вокруг аэроплана. Оба раза его прогнали, и бомб он не сбросил...

Вчера я купался после поездки в нервный раз как следует — очень приятно. Под усадьбой — река Бобрик, есть места с песчаным дном.

От лошади я, оказывается, не отвык, и мало устал, проехал 20 верст по жаре — всеми аллюрами.

Вчера вечером у нас пели русские и малороссийские — мне очень нравилось.

Однако — скучно. Я бы предпочел жить иначе.

Ну, Господь с тобой. Больше нечего писать. Скучаю о тебе, напиши мне, Бо...

Когда-нибудь пришли сладкого и какую-нибудь закуску — здесь друг друга угощают.

Люба – Блоку. 9 августа 1916. Петроград

...Я тоже об тебе скучаю, а как нарочно корректуру читала... и очень много пришлось реветь. Но только я все диву даюсь — какие, Лалака, ты стихи хорошие сочиняешь! И как это я про них могу временами забывать?!..

Думаю о тебе и о себе часто твоими стихами, и до слез мне нелепо, что мы потеряли какую-то «нитку», и когда-то еще поймаем...

**Блок. 11 августа 1916. Парохонск**

Сегодня мы уезжаем в отряд большой компанией. Там у меня будет, может быть, дело. Вероятно, скоро перейдем на новое место, можем оказаться и совсем в другом — дальше. Письма будут только с оказией; до сих пор еще ни одного письма я не получил.

Эти дни я много ездил верхом, пробовал диких лошадей, вообще недурно провел время...

14 августа 1916. Деревня Колбы

Люба, мы здесь живем отрядом — очень примитивно, но хорошо и дружно. От позиций почти так же далеки, как были. Начальник симпатичный. Народу нас немного — кроме рабочих — человек 10 только. Я почти отчаялся получить письма — до сих пор нет ни одного. Пиши по тому адресу, который я тебе дал, — с маркой и скажи маме об этом. Деревня наша уже другая, скоро будет еще другая, письма и пищу присылают из «штаба» — верст 35. С болота неподалеку от нас виден город, занятый неприятелем, кругом стоят войска. Вообще же, болота совсем не таковы, как их представляешь себе — на разной высоте, не сплошные, частью сухие. Рядом с нами — судоходная река. — Жизнь совершенно новая, я ее «переносю» с легкостью и не без удовольствия, кроме скуки временами. Писать об этом трудно, настолько все иначе, чем у вас...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.**21-28 августа 1916 Парохонск**

Мама, сегодня я получил первые письма — от тебя, от Любы и от Кузьминой-Караваевой*. Твое письмо очень расстроенное. Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работаю довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы — в окопы, в поле и на рубку кольев в лес. Возвращаюсь только к 1 часу, к обеду. Потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и пр.

Сегодня воскресенье, дела, в сущности, нет, поэтому день проходит тихо. Я проснулся в 7-м часу, так как рядом уже копошился начальник отряда. Он — одинокий человек моих лет, семья и имущество остались в Вильне. Он страшно нервный, довольно суетливый, скучает и ищет все время дела, а когда дела нет, старается придумать. Проснувшись, я стал вместе с ним ругать «дачников» (так он называет наш «штаб»), который не присылает нам вовремя мяса, хлеба и т. д. Это его любимая тема. Потом умылись на крылечке, потом пошли в обоз, разбудив заведующего обозом (ему лет 14 по наружности и по развитию, и разбудить его трудно, между тем он должен вставать раньше всех, чтобы распределять подводы). Потом пришли и пили чай, потом я удрал с письмами, потом си-

* Поэт.



дели в конторе и составляли табель. После обеда легли спать, но начальник пришел и стал опять ругать штаб и говорить о политике. Ему, бедному, страшно скучно. Я опять удрал. Заведующий хозяйством сегодня ночью застревал в болоте, потому крепко спит; Идельсон собирается в отпуск, Егоров — в штабе; начальник живет один на фольварке и хочет переманить кого-нибудь из нас к себе, но мы все упираемся, потому что устроились очень уютно. В избе три комнаты, блохи выведены. В одной спят Попов, Идельсон и Глинка, в другой — Игнатов, Егоров и я, в третьей (кухне) — хозяйин или хозяйка и котенок, на чердаке — две милостивые девицы (загнаны нами на чердак), на дворе — стадо гусей, огромная свинья и поросята. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард, повар готовит очень вкусно и довольно разнообразно, обедаем все вместе. Последнее лицо — техник, который скоро уйдет. В сущности, он страшно вредное животное, но для нас большей частью элемент увеселительный, а мне в нем даже многое нравится (мы с ним, между прочим, устраивали скачки на лошадях, он чувствует природу, хотя глуп и очень циничен). Интересы наши — кушательные и лошадиные (кроме деловых), и живем мы все очень дружно. Я надеюсь, что тебя застанет в Петербурге десятник Ащеулов, уморительный старик, хотя он может и приврать. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами, иногда — со служащими в других отрядах. По обыкновению — возникают разные «трения». Полдеревни заселено нашими 300-ми рабочими — туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы с каторги, москвичи (всех хуже и всех нахальнее), петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах. Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье — два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и пр. Раз прошла артиллерия. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет, вокруг него — шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулеметы щелкают. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые, патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, — приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а посередине — поменьше — семинария. Один день — жара, так что не просыхаешь ни на минуту, особенно верхом. Другой день — сильная гроза, потом холодно, потом моросит. Очень крупные звезды. Большая Медведица довольно низко над горизонтом, направо — Юпитер. Описать все это — выходит похоже на любую газетную корреспонденцию, так что, в сущности, нельзя описать, в чем дело. На реке рядом работает землечерпалка, наш штаб хочет заводить катер для доставки нам припасов в распутицу. Телефон обыкновенно испорчен (вероятно, мальчишки на нем качаются). Начальник страшно ругается и очень много говорит о коменданте, расстрелах, повешенье, каторге, порке и пр. К счастью (а иногда, может быть, и напрасно), не исполняет.



К вечеру, когда начинается разговор о том, сколько кто выбросил кубов, сколько вырыто ячеек и траверсов, отчего саперы замедляют с трассировкой п пр., все уже очень хотят спать, даже и начальник иногда; вообще же он может в любую минуту ночи писать пропуск или ругать дачников. Комитеты, поставляющие нам рабочих, высылают сифилитиков, безруких, больных, так что иногда приходится немедленно отсылать их обратно.

28 августа 1916. Парохонск

Сегодня опять воскресенье, время прошло довольно незаметно, за это время произошло много домашних событий (не настоящих). Рабочих прибавилось, пришла большая партия сартов, армян и татар, в пестрых костюмах; они живут отдельно, у них своя кухня, и они во всем резко отличаются от русских — не в пользу последних (стройные, чистые, спокойные, красивые, великолепно работают). — Сегодня пришла опять большая партия, к сожалению, из Москвы. Теперь у нас уже больше 400 человек.

Я ездил с визитом к военным (саперам) с начальником отряда, приезжал начальник дружины с женой, было много лошадиных, аэропланых, телефонных, кухонных и окопных интересов. На работах мы с Глинкой каждый день проводим все утро. Мы строим очень длинную позицию, в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роем новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения — в поле, в лесу, на болоте, на вырубках, вдоль деревень. Вероятно, будем и обшивать деревом, и пр. Впереди висит наблюдатель, иногда с работ видны далеко впереди разрывы снарядов, аэропланы обстреливаются тщетно, как почти всегда. Движения вообще почти нет. Мы живем дружно, очень много хохочем. Сегодня я большей частью сплю, потому что ложусь в 12, а встаю в 6 часов всю неделю. Стоит бабье лето, прохладные безоблачные дни, паутина, желтого еще почти нет. Ближайшие леса почти все из черной ольхи, почва — песок и торф.

Не знаю, когда пошлю тебе это письмо, пошлю когда-нибудь с оказией. От тебя и Любы получил старые письма от начала августа.

Понемногу у нас становится много общего; конфеты и папиросы, которые мы покупаем н лавках в более или менее далеких деревнях, сапожные щетки и ваксы; иногда — кровати, мыло. Я ко всему этому привык, и мне это даже нравится, я могу заснуть, когда рядом разговаривают громко пять человек, могу не умываться, долго быть без чая, скакать утром в карьер, писать пропуска рабочим, едва встав с кровати. Походная кровать очень удобная вещь...

Люба – Блоку. 1 сентября 1916. Петроград

...На днях я в театре встретила Л. Я. Гуревич*; она была мила со мной, как всегда... но, главным образом, весь антракт мы проговари-

* Литератор.



ли про «Розу и Крест». Она виделась со Станиславским, и ей очень надо поговорить с тобой об результатах этой встречи: у нее такое впечатление, что он сам очень хочет ставить, у него хорошие декоративные планы и ему надо, чтобы его в этом поддержали. А план его и мне особенно нравится, я давно об этом слыжала, и мне кажется, к «Розе и Кресту» этот прием очень подошел бы: это декорации, достигаемые одним светом. Ну, грубо говоря: если нужно сцену под деревом, перед рефлектором ставят узоры листьев и на сцене — настоящая тень от дерева; вместо окна, свет через раму и т. д., уж они, конечно, сумели бы извлечь бесконечные эффекты из этого приема. Вот Л. Я. и просит тебя непременно ей позвонить, когда будешь в городе...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

4 сентября 1916. Парохонск

Опять воскресенье, все уехали, единственный день, когда я могу сколько-нибудь отвлечься от отряда и написать письмо... тебе его передаст Конст. Алексеев. Глинка, очень милый, смелый и честный мальчик (табельщик), потомок композитора. Положение усложняется — все мы начинаем скверно относиться к начальнику. Глинка, я думаю, расскажет что-нибудь об этом, я не хочу писать, и так целые дни об этом разговариваем.

Если хочешь, пришли чего-нибудь вкусного вместе с Любой — немного, чтобы Глинке было не тяжело везти — для всех нас.

Как твоё здоровье, я часто думаю о нем. У меня давно нет известий, мы живем в глуши. Позиция, которую мы роём и обшиваем, интересная, многоверстная, рабочих уже 500 с лишком. Детям после войны будет интересно играть в пулеметных гнездах.

Прилагаю письма к Любе и к Любви Александровне.

Я озверел, полдня с лошадьё по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом — вышиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но, когда это прекратится, все покажется сном. Со вчерашнего дня в нашем распоряжении 5 казаков (для порядка). Видимся с саперами, иногда приезжают из штаба. Сегодня к вечеру я жду с нетерпением Егорова и Идельсона, они поехали в штаб и, я надеюсь, подложат свинью технику Брицу, о котором тоже может рассказать Глинка.

Я подумываю об отпуске, но весьма неопределенно, не думаю, чтобы это случилось скоро.

Передай Глинке письмо от себя, от Любы и от Любви Александровны, если она захочет написать...

Бекетова. В октябре Александр Александрович получил месячный отпуск и съездил в Петербург. Любовь Дмитриевна еще осенью уехала в Оренбург, где играла весь зимний сезон в труппе



антрепренерши Малиновской. На пустой блоковской квартире жила я со своей Аннушкой и Пушком (Пушок – собака). Отпуск прошел как-то незаметно, и Ал. Ал. вернулся на Пинские болота к сроку. Еще до отъезда в отпуск он перешел обратно в штаб. Были слухи о каких-то переменах, но оказались ложными...

Люба – Блоку. 3 ноября 1916

...Твои открытки с дороги получила; ох, как я понимаю, что ты пишешь... Да, да, дряхлая старость, только не как конец всего, а как единственная возможность стать опять молодыми, такими, какими мы были, пока не перегрузили свою жизнь всяким, всяким — пусть даже хорошим...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

7 ноября 1916 Парохонск

...Мы сидим с Идельсоном (который тебе просит кланяться) у камина в комнате в княжеском доме после «трудового дня». В доме осталось всего 6 человек, в комнате нас всего 3... Тихо, мягкий снег, время пошло тише. Ничего не произошло существенного... Никуда мы не едем, все по-старому, только – зима. Дни были холодные, но мне тепло в фуфайке и двух одеждах сверху (китель и теплый «пиджак» на вате – на улице). Скучно... Мне стало после поездки здесь как-то труднее, я еще не забыл многого, потом – зима и лошади нет... Я назначен «заведующим отделом» с 1 ноября...

21 ноября 1916 Парохонск

...Жизнь штабная продолжает быть нелепой. Сегодня, впрочем, я чувствую себя лучше, вероятно, потому что проехал вчера верст 10 на хорошей лошади...

Княгиня закатывает нашей компании ужины, от которых можно издохнуть: хороший повар, индюшки, какие-то фарши; вчера я едва дышал...

Обязанности нач. дружины временно исполняет Лукашевич, мы с ним в лучших отношениях, я уже воспользовался этим и повысил плату одному рабочему....

27 ноября 1916 Парохонск

...Жить здесь стало гораздо хуже, чем было летом: гораздо более одиноко, потому что все окружающие ссорятся... а по вечерам слишком часто происходят ужины «старших чинов штаба» и бессмысленное сидение их (и мое в том числе) в гостиной. От этого все «низшие» чины на нас начинают коситься и образуются партии...



Положительные стороны для меня — довольно много работы в последние дни, тревожные газеты, которые я теперь всегда читаю, сильный ветер... Сейчас, кроме того, горят на востоке не то леса, не то болота, зарево в полнеба, колонны дома розовые (вечер) и рядом с заревом встает луна...

6 декабря 1916 Парохонск

...Вероятно, ты получаешь не все письма... Пишу я не часто, очень трудно выбрать время, к сожалению, не потому, что много дела, а потому, что жизнь складывается глупо, неприятно, нелепо и некрасиво. Редкие дни бывает хорошо, все остальные — бесплодно, противоречиво и мелко. Надоедает мне такая жизнь временами смертельно, и я жду хоть весны или лета, чтобы можно было открывать окна и проветривать комнату, полную мелких и пошловатых дрязг. На вызов в театр я почти потерял надежду и даже не стремлюсь к этому, так все неблагоприятно вообще.

От Любы у меня давно нет писем.

Удовольствие мне доставляют твои довольно редкие письма и редкие минуты, когда я остаюсь один (например, вчера к вечеру в поле на лошади)...

О XIX веке я все-таки не меняю мнения, да и сейчас чувствую его на собственной шкуре — меня окружают его детища. Есть и ничтожные, есть и семи пядей во лбу, в одном только *все* сходны: не чувствуют уродства — своего и чужого. Таковы и эстеты, и не-эстеты, и «красивые», и некрасивые. Современные люди в большом количестве хороши разве на открытом воздухе, но жить с ними в одном хлеву долгое время бывает тягостно.

Егоров приезжал из отряда, мы много играли в шахматы. Он ближе других мне, так как очень ленив; лень современного человека все-таки облагораживает...

15 декабря 1916 Парохонск

...Не пишу, кажется, давно, потому что у меня исключительно много работы (Идельсон болен инфлуэнцей), я заведую партией вместо него. Сажу в конторе с утра часов до 7-ми, а потом начинается ужин, шахматы и пр. Работа бывает трудная, но она скрасила до некоторой степени то, о чем я тебе писал...

В отпуск я не поеду... Пока конца нет, пожалуй, здесь лучше, только очень уж одиноко и многолюдно. Я просто немного устал. Очень много приходится ругаться.

Природа удивительна. Сейчас мягкий и довольно глубокий снег и месяц. На деревьях и кустах снег. Это мне помогает ежедневно. Остальное все — кинематограф, непрерывное миганье, утомительное «разнообразие»...



18 декабря 1916 Парохонск

...Я чувствую себя хорошо. Сегодня ночью горел лесопильный завод у нас, а сегодня – на автомобиле – все это развлечение...

27 декабря 1916 Парохонск

...Кроме дела, начались праздники, и все мы находимся в вихре светских удовольствий, что пока приятно, а иногда очень весело. К сожалению, все вечно болеют и валяются в кроватях... Я чувствую себя очень хорошо...



Глава XXIX. «Люба, Люба! Что же будет?..»

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

1 января 1917 Парохонск

...Вчера я получил твое письмо и Любино, третьего дня – тетино и от Жени. Все письма невеселые для меня... Вообще ужасно тревожно и лучше было вчера к вечеру, так что я склонял всех вместе встретить год. Действительно, уж мы его встретили, встречали сегодня до 8 час. утра и мрачное прошло, но сейчас уже опять беспокойно. Я очень беспокоюсь о тебе, также – о Любе...

Пиши мне чаще (или тетя) о твоём здоровье. Мне вообще здесь трудно, и должность собачья, и надоело порядочно, а без писем особенно трудно...

7 января 1917 Парохонск

...Эти дни я получаю письма твои и тетины – о болезни, о докторе, о санатории. Да, я думаю, что в санаторию тебе хорошо поехать, и что, может быть, в Крюкове хорошо... Главное, что за этим может последовать облегчение, хотя бы некоторое; если это совпадет с поумнением всего человечества (на что надежды мало, по крайней мере, сейчас), можно будет подумать, наконец, и о жизни и для тебя и для меня... События окончательно потеряли смысл, а со смыслом – и интерес. Мож. быть, я тоже устал нервно, к тому же – немного болен, сижу в комнате дня три (бронхит и осип так, что говорю шепотом, раскашлял и разругал горло)...

8 января 1917 Парохонск

...Сегодня я чувствую себя гораздо лучше и почему-то веселее. Мож. быть, потому, что я сидел весь день за работой почти один... Бронхит проходит, я все время принимаю лекарство, сделанное для меня земврачихой, посещающей меня (прикомандирована к нам). Очень хорошее средство...

Бекетова. Комнату в санатории «Крюково» наняла тетка Блока Соф. Андр. Отвез Ал. Андр. Фр. Фел., который нарочно приехал для этого в отпуск. Мать Блока уехала в начале февраля...

...Дело касается злоупотреблений* с продовольствием для рабочих, раскрытых отчасти при посредстве Блока, вследствие чего его ожидало очень нежелательное для него повышение, которое не состоялось. Кроме того, были слухи, исходившие из штаба начальника инженеров армии, о возможности расформирования дружины в виду некоторых недочетов в ведении отчетности и работ...

* Возникли осложнения в 13-й инженерно-строительной дружине.



Блок – А.А. Кублицкой-Пиотгух.

14 февраля 1917 Парохонск

...Все, по-видимому, обойдется... зато теперь пришли военные и выставили нас почти из всех помещений, в т. ч., из княжеского дома. Сейчас мы ютимся пока в конторах... Пахнет весной уже два дня. Масляницу мы с Надеждиным* заканчивали в 3-х отрядах, ели отчаянно много, гораздо больше, чем пили, ночевали на чужих кроватях и без конца ездили на лошадях по снежным лесам и равнинам. Это последнее для меня всегда освежительно, но мне сравнительно редко удается это делать, потому что я фактически давно уже почти всегда заведую партией, тщетно мечтая о своем запущенном отделе... Я бы хотел, если все уладится, съездить в отпуск, – в Петроград и в Крюково, а если понадобится – и в Москву...

Блок – Любе. 14 февраля 1917 Парохонск

...Сейчас я узнал из тетиного письма, что ты приедешь в Петербург. Тетя знает, какого рода неприятности постигали нас здесь. Пока все более или менее уладилось. Я бы, если бы знал, что ты в городе, стал бы проситься в отпуск, чтобы увидеть тебя и съездить к маме в Крюково. Когда ты просила денег, я телеграфировал маме, потому что у меня не было. Если бы ты телеграфировала мне теперь, когда приедешь в город, о том, что ты там, для меня бы это было крайне важно. Не знаю, можно ли будет уехать скоро по тысяче причин, но я очень хочу этого и хочу видеть тебя. Я устал порядочно от бестолковости, которой здесь много...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиотгух.

21 февраля 1917. Парохонск

... «Событий» здесь очень много, но все они неописуемы, не имеют ровно никакого смысла и значения. Мне скверно потому главным образом, что страшно надоело все, хотелось бы наконец жить, а не существовать, и заняться делом. Скоро я попрошусь в отпуск и постараюсь его использовать лучше прежнего, если дадут.

Сегодня пришло твое письмо от 12 февраля, шло, следовательно, 9 дней. Я писал тебе неделю назад. Все это дурацкое отсутствие минимальных удобств станет менее заметным, когда можно будет часто иметь дело с лошадьми, ездить верхом. На днях я уже проехал верхом ночью верст восемь, это было очень приятно после зимнего перерыва, хотя морозы еще не совсем прошли.

Писать трудно, потому что кругом орет человек двадцать, прибывают брезент, играют в шахматы, говорят по телефону, топят печку, играют на мандолине – и все это одновременно (а время дня — «рабочее»!)...

* Сослуживец Блока.



Блок. 24 февраля 1917. Парохонск

...Наш барак стоит почти в открытом поле; потому приятно смотреть в окно во все часы. Поле покрыто глубоким снегом, идет вверх, на близком горизонте кучки деревьев (сосен). Это те песчаные бугры, с которых летом иногда можно видеть Пинск. Туда уходит дорога с военным телеграфом, который поет от ветра, там идут длинные обозы без конца, уже много дней. Барак разделен на чуланы, мы живем с Идельсоном, Харуцким (зав. телефонами) и дежурным телефонистом... В 8 часов утра поднимается гвалт, потому что все вокруг встают. Приносят чай, умыванье, все бреются и долго валандаются. Обедать и ужинать (в 1 ч. и в 8 ч) ходят в дом священника в деревню, а среди дня пьют еще чай, где придется. В нашем чулане (всего аршина 4 в шир. и арш. 7 в длину) процветают шахматы, все приходят играть... На потолке украшения – сосновые ветки...

1 марта 1917. Парохонск

...Здесь все по-прежнему – надоело все всем. Единственно, что меня занимает, кроме лошади и шахмат, – мысль об отпуске, который я оттягиваю, отчасти из-за того, чтобы использовать его лучше (увидеть Любу, которая, кажется опять уехала в Москву...).

Несмотря на то, что это болото забыто не только немцами, но и Богом, здесь удивительный воздух, постоянные перемены ветра, глубокий снег, ночью огни в деревенских окнах, все это – как всегда – настоящее. Сегодня ночью, например, мы услышали, что на фронте началась частая стрельба, заработали прожекторы и ракеты, горизонт осветился вспышками снарядов; мы сели на лошадей и поехали на холмы к фронту; пока ехали, разумеется, все прекратилось, но ехать было очень приятно и интересно. Ночь темная, тропинка в снегу, встречные деревья и кусты принимаешь за сани, кажется, что они движутся, остовы мельниц с поломанными крыльями, сильный ветер. Мне прислали, наконец, ту лошадь, на которой я ездил в 1 отряде, очень ее люблю, у нее английская головка...

19-20 марта. Петроград

...Сегодня приехал я в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали, рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Отдохну несколько дней и присмотрюсь. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. — Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Но произойти не могло.

Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, *освещена*, чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима



и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка). Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует».

Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость (это мой способ применяться к среде).

Думаю съездить к тебе; вообще *могу* пользоваться отпуском месяц. Очень жду приезда Любы, которая не пишет ни тете, ни мне...

Сейчас встал, чувствую только, что приятно быть во всем чистом.

23 марта. Петроград

...Три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких «собственностей» — опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем, таких простых чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, бояться здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями (полагаю, Вырубову — в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парнем, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное.

Билеты на ж. д. разобраны надолго, так что выехать к тебе трудно. Пока я жду Любу, которая, вероятно, сейчас у тебя, и все вопросы оставляю открытыми, потому что решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы Фоминой (на законном основании), но я бы охотно не возвращался в дружину, если бы нашел здесь подходящее дело. Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно...



Сейчас мне позвонил Идельсон. Оказывается, он через день после меня совсем уехал из дружины, получил вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) — вся Литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, и ту минуту, когда их опускают в могилу на Марсовом, поле, производится салют с крепости (путем нажатия электрической кнопки).

Сейчас пойду на улицу — смотреть, как расходятся.

2 апреля 1917. Петроград

...В этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исакиевского собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда, порядок очень большой. Всех, кого могли, впустили в церковь, а остальные свободно толпились на площади, не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни тучи великосветских автомобилей, не дающих ходить. Иллюминации почти нигде не было, с крепости был обычный салют, и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов — стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные, «подонки общества» присмирели всюду, что радует меня даже слишком — до злорадства...

Сегодня утром приходил Мейерхольд. Кинематографическая фирма просит «Розу и крест» (после Художественного театра), надо не продешевить.

Все, с кем говоришь и видишься, по-разному озабочены событиями, так что воспринимаю их безоблачно только я один, вышвырнутый из жизни войной. Когда приглядишься, вероятно, над многим придется призадуматься. Впрочем, события еще далеко не развернулись, что чувствуют более или менее все...

Сегодня яркий весенний день. У меня стоит корзина мелких красных роз от Любови Александровны.

Эти дни я много ходил по книжным магазинам, так как мне поручено купить книг для рабочих.

Люба много спит, отдыхает, иногда бывает грустная...

Сейчас принесли мне большую корзину ландышей — неизвестно откуда.

Блок. 14 апреля 1917. Москва

Я — «одичал»: физически (обманчиво) крепок, нравственно распатан (нейрастения — д-р Каннабих). Мне надо заниматься *своим*



делом, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником. Бестолочь дружины (я не имею права особенно хулить ее, потому что сам участвовал в ней), ненужность ее для государства.

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей *слабой силой*) я художник, т. е. свидетель. Нужен ли художник демократии?..

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

15 апреля 1917. Москва

...13-го я прослушал в театре весь первый акт и 2 картину второго. Все, за исключением частных, совершенно верно, и все волнуются (хороший признак). Вишневному надо дать (взамен) несколько новых слов, Массалитинову надо еще немного разрастись, Качалов превосходит, Лужский на верном пути, Гзовская показала только бледный рисунок, паж и Алиса оставляют желать лучшего (это были не Гайдаров и не Пыжова)...

Вчера (14-го) утром меня вызывал Терещенко. Мы завтракали с ним в «Праге». Он такой же милый, как был, без голоса, говорит, что все время читает только мои стихи. Просит позвонить к нему в Петербурге (Любино письмо он читал, но о делах мы почти не говорили)... В театре взял аванс (1000 р.). Вот пока все деловое. В театре все время заседают. Может уйти Немирович и почти наверно — Гзовская.

Уверенности в том, что пьеса пойдет на будущий год, у меня нет.

Мое намерение — скоро уехать в Петербург, где я увижусь с Терещенко. Может быть, из этого что-нибудь выйдет в смысле «устройства». Я хочу побыть совсем один, потому что все-таки чувствую угнетенность. Что потом — будет видно. Устал я без дела...

Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, — происходит в духе *моей* тревоги. Недаром же министр финансов, отправляясь на *первое* собрание с. р. и с. д., открыл наугад мою книгу и нашел слова «Свергни, о, свергни». Отчего же до сих пор никто мне еще не верит (и ты в том числе), что мировая война есть *вздор* (просто, полный знак равенства; или еще: «немецкая пошлость»). Когда-нибудь и это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре...

17 апреля 1917. Москва

...Сегодня вечером я уеду и опущу это письмо на вокзале. Немирович-Данченко сказал мне, что я не понадоблюсь в театре до сентября. Сам он не уходит, но Гзовская почти наверно уходит; что и когда будет с пьесой, не знаю. Отчасти я рад тому, что мой нынешний приезд оказался, в сущности, напрасным, потому что меня все



еще почти нет, я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит. В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты «политикой». Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть справедливым, за «гуманизм» прошлого века. За уродливое пристрастие к «малым делам» история мстит истерическим нагромождением событий и фактов, безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузикально, т. е. бессмысленно...

В сущности, действительно *очень большой художник* — только Станиславский, который говорит много глупостей; но он действительно любит искусство, потому что сам — искусство. Между прочим, ему «Роза и Крест» совершенно непонятна и ненужна; по-моему, он притворяется (хитрит с самим собой), хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя.

Блок. 17 апреля 1917. Москва

...Пускай себе еще повоюют. Каждый лишний день войны уносит культуру. Когда эти тупицы очнутся, тогда они, всегда ненавидевшие культуру, заметят, что чего-то не хватает. Будут жалеть, что «кончилась война» (этим объясняя). На самом деле им просто не будет отгнетения, потому что и мы станем, как они: пошляками.

Сегодня вечером (скоро вот уже) еду в Петербург. В «начало жизни» я почти не верю. Поздно.

Люба – Блоку. 17 апреля 1917. Петроград

...Мне очень спокойно, и я хотела бы с тобой быть, помочь тебе в это головокружное время... Теперь я уже боюсь, чтобы ты оставался здесь — ведь грозят Ленинскими действиями многие рабочие... Если тебя убьют, Лала, я тоже скапучусь — это я опять чувствую. Я тебя очень люблю...

Бекетова. Тем временем Люб. Дм. поступила в труппу, играющую в Пскове летний сезон. Она несколько раз приезжала отсюда к Ал. Ал. и очень звала его к себе, так как город ей особенно нравился своей художественной стариной, но Ал. Ал. туда не собрался, хотя очень этого хотел...

Блок – Любе. 22 апреля 1917. Петроград

...Из Москвы я торопился, надеялся застать тебя, вернулся 18-го, а ты уж накануне уехала. Я уже успел погрузиться в тоску и апатию, не знаю, зачем существую и что дальше со мной будет. Молчу только целые дни. Сколько уж лет я тебя не видел, как скучно и неуютно без тебя, а уж скоро старость. Так всегда — живешь, с кем не хочешь, а с кем хочешь, не живешь... Очень без тебя трудно и горько. Зачем это?



Люба – Блоку. 22 апреля 1917. Псков

...Я живу у двух старых барышень, у которых пансион для маленьких детей, они бывшие институтки, старозаветные, приветливые и любезные хозяйки до крайности... Если ты приедешь на время или подольше... всем будет очень удобно. А Псков — слов нет, какой хороший. Ну, точно маленький итальянский городишко; хожу по улицам с тем же чувством... Все церквушки такие не выдуманные, так органически выросли из земли — точно «хорошие» белые грибы, и у них такой же «простой профиль», как у твоего зайца, но тоже полон содержания и значения, как и у него; и очень много миленькости...

Блок. 22 апреля 1917. Петроград

«Пишете вы или нет? — Он пишет. — Он не пишет. Он не может писать».

Отстаньте. Что вы называете «писать»? Мазать чернилами по бумаге? — Это умеют делать все заведующие отделами 18-й дружины. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю.

Блок – Любе. 23 апреля 1917. Петроград

...Бросила бы лучше*, неустойку заплатим. Едва ли тебе приятно там. Ты прости, что я беспокою письмами, но не знаю, как дальше жить будем. Пожили бы немного вместе. Может быть, впрочем, это слабость; но если эта война будет еще продолжаться, я им сумею отомстить. Я знаю, в сущности, что зову тебя в ужасную жизнь, но не могу не звать, потому что только за тебя хватаюсь. Ты мне нужна, как воздух, без тебя нечем дышать...

Тут бы можно в каком-нибудь театре устроиться, или приготовляться к зимнему сезону...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

26 апреля 1917. Петербург

Это верно, что я «в вате», но мне не менее трудно жить, чем тебе, и физически, и душевно, и матерьяльно; кроме того, я с утра до вечера нишу, сосредоточиваясь на одной теме, очень мучающей меня и трудной для меня. У Любы тоже большие затруднения, и она не в духе. Оттого у нас в квартире такая тяжелая атмосфера. Потому не будем ссориться.

Блок – М.И. Терещенко. 30 апреля 1917. Петроград

Михаил Иванович.

Моя служба в 13-й инженерно-строительной дружине противна мне своей неопределенностью и бесполезностью. Срок отпуска истек, меня вызывают и грозят откомандированием. Быть рядовым я не сумею, идти в военное училище, кажется, поздно, да вряд ли

* Службу в псковском театре.



из меня выйдет полезный офицер. Помогите мне найти выход из этого положения. Если я вообще нужен, то, вероятно, можно найти какое-нибудь применение, и моим силам сейчас, пока не кончена война: силам не моим, собственным, а силам ратника II разряда 1902 года Блока.

Выполнять свое назначение в таком положении я не могу, так как я военнообязанный и не хочу укрываться. Если найдете возможным, прошу вас помочь мне делом или советом найти выход из моего положения.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

2 мая 1917. Петербург

О твоём письме к *** я знаю, так как однажды видел ее. Ты рассчитываешь на психологические воздействия, я же в них окончательно не верю (и никогда не верил) и вижу в этом разные комбинации действия воли на расстоянии. Теперь я (и ты своим письмом) отвел эту слепую женщину от тебя и подвел к Любе.

Это — род эксперимента, проявления власти; на то и жизнь художника, чтобы играть, пока играется (мы с тобой добры и не употребим игры во зло). В конце концов, то, чего ты боишься, миновало; я уже живу этим. Питаюсь я теперь воздухом и обещаниями. Страшнее всего — скука. Если бы мир прекратил свои надоевшие всем и бездарные занятия (я говорю, конечно, о войне), с которыми он лезет и пристает (всякий волен быть бездарным в своей комнате, но навязывать свою бездарность на улице — неприлично), я бы мог, вероятно, сейчас заняться делом; но, пока я вишу в воздухе, поневоле приходится довольствоваться эпистолярными излияниями.

Вас в Шахматове я плохо себе представляю в этом году. Главное — вопрос продовольствия для тебя...

Если даже меня возьмут в солдаты, и это, может быть, не потрясаяще. Во всяком случае, всем нужно помнить, что каждый день приносит новое, и все может повернуться совершенно неожиданно. Жалеть-то не о чем, изолгавшийся мир вступил, во всяком случае, в *ЛУЧШУЮ* эпоху...

Блок – Любе. 3 мая 1917. Петроград

...Я обратился к Терещенке с просьбой, но ответа не получаю и мало надеюсь на него, потому что как раз эти дни длится кризис, ему не до того, да и хочет ли он, сомневаюсь. Это — немного слишком высокая инстанция для таких просьб, но я обратился к нему, потому что очень люблю и ценю его, он меня любит тоже (в Москве мы виделись). Он — настоящий художник, таких почти не существует.

Повторять ли тебе просьбу о приезде? Нет особой нужды для тебя сидеть там, а что еще будет дальше, я не знаю.

В ту минуту, как я это пишу, принесли твое письмо от 22-го, вскрытое военной цензурой. Тебе там хорошо, я вижу, жалко звать



тебя, маленького. Из того, что ты пишешь о «старозаветных» барышнях и из того, что письмо нагло вскрыто, я вижу, что в Пскове пахнет войной, т. е. гнилью и разложением, боюсь, что пахнет даже всеми теми пошляками, которые арестованы. Как ты пишешь странно, ты не прослулась еще. Уезжая отсюда, ты мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах?..

Тетя уедет 7-го, я почти не вижу с ней; но когда она уедет, станет как-то беспочвеннее в квартире... Все это неважно; но как-то все один, да один, думаешь свои мрачные думы, как бы не застигло врасплох «оно» (разумея под этим что-нибудь хаотическое и бессмысленное, все к той же войне что ли относящееся, не знаю). Про дела свои как-то не хочу тебе писать сейчас; пока на плечах картон с галуном, нет почвы настоящей, каким-то подлецом и пошляком себя чувствуешь. А я бы еще пригодился кое на что.

Франца отрешили от дивизии («омоложение») и дали ему запасную бригаду...

Блок. 5 мая 1917. Петроград

...Терещенко не отвечает, тут есть и то, что он *не хочет*. Я обратился к нему не потому, что он высокая инстанция, а потому, что я его люблю и он по отношению ко мне был всегда жестоко-честен. Но если он не хочет, я не отступлюсь от своего «дезертирства»: я семь месяцев валял дурака. Если меня спросят, «что я делал во время великой войны», я смогу, однако, ответить, что я делал дело: редактировал Ап. Григорьева, ставил «Розу и Крест» и писал «Возмездие».

Блок – Любе. 8 мая 1917. Петроград

...В кратких словах: я один из 3-х редакторов Чрезвычайной следственной комиссии, хожу в Зимний дворец, читаю письма Николая Романова, работаю дома и должен работать, соблюдая тайну. Надеюсь присутствовать на допросах. Жалованье — 600 рублей.

Если будет время, я бы приехал к тебе, моя маленькая Бу. Но я бы очень хотел, чтобы ты жила здесь, все-таки. Если деньги тебя беспокоят, то, как видишь, не стоит о них думать; а ты бы тут лучше могла как-нибудь пристроиться или приготовиться к зиме...

Люба – Блоку. 11 мая 1916. Псков

...Что же мне притворяться? Вероятно да, еще и теперь не прослулась я: сегодня Вознесение, я встала рано, в 7 часов и пошла на Детинец; там растут березы и сирень, зеленая трава, на остатках стен, далеко под ногами сливаются Пскова и Великая, со всех сторон белые церквушки и голубое небо, — мне было очень хорошо, только отчаянно хотелось, чтобы и ты был тут и видел...



Блок – Любе. 14 мая 1917. Петроград

...Все это прекрасно, что ты пишешь о своей жизни там, и то, что ты не проснулась, и то, что ты утром ходишь к Псковскому детинцу, и что обо мне думаешь (я заслужил это,— представь себе, я в этом уверен, — несмотря на всю свою жизнь, более мрачную и более дикую, чем твоя). То, что ты пишешь, подтверждает мои вечные мысли о тебе. Но я тоже скажу,— что же мне притворяться? Мне страшно недостает тебя, все чаще, несмотря на то, что моя жизнь наполнена до краев (я все еще пишу тебе об этом, кажется 5-й или 6-й раз). Иногда, так тебя не хватает, трудно сказать, например, сейчас; у меня есть тихий час, посидеть бы с тобой. Завтра опять будет очень ответственный день, я буду и во дворце, и в крепости. Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. Я надеюсь пока удержаться здесь, хотя меня опять треплют (скучно описывать возникшую обо мне переписку). У меня очень напряжены мозг и нервы, дело мое страшно интересно, но оно, действительно, трудное и берет много времени и *все* силы. Жить так внешним образом (в смысле прислуги и пр.) я тоже мог бы здесь без тебя (не скрываю), хотя кое в чем иногда хотел бы помощи (не в пустяках, право, просто иногда времени не хватает на пустяки). Но время такое, положение такое, что не знаешь, что завтра будет; все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтоб был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это — натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало; и жду этого я, никогда не ошибавшийся...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

18 мая 1917. Петербург

...Меня опять треплют: в ответ на телеграмму Муравьева Лодыженский (начальник дружины) ответил, что Идельсон уже взят, а выемка из дружин «ценных сотрудников» (это про меня!) вредит их деятельности, поэтому он *просил бы* отменить просьбу об откомандировании меня. Муравьев ответил письмом (сочиненным Идельсоном), что мне поручена очень ответственная работа, которая займет непродолжительное время, поэтому он *настаивал бы* на моем откомандировании. Не знаю, что выйдет из этого, меня это уже не волнует, говорят, можно потом продлить еще...

Блок. 20 мая 1917. Петроград

...Сейчас позвонил Женья: у него родилась дочь, он зовет меня крестить...

Вечер ясный, где-то за городом, к взморью, большой дым. Как-то тревожно все, неблагоприятно, и нежелательные мелочи на улицах. Как мне в такие дни нужна Люба, как давно ее нет со мной. Пожить бы с ней; так, как я, ее все-таки никто не оценит — все



величие ее чистоты, ее ум, ее наружность, ее простоту. А те мелкие наследственные (от матери) дрянные черты — Бог с ними. Она всегда будет сиять.

Нет, не надо мечтать о Золотом веке. Сжать губы и опять уйти в свои демонические сны.

Блок – Любе. 23 мая 1917. Петроград

...Не навестишь ли ты своего Хозяина, если не думаешь совсем переехать к нему? Я бы и на твоём месте хотел быть ближе к центру, когда в стране так тревожно. Сейчас — никакие неожиданности не исключены (в том числе, и театральные). А говоря не официальным языком, — вместе, вместе надо быть, скучаю без тебя; комната твоя — чужая, загроможденная, и в ней — не твой беспорядок...

28 мая 1917. Петроград

...Я не склонен особенно оспаривать то, что ты пишешь. Могу сказать только одно: если это, действительно, правда (а в этом много правды, но есть и другие), это только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зрения — несколько обывательская, надо подняться выше.

Мне на днях или через некоторый промежуток времени надо идти в войска (если ты читала приказ Керенского). Я еще никаких решений не принял и не вижу ясно, а много работаю. Вчера обошел я 18 камер. Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать внимание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед...

Блок. 21 мая 1917. Петроград

...Отдыхая от службы перед обедом, я стал разбирать (чуть не в первый раз) ящик, где похоронена ***. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья («счастья», да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал; но сколько осталось. И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора. Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющем от белой ночи



и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только ее слезы... Бедная, она была со мной счастлива. Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие, чуткие волосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы.

Никого нельзя судить. Человек в горе и в унижении становится ребенком... Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого нельзя судить...

Вспоминай еще — больше, больше, плачь больше, душа очистится...

28 мая 1917. Петроград

...Написал письмо Любе; очень нехорошее письмо, нехорошее — моей милой. Не умею писать ей. Никогда не умел ее любить. А люблю...

3 июня 1917. Петроград

Утром приехала Бу, спит на моем диване. Очевидно, я сегодня мало буду делать. Письмо маме.

Да, я ничего не делал. Приезд милой так всполошил меня, «выбил из колеи».

Вечером мы были с ней в каком-то идиотском «Луна-Парке», в оперетке, но она все-таки была довольна, я был *этому* рад.

Ночью — на улице — бледная от злой ревности Дельмас. А от Нолле-Коган* лежит письмо. «Они» правы все, потому что во мне есть притягательная сила, хотя, может быть, я догораю...

4 июня 1917. Петроград

...Ночью бледная Дельмас дала мне на улице три розы, взятые ею с концерта (черноморского флота), где она пела и продавала цветы.

Милая моя, мы, если будем, состареемся, и тогда нам с тобой будет хорошо...

8 июня 1917. Петроград

...Ночью заходила Дельмас, которая вчера гуляла с моряком в Летнем саду. Запах гари от фабрик (окна настезь) не дает уснуть.

Надо всем — белые ночи. Люба, Люба! Что же будет?

9 июня 1917. Петроград

...В 2 часа знойного дня — вдруг свое. Меня нет до ночи. Будто бы — потерял крест, искал его часа два, перебирая тонкие травинки и звенящие трубки камыша, весь муравейник под высохшей корявой ольхой. А вдали — большие паруса, треск гидроплана,

* Литератор.



очарование заката. И — *как всегда*. Возвращаюсь — крест лежит дома, я забыл его надеть. А я уже, молясь Богу, молясь Любе, думал, что мне грозит беда, и опять шевельнулось: пора кончать.

13 июня 1917. Петроград

...Увядаящая брюнетка в трамвае. Мы изучали друг друга. Под конец по лицу ее пробежало то самое, чего я ждал и что я часто вызывал у женщин: воспоминание, бремя томлений, приближение страсти, связанность (обручальное кольцо). Она очень устала от этого душевного движения. Я распахнул перед ней дверь, и она побежала в серую ночь. Вероятно, она долго не оглянется.

Опять набегают запредельная страсть, ужас желания жить. У нее очень много видевшие руки; она показала и ладонь, но я, впивая форму и цвет, не успел прочесть этой страницы. Ее продолговатые ногти холены без маникюра. Загар, смуглота, желающие руки. В бровях, надломленных, — невозможность...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиотух.

15 июня 1917. Петроград

...«Исполнительная Комиссия» Дружины наконец откомандировала меня, прислав мне выписку из протокола заседания, где сказано, что «они выражают глубокое сожаление по поводу утраты редкого по своим качествам товарища» и считают, что «если состав Верховной Следств. Комиссии будет пополняться такими людьми, то Революционная Демократия должна быть спокойна и уверена в том, что изменники и деспоты отечества не избегнут справедливого приговора народного Правосудия» (!!!Вот что наделала переписка с Лодыженским!!!)».

«Есть упоение в бою» – слова Председателя «пира во время чумь»...

Блок. 17 июня 1917. Петроград

...Ночью (Л. А. Дельмас): от нескольких дней у моря — в обаянии всех благоуханий, обаятельная и хозяйственная, с какими-то слухами, очень важными, если они оправдаются (о предложениях Америки), какие могут узнавать только красивые женщины и, узная, разносить, равнодушными и страстными губами произнося умные вещи, имеющие мировое значение...

19 июня 1917. Петроград

...Растерянность разных растерях. Слухи о вчерашних страхах и о сегодняшних манифестациях на Невском, и будто наши прорвали в трех местах немецкий фронт...

Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что



этот порядок величаво и спокойно оберегается ВСЕМ революционным народом...

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если *нас* перережут во имя ПОРЯДКА...

Блок – Любе. 1 июня 1917. Петроград

...Работаю я много, бывают дни интересные, бывают просто трудные, пустых почти не бывает. Вообще, за это время моей жизни будет, что вспомнить, хотя я очень устаю временами и чувствую, как меняюсь, старею что ли, и государство затягивает меня в машину...

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту, действительно, «опоясана бурей» и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов Солдатских и Рабочих Депутатов и, вообще, вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым — бесследно прошедшим.

Все это — только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, увы, часто противоположные моим, что ставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда — просто ненавидеть «интеллигенцию». Если «мозг странь» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми...

Блок. 24 июня 1917. Петроград

...Вдруг — несколько минут — почти сумасшествие! (какая-то советь, припадок, как было в конце 1913 года, но острее), почти невыносимо. Потом — обратное, и до ночи — меня нет. Все это — к «самонаблюдению» (господи, господи, когда наконец отпустит меня государство, и я... обрету свой, русский язык, язык художника?). К делу, к делу...

25 июня 1917. Петроград

...И разбит, и устал, и открылен, и желаю — и рабочий, и пьяный закатом — все вместе...

Какие странные бывают иногда состояния. Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума. Это — когда наплывают тучи дум, прорываться начинают сквозь них какие-то особые лучи, озаряя



эти тучи особым откровением каким-то. И вместе с тем подавленное и усталое тело, не теряя усталости, как-то молодеет и начинает нести, окрыляет. Это описано немного литературно, но то, что я хотел бы описать, бывает после больших работ, беспокойных ночей, когда несколько ночей подряд терзают перестояющие сны.

В снах часто, что и в жизни: кто-то нападает, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх?

Иногда я думаю, что я труслив, но, кажется, нет, я не трус. Этот страх пошел давно из двух источников — отрицательного и положительного: из того, где я себя испортил, и из того, что я в себе открыл...

28 июня 1917. Петроград

...Л. А. Дельмас пела Кармен в Народном доме. Или я устал, или «привык», или последний раз она опять меня пленила? Но запустую болтовней я слышу голос соловьиный...

30 июня 1917. Петроград

...В 12 часов ночи, в минуту, когда я дописал записку милой, погасло электричество и стал особенно заметен этот едкий запах гари: фабрики и давно уже где-то в окрестностях горящий торф.

Месяц на ущербе за окном над крышами на востоке — страшный, острый серп. А под окном целуются, долго и сладко целуются. Женщина вся согнулась — таким долгим и томным изгибом закинулась на плечо мужчины и не отрывает губ. Как красиво. А я сижу при двух свечах...

Люба – Блоку. 2 июля 1917. Псков

...Я оказалась, довольно даже и для себя неожиданно, заправской социал-демократкой – по поводу конфликта, вышедшего у нас с дирекцией. Оказалось, что я и чувствую и поступаю, как с.д., и я была очень этому рада...

Блок. 3 июля 1917. Петроград

Дельмас, воротясь домой, позвонила: на улице говорят: «Долой Временное правительство», хвалят Ленина...

4 июля 1917. Петроград

...Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда уже не вернуться к искусству?..

6 июля 1917. Петроград

...Слух об аресте Ленина...

О, грешный день, весь Петербург грешил много и работал, и я – много работал и грешил.

Люба. Люба. Люба...



12 июля 1917. Петроград

...Я по-прежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действительные воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо — сейчас пустое для меня (вся моя жизнь под этим углом, и как это случилось). То есть, утвердив себя как *художника*, я попутался тем, что узаконил, констатировал *середину* жизни — «пустую» (естественно), потому что — слишком полную содержанием преходящим. Это — еще не «мастер» (Мастер)...

13 июля 1917. Петроград

...Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю.

Я могу шептать, а иногда — кричать: оставьте в покое, не мое дело, как за революцией наступает реакция, как люди, не умеющие жить, утратившие вкус жизни, сначала уступают, потом пугаются, потом начинают пугать и запугивают людей, еще не потерявших вкуса, еще не «живших» «цивилизацией», которым страшно хочется пожить, как богатые.

Ночь, как мышь, юркая какая-то, серая, холодная, пахнет дымом и какими-то морскими бочками, глаза мои как у кошки, сидит во мне Гришка, и жить люблю, а не умею, и — когда же старость, и много, и много, а за всем — Люба.

Дети и звери. Где ребята, там собака. Ребята играют, собака ходит около, ляжет, встанет, поиграет с детьми, дети пристанут, собаке надоест, из вежливости уж играет, потом — детям надоест, собака разыграется. А день к вечеру, всем пора домой, детям и собаке спать хочется. Вот это есть в Любе. Травка растет, цветочек цветет, лежит собака пушистая, верная, большая, а на песочке лепит караваи, озабоченно высыпает золотой песок из совочка маленькая Люба.

Баюшки, Люба, баюшки, Люба, Господь с тобой, Люба, Люба...

5 июля 1917. Петроград

...Ночью вопит сумасшедший: «Темные силы! Дом 145, квартира 116, была хорошенькая блядь Надя, ее защищал полицейский!» Требуется, чтобы его вели в комиссариат. Его ведут к Николаю Чудотворцу, уговаривая: «Товарищ, товарищ, не надо ломаться». Он кричит: «Прикрываясь шляпой!»

Ночью телефон с Дельмас — ее брат ранен на войне и умер в Киеве.

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

16 июля 1917. Петроград

...Вчера я попал случайно к Жене Иванову, видел его жену — которая тебе просила кланяться и которая изменилась к лучшему,



как будто успокоилась от ребенка, — и свою крестницу. Они меня накормили многими кушаньями. Они получают по 175 р. в месяц, живут в пустой квартире, где нанимают дорогую и сырую комнату, но купили себе диван хороший и пр., так что — не так плохо, как можно было думать...

Люба – Блоку. 18 июля 1917. Псков

...Как мне не терпится уехать отсюда и перестать быть «провинциальной» актрисой... Наконец, и мне очень хочется пожить около Лалы, понабраться «настоящего», да и время такое, что надо быть вместе, как ты писал и как я чувствую теперь...

Блок – Любе. 20 июля 1917. Петроград

Милая, я тебя очень жду.... Конечно, очень много надо решить, и о тете, и о разном. Писать об этом не стоит, лучше, не торопясь, поговорим. Когда так долго не видишься с тобой, часто нужно многое сказать, обо многом советоваться, потом это заслоняется другим, входишь в другую колею. Что со мной будет (в смысле войны), я еще совершенно не знаю; пока — дела много, из-за этого многое забываешь. Так много с тобой не сказано, что даже, когда пишу, одолевает торопливость. Как хорошо, что тебе надоело быть «провинциальной актрисой», у меня к этому много бывает разных чувств. Ну, до свиданья, выезжай, как только можешь скорей...

Блок. 23 июля 1917. Петроград

...Восхитительные минуты (только минуты) около вечерних деревьев (в притоне, называемом «Каменный остров», где пахнет хамством). Дельмас я просил быть тихой, и она рассказала мне, как бывает, сама того не зная, только ужасы...

27 июля 1917. Петроград

...Вечная гнусность, стародавняя пошлость... преследует и здесь, преследует на каждом шагу, идет по пятам. И я *хорошо* понимаю людей, по образцу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки — обернуться, размахнуться и дать в зубы, чтобы на минуту отстал со своим полуполезным, полувредным (=губительным) хватанием за фалды.

Усталость, лень, купанье, усталость. Черно, будущего не видно, как в России...

29 июля 1917. Петроград

...Усталость моя дошла до какого-то предела, я разбит. Ленивое занятие стенограммами. Досаду на Любу, зачем она сидит там и не едет, когда уже поздно...



1 августа 1917. Петроград
Милая приехала утром...

2 августа 1917. Петроград

... Как Люба изменилась, не могу еще определить в чем. — Купанье.

3 августа 1917. Петроград

Люба встала в 6 часов утра и побежала на Варшавский вокзал за молоком; вообще увлеклась хозяйством...

Вечером мы с милой нашли для тети маленькую комнату в соседней с нами квартире за 45 рублей!..

Душно, жарь, в газетах что-то беспокойное. Я же не умею потешить малютку, она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слушать мои разговоры. Я сам чувствую тяжесть и нудность колес, вращающихся в моем мозгу и на языке у меня. «Старый холостяк».

Люба говорила сегодня, что думала в Пскове о коллективном самоубийстве (гоже!). «Слишком трудно, все равно — не распутаемся». Однако подождем еще, — думает и она.

Все полно Любой. И тяжесть и ответственность жизни суровой, и за ней — слабая возможность розовой улыбки, единственный путь в розовое, почти невероятный, невозможный...

Тоска. Но все-таки я кончаю день не этим словом, а противоположным: Люба...

Происходит ужасное: смертная казнь на фронте, организация боеспособности, казаки, цензура, запрещение собраний. Это — общие слова, которые тысячью дробных фактов во всем населении и в каждой душе *пылят*...

Люба...

Блок – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

4 августа 1917. Петроград

...По твоему последнему письму я вижу, что твое беспокойство все больше питается шахматовской глушью. Тем не менее, хотя я очень понимаю это, я считаю, что теперь тебе надо еще там остаться некоторое время, что это будет, в общем, полезнее. Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую (с вечной водевильной примесью) полосу, все тащат «тягостный ярем». Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить. Спасает только работа, спасает тем, что, организуя, утомляет, утомляя организует. Люба и работа — больше я ничего сейчас не вижу...

6 августа 1917. Петроград

...Между двух снов:



— Спасайте, спасайте!

— Что спасать?

«Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными!

Но — спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревьям, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя Бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сгорит.

Такие же желто-бурые клубы, за которыми — тление и горение... стелются в миллионах душ, — пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и Бог не посылает его!

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше «древнее благочестие» надолго заслонило от нас промышленный путь; Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!

15 августа 1917. Петроград

Кузьмин-Караваев занимает важный пост около Савинкова в политическом отделе военного министерства. Он рассказал Любе кое-что «не подлежащее оглашению» (борьба против существующего заговора черносотенцев, отношение к Керенскому). Смысл всего, с моей точки зрения, — крупная и талантливая игра.

Пустота никогда не остается незаполненной.

Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, как давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были между-революционные годы, утомившие и истрепавшие душу и тело. Теперь — опять налетевший шквал (цвета и запаха еще определить не могу)...

Компания театра Коммиссаржевской, Зинаида Николаевна* (близость с Керенским), сологубье, териокская компания, военное министерство нового режима, «Балаганчик» — произведение, вышедшее из недр департамента полиции моей собственной

* Гишпиус.



души, Распутин (рядом — скука), Вяч. Иванов, Аблеухов*, Ремизов и эсеровщина — вот весь этот *вихрь атомов* космической революции. Когда, куда и какими мы выйдем из него, мы ли с Любой выйдем?..

Парк и купанье. В Шувалове я дважды видел Дельмас; она шла своей красивой летящей походкой, в белом, все время смотря кругом, очевидно искала меня.

20 августа 1917. Петроград

Мама приехала...

21 августа 1917. Петроград

Люба была ночью в «Бродячей собаке», называемой «Привал комедиантов»...

Женю Иванова я готов иногда поколотить. Можно ли быть таким робким и распущенным! Мне придется работать над его «редакцией» больше, чем сам бы я работал.

Какие вообще люди бессознательные и недобросовестные: одни — от лени, злобности, каверзости и «наплевать», другие — от слюнявости, робости, вялости.

В «Бродячей собаке» выступали покойники: Кузмин и Олечка Глебова, дилетант Евреинов, плохой танцор Ростовцев.

Сегодня Бу у дантиста...

26 августа 1917. Петроград

После занятий, во второй половине дня, — в комиссию. Хождение по следовательским камерам, комната переписчиц, стенограммы. Председатель велел представить записку о необходимости третьего редактора...

28 августа 1917. Петроград

...Слух, что Корнилов идет на Петербург...

29 августа 1917. Петроград

...Кузьмин-Караваев назначен начальником штаба того отряда, который должен принудить к сдаче корниловские войска в Луге.

Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и муку, по случаю моих завтрашних именин.

Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно *унижение*, и это заметно, как только прерывается работа...

30 августа 1917. Петроград

«Имянины». Еда. Л. А. Дельмас прислала мне цветы и письмо; завтракали мама, тетя... Женя... Жене я больше не дал работы (бедному); днем и за бедом сидел Чулков. Любочка нарядилась, угощала, болтала; купила мне мохнатых розовых астр (детских).

* Персонаж романа «Петербург» Белого.



Я измучен, как давно не был...

12 сентября 1917. Петроград

Давно нет желания записывать. Все разлагается. В людях какая-то хилость, а большею частью — недобросовестность. Я скриплю под заботой и работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но ходят многие слухи.

У мамы вчера был припадок.

С Любой на днях была ссора. Я очень ясно определил для себя худшую сторону положения. Настолько ясно, что коротко и ярко мучился, а потом опять забыл главное, погрузившись в эту чужую работу.

3. Гиппиус. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.

Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я, спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!), объясняю, в чем дело. Зову к нам, на первое собрание.

Пауза. Потом:

— Нет. Я, должно быть, не приду.

— Отчего? Вы заняты?

— Нет. Я в такой газете не могу участвовать.

— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.

— Вот война,— слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный. — Война не может длиться. Нужен мир.

— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?

— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.

У меня чуть трубка не выпала из рук.

— И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

— Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира, они...

Тут уж трудно было выдержать.

— А Россия?!.. Россия?!..

— Что ж Россия?



— Вы с большевиками и забыли Россию. Ведь Россия страдает!
— Ну, она не очень-то и страдает...

У меня дух перехватило. Слишком это было неожиданно. С Блоком много чего можно ждать, но не этого же. Я говорю спокойно:

— Александр Александрович. Я понимаю, что Боря может... Если он с большевиками — я пойму. Но ведь он — «потерянное дитя». А вы! Я не могу поверить, что вы... Вы!

Молчание. Потом вдруг точно другой голос, такой измененный:

— Да ведь и я... Может быть, и я тоже... «потерянное дитя»?..

Блок. 13 октября 1917. Петроград

...Боря (А. Белый) обедал у нас 9-го октября...

18 октября 1917. Петроград

Освободите меня прежде от воинской повинности, и тогда уже предлагайте к театру, литературе и ко всему вообще настоящему...

19 октября 1917. Петроград

...Вчера — в Совете рабочих и солдатских депутатов произошел крупный раскол среди большевиков. Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что выступление 20-го нужно, каковы бы ни были его результаты, и смотрели на эти результаты пессимистически. *Один только Ленин* верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране.

Таким образом, те и другие — сторонники выступления, но одни — с отчаянья, а Ленин — с предвиденьем доброго. Некоторые полагают, что выступления не надо, так как оно подорвет голоса в Учредительном собрании и в партии большевиков, которая сейчас сильна...



Глава XXX. «Сегодня я потерял крылья...»

Блок. 4 января 1918. Петроград

... Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее.

5 января 1918. Петроград

...В голосе этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет.

Ожеребится эта — другая падаль поселится за переборкой, и так же будет выть, в ожидании уланского жеребца.

К чорту бы все, к чорту! Забыть, *вспомнить другое.*

7 января 1918. Петроград

Н а ч а л о (с Л ю б о й)

Жара (синее и желтое). Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит. Разговор про то, как всякую рыбу поймать. (Как окуня, как налима.)

Входит Иисус (не мужчина, не женщина). Грешный Иисус.

Красавица Магдалина.

Фома (неверный) — «контролирует». Пришлось уверовать — заставили — и надули (как большевики). Вложил персты — и стал распространителем: а распространять *ЗАСТАВИЛИ* — инквизицию, папство, икающих попов, учредилки.

Андрей (Первозванный) — слоняется (не сидится на месте): был в России (искал необыкновенного).

Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу). Их стыдили.

Grand style*.

Мать (мати) говорит сыну: неприлично (брак в Кане)...

Если бы Люба почитала «*Vie de Jésus*»** и по карте отметила это маленькое место, где он ходил.

А воскресает как?

Загаженность, безотрадность форм, труд...

Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость). «Апостол» брякнет, а Иисус разовьет.

Нагорная проповедь — митинг.

* Большой стиль (англ.)

** «Жизнь Иисуса» Э. Ренана.



Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули. Правда того, что они улизнули (Польше ничего и не надо, остальное — судебная комедия).

Большая правда: кто-то остался.

У Иуды — лоб, нос и перья борода, как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность).

«Симон» ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не ладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут же — проститутки.

20 февраля 1918. Петроград

...Лишь тот, кто так любил, как я, имеет право ненавидеть. И мне — быть катакомбой.

Катакомба — звезда, несущаяся в пустом синем эфире, светящаяся.

22 февраля 1918. Петроград

...Днем у меня моя устала, больная, бедная мама. — Люба вечером в «Привале комедьянтов». Сговорила читать «Двенадцать» в течение месяца за 900 руб. («гвоздь программы»).

26 февраля 1918. Петроград

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет *буржуа* с семейством (называть его по имени, занятия и пр. — лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — раздаётся за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он.

Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана.

28 февраля 1918. Петроград

...Вечером — у мамы, с Любой. Мама несчастная — слабая, говорит вялым голосом — всегда уж, квартира ее ужасная, нелепая.



Тетя несчастная – опять свалилась на сугробе, растеряла портфель, который утащил трамвай. – Самое трудное. Сегодня я потерял крылья, и не верю потому. Опять – ложь на 10 лет. А там – старость, бездарность.

9 марта 1918. Петроград

Безделье, возня с бумажками, злые и одинокие мысли. Бурная злоба и что-то особенно скребет на душе...

Белый – Блоку. 16-17 марта 1918. Москва

...Какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле». Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещице те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: *я это знаю*. То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там зревает крах такой же, как и у нас: *я это знаю... наверное...* Еще многое будет...

Сказка иль сон?

«Доспех тяжел, как перед боем!... Теперь — молись...» В горах Швейцарии я давно уже распрощался со старым миром... В Англии воочию видел: «Пора смириться, сер»... И «И в собрании каждом людей эти *тайные сыщики* есть»... Если Россия и Европа не стряхнет с себя *«железную пяту»*, — скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения... Лучше анархия, гибель, смерть, чем *то*, что *замыслил «сер»* из Твоего стихотворения: казнь первенцев замыслена...

По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не *«простят» «никогда»*... Кое-чему из Твоих фельетонов... и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим.

Помни: Ты всем нам нужен в... *еще более* трудном будущем нашем... Будь мудр: соединишь с отвагой и осторожностью. Крепко обнимаю Тебя, и люблю, как никогда...

Блок. 19 марта 1918. Петроград

Маме 58 лет. Днем у мамы. Тише гораздо и у нее и во мне. — Люба вечером говорит со своим Советом рабочих и солдатских депутатов (местным) и «Бродячей собакой»...

23 марта 1918. Петроград

Женя переезжает в нашу дальнюю комнату. Несчастный. — Ужасный день. Никуда я не выходил...

Блок – Белому. 9 апреля 1918. Петроград

...Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать



частую физическую дрожь... Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.

В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от непрошедшей еще усталости.

Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга, а мне показалось, что Ты «испугался», как 11 лет назад, — «Снежной Маски» (тоже — январь и снега)...

Блок. 9 апреля 1918. Петроград

...Бедную Любу обидел. Нервность все-таки бродит. Тетя тоже обижена мной. Ее ужас. Боже, как все это...

27 апреля 1918. Петроград

...Люба весь день отсутствует (заседает, лепит свое дело, усталая, деловая, напряженная). Ей будет жалованье — 500 (контракт)...

13 мая 1918. Петроград

Вечер «Арзамас» в Тенишевском училище. Люба читает «Двенадцать». *Отказались* Пяст, Ахматова и Сологуб... Люба, говорят, читала хорошо...

Бекетова. 13 мая 1918 года кружок поэтов «Арзамас» устроил вечер в зале Тенишевского училища. На вечере должны были выступить многие поэты, уже давшие свое согласие, но, узнав, что в программе вечера стоит поэма «Двенадцать» в чтении Л. Д Блок, некоторые поэты отказались участвовать в вечере. Поэма все же была прочитана и имела успех. Следующий вечер с чтением «Двенадцати» был устроен в сочувствующей революционно настроенной аудитории. Многочисленная публика, в числе которой было немало солдат и рабочих, восторженно приветствовала поэму, автора и чтицу. Впечатление было потрясающее, многие были тронуты до слез, сам Ал. Ал., присутствовавший на чтении, был сильно взволнован и записал в своем дневнике: «Люба читала замечательно». Вскоре после этого состоялся большой концерт в Мариинском театре в пользу школы журналистов с участием Шалапина, Ал. Ал. читал свои стихи, Люб. Дм. прочла «Двенадцать»; буржуазная публика шалапинских концертов слушала очень внимательно, но, как и всегда в таких случаях, аплодировала только половина залы, другая враждебно молчала. В числе сочувствующих неожиданно оказался А. И. Куприн, который подошел к Люб. Дм. и выразил ей свое удовольствие, особенно похвалив ее чтение...



Блок. 16 мая 1918. Петроград

Мама заходила вечером (тетя неистовствует в клинике и грозит наложить на себя руки... Лебединая песня революции? Жар меньше. — Люба в ярости. Кроме того, что с большевиками плохо, — Кузьмин-Караваев быстро перестраивает ее на меньшевистский лад. Кажется, не без успеха (студент и лампадка)...

22 мая 1918. Петроград

...Откуда я деньги возьму? Петербург пустеет, и надо 1000 — 1500 в месяц!.. Пробую сочинить сценарий для кинематографа. Люба советует для денег.

31 мая 1918. Петроград

(НЕПОСЛАННОЕ ПИСЬМО К З. Н. ГИПШИУС)

Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы — мне; больше, чем лирическое.

Я обращаюсь к Вашей человечности, к Вашему уму, к Вашему благородству, к Вашей чуткости, потому что совсем не хочу язвить и обижать Вас, как Вы — меня; я не обращаюсь поэтому к той «мертвой невинности», которой в Вас не меньше, чем во мне.

«Роковая пустота» есть и во мне и в Вас. Это — или нечто очень большое, и — тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.

Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, *как и Ваша*), но только рядом с второстепенным проснулось главное.

Не знаю (или — знаю), почему оно не проснулось в Вас.

В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить.

Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будет уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было *очень мало* — могло быть во много раз больше.

Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также — не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?



Бекетова. Тем временем Люб. Дм. затеяла новое дело. Она хотела создать для рабочих театр благородного типа с хорошим репертуаром и стала устраивать его в помещении Луна-Парка. Хлопоты начались еще с марта 1918 года, но театр открыл свои действия только в мае. Люб. Дм. сама играла в набранной ею труппе и очень увлекалась этим делом. Не смущало ее и то, что прислуга была отпущена и ей приходилось самой делать всю домашнюю работу. Но дело с театром не пошло на лад. Все благие начинания тормозились из-за недостатка средств, а всего огорчительнее было то, что рабочие-то и не пришли в театр. Его посещала обычная буржуазная публика...

17 июня 1918. Петроград

...Вечером смотрю Любу – Кручинину («Без вины виноватые»)...

21 июня 1918. Петроград

...Телефон с Любовью Александровной, которая чувствует, что я «распустился». – Вчера убили Володарского. Новые слухи о близкой оккупации.

5 июля 1918. Петроград

...Без меня дважды звонила Л.А. Дельмас, которая, по словам Любы, завтра едет в Украину.

7 августа 1918. Петроград

От мамы узнал, что вернулась из Киева Л.А. Дельмас..

18 августа 1918. Петроград

Люба читала «Двенадцать» в Летнем саду (трудно на ветру). Получила *бутоньерку*. — Мой день ужасен. Мерзость левого берега: путиловщина, Привал, Сергиевский монастырь, болотистое море, пустая чайная, пустынный тупик трамвая, болезнь, сапоги, шинель, насморк. Усталость до потери головы. Глухой сон...

21 августа 1918. Петроград

Как безвыходно все. Бросить бы все, продать, уехать далеко – на солнце, и жить совершенно иначе.

30 августа 1918. Петроград

...Встреча с Л.А. Дельмас. От нее – розы, шоколад и лепешки... Дневники Любы, где все наше, пропали в Шахматове. – Убит Урицкий...

31 августа 1918. Петроград

Ленин ранен. — Франц арестован в 4 часа утра. Мы с мамой в Совете. Любе удалось передать еду для Франца. Справок не дают. Около 5 часов Франц возвратился домой...



Белый – Блоку. 31 августа 1918. Москва

Дорогой Саша,

я — редактирую в Москве «Альманахом», посвященным революции; меня просили просить Тебя в него: просить Твоих стихов. Присоединяю горячую просьбу; мне, как редактору стихотворного отдела, было бы крайне радостно получить от Тебя стихов; надеюсь на получение; надеюсь, что Ты ради *меня тоже дашь*, если у Тебя найдутся стихи, связанные с революцией: совершенно не важна *тенденция*; важна органическая (пусть внутренняя) связь с переживаемым революционным периодом времени.

За стихи Тебе, как и Брюсову, Иванову и другим приглашаемым поэтам, предлагает Издательство 3 рубля за строчку; но, увы, я не мог отстоять «*меньших*» поэтов; им предлагается меньший гонорар; посылай прямо мне стихи... Если у Тебя есть интересные поэты, пришли их; я собираю весь стихотворный материал, но совсем не знаю «поэтов»; за помощь буду благодарен...

Пока же: отказался от профессуры в Социалистической Академии, отказался от «*Пролеткульта*»: причины — «*экономический материализм*», насаждаемый ими. Ничего не пишу: тяжело, душа молчит... От Аси ни слуху, ни духу; страшно нуждаюсь в деньгах; месяц служил в «Архиве», было хорошо, да «*профессора*» не утвердили; теперь всякими правдами и неправдами приходится зарабатывать: редактирование — заработок.

Итак, поддержи меня, дай стихов.

Остаюсь глубоко любящий Тебя...

З. Гиппиус – Белому. 1 сентября 1918. Петроград

...Вы не видали мою новую книжку «Последние Стихи». Вы не читали того, что я писала о «теперешних» людях, вплоть до Разумника, Блока и вас. Вы не читали и стихов «Идущий», посвященных вам. Иначе вы не написали бы мне, не просили бы моего участия в Альманахе. Я вас люблю, Боря, и считаю вас невинным, но поскольку вы все-таки человек, а, главное, человек — я, не могу не взорвать мостов между «нами» и «ними», участниками «Скифов» и «Знамен Труда».

Я считаю вас невинным (и Блока) потому, что вы не сознаете, куда идете, чему сопричастились. Но ваша невинность личная, как моя к вам личная любовь дела не меняют, а лишь дают мне боль, которую принимаю, вам на нее не жалуясь...

Блок. 1 сентября 1918. Петроград

...Ленину лучше. Похороны Урицкого.

2 сентября 1918. Петроград

Утром была мама. Она не может жить с Францем — в этом теперь дело. Придумать новое — разве возможно?..



4 сентября 1918. Петроград

...Грызет, грызет эта тяжелая и безысходная тоска о маме. Люба полагает, что маме все равно будет везде скверно и что я должен ей давать 500 руб. в месяц... Мама (я был у нее днем) согласилась взять 300 руб...

2 октября 1918. Петроград

Большое организационное заседание всех секций... Отчаянье, головная боль; я не чиновник, а писатель.

2 октября 1918. Петроград

...Мама переехала на квартиру в нашем доме...

3 октября 1918. Петроград

Встреча в трамвае с З.Н. Гиппиус...

З. Гиппиус. Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных, газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко.

Нравственная и физическая тяжесть так растет грозно, что мимо воли тянешься прочь, вон из Петербурга, в ту Россию, где нет большевиков. Верится: *уже* нет. (А если — *еще* нет?)

Все равно, мечта — повелительная — не дает покоя, тянет на свободу.

День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей — к другой: эта другая — именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.

Мы сидим с Ш. рядом, лицом к заколоченному Гостиному Двору. Трамвай наполняется, на Сенной уже стоят в проходах.

Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит:

— Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не смешаешь. Подымаю глаза. Блок.

Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шляпа) длинное, сохлое, желтое, темное.

— Подадите ли вы мне руку?

Медленные слова, так же с усилием произносимые, такие же тяжелые.

Я протягиваю ему руку и говорю:

— Лично: — да. Только лично. Не общественно. Он целует руку.

И, помолчав:

— Благодарю вас.

Еще помолчав:

— Вы, говорят, уезжаете?

— Что ж... Тут или умирать — или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении...



Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо:
— Умереть во всяком положении можно.

Прибавляет вдруг:

— Я ведь вас очень люблю...

— Вы знаете, что и я вас люблю.

Вагон (немного опустевший) давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть), что и сцена им кажется трагичной.

Я встаю, мне нужно выходить.

— Прощайте.— говорит Блок.— Благодарю вас, что вы подали мне руку.

— Общественно — между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда... Но лично... как мы были прежде...

Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним, опять он наклоняет желтое, больное лицо свое, медленно целует руку, «благодарю вас»...— и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и еще вижу на площадку вышедшего за мой Блока, различаю темную на нем... да, темно-синюю рубашку...

И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле...

Блок. 8 ноября 1918. Петроград

...Удивительная иллюминация вечером. Но мы с Любой уже опять состарились.

8 ноября 1918. Петроград

...Сырой вечер. Нервы (жесткость, политика, озабоченность, дела, деньги).

17 ноября 1918. Петроград

Полное отчаянье, не знаю, как выпутаться из грязи председательствования. Пишу заявление. — Днем у мамы (у них тоже не развеселишься). — По слухам, Москва — на военном положении, билеты куда-то перестали продавать и т. д. — Опять — не то.

29 ноября 1918. Петроград

Вечером этого тоскливого дня, когда все, кроме мамы забыли, что мое рождение, была мама. Скучно.

12 декабря 1918. Петроград

Отчего я сегодня ночью так обливался слезами в снах о Шахматове?...

Бекетова. В это лето условия жизни Блоков изменились к лучшему. Этому способствовали и новые заработки, и связанные с театром удобные случаи: во-первых, там можно было часто покупать



хлеб, что тогда было трудно, а во-вторых, Люб. Дм. выхлопотала, как актриса, две карточки в столовую Музыкальной драмы, которая помещалась против дома, где жили Блоки, и была очень хорошая и дешевая. Осенью 1918 года Люб. Дм. получила приглашение в артистический клуб «Привал комедиантов», где за определенное жалованье каждый вечер читала «Двенадцать». Заработок этот послужил новым подспорьем в хозяйстве. К этому времени Блоки вообще применились к новым условиям жизни. Они кое-что начали продавать. Голодать больше не приходилось, дрова на зиму тоже были запасены, а их нужно было немало, так как зимой, даже при хорошей топке, Александр Александрович всегда страдал от холода. Это была зябкость, свойственная нервным людям...

15 декабря 1918. Петроград

...Люба каждый день читает «Двенадцать» в «Привале», и возвращается поздно...

19 декабря 1918. Петроград

...В «Привале» на Любином чтении был Луначарский.

20 декабря 1918. Петроград

Ужас мороза. Жру — деньги плывут. Жизнь становится чудовишной, уродливой, бессмысленной. Грабят везде. — Менделеевская квартира с передвижническим архивом, по-видимому, пропадет (желез уезжает, очевидно, разграбят). — У Гибшмана умерла мать, а он вечером играл в «Привале». — Заходила мама — голодная.

21 декабря 1918. Петроград

Какие поразительные сны — страшные, дикие, яркие... Не расскажешь...

24 декабря 1918. Петроград

...Ужас с мамой. Ужас с Любой.

31 декабря 1918. Петроград

Бусин номер для «Привала» не готов (Ленора), и она сегодня не будет читать. — С тяжелым чувством держу корректуру «Катилинь». — Слух о закрытии всех лавок (из лавки). Нет предметов первой необходимости. Что есть — сумасшедшая цена. — Мороз. Какие-то мешки несут прохожие. Почти полный мрак. Какой-то старик кричит, умирая от голоду. Светит одна ясная и большая звезда.

6 января 1919. Петроград

Вчера утром звонок:

— Здрассте. Говорит Ионов. Комиссар такой-то. Я хотел предложить перенести печатанье ваших книг в типографию, какую я укажу. Предлагаю издать «Двенадцать» в Петроградском совдепе.



— Не находите ли вы, что в «Двенадцати» — несколько запоздалая нота?

— Совершенно верно. Один товарищ уже говорил об этом, но мы все-таки решили издать все лучшие произведения русской литературы, хотя бы имеющие историческое значение. Подумайте и, когда решите, приезжайте ко мне в Смольный.

Издавать Ионов хочет 50 000, с рисунками Анненкова*. Звоню к Алянскому**. Разговор с ним и с Анненковым. Алянский немного против, хотя искренно сочувствует нашим денежным интересам (с Анненковым).

Сегодня Алянский не поймал Белопольского, с которым нужно выяснить, как отнесется к этому вопросу комиссариат. Но они с Анненковым были у Горького, подносили ему «Двенадцать». Очень знаменательно, что говорил Горький.

Он говорил с ними с полчаса, очень доброжелательно, спрашивал, не встречает ли «Алконост»*** препятствий, узнав об Ионове и моих книгах, сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов бездарен и многому навредил. Вообще сказал, что «Владимир Ильич, Анатолий Васильевич**** и я» держатся совсем другой точки зрения, что с такими явлениями надо бороться. На предложение написать что-нибудь для «Алконоста» о символистах сказал, что он бросил писать и занят только «сеledкками» (очевидно, деятельность в Совете коммуны)...

Кроме того: *страшное* все это. Кто же победит на этот раз? Полная анархия (между прочим, провинция шлет град упреков комиссариату, зачем он издает классиков, а не политические брошюры) или новый «культурный порядок»?

Не знаю.

Честно ли говорить такую, например, прекрасную фразу: «В одной строке великого писателя содержится больше революционного пыла, чем в десятках бездарных брошюр» (так бы мог ответить комиссариат на упреки, к нему обращенные). Нет, не совсем честно, ибо и так и не так, в этом — уклончивость: правда, брошюрка бездарна, но в ней читается больше, чем написано, потому что она есть брошюришка, хлам, тряпье, возбуждающее в бедном больше доверия, чем длинная чистая книга. И в большой гениальной книге озлобленный бедняк не вычитает того, а иногда вычитает то, что новую злобу посеет в его изолированной, забытой, испуганной душе.

Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно чем научнее; чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та наука — потоньше ихней.

* Художник, первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».

** Издатель, владелец издательства «Алконост».

*** Издательство Алянского.

**** Луначарский.



Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, *обидеть слабого*.

Несчастный Федот изгадил, опоганил *мои* духовные ценности, о которых я *демонически* же плачу по ночам. Но кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот, если бы даже он вступил во владение тем, чем не умеет пользоваться (да ведь не вступил, никому не досталось, потому что все, вероятно, грабили, а грабить там — в Шахматове — мало что ценного). Для Федота — двугривенный и керенка то, что для меня — источник не оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез.

Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков) были досуг, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, **их** научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, «превращать в бриллианты крапиву», потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду.

Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я — «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, — я любил прогорцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы ёкнуло в груди так себе, ни от чего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого взгляда, от моей стянутой талии, — и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червоточины — отсюда?), а, напротив, — раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень...

Все это *знала* беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько «заслуженного» перед революцией писателя, как А. Блок, то *не смею я судить*. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, исстрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза — но такие же. И посмеиваются глаза — как же, мол,



гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?

Демон — барин.

Барин — выкрутится. И барином останется. А мы — «хоть час, да наш».

Так-то вот.

Возвращаюсь к «политике». Подобное «социальное чувство» — у Мейерхольда; по-другому, но политически в эту сторону — у Маяковского (о, ничего общего, кроме «политики»!). Ионов — самой той породы. Оттого льнет Мейерхольд к Попову, хочет за него ухватиться.

Другой «лагерь» — Горький. Отсюда — и борьба двух отделов и двух дам. Анатолий Васильевич мирит, вовсе будучи «не большевиком по темпераменту».

А мне: уйти наконец с моего водевильного председательского поста; остаться, в крайнем случае, редактором; подойти ближе к Вольной философской академии, где, я думаю, позволено будет думать о серьезном, а не о том, поверхностном и элементарном, над чем мыслят наши профессора...

Делая все дела, которые, даже если меня отпустят из «председателей», останутся пока слишком разнообразными и наполовину — бессмысленными (т. е. потому, что «в пределах государственных заданий»), надо все-таки временами окидывать взглядом этого Гейне, стихи которого так прекрасны, но личность оставляет желать многого.

7 января 1919. Петроград

Решаясь включить в «Театр» «Песню Судьбы», из которой я стараюсь выкинуть все уж очень глупое (хорошего и глупого времени произведение), я окончательно освобождаюсь от воли М. И. Терещенки. Мы с ним в свое время загнипотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; Оно — Искусство — увело бы нас туда, заставило бы забраковать не только всего меня, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микель-Анджело; строка Эсхила; и — все; кругом пусто, веревка на шею.

Если удастся издать — пусть будут все четыре томика — одной толщины, и в них — одно лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения, без окружающего. Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна была она): вот — я — до 1917 года, путь среди революций; *верный* путь.

21 января 1919. Петроград

..Сигары, папиросы, еда — все это доставляет несказанное удовольствие, когда это дорого и редко, — и почти никакого, когда доступно. Поганая чувственность.



31 января 1919. Петроград

...Все дела сходят на нет. Боря Бугаев заболел и уезжает в Москву, нашего вечера тоже не будет.

15 февраля 1919. Петроград

...Вести об аресте Штейнберга, Петрова-Водкина, Эрберга*. Вечером после прогулки застаю у себя комиссара Булацеля и конвойного. Обыск и арест. Ночь в компании в ожидании допроса на Гороховой.

16 февраля 1919. Петроград

Допрос у следователя Лемешева около 11 ч. утра. Около 12-ти — перевели в верхнюю камеру. День в камере. Ночь на одной койке с Штейнбергом.

В 2 часа ночи вызов к следователю Бойковскому (второй допрос). Он возвратил мне документы.

17 февраля 1919. Петроград

Освобождение около 11 ч. утра. Дом и ванна. Телефоны. Окачивается, хлопотали М. Ф. Андреева и Луначарский.

Бекетова. Весной 1919 года зародился журнал «Записки Мечтателей», издаваемый Алянским. Во всяком номере появлялось какое-нибудь небольшое произведение Блока, хотя бы из его старых неизданных стихов или набросков, имеющих касательство к искусству...

Белый – Блоку. *12 марта 1919. Москва*

Дорогой Саша!

Ты, вероятно, удивисься, что я Тебе пишу (наши отношения года уже протекают без писем, но — все равно: я всегда ощущаю факт Твоего бытия). Я пишу на этот раз под впечатлением «Катилинь». Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет, и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме; и в ритме прочел, что сейчас Ты мог бы сказать многое. Признаюсь, насколько я люблю Твои стихи, настолько иные из Твоих прежних статей оставляли во мне впечатление, что *Ты* мог бы сильней выразиться в них. «Катилина» вполне соответствует Тебе (автору «Двенадцати», «Куликова Поля» и т. д.). Это не статья, а — «драматическая поэма»; и — главное: это — первый акт драматической поэмы; ряд актов — в Твоем (не знаю, в сознании ли, в подсознании ли?). И потому — пиши, пиши, пиши: «Катилина» дает о Тебе знать, что Ты — в Духе; а писать сейчас, это — больше,

* Членов Вольной Философской Ассоциации.



чем учреждать 10 университетов. Каждая книга — осуществленная Академия; и ⁹/₁₀ из проектов — «неосуществимый проект». Если бы Ты писал в «Записках Мечтателей» — как это было бы важно. Если бы Ты, Разумник Васильевич, я и Вячеслав* писали бы о *самом* Главном сейчас и перекликались бы, то — «Записки Мечтателей», если бы вышло лишь 6—7 №№, были бы эпохой.

Звезды благоприятствуют им, звезды благоприятствуют (во внутреннем смысле) тому, что из этого объединения вокруг «Записок Мечтателей» может создаться настоящее дело. Но внешние трудности будут... У меня есть чувство: мы *должны начать «Вольно-Философскую Академию»* маленькой кучкой писателей именно на страницах «Записок Мечтателей». Я смотрю на них, как на самое близкое дело свое не потому, что я хочу там много писать, а потому, что там мы можем встречаться (Ты, Вячеслав, Я) без посредников, ...«критиков», «руководителей» нашими внутренними голосами: говорить от сердца с собой и друг с другом. Милый, милый, — пиши: положи на сердце себе «Записки Мечтателей». Пусть они будут нашим общим «детисцем»; знаю, как никогда, это — нужно: *нужно, чтобы они были.*

Радуюсь за Тебя, что Ты оставил председательствование в Театральном Отделе. Как бы мне хотелось отвлечь от него совершенно «оказавшегося» там Вячеслава, на которого грустно смотреть. Братски обнимаю Тебя. И — очень люблю.

Бекетова. Тем временем Люб. Дм. продолжала свою службу в «Привале комедиантов». Она выступала там до марта 1919 г., после чего стала служить в Эрмитажном театре и ездила на гастроли в Кронштадт и другие места, расположенные поблизости от Петербурга.

Блок. 14 апреля 1919. Петроград

...Люба отнесла в отдел Алянскому корректуры. Она с утра ушла на репетицию, поссорившись со мной; смерть моя — ее актерничанье...

15 апреля 1919. Петроград

...Я устарел и больше не имею успеха. Не пора ли в архив? — Ночью — раздирающий крик на Торговой. Пришла полиция, мои документы осмотрели. Поздно.

20 апреля 1919. Петроград

Веселее: Любочка в белом платье и изготовила всего — вкусно-го (пасха, кулич и пр.). У нас — мама и Франц. — Холодная весна в мертвом городе. Два пьяных с бутылкой спирта катят на одиночке, обнявшись. — Занятия стихами. Тоска. Когда же это кончится? — **ПРОСНУТЬСЯ ПОРА!..**

* Иванов.



22 апреля 1919. Петроград

Когда-нибудь сойду с ума во сне. Какие ужасы снились ночью. Описать нельзя. Кричал. Такой ужас, что не страшно уже, но чувствую, что сознание сладко путается.

24 апреля 1919. Петроград

...Свидание с М. Ф. Андреевой*, которая определила меня на должность председателя Директории Большого драматического театра.

Бекетова. М. Ф. горячо упрашивала Ал. Ал. взять на себя председательствование в режиссерском управлении. Он долго колебался, не решаясь принять этот директорский пост, но в конце концов дал свое согласие. С 26 апреля он уже вступил в исполнение своих обязанностей и, как всегда, горячо принялся за дело... Ал. Ал. председательствовал на заседаниях, исправлял тексты переводных пьес, читал новые пьесы, сочинял речи, которые произносил перед началом и при закрытии сезона. Другие его речи служили темой для бесед с актерами и произносились по поводу первых представлений таких пьес, как «Отелло», «Король Лир», «Голубая птица» Метерлинка и др... Работа Ал. Ал. в Б. Др. театре оплачивалась небольшим жалованьем, но, кроме того, получался паек и отдельные выдачи: сыр, конфеты, масло, мука...

Блок. 13 мая 1919. Петроград

Мама плачет – видела меня во сне.

23 мая 1919. Петроград

Телефон от Жени (его забрили!!!)

6 июня 1919. Петроград

...С 4 до 7 утра торчать у ворот. Увильнул, подкупив дворника, – он дежурил за 30 рублей.

11 июня 1919. Петроград

Чего нельзя отнять у большевиков – это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это – факт...

Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем – как грабеж и картеж?

15 июня 1919. Петроград

У мамы был ночью обыск. Приказ о выключении всех телефонов. Люба должна торчать у ворот. Дождь. Тоска. Опять в доме ждут обысков.

* Актриса, театральный деятель, гражданская жена М. Горького.



Блок. *30 августа 1919. Петроград*
Шестнадцать лет нашей свадьбы...

Бекетова. В это же лето начались поползновения на выселение Блоков из их квартиры, которые тоже удалось прекратить. Пришлось хлопотать Люб. Дм. также по поводу какого-то высокого налога, который хотели взыскать с Ал. Ал. Но после нескольких походов ей удалось предотвратить и эту беду...

Блок. *15 сентября 1919. Петроград*

...Письмо Зиновьеву; его резолюция: «Прошу оставить квартиру Ал. Блока и не вселять никого»...

Бекетова. С осени начались новые неприятности. Во-первых, отсутствие света. Люб. Дм. с трудом доставала свечи для занятий Ал. Ал. Сама же сидела по вечерам с ночником, так как керосину было достать невозможно. Затем Ал. Ал. пришлось сидеть у ворот на вечернем дежурстве. В 18-м году он отклонил эту тяготу, наняв за себя дворника, теперь же нанять было некого, и он проскучал несколько вечеров за этим глупым занятием. Вероятно, он был бы рад, если бы что-нибудь случилось и ему пришлось бы как-нибудь действовать, но сидеть у ворот без дела, только потому, что этого требует домовый комитет, побуждаемый трусливыми обывателями, справедливо казалось ему бесцельным и даже смешным занятием, я не говорю уже о скуке...

Блок. *30 сентября 1919. Петроград*

Имянины Буси... У Бу – цветочки и конфетки.

16 ноября 1919. Петроград

...Очень тяжелые мысли о Горьком. – Нет, не буду ждать знаков – знамений. – Свету нет совсем.

17 ноября 1919. Петроград

До каких пределов дойдет отчаянье? – Сломан на дрова шкапик – детство мое и мамино.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

29 ноября 1919. Петроград

...Живем по-прежнему. Ноги Франца слабеют. Мало дров. Все дорожает... Боюсь, что не переживем этой зимы...

Блок. *29 ноября 1919. Петроград*

Бездельно... Густой снег за окнами. Вечером мне 39 лет.

30 ноября 1919. Петроград

Тяжело, как будто кто-то сглазил.



17 декабря 1919. Петроград

...Франц приходил к Любе и плакал о том, что с ним будет, и о своей болезни...

31 декабря 1919. Петроград

...Франц, мама – безвыходность. Символический поступок: в советский Новый Год я сломал конторку Менделеева*.



* На дрова.

Глава XXXI. Следы человеческих копий

Блок. 13 января 1920. Петроград

..Новый Год – мы с Любой вдвоем...

Бекетова. В конце января скончался от последствий воспаления легких Фр. Фел. Блок своими руками уложил его в гроб, украсив крышку крестом из позумента. Обстановка похорон была, разумеется, самая простая: по тогдашним условиям можно было нанять только бедные дроги, на которые и поставили гроб с тем, чтобы везти его на Смоленское кладбище. В день похорон стоял трескучий мороз. Ал. Андр. была очень утомлена работой последних месяцев и уходом за больным и вдобавок сильно простужена, поэтому она проводила гроб только до конца Алексеевской улицы. Люб. Дм. тоже не пошла дальше, осталась дома, чтобы встретить мужа горячей едой в натопленной комнате. Так что хоронил Фр. Фел. один Блок. Могила Фр. Фел. расположена поблизости от наших покойников, по другую сторону той дорожки, у которой похоронен его пасынок.

После смерти мужа Ал. Андр. заболела сильнейшим бронхитом. Для удобства ухода и сношений сын перевел ее на свою квартиру, где она и перенесла всю болезнь. Чтобы не отвлекать Люб. Дм. от ее домашней работы и необходимых походов, взяли сестру милосердия. Ал. Андр. поправилась довольно скоро, а так как опять начались разговоры о возможности вселения в квартиру Ал. Ал., он решил перебраться с женой к Ал. Андр. Оставив часть вещей на своей старой квартире у тех, кто ее нанял, а часть продав, он перенес все остальное вниз вдвоем с наемным помощником. Мать перенес он на руках обратно в ее квартиру и быстро устроился на новом месте. Таким образом вся семья избавилась от опасности вселения и приобрела кое-какие преимущества: во-первых, меньше шло дров, а во-вторых, их легче было носить во второй этаж. Теснота, разумеется, была изрядная, так как, несмотря на продажу всего лишнего из обстановки Ал. Андр., покойного Фр. Фел. и Блоков, мебели в квартире оказалось все-таки значительно больше прежнего, а пространство ее было меньше верхней. Между прочим, Ал. Андр. хотела продать письменный стол Ал. Ал. и поставить ему другой, принадлежавший деду Бекетову, который был гораздо больше и лучше, но Ал. Ал. предпочел оставить у себя прежний, сославшись на то, что за этим столом была написана большая часть его стихов. В большой комнате с двумя окнами на Пряжку Ал. Ал. поставил свои шкафы и полки с книгами, письменный стол поместился, как всегда, боком к окну, в той же комнате стояла и кровать, заставленная ширмами, а также обеденный стол, менявший свое место сообразно времени года: летом он стоял у сво-



бодного окна, зимой – рядом с печкой. Над постелью своей Ал. Ал. по обыкновению повесил картинку с изображением Непорочной девы (Immacolata), подаренную ему в раннем детстве маленькой итальянкой Софией, на одной из стен висел давнишний подарок матери – вид Бад-Наугейма и фотография Мадонны Сассо Феррато, в которой Ал. Ал. находил большое сходство с женой...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

2 февраля 1920. Петроград

...Франц умер от простуды и моего дурного ухода. *Моей вины нет границ...* Живу у детей, потому что сильный бронхит... Саша заботится обо мне очень. И Люба хороша. Они меня кормят и деньгами собираются кормить...

5 февраля 1920. Петроград

...Как только я заболела, Люба стала ухаживать, *выносить за мной*, кормить меня яйцами, белым хлебом, и все это с милой, доброй улыбкой. Позвала доктора ко мне. И вот уже три дня — ни тени раздражения. А ведь Душенька* тоже болен и лежит неделю, и поднималась у него температура. И теперь еще не вполне нормально... Вчера утром приезжает вдруг неожиданно Муся** — гостить на неделю.

Люба страшно обрадовалась близкому человеку... Привезла кое-что из Лугосни. Она — учительницей в агрономической школе, возле станции Завидово... Боблово сгорело...

Блок. 28 февраля 1920. Петроград

...Усталость гнетет. Вечером — в театре, тяжелое чувство от Андреевой продолжает угнетать, пора объясниться.

1 марта 1920. Петроград

Андрей Белый в Доме искусств: толпа народу, жарко. Он такой же, как всегда: гениальный, странный.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Дельмас.

12 апреля 1920. Петроград

...А по-моему — 30-е марта.

Моя дорогая, несравненная Душенька, вчера, когда Вы ушли, Саша и Люба еще не спали. Я передала Саше все, что Вы просили ему сказать. Он слушал очень внимательно и ответил: — Как жаль, что я ее не видел... — Я говорю: — Но ты бы не согласился видеть ее. Ты лежал в постели. — Да, не согласился бы, но жаль, что я ее не видел...

Передаю Вам эту фразу... Меня она обрадовала.

* Блок.

** Маша, сестра Любы.



Блок. 1 мая 1920. Петроград

...Вечер у Андрея Белого с Алянским.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

19 мая 1920. Петроград

... Сегодня Душенька вернулся из Москвы. Я чувствую себя счастливой матерью. Он пробыл в Москве 11 дней, читал на трех вечерах. Энтузиазм повальный. В конце концов на площади, около здания Политехникума, где происходили вечера, сделали ему овацию. Стол, перед которым он читал, был всякий раз покрыт цветами, ландышами, сиренью. Тут же, в зале, ему посылали записки и стихи, посвященные ему. И все это вовсе не одни барышни — были и мужчины, которые со слезами жали ему руки. Здание Политехникума, то есть зал этот, считается лучшим по акустике. Потому и был выбран. Жил Деточка все время у Надежды Александровны Коган. Кормили его прекрасно, он даже поправился на вид. Ездил он вдвоем с Алянским, который буквально всю несносную часть хлопот взял на себя и проехали в отдельном купе международного поезда и туда, и назад.

Был он и у Станиславского, который все тот же и твердо надеется ставить «Розу и Крест» осенью, хотя половина труппы на Кавказе. Дали ему денег в счет будущих благ, и за вечера он заработал порядочно...

Душенька вернулся в мягком настроении. Поражает меня больше всего своей скромностью, тем, как рассказывает о своих успехах... Кстати, сообщу тебе еще, что на днях Любу позвали в Дворянское Собрание, где Кусевичкий дирижировал кантатой Лурье на слова Блока... Люба шла нехотя. Концерт был назначен в 2 часа дня. Люба говорила, что музыки слышать не может, устала, нехотят, что Лурье — модернист. Ушла и вернулась в 11 часов вечера. Плакала от умиления, в восхищении от кантаты...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

18-31 мая 1920. Петроград

...Вчера я была на лекции Андрея Белого: Ветхий и Новый Завет. Излагает штейнеровское, вопит, стучит Евангелием по столу. В общем хаос, но для меня дорого, близко, понятно. Публика паршивая, интеллигенция сплошь. Поэтому недоброжелательная и бессознательно судействующая, как было всегда с русской интеллигенцией. Ни уха, ни рыла не понимают, придираются к мелочам, возражают не по существу. Боря совершенно исхудавший и бледный, лысый, с горящими сапфирно-синими глазами — хриплый, начал с того, что долой логику, доказательства...

Я теперь каждый день мою всю посуду, убираю, сколь возможно, кухню, комнаты. Вот, помогаю все-таки Любе. Это меня несколько утешает...



Добрые впечатления от московской поездки несколько испарились, часто тоскует от трудности и бессмыслия, и безвкусыя, и наглости, и нечестности, и прочее и прочее...

Блок. 21 июня 1920. Петроград

...Мой вечер, устроенный «Домом искусств».

5 июля 1920. Петроград

Второй мой вечер в «Доме искусств» (мы с Любой)...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

8 июля 1920. Петроград

Вчера я таки была на вечере Андрея Белого. И обошлось — припадка не было. Душенька тоже был. Боря читал прекрасно... Он уезжает в Москву, потом надеется получить пропуск за границу. Дай ему Бог. Но Россия останется без Андрея Белого. Видимся мы с ним редко, но хорошо. Он видит мою искреннюю преданность и понимание, и это на него хорошо действует. А когда я попадаю в атмосферу писателей... я чувствую себя опять человеком... Теперь мой Душенька почти каждый день ездит в Стрельну и купается там в море. Уходит рано, возвращается поздно, берет с собой хлеба. Они оба с Любой считают это очень полезным и нужным. Но спит он мало и ест беспорядочно и не вовремя.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

8 июля 1920. Петроград

...По-видимому, приехать к тебе мне не удастся... Придется дожждаться лучших времен, чтобы нам с тобой свидеться.... Теперь уехать главное хотелось мне для того, чтобы уехать, т. е. дать детям пожить без меня. Если б можно было вообще устроиться мне помимо их, вот было бы настоящее хорошее дело. Да как? Был у нас разговор с Душенькой. И выяснилось, что никак не устроиться нам в ладу... Про Андрея Белого: да, Россия без него. Его присутствие в России важнее всех его слов, которые, как они ни хороши, а все слова, и кроме экстаза, ничего не порождают. Самая же его личность, душа, дух — развивают атмосферу святой тревоги... Потому важно особенно присутствие...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

1 августа 1920. Петроград

...Мое дитя... Я была на вечере, где он читал стихи свои. Не разить словами, как это было хорошо... Новое открытие: дело не в том, чтобы он меня любил, а чтобы я — мама — его любила!

18 сентября 1920. Петроград

...Пока, летом, Сашенька ездил на весь день купаться в море, в Стрельне, а Люба в Штиглицевский музей — изучать кружева, мы



плохо кормились, я слабела, и были частые припадки, Душенька был подавлен, раздражен и молчалив, а Люба худела и меня ненавидела... Теперь Сашенька дал мне редактировать для Всемирной Литературы «Тристана». А по утрам Люба поручает торговать на Покровке. Продаю и получаю иногда похвалы за то, что хорошо продала. Кормимся мы сейчас хорошо по-нынешнему...

Бекетова. Я видела Блока в последний раз в конце сентября 1920 года. Я приехала из Луги с вечерним поездом в прекрасную погоду, пришла пешком с вокзала. Меня, кажется, ждали, потому что я предупредила о своем приезде. Я пробыла в Петербурге три дня, на четвертый уехала. Блок был в этот мой приезд невеселый и озабоченный. Все время чувствовалось, что у него много сложного дела, надо обо всем помнить, ко всему готовиться. Так как у него все было в величайшем порядке, и он никогда не откладывал исполнения того дела, которое было на очереди, то он все делал спокойно и отчетливо, не суетясь, справлялся со своими аккуратными записями, быстро находил то, что нужно, так как все лежало на определенном месте. Часть его работы и бумаг была в той комнате, где я ночевала. Он часто туда заходил, доставал что-то из стоявшего там стола и писал то, что ему было нужно. Мое присутствие по временам, несомненно, его стесняло, но он ни разу не дал мне этого почувствовать и вообще был со мной бесконечно деликатен. И в этот приезд он, помнится, задал мне обычный вопрос: «Тетя, тебе не надо денег?» Он часто задавал мне этот вопрос и всегда заботился о том, чтобы у меня были деньги. Когда я уехала в Лугу, он вел подробнейшие расчеты и записи моих получений из «Вс. Лит.», продавал мои вещи, книги и ноты и составлял карточный каталог оставшихся у меня книг. Деньги он посылал мне с оказией, прилагая подробные счета. По временам присоединял к этому какие-то лишние деньги, конечно, свои. Посылал он мне также разные вещи для обмена на продукты: спички, табак и т. п. Раз даже сам купил для меня на базаре партию черных и белых катушек для той же цели. Когда я приезжала, он часто дарил мне разные мелочи. И в это последнее наше свидание он надарил мне бумаги, конвертов, карандашей и не помню еще чего — все очень нужных вещей, которых я не имела возможности купить. Помню, как в день моего отъезда мы с ним простились, и он сам затворил за мною наружную дверь. Я долго еще оборачивалась, глядя на него вверх, пока он кивал мне с доброй улыбкой из-за двери. Потом дверь захлопнулась, и больше я уже никогда его не видала...

Блок. 30 сентября 1920. Петроград

Любины именины...



2 октября 1920. Петроград

... Вечером Л.А. Дельмас – нервная и все задумывается, интересная до последней степени.

3 октября 1920. Петроград

...Любочка рано легла, гуляю в сырой ночи, призраки уюта.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

14 октября 1920. Петроград

Милый друг, Вы не поняли о смирении. Это смирение не для улучшения отношений, а только во избежание вечного крика и ссор в доме, ради покоя тех, кого мы с Вами любим! Вы напрасно думаете, что мое «смирение» помогает. Люба ненавидит и презирает меня яро, но я молчу и не подаю ей повода к сценам. Саша тоже много молчит. Иначе будут крики, вопли, слезы. Она нормальная, но неистовая, и когда она, без Саши, все-таки меня разосит, она, главное, берет ехидством: «Вы отравляете жизнь вашему сыну вашей бестактностью, вы насыщаете атмосферу вашим беспокойством. Я должна жить с Вами, потому что Саша так хочет», и т. д.

И все-таки мое положение лучше вашего, милая, бедная моя Маня, потому что Любу нельзя не любить. Несмотря на все это, я ее люблю самой настоящей любовью — уж очень много в ней милого, симпатичного и, главное, детского... Я думаю и чувствую, что мне это все — наказание за все обиды, которые терпели от меня близкие...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

22 октября 1920. Петроград

...Люба справляется по-прежнему с делами... Утром, в 10 часов, она уходит каждый день на репетицию в Народный дом или на квартиру Радлова-режиссера, на Васильевском острове. Возвращается в 3 часа. Стряпает. На днях стирала. Ходит и за пайками. Я помогаю, сколько могу и сколько допускают. Люба теперь часто спит по вечерам, если Саша уйдет надолго вечером на заседание или в театр. Потом к его приходу устает. Она, в общем, довольна, несмотря на то, что этот театр — черт знает что. В «Виндзорских кумушках» будут участвовать клоуны, человек-змея и т. Д. Сокращено сильно. Репетиции несерьезные, костюмы — карикатурные. Режиссерские замыслы таковы. Но Люба все-таки довольна в общем и поэтому мало устает...

Блок. 29 октября 1920. Петроград

Продолжается нервное состояние. Работать мучительно. Дрова, печки.



А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

2 ноября 1920. Петроград

...Мне странно, как ты нас хвалишь троих. Любить — это я понимаю — можно всяких. Но хвалить-то нас не за что. Тяжелые мы все трое и все обидчики. Да и мало ли, чего еще дурного и темного в нас троих. Ты издала идеализируешь нас, а вот пожила бы с нами — не поздоровилось бы. Теперь расстроились нервы у Саши. Да и у меня, по правде. Люба сегодня задала нам скандал... Потом ушла на репетицию... Теперь она мне этого никогда не простит и будет попрекать меня в том, что из-за меня он ее выругал. Твой буколический тон очень не соответствует такому «ритму»... Люба меня нестерпимо презирает и на Сашу действует...

Блок. *4 ноября 1920. Петроград*

...Вечером – Л.А. Дельмас. Люба с новыми товарищами в цирке.

12 ноября 1920. Петроград

На Моховой – заседание Союза писателей. Выбирать или нет Горького во всероссийские председатели. Хотя со многими оговорками, но единогласно выбрали Горького. У Любы открытие театра. Я иду. Много знакомых. «Виндзорские проказницы» мне не очень.

18 ноября 1920. Петроград

Страшный день («нервы»?). Спасаясь сплошной работой – день и вечер без перерыва... В 12 во всем доме погас свет. Телефон испорчен уже давно.

19 ноября 1920. Петроград

...Вечером – в театральном болоте своем... А Люба – в своем. Неужели я вовсе кончен?

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой.

21 ноября 1920. Петроград

Люба уже месяц, как поступила на службу, играет в театре Народной комедии, в Железном зале Народного дома, поблизости от вас. Играют «Виндзорских кумушек» Шекспира. Она очень довольна, и ей обещают хорошее жалованье и паек. Это хорошо действует на ее расположение духа. Она тосковала по игре. Саша по-прежнему занят редакцией Гейне в переводах и Большим Драматическим театром, где ставили «Короля Лира», а теперь ставят «Шейлока». Это все происходит в Малом театре, бывшем суворинском. И мне туда не дойти. Поэтому не бываю. А соскучилась о музыке. Трудно попасть в оперу теперь...

Блок. *27 ноября 1920. Петроград*

...Помоги мне, Боже, быть лучше к маме.



13 декабря 1920. Петроград

Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене, — это место не умерло, оно не перестало быть школой жизни, пока жизнь вокруг старается убить. Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще всё сосут, как пауки, обильную русскую кровь; они лишены творчества, которое ведь требует крови («здоровая кровь — хорошая вещь»), поэтому они, если бы и хотели обратного, запутывают, стараются опутать жизнь сетью бледной, аскетической, немощной доктрины. Жизнь рвет эту паутину весьма успешно, у русских дураков еще много здоровой крови. Когда *жизнь* возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, веселое и не очень то здоровое гнездо, которому имя — старый театр.

А.А. Кублицкая-Пиотгух – Бекетовой.

17 декабря 1920. Петроград

...Люба увлекается своим театром донельзя. Считает, что вот наконец «несчастные интеллигенты, не умеющие жить», нашли, открыли секрет настоящего театра. Это, по ее мнению, клоуны. У них ведь клоуны исполняют роли, говорят на сцене. По-моему, у Любы это всегда так: что-нибудь, что ее касается, где она участвует, всегда хорошо. И увлечение уж без меры, как было с Мейерхольдом. Думаю, что потом она все это разлюбит. Вся наша жизнь перевернулась. Любы почти не видим. Душенька не хочет мешать, но не рад этому.

20 декабря 1920. Петроград

...Душенька очень сердится на Любу за то, что она так пропадает. Она, в самом деле, уж слишком, ходит в гости к клоунам, у них кофей пьет. С другими товарищами хороша, но не дружит, а с клоунами дружит. Помнишь, как Люба учила меня уничтожиться ради Саше и ставила себя в пример? Да вот и уничтожилась. Сегодня говорила мне, что мы с Сашей прозябаем, не живем. Мне надо в гости ходить, ему — влюбиться, поехать куда-нибудь и т. д...

Блок. 23 декабря 1920. Петроград

...Люба вернулась только ночью, злее, чем когда-нибудь.

25 декабря 1920. Петроград

...Любин спектакль. Люба играла хорошо («Проделки Смеральдинь» Соловьева и Дельвари).

А.А. Кублицкая-Пиотгух – М.П. Ивановой.

5 декабря 1920. Петроград

... Люба поступила на сцену, увлекается игрой, у нее нашли талант... Она говорит, что нашла свое настоящее назначение. В театре



ее уважают, спрашивают советы, и т. д. Все это подействовало на нее так, что вся наша жизнь перевернулась. Мы почти не видим Любу. Ведь театр-то ее в Народном доме. Сашенька, по секрету Вам скажу, очень этому всему не рад, потому что ведь на Любе держался дом, дела бездна. Я убирала комнаты, мыла посуду, а теперь и стряпаю, как умею. Прimitивно я стряпаю. Пирогов делать не умею. — Пока сил у меня хватает, но дальше не знаю, как будет... Люба очень сердится на Сашу, на меня за то, что мы с ним оба никогда не находили ее талантливой актрисой. А она уверилась твердо в том, что талантлива. По всему похоже, что тут она сделает карьеру актрисы. И хорошо. Но время-то уж очень тяжкое и без прислуги справлюсь ли?..

Блок. 28 декабря 1920. Петроград

Устал. Мороз. Любу давно не видал...

29 декабря 1920. Петроград

...Ссоры с Любой...

31 декабря 1920. Петроград

День безвыходной тоски. У меня — доктор Пекелис... Мрачная встреча Нового Года.

3 января 1921. Петроград

Новый год еще не наступил — это ясно; он наступит, как всегда, после Рождества.

В маленьком пакете, спасенном... из шахматовского дома и привезенном... осенью: листки Любиных тетрадей (очень многочисленные). *Ни следа* ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива, повестки, университетские конспекты (юридические и филологические), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле.

На некоторых — грязь и следы человеческих копыт (с подковами). И все.

6 января 1921. Петроград

...Очень тяжело: ссоры с Любой, подозрения относительно ее. С мамой тоже. К ночи — разговор с Любой, немного помогший. Мои артериосклерозы.

17 января 1921. Петроград

Утренние, до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели.

Научиться читать «Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда...



21 января 1921. Петроград

...В результате страшного дня между мамой и Любой произошел разговор, что надо разъезжаться...

28 января 1921. Петроград

Всю ночь – черные сны, а также – очень грозные полусны, полувь... Дельмас, которую я уже ревную.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

12 апреля 1921. Петроград

Милая, родная моя, спасибо за то, что зовешь меня... Но ведь приехать так невозможно. Надо тащить одеяло, белье, платье. Багаж провезти нельзя... И денег с собой надо привезти. А их у меня нет, и у Саши тоже нет. Ты ведь вовсе не знаешь, как мы живем. У Саши и у Любы карточки «горячие» — такое название. Поэтому бывает и мясо, и сахар, и масло. Денег же у них мало. Недавно, чтобы купить картофеля, я 2 дня кряду ходила па Покровку с портфелем Франца и продала его. Тогда купили. Если б ты видела, как Саша похудел и как он нервен, ты бы поняла, что все делает все, чтобы ему достать масла и сахару — 2 главные вещи. Книги продаются туго. Скоро Саша с Чуковским едут в Москву, Чуковский с лекцией о Блоке, Саша стихи читать. Все это исключительно для денег...

Блок. 18 апреля 1921. Петроград

Опять разговоры о том, что нужно жить врозь, т.е. маме отдельно, — неотступный, смутные, незабываемые для меня навсегда оставляющие преступление, от сознания которого никогда не освободиться, т.е. никогда не помолодеть... Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не *nuova*), вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в *другую* сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой

20 апреля 1921. Петроград

...Теперь отношение ко мне моей невестки дошло до того, что решила, я сама решила отделиться от них, жить как-нибудь отдельно.

Они все собираются перебраться на другую квартиру, чтобы поближе к театру Любови Дмитриевне. И я сказала — пусть ищут, не включая меня. М.б. оставят меня здесь и поселят еще кого-нибудь, м. б., переселят меня, но тогда Саше придется меня содержать отдельно...

А.А. Кублицкая-Пиоттух – Бекетовой.

Конец апреля 1921. Петроград

...Приехал Андрей Белый. Я была у него в гостинице, по Сашину поручению. Он был очень со мной хорош, и вообще хорош...

**Блок. 11 мая 1921. Петроград**

1 мая, в первый день Пасхи, мы выехали... в международном вагоне, с Чуковским и Алянским в Москву. На вокзале меня встретила Н. А. Нолле* в царском автомобиле Л. Б. Каменева с большим красным флагом. Три вечера в Политехникуме (мой с Чуковским)... проходили с возрастающим успехом, но получил я гроши, кроме цветов, записок и писем. Еще я читал в «Доме печати»... в «Studio Italiano»... и в Союзе писателей. Болезнь мешала и читать и ходить. Я ездил в автомобиле... и на извозчиках, берущих 10—15—25 тысяч, всегда вдвоем с беременной Н. А. Нолле (иногда и с П. С. Коганом)...

5 мая Н. А. Нолле пошла в Художественный театр, рассказала Немировичу и Станиславскому о моей болезни и потребовала денег за «Розу и Крест». Каменный Немирович дал только 300 тысяч. Постановку поставили опять в зависимости от приезда заграничной группы и т. д. Стали думать, кому продать. Остановились на Незлобине, к театру которого близок П. С. Коган. Управляющий делами Браиловский вычислил, что до генеральной репетиции (в сентябре), если приравнять меня к Шекспиру и дать четверной оклад лучшего режиссера РСФСР, нельзя мне получить больше 1 ½ миллиона. Станиславский звонил мне каждый вечер, предлагая устроить мой вечер у него для избранной публики в мою пользу, платную генеральную репетицию оперной студии с ним, продажу Луначарскому каких-нибудь стихов для Государственного издательства миллиона за 1 ½ (предложение самого Луначарского). От всего этого я, слава Богу, сумел отказаться.

Узнав о цене Браиловского, Станиславский позвонил Шлуглейту (театр Корша), который наговорил ему, по его словам, что я — Пушкин, что он не остановится перед 2—3 миллионами и дает сейчас 500 тысяч, чтобы я приостановил переговоры с Незлобиным. Узнав об этом от П. С. Когана, Браиловский мгновенно приехал на мой вечер в Политехникум и на слова Н. А. Нолле, что меня устроят 5 миллионов, сказал, минуту подумав, что он готов на это, а на следующий день привез мне 1 миллион и договор, который мы и подписали. Все это бесконечно утомляло меня, но, будем надеяться, сильно поможет в течение лета, когда надо вылечиться.

Визит к Каменевым в Кремль с Коганами... вид на Москву, чтение стихов.

П. С. Коган, убежденный марксист, хорошо действующий на меня своей мягкой манерой, много раз доказывал мне ценность искусства и художников с точки зрения марксизма и рассказывал, что приходится преодолевать Каменеву и Луначарскому, чтобы защитить нас...

В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов — интеллигенции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем

* Литератор, жена профессора П. С. Когана



в прошлом году, но народу много, есть красивые люди, которых уже не осталось здесь, улица шумная, носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики, баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре.

Мама в Луге...

Люба встретила меня на вокзале... мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства).

25 мая 1921. Петроград

Наша скудная и мрачная жизнь в первые пять месяцев: отношения Любы и мамы, Любин театр... С 30 марта по 3 апреля Бу болела... Л. А. Дельмас, разные отношения с ней.

Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал.

«Службь» стали почти невыносимы. В Союзе писателей, который бессилен вообще, было либеральничанье о свободе печати, болтовня о «пайках» и «ставках»... В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева. В театре... «автономия». Дом искусств «закрывали» и опять открыли.

Чтобы выцарапать деньги из Берлина... Ответов нет.

У Добужинского я смотрел эскизы к «Розе и Кресту», некоторые очень хороши, все — немного деревянно.

Чуковский написал обо мне книгу и читал ряд лекций. Отсюда — наше сближение, вечер в театре 25 апреля...

Я заходил к А. Белому по делу в «отель Спартак», где он поселился. Дела и ничего не вышло.

3 марта объявили «осадное положение», потом скоро — «военное». От канонады дребезжали стекла. 24-го открыли театры.

Много сил ушло на продажу и переправку книг в лавку Дома искусств.

Жизни не украшали писание в альбомы, чтение скверных стихов...

Май после Москвы я, слава богу, только маюсь. Я не только не был на представлении «Двенадцатой ночи» и в заседаниях, но и на улицу не выхожу и не хочу выходить.

Мама после моего отъезда в Москву... уехала в Лугу и живет у тети.



Глава XXXII. «Погибнуть или любить...»

Бекетова. В прежние годы Ал. Ал. тоже не любил, когда она* уезжала или часто отлучалась из дому, но он переносил это все сравнительно легко. Теперь же он без нее тосковал, падал духом, не хотел приниматься за еду, пока она не вернется... Мать видела это и стала тревожиться за здоровье сына, но Люб. Дм. по свойственному ей оптимизму не придавала значения всем этим фактам. И действительно, в начале 1921 года еще не обнаруживалось ничего угрожающего. В феврале месяце Люб. Дм. взяла прислугу, так что ей не приходилось уже так часто уходить из дому, но пока не было прислуги, Ал. Ал. пришлось, между прочим, носить дрова из подвала. Это продолжалось всего два-три месяца, так как, пока не запретил доктор, Люб. Дм. делала это сама, но Блок, как всегда, не берег своих сил и вместо того, чтобы делать эту работу постепенно и понемногу, таскал большие вязанки, чтобы скорее отделаться от неприятной обязанности. Он не жаловался на нездоровье, и раз только в течение этой зимы сделалась у него какая-то подозрительная боль в области сердца, которую он принял за что-то другое и не подумал обратиться к доктору. А между тем болезнь, наверно, уже подкрадывалась к нему. Его нервы были в очень плохом состоянии, по большей части он был в самом мрачном настроении, но и тут иногда случалось ему вдруг неизвестно с чего развеселиться. В такие минуты он смешил жену, мать и какого-нибудь гостя, изображая комический митинг, рисовал карикатуры, раздавал всем какие-то ордена с мудреными названиями вроде: «Рев. Мама», «Рев. Люба» и т. д...

Для выяснения положения вещей мне придется указать еще на один факт, игравший важную роль в жизни Ал. Ал. Между его матерью и женой не было согласия. Разность их натур и устремлений, борьба противоположных влияний, которые обе они на него оказывали, создавала вечный конфликт между ними. Если бы обе они были заурядные и мелкие женщины, это было бы менее остро, но так как каждая из них в своем роде крупная величина и индивидуальность – конфликт между ними был сложный и мучительно отзывался на поэте, который, любя обеих, страдал от невозможности примирить противоречия их натур. Люб. Дм. не всегда умела сдерживать порывы своей враждебности. И эти несогласия между наиболее близкими ему существами жестоко мучили Ал. Ал. В сложном узле причин, повлиявших на развитие его болезни, была и эта мучительная язва его души...

Люба. Между прочим, могу сказать с полной ответственностью, что я никогда не «лезла на рожон». Всегда Александра Андреевна

* Люба.



врывалась в мою жизнь и вызывала на эксцессы. Бестактность ее не имела границ и с первых же шагов общей жизни прямо поставила меня на дыбы от возмущения. Например: я расказала первый год моего невеселого супружества. И вдруг в комнату ко мне влетает Александра Андреевна: «Люба, ты беременна!» «Нет, я не беременна!» – «Зачем ты скрываешь, я отдавала в стирку твоё белье, ты беременна!» (сапогами прямо в душу очень молодой, даже не женщины, а девушки.) Люба, конечно, начинает дерзить: «Ну, что же, это только значит, что женщины в мое время более чисто-плотны и не так неряшливы, как в ваше. Но мне кажется, что мое грязное белье вовсе не интересная тема для разговора». Поехало! Обидела, нагрубила и т.д. и т.д.

Или во время нашего злосчастного житья вместе в трудный 1920 год. Я в кухне, готовлю, страшно торопясь, обед, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек эдак пуда в полтора-два, который принесла на спине с улицы Халтурина. Чищу селедки – занятие, от которого чуть не плачу, так я ненавижу и запах их и тошнотворную скользкость. Входит Александра Андреевна. «Люба, я хочу у деточки убрать где щетка?» – «В углу на месте». – «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная тряпка, у тебя нет чище?» У Любы уже все кипит от этой «помощи». «Нет, Матреша принесет вечером». – «Ужас, ужас! Ты, Люба, слышишь, как от ведра пахнет?» – «Слышу». – «Надо было его вынести». – «Я не успела». – «Ну, да! Все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда». Трах-та-ра-рах! Любино терпенье лопнуло, она грубо выпроваживает свою свекровушку, и в результате – жалобы Саше – «обидела, Люба меня ненавидит...» и т.д.

Если бы знать, если бы понимать, что имеешь дело с почти сумасшедшей, во всяком случае, с почти невменяемой, можно было бы просто пропустить все мимо ушей и смотреть как на пустое место. Но Саша принимал свою мать всерьез, и я за ним тоже. Насколько это было ошибочно, покажут будущему внимательному исследователю ее письма. Горя эта ошибка принесла и Саше, и мне очень много. И для меня большое облегчение, что я могу сложить с себя обязанность судить этот восемнадцатилетний спор между нами тремя. Я предпочитаю передать его ученикам Фрейда...

Бекетова. В середине апреля начались первые симптомы болезни. Ал. Ал. чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой-нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать. В этом удрученном состоянии он поехал в Москву... Перед его отъездом было решено, что Ал. Андр. поедет отдохнуть ко мне в Лугу, куда я звала ее на все лето. Ал. Ал. уехал 1 мая, с трудом сошел вниз, опираясь



на палку, с трудом сел на извозчика. В Москве надеялся он освежиться и набраться сил, но не тут-то было. Выступление на шести вечерах, по-видимому, окончательно надорвало его сердце. Настроение его в Москве резко отличалось от прошлогоднего. Многие слышали от него, что он готовится к смерти. Несмотря на все триумфы, на самый сердечный прием, оказанный ему москвичами... Ал. Ал. был все время невесел, и оживление к нему не вернулось. Между прочим, он советовался в Москве с доктором, который не нашел у него ничего, кроме истощения, малокровия и глубокой неврастности. Но доктор этот ошибся... После своих выступлений Ал. Ал. почувствовал себя настолько утомленным, что вернулся в Петербург немного раньше, чем предполагал, предупредив телеграммой жену о дне и часе приезда. Ал. Андр. уехала в Лугу 4 мая, уже в его отсутствие. Люб. Дм. встретила мужа на вокзале, привезла домой в экипаже... и рассказала ему, как хорошо удалось обставить отъезд Ал. Андр.... Ал. Ал. был рад видеть жену и вернулся домой довольно веселый, но вскоре впал в обычное для него в то время мрачное настроение. Люб. Дм. нарочно выбрала свободный вечер, и, выманив его на улицу в хорошую погоду, повела его по одному из его любимых путей – направо от набережной Пряжки, потом через мостик и дальше до самой Невы. Но во время этой прогулки вдвоем, которая прежде доставила бы ему так много удовольствия, он даже ни разу не улыбнулся...

Люба. 17 мая, во вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке в комнате Ал. А., позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили – оказалось 37,6; уложили его в постель; вечером был доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги – что у него было всю зиму. Ночью был плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые кошмары – это его особенно мучило. Вообще состояние его «психики» – мне казалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису – он соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. Когда мы говорили с ним об этом, мы так формулировали в конце концов: всегдашнее Сашино «нормальное» состояние – уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том – была бы уже «болезнь», его смены настроения – от детского, беззаветного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения, с битьем мебели и посуды (после них, прежде, он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голову, говорил «что же это со мною? Ты же видишь!») – в такие минуты, как бы он ни обидел меня перед этим, он сейчас же становился ребенком для меня, я испытывала ужас, что только что говорила с ним, как со взрослым, ждала и требовала, сердце разрывалось на части, я бросалась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защищающим рукам, ласкам, словам – и мы ско-



ро опять становились «товарищи»). Так вот теперь, когда все эти проявления болезненно усилились – они составляли только продолжение здорового состояния – и в Саше не вызывали, не сопровождалась какими-нибудь клиническими признаками ненормальности. Но будь они у простого человека – наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни.

Мрачность, пессимизм, нежелание, глубокое – улучшения, – и страшная раздражительность, отвращение ко всему, к стенам, картинам, вещам, ко мне. Раз как-то утром, он встал и не ложился опять, сидел в кресле у круглого столика около печки. Я угovarивала его опять лечь, говорила, что ноги отекут – он страшно раздражался с ужасом и слезами: «Да что ты с пустяками! что ноги, когда мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать...», при этом он хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и свое маленькое карманное зеркало, в которое он всегда смотрелся, и когда брился, и когда на ночь мазал губы помадой или лицо борным вазелином. Зеркало разбилось вдребезги. Это было еще в мае; я не смогла выгнать из сердца ужас, который так и остался, притаившись на дне, от этого им самим, нарочно разбитого зеркала. Я про него никому не сказала, сама тщательно все вымела и выбросила.

Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил, ходил по квартире, в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что он себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончил разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона. Это битье его успокоило, и на мое восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: «А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа». Большое облегчение ему было, когда уже позже, в конце июня мы сняли все картины, все рамки, и все купил и унес Василевский. Притом – мебель – часть уносилась, часть разбивалась для плиты...

Бекетова. Вскоре после приезда из Москвы у Ал. Ал. был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор А. Г. Пекелис, ныне уже покойный, тоже не сразу определил у Ал. Ал. болезнь сердца: подтвердив диагноз московского доктора, он нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил, как психостению, т. е. психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он недолго блуждал впотьмах. При первых припадках удушья и боли в груди



он выслушал сердце Ал. Ал. и в конце концов вполне правильно поставил диагноз болезни, подтвержденный позднее известным профессором Троицким, ныне тоже покойным. По определению Пекелиса, у Ал. Ал. было воспаление обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психостении. Прошло около трех недель с первого припадка, прежде чем Пекелис окончательно убедился в том, что у Ал. Ал. настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто бывают обманчивы.

Болезнь начала быстро развиваться. Доктор Пекелис, который навещал А. А. ежедневно, предписал ему полный покой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы не утомлять его сердце разговорами и впечатлениями. Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы, что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. В начале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывали Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно, и потому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь спрашивались о здоровье Ал. Ал.

Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было прерывистое, при малейшем волнении он начинал задыхаться.

Доктор Пекелис пустил в ход весь арсенал противосердечных средств. Доставать лекарства было нелегко, но на помощь пришли друзья, которые наперерыв предлагали свои услуги больному. Друзей этих оказалось великое множество... Со всех сторон предлагали денег, доставляли лекарства, посылали шоколад и другие сласти. Люб. Дм. отказывалась от денег, так как их было достаточно, но приношения и услуги всегда принимала с благодарностью. По части еды она доставала все, что можно было достать и что нравилось Ал. Ал. В доме была расторопная и ловкая прислуга, которая оказывала существенную помощь. Ал. Ал. кушал ветчину, жареных цыплят, свежую рыбу, икру и уху, бифштексы, яйца, разные пирожки, молоко, ягоды, любимые им кисели из свежей малины и огурцы. Булки, сахар, варенье, шоколад, сливочное масло не сходили с его стола. Ему не готовили сладких блюд, потому что он их не любил. Но ел он, к сожалению, мало. Иногда только просыпался у него аппетит и особая охота, например, к свежим ягодам...

Все, что можно было сделать для него в Петербурге, делалось. Люб. Дм., разумеется, перестала играть со времени болезни мужа, она числилась в труппе, но не выступала.



Энергичное лечение Пекелиса принесло некоторый результат. Ал. Ал. стало значительно лучше, так что он ободрился и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце.

В периоды улучшения Ал. Ал. развлекался работой. Так как Пекелис с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетворительны, Ал. Ал. стал готовиться к отъезду за границу. Он рассчитывал, что, поехав в санаторию в сопровождении жены, он пробудет там месяца два, поправится и вернется домой, а Люб. Дм. уедет в Россию еще раньше его, как только лечение пойдет на лад, и приищет более просторную и удобную квартиру с ванной, на которую и переедет до его возвращения. Ввиду этого он стал разбирать свой архив, как делал не раз и прежде, то перед Новым годом, то осенью или весной. Он любил такую сортировку своих бумаг и основательную уборку с уничтожением ненужного материала. Теперь он отобрал при помощи Люб. Дм. все, что находил лишним, сделав тщательные записи того, что осталось и что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукописи и письма, привел в порядок все остальное и закончил перечень своих работ, начатый несколько лет тому назад...

Люба – А.А. Кублицкой-Пиотгух.

12-14 июня 1921. Петроград

...Собиралась сегодня сама писать Вам как раз. Как я Вам и говорила – время идет так быстро, что и необразишь, сколько дней прошло. О консилиуме и Вы мне говорили, и Пекелис, и он уже начал переговоры с этими докторами, еще не выберут удобный день и час. Вообще сердце лучше немного, температура в тех же пределах, аппетит недурной, — и несмотря на это я Вас определенно и решительно прошу не приезжать. Если бы Вы не высказали... намерения приехать, я не писала бы Вам, что в день Вашего отъезда Саша спал плохо, на другой день утром было 37,6, а к вечеру 38,5, он боялся припадка. На другой день все опять вернулось к норме... благодаря большим усилиям. Я пишу это не для того, чтобы Вас огорчить, а думаю, что Вы же упрекнули бы меня если бы я не предупредила Вас и следующий Ваш приезд отозвался бы так же. Если Вы цените хоть сколько-нибудь мои заботы и мой уход за Сашей, которых ему нужно еще очень много и очень надолго — не ослабляйте меня — а помогите.

Вам трудно бороться со своими нервами — будьте по-настоящему мужественной, нет — женщиной — только мы это умеем — в ответ на их волнения пейте прозаично бром — этим Вы очень, очень много делаете для Саши, уж поверьте мне. Вы слышите сквозь письмо, что я к Вам так же, как в минуту Вашего отъезда. Я пишу Вам все — веря в то, что Вы найдете силы понять это по-моему. Вы же видите, что мне пришлось опять собой, своими интересами (очень



дорогими) поступиться, но и я имею право просить того же у Вас. А польза Сашина, чтобы Вы не приезжали, уже то ему тяжело, что он не в силах принять Вас, как прежде; это по его отрывочным словам было видно — то, что нет у него сейчас никаких душевных сил ни на что — это то, что его мучает — эта его опустошенность. И писем от него не требуйте, ему трудно очень, очень...

Бекетова. После временного облегчения, наступившего в июне, болезнь опять наложила на Ал. Ал. свою жестокую руку, и все началось сначала. 17 июня был созван консилиум из трех врачей: Пекелиса, профессора Троицкого и специалиста по нервным болезням Гизе. Последний ничего не понял в болезни Ал. Ал., но Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза, — он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли Блока». Мнение это Пекелис до времени скрыл от близких больного. Лечение Пекелиса Троицкий нашел вполне правильным, и оно продолжалось по-прежнему. Решено было увезти больного в санаторию за границу. Начались хлопоты о разрешении ехать в Финляндию, которые взял на себя Горький. Не скоро, очень не скоро получено было разрешение. Когда оно пришло, Ал. Ал. был уже настолько слаб, что нелегко было трогать его с места. Но в сердечных болезнях всегда бывают неожиданности: внезапно могло наступить улучшение, которым можно было бы воспользоваться, чтобы перевезти больного, но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о разрешении для Люб. Дм. Но оно пришло уже после смерти поэта.

Во все время болезни Ал. Ал. за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург, но Люб. Дм. и доктор Пекелис уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного.

Ал. Андр. вообще имела свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, а ее нервная болезнь, которая с годами не ослабевала, а все усиливалась, могла очень серьезно повлиять на такого больного, как Ал. Ал. По словам доктора Пекелиса, который не раз говорил с Ал. Андр., давая ей советы по случаю ее сердечных припадков, ее нервная болезнь была такого же типа, как болезнь Ал. Ал.; он был поражен сходством того, что говорили ему сын и мать во время его докторских посещений.

Люб. Дм. удерживала Ал. Андр. в Луге до последних дней жизни Ал. Ал. Мать подчинялась этому требованию из страха нарушить покой больного сына. Но всякий поймет, чего ей это стоило. Только раз рискнула она приехать в Петербург. Это было в июне и еще до созыва консилиума. Уже тогда мать была поражена страшной переменой, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым сердцем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе его болезни...



А.А. Кублицкая-Пиотгух – М.П. Ивановой
27 июня 1921. Луга

...Только сейчас одна у меня дума о моем горе. Съездила в Петербург. Люба не хотела меня пускать в квартиру, стала кричать, вертеться по лестнице, хвататься за голову. Я стала уходить. Она не пустила...

Саша был как будто доволен моим появлением. Сходила я к доктору, который его лечит. Доктор сказал: «Положение серьезное». Стала просить Любу: «Позволь мне остаться». Ни за что. На другой день уехала. Говорит, что я Сашу восстановила против нее: «И Женя Иванов сказал мне на днях: «Значит, она мутит тот источник, из которого Саша пьет». — Вот, что Ваши друзья говорят о Вас». А я, Маня, и вправду думала, что Женя мне друг...

Люба – А.А. Кублицкой-Пиотгух.
Начало июля 1921. Петроград

...Очень трудно сказать что-нибудь определенное о состоянии здоровья Саши. Бывают дни, как сегодня и вчера, когда он чувствует себя отвратительно, усиливаются отеки, рвота, боль под ложечкой (все, как у Вас, но гораздо сильнее), самочувствие ужасное. Но третьего дня, например, он провел день совершенно бодро, без большой боли, отеки уменьшились, он работал, приготовил статью для печати... И такие смены происходили несколько раз — вдруг лучше, вдруг хуже.

Потому о том, что он поправляется, говорить еще рано — бывают дни, когда это вполне кажется — надо, чтобы они твердо установились.

То же, конечно, и с аппетитом, и с температурой и пр. — разное. Иногда он ест с удовольствием и много, очень разбирает еду, иногда один бульон, яйца, кисель. Готовится ему все только «по-прежнему», по «старому режиму»... Булки тоже «настоящие» из кофейни. — Все говорят о том, что его отпускают за границу, но Горький еще не вернулся, и пока у меня нет бумаги в руках, остерегаюсь верить этому. Все же для отъезда надо будет дожидаться прочного улучшения; деньги уже есть в Ревеле, из Берлина 5 тысяч марок — это приблизительно на месяц санатории. Будут, надо надеяться, еще. Здесь денежные дела неважны — много разочарований: Незлобинский театр не уплатил уже 2 миллиона за июнь, и июль, благодаря перемене правления и режиссера пьесу ставить не будут — только уплатят по договору — но с задержкой. Мне тоже не отдадут из Изо 2 ½ миллиона, которые должны за проданные туда мои модные картинки — у них нет денег. Платит Алянский, продаем опять книги и хлам, пока хватает совершенно, но нет того избытка, которого ожидали для переезда на другую квартиру, устройства там более или менее комфортабельно и так далее. А переезд необходим



не только для меня, особенно для Саши: и ближе ко всему, и удобнее дома. Дров везде масса — только бы деньги и можно широко запастись на зиму. Но все эти долги мы ведь получим, так же из-за границы. Надеюсь еще на время, чтобы до зимы все это произвести. Время еще много; из-за денег я и не начинаю уже сейчас поисков квартиры, в которых поможет и Алянский, и другие. Вообще друзья у нас поразительные — настоящие — помогают со всех сторон всячески.

Хотел Саша написать Вам письмо, но сегодня так ему нехорошо, слаб он, самочувствие отвратительное — напишет в другой раз. Очень ему утяжеляет болезнь — неврастения, дошедшая до предела — все представляется только мрачно, беспросветно, все боли, вое плохое раздувается до мучительных размеров и он часто очень страдает; а максимум хорошего — это занимается делом. Хорошего же настроения никогда не бывает. Очень он мучается сверх болезни; как-то зря — но что поделаешь, не в его власти...

Да, Саша ненавидит сейчас оптимизм; когда в Вашем письме, написанном после действительно некоторого улучшения, но которое пришло в дни ухудшения, конечно, он прочел слова надежды и радости о том, что лучше, — ему ужасно было неприятно. Ему сейчас же представилось, что от Вас скрывают, что он еще не поправился, что никто его не жалеет и тому подобное. Мне с ним говорить в тон почти невозможно — я всегда ловлю все лучшее, всегда надеюсь и жду хорошего. Может быть, сможете Вы; во всяком случае лучше Вам это знать, когда пишете.

А.А. Кублицкая-Пиоттух – М.П. Ивановой

7 июля 1921. Луга

... Вчера мне написали, что Саша решительно поправляется. Порадуйтесь за меня. У него аппетит, и сон лучше, и настроение, и температура. Надо только бога благодарить и молиться еще, чтобы скорее поправлялся... Я рада, что Женя сам предложил, чтобы я жила у вас. Тут у меня тысячи сомнений. И самое важное: очень далеко от Саши.

...Люба во всяком случае будет менять квартиру, чтобы быть ближе к театру. И тогда предполагалось оставить меня на месте, а в их комнаты переселились бы знакомый нам хороший матрос с женой. Они бы мне и помогли кое в чем. Но очень возможно, что Люба не найдет квартиры, они останутся здесь. Тогда вот и буду решать иначе...

На душе очень смутно, несмотря на радостную весть, ведь это еще только начинается выздоровление.

Бекетова. Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он



проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Люб. Дм. пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое-нибудь скороспелое блюдо, и давала ему поесть.

За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно-апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления, между прочим, отеку мозга, связанному с болезнью сердца. Психостения усиливалась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро. Слабость достигла крайних пределов...

Люба – А.А. Кублицкой-Пиоттух.

2 августа 1921. Петроград

... Молитесь еще, еще и еще. Вчера Саше было очень плохо, сегодня легче — что же как не все наши молитвы? Пекелис твердо надеется, я тоже вымаливаю себе надежду. Бог даст уедем, доживем до лучших дней.

Сейчас не надо еще говорить о Вашем приезде — именно потому что положение тяжелое и нельзя ничего «пробовать». А потом все будет хорошо; неужели я могу остаться той же, что и до его болезни? Если Бог спасет его — ему будет хорошо со мной. Вам тоже. А он ведь теперь все время не в здоровом сознании. Меня воспринимает по-другому, как чужую, хотя и называет правильно; как же он может хотеть видеть? Или думать что-нибудь реальное...

Пока только молитесь за него, просите о его спасении.

Бекетова. Ни доктор, ни Люб. Дм. все еще не теряли надежды на выздоровление. За четыре дня до смерти сына мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Ал. Ал. жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 ч. утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены. Перед смертью почти ничего не говорил...

Белый – В. Ходасевичу. 9 августа 1921. Москва

...Блока не стало. Он скончался 7 августа в 11 часов утра после сильных мучений: ему особенно плохо стало с понедельника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище. Да!...

Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня, как



орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или *умирают* или *просветляются* внутренно: вот и стукнуло мне его смертью: *пробудись*, или *умри: начнись* или *кончись*.

И встает: «*быть или не быть*».

*Когда, душа, просилась ты
Погибнуть, иль любить...*

Дельвиг

И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, *гуманной* жизни, иль смерти. Орангутангом душа жить не может. И смерть Блока для меня это зов «*погибнуть иль любить*».

Он был поэтом, т. е. *человеком вполне*; стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле)...

Эта смерть — первый удар колокола: «*поминального*», или «*благовестящего*». Мы все, как *люди вполне*, «на роковой стоим очереди»: «*погибнуть, иль... любить*»...

Бекетова. Первая панихида была в 5 час. вечера. Но еще до панихиды с утра весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, но совершенно посторонние люди... Многие плакали навзрыд...

Вскоре тело поэта было засыпано цветами. Погода была жаркая, все окна открыты. Большой Драматический театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному: его обили глазетом и кисеей... Пришли литераторы, пришла, разумеется, и Вольфила с Ивановым-Разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней, трагической смертью...

В то время, как тело лежало на столе, несколько художников сделали с него карандашные снимки. Лучшим из них, действительно, очень хорошим, тогда как другие не удались, оказался рисунок матери Люб. Дм. — Анны Ивановны Менделеевой. Он долго висел на стене той комнаты, где скончался поэт и куда перешла после его смерти его вдова. Позднее была снята маска и слепок руки покойного. Есть также и фотографии, снятые с него в гробу.

Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы. В числе их был и брат по духу поэта — Андрей Белый. В первую минуту забыли положить на гроб крышку; когда процессия уже двинулась и кто-то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали: «Не надо». И так и несли тело усопшего в открытом гробу до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась громадная процессия, запрудившая всю Офицерскую от дома поэта до Алексеевской ул. Гроб несли ровно и дружно, и на виду у всех было тело поэта, украшенное живыми цветами.



Отпевали его в церкви Воскресения, стоящей при въезде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным. В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор Филармонии, тот же хор пел и на панихидах. Похороны были прекрасные во всех отношениях: торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографии, бесцеремонно распорядившиеся толпой и отдававшие какие-то наглые приказания. Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Е. А. Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашеный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов, не переводились на этой могиле свежие цветы. Близкие находили на ней чьи-то стихи, обращенные к поэту...

В.С. Люблинская* – Т.С. Люблинской**

15 августа 1921. Петроград

...Он умер — почти единственный гениальный человек современности — от сердечной астмы, тихого помешательства и цынги (страшная болезнь) на почве недоедания... На его похоронах была большущая толпа народа. Гроб Его несли с Офицерской улицы до Смоленского кладбища на руках всякие знаменитости — А. Белый, Владимир Васильевич Гишпиус, ученые, театралы и т. д... Чудная служба в церкви, при которой мне чуть не стало худо, так как почти три часа стояла усталая, с натертыми ногами, в страшной толкотне и духоте. Жена его и мать в глубоком трауре, молились, страшно плакали. Цветов была бездна. Он лежал изменившийся, страшно худой, со словно выточенными из кости руками, весь в цветах.

Вдали от себя, в толпе, я вдруг увидала горько плачущую и молящуюся молодую женщину. Лицо ее было так необыкновенно и притягивающе, что я не могла оторвать взгляда от нее. Лицо прекрасное, очень красиво — но совсем необыкновенной, не светской красотой, и я почувствовала, кто это, узнала ее — которую никогда не видала. Это была Анна Ахматова.

Потом, после отпевания, с покойным попрощались.

А. Белый подошел, долго и пристально смотрел в лицо Его и поцеловал лоб, причем еле удержался — едва не свалился и сделался мертвенно бледен... Когда Ахматова подошла, поклонилась над ним и крестилась, слезы текли у нее без удержу, хотя она закрылась вуалью. Потом она поцеловала, как и все делали, его руки. В простом и глухом сером платье, немодной большой шляпе с вуалью — я ее узнала среди тысячной толпы, никогда раньше не видав, и она оставила по себе такое прекрасное

* Переводчица.

** Сестре.



впечатление!.. Ты его, родная, и не поймешь. Мне казалось, что я в первый раз в жизни увидела истинную красоту, и что такая красота поистине «может спасти мир»...

Анна Ахматова

Памяти Ал.Блока

*А Смоленская нынче именинница,
Синий ладан над травой стелется,
И струится пенье панихидное,
Не печальное нынче, а светлое.
И приводят румяные вдовушки
На кладбище мальчиков и девочек
Поглядеть на могилы отцовские,
А кладбище — роща соловьиная,
От сиянья солнечного замерло.
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках во гробе серебряном
Наше солнце, в муке погасшее,—
Александра, лебедя чистого.*

Бекетова. Первый, кто почтил память покойного, была Всерос. Ассоциация Пролет. Писат., которая совместно с Петрогр. Пролеткультом устроила 16 авг. вечер памяти Блока, а затем Вольфила, ближайшее заседание которой после смерти поэта было посвящено ему... Немного спустя в Вольфиле произошло второе событие, отмечившее память Ал. Ал. Блока. Андрей Белый два дня читал свои воспоминания о покойном поэте. Кто имел счастье присутствовать на этих чтениях, знает, что это были дни, выдающиеся по своему значению. Андрей Белый говорил с таким вдохновением и проникновенностью, так прекрасно и выпукло очертил облик поэта в пору его светлой юности, что вся зала была потрясена и растрогана, а для нас — трех осиротевших женщин — это было живой отрадой: мы как бы вновь пережили эти прекрасные годы...

А.А. Кублицкая-Пиоттух — М.П. Ивановой
24 октября 1921. Петроград

...Да, теперь не могу так часто бывать на кладбище. Погода мешает. Кроме того, после двух выступлений Андрея Белого, когда он так несравненно хорошо говорил о Саше, я от волнения расклеилась... Маня, как Борис Николаевич говорил о Саше! Все время казались мне, что и присутствует здесь он, мое дитя, вдохновляет своего брата по духу.

Милый, добрый, простой был Борис Николаич! А что Женя? пишет? Тут дело вовсе не в том, чтобы обрисовать, как Вы говорите,



а воспоминаниями оживить хоть бы на мгновение. И это он сделал. Люба плакала горько и совсем помирилась с Борей, а как она его ненавидела! И ее тронуть вообще трудно. Вот, будет напечатано. Тогда Вы прочтете, это не совсем то, но все-таки.

Маня, мучит меня то, что Вы меня не знаете, и я, стало быть, обманываю Вас. Вы мой единственный друг. И Вы не знаете всей глубины моего греха. Вы считаете меня лучше, чем я есть, потому что не знаете, как я прожила жизнь. Ведь я и молиться совсем не могу. И во сне Сашу не вижу. В церковь совсем не хожу, а если войду, — камень и холод. Знаете ли Вы, что в моей жизни были мужчины? И это наложило печать на всю жизнь мою и ребенка... Я переписываю часами Сашины статьи, переводы, редакции. А сегодня снег занес могилу, и я не могу пойти туда из-за этой невралгии проклятой!..

Я безмерно и непоправимо виновата перед Сашей...



Глава XXXIII. Просветленный слепец

Белый. *Блока — какая-то составная неотъемлемая часть моей души: не стихи, не роль его в литературе, а он сам, «Саша», как таковой был едва ли не ближайшим моим — не в плоскости общения (с 1908 года общались мы редко), а в глубине глубин: «бытие» Блока сопровождало меня всюду; я мог быть в Москве, в Петербурге, в Каире, в Дорнахе, — и всюду я знал, чувствовал, что у меня есть брат: и это был — Блок; только с двумя у меня было это чувство «брата»: с Сережей** и с Сашей; по-разному: Сережа был «братом» одной половины моей души; Саша — другой (но Саша ближе); когда-то (до 1905 года) мы чувствовали все трое друг к другу это чувство: с 1905 года Сережа разошелся с Сашей, а я точно раскололся между ними; вчера понял, что этот раскол души между двумя «братьями» мучил где-то меня до сегодня; и я все же знал: у меня два брата; и вот одного, быть может, в духе самого близкого брата не стало. Я понял, что одурь, которая вчера напала на меня, от сознания, что «Саша» (живой, на физическом плане) — часть меня самого. Как же так? Я — жив, а содержание, живое содержание души моей умерло? Бессмыслица?! Тут я понял, что какой-то огромный этап моей жизни кончен. Блок — отстрадал: пора ему отдохнуть, ему хорошо. Да будет воля Твоя! И он встал предо мной, омытый от теней смертной усталости и пыли земной, наложивших на него такие суровые черты за эти последние годы. И удивительно мягко, как тема нежнейшей симфонии сквозь внешние диссонансы прошла передо мной его личность, повернутая ко мне с 1902 года (верней с конца 1901 года). Мне стало легко и радостно: я мог благодарить судьбу за встречу с ним.

Да, — его *бытие* для меня — было чем-то в роде: возможности слушать Шумана (Шуман — мой любимейший); я могу года по условиям судьбы не услышать ни одного звука Шумана, но я знаю: что мне возможно его услышать: завтра, послезавтра; я могу прожить спокойно всю жизнь и не услышать Шумана (случайна); но я всегда уверен: что Шуман где-то звучит, он есть для Вечности; и — успокаиваюсь; если бы мне сказали: «Все нотные знаки Шумана исчезли, и с ними исчез Шуман для мира», — я переживал бы это исчезновение почти физиологически, как утрату зрения, слуха и т. д. Так Шуман бессмертен *во мне*. И таким «Шуманом», музыкой Шумана, был для меня сам Блок, — не Блок поэт, не его величина, а — эмпирическая личность. Он — не мог исчезнуть, пока я жив: он — орган восприятия музыки мною; музыка есть для меня, пока я не оглох; музыки нет — я оглох. Блока — нет: стало быть я навеки стал калекой (лишился слуха). Так воспринял я в первую минуту

* Личность?

** Соловьевым.

смерть Блока (как если бы мгновенно лишился зрения); но и слепец, вспоминая о *Свете*, создает «Потерянный рай». И я вышел из этих двух часов молчания — *просветленным слепцом*.

Вечером за чаем мы тихо и светло вспоминали Блока (я и Разумник Васильевич)... Блок был *насквозь человек*, т. е., быть может, только он из всех современных поэтов — поэт собственно, потому что поэт — *насквозь человек*. Он не был «гражданским» поэтом, но воздух его стихов, его только, — воздух России двух последних десятилетий: «Мы дети страшных лет России», — сказал он: еще более он был *сыном России*; ни Бальмонт, ни Брюсов, ни Иванов, ни Маяковский, ни Клюев, ни Ахматова, никто другой не были в поэзии своей *сынами всей России*, а были выразителями кружков, сфер, каст, классов; Блок — поэт *целой России*. И оттого-то воздухом России дышал он; не в аллегорическом, а в буквальном смысле слова...

Тихо, тихо мы вспоминали вчера А. А.: Р. В. сказал: «Да, это был действительный человек: неужели мы будем теперь чтить его память «вечерами», «заседаниями»? Я: «Не представляю: я по крайней мере не могу говорить публично пошлостей в роде того, что мы утратили «великого русского поэта» и т. д. Для меня Блок — что-то настолько интимно-нежное, что я не могу выступать с посмертными речами и статьями о нем». (Действительно: мать, братья, жена «великого» ведь не высказывают на эстраду, а молча плачут у гроба, молча вспоминают покойника: для нас с Р. В. Блок слишком близок, чтобы о нем устраивали мы словесные поминки. Р. В. сказал мне: «Предоставим «Домам искусства», «Домам литераторов» чествовать Блока публично: «Вольфиле» он слишком близок, чтобы и она вошла просто в ранжир официальных панихидных заседаний...») И тут же Р. В. предложил мне с ним вместе приняться за обширную работу о Блоке — работу приготовления материалов воспоминаний о нем, биографии, критических исследований. «Пусть наша память о нем выразится годами труда и работы...» Так и порешили: мы будем справлять память о Блоке, может быть, на протяжении всей жизни нашей.

Сегодня утром приехали на панихиду. Узнали, что панихида ровно в 6; я вернулся в «Спартак»... Мне так хотелось *быть одному*, идти на панихиду с своими, ничем не развеянными мыслями о нем, что я ушел раньше. Тихо шел по Офицерской (Адрес квартиры, где умер он: Офицерская д. 57 кв. 23. Ход со двора: второй этаж). Ворота дома выходят на канал, пахнет морем; много травы...

На дворе у нолей уже вижу — несколько барышень с цветами, Н. А. Павлович (тоже с цветами) и Одинокий (тоже с цветами). Мы пошли наверх: отпирает прислуга. И тотчас же вижу Александру Андреевну (поседела, бодра); я поцеловал ей руку: она поцеловала меня в губы; и что-то хорошее, хорошее прошло между нами.

Прошел в комнату (где была столовая): все вынесено; комната — пустая; Блок лежит на столе; у изголовья его художник Анненков



рисует и мать Л. Д. Блок, Анна Ивановна Менделеева (жена Дмитрия Ивановича) — тоже зарисовывает покойного (она — художница); у меня не хватило смелости «возложить» цветы на покров, которым он покрыт, я просто сунул их на этажерку к цветам же, поцеловал руку Любви Дмитриевне, которая вчера, по словам Р. В. и Форш, все плакала, а сегодня — бодрa и строга (только бледна).

Подошел проститься с тем, что уже не Блок: это «то» — изменилось: восковые пальцы, темное лицо, слегка поросшее бородой (очевидно последнюю неделю не брился); лежит — в куртке; лицо — изменилось: темно-желтое, строго-скорбное, постаревшее; словом — «не Блок»... Понял, что Блок — не *здесь, а в нас*; и отошел к стенке (до панихиды оставалось еще 20 минут); увидел каких-то людей (не понял — кто); узнал лишь Ахматову (в черном трауре, в креповой, густой вуали); видимо она *очень огорчена*... Тут Александра Андреевна тронула меня за рукав и вывела из комнаты — к себе: я взял ее за плечи и еще раз крепко поцеловал. Она была совершенно спокойна: «Ну вот...» — «Радоваться надо за него: отус-гал! — кажется, сказал я. Тут она мне и рассказала последние минуты и дни Блока ...

Тихо поговорили мы с А. А. Между прочим, она мне сказала, что за эти дни (незадолго до смерти) Саша будто бы сказал, что, кажется, я ему самый близкий человек; если хоть часть этих слов верна (а сомневаться в правдивости А. А. не смею), то это как раз соответствует моему внутреннему отношению к нему (а мы не виделись, не разговаривали, не переписывались: тем уверенней во мне было переживание, что все между нами благополучно).

К А. А. пришла какая-то дама; А. А. нас представила: «Вы знакомы?» — «Как же: я знаю Б. Н...» (ее фамилия Дельмас; я не узнал этой дамы); я — вышел в переднюю, столкнулся с Анной Ивановной Менделеевой; оказалось, что она живет в «доме отдыха» в Царском; просила меня зайти к ней.

Я вернулся к покойному: уже комната наполнилась; принесли цветы от «Вольфильм»... принесли еще много цветов...

9-го августа. Петроград. Блок вернулся уже из Москвы — больной: нервное переутомление, подагра и цинга вместе (как говорили — впрочем, кто разберет); и уже в Петербурге случился приступ ангины (это было в мае); вторую половину мая, июнь и июль он прострадал; доктора сказали, что только 50% за то, что он выйдет к жизни и будет жить еще, хотя и с ангиною; но он был очень непокоен; он как бы приговаривал себя к смерти; в первое время его надо было скорей на воздух — в образцовую санаторию; такие были в Финляндии... Последние дни Блок сам не хотел ехать; он — чувствовал приближение смерти, хотел умереть тихо. За несколько дней он прислал Разумнику Васильевичу несколько из своих книг на память с запиской, на которой изображена чисто де-



тская виньетка (бумага для детей). Р. В. еще говорил мне: «Не нравится мне эта записка: Блок не хочет жить. И стало быть: смерть придет...». Он — оказался прав...

9-го августа. Был у Мариэтты Шагинян; она 2 дня плачет о Блоке; рассказывала мне, что ее мучат угрызения совести. Блок ей уже во время болезни послал очень нежное письмо; она же под влиянием своего впечатления от последних сомнений Блока (общественных) написала ему бурное письмо: и потом мучалась все 2 месяца; она видела Евангелие Блока с его пометками; и — говорит: «Он был в подлинной Церкви». Под Церковью же она понимает нечто «свое» (т. е. Христово, а не христианское. Упрашивала меня прийти к ней и говорить ей о Блоке (что я о нем знаю); я ей ответил: «Да ведь у меня слов о Блоке — тома на два; что же мне сказать?» Сегодня в «Правде» известие о смерти Блока; упомянуто, что он автор «Двенадцати»; и — только... По городу расклеены объявления от соединенных — «Дома искусств», «Дома литераторов», «Дома ученых», «Всемирной литературы», «Издательства Гржебина» и «Алконоста» о смерти и о дне и часе выноса. В четверг в помещении «Института Живого Слова» состоится гражданская панихида по Блоку.

В 6 ½ часов состоялась панихида по Блоку. Подходя, увидел у канала группу... Пришли к самому началу панихиды; возложили цветы; народу было не больше, чем вчера: несколько десятков человек; почти никого из литераторов... После панихиды мы с Меринг возложили венок от «В. Ф. А.». Шли назад с П. Е. Щеголевым; и говорили об всем (главным образом о Блоке). Щеголев зашел ко мне и посидел с ½ часа. Решили в скором времени выпустить книгу о Блоке (та, большая работа — само собой). Перед уходом подошел к А. А. Кублицкой-Пиоттух и узнал, что она не уедет в деревню; условились, что приеду к ней...

Щеголев вспоминал, что в эпоху германской революции Блок был полон еще воодушевления; еще в 1920 году (весной) он верил только в *«революцию духа»*, говоря, что только она смоет мещанство, съевшее революцию; она и будет революцией собственно...

10 августа. Сегодня состоялись похороны Блока... По всей Офицерской уже тянулась молодежь к выносу. У ворот дома, на дворе, на лестнице народ; всюду проносили венки; в квартире у черных дверей С. М. Алянский в роли Цербера (пропускающий знакомых и близких). В комнатках душно и тесно; лицо Блока ужасно изменилось... длительная панихида; во время ее Волынский меня подзывает; и — просит: «Понесем вместе: в первую голову!» Мы держались вместе; и ко времени разбора венков стали у изголовья... Л. Д. перед выносом долго и мучительно прощалась



с покойным; я стоял рядом с ней, или вернее над ней; она склонилась к лицу покойного, которое очень сильно изменилось: почти до неузнаваемости. Гроб подняли; Волынский, я, Иванов-Разумник, Замятин, Лозинский...

16 августа. Мне передавали со слов А. А. Кублицкой: Правительство обратилось... с предложением семейству поставить памятник Блоку в Петрограде; семейство отклонило это, мотивируя тем, что Блоку чужды были эти онееры; тогда Каплун предложил памятник на могиле: ответили, что он будет поставлен на средства родных; тогда зашла речь о доске на доме, где жил Блок, ответили, что о доске позаботятся организации. Блок, очевидно, в бессознательном состоянии очень страдал: в беспмятстве он все кричал: «Боже мой, Боже мой» — так громко, что в соседней квартире слышали...

Оказывается, Блок очень хотел чтобы А. А. (мать) уехала в деревню (до болезни)... ему было трудно выносить то, что происходило между Л. Д. и А. А...

18 августа. Сегодня состоялось первое организационное собрание Комитета кружка имени Блока, могущего развернуться и в Музей имени Блока, и в Литературное общество имени Блока...

По словам Александры Андреевны: каждый день на могилу Блока приходит молодежь; очень хорошо приходит: приносят цветы, молятся; какие-то маленькие девочки молились на его могиле; А. А. спросила одну: «Ты знаешь, кто Блок?» Девочка ответила: «Как же: это «Свечечки и вербочки»...» А. А. сказала: «Вот он-то и умер...» Девочка спросила: «Что же: он сильно страдал?» А. А. ответила: «Очень...» Девочка расплакалась....

19 августа. К Блоку: М. В. Сабашникова рассказывала, что Блок незадолго до смерти в бессознательном состоянии все твердил: «Ну вот — начали колоть мебель: вот и поедем!»...

20 августа. Сегодня вечером были с Разумником Васильевичем у Л. Д. Блок, вызвавшей нас; ее сомнения заключаются в том, что учрежденный Комитет памяти Блока может измениться в своем составе и тогда он, владея материалом, не опубликованным, о Блоке, может вопреки желанию Л. Д. распоряжаться материалом, тем более, что Щеголев, великолепный исследователь, привыкший оперировать со всеми материалами и досконально докапываться до фактов биографии, может сообщить в биографии нечто преждевременное, касающееся других (например Л. Д.) и т. д. Обсуждали этот пункт и пришли к заключению, что Комитет должен утвердить компетенцию Л. Д. в вопросе о выборе материала...

Александра Андреевна, с которой я сегодня говорил, сообщила, что болезнь Блока началась уже в январе: сильнейшими слабостями, непрекращающимся чувством холода и ночными потами;

сам Блок думал, что у него начинается туберкулез, как и у отца; Л. Д. указывала, что эти признаки — признаки чахотки: но обращаться к доктору Блок не хотел; ему приходилось ежедневно таскать на себе по лестнице по 4 охапки дров, и он после изнемогал от усталости; в прошлом году при переезде с квартиры он сам на себе перетащил всю обстановку, вплоть до шкафов и опять-таки сильно утомлялся. Жить он не хотел и, по-видимому, к смерти готовился: что-то записывал и приводил в порядок бумаги... Во время Кронштадтских событий... Александра Андреевна вошла к нему в кабинет; он сидел за столом и ничего не делал; увидав входящую Александру Андреевну, он сказал: «И ты слоняешься без дела... и я слоняюсь...» И прибавил очень значительно: «Вся Россия слоняется так: без дела теперь...» Вообще же он мало говорил: угрюмо молчал.

Александра Андреевна сказала мне: «А ведь он был нетерпеливый... Переждать прохода тоски своей не мог... Знаете ли вы, Боря, что Саша был нетерпеливый человек?» — Я: «Нет, признаться, это для меня новость». Александра Андреевна: «Да, он был нетерпелив».

Потом перешли на тему о моих отношениях с Блоком: Александра Андреевна: «Вы стояли на совершенно разных путях и во всем были разные, но в чем-то особенном, главном, о чем сказать нельзя, — были одно...» Я: «Да, — вне путей, в чем-то молчаливом, мы всегда были вместе...» Александра Андреевна: «Оттого он иногда вдруг выбегал к вам, как в прошлом году. Его тянуло иногда к вам... Да и понимал он вас как-то совсем особенно; все его цитирования из вас были бы непонятны для других... Он приводил из вас неожиданные цитаты... Помню, как он обрадовался, когда нашел у вас в «Серебряном голубе» черное небо... Он много говорил о нем тогда...» Я: «У меня было то же чувство к нему: особое, физиологическое...» Александра Андреевна: «Да, так могли чувствовать друг друга лишь братья, кровные...»

Далее Александра Андреевна мне рассказала, что Саша считал мои отношения к Асе «мозговыми», умственными. Я — протестовал: Александра Андреевна: «Не знаю, мне так казалось...» Потом она говорила о том, что Саша страдал часто гипертрофией интеллектуальности; раз он сказал Александре Андреевне: «Куда нам деваться, мама, — тебе и мне от гениальности»; под «гениальностью» же по словам Александры Андреевны он разумел «интеллектуальность»... Потом мы вспоминали время, когда между всеми нами стояла Л. Д.; Александра Андреевна: «Как мне было трудно, Боря, между вами, Любой и Сашей»... Я махнул рукой... Она: «Да, вот — разве что: махнуть рукой...» Между прочим она сказала мне, что Саша ей раз сказал: «Отношения между тобой и Любой наладятся только тогда, когда я умру». И опять разговор перешел на причины смерти; опять она повторила: «Люба и я — вот одна причина; разочарование



в стихии — другая...» Оказывается, последние года он всеми силами души ненавидел сонную жизнь: он не мог слышать о ней, не мог говорить, стискивал зубы и бледнел от гнева...

Он сотворил свою краткую человеческой жизнью вечную память в сердцах тех, кто его знал и любил. И этот памятник нерукотворный живее, бессмертнее и долговечнее тех памятников, которые будут ему поставлены из материалов и напечатанных о нем трудов. Этот памятник — его бессмертная жизнь, ибо мы в Боге родимся, во Христе умираем и в Святом Духе возрождаемся...



Глава XXXIV. Последняя нежность

Люба. Когда писатель умер, мы болеем о нем не его скорбью. Для него нет больше скорби, как отдаться чужой воле, сломиться.

Ни нужда, ни цензура, ни дружба, ни даже любовь его не ломали, он оставался таким, каким хотел быть. Но вот он беззащитен, он скован землей, на нем лежит камень тяжелый. Всякий критик мерит его на свой аршин и делает таким, каким ему вздумается. Всякий художник рисует, всякий лепит того пошляка или глупца, какой ему по плечу. И говорит – это Пушкин, это Блок. Ложь и клевета! Не Пушкин и не Блок! А впервые покорный жизни, «достоянье доцента», «побежденный лишь роком»...

Мне ль умножать число клеветников! Ремесленным пером говорить о том, что не всегда давалось и гениальному перу? А давно уж твердят, что я должна писать о виденном. Я и сама знаю, что должна – я не только видела, я и смотрела. Но чтобы рассказать виденное, нужна точка зрения, раз виденное воспринималось не пассивно, раз на него смотрела. Годятся ли те прежние точки зрения, с которых смотрела? Нет, они субъективны. Я ждала примиренности, объективности, историзма. Нехорошо в мемуарах сводить счеты со своей жизнью, надо от нее быть уже отрезанным. Такой момент не приходит. Я все еще живу этой своей жизнью, болею болью «незабываемых обид», выбираю любимое и нелюбимое. Если я начну писать искренно, будет совсем не то, что в праве ждать читатель от мемуаров жены Блока. Так было всю жизнь.

«Жена Ал.Ал. и вдруг...!» – они знали, какая я должна быть, потому что они знали, чему равна «функция» в уравнении – поэт и его жена. Но я была не «Функция», я была человек, и я-то часто не знала, чему я равна, тем более чему равна «жена поэта» в пресловутом уравнении. Часто бывало, что нулю; и так как я переставала существовать, как функция, я уходила с головой в свое «человеческое» существование.

Упоительные дни, когда идешь по полу развалившимся деревянным мосткам провинциального городка, вдоль забора, за которым в ярком голубом небе набухают уже почки яблонь, залитые ясным солнцем, под оглушительное чириканье воробьев, встречающих с не меньшим восторгом, чем я, эту весну, эти потоки и солнца, и быстрых вод тающего, чистого не по-городскому снега. Освобождение от сумрачного Петербурга, освобождение от его трудностей, от дней, полных неизбывным пробиранием сквозь пути. Легко дышать, не знаешь, бьется ли твое сердце как угорелое, или вовсе замерло. Свобода, весенний ветер и солнце...

Такие и подобные дни – маяки моей жизни; когда оглядываюсь назад, они заставляют меня мириться со многим мрачным, жестоким и «несправедливым», что уготовила мне жизнь.



Если бы не было этой сжигающей весны 1908 года, не было других моих театральных сезонов, не было в жизни этих и других осколков своеволия и самоутверждения, не показалась ли бы я и вам, читатель, и себе жалкой, угнетенной, выдержал ли бы даже мой несокрушимый оптимизм? Смирись я перед своей судьбой, сложа руки, какой беспомощной развалиной была бы я к началу революции! Где нашла бы я силы встать рядом с Блоком в ту минуту, когда ему так нужна оказалась жизненная опора?..

С теми же поднятыми недоуменно бровями, которыми всю жизнь встречали меня не «функцию» все «образованные люди» (жена Блока и вдруг играет в Оренбурге?!), встретил ли бы всякий читатель, все, что я хотела бы рассказать о своей жизни. Моя жизнь не нужна, о ней меня не спрашивают! Нужна жизнь жены поэта, «функция» (умоляю корректора сделать опечатку: фикция!), которая... прекрасно известна читателю. Кроме того, читатель прекрасно знает и что такое Блок. Рассказать ему про другого Блока, каким он был в жизни? Во-первых, никто не поверит; во-вторых, все будут прежде всего недовольны – нельзя нарушать установленных канонов. И я хотела попробовать избрать путь даже как будто и подсказанный самим Блоком; «свято лгать о прошлом...» «я знаю, не вспомнишь ты, святая, зла»... Комфортабельный путь. Комфортабельно чувствовать себя великодушной и всепрощающей. Слишком комфортабельно. И вовсе не по-блоковски. Это было бы в конце предать его собственное отношение и к жизни, и к себе, а по мне, и к правде. Или же нужно подняться на такой предел отрешенности и святости, которых человек может достигнуть лишь в предсмертный свой час или в аналогичной ему подвижнической схиме. Может быть, иногда Блок и подымал меня на такую высоту в своих просветленных строках. Может быть, даже и не ждал такой меня в жизни в минуту веры и душевной освобожденности.

Может быть, и во мне были возможности такого пути. Но я вступила на другой, мужественный, фаустовский. На этом пути если чему я и выучилась у Блока, то это беспощадности в правде. Эту беспощадность в правде я считаю, как он, лучшим даром, который я могу нести своим друзьям. Этой же беспощадности хочу я и для себя. Иначе я написать и не смогу, да и не хочу, и не для чего...

Дайте мне поговорить и о себе; так вы получите возможность оценить мою повествовательную достоверность...

В сущности ведь всякий, берущийся за перо, тем самым говорит, что он считает себя, свои мысли и чувства интересными и значительными. Жизнь меня поставила, начиная с двадцатилетнего возраста, на второй план, и я этот второй план охотно и отчетливо примяла почти на двадцать лет. Потом, предоставленная самой себе, я постепенно привыкла к самостоятельной мысли, т.е. вернулась к ранней моей молодости, когда я с таким жаром искала своих путей и в мысли, и в искусстве. Теперь между мной и моей юностью

нет разрыва, теперь вот тут, за письменным столом, читает и пишет все та же, вернувшаяся из долгих странствий, но не забывшая, не потерявшая огня, вынесенного из отчего дома, умудренная жизнью, состарившаяся, но все та же Л. Д. М., что и в юношеских тетрадах Блока. Эта встреча с собой на склоне лет – сладкая отрада. И я люблю себя за эту найденную молодую душу, и эта любовь будет сквозить во всем, что пишу.

Да, я себя очень высоко ценю... Я люблю себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу. Только в своем обществе я нахожу собеседника, который с должным (с моей точки зрения) увлечением следует за мной по всем извилинам, которые находит моя мысль, восхищается теми неожиданностями, которые восхищают и меня, активную, находящую их... Теперь только, встав смело на ноги, позволив себе и думать и чувствовать самостоятельно, я впервые вижу, как напрасно я смирила и умалила свою мысль перед миром идей Блока, перед его методами и его подходом к жизни. Иначе быть не могло, конечно! В огне его духа, осветившего мне все с такою несоизмеримой со мною силой, я потеряла самоуправление. Я верила в Блока и не верила в себя, потеряла себя. Это было малодушие, теперь я вижу. Теперь, когда я что-нибудь нахожу в своей душе, в своем уме, что мне нравится самой, я прежде всего горестно восклицаю: «Зачем не могу я отдать это Саше!» Я нахожу в себе вещи, которые ему нравились бы, которые он хвалил бы, которые ему иногда могли бы служить опорой, так как в них есть твердость моего основного качества – неизбывный оптимизм. А оптимизм как раз то, чего так не хватало Блоку! Да, в жизни я, как могла, стремилась оптимизмом своим рассеивать мраки, которым с каким-то ожесточением так охотно он отдавался. Но если бы я больше верила в себя! Если бы я уже тогда начала культивировать свою мысль и находить в ней отчетливые формы, я могла бы отдавать ему не только вдохновительную свою веселость, но и противоядие против мрака мыслей, мрака, принимаемого им за долг перед собой, перед своим призванием поэта. И тут и ошибка его, и самый мой большой в жизни грех. В Блоке был такой же источник радости и света, как и отчаяния и пессимизма. Я не посмела, не сумела против них восстать, противопоставить свое, бороться. Замешалось тут и трудное жизненное обстоятельство: мать на границе психической болезни, но близкая и любимая, тянула Блока в этот мрак. Порвать их близость, разъединить их – это я не могла по чисто женской слабости: быть жестокой, «злоупотребить» молодостью, здоровьем и силой – было бы безобразно, было бы в глазах всех злом. Я недостаточно в себя верила, недостаточно зрело любила в то время Блока, чтобы не убояться. И малодушно дала пребывать своему антагонизму со свекровью в области мелких житейских неуязвок. А я должна была вырвать Блока из патологических настроений матери. Должна была это сделать. И не сделала. Из потери себя, из недостатка веры в себя.



Так вот теперь, когда мне остается только возможность рассказать, когда уже все непоправимо, пусть я буду говорить о себе с верой. Все равно, когда я пишу, я как будто все это читаю ему. Я знаю, что ему нравится, и несу ему то, что ему нужно... Пусть это будет новый, окольный способ рассказать о Блоке. И вот еще что приходит мне в голову. Я была по складу души, по способу ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется – нет. Мне кажется, что я буду своя в ней и почувствую своей следующую, еще не пришедшую эпоху искусства. Может быть, она уже во Франции. Меньше литературщины, больше веры в смысл каждого искусства, взятого само по себе. Может быть, от символизма меня отделяло все же какая-то нарочитость, правда, предрешенная борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи. Вот о чем я и скорблю: если бы я раньше проснулась (Саша всегда говорил: «Ты все спишь! Ты *еще* совсем не проснулась...»), раньше привела в порядок свои мысли и поверила в себя как сейчас, я могла бы противопоставить свое затягивающей литературщине и бодлерианству матери. Может быть, он и ждал чего-то от меня, ни за что не желая бросать нашу общую жизнь. Может быть, он и ждал от меня... Не самонение, а привычка. Мы с Блоком так привыкли нести друг другу все хорошее, что находили в душе, узнавали в искусстве, подматривали у жизни или у природы, что и теперь, найдя какую-то ступеньку, на которую подняться, как вы хотите, чтобы я не старалась нести ее ему? А раз я теперь одна, как могу я не горевать, что это было не раньше?..

Я никогда не могу согласиться с тем, что цинично говорить обо всем этом, говорить об этих грозных подводных рифах, о которые корабли разбиваются и тонут... Если до Фрейда еще умудрялись отбрасывать эту сторону жизни, ставить ширмы, затыкать уши, закрывать глаза даже в такой просвещенной среде, как та, в которой я вращалась, то как можно теперь надеяться дать хоть сколько-нибудь правдивый анализ событий, мотивировку их, если мы будем оперировать одной «приличной», показной – висящей в воздухе – «психологией»?

Еще виноваты тут мои чтения – я до сих пор слежу за западной литературой. А западная литература последних лет так приучила читать подробные и неприкрытые анализы самых сокровенных моментов любовной близости, что чувство условной меры уже потеряно. Особенно потому, что пишут так несомненно большие художники... создающие стиль своей эпохи. Не говорить открыто о том, в чем видишь основной двигатель дальнейших событий уже кажется ханжеством и лицемерием... Но я глубоко убеждена – или вовсе не писать, или писать то, о чем думаешь. В таком случае есть хоть



какой-то шанс сказать близкое к правде, т.е. нужное. Если же просеивать сквозь ситечко «приличий» – все шансы за то, что строчишь бесполезную невнятицу...

Как странно теперь вспоминать то общество, среди которого я росла и среди которого провела жизнь замужем. Все люди очень не денежные и абсолютно «вне-денежные». Приходят деньги – их с удовольствием тратят, не приходят – ничего не делается для их умножения. Деньги – вне интересов, а интересы людей вне их самих, вне того тонкого слоя навозца, который покрывает кору земного шара. Чтобы жить, надо стоять ногами в этом навозце, надо есть, надо как-нибудь организовать свой быт. Но голова высоко-высоко над ним.

Никогда не слыхала я дома или у нас с Александром Александровичем – за обеденным столом или за чаем (которые очень редко протекают без гостя, всегда кого-нибудь задержит отец или Александр Александрович на обед), никогда не слыхала вульгарно-житейских или тем более хозяйственных разговоров. Тему разговора дает актуальное событие в искусстве или науке, очень редко в политике. Отец охотно и много рассказывает из виденного и всегда обобщает, всегда открывает широкие перспективы на мир. У нас зачастую обеденный разговор – это целый диспут Александра Александровича с кем-нибудь из друзей или случайным гостем. Казалось бы немыслимое времяпрепровождение: пяти-шестичасовой разговор на отвлеченную тему. Но эти разговоры – творческие: не только собеседник, но и сам Блок часто находил в них уточнение мыслей, новые прорывы и назревающие темы. Даже ненавистные «семейные обеды» и те звучат не вульгарно. Мама любит говорить и рассказывать, и часто говорит остроумно, хотя и парадоксально. Она любит сразиться с интересным собеседником, а такие среди наших родных были нередки, и остроумная словесная дуэль заполняет общее внимание. Александра Андреевна несколько ходульно, но очень искренне ненавидела обывательский быт, и в те родственные обеды, где приходилось встречаться с несколькими чуждыми людьми, она всегда умудрялась внести элемент «скандала» нарочито вызывающими высказываниями. Быт трещал. Но большинство тех, кого я видела и в родительском доме, и у себя: «что за люди мон-шер!» Друзья моих родителей, передвижники, Ярошенко, Куинджи, Репин, бородатые, искренние, большие дети, наивные и незыблемо верящие в раз найденные принципы и идеи. Блестящий Коновалов (впоследствии академик), с высоко вскинутой красивой головой. Все, кто сталкивался с отцом в работе, все родственники, которые бывали – все в этом плане истинной интеллигенции: можно очень любить свою персону, но как раз постольку, поскольку она способна проникать в стоящее выше меня. Это ощущение вверх, а не вокруг себя и не под ногами – самое существенное.



«Мое рождение было странно», говорит Эузебио в «Поклонении Кресту». Я часто твердила это в шутку и о себе, во всяком случае – путаница. По метрическому свидетельству я родилась 29 августа 1882 года. В сущности же – 29 декабря 1881 года. Так я прожила почти до окончания гимназии, временами на целый год моложе, а потом так привыкла, что уж и не меняла. Получилась эта путаница из-за того, что ко времени моего рождения формальности по разводу отца с первой женой и по заключению церковного брака с моей матерью были еле-еле окончены. Крестить и записать меня как «законную» дочь было еще нельзя. И я дожидалась «нехристом» законного срока. Благодаря блестящему положению в обществе моего отца все это прошло гладко, и крестили, и «законной» записали. Но когда уже взрослой девушкой, в разгар семейных неурядиц в период смерти старшего брата и претензий семьи Лемохов на объявление всей нашей второй семьи «незаконной», когда я всю эту «неувязку» с моим рождением узнала, мой романтизм она очень тешила. Мне казалось мое положение привилегированным: «дитя любви», даже имя – Любовь – все это вырывало меня из буден, что мне было в ту пору очень ко двору. Но годик-то я с удовольствием скостила.

«Расист» мог бы с удовольствием посмотреть на Блока – он прекрасно воплощал образ светлокудрого, голубоглазого, стройного, героического арийца. Строгости манер, их «военность», прямызна выправки, сдержанная манера одеваться и в то же время большое сознание преимущества своего облика и какая-то приподнятая манера себя вести, себя показывать довершали образ «зигфридоподобия». Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность, она была далеко не последняя его «радость жизни». Когда за год приблизительно до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям, и взгляд не так ярок, он подходил к зеркалу с горечью и не громко, а как-то словно не желая звуком утвердить случившееся, полусхуча говорил: «совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят»... И было это очень, очень горько.

У нас с ним была общей основной черта наших организаций, которая сделала возможной и неизбежной нашу совместную жизнь, несмотря на разницу характеров, времяпрепровождения и внешних вкусов.

Мы оба сами создавали свою жизнь, сами вызывали события, имели силы не поддаваться «бытию»; а за ним тем более «быту» – но это мелкая черточка по сравнению с нашей внутренней свободой, вернее, с нашей свободой от внешнего. Потому что мне, особенно, но и Саше, всегда казалось, что мы, напротив, игрушки в руках Рока, ведущего нас определенной дорогой. У меня даже была такая песенка, из какого-то водевиля:

*Марионетки мы с тобою
И наши жизни дни не тяжки...*

Саша иногда ею забавлялся, а иногда на нее сердился...

Жить рядом с Блоком и не понять пафоса революции, не уметь перед ней со своими индивидуалистическими претензиями – для этого надо было бы быть вовсе закоренелой в костности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из Пскова очень «провинциально» настроенной и с очень «провинциальными ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть до неурядиц кухонного порядка, я быстро встряхнулась и нашла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, какой была вся настроенность Блока. Полетело на рынок содержимое моих пяти сундуков актрисьего гардероба! В борьбе за «хлеб насущный» в буквальном смысле слова, так как Блок очень плохо переносил отсутствие именно хлеба, наиболее трудно добываемого в то время продукта. Я не умею долго горевать и органически стремлюсь выпирать из души все тягостное. Если сердце сжималось от ужаса, как перед каким-то концом, когда я выбрала из тщательно подобранной коллекции старинных платков и шалей первый, то следующие упорхнули уже мелкой пташечкой. За ними нитка жемчуга, которую я обожала, и все, и все, и все... Я пишу все это очень нарочно: чем мы не римлянки, приносившие на алтарь отечества свои драгоценности. Только римлянки приносили свои драгоценности выхоленными рабынями руками, а мы и руки свои жертвовали (руки, воспетые поэтом; «чародейную руку твою...»), так как они погубели и потрескались за чистой мерзлой картошкой и вонючих селедочек. Мужество покидало меня только за чистой этих селедочек: их запах, их противную скользкость я совершенно не переносила и заливалась горькими слезами, стоя на коленях, потроша их на толстом слое газет, на полу, у плиты, чтобы скорее потом избавиться от запаха и остатков. А селедки были основой всего меню.

Помню, в таких же слезах застала я Олечку Глебову-Судейкину за мытьем кухни. Вечером ей надо было танцевать в Привале Комедиантов, и она плакала над своими красивыми руками, покрасневшими и распухшими.

Я отдала революции все, что имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и долг – служа октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием, своим «приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, я подтвердила: «да, дезертировать в сытую жизнь, в спокойное существование мы не будем». Я знала, какую тяжесть беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на Блока, будет ему не по силам – он был совсем молодым, крепким и даже полным юношеского задора.



Раскаты грома на небесах, разразилась гроза. Раскаты грома внизу, в коридоре: «Закрывайте окна! Закрывайте ставни!»

Так, громовержцем, в грохоте и свисте бури пусть станет впервые образ отца. Такой «божьей грозой» царил он в доме, и нежная его забота о детях громычала, подобно раскатам грома и оглушительной барабанной дробі летнего ливня по железным крышам наших нескольких крытых террас.

И я всегда была такою. Но только – я щедра. Я щедра не только на деньги, но и на свою душу, даже дух. Я всегда щедро разбрасывала себя, отказываясь от того, что считала ценнейшим и, к сожалению, не только для Блока, но для других – часто первых встречных. И не потому, что не ценила в те минуты себя; нет, из вечно присущей мне брезгливости к мелочности. Дарить себя по мелочам? Нет, дарить щедро, дарить то, что мне представляется драгоценным.

Когда я оглядываюсь, вижу, что в сущности запасы мои были очень велики; фантазии, изобретательности, оригинальности мысли и вкуса было много. Если из этого не вышло то, к чему я всегда стремилась – сценической карьеры, то это по основному недостатку моему; во мне нет упорства в одном направлении. Я не могу сказать, что это лень, нелюбовь к работе – нет, я в сущности очень редко когда не работала и не шла вперед, но все в разных областях. Уменьшаю остановиться и упорствовать в одном направлении – у меня не было всю жизнь. Да и сейчас больше бы вышло, если бы я могла выбрать: бумага и перо или живая связь с театром через преподавание и, может быть, постановки. Я разбрасываюсь.

Вообще брезгливости и преувеличенной чистоплотности во мне было гораздо больше, чем это было нужно для успешного прохождения жизненного пути. Я совершенно была не в состоянии пойти на встречу человеку, которому я нравлюсь, если тут могла получиться для меня корысть. Несколько таких случаев, когда я себе сильно вредила: отказывала режиссеру (между прочим, культурному и даже интересному) в том «внимании», которое ему казалось просто даже его «справом» и, как на зло, у него перед носом бросалась на встречу какому-нибудь забулдыге «Петьке», и многое такое.

Теперь мне кажется идиотичным, что я не использовала положение Блока для достижения своих целей все из той же брезгливости. Правда, и он, как нарочно, ничего не делал, чтобы помочь мне в моем пути и таким образом даже и вредил, так как, конечно, могло вызвать только сильный скептицизм его невмешательство, которое казалось сознательным отстранением вследствие неверия. Но если бы я просила, если бы я объяснила ему, – конечно, он стал бы помогать, это я знаю наверно. И я еще пуще гордилась и пыталась идти одна. Все, чего я в театре добивалась, я добилась сама, безо всякой посторонней поддержки, наоборот, с большим гандикапом подавляющих имен – отца и мужа.



При том жизнь богатую по сравнению с нашей нищетой в условиях широко звучащей дворянской обстановки... Не знаю такой, которая бы отказалась от двух-трех десятков тысяч, которые сейчас же хотел реализовать А. Белый, продав уже принадлежащее ему имение.

В те годы на эти деньги можно было объехать весь свет, да и еще после того осталось бы на год-другой удобной жизни. Путешествия были всегда моей страстью, моя буйная жажда жизни плохо укладывалась в пятьдесят рублей, которые давал мне отец. Саша не мог ничего уделять из тех же пятидесяти, получаемых от его отца: тут и университет, и матери на хозяйство, и т.д. И тем не менее все это я регистрирую только теперь. В ту пору я не только не взвешивала сравнительную материальную сторону той и другой жизни, она просто вовсе не попадала на весы. Помню, как раз, сидя со мной в моей комнате на маленьком диванчике, Боря в сотый раз доказывал, что наши «братские» отношения (он вечно применял это слово в определении той близости, которая выросла постепенно сначала из дружбы, потом из его любви ко мне), наши братские отношения – больше моей любви к Саше, что они обязывают меня к решительным поступкам, к переустройству моей жизни и, как доказательство возможности крайних решений, рассказывал свое намерение продать имение, чтобы сразу можно было уехать на край света. Я слышала все, что угодно, но цифра для меня, казалось бы внушительная, не задела внимания, и я ее пропустила мимо ушей. Во всех этих разговорах я всегда просила Борю подождать, не торопить меня с решением.

Несомненно, вся семья Блока и он были не вполне нормальны – я это поняла слишком поздно, только после смерти их всех. Особенно много ясности принесли мне попавшие мне в руки после смерти Марии Андреевны ее дневники и письма Александры Андреевны. Это все – настоящая патология. Первое мое чувство было – из уважения к Саше сжечь письма его матери, как он несомненно сделал бы сам, и раз он хотел, чтобы ее письма к нему были сожжены. Но следующая мысль была другая: нельзя. Это теперь только литературоведческое исследование так эмпирично, так элементарно, довольствуется каким-то пошлым, а через пять, десять, двадцать лет неизбежно прибегнут к точным методам и научной экспертизе и почерков, и психических состояний, и родственных, наследственных элементов во всем этом. Ведь и со стороны Блоков (Лев Александрович), и со стороны Бекетовых (Наталья Александровна), и со стороны Карелиных (Александра Михайловна Марконет и Мария Андреевна Бекетова), – везде подлинное клиническое сумасшествие. Двоюродный брат Александра Александровича – глухонемой. Это – только крайние, медицинские проверенные проявления их дворянского вырождения и оскудения крови. Но неуравновешенность, крайняя «пограничность» (как



говорят психиатры) типов – это их общее свойство. Если все это установить и взвесить – по другому отнесешься ко всем их словам и поступкам. Иначе оценишь трагизм положения Блока среди этой любимой им семьи, но которая так часто заставляла его страдать и от которой он порой так беспомощно и так безнадежно рвался. Не даром мое коренное здоровье было ему такой желанной пристанью отдохновения. Во мне нет никакого намека патологии. Если я порой бывала истерична и повышенно чувствительна – причиной тому то же, что и при всякой истеричности женщины: с самого начала крайне ненормально сложившаяся половая жизнь. А доказательство нормальности натуры – я болезненно перешла на положение старой женщины, как только пришло то время, без сожалений, без унижительных хватаний за молодость. Мой молодой эгоизм, который я тоже считаю нормальным (он безобразен лишь в старости, а молодость без эгоизма – вероятно тоже скорее близка к патологии) – превратился в полное перенесение интересов вне себя, столь же жизнерадостное и горячее, как горяча была моя молодость. Мне не скучно; мне так же увлекательны, как были в молодости увлекательны романы, и научные интересы, и моя работа с моей бесценной ученицей, и ее успехи, и все их театральные дела. И я, будучи в корне далека от полуненормальной психики, не могла не только в молодости, но и в зрелые годы понять Бекетовых. Свойственную ненормальным двойственностью я не учитывала. Поступки их не соответствовали словам и я не понимала корня, возмущалась их фальшью. Не фальшь, а гораздо более глубокий душевный дефект. Например, на словах они все меня захваливали наперебой; «любили» меня все ужасно, но... всегда стремились Сашу «не отдать» мне целиком, боролись с моей стихией здоровья, которую я ему так хотела отдать, куда хотела его увлечь. Что же оказалось в старых дневниках Марьи Андреевны и письмах Александры Андреевны? Нет слов, которыми они не поносили бы меня. И некрасива-то, и неразвита, и зла, и пошла, и нечестна, «как мать, да и отец» (это у Александры Андреевны)! Вот до чего доводили одну – явно сквозящая зависть, другую – дикая ревность ко мне. Нормально это? Назвать Менделеева нечестным – это можно только с пеной у рта, в припадке сумасшествия. Всей этой подкладки я не знала, конечно, и от Саши она тщательно скрывалась («Люба удивительная, Люба мудрая, Люба единственная» – вот что для его ушей).

Но во всем общении где-то кипела эта скрытая ненависть. Я чутка и восприимчива подсознательно очень; как-то это все мне передавалось ведь? И вовлекало в водоворот выкриков, протестов, ссор...

Еще в середине мая он* нарисовал карикатуру на себя – оттуда – это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Толь-

* Блок.



ко за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он вдруг спросил на нашем языке, отчего я вся в слезах – последняя нежность.

Мой переход к старости произошел довольно безболезненно, именно благодаря болезни. Разболелось сердце, и иногда ни до чего было, только бы не больно. А когда не болит, посмотришь в зеркало это я от болезни такая ужасная, а вовсе не от старости; и не обидно. Но помогла и судьба. Судьба умеет, когда она милостива, подсунуть тебе напоследок жуликоватого красавчика или не то педераста, не то эфиромана, что благословишь тот день, когда стряхнешь дурман унижительной влюбленности и уж на всю жизнь почувствуешь себя вылеченной. И болезнь, и старость кажутся случайными, мне самой (до глубины души) влюбленность отвратительна, это я сама не хочу!

Вот жильё мое и устроено. Оно отражает душу, как и полагается ему. Много кустарщины, самодельщины и незаконченного, но оно не лишено изобретательности, непохоже на обывательское, есть в нем устремление и к будущему, и к Европе – и как слабо это удалось! Но превосходное – радиосвязь. Но ванная комната удобна и тщательно оборудована, как у них. Стены светлы и не ограничивают Пространства. Живет тут портрет Блока больше натуральной, человеческой величины. И образы искусства – не многие, но всегда ловящие глаз.

Из окна, поверх цветов, крыш и труб, вид на небо. Кресла и кушетки для друзей мягки и отдохновительны. О том, что женское это жильё, напоминают пестрые подушки и запах духов.

Вот я.



ЭПИЛОГ

Из книги И. Одоевцевой «На берегах Невы».

(Встреча с Андреем Белым в Летнем саду в Петрограде, 1920 год)

— Как давно и как недавно все это было... Детство... Молодость... Я теперь на вид старик. Седой. Лысый в сорок лет. Мне на днях в трамвае какой-то бородатый рабочий место уступил: «Садись, отец!» Хорошо еще, что не: «Садись, дед!» Я поблагодарил, но вылез на следующей станции, хотя мне надо было далеко ехать. От обиды. И с тех пор не пользуюсь трамваями.

Он проводит рукой по лбу.

— Какой вздор, какая чужь — «что пройдет, то будет мило». Если бы можно было не помнить. Забыть. Теперь все совсем другое. Я люблю Асю. Невыразимо люблю. Она нежная, легкая, прелестная. Ася Тургенева — «тучка золотая» — так ее звали в Москве. Она чудная. Она в Дорнахе у доктора Штейнера. Она ждет меня. Ждет, хотя и не пишет. А может быть, и пишет, но письма перехватывают, крадут. Всюду враги, шпионы. — Он испуганно оглядывается. — А здесь за деревьями никто не прячется, не следит за мной? Вы уверены? И за статуей никто не подслушивает? Ведь они выслеживают меня, ходят за мной по пятам. Они хотят помешать мне вернуться к Асе. А я тоскую о ней. Она все, что у меня осталось.

Он выпрямляется и, закинув голову, медленно и проникновенно декламирует, с какой-то старомодной выразительностью:

*Мой веешний свет,
Мой светлый цвет.
Я полн тобой,
Тобой — судьбой...*

И вдруг, будто снова дернув себя за невидимую ниточку — дерг-передерг, — весь превращается в движение и «звукословие».

— Это я о ней. Асе. Я тоскую, мечтаю о ней. А думаю и говорю о Любове Дмитриевне. Не дико ли? Ведь от нее прежней ничего, решительно ничего не осталось. Ее узнать нельзя. Прекрасная Дама, Дева Радужных Высот. Я ее на прошлой неделе встретил на Офицерской. Несет кошелек с картошкой. Ступает тяжело пудовыми ногами. И что-то в ней грубое, почти мужское появилось. Я распластался по стене дома, будто сам себя распял, пропуская ее. Она взглянула на меня незрячим взглядом. И прошла. Не узнала меня. А я все глядел ей вслед. Помните, у Анненского:

*Господи, я и не знал,
До чего она некрасива!..*

Но от этого ничего не изменилось. Мне не стало легче. — Пауза. Вздох. — А он, Саша... Он все так же прекрасен. Или нет, иначе. Трагически прекрасен. Он измучен еще сильнее, чем я измучен. И как странно. Мы живем в одном городе. Мы часто встречаемся — то в Доме искусств, то во «Всемирной литературе» на Моховой. Здравуемся. «Здравствуй, Саша». — «Здравствуй, Боря». Рукопожатие. И все. Ни разу за все это время не разговаривали. Почему? — Недоумение в голосе. Недоумение в глазах. — Почему? Ведь мы были друзьями. И мы все друг другу простили. Все... Так почему? Почему?..

Он вдруг вскакивает, хватает меня за руку, заставляет встать.

— Знаете что? Пойдем сейчас к нему. Пойдем! Это будет чудесно. Чудесно! Мы позвоним, и он сам откроет. Он, наверно, даже не удивится. Но он будет рад. Ужасно рад. Мне. — И, спохватившись, быстро и убедительно: — И вам тоже будет ужасно рад! На вас розовое платье. И вы подарите ему вашу сирень. Вы напомните ему юность, розовую девушку в цветущем саду. Он поведет нас в кабинет, и мы втроем, потому что она-то не выйдет, она не простила, о, нет! Но это хорошо, что она спрячется, скроется. Мы втроем просидим всю короткую белую ночь до зари. Нет, не белую, серебряную. Видите, и сейчас уже все стало серебряным. — Он широким жестом охватывает небо и сад. — Все серебряное — и луна, и статуи, и деревья, и шорох листьев, и мы с вами. Сегодня волшебная ночь. Сегодня, я чувствую, я знаю, мы с Сашей будем прежними, молодыми. А вы будете сидеть на диване, свернувшись клубком, и слушать нас. Как она когда-то. Она ведь тоже умела прекрасно слушать. Идем, идем скорее. Ведь это совсем близко...

— О, я знаю, — взволнованно повторяет он, — все будет чудесно, волшебным. Сон в летнюю ночь. Серебряный сон волшебной серебряной ночью. Идем скорее!..

Он почти бежит к выходу, увлекая и меня за собой. Но я не хочу. Не могу. Я сопротивляюсь.

— Нет, нет, нет! Ни за что!

Разве я могу, разве я смею пойти к Блоку? Ведь Блок для меня не только первый, не только любимейший поэт. Блок для меня святыня. Полубог. Мне даже страшно подумать, что я могу так — без длительной подготовки, — сейчас, сегодня пойти к нему. Я умру от страха. Сердце мое куврыкается в груди, и горло сжимается. Я с трудом говорю:

— Нет. Я не могу. Мне надо домой. Меня ждут. Будут беспокоиться. Ведь очень поздно. Очень поздно...

О, мне безразлично. Пусть дома беспокоятся. Но довод о беспокойстве домашних производит неожиданное действие.

— Ваша мама? Она будет ждать, и волноваться, и плакать. Тогда... Тогда вам действительно нельзя идти. — Он останавливается, выпускает мой локоть и говорит изменившимся, трезвым тоном:



— Значит, ничего не будет. Все провалилось.

— Может быть, в другой раз, — робко предлагаю я. — Завтра?..

Но он вытянутой рукой проводит резкую черту в воздухе, словно вычеркивает все возможности будущего.

— Другого раза не будет. Сегодня это было возможно. Все углы сошлись на один раз. И это никогда не повторится.

Я уже колеблюсь. Я уже готова сдаться, готова просить, умолять: «Поведите меня к Блоку!..»

Но он надевает шляпу, как в Англии судья накрывает голову, произнося смертный приговор, и говорит мрачно и торжественно:

— Другого раза не будет. Может быть, и лучше, что не будет. И сразу, будто мое присутствие теперь тяготит его, прощается со мной:

— Спокойной ночи! Бегите домой, торопитесь. Помните, у Блока:

*Ведь за окном в тревоге давней
Ее не ждет старушка мать...*

А вас мама ждет. Бегите к ней. У вас ноги молодые. Бегите!

Я иду по Невскому. Нет, я не бегу. Я иду очень медленно — и плачу. Слезы текут по моему лицу и падают на сирень. На сирень, которую я могла отдать Блоку. Если бы я не испугалась так позорно. О, я отдала бы десять, двадцать лет своей жизни, чтобы сейчас стоять на лестнице перед дверью Блока и видеть, как его дверь медленно открывается...

Я останавливаюсь на Аничковом мосту и бросаю сирень в Фонтанку. Раз она не досталась Блоку, она мне не нужна. Я вытираю глаза и прибавляю шаг. Ведь дома, наверное, беспокоятся. С ума сходят, куда я пропала...

Н. А. Нолле-Коган (май 1920, Москва)

Как-то утром раздался звонок. Александр Александрович и Петр Семенович* еще спали. Я вышла отворить дверь, и мне подали довольно большой сверток и, кажется, ветку цветов яблони. Я положила все это в столовой на столе, около прибора Блока. Когда он встал и вышел к завтраку, то развернул пакет. В нем оказались две куклы: Арлекин и Пьеро. На Арлекине — лиловый костюм с черным; эту куклу он оставил себе. Пьеро в белом шелковом с черными шелковыми пуговицами одеянии, черное тюлевое жабо, через плечо перекинут атласный алый плащ, на руке кольцо, ажурные белые чулки, черные туфли, очень выразительное лицо. Эту куклу Блок подарил мне...

* Муж Нолле-Коган.



Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.

Мальчик

Он спасется от черного гнева
Мановением белой руки.
Посмотри: огоньки
Приближаются слева...
Видишь факелы? Видишь дымки?
Это, верно, сама королева...

Девочка

Ах, нет, зачем ты дразнишь меня?
Это – адская свита...
Королева – та ходит средь белого дня,
Вся гирляндами роз перевита,
И шлейф ее носит, мечами звеня,
Вздыхающих рыцарей свита.
Вдруг паяц перегнулся за рампу
И кричит: «Помогите!
Истекаю я клюквенным соком!
Забинтован тряпицей!
На голове моей – картонный шлем!
А в руке – деревянный меч!»

Заплакали девочка и мальчик.
И закрылся веселый балаганчик.

А. Блок
Июль 1905



БИБЛИОГРАФИЯ

Блок А. Собрание сочинений в восьми томах. М.; Л., 1960-1963. Т.7, Т.8.

Блок А. Записные книжки. 1901 – 1920. М., 1965.

Александр Блок. Письма к жене // Литературное наследство. Т. 89. М., 1978.

Александр Блок. Новые исследования и материалы // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. М., 1982.

Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903 – 1919. М., 2001.

О. Немеровская, Ц. Вольпе. Судьба Блока: Воспоминания. Письма. Дневники. М., 1999.

Блок Л.Д. И были и небылицы о Блоке и о себе // Две любви, две судьбы: воспоминания о Блоке и Белом. М., 2000. С. 21-126.

Блок Л.Д. «Твои стихи... поют мне о твоей любви...» : письма Л. Д. Менделеевой А. А. Блоку. 1902-1903 годы // Журнал «Наше наследие». М., 2005. № 75-76. <http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7505.php>.

Галанина Ю.Е. Любовь Дмитриевна Блок. Судьба и сцена. М., 2009.

Белый А. Серебряный голубь. Рассказы // Собрание сочинений. М., 1995. Т.3. С. 264-273.

Белый А. Воспоминания о Блоке // Собрание сочинений. М., 1995. Т.4.

Белый А. Между двух революций. М., 1990.

Неизвестное письмо Андрея Белого // Минувшее. М., 1991. Т.5. С. 203-221.

Письма Андрея Белого в собрании Амхерстского центра русской культуры // А.В. Лавров. Андрей Белый. Разыскания и этюды. М., 2007. С. 397-411.

Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.

Иванов Е.П. Воспоминания и записки об Александре Блоке // Блоковский сборник. 1. Тарту, 1964. С. 344—424.

Письмо Е.П. Иванова к А.А. Блоку, 11-12 августа 1907 // Памятники культуры. Новые открытия. 1990. М., 1992. С. 113.

Веригина В.П. Воспоминания об Александре Блоке // Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2т. М., 1980. Т 1. С. 410-488.

Гишпиус З. Мой лунный друг. О Блоке // Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 139-170.

Из «дневников» Т.Н. Гишпиус 1906-1908 годов // Эротизм без берегов: сборник статей и материалов. М., 2004. С. 407-455.

Ирина Одоевцева. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 2007. С. 369-393.

Георгий Чулков. Слепые // Годы странствий. М., 1999. С. 478-538.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Творящие легенду	5
<i>Действующие лица.</i>	7
Пролог	9
Часть первая. Коломбина	11
Глава I. Мистическое лето	11
Глава II. «Делай со мной, что хочешь...»	34
Глава III. «Я ревную Тебя и ветру и воздуху...»	64
Глава IV. Замаскированные	82
Глава V. «Не пойду врачеваться к Христу...»	110
Глава VI. Секта блоковцев	124
Глава VII. «Милый, стань чудом!»	139
Глава VIII. Завывание в пустоту	150
Глава IX. «Чужимочка» Достоевского	164
Глава X. Дилии с черным крепом	175
Глава XI. «Истекаю я клюквенным соком...»	196
Часть вторая. Арлекин	203
Глава XII. «Да, цедем! Да, люблю!»	203
Глава XIII. Бееноватые	216
Глава XIV. Чмаление лжи	249
Глава XV. Балаганчик Бумажных Дам	262
Глава XVI. «Мертвецц достаточно щелочки...»	282
Глава XVII. «Милостивый Государь!..»	293
Глава XVIII. Палец в рану	318
Глава XIX. Сублимация пажа	331

Глава XX. «Как Митьку воспитывать?»	356
Глава XXI. «Люба на земле – страшное...»	363
Глава XXII. Болван из снега	373
Часть третья. Пьеро	386
Глава XXIII. От срыва к срыву	386
Глава XXIV. Цыганщина	401
Глава XXV. «Не умею любить, но люблю...»	418
Глава XXVI. «Я погибну, если покинешь...»	436
Глава XXVII. «Ей имени нет. Ее плечи бессмертны...»	451
Глава XXVIII. Жизнь на открытом воздухе	476
Глава XXIX. «Люба, Люба! Что же будет?...»	499
Глава XXX. «Сегодня я потерял крылья...»	522
Глава XXXI. Следы человеческих копыт	540
Глава XXXII. «Погибнуть или любить...»	552
Глава XXXIII. Проветленный слепец	566
Глава XXXIV. Последняя нежность	573
ЭПИЛОГ	584
<i>Библиография</i>	<i>588</i>



Блок – Гамлет, 1898 г.



1907 г.



1913 г.



1919 г.

Александр Александрович Блок



Люба - Офелия, 1898 г.



1900-е гг.



1917 г.

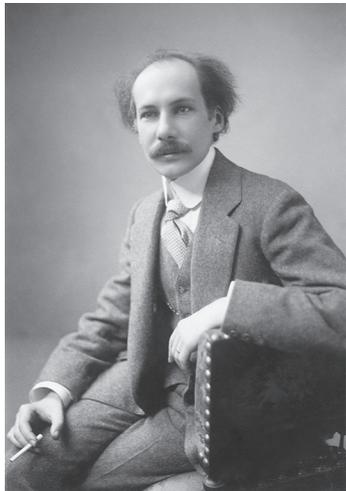


1920-е гг.

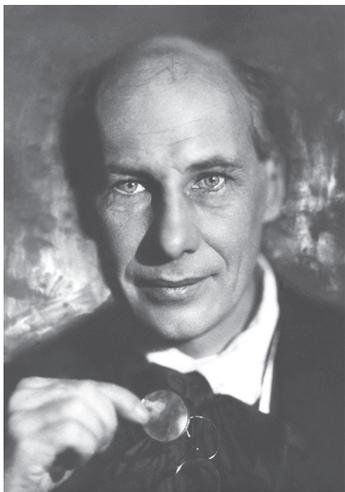
Любовь Дмитриевна Блок



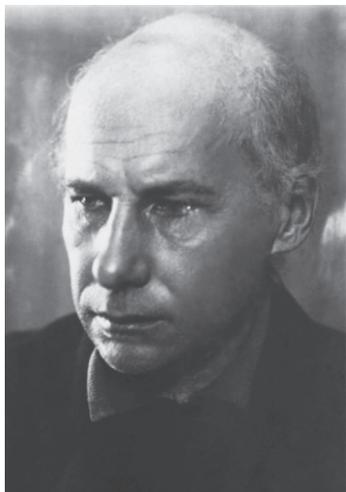
1901 г.



1912 г.



1929 г.



1933 г.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев)



Мария Андреевна Бекетова



1880 г.



1919 г.

Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух



Дмитрий Сергеевич Мережкóвский



Зинаида Николаевна Гишпиус



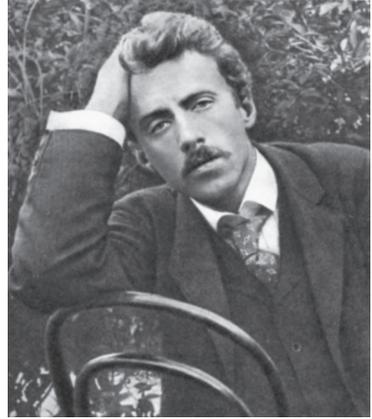
Татьяна (Тата) Николаевна
Гипшиус



Мария Павловна
Иванова



Евгений Павлович Иванов



Всеволод Эмильевич
Мейерхольд



Валентина Петровна Веригина



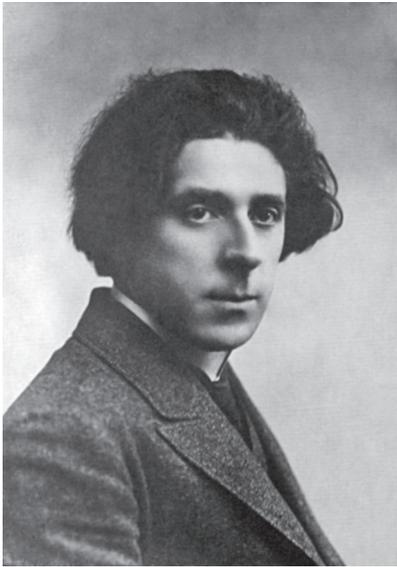
Наталья Николаевна Волохова



Любовь Андреевна Дельмас



Максим Горький



Георгий Иванович Чулков



Анна Андреевна Ахматова



Ирина Владимировна
Одоевцева



Андрей Белый и Сергей Соловьев, 1904 г.



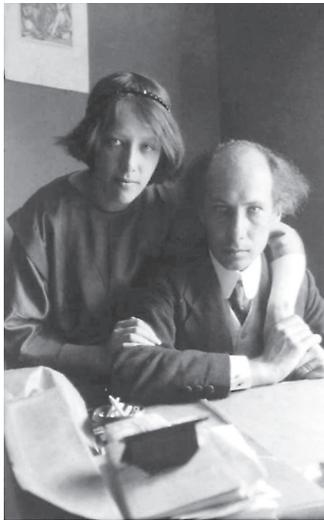
Любовь и Александр Блок, 1903 г.



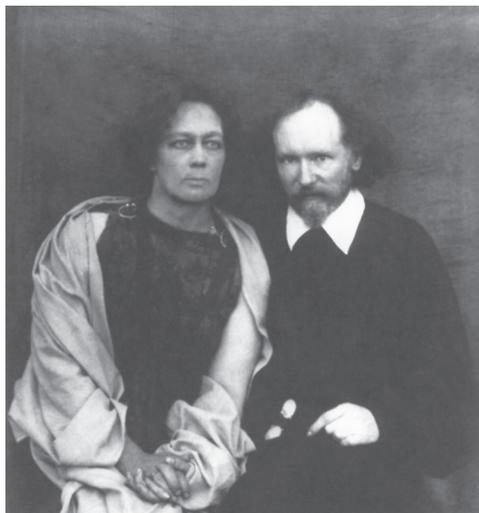
Сестры Бекетовы Александра и Мария



Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух (отчим Блока)
и Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух



Андрей Белый и Ася Тургенева, 1910-е гг.



Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал, 1900-е гг.



Любовь Блок - сестра милосердия, 1915 г.



Александр Блок на войне, 1916 г.



Александр Блок и Любовь Блок, 1919 г.



Александр Блок с матерью, 1919 г.

Игорь Талалаевский – известный театральный режиссер, сценарист и продюсер. В этом романе-коллаже впервые собранные им воедино письма, дневники и мемуары современников открывают известную нам историю как поистине сенсационную. Такого Блока, такого Белого, такую Любовь Блок мы и вообразить себе не могли! Весь Серебряный век в зеркале «Балаганчика»...

...Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предreshая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) - отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы...

Л. Блок. *Из воспоминаний*

Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, которая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе — мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, — страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но — 1898 — 1902 (годы) сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее...

А. Блок. *Из дневника. 18 февраля 1910. Петербург*

Я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня; гоните меня, бейте меня, бегите от меня, а я *буду везде и всегда с Вами и буду все, все, все переносить*. Планы один ужасней другого прошли передо мной, и я увидел *сегодня*, что *не* могу рассудком, холодно преступить: я всех Вас люблю. Мне остается позор: унижение мое безгранично, терпение мое НЕ имеет пределов. Я все вынесу: я буду только с Вами, с Вами. Я орудие Ваших пыток: пытайте, и НЕ бойтесь меня: я — собака Ваша *всегда, всю жизнь*...

А. Белый. *Из письма к Блокам. 9 августа 1906. Дедово*
